

Генрих Джейне



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Генрих Джейн

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

**Н. Я. ВЕРКОВСКОГО, В. М. ЖИРМУНСКОГО,
Я. М. МЕТАЛЛОВА**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1958

Генрих Тейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

т о м

5

СТАТЬИ

ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ

ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА

ИЗ МЕМУАРОВ

ГОСПОДИНА ФОН-ШНАБЕЛЕВОПСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1958

Редакция переводов

А. А. ЭНГЕЛЬКЕ

Примечания

А. В. АМСТЕРДАМА и А. А. МОРОЗОВА

Перевод с немецкого

СТАТЬИ



РОМАНТИКА

Что непостижимо для бессилия — то мечты.

А.-В. фон Шлегель.

В номерах 12, 14 и 27 «Листка искусства и развлечений» помещена старая, однако ж вновь подогретая и прокомментированная сатира на романтику и романтическую форму. Хотя на подобную сатиру следовало бы, собственно, ответить только сатирой, но тут возникает вопрос: можно ли этим помочь самому делу? В номере 124 «Всеобщей литературной газеты в Галле» помещена рецензия на такую контрсатиру, подействовавшую на противную партию, видимо, так же, как сатиры карфункелей и солярисов на романтиков, а именно — они пожали плечами. Поэтому по крайней мере я не желал бы говорить о предмете, от которого почти исключительно зависит совершенствование немецкого слова, не надеясь принести этим пользу, — то есть шутки ради. Ведь когда бьют по сюртуку, то удары приходится и по человеку, на котором надет этот сюртук, и когда насмеются над поэтической формой немецкого слова, то легко может проскочить многое такое, что оскорбит и само немецкое слово. А это слово ведь наше священное достояние, пограничный столб Германии, которого не в силах сдвинуть ни один коварный сосед, глашатай свободы, которого не сможет заставить замолчать ни один иноземный тиран, орифламма в борьбе за отечество, само отечество для тех, кому глупость и вероломство отказывают в отечестве.

Поэтому я намерен в немногих словах, без полемиче-

ских выпадов и без всякого смущения изложить здесь мои субъективные воззрения на романтику и романтическую форму.

В древности, то есть собственно у греков и римлян, преобладала чувственность. Люди жили по большей части во внешнем созерцании, и целью, а в то же время и средством прославления в их поэзии было по преимуществу внешнее, объективное. Но как только на востоке воссиял более прекрасный и кроткий свет, как только у людей появилось предчувствие, что существует нечто лучшее, чем чувственное опьянение, как только начала проникать в души неизъяснимо отрадная идея христианства — любовь, — у людей появилось стремление выразить и воспеть словом тайный этот трепет, бесконечную эту тоску и вместе с тем бесконечное блаженство. Но напрасно пытались старыми словами и образами выразить новые чувства. Нужно было создать новые слова и образы, и как раз такие, которые посредством сокровенного симпатического родства с этими новыми чувствами во всякое время пробуждали бы их в душе и как бы заклипаниями вызывали их наружу. И таким образом возникла так называемая романтическая поэзия, которая расцвела самым прекрасным цветом в средние века, затем печально поникла под хладным дыханием военных и религиозных бурь и в новое время чудесно возросла на немигущей почве и распустила прелестнейшие свои цветы. Правда, романтические образы должны больше пробуждать, чем характеризовать. Но никогда и ни под каким видом не является истинной романтикой то, что многие выдают за нее, а именно: месиво из испанской яркости, шотландских туманов и итальянского брэнчанья, спутанные и расплывчатые, словно выпущенные из волшебного фонаря образы, что так странно возбуждают и услаждают душу пестрой игрой красок и необыкновенным освещением. Поистине, образы, которым надлежит вызывать подлинные романтические чувства, должны быть столь же прозрачны и столь же четко очерчены, как и образы пластической поэзии. Эти романтические образы уже сами по себе должны быть отрадны: они драгоценные золотые ключи, коими, как говорят старые сказки, открывали прелестные сады фей. Вот потому-то наши величайшие романтики Гете и А.-В. Шлегель — в то же время

ламп величайшие пластики. В гетевском «Фаусте» и песнях те же тонкие очертания, что и в «Ифигении», «Германе и Доротее», в элегиях и т. д.; и в романтических произведениях Шлегеля те же определенные и резкие контуры, что и в его поистине пластическом «Риме». О, если бы это могло, наконец, воодушевить тех, кто так охотно именует себя шлегельянцами!

Но многие, заметившие, какое огромное влияние на романтическую поэзию оказало христианство, а вследствие этого и рыцарство, полагают, что им следует подмешивать то и другое в свои произведения, дабы придать им романтический характер. Однако я думаю, что христианство и рыцарство были лишь средством ввести романтику; ее пламя уже давно пылает на алтаре нашей поэзии; уже ни один священнослужитель не должен подливать туда священный елей, и ни один рыцарь не должен больше стоять там на страже. Германия теперь свободна: ни один поп не может заточить в темницу немецкие умы; ни один благородный дворянчик не вправе больше кнутом гнать на барщину немецкие тела, и потому немецкая муза также должна снова стать свободной, цветущей, простодушной, честной немецкой девушкой, а не быть томной монашенкой или кичащейся предками рыцарской девой.

О, если бы это мнение разделялось многими, тогда скоро бы затихли все споры романтиков с пластиками. Но немало еще завянет лавров, прежде чем на нашем Парнасе вновь заселенеет оливковая ветвь.



СМЕРТЬ ТАССО

Трагедия в пяти действиях Вильгельма Сметса.
(Кобленц, у Гельшера. 1819)

Это произведение при первом непредубежденном прочтении так приятно развлекло и мило порадовало нас, что нам, право, трудно критически судить о нем с необходимой холодностью — согласно правилам и требованиям драматического искусства, добросовестно точно, подавляя индивидуальные впечатления, определить его внутренние достоинства и неумолимо раскрыть его недостатки и погрешности. Откровенно говоря, нам думается, что, занявшись таким делом, мы будем не совсем непохожи на того недовольного ворчуна, что в полуденный зной обрел освежающее пристанище под густолиственной яблоней, освежил пересохший рот ее плодами, поразвлёкся щебетом птиц, перепархивавших с ветки на ветку, но под вечер поднялся на ноги и принялся брюзгливо рассуждать о дереве, бормоча: какое это было жалкое ложе, какие терпкие, дикие яблоки, какое несносное чириканье воробьев и т. д. Вместе с тем рецензирование имеет и свою хорошую сторону. В этом году на Парнасе такое множество диковинных деревьев, что представляется необходимым, как это заведено в ботанических садах, выставить подле каждого белую табличку, на которой гуляющий может прочесть: под этим деревом можно приятно отдохнуть; на этом дереве растут отличные плоды; на этом поют соловьи; а равно: на этом растут неспелые, безвкусные и ядовитые плоды; под этим деревом пахнет

одуряющим ладаном; под этим по ночам бродят старые привидения рыцарей; на этом свищет продувная птица; под этим деревом можно хорошо уснуть.

Выше мы упомянули, что собираемся судить лежащую перед нами трагедию согласно правилам драматургии. Но так как в отношении их даже крупнейшие наши эстетики не согласны между собой, то будет слишком самонадеянно, ежели мы сочтем наше собственное мнение единственно справедливым, а так как нам не хотелось бы субъективностью взгляда бессознательно умалить заслугу автора, то безусловное суждение о достоинствах его произведения мы выскажем не раньше, чем коротко поясним, какими эстетическими положениями мы руководствуемся. Сообразно с этим мы будем судить предлагаемую трагедию с трех точек зрения: драматической, поэтической и этической.

Лирика — первый и древнейший род поэзии. Как у целых народов, так и у отдельных людей первые поэтические вспышки всегда лиричны. Ходячие приличные метафоры кажутся тогда поэту слишком избитыми и холодными, и он хватается за непривычные, импозантные образы и сравнения, чтобы живо представить как свои субъективные чувства, так и впечатления, полученные им субъективно от внешних предметов. Существуют индивидуумы и целые народы, которые не пошли дальше этого рода поэзии. У тех и других это указывает на младенческое состояние духа или плоскую односторонность. Но коль скоро поэт достигает известной умственной зрелости, коль скоро его духовный взор начинает глубже проникать во внутреннюю механику внешних предметов и событий и его дух вмещает в себя совокупное представление об этом внешнем мире, тотчас возникает у поэта новое стремление — представить эти внешние предметы в их объективной ясности, без примеси субъективных чувств и воззрений, поэтически прекрасно. Так возникает эпическая и драматическая поэзия.

Как видно из сказанного, и один и другой род поэзии одинаково требуют некоторых способностей, а именно: общего представления о природе, отрешения от субъективности, точного и живого описания событий, ситуации, страстей, характеров и т. д. Однако мы сделаем тут оговорку, нередко подтверждающуюся на опыте, что

поэты, которые являются мастерами в одном роде поэзии, часто не в состоянии произвести ничего сносного в другом. Это наблюдение приводит нас к исследованию, не возникает ли эта неудача оттого, что для одного рода поэзии упомянутые таланты потребны в меньшей степени, нежели для другого, и что, быть может, сущность этих обоих поэтических родов столь удивительно различна.

Если мы подстережем эпического и драматического писателя, каждого в своей мастерской, и понаблюдаем за их приемами, то ничего не будет легче, как ответить на этот вопрос. Конечно, эпический поэт носит в душе живейшее представление о своем материале, однако он повествует просто, естественно, и хотя его рассказ по большей части представляет последовательное повествование, но часто является и повествованием о параллельно совершающемся, а нередко — с обратной последовательностью (предварение катастрофы). Он спокойно описывает местность, время, одежду своих героев, и хотя он заставляет их говорить, но передает и выражения их лиц и движения, а порой из глубины его собственной души, его субъективности сверкнет молния и мгновенным светом озарит место действия и героев его эпоса. Эти субъективные вспышки, от которых не свободны оба лучшие наши эпические сказания, «Одиссея» и «Нибелунги», и которые, быть может, свойственны эпосу, говорят о том, что способность отрешения от субъективности для эпоса не необходима в столь высокой мере, как для драмы. В этом последнем поэтическом роде названная способность должна быть совершенной. Но это еще далеко не самое главное. Драма предполагает подмостки, где дело обстоит не так, что кто-то выходит и декламирует произведение, а где выступают сами герои произведения, живые, говорящие, совершающие поступки сообразно своим характерам. При этом поэту только необходимо обозначить, что они говорят и как поступают. Но горе тому поэту, который забудет, что эти живые люди, изображающие героев, располагают правом группироваться и строить гримасы по своему усмотрению, что костюмер печется о красивых платьях, театральный живописец о красивых декорациях, капельмейстер о сумеречных чувствах, а ламповщик об ярком освещении. Все это никак не умещается в голове эпического поэта, и когда он испытывает свои силы в драме,

то запутывается в прекрасных описаниях местности, обрисовке характеров и излишне тонкой нюансировке. Наконец, драма не терпит никакой остановки, никакой параллельности, а тем более обратной последовательности, как эпос. Таким образом, основная черта драмы — живое и все более живо развертывающееся движение и переплетение диалога и действия.

Мы бегло наметили отличительные свойства эпоса и драмы, и всякому понятно, отчего так много поэтов с успехом перекочевывают из области лирики в область эпоса: им не приходится здесь начисто отречься от своей субъективности, и посредством возможных опытов в романсе, элегии, романе и других подобных поэтических родах, состоящих из смешения эпического и лирического, они могут мало-помалу привыкнуть к этому отрешению от субъективности или же отыскать легкий переход к чистому эпосу, тогда как в драматической поэзии подобных переходных форм не существует и сразу требуется настраивающее подавление пробивающейся субъективности. Вместе с тем очевидно, что привычка испытанного эпического поэта постоянно думать об описании местности, костюмов и т. п. делает его скверным драматургом, и потому хорошо, ежели поэт, желающий преуспеть в драматическом творчестве, прямо перейдет из области лирики в область драмы.

Мы с удовольствием отмечаем, что последнее и случилось с автором обсуждаемой трагедии, чьи лирические стихи столь часто восхищали нас как своим внешним блеском, так и живой искренностью. Но как труден, как невыносимо труден переход от лирического к драматическому — наш уважаемый автор испытал на себе, ибо первая его трагедия, предшествовавшая «Тассо», совершенно не удалась. Однако честное признание этой неудачи, сделанное автором в предисловии к «Тассо», а также поразительное впечатление, которое произвела его последняя трагедия на тех, кто имел несчастье прочесть первую, — все это дает нам право пренебречь многими недостатками «Тассо», восхищаться смелым движением автора вперед, признать его уже завоеванный талант и показать ему издали венок, который никак не минует его, ежели он с теми же устремлениями пойдет дальше по этому пути.

Скромное разъяснение, предложенное в предисловии к «Тассо», обязывает нас вместе с тем старательно воздержаться от какого бы то ни было сравнения с драмой Гете того же названия. Однако мы не преминем заметить, что происшествие, которое служит у Гете поводом к катастрофе, так же использовано и нашим автором, именно: Тассо, опьяненный любовным восторгом, обнимает Леонору д'Эсте. Как историческое событие, мы это происшествие принуждены отвергнуть. Лучшие биографы Тассо, как Серасси, так и Мансо (ежели мы не ошибаемся), отрицают его. Только Муратори рассказывает нам эту сказку. Мы даже сомневаемся, что существовала когда-либо любовь между Тассо и принцессой Леонорой, бывшей на десять лет старше его. Вообще мы не можем безоговорочно принять общераспространенное мнение, что герцог Альфонс заточил несчастного поэта в дом умалишенных из чистого эгоизма, из страха умалить свою собственную славу. Разве это так неслыханно и непостижимо, чтобы у поэта помутился ум? Отчего бы нам не объяснить разумно возникновение этого безумия? Отчего бы по крайней мере не согласиться, что причина этого заточения заключена как в мозгу поэта, так и в сердце герцога? Впрочем, мы лучше сразу оставим всякие исторические параллели: предположим, что фабула пьесы заранее известна в том виде, в каком она вошла в обращение, и посмотрим, как наш автор поступил со своим материалом.

Первое, что мы здесь отметим, это то, что автор вводит в игру Леонору, упомянутую Мансо и решительно отвергнутую Серасси. Этот удачный ход дает пьесе интересную, запутанную, драматическую интригу. Эта Леонора номер три, по имени Леонора ди Джизелло, — компаньонка Леоноры де Санвитале. Разговором этих обеих Леонор в дворцовом парке в Ферраре и открывается пьеса.

Леонора ди Джизелло признается, что любит Тассо, и рассказывает, что располагает доказательством его взаимности. Графиня возражает ей, что это доказательство, состоящее в том, что в песнях Тассо столь часто прославляется имя Леоноры, весьма двусмысленно, ибо это имя носят при дворе еще две другие дамы — она сама и принцесса. Даже вероятнее всего, что прославлена принцесса. Графиня вспоминает тот день, когда Тассо поднес

герцогу оконченную им поэму «Освобожденный Иерусалим», а принцесса:

...рукой проворною венок,
Вещавший бюст Вергилия, схватила
И на чело поэту возложила.
А тот склонил колени и главу,
Украшенную лавром наяву!
Он вздрогнул; как он ни склонился низко,
Я видела, как взор его пылал
И рвался ввысь, к принцессе; это было
Пределом высшим, для него возможным;
На тысячу венков капитолийских
Он этого венка не променял бы;
Тщеславный, он потом его повесил
У ложа своего, над головой.
С досадою глядит на все Альфонсо,
Он мнит свое величие задетым;
И как дознаться, что у них в душе?!

Является принцесса, она дразнит графиню тем, что имя Леонора так прославлено. В последующем монологе принцесса открывает свою любовь к Тассо. Он появляется и говорит о своей любви к ней:

П р и н ц е с с а

О, замолчите, Тассо, замолчите
Ради меня; и так я знаю все.

Т а с с о

Не можете вы знать, как я терзаюсь,
Как, для того чтобы себя не выдать
И вас не выдать также, исхожу я
Любовью, как притворщик, сразу к трем,
И каждой одинаковым являюсь.

Он погружается в любовные мечты и уходит, когда приближается герцог. Последний язвительно намекает на их любовь; принцесса плачет, Альфонс уходит, Тассо возвращается: «Вы плачете, Элеонора?» Он воспламеняется гордой отвагой, приходит в замешательство, слагая томный сонет, и в любовном безумии обнимает принцессу. Меж тем в глубине сцены появляется герцог в сопровождении графа Тирабо и нескольких дворян; он стремительно подходит к Тассо. Конец первого действия.

Принцесса в любовном томлении. Приходит графиня и рассказывает ей:

В покое после случая того
Оставил герцог нашего поэта.
Вы не могли б и сами объяснить
Личины этой, принятой Альфонсо.

После чего граф Тирабо пришел к Тассо и, притворно сожалея, стал глумиться над ним. Тассо ударил его.

Одумавшись, он предлагает биться
И шпагу обнажает во дворце.
.....
Но граф сослался на величье места
И ждет поэта на валу Ленардо.

Там на Тассо нападают братья Тирабо, три коварных молодца, он храбро защищается, однако под конец его берут под стражу. Слышны ликующие крики народа по случаю победы Тассо. Появляется герцог, оскорбляет сестру новыми колкостями и велит ей удалиться в ее покои. В следующем монологе он показывает себя в истинном свете:

Ушла; лишусь ее благоволенья,
Но обрету признание других!
Я первый здесь, я властелин двора,
Я раздаю отличья, привлекаю
Со всей страны художества сюда,
Чтоб сообщить Ферраре блеск достойный;
Стекается сюда дворянства цвет
Полюбоваться красотой женщин,
Которых славит громкая молва.
Лишь я один при собственном дворе
Последний, не замечен я никем;
Все греются в лучах моей державы,
В тени величья моего ютятся,
Но всех манит блуждающий огонь,
Все одному внимают томно эхо:
То Тассо, мною призванный в Феррару;
Влачит он праздно дни свои, охоту
Убийством именует, созерцает
Не землю, где живет, а месяц в небе...
Пускай остережется! Хочет сбросить
Он герцогский покров мой; как бы в складках
Широких не запутаться ему!

Является граф Тирабо и открывает герцогу средство, как устроить, чтобы ему опять блистать одному. Средство это — удалить Тассо. Дать ему свободу, внушить ему,

что принцесса отвернулась от него, и он сам удалится. — Тассо на свободе и прогуливается по саду. Он слышит звон гитары, и какой-то голос поет томно-страстную песню из его «Аминты». Это певица Джустина хочет сладостными звуками завлечь скромного поэта в сети плотских удовольствий. Тассо стыдит ее строгой речью и с неукротимой горечью и презрением говорит о знатнейших при дворе и о самом герцоге. — Тут являются герцог и граф. Так как Тассо злословил о князьях и кажется безумным, то его волокут в госпиталь св. Анны. Конец второго действия.

Сад в Ферраре. Диалог между герцогом и графом. Последний замечает, что за Тассо нужен строгий пригляд. Герцог желает лишь, чтобы от него не было вреда, именно — от его любви к принцессе. Она является и просит брата об освобождении поэта. Герцог склонен исполнить ее просьбу, если она уедет в Паланто. Она решается на это и препоручает графине Санвитале заботиться о Тассо во время своего отсутствия. Глубокая любовная мука принцессы. Конец третьего действия.

Сад в госпитале св. Анны. Госпитальный духовник и Леонора ди Джизелло; последняя одета пилигримом. Она спрашивает у духовника разрешения поговорить с Тассо, которого сюда заключили как безумного. Мистическая беседа Тассо и Леоноры; она рассказывает, что отправляется паломницей в святую землю, и вручает ему ключ, чтобы он бежал через дверь в эркере.¹ Тассо думает, что ему привиделся ангел. Граф Тирабо приходит к духовнику и объявляет ему, что Тассо должен быть освобожден. — Ночь. Эркер перед комнатой Тассо, неподалеку от моста, перекинутого через реку. Леонора ди Джизелло, собравшись в странствие, присела на скамью под эркером. Принцесса вместе с придворной дамой переходит мост, чтобы отправиться в Паланто. Тассо появляется в окне эркера. Бесконечно горестный любовный диалог между ним и принцессой. Нетвердой походкой она удаляется в сопровождении придворной дамы. Леонора ди Джизелло подымается со своего места; услышанный разговор утверждает ее в намерении совершить долгое странствие;

¹ Эркер (*нем.*) — полукруглый или многогранный выступ в стене, освещенный окнами и проходящий через несколько этажей.

нежным словом приветствует она Тассо и быстро уходит; Тассо громко взывает к ней: «О постой, постой, пресветлый дух».

Оковы спадают, и Тассо свободен.

Он простирает руки к убегающей. Конец четвертого действия.

Приемная в монастыре св. Амброджо в Риме. Духовник и Мансо, друг детства Тассо(?). Мансо только что прибыл в Рим и узнает, что на следующий день в Капитолии Тассо венчают лаврами. Он стремится к нему; духовник предупреждает, что Тассо спит в соседней комнате, однако жестоко болен, и что его уже причащали и соборовали. Он рассказывает, что Тассо самовольно бежал из заключения как раз в тот день, когда герцог даровал ему свободу, что некий паломник тайно вручил ему необходимый для сего ключ, что паломник этот, вероятно, была Леонора ди Джизелло, но что, однако, Тассо все еще считает его посланником Божиим. Он описывает состояние, в каком он нашел Тассо:

По улице, в убогом одеянье,
Он шел, шатаясь; ранняя весна
Над ним являла нрав свой прихотливый.
Последовал за градом теплый дождь,
Потом пробилось солнце, и потом
Опять нагнал холодный ветер тучи.
Так шел он, с головою непокрытой,
И раздувались волосы по ветру,
И низко был надвинут на чело
Венок иссохший, тот, которым Тассо
Когда-то увенчала Леонора
За муки вдохновенные его.

Тассо еще сегодня должны перевести в монастырь св. Онуфрия, ибо это место ближе к Капитолию. — Является Тассо; в руках лавровый венок принцессы. Он говорит уже как просветленный, и с любовью встречает Мансо. Приор монастыря св. Онуфрия и два монаха приходят за Тассо. Кругом теснится народ; ликование и музыка. Тассо охватывает вдохновение. Он говорит о неземном венчании; он высоко подымает лавровый венок принцессы:

Здесь, на земле, я им велик был. Там —
Меня прекрасный ангел увенчает,
А *этот* лавр — пусть о земном вещает!

Он отдает лавровый венок духовнику. Обессиленного и шатающегося, его с триумфом уводят, провожая шумной музыкой.

Колонный зал в академии монастыря св. Онуфрия. В середине — статуя Ариосто. В глубине — вид на Капитолий. Входят Константин и кардинал Чинтио. Первый рассказывает о смерти принцессы Леоноры:

Глубокая царил скорбь в Ферраре,
И не звучали больше песни Тассо;
Поэт исчез, принцесса умерла.
Графиня Санвитале настояла
На том, чтоб я немедленно покинул
Феррару и спешил к Торквато, в Рим,
Дабы его вконец не поразило
Известье о кончине Леоноры.

Тассо с триумфом вводят в залу. Так как у него подкашиваются ноги от слабости, то провожатые сажают его на одну из ступенек перед статуей Ариосто. Ликование врывающейся толпы. Кардиналы, прелаты, вельможи и офицеры наполняют залу. Вихрь музыки. Тассо с трудом встает. Константин падает к его ногам и приветствует своего прославленного друга. Тассо испуганно смотрит на него:

Т а с с о

Так это правда, это был не сон?
Ты встретился когда-то мне и прежде,
Я слышал скорбный погребальный звон,
И видел друга в траурной одежде,
И как во сне внимал твоим устам:
«Торквато встретит Леонору — там!»

Тассо, видимо, чувствует приближение смерти, восторженно говорит о боге и духовной любви, опускается и, уже мертвый, остается сидеть на пьедестале статуи своего великого соперника Ариосто. Духовник принимает переданный ему лавровый венок и увенчивает им священную голову умершего. Затихающая музыка. Занавес падает.

Согласно предпосланным нами пояснениям, нам надлежит признать, что автор в обработке своего материала проявил лишь весьма незначительный драматический талант. Большинство действующих лиц говорит одним и тем же тоном, почти как в театре марионеток, где один говорит за нескольких кукол. Почти все гово-

рят одним и тем же лирическим языком. Так как автор — лирик, то мы можем утверждать, что ему не удалось совершенно отрешиться от субъективности. Лишь кое-где, в особенности когда говорит герцог, заметно стремление к этому. Это промах, которого не избежал почти ни один лирический поэт в своих первых драматических опытах. Напротив, живое развитие диалога весьма часто удавалось автору. Лишь кое-где встречаются места, где все кажется застывшим и где вопрос и ответ часто притянуты за волосы. Первая сцена экспозиции всецело построена по досадному французскому шаблону, а именно — беседа наперсниц. Как отличаются от всего этого наши великие образцы Шекспира, где уже экспозиция является достаточно мотивированным действием. Непрерывное развитие действия совершенно отсутствует. Такое развитие заметно лишь до известных моментов. Эти моменты — конец первого и четвертого действия, после чего автор каждый раз как бы делает новый разбег.

Мы переходим к разбору поэтических достоинств «Тассо».

Многих удивит, что под этой рубрикой мы будем говорить о сценическом эффекте. В последнее время, когда большинство молодых поэтов стремится достичь сценического эффекта за счет драматического, различие между тем и другим достаточно обсуждалось и разбиралось. Это порочное стремление заложено в самой природе вещей. Поэт желает произвести впечатление на публику, и это впечатление легче достигается посредством сценического, нежели посредством драматургического достоинства пьесы. Гетевский «Тассо» идет на сцене тихо и бесшумно; а часто самое плачевное произведение, где диалог и действие совершенно деревянные, и притом сквернейшего дерева, но где в надлежащий момент разрывается довольно много театральных хлопущек, — вызывает аплодисменты галерки, восторги партера и благосклонность лож. Мы не в состоянии достаточно громко и достаточно часто кричать молодым поэтам в уши, что чем явственней в драме стремление к таким трескучим эффектам, тем она ничтожней. Однако мы признаем, что там, где сценический эффект естествен и необходим, там надлежит его отнести к поэтическим красотам драмы. Это как раз мы и находим в разбираемой трагедии. Сценические эффекты

вплетены в нее весьма скупо; однако там, где они налицо, в особенности в конце пьесы, они создают в высшей степени поэтическое впечатление.

Еще более странным покажется, что мы причисляем соблюдение трех правил драматического единства к поэтическим красотам пьесы. Правда, мы считаем единство действия решительно необходимым по самому существу трагедии. Однако, как мы увидим ниже, существует род драмы, где отсутствие единства действия можно считать прощительным. Что же касается единств места и времени, то хотя мы и настоятельно рекомендуем их соблюдение, однако не оттого, что они решительно необходимы по самому существу драмы, а потому, что они великолепно украшают ее и как бы накладывают на нее печать высшего совершенства. Но там, где это украшение приходится приобретать за счет больших поэтических красот, там лучше будет от них скорей отказаться. Поэтому нет ничего смешней, как односторонне строгое соблюдение этих двух единств и односторонне строгое их отрицание. Наш автор не соблюдал ни одного из всех трех единств. Согласно изложенному выше мнению, мы можем привлечь его к ответу лишь за отсутствие единства действия. Однако и здесь, мы полагаем, можно найти для него извинение.

Мы различаем трагедии такие, где главная цель поэта—развернуть перед нашими глазами примечательное событие, и такие, где он желает, чтобы мы узрели игру определенных страстей, и такие, где он стремится живо представить нам известные характеры. Две первые цели преследовали греческие поэты. Поэтому они придавали наибольшее значение развитию действия и страстей. Они по справедливости могли обходиться без изображения характеров, ибо их персонажи по большей части были известные герои, боги и тому подобные установившиеся характеры. Это вытекало из самого происхождения их театра. Священнослужители и эпические поэты уже задолго предопределили контуры характеров героев драматургии. Совсем иначе в нашем современном театре. Изображение характеров в нем самое главное. Не заключается ли причина этого также в происхождении нашего театра, ежели принять, что он возник главным образом из масленичных потех? Ведь главной их целью было живо, часто кричаще, вывести известные характеры, а не разви-

вать действие, или, еще меньше, отдельную страсть. У великого Вильяма Шекспира мы впервые встречаем соединение трех названных выше целей. Поэтому на него можно смотреть как на основателя современного театра, и он остается нашим великим, конечно недосягаемым, образцом. *Иоганн-Готтольд-Эфраим Лессинг, человек с самой светлой головой и самым прекрасным сердцем*, был в Германии первым, кто всего прекрасней и соразмерней сочетал в своих драмах изображения действий, страстей и характеров и сливал их в одно целое. Так повелось вплоть до новейшего времени, когда многие поэты начали избирать главной целью своих трагедий не все три предмета драматического изображения, а каждый в отдельности. Гете был первым, кто подал сигнал к простому изображению характеров. Он даже подал сигнал к изображению характера определенного класса людей, именно художников. За его «Тассо» последовал «Корреджо» Эленшлегера, а за ним, в свою очередь, множество подобных трагедий. Также и «Тассо» нашего автора принадлежит к этому роду. Поэтому мы, по справедливости, можем извинить отсутствие единства действия этой трагедии и посмотрим, верно ли и правдиво ли изображение характеров, а вместе с тем и страстей.

Характер главного героя, по нашему мнению, выдержан и верно схвачен. Здесь, по-видимому, автору помогло одно счастливое обстоятельство, именно то, что Тассо — поэт! — поэт часто лирический и всегда религиозно-мечтательный. Тут мог наш автор, к которому все это равным образом относится, развернуть всю свою индивидуальность и придать характеру своего героя поразительную правдивость. Это — прекраснейшее, самое лучшее во всей трагедии. Несколько менее удачно очерчен характер принцессы; слишком он мягкий, слишком восковой, слишком расплывчатый; ему недостает содержания. Графиня Санвитале обрисована автором равнодушно: лишь едва-едва позволяет он ей проявить расположение к Тассо. Герцог во многих сценах очерчен весьма правдиво, хотя часто противоречит самому себе. Например, в конце второго действия он приказывает заточить Тассо, чтобы тот впредь не поносил его имени, а в первой сцене третьего действия говорит, что поступил так из опасения, как бы не случилось чего дурного от любви Тассо и его сестры.

Граф Тирабо не только жалкий человек, но также, чего никак не хотел автор, человек непоследовательный. Леонора ди Джизелло — прелестный колокольчик, что сзывает к вечерне, отрадно и мило звучит среди всей этой сумятицы и, постепенно стихая, замирает.

Прекрасен и великолепен стиль автора. Как удачен, трогателен и пленителен, например, ночной разговор принцессы и Тассо! Эти скорбно-мягкие, томительно-сладостные звуки неудержимо влекут нас в мир поэтических грез, сердце источает кровь из глубоко сокроуенных ран — но в этом заключено бесконечное блаженство, а из красных капель вырастают сверкающие розы...

Т а с с о

Глядится ночь миллионами очей,
И я в сомненье, — может быть, за мною
Она следит? Такая прелесть в ней,
Но может быть, истомую ночью
Охвачено, ко сну склонится тело?

П р и н ц е с с а

Как будто слово чье-то долетело
Оттуда к нам? Я смущена душою...

П р и д в о р н а я д а м а

О да, принцесса, бледный, истомленный,
Стоит там Тассо, — поручусь я смело, —
Ночным дурманом росным упоенный.

Т а с с о

Чей образ воссиял там горделиво —
Иной он служит, выше вознесенной,
Той, что возникла рядом с ним, на диво,
Как в серебре, в лучистом одеянье,
И охраняет звездный хор ревниво
Ее главу в слепительном сиянье...

П р и н ц е с с а

Но стелются туманы полосою
И помрачают звезд моих мерцанье.

Т а с с о

Нас ждут цветы под новою росою
И новые венки нам ночь сплетает.

Столь же дивно хороши стихи на странице 77, так же, как и стансы на странице 82, где Тассо, обращаясь к Джизелло, посетившей его как паломник, говорит:

Как к солнцу тянется цветок влюбленный
И как роса искрится в утре дня,
Как ангелы, теснясь вокруг мадонны,
Поют хвалу ей, головы клоня,
Так свет любви, чарующе бездонной,
Влечет к своим высотам и меня;
Я ясно вижу облик благородный
И верен ей — в оковах и свободный.

Однако уместна ли вообще рифма в трагедии? Мы решительно против нее, допустили бы ее только в чисто лирических излияниях и в разбираемой трагедии прощаем ее лишь там, где говорит сам Тассо. В устах поэта, который на своем веку так много рифмовал, рифма звучит по крайней мере не совсем неестественно. Для плохого поэта рифма в трагедии всегда будет благодетельными костылями, для хорошего поэта — тягостными оковами. В любом случае, надев на себя эти оковы, поэт ничем не вознаградит себя. Ибо наши актеры и в особенности актрисы все еще придерживаются пагубного правила, что рифмы — это только для глаз и что надобно остерегаться, чтобы не сделать их слышимыми. Ради чего же корпел тогда бедный поэт? Как ни благозвучны стихи нашего автора, однако им недостает ритма. Он не владеет искусством enjambement,¹ что в пятистопном ямбе создает столь неподражаемые эффекты и благодаря чему достигается столь большое метрическое разнообразие. Иногда у автора проскальзывает шестистопный ямб; на первой же странице:

Что славят образ твой, как свойственно влюбленным.

Или это умышленно? Нам непонятно, как мог автор скандировать «Virgil» на страницах 7 и 22, равно как на странице 4: «Und vielleicht dārüm, weil sie's nõt'ger haben»; на странице 14 дактиль «Hörenden» в конце стиха не слышен. Хотя наши лучшие старые поэты допускали подобные ошибки, молодым все же следует стараться их избегать.

¹ Перенос в последующую строку слова или нескольких слов, тесно связанных по смыслу с предыдущей строкой (франц.).

Теперь мы переходим к вопросу: каково достоинство разбираемой трагедии в *этическом* отношении?

В *этическом*? В *этическом*? — слышим мы вопросы. Ради бога, ученые господа, не придерживайтесь школьного определения. Этическое — здесь только обозначение рубрики, и в дальнейшем изложении мы поясним, что намереваемся мы включить в эту рубрику. Послушайте, разве вам никогда не приходилось вечером возвращаться из театра внутренне недовольным, расстроенным и раздраженным, хотя пьеса, которую вы смотрели только что, была доподлинно драматична, театральна, короче — полна поэзии? В чем же тогда недостаток? Пьеса не вызвала единства чувства. Вот в чем дело. За что добродетельный человек должен погибнуть от козней негодяев? Почему доброе намерение оказалось пагубным? За что принуждена страдать невинность? Вот вопросы, от которых мучительно сжимается грудь, когда мы возвращаемся из театра после представления некоторых пьес. Греки прекрасно чувствовали необходимость подавить в трагедии это мучительное «за что», и они создали *фатум*. И как только в стесненной груди подымается это тяжелое «за что», тотчас же является серьезный хор и указывает перстом на небо, на высший мировой порядок, на предвечный закон необходимости, перед которым склоняются даже боги. Таким образом удовлетворялось стремление человека к духовному завершению и являлось еще одно невидимое единство — единство чувства. Многие поэты нашего времени чувствовали то же самое, копировали *фатум*: так возникли наши современные «*трагедии судьбы*». Удачны ли эти подражания, наделены ли они вообще сходством со своим греческим прототипом, это мы оставим в стороне. Достаточно сказать, что как ни похвально было стремление вызвать единство чувства, однако эта идея судьбы оказалась весьма плачевным подспорьем, безотрадным, вредным суррогатом. Эта идея судьбы находится в полном противоречии с духом и моралью нашего времени, выработанными христианством. Эта ужасная, слепая, неумолимая власть судьбы несоединима с идеей небесного отца, исполненного любви и милосердия, заботливо охраняющего невинность, без чьего соизволения ни один воробей не упадет с крыши. Лучше и действенней поступают те новейшие поэты, которые выводят все собы-

тия из естественных причин, из нравственной свободы самого человека, из его склонностей и страстей, и в своих драматических представлениях, едва только на губах промелькнет то ужасающее последнее «за что», тихонько приподнимают темную небесную завесу и дают нам заглянуть в тот надземный мир, где при виде сверкающего великолепия, брезжущего блаженства мы возликуем посреди страданий, забудем эти страдания или почувствуем, что они превратились в радость. Вот почему самые печальные драмы доставляют чувствительнейшим сердцам бесконечное наслаждение. Следуя этому похвальному правилу, и наш автор стремился вызвать единство чувства. Точно так же он выводил события из их естественных причин.

В словах принцессы:

Вы к людям примениться неспособны,
Толкуете по-своему чужое
И сами говорите, не обдумав;
Вот этой нитью черною вы сами,
Поэты, ткань судьбы своей мрочите, —

в этих словах мы узнаем фатум, преследующий несчастного Тассо. И наш автор сумел с большим искусством тихо приоткрыть нашему зору небесную завесу и показать, как душа Тассо уже блаженствует в царстве любви. Все наши муки сострадания разрешаются в тихую душевную радость, когда в пятом действии мы видим бледного Тассо, который медленно входит со словами:

Помазаньем священным я очищен,
И те уста, чья суетная песнь
О мире этом суетном вещала,
Вкусили плоти господа Христа.

Конечно, нам надлежит с исторической точки зрения рассматривать те чувства, что возбудили в нашем религиозном мечтателе священные обряды римско-католической церкви, которые измышлены людьми, превосходно знающими человеческое сердце, его раны и целительно одухотворяющее действие приличествующих символов. Мы видим здесь Тассо уже в преддверии неба. Его возлюбленная Элеонора уже предшествовала ему, и святое предчувствие должно было дать ему уверенность, что он там ее встретит. Этот взгляд, брошенный за небесную

завесу, смягчает нашу бесконечную скорбь, когда перед нами виднеется вдали Капитолий и многострадальный поэт в тот момент, когда он должен получить высшую награду, падает мертвым перед статуей своего великого соперника. Священник, увенчивая голову покойника лавровым венком Элеоноры, берет заключительный аккорд. Кто не почувствует здесь глубокого значения этих лавров? Они — мука и радость Торквато; они не покинули его ни в муке, ни в радости, нередко жгли его чело, словно раскаленные уголья, часто, подобно бальзаму, освежали его бедный пылающий лоб и, наконец, навеки увенчали его главу доставшимся в тяжелой борьбе знаком победы.

Не отверг ли наш автор единство действия ради этого единства чувства? Не представлялось ли его воображению нечто подобное тому, что вызвало у древних трилогию? Мы почти готовы так думать, и мы не можем отказаться от просьбы к автору — слить пять действий его трагедии в три, из которых каждое в отдельности тогда представило бы собой отдельную часть трилогии. Первое и второе действия слились бы вместе и озаглавились бы: «Тассо при дворе»; третье и четвертое действия также соединились бы и назывались бы «Тассо в заточении», и пятое действие, которым бы заканчивалась трилогия, называлось бы «Смерть Тассо».

Выше мы показали, что единство чувства принадлежит к этическому в трагедии и что наш автор в совершенстве и образцово выдержал это единство. Однако он удовлетворил и второе этическое требование. Именно: его трагедия исполнена мягкости и примирения.

Под этим примирением мы понимаем не только *аристотелевское трагическое очищение страстей*, но и мудрое соблюдение границ чисто человеческого. Никто не сможет вывести на подмостки более ужасные страсти и поступки, чем Шекспир, и, однако, никогда не случается, чтобы наш внутренний мир, наша душа были крайне возмущены им. Совсем не то во многих наших новейших трагедиях, во время представления которых наша грудь словно стиснута «испанскими сапогами», дыхание спирается в горле, а чувство невыносимой тошноты наполняет все наше существо. Собственная душа должна служить поэту надежным мериллом того, как далеко можно зайти, вывода на сцену страшные и ужасные вещи. Не следует допускать,

чтобы холодный рассудок измышлял всяческие ужасы, составлял из них мозаику и штабелями укладывал их в трагедию. Правда, мы отлично знаем, что все ужасы Мельпомены исчерпаны. Ящик Пандоры пуст, и дно его, к которому еще могла прилипнуть какая-нибудь беда, начисто выскоблено поэтами, и стихотворцы, охотники до успехов, принуждены в поте лица своего высиживать новые ужасные образы и новые беды. Таким образом, дело дошло до того, что наша современная театральная публика порядком освоилась с братоубийством и отцеубийством, кровосмешением и т. д. Если в конце пьесы герой, находясь в более или менее здравом уме, совершает самоубийство, — *cela se fait sans dire*.¹ Это наш крест, наше горе. В самом деле, ежели так пойдет и дальше, то поэтам двадцатого столетия придется заимствовать драматический материал из японской истории и выводить на сцену для всеобщего назидания и все тамошние способы экзекуций и самоубийств: закалывание, сажание на кол, вспарывание живота и прочее. Поистине возмутительно, когда видишь, как в наших новейших трагедиях вместо подлинно трагического развелись бойня, резня, терзание чувств, как, дрожа и стуча зубами, сидит публика на скамьях подсудимых, как ее морально колесуют, и притом спизу вверх. Неужто наши писатели совсем забыли, какое огромное влияние оказывает театр на народные нравы? Неужто они забыли, что надлежит смягчать, а не ожесточать эти нравы? Неужто они забыли, что драма вообще имеет одну цель с поэзией — примирять, а не возбуждать страсти, делать человечнее, а не обезчеловечивать? Неужто наши поэты совсем забыли, что поэзия сама в себе заключает достаточно средств, чтобы взволновать и удовлетворить самую пресытившуюся публику без отцеубийства и кровосмешения?

Однако прискорбно, что наша большая публика так мало смылит в поэзии — почти столь же мало, как наши поэты.

¹ Это делается весьма просто (*франц.*).



РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛЬСКИЙ АЛЬМАНАХ МУЗ НА 1821 ГОД

Издан Фридрихом Рассманом
(Гамм, у Шульца и Вундермана)

«Что скоро, то не споро», «Тише едешь, дальше будешь», «Рим не один день строился», «Не поспеешь сегодня, приедешь завтра» — и еще много сотен подобных пословиц не сходят с уст немца, служат ему костылями в любом предприятии и с полным правом должны быть поставлены эпиграфом ко всей немецкой истории. Только наши издатели альманахов отступились от этих праздных пословиц, и собранные ими поэтические букетики, предназначенные в зимнюю пору служить публике суррогатом живых цветов, появляются уже ранней осенью. Оттого-то и странно, что лежащий перед нами поэтический букет появился так поздно, именно в апреле 1821 года. Виноваты ли в том поставщики цветов, корреспонденты? Или составитель букета, издатель? Или продавщица цветов, книготорговля? Однако ж это не заурядный альманах, не поэтическая карманная книжка или подобная ей форматом «дуодец»,¹ предназначенная к тому, чтобы в качестве очаровательного новогоднего подарка покорно скользнуть в бархатный ридикюль прелестной дамы или красоваться тонко тисненной виньеткой и блистающим золотым обрезаем на душистом туалетном столике рядом с помадной

¹ Duodesim (*лат.*) — одна двенадцатая.

банкой. Нет, господин Рассман предлагает нам «*Альманах муз*». А в таком альманахе вовсе не должно быть прозы (а если возможно, и ничего *прозаического*) по той простой причине, что музы никогда не говорят прозой. Это положение, вызванное историческим воспоминанием об «Альманахах муз» Фосса, Тика, Шлегеля и др., побудило однажды покойную бабушку рецензента заявить, что, собственно, там, где не звучит рифма и не скачут гекзаметры, вовсе нет поэзии. Согласно этому положению, можно дерзновенно утверждать, что многие наши прославленные, многие наши весьма читаемые авторы, к примеру Жан-Поль, Гофман, Клаурен, Каролина Фуке и пр., ничего не смыслят в поэзии, ибо никогда не сочиняют стихов или делают это крайне редко. Однако многие люди, а среди них наполовину и рецензент, склонны это положение оспаривать. Не принадлежит ли к ним и господин Рассман? Но откуда эта астматическая прихоть: на выставку поэзии — а чем же еще надлежит быть «Альманаху муз» — не допускать совсем прозу? Между тем, оставляя в стороне все случайное и касающееся внешней формы, рецензент должен признаться, что содержание книжки показалось ему исполненным теплоты и приятности, что многие стихотворения взволновали его сердце и что при чтении «Рейнско-Вестфальского альманаха муз» ему было так отрадно, уютно и привольно, словно он ел свое любимое кушанье, сырую вестфальскую ветчину, запивая ее рейнвейном. Однако отсюда отнюдь не следует, что представленных в «Альманахе» вестфальских поэтов следует сравнить с вестфальской ветчиной, а помещенных там же рейнских поэтов — с рейнвейном. Рецензент слишком хорошо изучил честнейшую, неподдельно бодрую натуру истого вестфальца, чтобы не знать, что ни в одной отрасли литературы он не уступит своим соседям, хотя и не довольно еще искушен в умении пробивать себе путь, пощелкивая литературными кастаньетами и заговаривая зубы эстетическим краснотам. Среди тридцати семи поэтов, представленных «Альманахом муз», приветствуют нас и несколько новых имен; прежде всего следует упомянуть его издателя. Рассман по своей форме принадлежит к новой школе, но его сердце принадлежит еще старым временам, тем добрым старым временам, когда у всех поэтов Германии было *одно* сердце.

Уже при беглом взгляде на предмет литературной деятельности Рассмана искренне трогает его любовь к чужим работам, его ревностные поиски чужих достоинств (подлинные древнефранкские качества, давно уже вышедшие из моды!). В стихотворениях Рассмана, помещенных в «Альманахе муз», особенно в «Заточении весны», «Гончаре после свадьбы» и в «Бедняге Генрихе», отчетливо выражен этот принципиально-честный образ мыслей, эта любвеобильная энергия и почти ганс-саксовская роспись. Стихотворение Э. М. Ардта «Крепость истинного стража» искренне и юношески свежо. В «Элегии в честь герцогини Веймарской» В. фон Бломберга есть места доподлинно прекрасные и грациозные. Ноктюрен Бюрена «Ведьмы» — весьма приятен; автор хорошо чувствует, как много можно достичь приемами метрики; он хорошо чувствует мощь спондеев, в особенности спондеических рифм. Однако высокая изощренность, чувство меры, которое необходимо соблюдать, применяя их, ему еще неизвестны. От стихотворения Ж. Б. Руссо «Утрата» веет нежной, но в то же время искренней теплотой, прелестной мягкостью и сладостно-сокровенной тоской. Стихотворение Гейльмана «Дух любви» было бы превосходно, когда бы было более одухотворено и содержало меньше любви (самого слова). Сюжет «Шельм фон Берген» Теобальда восхитителен, почти несравненен; но автор стал на ложный путь, пытаясь воссоздать народный тон спотыкающимся стихом и языковыми неуклюжестями. Добродушный Гебауэр представлен здесь четырьмя стихотворениями, подлинно искренними, подлинно прелестными. Вильг. Сметс тоже поместил ряд прекрасных стихотворений; из них некоторые по праву можно назвать освежающими душу. К числу их относится сонет «Эрнсту Лассо» и стихотворение «На именины Елизаветы». Стихотворения Николая Мейера подлинно бодры; некоторые совсем превосходны; всех лучше «Пряжа любви». Похвального упоминания заслуживают стихотворения Адельгейды фон Штольтерфот, Софии Георге и фон Куровского-Эйхен.

Отпечатана книжка весьма привлекательно, но внешность ее скорее скромна и проста. Однако золото содержания заставляет скоро забыть о недостающем золоте на обресе.

Поправка: вследствие небрежности при переписке, допущенной рецензентом в отзыве на стихотворения «Рейнско-Вестфальского альманаха муз» (приложение к 129-му номеру «Собеседника», стр. 603), выпало: «Отшельник» (баронессы Элизы фон Гогенхаузен) — прочувствованная, веселая, свежая картина, прелесть и грациозность которой приятно взволнует душу читателя.



ПИСЬМА ИЗ БЕРЛИНА

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

1822

Как странно! — Будь тунисским деєм я,
Я шум бы поднял — случай чрезвычайный.

(«Прицц Гомбургский» Клейста.)

Берлин, 26 января 1822 г.

Ваше милейшее письмо от 5 с. м. исполнило меня величайшей радости, так как в нем с полнейшей ясностью сказалось ваше расположение ко мне. Отраднo становится у меня на душе, когда я узнаю, какое множество хороших и достойных людей с любовью и интересом вспоминают обо мне. Не думайте только, что я мог бы так скоро забыть вашу Вестфалию. Слишком ясно встает в моей памяти сентябрь 1821 года. Прекрасные долины вокруг Гагена, приветливый Овервег в Унне, приятные дни в Гамме, восхитительный Фриц фон Б., вы, В., древности в Зосте, даже Падерборнская равнина — все живо стоит еще предо мною. Я все еще слышу, как шумят над моей головой старые дубовые чащи, как каждый лист шепчет мне: «Здесь жили древние саксы, позже всех других утратившие свою веру и свое германство». Я все еще слышу, как древний камень взывает ко мне: «Путник, остановись, здесь Арминий убил Вара!» Надо исходить Вестфалию пешком, и исходить ее, как я, переходами австрийского ополчения, если хочешь узнать крепкую сосредоточен-

ность, прямодушную честность и непритязательную жизненную силу ее обитателей. Мне, разумеется, будет очень приятно, если я в самом деле, как вы мне пишете, моими сообщениями из столицы заслужу благодарность столь многих милых людей. Тотчас же по получении вашего письма я приготовил перо и бумагу и вот — пишу.

В материале недостатка нет, и вопрос только в том, о чем *не* писать. Другими словами: что давно известно читателям, что совершенно их не занимает и о чем им знать не следует? И тогда задача: писать о многом, но как можно меньше о театре и вообще о таких предметах, которые составляют основное содержание корреспонденций в «Вечерней газете», «Утреннем листке», «Венском листке» и т. д., где дается их подробное и систематическое изображение. Одному покажется любопытным, если я расскажу ему, что Ягор недавно прибавил к числу гениальных изобретений свое мороженое из трюфелей; другого занимает сообщение, что на последнем орденском празднике Спонтини был в сюртуке и штанах зеленого бархата с золотыми звездочками. Только не требуйте от меня систематичности; это ангел смерти для всякой корреспонденции. Я буду говорить сегодня о маскарадах и церквах, завтра о Савиньи и комедиантах, устраивающих шествие по городу в необычайных нарядах, послезавтра о галерее Джустиниани и затем опять о Савиньи и комедиантах. Все будет зависеть от ассоциации идей. Каждые четыре — шесть недель будет отправлено письмо. Два первые будут несоразмерно длинны, так как я должен предварительно очертить внешнюю и внутреннюю жизнь Берлина. Только очертить, не изобразить. Но с чего же начну я при такой массе материала? На помощь придет здесь французское правило: *Commencez par le commencement*.¹

Начинаю, таким образом, с города и прежде всего представляю себе, что опять только что вышел из кареты у почтовой станции на Королевской улице и мой легкий чемодан несут в «Черный орел» на Почтовой. Слышу уже ваш вопрос: «Почему это почтовая станция не на Почтовой улице, а «Черный орел» не на Королевской?» В другой раз отвечу на этот вопрос, пока же погуляю по городу и

¹ Начинайте с начала (*франц.*).

вас попрошу составить мне компанию. Пройдем вместе несколько шагов, — и вот мы уже на очень интересном месте. Мы на Длинном мосту. Вы удивлены: да ведь он совсем не длинный? Это ирония, дорогой мой. Постоим здесь минутку и полюбуемся большой статуей великого курфюрста. Он гордо восседает на коне, и скованные рабы окружают пьедестал. Это великолепная бронза и, бесспорно, наивысшее художественное создание в Берлине. И смотреть на него можно даром, потому что оно стоит посреди моста. Оно очень похоже на статую курфюрста Иоганна-Вильгельма на Рыночной площади в Дюссельдорфе; только в Берлине хвост у лошади не такой толстый. Но я вижу, вас толкают со всех сторон. На этом мосту всегда давка. Осмотритесь вокруг. Какая большая, великолепная улица! Это и есть Королевская улица, где один магазин следует за другим и пестрые, сверкающие выставки товаров чуть не ослепляют глаза. Пойдем дальше, — мы дошли до Замковой площади. Направо замок, высокое, величественное здание. Время окрасило его в серый цвет и придало ему вид мрачный, но тем более величественный. Налево еще две прекрасные улицы: Широкая и Братская. Прямо же перед нами Штехбан — нечто вроде бульвара. И здесь обосновался *Иосту!* О боги Олимпа! Какой невкусной сделал бы я для вас вашу амброзию, если бы описал сласти, груды выставленные у него. О, если бы вы познакомились с содержанием этого безе! О Афродита, если бы ты возникла из такой пены, ты была бы еще много слаще! Помещение, правда, тесно и шумно и убрано как пивная. Но доброта всегда одержит верх над красотой; как сельди в бочке, сидят здесь внуки бреннов, и смакуют крем, и щелкают языком в упоении, и облизывают пальцы.

...Прочь, прочь отсюда,
Глаз видит отпертые двери,
В блаженстве утопает сердце.

Мы можем пройти через замок, и вот мы в Люстгартене. «Но где же сад?» — спрашиваете вы. Ах, боже, — разве вы не замечаете, что это тоже ирония. Это четырехугольная площадь, огражденная двойным рядом тополей. Здесь мы натываемся на мраморную статую, у которой стоит часовой. Это Старый Дессауер. Он стоит в старопрус-

ском мундире, отнюдь не идеализованный, как герои на площади Вильгельма. Их я покажу вам сейчас. Это Кейт, Цитен, Зейдлиц, Шверин и Винтерфельд, два последних — в римских костюмах и париках с косичками. Здесь мы оказываемся прямо напротив собора, только недавно заново отделанного снаружи и украшенного двумя новыми башенками по обеим сторонам большой башни. Большая, сверху закругленная башня недурна. Но обе новые башенки очень смешны, имеют вид птичьих клеток. Рассказывают также, что великий филолог В. гулял здесь прошлым летом с проезжавшим ориенталистом Г., и когда последний, указывая на собор, спросил, что означают эти две птичьи клетки наверху, ученый остроумец ответил: «Здесь дрессируют снегирей».¹ В двух нишах собора должны быть поставлены статуи Лютера и Меланхтона. Не войти ли нам в собор полюбоваться восхитительной картиной Бегасса? Можете там насладиться назидательной речью проповедника Теремина. Но останемся лучше снаружи: там язвят паулюсианцев. Это не доставляет мне никакого удовольствия. Посмотрите лучше направо, на оживленную толпу людей рядом с собором, мечущуюся по четырехугольной, обнесенной железной решеткой площадке. Это биржа. Там торгашествуют приверженцы как ветхого, так и нового заветов. Не станем их трогать. О боже, что за лица! Корусть в каждом мускуле. Когда они разевают пасти, я как будто слышу крик: «Отдай мне все твои деньги!» Должно быть, много уже насобирали. Самые богатые, очевидно, те, на чьих блеклых лицах глубже всего запечатлено недовольство и раздражение. Насколько счастливее бедняк, не знающий, каким бывает луидор — круглым или четырехугольным. Недаром купец здесь пользуется малым уважением. Тем большим зато пользуются господа, разгуливающие там в больших шляпах с плюмажем и мундирах с красными обшлагами. Ибо Люстгартен есть в то же время место, где ежедневно сообщается пароль и производится вахтпарад. Хотя я и не особенный любитель всего военного, однако, должен признаться, с удовольствием смотрю всегда на прусских офицеров, собравшихся в Люстгартене. Красивые,

¹ Игра слов: по-немецки *Dompfaff* значит снегирь и (буквально) соборный поп.

крепкие, бравые, жизнерадостные люди. Случается, правда, подчас видеть в общей массе напыщенное, глупочванное, уставившееся на вас аристократическое лицо. Но у большинства здешних офицеров, особенно у молодежи, встречаешь скромность и непритязательность, тем более удивительные, что, как я уже сказал, военное сословие пользуется в Берлине наибольшим почетом. Конечно, его былой суровый кастовый дух смягчен уже тем, что всякий пруссак обязан в течение года прослужить в солдатах, и, от сына короля до сына сапожника, никто от этого уклониться не может. Последнее, конечно, очень тягостно и обременительно, но в некоторых отношениях и очень полезно. Оно ограждает нашу молодежь от опасности изнежиться. В некоторых государствах меньше жалуются на гнет военной службы потому, что там вся тяжесть ее возлагается на беднягу крестьянина, между тем как дворянин, ученый, богатый или, как, например, в Голштинии, всякий даже горожанин освобожден от военной службы. Как стихли бы у нас все жалобы на нее, если бы крикливые обыватели, наши политиканствующие приказчики, наши геиальничавшие коллежские регистраторы, канцеляристы, поэты и лоботрясы были освобождены от воинской повинности! Видите там крестьянина в учебном строю? Он делает на-плечо, на караул — и молчит.

Но вперед! Перейдем через мост. Вы удивлены громадами нагроможденных здесь строительных материалов и множеством рабочих, которые бродят, болтают, пьют водку и бездельничают. Раньше здесь был Собачий мост; по приказу короля его сломали и строят вместо него великолепный железный мост. Работы начались еще летом и продлятся долго; но в конце концов здесь появится великолепное сооружение. А теперь смотрите вперед. Вдали вы видите уже — *Липы!*

Право, я не знаю более внушительного зрелища, чем вид на Липы, открывающийся с Собачьего моста. Направо — высокое внушительное здание цейхгауза, полевая гауптвахта, университет и Академия. Налево — королевский дворец, опера, библиотека и т. д. Здесь одно роскошное здание теснится к другому. Повсюду украшающие их статуи, но из плохого камня и плохо изваянные. Исключение — стоящие на цейхгаузе. Мы нахо-

димся на Замковой площади, самой широкой и самой большой в Берлине. Королевский дворец — самое простое и самое незначительное из всех этих зданий. Наш король живет здесь. Просто и буржуазно. Шапки долой! — вот едет и сам король. Не на том великолепном шестерике: это выезд одного посла; нет, он сидит в плохом экипаже, запряженном парой заурядных лошадей. На голове у него обыкновенная офицерская фуражка, а фигуру скрывает серый плащ. Но глаз посвященного видит порфиру в этом плаще и корону в этой фуражке. Посмотрите, как приветливо отвечает король каждому на поклон. Прислушайтесь. «Красивый мужчина», — шепчет там маленькая блондинка. «Это был лучший семьянин», — вздыхая, отвечает ей приятельница постарше. «Ma foi,¹ — мычит гусарский офицер, — это лучший наездник в нашей армии».

Но как вам нравится университет? Право, чудесное здание! Жаль только, что очень немногие аудитории вместительны; большинство их мрачно и неприветливо, и, что хуже всего, многие выходят окнами на улицу, через которую наискось виден оперный театр. Как на раскаленных углях сидится бедному студенту, когда в уши ему несутся кожаные² — да не из сафьяна или шагрени, а из свиной кожи — остроты нудного доцента, а глаза его между тем блуждают по улице и наслаждаются живописным зрелищем сверкающих экипажей, марширующих мимо солдат, пронсящих нимф и пестрой толпы, стремящейся в оперу. Как горят, должно быть, в кармане у бедного бурша его шестнадцать грошей, когда он подумает: сейчас эти счастливицы увидят Эвнике в роли Серафима или Мильдер в «Ифигении». Apollini et Musis,³ — гласит надпись на оперном театре, а сыну муз нет туда доступа. Но взгляните, лекции кончились, и толпа студентов шагает к Липам. «Разве столько филистеров бывает на лекциях?» — спрашиваете вы. «Тише, тише, это не филистеры. Высокая шляпа à la Bolivar⁴ и сюртук à l'Anglaise⁵ еще далеко не признак филистера, так же

¹ Ей-богу (*франц.*).

² Игра слов: по-немецки ledern значит — кожаный и глухой.

³ Аполлону и музам (*лат.*).

⁴ В стиле Боливар (*франц.*).

⁵ В английском стиле (*франц.*).

как и красная шапка и фризловая куртка не признак бурша. Буршем с ног до головы одевается здесь не один парикмахерский подмастерье, не один тщеславный парнишка рассыльный, не один притязательный портной. Простительно приличному студенту, если он не хочет, чтобы его смешивали с такими господами. Курляндцев здесь мало. Зато много поляков — больше семидесяти, и вид большинства их сразу обличает бурша. Им нечего бояться вышеуказанного смешения. По этим лицам сразу видно, что не портняжная душа сидит под фризовой курткой. Многие из этих сарматов могли бы послужить образцом привлекательности и добропорядочности для сынов Германа и Туснельды. Это несомненно. Когда видишь столько высоких достоинств в иностранцах, то, поистине, необходим невероятный запас патриотизма для того, чтобы по-прежнему воображать, будто самое превосходное и ценное, что есть на земле, — это немец! Общение мало развито в здешней студенческой среде. Землячества запрещены. «Союзу Арминия», состоящему из старых участников буршеншафтов, тоже, по слухам, предстоит упразднение. Дуэлей происходит мало. Между двумя медиками, Либшицом и Фебусом, завязался перед лекцией семиотики пустячный спор, так как оба изъявили притязание на место № 4. Они не знали, что в этой аудитории есть два места № 4, а оба получили этот номер от профессора. «Глупый мальчишка!» — крикнул один, и этим закончилось мимолетное препирательство. На другой день они дрались, и рапира противника проткнула Либшица. Он умер через четверть часа. Так как он еврей, то товарищи похоронили его на еврейском кладбище. Фебус, тоже еврей, бежал, и...

Но я вижу, вы меня уже не слушаете и не отрываете взгляда от Лип. Да, это знаменитые Липы, о которых вы так много слышали. Дрожь охватывает меня, когда я подумаю, что на этом месте, быть может, стоял Лессинг; под этими деревьями было любимое место прогулки столь многих великих людей, живших в Берлине; здесь гулял великий Фриц, здесь проходил — он! Но разве и современность не прекрасна? Теперь как раз полдень, час прогулки высшего света. Нарядная толпа двинется взад и вперед по Липам. Видите там щеголя в двенадцати пестрых жилетах? Слышите глубокомысленные замечания,

которые он нашептывает своей допис? Чувствуете запах дорогих помад и духов, которыми он надушен? Он уставился на вас в лорнет, улыбается и взбивает себе волосы. Но посмотрите на прекрасных дам! Что за фигуры! Я становлюсь поэтом!

Под липами, друг, чудесно,
Там сердце ты отведешь,
Там женщин самых прелестных
Ты встретишь — красавиц сплошь.
Цветут они негой и жаром
В уборах пестрых своих:
Цветами живыми недаром
Поэт именует их.
Какие перья цветные!
И шали на плечах!
На щечках розы какне!
И шип какне — ах!

Нет, вот эта, там подальше, — это гуляющий рай, гуляющее небо, гуляющее блаженство. И она с такой нежностью смотрит на этого усатого балбеса! Малый принадлежит не к тем, кто выдумал порох, а к тем, кто его употребляет, то есть он военный. Вы удивлены, что все мужчины здесь вдруг останавливаются, засовывают руку в карман штанов и смотрят вверх. Милый мой, мы стоим как раз перед часами Академии, которые идут вернее всех часов в Берлине, и никто проходящий мимо не преминет поставить по ним свои часы. Это очень забавное зрелище, когда не знаешь, что там часы. В этом здании помещается и Певческая академия. Добыть вам билет не берусь. Профессор Цельтер, стоящий во главе ее, не особенно, говорят, любезен в таких случаях. Но взгляните на маленькую брюнетку, бросившую вам столь многообещающий взгляд. И от такого прелестного существа вы просто хотели отмахнуться? Как восхитительно она встряхивает кудрявой головкой, семенит маленькими ножками и, снова улыбаясь, показывает белые зубки. Она, очевидно, заметила, что вы приезжий. Какое множество звездоносных особ! Какая масса орденов! Куда здесь ни взглянешь, везде ордена! Примеряя сюртук, портной спрашивает вас: с прорезом (для ордена) или без? Но стой! Видите вы здание на углу Шарлоттенштрассе? Это Кафе-Рояль! Пожалуйста, зайдём: я не могу пройти мимо, не заглянув туда. Не хотите? Но на обратном пути

непрерывно зайдём. Напротив, наискось перед вами, Hôtel de Rome,¹ а здесь, налево, Hôtel de Pétersbourg² — две лучшие гостиницы. Поблизости — кондитерская Тейхмана. Здесь лучшие в Берлине конфеты с начинкой, но в пирожках слишком много масла. Если вам угодно скверно пообедать за восемь грошей, то зайдите в ресторан рядом с Тейхманом, во втором этаже. Теперь посмотрите направо и налево. Это большая Фридрихштрассе. Глядя на нее, можно наглядно представить себе идею бесконечности. Не стоит здесь долго стоять: здесь легко схватить насморк. Невыносимый сквозняк дует между Бранденбургскими и Ораниенбургскими воротами. Слева опять много хорошего: здесь живет Сала Тароне, там — Café de Commerce;³ а здесь живет — Ягор! Солнце стоит над этими райскими воротами. Удачный символ! Какие чувства возбуждает это солнце в желудке гурмана! Не ржет ли он при виде его, подобно коню Дария Гистаспа? Преклоните колени, вы, современные перуанцы: здесь живет — Ягор! И все же это солнце не без пятен. Как ни богат перечень разнообразных деликатесов, значащихся в ежедневно печатаемой карточке, там часто подают очень медленно; нередко жареное мясо старо и жестко, и, по-моему, большинство блюд в Кафе-Рояль приготовлено гораздо вкуснее. Но вино? Ах, иметь бы кошель Фортуната! — Если хотите усладить взоры, то взгляните на выставленные внизу у Ягора в витрине портреты. Здесь рядом с актрисой Штих вывешен теолог Неандер и скрипач Буше. Как улыбается чаровница! О, посмотрите ее в роли Юлии, когда она впервые дает разрешение на поцелуй пилигриму Ромео. Ее слова — музыка:

Graces in all her steps, heav'n in her eye,
In every gesture dignity and love.

(Milton)⁴

Какой рассеянный вид у Неандера! Он думает, конечно, о гностиках, о Василиде, Валентине, Вардесане,

¹ Гостиница «Рим» (франц.).

² Гостиница «Петербург» (франц.).

³ Торговое кафе (франц.).

⁴ Изящество в каждом ее шаге, небо в ее очах, в каждом движении достоинство и любовь (Мильтон) (англ.).

Карпократе и Марке. Буше, в самом деле, поразительно похож на императора Наполеона. Он называет себя космополитом, Сократом скрипачей, загребает бешеные деньги и из благодарности называет Берлин *la capitale de la musique*.¹ Но поскорее пройдем мимо; здесь снова кондитерская, и здесь обосновался Лебеф — магнетическое имя. Обратите внимание на прекрасные дома по обеим сторонам Лип. Здесь живет большой свет Берлина. Пойдем поскорее. Большой дом слева — кондитерская Фукса. Здесь все чудесно разукрашено; повсюду зеркала, цветы, марципаные фигуры, позолота, словом — изысканнейшее изящество. Но все подаваемое там — самое плохое и самое дорогое во всем Берлине. Выбор кондитерских изделий скуден и большая часть их несвежа. Несколько старых заплесневелых журналов лежит на столе. И долгая прислуживающая девица даже не смазлива. Не станем заходить к Фуксу. Я не ем зеркал и шелковых гардин и, когда ищу чего-нибудь для глаз, то иду на «Кортеса» или «Олимпию» Спонтини. Справа вы опять можете увидеть нечто новое. Здесь строятся бульвары, которые соединят Вильгельмовскую улицу с Последней улицей. Остановимся тут и рассмотрим Бранденбургские ворота и стоящую на них Викторию. Первые построены Ланггансом по образцу афинских Пропилеев и состоят из колоннады в двенадцать больших дорических колонн. Богиня наверху, конечно, достаточно известна вам из новейшей истории. Доброй женщине тоже пришлось пережить кое-что; однако этого не видно по ней, смелой вознице. Пройдем через ворота. То, что вы видите теперь перед собой, — знаменитый Тиргартен, прорезанный широким шоссе, ведущим в Шарлоттенбург. По обеим сторонам его — две колоссальные статуи, из коих одна должна изображать Аполлона. Архигнусные, уродливые чурбаны. Следовало бы их сбросить, ибо, поглядев на них, верно не одна беременная берлинка разрешилась уродом. Вот почему мы Под Липами встретили такое множество отвратительных рож. Следовало бы вмешаться в это полиции.

Теперь вернемся, у меня аппетит, и я тоскую по Кафе-Рояль. Хотите поехать? Здесь у ворот стоят дрожки. Так называются наши здешние фиакры. Такса — четыре гроша

¹ Столица музыки (франц.).

с одного седока и шесть грошей с двух, и извозчик везет вас, куда прикажете. Все экипажи одинаковые, и все извозчики в серых плащах с желтыми отворотами. Когда торопишься или идет проливной дождь, не найдешь ни одного извозчика. Но когда, как сегодня, стоит хорошая погода или извозчик не нужен, то их на бирже множество. Сядем. Поскорей, извозчик! Сколько народу Под Липами! Сколько здесь таких, кто еще не знает, где он сегодня пообедает. Поняли ли вы идею обеда, мой милый? Кто понял ее, тот поймет все поступки человеческие. Поскорей, извозчик! — Что вы думаете о бессмертии души? Право, это очень большое изобретение, гораздо большее, чем порох. Что вы думаете о любви? Поскорей, извозчик! — Не правда ли, она только закон притяжения? Как нравится вам Берлин? Не находите ли вы, что хотя город нов, красив и выстроен по плану, он производит несколько сухое впечатление. Г-жа Сталь очень остроумно замечает: «Berlin, cette ville toute moderne, quelque belle qu'elle soit, ne fait pas une impression assez sérieuse; on n'y aperçoit point l'empreinte de l'histoire du pays, ni du caractère des habitants, et ces magnifiques demeures nouvellement construites ne semblent destinées qu'aux rassemblements commodes des plaisirs et d'industrie».¹ Г-н фон Прадт говорит еще более пикантные вещи. — Но вы не слышите ни слова из-за шума колес. Ну, приехали. Стой! Вот Кафе-Рояль. Приветливое лицо у входа — это Бейерман. Вот это настоящий ресторатор! Ни тени холопского подобострастия, но предупредительная внимательность, но тонкое культурное обращение, но неустанная услужливость — словом, роскошное издание ресторатора. Войдем. Прекрасное помещение; впереди самое блестящее кафе Берлина, за ним прекрасный ресторан. Место встречи эlegantного, образованного мира. Здесь часто вы можете встретить интереснейших людей. Видите там высокого широкоплечего человека в черном сюртуке? Это знаменитый Космели, который сегодня

¹ «Берлин, этот совершенно современный город, при всей своей красоте не производит достаточно серьезного впечатления; на нем не видишь отпечатка ни истории страны, ни характера жителей, и эти великолепные здания, недавно сооруженные, кажутся собранием помещений, предназначенных только для развлечений и промышленности» (франц.).

в Лондоне, а завтра в Испагани. Таким я представляю себе Петера Шлемиля Шамиссо. Вот в эту минуту у него на языке парадокс. Видите там рослого человека с благородным выражением лица и высоким лбом? Это Вольф, разорвавший на куски Гомера и умеющий писать немецкие гексаметры. А там, за столом, маленький подвижный человечек с вечно дергающимся лицом, с забавными и, однако, жуткими движениями. Это советник апелляционного суда Гофман, автор «Кота Мура», а высокая торжественная фигура, сидящая против него, — барон Лютвиц, давший в «Фоссово́й газете» классическую рецензию о «Коте». Видите там франта, который так легко двигается, лепечет по-курляндски и теперь обращается к высокому серьезному человеку в зеленом сюртуке? Это барон Шиллинг, так задевший в «Минденском воскресном листке» «милых внуков Тевта». Серьезный — это поэт барон Мальтиц. Но угадайте, кто эта решительная фигура, стоящая у камина? Это ваш антагонист Хартман, твердый муж,¹ точно из бронзы отлитый. Но что мне до всех этих господ, — я проголодался. «Garçon, la carte!»² Взгляните на это множество превосходных блюд. Как мелодично и нежно звучат их названия, as music on the waters.³ Это тайные заклинания, отверзающие нам царство духов. И тут же шампанское. Позвольте мне пролить слезу умиления. А вас, бесчувственный, не трогает все это великолепие, вы жаждете новостей, жалких городских новостей. Вы будете удовлетворены. Любезный г-н Ганс, что нового? Он покачивает почтенной седой головой и пожимает плечами. Обратимся к этому маленькому краснощечному человечку; у этого молодца карманы всегда полны новостей, и когда он начинает рассказывать, то словно мельничное колесо завертелось. Что нового, любезный г-н камермузикус?

Ровно ничего. Новая опера Гельвига «Рудокопы» не очень понравилась. Спонтини сочиняет теперь оперу, для которой текст написал Корефф. Сюжет, кажется, из прусской истории. Скоро мы получим также «Окассена

¹ Игра слов: по-немецки hart — твердый, Mann — муж.

² «Кельнер, карточку!» (франц.)

³ Как музыка над водами (англ.) — строка из «Маффреда» Байрона.

и Николетту» Корейфа, на которую пишет музыку Шнейдер. Но последнюю надо еще немного сократить. После карнавала ожидается также «Дидона» Бергарда Клейна, героическая опера. Объявлены новые концерты Борера и Буше. На «Фрейшюца» по-прежнему трудно достать билеты. Бас Фишер здесь, выступать он не будет, но нередко поет в частных домах. Граф Брюль все еще очень болен: он сломал ключицу. Мы боялись уже, что потеряем его, а такого директора театра, энтузиаста немецкого искусства и стиля, сыскать нелегко. Приезжал танцор Антонен, потребовал сто луидоров за вечер, коих, однако, не получил. Был здесь Адам Миллер, политик, а также изготовитель трагедий Хоувальд. Г-жа Вольтман, вероятно, еще здесь; она пишет мемуары. У Рауха продолжается работа над барельефами к памятникам Блюхера и Шарнгорста. Оперы, которые пойдут во время карнавала, указаны в газете. Трагедия д-ра Куна «Жители Дамаска» пойдет уже этой зимой. Вах занят надирестольным образом, который будет поднесен нашим королем церкви Победы в Москве. Штих давно разрешилась от бремени и завтра опять выступает в «Ромео и Джульетте». Каролина Фуке издала роман в письмах, в котором ей принадлежат письма героя, а принцу Мекленбургскому Карлу — письма дамы. Государственный канцлер оправляется от болезни. Его лечит Руст. Д-р Бопп получил здесь кафедру восточных языков и прочитал перед большой аудиторией первую лекцию о санскрите. Время от времени здесь еще конфискуют отдельные выпуски «Литературного журнала» Брокгауза. О последнем произведении Герреса «В защиту прирейнских провинций» совсем не говорят, на него не обратили почти никакого внимания. Юноша, убивший мать молотом, оказался помешанным. Много заставляет о себе говорить мистическая пропаганда в Нижней Померании. В издательстве Вильманса выходит роман Гофмана под заглавием «Блоха», содержащий, говорят, много политических колкостей. Профессор Губиц по-прежнему занимается переводами с новогреческого и режет теперь на дереве виньетки для «Турецкого похода Суворова», сочинения, которое издается по заказу императора Александра в качестве народной книги для русских. В издательстве Христиани только что вышли «Скорбные песни греков» К. Л. Блюма, очень поэтичные.

Художественная выставка в Академии прошла весьма блестяще, и доходы употреблены на благотворительные цели. Придворный артист Вальтер из Карлсруэ только что прибыл и выступит в «Дорожных приключениях Штаберле». Нейман, по слухам, вернется в марте, и тогда уедет в отпуск Штих. Юлиус фон Фосс написал еще одну пьесу: «Новый рынок». Его комедия «Квинтин Мессис» идет на будущей неделе. «Принц Гомбургский» Генриха фон Клейста представлеи не будет. Грильпарцеру возвращена рукопись его трилогии «Аргонавты», присланная им здешней дирекции государственных театров. — Маркер, стакан воды! — Не правда ли, у камермузика много новостей! К нему мы и будем прибегать. Он должен снабжать Вестфалию новостями; а чего он не знает, того и Вестфалии знать не надо. Он не принадлежит ни к какой партии, ни к какой школе; он ни либерал, ни романтик, и если он говорит что-нибудь злое, то так же невинен при этом, как злосчастная камышинка, из которой ветер извлек слова: «У царя Мидаса ослиные уши»!

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Берлин, 16 марта 1822 г.

Ваше почтенное письмо от 2 февраля получил своевременно и с удовольствием усмотрел из него, что мое первое письмо принято вами с одобрением. Ваше вскользь выраженное желание, чтобы отдельные лица не выдвигались слишком отчетливо, будет в общем исполнено. Совершенно верно, меня легко понять неправильно. Люди смотрят не на картину, которую я легко набрасываю, а на фигурки, пририсованные для ее оживления, и, пожалуй, думают даже, что главное для меня — эти фигурки. Но можно написать картину и без фигур, как можно есть суп без соли. Можно говорить иносказательно, как наши газетные сочинители. Когда они говорят о великой северогерманской державе, то всякий знает, что они имеют в виду Пруссию. Мне это кажется смешным. Это было бы похоже на маскарад, где люди в костюмах разгуливали бы по залу без масок. Если я говорю о большом северогерманском юристе, который отпускает воз-

можно более длинные черные волосы, ниспадающие с плеч, возводит любовно-набожные взоры к небесам, хотел бы быть похожим на образ Христа, при этом сам французского происхождения и носит французскую фамилию, однако держит себя в высшей степени по-немецки,—то всякий знает, о ком идет речь. Я буду все называть своим именем; я держусь здесь взгляда Буало. Я буду также изображать некоторых лиц; мне мало дела до неодобрения тех людешек, которые привольно покачиваются в креслах условной корреспонденции и неизменно любовно увещевают: «Восхваляйте нас, но не говорите, какой у нас вид».

Я давно знал, что город похож на молодую девушку и охотно рассматривает свое милое личико в зеркале чужой корреспонденции. Но я никогда не думал, что Берлин в этих случаях станет вести себя как старая баба, как настоящая сплетница. При этом случае я заметил: Берлин — большой Кревинкель.

Я сегодня очень недоволен, ворчлив, хмур, раздражителен; воображение сковано хандрою, и все остроты — под черным траурным покрывалом. Не подумайте, что причина в какой-нибудь женской неверности. Я все еще люблю женщин; когда в Геттингене я был лишен всякого женского общества, я завел себе хоть кошку; но женская неверность могла бы еще подействовать лишь на мои мускулы смеха. Не подумайте, что чувствительно оскорблено мое тщеславие; прошло время, когда я по вечерам заботливо заворачивал свои волосы в папильотки, всегда носил в кармане зеркальце и по двадцать пять часов в сутки занимался завязыванием галстука. Не подумайте также, будто религиозные сомнения истерзали мою нежную душу; теперь я верю только в Пифагорову теорему и в королевско-прусское земское право. Нет, гораздо более разумная причина вызывает мою тоску: мой дражайший друг, достолюбезнейший из смертных, Евгений фон Б. уехал вчера! Это был единственный человек, в обществе которого я не скучал, единственный, оригинальные остроты которого способны были развеселить меня до жизнерадостности, и в милых благородных чертах которого я мог отчетливо читать, какой вид имела некогда моя душа, когда я вел еще прекрасную, чистую жизнь цветка и не запятнал еще себя ни ненавистью, ни ложью.

Но прочь печаль; теперь мне предстоит говорить о том, что поют и говорят люди у нас на Шпрее. О чем звонят, о чем трещат, о чем хихикают, о чем сплетничают, — обо всем узнаете вы, мой милый.

Буше, давно уже давший свой самый-самый-самый последний концерт и теперь, быть может, восхищающий своими скрипичными фокусами Варшаву или Петербург, в самом деле прав, называя Берлин *la capitale de la musique*. Всю зиму здесь столько пели и играли, что у человека могли почти пропасть слух и зрение. Один концерт следовал за другим по пятам.

Не счесть смычков, не счесть имен,
Что притекли со всех сторон;
.
Испанцы даже здесь толкуются;
И волны звуков с высоты,
Терзая слух, в толпу несутся.

Испанец был Эскудеро — ученик Байо, хороший скрипач, молодой, свежий, смазливый и, однако, не *protégé des dames*.¹ Зловещий слух предшествовал ему, будто итальянский нож сделал его неспособным быть опасным для женского пола. Не стану утомлять вас перечислением всех музыкальных развлечений, восхищавших нас и надоедавших нам в течение этой зимы. Упомяну только, что во время концерта Зейдлер зал был переполнен, но что теперь мы напряженно ждем концерта Друэ, так как в нем впервые публично выступит молодой Мендельсон.

Вы еще не слышали «Фрейшюпа» Марии фон Вебера? Нет? Несчастный человек! Но слышали ли вы по крайней мере «Песню подружек» или «Девичий венок» из этой оперы? Нет? Счастливый человек! Если вы пройдете от Галльских ворот к Ораниенбургским и от Бранденбургских к Королевским, мало того — пройдите от Уинтербаума к Кепникским воротам, — везде и неизменно услышите вы теперь одну и ту же мелодию, песню всех песен — «Девичий венок».

Как в гетевских элегиях проходит бедный британец по всем странам, преследуемый напевом «*Malborough s'en*

¹ Любимец дам (франц.).

va-t-en guerre»,¹ так и меня с раннего утра до поздней ночи преследует песня:

Плетем из роз тебе венок
С фиалковой повязкой,
Готовим свадебный чертог,
К игре зовем и пляскам.

Х о р

Дивный, дивный, дивный девичий венок,
С фиалковой повязкой, с фиалковой повязкой.

Тимьян, лаванда, мирты — их
В саду моем нарву.
Но где любимый, где жених?
Его так страстно жду.

Х о р

Дивный, дивный, дивный и т. д.

В каком бы превосходном настроении ни встал я утром, все мое веселье мигом отравляется раздражением, если спозаранку школьницы пронесутся мимо моего окна, щебеча «Девичий венок». Не пройдет и часа, и дочь моей квартирной хозяйки встает со своим «Девичьим венком». Я слышу, как с «Девичьим венком» подымается по лестнице мой брадобрей. Маленькая прачка является с «тимьяном, лавандой, миртой». И так далее. В голове моей гремит. Не могу больше выдержать, бегу из дому и бросаюсь вместе с моей яростью в дрожки. Хорошо, что из-за стука колес не слышу пения. У*** я схожу. «Дома барышня?» Слуга бежит. «Да». Двери распахнулись. Красотка сидит за фортепьяно и принимает меня сладким:

Но где любимый, где жених?
Его так страстно жду.

— Вы поете как ангел! — восклицаю я с судорожной любезностью.

— Я начну с начала, — лепечет милостивая красотка, и вьет, и вьет она свой «Девичий венок», и вьет, и вьет, пока я сам не совьюсь, как червяк, в невыразимых муках, пока от ужаса душевного не закричу: «Помоги, Самизэль!»

Так, надо вам знать, зовется в «Фрейшюце» злой дух; охотник Каспар, предавшийся ему, во всякой беде воскли-

¹ «Мальбрук в поход собрался» (франц.).

цает: «Помоги, Самизель!» Здесь вошло в моду в комическом затруднении бросать этот призыв, и Буше, называющий себя «Сократом скрипачей», даже в концерте однажды, когда у него лопнула струна, громко воскликнул: «Помоги, Самизель!»

И Самизель помогает. Изумленная донна внезапно обрывает свое истязательное пение и лепечет:

— Что с вами?

— Это только восхищение, — вздыхаю я с вымученной улыбкой.

— Вы нездоровы, — лепечет она, — пройдите по Тиргартену, насладитесь прекрасной погодой и полюбуйте прекрасным миром.

Хватаюсь за шляпу и трость, целую у любезной любезную ручку, кидаю на нее еще один томный взор страсти, бросаюсь в двери, опять сажусь в первые попавшиеся дрожки и качу к Бранденбургским воротам. Выхожу и бегу в Тиргартен.

Если вам случится быть здесь, советую вам, не упустите случая в один из таких прекрасных предвесенних дней побывать в этот час, в половине первого, в Тиргартене. Возьмите налево и поспешите к местечку, где обитательницами Тиргартена поставлен нашей покойной Луизе маленький простой памятник. Там часто гуляет наш король. У него прекрасная, благородная наружность, внушающая почтение, чуждая всякой внешней пышности. Почти всегда на нем простая серая шинель, и я уверил одного балбеса, что королю часто приходится как-нибудь обходиться этим платьем, потому что его гардеробмейстер проживает за границей и редко приезжает в Берлин. Красивых детей короля также можно видеть в это время в Тиргартене, равно как весь двор и самую знатную знать. Лица необычные — это семьи иностранных послов. Один или два ливрейные лакея следуют поодаль за важными дамами. Офицеры на прекраснейших лошадях гарцуют мимо. Я редко видел более красивых лошадей, чем здесь, в Берлине. Я услаждаю взгляд видом великолепных всадников. Среди них принцы нашего королевского дома! Какая красивая, сильная царственная порода! На этом стволе нет ни одной некрасивой, запущенной ветви. В радостной полноте бытия, с мужеством и величавостью на благородных лицах проезжают там на конях два старших

королевских сына. Тот прекрасный юноша с вдумчивым лицом и ясными нежными глазами — третий сын короля, принц Карл. А та сияющая величавая всадница, с пестрой блестящей свитой пронесшаяся на высоком коне, — это наша Александрина. В темной плотно облегающей амазонке, в круглой шляпе с перьями, с хлыстом в руке, она напоминает образы рыцарственных женщин, которые так восхитительно сияют пред нами в волшебном зеркале старых сказок, так что не разобрать, святые это или амазонки. Мне кажется, вид этих чистых черт сделал меня лучше; благоговейные чувства пронизывают меня, я слышу ангельские голоса, веют невидимые пальмы мира, в душе моей звучит величавый гимн, — и тут вдруг звенят струны визгливой арфы и старушечий голос пищит: «Плетем из роз тебе венок».

И так целый день не оставляет меня эта проклятая песня. Лучшие мгновения отравляет она мне. Даже когда я сижу за столом, ее, в виде десерта, горланит мне певец Гейшвиус. Все время после обеда душит меня «фиалковая повязка». Здесь вертит «Девичий венок» безногий калека на шарманке; там пиликает его на скрипке слепой. Но к вечеру разражается самая свистопляска. Тут и гудят, и вопят, и пищат, и воркуют, — и постоянно старая мелодия. Время от времени, правда, для разнообразия в трескотню врываются песня Каспара и хор охотников, завываемые каким-нибудь подвыпившим студентом или прапорщиком, но «Девичий венок» непреходящ: едва кончил его один, другой начинает с начала; изо всех домов звучит он мне навстречу; каждый насвистывает его со своими вариациями; кажется, чуть ли не собаки на улице воспроизводят его своим лаем.

Как насмерть затравленная косуля, склоняю вечером голову на грудь прекраснейшей дочери Боруссии; она нежно гладит мои щетинистые волосы, лепечет мне на ухо по-берлински: «Люблю тебя, твоя Лавиза никогда тебя не разлюбит», и она гладит и баюкает до тех пор, пока ей не покажется, что я задремал, и тогда она потихоньку берет «катарру» и наигрывает и напевает арию из «Танкреда»: «После таких мук», и я отдыхаю после стольких мук, и милые образы и звуки порхают вокруг меня, — и вдруг опять вырывают меня из моих грез, и несчастная поет: «Плетем из роз тебе венок».

В безумном отчаянии вырываюсь я из нежнейших объятий, сбегаю вниз по узкой лестнице, несусь ураганом домой, скрежеща зубами, бросаюсь в постель, слышу еще, как старая кухарка топчется со своим «Девичьим венком», и крепче закутываюсь в одеяло.

Теперь вы поймете, мой милый, почему я назвал вас счастливецом, если вы не слышали этой песни. Не думайте, однако, что мелодия ее в самом деле плоха. Наоборот, именно благодаря своей прелести она получила такую популярность. *Mais toujours perdrix!*¹ Вы понимаете меня. Весь «Фрейшюц» превосходен и, конечно, достоин того интереса, с которым его принимает теперь вся Германия. Здесь он теперь идет, быть может, уже в тридцатый раз, и все еще необычайно трудно достать хорошие билеты. В Вене, Дрездене, Гамбурге он тоже производит фурор. Это в достаточной степени доказывает, насколько несправедливо мнение, будто эту оперу только раздула здесь антиспонтиниевская партия. Антиспонтиниевская партия? Вижу, что это выражение кажется вам странным. Не считайте его политическим. Яростная партийная борьба между либералами и крайними правыми, какую мы видим в других столицах, не может разразиться у нас, так как посредине стоит мощная и беспартийная примирительная королевская власть. Зато взамен этого мы часто видим в Берлине более занятную партийную борьбу, а именно — в музыке. Если бы вы были здесь в конце прошлого лета, вы имели бы случай наглядно убедиться в современности, как приблизительно протекала некогда в Париже борьба глюкистов и пиччинистов. Но, я вижу, необходимо подробнее остановиться на здешней опере; во-первых, потому, что она все же — главный предмет берлинских разговоров, а во-вторых, потому, что без дальнейших замечаний вы совсем не сможете понять дух некоторых сообщений. О наших певицах и певцах я совсем здесь говорить не буду. Их апологии стереотипны во всех берлинских корреспонденциях и газетных рецензиях; ежедневно читаешь: Миддельгауптман бесподобна, Шульц превосходна, и Зейдлер великолепна. Одним словом, бесспорно, что здесь опера поднята на изумительную художественную высоту и что она не уступает никакой другой

¹ Но каждый день куропатка! (*фр. фр.*).

немецкой опере. Произошло ли это благодаря неутомимой энергии исчезнувшего Вебера, или это кавалер Спонтини, точно прикосновением волшебной палочки, вызвал к жизни все это великолепие, как утверждают его сторонники, — осмелюсь усомниться. Я решаюсь даже полагать, что руководство великого кавалера в высшей степени пагубно повлияло на некоторые стороны оперы. Я решительно утверждаю, что со времени полного отделения оперы от драмы и самодержавного воцарения Спонтини в первой она с каждым днем опускалась, вследствие естественного пристрастия великого кавалера к собственным произведениям или произведениям родственных или дружественных гениев и вследствие его столь же естественного нерасположения к музыке композиторов, дух которых не нравился его духу или не преклоняется перед ним или даже— *horribile dictu*¹ — соперничает с его духом.

Я слишком профан в области музыки, чтобы решиться высказать собственное суждение о ценности спонтиниевских композиций, и все, что я говорю здесь, — только чужие голоса, особенно выделившиеся в шуме повседневных разговоров.

«Спонтини — величайший из всех ныне живущих композиторов. Это музыкальный Микеланджело. Он проложил новые пути в музыке. Он осуществил то, что только предчувствовал Глюк. Он великий человек, он гений, он бог!» Так говорит спонтиниевская партия, и отзвуки безмерных похвал оглашают стены дворцов: надо вам знать, что музыка Спонтини особенно по душе знати, которая осыпает его изысканными знаками своего благоволения. На этих важных покровителей опирается подлинная партия Спонтини, естественно, состоящая из людей, слепо следующих барскому и установленному вкусу, из толпы восторженных сторонников всего иностранного, из нескольких композиторов, которым хочется провести на сцену свою музыку, и, наконец, из кучки истинных почитателей.

Из кого состоит противная партия, догадаться нетрудно. Многие терпеть не могут почтенного кавалера между прочим за то, что он итальянец. Другие потому, что завидуют ему. Третьи потому, что его музыка не немецкая.

¹ Страшно сказать (лат.).

Но наибольшая часть, наконец, видит в его музыке только барабанное и трубное громохание, шумливую напыщенность и надутую неестественность. К этому присоединилось еще недовольство многих¹

Теперь, мой милый, вы можете объяснить себе шум, переполнявший в продолжение этого лета весь Берлин, когда «Олимпия» Спонтини впервые появилась на нашей сцене. Не пришлось ли вам слышать музыку этой оперы в Гамме?

В литаврах и трубах недостатка не было, так что один остряк внес предложение испытать крепость стен в новом драматическом театре посредством этой музыки. Другой остряк, только что выйдя из театра после громогвучной «Олимпии», услышал на улице, как барабаны бьют вечернюю зорю, и, переводя дыхание, воскликнул: «Наконец-то слышишь *тихую* музыку!» Весь Берлин острял над обилием труб и над большими слонами в пышных картинах этой оперы. Но глухие были в совершенном восторге от стольких прелестей и уверяли, что могли на ощупь осязать эту прекрасную плотную музыку. Энтузиасты же орали: «Осапна! Спонтини сам — музыкальный слон. Он ангел Страшного суда!»² Вскоре за тем в Берлин приехал Карл-Мария фон Вебер; его «Фрейшюц» был поставлен в Новом театре и привел публику в восхищение. Теперь у антиспонтиниевской партии явилась точка опоры, и в вечер первого представления Вебер сделался предметом прекрасного чествования. В недурном стихотворении, написанном д-ром Ферстером, говорилось, что вольный стрелок (Фрейшюц) охотился на более благоразумную дичь, чем слон. По поводу этого выражения Вебер выступил на другой день в «Листке объявлений» с весьма жалким заявлением, где подлаживался к Спонтини и порицал бедного Ферстера, имевшего все же столь благие намерения. Вебер питал тогда надежду получить должность в здешней опере и не вел бы себя со столь неумеренной скромностью, если бы у него уже тогда была отнята всякая надежда на службу здесь. Вебер покинул нас после третьего представления его оперы,

¹ Вычеркнуто цензурой.

² Игра слов: по-немецки Posaunenengel значит — ангел с трубою, ангел Страшного суда и ребенок с надутыми щеками.

вернулся в Дрезден и получил там блестящее приглашение в Кассель, отказался от него, продолжая дирижировать оперой в Дрездене, где его сравнивают с хорошим генералом без солдат, и теперь уехал в Вену, где ожидается постановка его новой комической оперы. Что касается достоинств текста и музыки «Фрейшюца», отсылаю вас к большой рецензии на него профессора Губица в «Собеседнике». Этому остроумному и пронизательному критику принадлежит та заслуга, что он первый обстоятельно уяснил романтические красоты этой оперы и определеннейшим образом предсказал ее великие триумфы.

Наружность Вебера не слишком привлекательна. Маленькая фигура, плохой пьедестал и длинное лицо без особенно приятных черт. Но на всем лице этого человека широко разлита вдумчивая сосредоточенность, твердая уверенность и спокойная воля, с такой значительностью привлекающая нас в лицах старых немецких мастеров. Какая противоположность этому наружность Спонтини! Высокий рост, глубоко залегшие темные огненные глаза, черные как смоль локоны, наполовину скрывающие изборожденный морщинами лоб, не то скорбная, не то надменная складка губ, угрюмая дикость этого желтоватого лица, на котором бушевали и продолжают еще бушевать все страсти, голова, как будто принадлежащая калабрийцу и, однако, достойная названия красивой и благородной: во всем этом мы сразу узнаем человека, дух которого породил «Весталку», «Кортеса» и «Олимпию».

Из здешних композиторов упрямую вслед за Спонтини нашего Бернгарда Клейна, который давно уже приобрел почетную известность несколькими прекрасными композициями и оперу которого «Дидона» с нетерпением ждет вся публика. Эта опера, по мнению всех знатоков, которым композитор сообщил кое-что из нее, содержит чудеснейшие красоты и будет гениальным национальным немецким созданием. Музыка Клейна вполне оригинальна. Она совершенно не похожа на музыку обоих охарактеризованных выше мастеров, так же как рядом с их лицами разительную противоположность представляет веселое, приятное, жизнерадостное лицо благодушного уроженца берегов Рейна: Клейн родом из Кельна и может считаться гордостью своего родного города.

Не могу обойти молчанием Г. А. Шнейдера. Не потому, чтобы я считал его таким крупным композитором, но потому, что он, в качестве композитора «Окассена и Николетты» Кореффа, был с 26 февраля по сей день предметом всеобщего разговора. В течение по крайней мере недели только и слышно было, что о Кореффе и Шнейдере, и Шнейдере и Кореффе. На одной стороне стояли гениальные дилетанты, разнося музыку; на другой стояла кучка плохих поэтов, педантически критиковавших текст. Что до меня, то мне эта опера доставила необычайное удовольствие. Меня позабавила веселая сказка, с такой прелестью и детской простотой разработанная талантливым поэтом, меня увлек изящный контраст между суровым Западом и веселым Востоком, и под причудливую смену легко сплетенной вереницы самых фантастических картин зашевелился во мне дух расцветшей романтики. В Берлине всегда происходит необычайный шум по поводу постановки новой оперы, а здесь к этому присоединилось еще то обстоятельство, что капельмейстер Шнейдер и тайный советник кавалер Корефф пользуются столь широкой известностью. Последнего мы скоро лишимся, так как он давно уже собирается в большое заграничное путешествие. Это потеря для нашего города, так как этот человек отличается, помимо общественных добродетелей, приятными личными свойствами и высоким образом мыслей.

Теперь вы знаете, что *поют* в Берлине, и я перехожу к вопросу о том, что в Берлине *говорят*. Я умышленно остановился сперва на пении, так как убежден, что люди пели раньше, чем научились говорить, равно как метрическая речь предшествовала прозе. В самом деле, я уверен, что Адам и Ева объяснялись в любви томными адажио и ругались речитативами. Отбивал ли Адам и такт к последним? Вероятно. Это отбивание такта по традиции осталось еще у нашей берлинской черни, хотя пение при этом вышло из употребления. Точно канарейки, распевали наши предки в долинах Кашмира. Как развились мы с тех пор! Дойдут ли когда-нибудь и птицы до разговора? Собаки и свиньи на добром пути; их лай и хрюканье — переход от пения к настоящему разговору. Первые будут говорить на наречии *ос*, вторые на наречии *оуи*. Медведи, в сравнении с нами, прочими немцами, еще очень отстали в культуре, и, хотя соперничают с нами в танцевальном

искусстве, их ворчание, по сравнению с прочими немецкими наречиями, никак не может быть названо речью. Ослы и овцы уже дошли некогда до языка, имели свою классическую литературу, держали превосходные речи о чистой ослиности в замкнутой овечности, об идее бараньей головы и о великолепии *старокозлиного*. Но, как оно обычно бывает в круговороте вещей, они опять так низко упали в культурности, что потеряли язык и сохранили только сердечное «И-а-а» и детски набожное «Бэ-э».

Но как мне перейти от «И-а-а» длинноухих и «Бэ-э» густошерстных к произведениям сэра Вальтера Скотта? Ибо о них должен я говорить теперь, так как весь Берлин говорит о них, потому что они представляют собой «Девичий венок» читательского мира, потому что их повсюду читают, превозносят, критикуют, разносят и опять читают. От графини до швей, от графа до мальчишки-рассыльного, — все зачитываются романами великого шотландца, особенно наши чувствительные дамы. Они ложатся спать с «Уэверли», встают с «Роб-Роем» и целый день держат в руках «Карлика». Особенный фурор произвел роман «Кенильворт». Так как здесь очень немногие наделены свыше хорошим знанием английского языка, то большая часть нашего читательского мира вынуждена пользоваться французскими и немецкими переводами, в которых и нет недостатка. Уже объявлено о выходе последнего романа Скотта «Пират» в четырех переводах. Здесь выйдет два из них: госпожи Монтангло, в издании Шлезингера, и д-ра Шпикера, в издании Дункера и Гумблота. Третий перевод — Лоца в Гамбурге, четвертый — в карманном издании бр. Шуман в Цвикау. Можно заранее предвидеть, что при таких обстоятельствах дело не обойдется без некоторых трений. Г-жа Гогенхаузен занята теперь переводом «Айвенго» Скотта, и от превосходной переводчицы Байрона мы можем ожидать также превосходного перевода Скотта. Думаю даже, что последний удался еще лучше, так как в мягкой, восприимчивой к чистым идеалам душе прекрасной женщины простодушно радостные образы приветливого шотландца найдут гораздо более ясное отражение, чем мрачные адские картины угрюмого, больного сердцем англичанина. Прекрасная нежная Ревекка не могла попасть в более прекрасные, более нежные руки, и чуткой поэтессе остается только переводить сердцем.

Превосходно чествовали здесь недавно Вальтера Скотта. На блестящем маскараде, устроенном на одном празднике, появилось большинство героев скоттовских романов в их характерном облике. Об этом празднике и об этих образах тоже говорят здесь целую неделю. Особенно носились с тем, что сын Вальтера Скотта, ныне находящийся здесь, выступал на этом празднике одетый шотландским горцем и, как того требует костюм, с голыми ногами, без штанов, лишь в переднике, доходящем до середины бедер. Этого молодого человека, английского гусарского офицера, очень чествуют здесь, и он окружен славой, относящейся к его отцу. — Где сыновья Шиллера? Где сыновья наших великих поэтов, разгуливающие если не без штанов, то, быть может, без рубах? Где, наконец, сами наши великие поэты? Тише, тише, это — *une partie honteuse*.¹

Не хочу быть несправедливым и умолчать о поклонении, которым окружено здесь имя Гете, немецкого поэта, о котором здесь говорят больше всего. Но положи руку на сердце, — то, что внешнее положение нашего поэта так блестяще и что он в столь высокой степени пользуется расположением сильных мира сего, не объясняется ли по преимуществу его тонким, мудрым поведением? Чуждо мне желание попрекнуть старого господина мелочностью характера. Гете — великий человек в шелковом сюртуке. Великолепным образом проявил он себя еще недавно в отношении своих земляков, поклонников искусства, которые намеревались воздвигнуть ему в благородных пределах Франкфурта монумент и призывали к пожертвованиям всю Германию. Здесь необычайно много препирались об этом вопросе, и моя малость написала следующий, почтенный одобрением, сонет:

Мужчины, девы, женщины, внимлите
И двигайте подписку без стеснения!
Воздвигнуть, Гете в честь, сооруженье
Во Франкфурте решили на синклите.

«Чужой торгаш, — так мыслит местный житель, —
Увидит, что он *наше* порождение
Что *наш* навоз был почвой для цветенья,
И, ясно, не откажет нам *в кредите*».

¹ Срамная часть (*франц.*).

Удел певца — венок его лавровый!
Так придержите деньги; ваш кумир —
Он намятвик воздвиг себе и сам.

В грязи пеленок был он *близок* вам,
Но ныне отделяет целый мир
Величие от площади торговой.

Великий человек, как известно, положил препирательствам конец, возвратив своим землякам грамоту на франкфуртское гражданство с заявлением, что он «совсем не франкфуртец».

После этого и гражданство это — выражаясь по-франкфуртски — упало, говорят, в цене на девяносто девять процентов, и франкфуртские евреи получили больше надежд на это прекрасное приобретение. Но — опять говоря по-франкфуртски — разве Ротшильды и Бетманы не стоят давно *al pari*?¹ У купца на всем свете одна религия. Его контора — его храм, его письменный стол — его апалой, его гроссбух — его библия, его склад — его святая святых, биржевой звонок — его церковный колокол, его золото — его бог, кредит — его религия.

Мне представляется повод поговорить здесь о двух новинках: во-первых, о новой бирже, устроченной по образцу гамбургской и открытой несколько недель тому назад, и, во-вторых, о старом, вновь подогретом проекте обращения евреев. Но прохожу мимо того и другого, так как на новой бирже еще не был, а евреи — предмет слишком прискорбный. В конце мне, правда, придется вернуться к ним, когда я буду говорить об их новом богослужении, вышедшем по преимуществу из Берлина. Пока не могу этого сделать, так как не собрался еще побывать на новом еврейском богослужении. О новой литургии, давно совершаемой в соборе и служащей главным предметом городских разговоров, также не стану говорить, — иначе мое письмо разрастется в целую книгу. У новой литургии множество противников. В качестве одного из виднейших называют Шлейермахера. Я недавно присутствовал на одной его проповеди, которую он произнес с лютеровской силой и не без прикрытых нападков на литургию. Должен сознаться, никаких особенно божественных

¹ Наравне (*итал.*).

чувств не возбуждают во мне его проповеди; но я чувствую, как они для меня в лучшем смысле слова назидательны, как они подкрепляют меня, как подстегивающими словами подымают с мягкого пухового ложа вялого индифферентизма. Стоит этому мыслителю сбросить с себя черное церковное облачение, и он станет священнослужителем истины.

Необычайное возбуждение вызвали яростные нападки на здешний теологический факультет в заметке о статье «Против Де-Веттова собрания актов» (в «Фоссовой газете») и в ответе на объяснение факультета (там же). Автором этой статьи все называют Бекендорфа. Из-под чьего пера вышли эта заметка и возражение, точно неизвестно. Одни называют Кампца, другие — самого Бекендорфа, другие — Клиндворта, другие — Бухгольца, другие — еще других. Нельзя не узнать в этих статьях руку опытного дипломата. Говорят, Шлейермахер занят возражением, и могучему оратору нетрудно будет словом своим повергнуть противника в прах. Что теологический факультет не может не отвечать на такие нападки, понятно само собой, и вся публика с напряженным вниманием ожидает этого великого ответа. С нетерпением ждут здесь также появления двух дополнительных томов Энциклопедического словаря Брокгауза по той естественной причине, что в них, согласно перечню в объявлении, даны будут биографии многих общественных деятелей, которые, проживая частью в Берлине, частью за границей, являются обычным предметом здешних разговоров. Только что я получил первый выпуск от А до Бомц (вышел 1 марта 1822 года) и жадно набрасываюсь на статьи: Альбрехт (тайный советник кабинета), Алопеус, Альтенштейн, Ансильон, принц Август (пруссский) и т. д. Среди имен, могущих заинтересовать наших местных друзей, укажу статьи об Аккуме, Арндте, Бегассе, Бенценберге и Беньо, славном французе, который, несмотря на свое одиозное положение, сумел представить гражданам великого герцогства Бергского столько прекрасных доказательств благородного и большого характера и который так доблестно борется теперь во Франции за правду и право.

Меры, принимаемые против издательства Брокгауза, все еще остаются в силе. Прошлым летом Брокгауз был

здесь и пытался уладить свои разногласия с нашим правительством. Его усилия, вероятно, остались бесплодными. Брокгауз — личность, и личность привлекательная. Его внешняя обходительность, его проницательная сосредоточенность и его твердое прямодушие выдают в нем человека, смотрящего на науки и на борьбу воззрений не глазами заурядного книгопродавца.

Греческие дела обсуждались здесь усердно, как и везде, и «греческий огонь» почти погашен. Молодость больше всего проявила энтузиазма по отношению к Элладу; люди старе, более разумные, покачивали седыми головами. Особенно горели и пылали филологи. Вероятно, грекам чрезвычайно помогло то, что наши Тиртеи столь поэтическим образом напоминали им о днях Маратона, Саламина и Платеи. Наш профессор Цейне, который, по замечанию оптика Амуэля, не только носит очки, но и знает толк в очках, проявил наибольшую деятельность. Капитан Фабек, который, как вы знаете из газет, не распевая Тиртеевых песен, попросту поехал отсюда в Грецию, говорят, совершил там ряд изумительных подвигов и, для того чтобы почтить на своих лаврах, возвратился в Германию.

Теперь с определенностью выяснилось, что драма Клейста «Принц Гомбургский, или Сражение при Ферберлине» не пойдет на нашей сцене, и не пойдет, как мне передавали, по той причине, что, по мнению одной благородной дамы, ее предок является там в неблагородном виде. Эта пьеса продолжает быть яблоком раздора в наших эстетических кружках. Что до меня, то я стою на том, что она написана как бы самим гением поэзии и что она выше всех этих фарсов и балаганных пьес и хоувальдовских яичниц, преподносимых нам ежедневно. «Анна Болейн», трагедия очень талантливого поэта Геэ, теперь находящегося здесь, готовится к постановке. Г-н Рельштаб предложил нашей дирекции трагедию под предполагаемым заглавием «Карл Смелый Бургундский». Будет ли принята эта пьеса, не знаю.

Здесь много было болтовни, когда распространился слух, что вышедший в издании Вильманса во Франкфурте новый роман Гофмана «Мастер Блоха и его подмастерья» конфискован по требованию нашего правительства: по его сведениям, в пятой главе романа заключается изде-

вательство над комиссией, ведущей следствие о деятельности революционеров. Что наше правительство обращает мало внимания на такого рода издевательства, оно доказало давно, так как здесь, в Берлине, с разрешения цензуры напечатана у Реймера «Комета» Жан-Поля; между тем в предисловии ко второй части этого романа, как вам, быть может, известно, безбожно высмеивается следствие о революционерах. Но что касается нашего Гофмана, в высших сферах имели полное основание отнестись с большим неудовольствием к таким шуткам. По доверию короля советник апелляционного суда Гофман сам назначен членом этой следственной комиссии; ему-то, во всяком случае, не следовало несвоевременными шутками ослаблять уважение к комиссии, что является поступком предосудительным. Поэтому Гофману предстоит теперь держать ответ, «Блоха» же будет напечатана с некоторыми изменениями. Гофман теперь болен, у него серьезная болезнь носа. В ближайших моих письмах я, быть может, потолкую подробнее об этом писателе, которого я слишком люблю и уважаю, чтобы говорить о нем со снисхождением.

Г-н фон Савиньи будет этим летом читать «Институции». У комедиантов, представлявших за Бранденбургскими воротами, плохо шли дела и они давно уехали. Блонден здесь и будет ездить верхом и прыгать. Отсекатель голов Шуман наполняет берлинец изумлением и ужасом. Но Боско, Боско, Бартоломео Боско, — вот кого надо бы вам повидать! Это настоящий ученик Пинетти! Он чинит разбитые часы скорее, чем часовщик Лабинский, он умеет фокусничать картами и пускать кукол в пляс! Жаль, что такой молодец не изучал теологии. Он бывший итальянский офицер, еще очень молод, мужествен, крепок, выступает в черной шелковой куртке в обтяжку и таких же панталонах, и главное, когда он продельвает свои фокусы, руки у него почти до плеч обнажены. На женский пол они должны действовать еще более привлекательно, чем его кунштюки. Надо сознаться, он действительно красивый малый, когда его подвижная фигура залита светом слишком полусотни высоких восковых свеч, стоящих, подобно сверкающему лесу светочей, перед длинным столом, уставленным причудливыми фокусническими аппаратами. Он перенес свои представления из зала Ягора

в Английский дом и неизменно пользуется все тем же изумительно громадным успехом.

Вчера в Кафе-Рояль я разговаривал с камермузикусом. Он сообщил мне множество мелких новостей, из коих я запомнил очень немногие. Большинство их, разумеется, из области музыкальной *chronique scandaleuse*.¹ 20 марта — экзамен у д-ра Штепеля, который преподает фортепьянную игру и генерал-бас по методу Ложье. Граф Брюль накануне полного выздоровления. Вальтер из Карлсруэ выступит еще в новом фарсе «Свадьба Штаберле». Супруги Вольф гастролируют теперь в Лейпциге и Дрездене. Михаэль Беер написал в Италии новую трагедию «Арагонские невесты», и новая опера Мейербера идет теперь в Милане. Спонтини пишет музыку на текст «Сафо» Кореффа. Многочисленные филантропы предполагают устроить здесь приют для бездомных мальчиков, подобный тому, который устроен тайным советником Фальком в Веймаре. В книжной торговле Шюппеля вышли «Безобидные заметки о путешествии по части России и Турции» Космели, которые едва ли окажутся столь безобидными, так как этот оригинальный ум отличается своеобразием в рассмотрении вещей и говорит о виденном неприкрыто и свободно. Библиотеки для чтения подвергнуты полицейскому надзору и должны представить свои каталоги; все совершенно непристойные книги, как большинство романов Альтинга, А. фон Шадена и т. п., будут изъяты. Последний, теперь уехавший в Прагу, только что издал брошюру «Светлые и темные стороны Берлина», содержащую, говорят, много врак и возбуждающую много недовольства. Фабрикант Фритше изобрел новый род восковых свечей, которые на треть дешевле обыкновенных. К предстоящему тиражу выигрышного государственного займа сделаны хорошие дела с продажей билетов. Один банкирский дом Л. Липке и К^о продал уже около десяти тысяч штук. Здесь ожидают Беттихера и Тика. Остроумная Фанни Тарнов живет теперь здесь. Новый «Берлинский ежемесячник» прекратился с января. Генерал Мену Менутули прислал из Италии рукопись своего путевого дневника проф. Идлеру, чтобы тот позаботился о его напечатании. Проф. Бопп, лекции которого о санскрите по-прежнему

¹ Скандальной хроники (франц.).

возбуждают значительный интерес, пишет теперь большой труд о всеобщем языкознании. Около тридцати студентов, среди них много поляков, арестовано за демократическую деятельность. Шадов закончил модель статуи Фридриха Великого. Смерть молодого Шадова в Риме принята здесь с большим участием. Художник Вильгельм Шадов написал недавно прекрасную картину, изображающую принцессу Вильгельмину с детьми. Вильгельм Гензель только в мае едет в Италию. Кольбе занят рисунками для цветных окон в Мариенбургском замке. Шинкель рисует эскизы декораций для «Мильтона» Спонтини. Это уже старая одноактная опера, которая будет поставлена здесь впервые в ближайшем времени. Скульптор Тик работает над моделью статуи Веры, которая будет поставлена в одной из двух ниш у входа в собор. Раух все еще занят барельефами к статуе Бюлова; вместе с уже готовой статуей Шарнгорста они будут поставлены по обеим сторонам новой гауптвахты (между зданием университета и цейхгаузом). Сословные дела, по-видимому, быстро идут вперед. Нотабли Восточной и Западной Пруссии будут на этих днях распущены нашим правительством и затем сменены нотаблями наших саксонских провинций. Последними, говорят, будут призваны нотабли рейнских провинций. О переговорах нотаблей с правительством ничего не известно, так как они принесли, как говорят, *juramentum silentii*.¹ Наши недоразумения с Гессеном, вызванные нарушением территориальных прав при похищении принцессы в Бонне, как видно, не улажены; поговаривают даже, что наш посланник в Касселе отозван. Здесь ожидается новый саксонский посланник. Здешний португальский посланник граф Лобрау окончательно уволен своим правительством; новый португальский посланник ожидается со дня на день. Наш прусский посланник в Португалии, граф фон Флемминг, племянник государственного канцлера, все еще здесь. Наши посланники при королевском саксонском и великогерцогском дармштадтском дворах, г-н фон Иордан и барон фон Оттерштедт, тоже еще здесь. Ожидают нового французского посланника. Здесь много говорят о бракосочетании принца шведского Оскара с красивой княжной Элизой Радзивилл. О браке нашего крэн-

¹ Присягу молчания (*лат.*).

принца с дочерью одного из немецких государей больше ничего не слышно. Ожидаются большие празднества по случаю бракосочетания прищессы Александрины. Спонтини пишет к этим торжествам «Праздник роз в Кашмире», где выступают два слона. Вечерние ассамблеи у министров теперь закончены; единственные еще продолжающиеся — у князя Витгенштейна по вторникам. Наш государственный канцлер совершенно оправился от болезни и живет частью здесь, частью в Глиннике. — К пасхальной ярмарке выйдут в свет «Ежегодники королевских прусских университетов». Библиотекарь Шпикер издает торжественное представление «Лалла Рук». Великан, которого показывали на Королевской улице, перебрался теперь на Павлиний остров. Девриен все еще не совсем поправился. Буше и его жена выступают теперь в концертах в Вене. Новые оперы К.-М. фон Вебера называются: «Эврианта», текст Гельмины фон Чези, и «Два Пинто», текст советника Винклера. Бернгард Ромберг здесь.

Ах, господи, трудно с этими новостями. Самые важные часто нельзя сообщить, если не можешь поручиться за их достоверность. Мелкие сплетни тоже передавать нельзя; во-первых, потому, что они часто слишком глубоко затрагивают семейные отношения, а во-вторых, и самое главное, потому, что те из них, которые всего занятнее в Берлине, часто звучат в провинции скучно и нелепо. Ради всего святого, что интересного для дам в Дюльмене, если я расскажу, что такая-то танцовщица может говорить о себе теперь в двойственном числе, а у такого-то лейтенанта явно фальшивые икры и бедра? Не все ли равно этим дамам, одно или два лица вижу я в этой танцовщице и считаю ли я того лейтенанта состоящим из двух третей ваты и одной трети мяса или двух третей мяса и одной трети ваты? Чего ради писать заметки о людях, которых совсем не стоит замечать.

Как жили здесь эту зиму, догадаться нетрудно. Не требуется особого описания, так как зимние развлечения одни и те же во всех столицах. Опера, театр, концерты, вечера, балы, чай (столь же *dansants*, сколь *médisants* — столь же с танцами, сколь со злословием), маленькие маскарады, любительские спектакли, большие костюмированные балы и т. д. — вот наши излюбленные вечерние развлечения зимой. Здесь необычайно развита общественная жизнь, но она разорвана на лоскутки. Друг подле

друга кишит множество маленьких кружков, которые больше стараются замкнуться, чем расшириться. Достаточно обратить внимание на различные здешние балы; можно подумать, что весь Берлин сплошь разделен на цехи. Двор и министры, дипломатический корпус, чиновники, кушцы, офицеры и т. д. и т. д., — все дают свои балы, на которых бывают исключительно лица, принадлежащие к данному кругу. Собрапия у некоторых министров и послов — собственно большие чайные вечера, даваемые по определенным дням недели, — при более или менее значительном стечении гостей обращаются в настоящие балы. Все балы высшего круга с большим или меньшим успехом стремятся походить на придворные или княжеские балы. Господствующим теперь на последних почти во всей культурной Европе является один и тот же тон, или, точнее говоря, они устраиваются по образцу парижских. Таким образом, наши здешние балы не имеют ничего характерного; как курьезно бывает подчас зрелище, когда живущий, быть может, лишь на жалованье младший лейтенант и питающаяся черным хлебом барышня в лоскутном мишурном наряде выступают на таких балах с ужасающе барственным видом, а трогательно жалкие лица резко, точно в театре марионеток, контрастируют с пришнурованными чопорными придворными котурнами.

Единственный общий для всех сословий бал — это устраиваемые здесь с некоторых пор подписные балы, или, как их в шутку называют, «немаскированные маскарады», в концертном зале Нового драматического театра. Король и двор удостаивают их своим присутствием, король обыкновенно их открывает, и за небольшую входную плату всякий приличный человек может принять в них участие. Об этих балах и о придворных празднествах очень хорошо говорит остроумная и задушевная баронесса Каролина Фуке в своих письмах о Берлине, которые — ввиду глубины мысли, их проникающей, — горячо рекомендую вам. В этом году подписные балы не так блестящи, как в прошлом, когда они имели еще прелесть новизны. Наоборот, балы высоких сановников были в эту зиму особенно блестящи. Моя квартира расположена среди княжеских и министерских дворцов, и поэтому я часто не мог работать по вечерам из-за всего этого громахания карет, топота лошадей и шума. Иногда вся улица бывала запру-

жена экипажами; бесчисленные их фонарики освещали обшитые галуном красные ливреи, метавшиеся между ними с криками и бранью, а из окон дворцовых бельэтажей, где гремела музыка, хрустальные люстры лили свой радостный яркий свет.

Мало снега было у нас в этом году, и, стало быть, почти не было перезвона санных бубенчиков и щелканья бичей. Как во всех протестапских городах, рождество играет здесь главную роль в большой зимней комедии. Уже за неделю до этого дня все заняты покупкой рождественских подарков. Все модные магазины и ювелирные и галантерейные лавки выставили свои лучшие товары — как наши хлыщи выставляют свои научные познания — в ярком освещении; на Замковой площади выстроено множество деревянных балаганчиков с одеждой, утварью, игрушками, и юркие берлинки порхают, как бабочки, от лавчонки к лавчонке и покупают, и болтают, и стреляют глазками, и показывают свой вкус, и себя показывают созерцающим их обожателям. Но самое главное разыгрывается по вечерам; тут видишь, как наши красотки, часто со всем семейством, с папашей, мамашей, тетушкой, сестрицами и братьями, паломничают из одной кондитерской в другую, словно это места страстей господних. Уплатив свои два гроша за вход, эти милые человечки *con amore*¹ рассматривают «выставку» множества сахарных или конфетных фигурок, соответственно расположенных, освещенных со всех сторон, и — будучи скучены между четырех перспективно размалеванных стенок — представляют красивую картину. Более всего привлекает здесь то, что эти сахарные фигурки иногда изображают действительные, всем известные лица.

Я исходил множество этих кондитерских, так как для меня всего занятнее незаметно наблюдать, как развлекаются берлинки, как бурно вздымаются от восторга эти чувствительные груди и как эти наивные души возносятся к небесам ликующие возгласы на берлинском наречии: «Ну, и чудно же!» У Фукса на выставке этого года можно было видеть картины из «Лалла Рук», как они были представлены в прошлом году на известном придворном празднике в замке. Мне не удалось увидеть у Фукса что-нибудь

¹ С увлечением (*итал.*).

из этих прелестей, так как восхитительные дамские головки образовали непроницаемую стену пред четырехугольной картиной из сахара. Не стану томить вас, мой милый, обсуждением выставки у всех кондитеров; военный советник Карл Мюхлер, говорят состоящий берлинским корреспондентом «Эlegantного света», уже дал в этой газете собственный отзыв.

О маскарадах в зале Ягора ничего особенного сказать нельзя, кроме того, что у него введен отличный порядок: всякому, кто боится умереть там от скуки, не возбраняется беспрепятственно удалиться.

Маскарадные балы в Оперном театре очень красивы и пышны. При устройстве их весь партер соединен со сценикой, отчего получается громадный зал, освещенный сверху множеством овальных люстр. Эти пылающие круги кажутся чуть не солнечными системами, как они изображены в астрономических учебниках, они поражают и смущают глаз зрителя и льют свой ослепительный свет на пеструю, сверкающую человеческую толпу, которая, покрывая своим шумом музыку, танцует и прыгая и теснясь, переливается волнами по залу. Всякий должен здесь быть в маскарадном костюме, и никому не разрешается снимать маску внизу, в большом танцевальном зале. Не знаю, в каких еще городах это установлено. Только в коридорах и в ложах первого и второго ярусов можно расстаться со своей личиной. Низшим слоям предоставлено за небольшую входную плату созерцать все это великолепие с галереи. В большой королевской ложе можно видеть двор, большую часть без масок; иногда некоторые из придворных спускаются в зал и смешиваются с шумной толпой масок. Она состоит из представителей всех сословий. Трудно решить здесь, граф этот субъект или портняжный подмастерье; по манерам это, пожалуй, еще можно узнать, но никак не по костюму. Почти на всех мужчинах здесь простые шелковые домино и шапокляки. Это легко объясняется эгоизмом обитателей большого города. Всякий хочет здесь позабавиться, а не быть в качестве ряженого предметом забавы для других. По этой же причине дамы тоже замаскированы очень просто, главным образом летучими мышами. Толпа *femmes entretenues*¹ и жриц

¹ Содержанок (франц.).

низменной Венеры порхает в этом виде по залу, завязывая деловые интрижки. «И знаю тебе», — шепчет здесь одна из них, проносясь мимо. «И я тебе знаю», — слышится в ответ. «Je te connais, beau masque»,¹ — кричит здесь une chauve souris² молодому шалопаю. «Si tu me connais, ma belle, tu n'es pas grande chose»,³ — громко отвечает злодей, и оскандаленная донна исчезает, как ветер.

Не все ли равно, кто скрылся под маской? Здесь хотят повеселиться, а для веселья нужны только люди. И настоящим человеком становишься только в маскараде, где восковая маска покрывает нашу обыкновенную телесную маску, где простое «ты» возрождает первобытную общественную непринужденность, где скрывающее все притяжения домино создает прекраснейшее равенство и где царит прекраснейшая свобода — свобода масок. Для меня маскарадный бал — вещь в высшей степени занимательная. Когда грохочут литавры и гремят трубы и при этом упоительно поют милые голоса флейт и скрипок, — как пейстовый пловец кидаюсь я в бурлящий, пестро освещенный людской поток и танцую, и ношусь, и шучу, и всякого задеваю шалостью, и хохочу, и болтаю, что в голову взбретет. На последнем маскарадном балу я был особенно весел, я чуть не на голове готов был ходить, вакхический дух охватил все мое существо, и встретясь мне на пути мой смертельный враг, я сказал бы ему: завтра мы будем с тобой стреляться, но сегодня я от всей души тебя расцелую. Чистейшее веселье есть любовь, бог есть любовь, бог есть чистейшее веселье! «Tu es beau! Tu es charmant! Tu es l'objet de ma flamme, je t'adore, ma belle!»⁴ — вот слова, сотни раз произвольно срывавшиеся с моих губ. И всем встречным я пожимал руку и пред всеми учтиво снимал шляпу; и все были так же вежливы со мной. Только один истинно немецкий юнец стал грубиянить и ругаться по поводу моего поклонения французскому Вавилону и гремел древнетевтонским пивным басом: «Где веселятся ряженые немцы, должен немец разговаривать по-немецки!» О немецкий юнец, какими греховными

¹ «Я тебя знаю, прекрасная маска» (франц.).

² «Летучая мышь» (франц.).

³ «Если ты меня знаешь, не велика тебе цена» (франц.).

⁴ «Ты красива! Ты восхитительна! Ты предмет моей страсти, я обожаю тебя, моя красавица!» (франц.).

и бестолковыми кажетесь мне ты и твои слова в такие минуты, когда душа моя объемлет любовью весь мир, когда я в ликовании готов обнять русских и турок и когда меня влечет упасть в слезах на братскую грудь скованного африканца! Я люблю Германию и немцев; но не меньше люблю и обитателей прочей земли, которых в сорок раз больше, чем немцев. Ценность человека определяется его любовью. Слава богу! Я, значит, стою в сорок раз больше тех, кто не в силах выбраться из болота национального эгоизма и любит только Германию и немцев.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Берлин, 7 июня 1822 г.

Я облачился только что в мой парадный камзол, черные шелковые панталоны и такие же чулки и торжественнейше сообщаю вам о высоком бракосочетании ее королевского высочества принцессы Александрины с его королевским высочеством наследным принцем великим герцогом Мекленбург-Шверинским.

Подробное описание свадебных празднеств вы сами, конечно, читали в «Фоссовой» или в «Гауде-Шпенеровой газете», и таким образом я могу к этому прибавить лишь очень немного. Есть, однако, и еще одна важная причина, по которой я могу рассказать об этом очень немного, а именно: дело в том, что я в самом деле очень немного из всего этого видел. Так как я очень часто передаю не новость, а ее дух, то оно и не очень важно. Я и недостоично подготовился к собиранию новостей. Правда, давно уже было установлено, что 25-го состоится бракосочетание этих великих особ.

Ходил слух, что торжество это будет отложено еще на некоторое время, и в самом деле, мне самому в прошлую пятницу не верилось, что уже завтра состоится венчание. Так было со многими. В субботу утром на улицах не было особенного оживления. Но на лицах отражались поспешность и таинственное ожидание. Беготня слуг, парикмахеры, коробки, модистки и т. д. Прекрасный день, не очень душный; однако люди были в поту. Около шести часов началось гроыхание экипажей.

Я не дворянин, не сановник, не офицер, следовательно, не принят ко двору и не мог быть сам в замке на свадебных торжествах. Однако я пошел в замковый двор, чтобы повидать хоть всех особ, имеющих доступ ко двору. Никогда не видел я такого множества великолепных экипажей. На слугах были их лучшие одеяния, и в своих ярких пестрых ливреях, коротких штанах с белыми чулками они были похожи на голландские тюльпаны. На одежде многих из них было больше золота и серебра, чем на всей домашней прислуге североамериканского бургомистра. Но первенство принадлежало кучеру герцога Кумберлендского. Право, стоит съездить в Берлин уже ради того единственно, чтобы видеть, как парадует этот цвет всех кучеров на козлах. Что Соломон в своей царственной пышности, что Гарун-аль-Рашид в своем калифском облачении, что триумфальный слон в «Олимпии» пред великолепием этого Великолепного! В менее высокаторжественные дни он уже внушает достаточное почтение своею истинно китайской фарфорностью, маятниковобразными движениями своей напудренной, с тяжелой косичкой головы, прикрытой волшебной треуголочкой, и удивительной подвижностью рук при управлении лошадыми. Но сегодня на нем был пурпурный наряд, не то фрак, не то сюртук, панталоны того же цвета, все обшито широким золотым галуном. Его благородная голова, белоснежно напудренная и украшенная нечеловечески огромным черным кошелем для волос, была покрыта черной бархатной шапочкой с большим козырьком. Совершенно так же были одеты четыре лакея, стоявшие на запятках, державшие друг друга в братских объятиях и являвшие глазеющей публике четыре болтающихся кошеля с волосами. Но на Его лице было обычное царственное величие. Он дирижировал шестиупряжной парадной каретой.

Мощно он вожжи схватил, и быстро рванулися кони...

Чудовищная толкотня была на Замковой площади. Да, нечего сказать — берлинки не любопытны. Нежнейшие девы угощали меня такими толчками в бока, что я их и сегодня еще чувствую. Счастье, что я не беременная женщина. Но я добросовестно протолкался и счастливо добрался до подъезда замка. Осаживавший толпу полицейский пропустил меня, потому что я был в черном сюр-

туке и потому что он по виду моему понял, что на окнах моей квартиры висят красные шелковые портьеры. Теперь я превосходно мог видеть, как выходят из экипажей знатные господа и дамы, и меня очень занимали важные придворные наряды и придворные лица. Первых я не могу описать, так как недостаточно одарен портняжным гением, а вторых не хочу описывать по соображениям кутузочным. Две хорошенькие берлинки, стоявшие рядом со мной, с энтузиазмом восхищались прекрасными алмазами, и золотым шитьем, и цветами, и газом, и атласом, и длинными шлейфами, и прическами. Я же, напротив, восхищался еще больше красивыми глазами этих восхищенных красоток и несколько рассердился, когда кто-то сзади дружески ударил меня по плечу и предо мной засияло краснощекое личико придворного музыканта. Он был в чрезвычайном возбуждении, этот камермузикус, и прыгал, как лягушка. «Carissime,¹ — квакал он, — видите там эту красавицу, графиню? Стройность кипариса, кудри — гиацинты, ротик — одновременно роза и соловей, вся она — цветок, а не женщина, и как бедный цветок, сдавленный между двумя листками пропускной бумаги, стоит она между двумя седыми тетками. Супругу, который поедает такие цветочки вместо репейника, для того чтобы убедить нас, что он не осел, пришлось остаться сегодня дома, — он простужен, он валяется на диване, я должен был записать его, мы проболтали два часа о новой литургии, и мой язык истерся от этой продолжительной болтовни, и губы заболели от непрестанной улыбки». При этих словах уголки рта камермузикуса стянулись в кислочувствую улыбку, которую он опять слизнул тонким язычком, и вдруг закричал: «Литургия! Литургия! Она полетит на крыльях Красного Орла 3-й степени от колокольни к колокольне jusqu'à la tour de Notre Dame!² Поговорим, однако, о разумных вещах; посмотрите-ка на этих двух нарядных господ, вот что только что проехали: измятое, засушенное личико, тонкая головка с мягкими ватными мыслями, пестро расшитый жилет, парадная шпага, белые, шелковые, улыбающиеся ножки, и выражается он на французском диалекте, и если перевести это на немецкий

¹ Дражайший (*лат.*).

² До колокольни Собора богоматери (*франц.*).

язык, то выйдет глупость; наоборот, другой, усатый великан, титан, готовый взять приступом все небеса пад кроватями, ¹ — бьюсь об заклад, что у него ума как у Аполлона Бельведерского...» Чтобы навести болтуна на другие мысли, я указал ему на стоявшего против нас моего цирюльника, нарядившегося в новый старонемецкий сюртук. Тут побагровело лицо камермузикуса, и он заскрежетал зубами: «О, святой Марат! Такая мразь разыгрывает борца за свободу! О, Дантон, Колло д'Эрбуа, Робеспьер...» Напрасно напевал я песенку:

Шпандау, о господь,
Великая твердыня, и т. д., —

все напрасно, — я еще ухудшил дело, пустослов ушел в старые революционные рассказы и стал болтать о гильотинах, фонарях, сентябрьской резне, пока мне, к счастью, не вспомнилась его забавная боязнь пороха, и я сказал: «А знаете, сейчас в Люстгартене будет дан салют из двенадцати пушек?» Не успел я произнести эти слова, как камермузикуса и след простыл.

Я стер холодный пот с лица, когда, наконец, избавился от этого болтуна, поглядел еще на последних выходявших из экипажей гостей, отвесил моим восхитительным соседкам поклон, сопровождаемый милой улыбкой, и направился к Люстгартену. Здесь действительно были установлены двенадцать пушек, из которых должно было быть произведено три залпа в тот момент, когда высокая чета будет обмениваться кольцами. В одном из окон замка стоял офицер, который должен был подать канонирам в Люстгартене знак к стрельбе. Здесь собралась толпа народа. На лицах можно было прочесть особенные, почти противоречащие друг другу мысли.

Одной из прекраснейших черт в характере берлинцев является совершенно неопишемая любовь их к королю и королевскому дому. Принцы и принцессы здесь главный предмет разговоров в самых мелких бюргерских домах. Настоящий берлинец иначе и не выражается, как «наша» Шарлотта, «наша» Александрина, «наш» принц Карл и т. д.

¹ Игра слов: по-немецки Himmel (небо) значит также — балдахин.

Берлинец как бы вживается в королевское семейство, все члены которого представляются ему добрыми знакомыми; он знает особенности каждого и всегда с восхищением замечает в них новые прекрасные стороны. Так, например, берлинцы узнают, что кронпринц очень остроумен, поэтому всякое удачное словечко немедленно начинают приписывать кронпринцу, и, таким образом, одному Геркулесу с разящей палицей остроут приписываются остроуты всех прочих Геркулесов.

Можете поэтому представить себе, как должен здешний народ любить прекрасную, сияющую Александрина; и этой любовью вы также можете объяснить себе противоречие, запечатлевшееся на лицах берлинцев, когда они в ожидании смотрели на высокие окна замка, где венчалась наша Александрина. Огорчения они не смели выказывать: ведь это праздник любимой принцессы. Радоваться понастоящему они тоже не могли: ведь они ее теряют. Рядом со мной стояла старушка, на лице которой было написано: да, вот, выдала я ее замуж, но ведь теперь она покинет меня. На лице моего молодого соседа читалось: в сани герцогини Мекленбургской она ведь будет не так высока, как здесь, где она была царицей всех сердец. На алых губках одной хорошенькой брюнетки я прочитал: ах, добраться бы и мне до этого!.. Тут грянули вдруг пушки, дамы вздрогнули, колокола зазвонили, поднялись облака пыли и дыма, мальчишки заорали, люди потащились по домам, а солнце в кровавом зареве закатилось за Монбизу.

Свадебные торжества не были особенно шумны. Наутро после венчания высокие новобрачные присутствовали на богослужении в соборе. Они ехали в запряженной восьмериком золотой карете с большими стеклами, и огромная толпа глазела на них. Если не ошибаюсь, в этот день вышеупомянутые лакеи были без кошелей для волос. Вечером был прием поздравляющих, а затем бал с полонезом в Белом зале. 27 марта состоялся обед в Рыцарском зале, а вечером высокие и высочайшие особы были в оперном театре, где исполнялась написанная для этого торжества опера Спонтини «Нурмагал, или Праздник роз в Кашмире». Многие с величайшим трудом добыли билеты на эту оперу. Я получил билет в подарок, однако не пошел. Правда, следовало пойти для того, чтобы написать вам о ней. Но разве вы думаете, что я ради моих корреспонден-

ций должен приносить себя в жертву? С содроганием вспоминаю еще об «Олимпии», на которой мне по особым обстоятельствам пришлось недавно побывать вторично и с которой я выбрался чуть ли не с разбитыми членами. Но я отправился к камермузикусу и спросил его, что за штука эта опера. Он ответил: «Лучшее в ней то, что там нет ни одного выстрела». Однако я не могу в этом деле положиться на камермузикуса, так как, во-первых, он сам сочиняет музыку и, по его мнению, лучше, чем Спонтини, и, во-вторых, его уверили, что тот собирается написать оперу с обязательными пушками.¹ Но вообще о «Нурмагале» слышно не много хорошего. Шедевром он быть не может. Спонтини вставил сюда много кусочков из своей предыдущей оперы. Поэтому в новой опере есть, правда, очень хорошие места, но целое состряпано из лоскутков и лишено последовательности и единства, составляющих главное достоинство прочих опер Спонтини. — Высокие новобрачные были встречены всеобщим ликованием. Великолепие постановки, говорят, певиданно. Декоратор и театральный костюмер превзошли себя. Стихи для музыки сочинены театральным поэтом: следовательно, они должны быть хороши. Слонов на сцене не было. «Правительственная газета» от 4 июня говорит с порицанием об одной статье магдебургской газеты, где сообщалось, что в новой опере появятся два слона, и замечает с шекспировским остроумием, что эти слоны «пока что сидят, вероятно, в Магдебурге». Если магдебургская газета почерпнула это сообщение из *моего* второго письма, то я с глубочайшим прискорбием приношу извинение, что я, злосчастный, навлек на нее перуны этого остроумия. Я беру обратно то, что сказал, и с таким смирением и скорбью, что «Правительственная газета» должна лить слезы умиления. Вообще я раз навсегда заявляю, что готов брать обратно все что потребуют, лишь бы это не стоило мне большого труда. Я действительно слышал, что в «Празднике роз» примет участие пара слонов. Потом мне говорили, что это будет пара верблюдов, потом говорили, что там выступит пара студентов, и, наконец, оказалось, что это будет пара ангелов невин-

¹ Игра слов: по-немецки mit obligaten Kanonen (музыкальный термин) значит также — с обязательными канонами (церковными песнопениями).

ности. — 28-го был бесплатный маскарад. Уже с половины девятого начали съезжаться маски в оперный театр. В предыдущем письме я описал здешний маскарадный бал. На этот раз он отличался тем, что черные домино не допускались, что все присутствующие были в башмаках, что разрешено было с часа ночи снимать в зале маски и что входные билеты и угощение были даровые. В последнем было все дело. Если бы я не носил в груди непоколебимого убеждения, что берлинцы — образец образованности, тонкого обращения и с полным правом презрительно взирают на неотесанность моих земляков; если бы я не убедился во многих случаях, что самый нищий берлинец дошел до высочайшего искусства голодать пристойно и научился мастерски втискивать вопиющий желудок в формы благородного благоприличия, — то я очень легко мог бы составить об этих людях самое неблагоприятное мнение, видя, как на этом бесплатном балу они обступили буфет плотной стеной в шесть человек толщины, как они лили в глотку стакан за стаканом, набивали брюхо пирожными, и все это с таким изящным обжорством и героической настойчивостью, что порядочному человеку почти невозможно было прорвать строй этой буфетной фаланги, чтобы при духоте, царившей в зале, освежиться стаканом лимонада. Король и весь двор присутствовали на этом балу. Вид новобрачной привел в восторг всех присутствующих. Она больше блистала своей прелестью, чем роскошным бриллиантовым убором. На короле было темно-голубое домино. Принцы были главным образом в староиспанских и рыцарских костюмах.

Я давно уже заметил, что порядок, в котором я сообщаю вам о здешних событиях, определяется моей прихотью, а не их хронологией. Если бы я следовал последней, мне пришлось бы начать мое письмо с юбилея тайного советника Гейма. Вероятно, вы достаточно знаете из газет, как чествовали здесь этого заслуженного врача. Целых два дня говорили об этом в Берлине, а это много значит. Повсюду рассказывали анекдоты из жизни Гейма, и некоторые из них чрезвычайно забавны. Самым смешным из них кажется мне рассказ о том, как он мистифицировал своего кучера, когда тот однажды занял ему, что доволно его возил, теперь он сам хочет стать врачом и учиться медицине. Отмечено также много других служебных

юбилеев, и у Ягора хлопали пробки бутылок с шампанским. Вообще не успеешь оглянуться, как человек здесь уже отслужил пятьдесят лет. В этом виноват климат. — Был отпразднован также юбилей одной служанки, и в «Элегантном свете» было рассказано, как чествовали и воспевали горничную-юбиляршу. Даже одна матрона с улицы Невинности праздновала, как мне рассказывали вчера, свой юбилей. Она была увенчана розами и лилиями; один чувствительный портупей-юнец поднес ей энергичный сонет, совершенно в духе обычной юбилейной поэзии, где рифмовалось увлечение, побуждение, мление, трение и где двенадцать девственниц поют:

Мой меч, о друг мой старый,
Что значит блеск твой ярый? и т. д.

Как видите, стихи Теодора Кернера распеваются по-прежнему. Конечно, не в кругах с хорошим вкусом, где давно уже открыто признали исключительной удачей то, что в 1814 году французы не понимали по-немецки и не могли читать эти вялые, пустые, плоские, прозаические стихи, так воодушевлявшие нас, добрых немцев. Но эти освободительные вирши часто еще декламируются и распеваются на задушевных вечеринках, где греются зимою у невинного огонька тлеющей соломы, потрескивающей в этих патриотических песнях; и как престарелый белый конь великого Фридриха вновь юношески становился на дыбы и проделывал всякие воинские маневры, так подымается высокое чувство в сердце иной берлинки, когда она слышит песню Кернера; она грациозно прижимает руку к груди, испускает бездонный вздох упоения, мужественно подымается, как Иоганна де Монфокон, и говорит: «Я — немецкая девственница».

Я замечаю, мой милый, вы смотрите на меня кислотовато из-за горького, язвительного тона, каким я иногда говорю о вещах, которые дороги и должны быть дороги другим людям. Но я не могу иначе. Слишком пылает моя душа жаждой истинной свободы, чтобы не охватил меня гнев, когда я смотрю на наших мелкотравчатых, велеречивых героев свободы в их сером убожестве; слишком сильны в моей груди любовь к Германии и преклонение перед немецким величием, чтобы я стал подтягивать бессмысленной дребедени грошовых людишек, кокетничающих немец-

ким национальным чувством; и подчас почти судорожно вспыхивает во мне желание сорвать бесстрашной рукой ореол с головы старой лжи и подергать самого льва за шкуру, потому что я чувую скрывающегося под нею осла.

О драме сообщу вам и на этот раз немного. Комик Вальтер имел здесь некоторый успех; что до меня, то мне его юмор не по вкусу. Напротив, Лебрен из Гамбурга, недавно выступавший здесь несколько раз, поистине восхитил меня. Это один из лучших наших немецких комиков, несравненный в жизнерадостных ролях, и он вполне заслуживает тех похвал, которыми осыпали его здесь все знатоки. Карл-Август Лебрен как бы рожден был актером, природа в полной мере одарила его всеми талантами, потребными для этого дела, а искусство развило их. Но что сказать мне о Нейман, которая очаровала всех берлинцев, и даже рецензентов. Чего не сделает смазливое личико! Счастье еще, что я близорук, а то эта Цирцея и месья так же превратила бы в серую скотинку, как сдного из моих приятелей. У этого несчастного теперь такие длинные уши, что одно торчит в «Фоссовой газете», другое в «Гаудс-Шпенеровой газете». Некоторых юнцов эта дама уже свела с ума; один из них страдает водобоязнию и больше не пишет стихов. Всякий чувствует себя счастливым, лишь приблизившись к красавице. Один гимназист, платонически влюбившийся в нее, преподнес ей каллиграфический образец своего почерка. Ее муж тоже актер и блистал как лощеный холст в комедии «Треска и колотушки». Милой женщине, конечно, досаждают чрезмерное внимание её обожателей. Рассказывают, что один большой, живущий рядом с нею, не имел покоя от людей, ежеминутно врывавшихся к нему в комнату с вопросом: «Здесь живет мадам Нейман?» — пока, наконец, он не вывел на своей двери надпись: «Мадам Нейман здесь не живет».

Красавицу даже отлили из чугуна, и продаются маленькие железные медали с ее изображением. Говорю вам, энтузиазм к Нейман свирепствует здесь, как скотский падеж. В то время как я пишу эти строки, я сам чувствую влияния заразы. Еще звучат в моих ушах восторженные выражения, в которых вчера превозносил ее один седовласый. Ведь и Гомер не мог сильнее изобразить красоту

Елены, как рассказом о восхищении, охватившем при ее виде седых старцев. Очень многие медики тоже удивляются вокруг красавицы, и здесь в шутку называют ее «Венерой Медицинской». Но что тут много рассказывать, вы сами, конечно, внимательно читаете наши театральные рецензии и заметили, как правильно движется в них стихотворный размер — и как раз размер сафической оды к Венере. Да, это Венера, и даже Венера женского пола, как выразился один альтонский купец. Только проклятый наборщик подбрасывает иногда осиное жало в чашу гиметского меда, приносимого нашей богине преклоняющимся рецензентом. «Справочный листок» (самое название есть ирония)¹ сообщает, что в рецензии «Шпенеровой газеты» (№ 63, от 25 мая) о гастролях г-жи Нейман вкралась опечатка. В строчке 26 напечатано: «подвижная любовная игра», тогда как следует: «подвижная игра лица».² Вчера красавица выступала в новой комедии Клаурена «Жених из Мексики». В этой пьесе грациознейшим образом брызжет легкая, оригинальная, почти сказочная веселость, которая должна прийтись по душе всякому любителю радостного расположения духа. Комедия и в самом деле понравилась многим, да и вообще все выходящее из-под пера этого писателя встречается здесь с необычайным восхищением. Сочинения его имеют много противников, но они выдерживают одно издание за другим.

На Александровской площади строится народный театр. Некто по фамилии Церф получил на это привилегию, но уступил ее другому лицу и получает отступных три тысячи талеров в год. Вести дело будет бывший актер Бетман. Заведование литературной частью в этом театре предложено, как мне сообщали, профессору Губицу. Было бы желательно, чтобы он взялся за это дело, так как он отлично знает сцену и ее хозяйство и в то же время знаменит как драматург, критик и мастер в изобразительных искусствах, соединяя, таким образом, в этой многосторонности все необходимое для такого руководства. Сомневаются, однако, чтобы он взял на себя таковое,

¹ Газета называется «Intelligenz-Blatt», а Intelligenz по-немецки значит и деловое общение и разум.

² Игра слов: по-немецки Minne значит любовь, Miene — мина, выражение лица.

так как он совершенно поглощен редактированием журнала «Собеседник», которому он отдался душой и телом. Журнал этот очень распространен, расходуется в количестве, кажется, тысячи пятисот экземпляров, читается здесь с необычайным интересом и может, полагаю, быть назван самым содержательным и лучшим во всей Германии. Губиц ведет его с рвением и добросовестностью, часто близкой к мнительности. В стремлении к корректности и пристойности он чересчур уж строг. Не вообразите, однако, что дело идет о педанте. Этот человек в цвете лет, независимый, жизнерадостный, энтузиаст всего прекрасного, и в личности его жив тот же веселый анакреонтический дух, который так отличает его стихотворения. Недавно здесь у нас появился еще один еженедельник; предназначенный для народа, он выходит под редакцией лейтенанта Лейтгольда, не так давно возвратившегося из путешествия в Бразилию, называется «Диковинки и редкости» и снабжен наивным эпитафием. Лучшие здешние издания для народа — «Наблюдатель на Шпрее» и «Бранденбургский вестник». Последний — скорее для образованных слоев. Я с изумлением заметил, что в нем опять перепечатана часть моего второго письма из «Вестфальского указателя». Хотя я очень тронут этой честью и присовокупленной сюда похвалой, однако это причинило бы мне, пожалуй, великую неприятность, если бы здешняя галантная цензура не вычеркнула того, что я говорил там о берлинках. Если бы эти ангелы прочитали сказанное там, мне бы дюжинами полетели в голову цветочные корзины. Но я и в этом случае не сбежал бы на Собачий мост; прекрасная барышня Фортуна давно уже поднесла мне такую огромную железную корзину,¹ что я едва бы мог наполнить ее корзиночками всех берлинских дам. — Змею, и притом весьма редкостную, можно теперь видеть за восемь грошей в доме № 24 Под Липами. Замечу вам при этом случае, что я переехал. — Блонден со своей труппой все еще дает за Бранденбургскими воротами прекрасные и собирающие множество посетителей представления благородной верховой езды. У него Колумб высаживается в Огаити. — Боско закончил, наконец,

¹ Игра слов: einen Korb geben (буквально: «поднести корзину») по-немецки значит—отвергнуть любовное предложение.

свои предпоследние, последние и самые последние представления, дав несколько в пользу бедных. Говорят, он подражает Буше, но это неверно, — Буше подражал ему, фокуснику. — Статуи Бюлова и Шарнгорста будут на днях поставлены по обеим сторонам новой гауптвахты. Их можно теперь видеть в мастерской Рауха. Я уже раньше смотрел их там и нашел прекрасными. Статуя Блюхера, сделанная Раухом для Бреславля, отправлена туда. Я видел новую биржу. Она устроена прекрасно. Множество просторных, роскошно отделанных комнат. Все сделано на широкую ногу. Мне говорили, что создатель этого учреждения — благородный любитель искусств, сын великого Мендельсона, Иосиф Мендельсон. Берлин давно пуждается в таком учреждении. Не только коммерсанты, но и служащие, ученые и люди всех званий посещают биржу. Особенно притягательна читальня, где я нашел сотню с лишком немецких и заграничных газет и журналов. Среди них видел я и наш «Вестфальский указатель». Научно образованный руководитель д-р Берингер заведует читальней, умея заслужить признательность всякого посетителя своей предупредительной любезностью. Иости ведет ресторан и кондитерскую. Прислуга — в коричневых ливреях с золотыми галунами, а швейцар внушает особое почтение своим большим маршалским жезлом. — Постройки Под Липами, удлиняющие Вильгельмштрассе, быстро идут вперед. Вырастут прекрасные колоннады. На днях происходила также закладка нового моста. — В музыкальном мире очень тихо. В la capitale de la musique дело происходит, как и во всякой иной capitale: в столице потребляют то, что производится в провинции. Кроме юного феникса Мендельсона, который, по отзыву всех музыкантов, есть музыкальное чудо и может стать вторым Моцартом, я не мог бы указать среди *проживающих здесь* автохтонов ни одного музыкального таланта. Большинство выдающихся здесь музыкантов — из провинции, а то и из-за границы. С невыразимым удовольствием должен я упомянуть здесь, что наш земляк Иосиф Клейн, младший брат композитора, о котором я говорил в моем предыдущем письме, подает самые большие надежды. Многие из написанного им вызывает похвалы знатоков. Скоро выйдут его песни, имеющие здесь большой успех и часто исполняемые в обществах. Поражающая ориги-

нальность отличает их мелодии, они близки всякому сердцу, и можно предвидеть, что этот юный художник некогда станет одним из прославленных немецких композиторов. Спонтини покидает нас надолго. Он едет в Италию. Он послал в Вену свою «Олимпию», которая, однако, не будет там поставлена, так как требует слишком больших расходов. — Итальянские буффоны пробыли здесь лишь несколько дней. Под Липами выставка восковых фигур. — На Королевской улице (угол Почтовой) показывают диких зверей и Минерву. — Процесс Фонка также составляет здесь предмет общественных разговоров. Впервые привлекла здесь к нему внимание очень хорошо написанная брошюра Крейзера. После нее вышло еще много брошюр, сплошь высказывавшихся за Фонка. Между ними выделялась книга барона фон дер Лейена. Эти книги вместе со статьями о процессе Фонка в «Вечерней газете», «Литературном журнале» и сочинением самого обвиняемого распространили здесь благоприятное мнение о Фонке. Лица, втайне настроенные *против* него, публично высказываются все же за него, из сострадания к несчастному, промучившемуся уже столько лет. Мне пришлось в одном обществе упомянуть об ужасном положении его ни в чем неповинной жены и о страданиях их благородной, уважаемой семьи, и когда я рассказывал, что, по слухам, кельнская чернь оскорбляла бедных малолетних детей Фонка, одна дама упала в обморок, а одна красивая девушка принялась горько плакать и, рыдая, говорила: «Я уверена, что король помилует его, если его и осудят». Я тоже убежден, что наш добрый король воспользуется своим прекраснейшим и божественнейшим правом, чтобы спасти такое множество хороших людей от несчастья; я желаю этого так же сердечно, как берлинцы, хотя не разделяю их взглядов на самый процесс. Относительно последнего я слышал необычайное множество беспочвенных разглаговльствований. С наибольшей основательностью говорят о нем господа, не имеющие о деле никакого понятия. Мой приятель, горбатый секретарь суда, говорит, что, будь он на Рейне, он немедленно выяснил бы дело. Вообще, по его мнению, тамошнее судопроизводство никуда не годится. «К чему, — говорил он вчера, — эта публичность? Какое дело Петру или Христофору до того, убил ли Ценена Фонк или кто-либо другой? Пору-

чите мне дело, я закурю трубку, просмотрю документы, доложу о них, присутствие при закрытых дверях будет иметь о них суждение и вынесет приговор и оправдает молодца или осудит его, — и ни одна ворона о том не каркнет. На что эти присяжные, этот кум сапожник и этот кум перчаточник? Я думаю, я, человек с высшим образованием, слушавший логику у Фриза в Иене, имеющий отметку о прослушании всех его юридических лекций и выдержавший экзамен, я ведь больше могу судить, чем этикие необразованные люди? В конце концов этакий человек возомнит себя невесть какой важной особой, потому что столь много зависит от его *да* или *нет*! И хуже всего этот Code Napoléon,¹ этот скверный кодекс, не позволяющий даже дать служанке по уху...» Но довольно говорить премудрому секретарю суда. Он является представителем множества людей, которые здесь стоят за Фопка потому, что они *против* прирейнского судопроизводства. Из-за этого последнего завидуют прирейнцам и охотно избавили бы их от этих «оков французской тирании», как некогда назвал французский закон *незавенный* Юстус Грунер — упокой господи его душу. Пусть долго еще дорогая страна прирейнская носит эти оковы и пусть закуют ее еще в такие же! Пусть долго еще цветет на Рейне эта подлинная любовь к свободе, основанная не на ненависти к французам и национальном эгоизме, эта подлинная сила и юность, струящаяся не из водочной бутылки, и эта подлинная Христова вера, ничего общего не имеющая с обличительным религиозным пылом или ханжеским прозелитизмом.

В нашем университете ровно ничего нового, только тридцать два студента исключены за участие в недозволенных кружках. Быть исключенным — вещь очень тягостная; даже простое увольнение имеет, говорят, неприятные стороны. Полагаю, что строгий приговор против тридцати двух будет еще смягчен. Я совсем не собираюсь защищать недозволенные кружки в университетах; это остатки старого корпорационного строя, который мне хотелось бы видеть совершенно изгнанным из нашего времени. Однако я считаю, что эти кружки — необходимое следствие наших университетских порядков, или, вернее, беспорядков,

¹ Кодекс Наполеона (*франц.*).

и что они, вероятно, исчезнут не раньше, чем к нашим студентам будет применена милейшая и любимейшая оксфордская система стойлового откармливания. Польских студентов *видишь* теперь здесь не больше полдюжины. Над ними было наряжено широкое следствие. Многие, говорят, уехали отсюда без большого желания вернуться, а значительная часть, кажется человек около двадцати, содержится в наших городских тюрьмах. Большинство их — из *русской* Польши и провинились в революционной деятельности, направленной против их правительства.

Говорят, Людвиг Тик в скором времени приедет сюда и будет читать лекции о Шекспире. 31-го прошедшего месяца был день рождения князя, государственного канцлера. На днях здесь ожидается прибытие гессенского посольства, которому надлежит уладить наши разногласия по поводу известного нарушения территориальных прав. В Померанию отправлена комиссия для обследования тамошнего сектанства. Ярмарка шерсти открыта, и сюда прибыло множество помещиков, привезших для продажи шерсть и в шутку прозванных здесь «состоятельными».¹ Даже улицы становятся честолюбивыми. *Последняя улица* желает теперь именовать Доротеевской. Говорят, Фридриху Великому будет поставлена статуя на Оперной площади. У семьи тапцоров Кюблер сгорел багаж на шоссе у Блюмберга. При постройке нового моста применяется паровая машина.

Литературных новостей в настоящую минуту очень мало, хотя Берлин их главный рынок. В отношении овощей я иду вперед вместе с моим временем. Спаржи я больше не ем, а ем гороховые стручья. Но в литературе я отстал. Да, я не читал еще даже подложных «Годов страствия», наделавших и до сих пор продолжающих делать столько шума. Эта книга представляет особый интерес для Вестфалии, так как теперь все утверждают, что автор ее — наш земляк, д-р Пусткухен из Лемго.² Не знаю, почему он хотел отречься от авторства, ведь ему, конечно, не приходится стыдиться этой книги. Долго ломали себе

¹ Игра слов: Немецкие слова «состоятельный» (der Wohlhabende) и «имеющий шерсть» (der Wollhabende) звучат сходно.

² См. примечание на стр. 91.

голову над тем, кто ее автор, и называли разные имена. Гофрат Шютц публично заявил, что это не он. Некоторые голоса называли советника министерства иностранных дел фон Фарнхагена; но он сделал такое же заявление. К тому же такое предположение на его счет было совершенно невероятно, так как он принадлежит к величайшим почитателям Гете, и сам Гете в последнем выпуске своего журнала «Искусство и старина на Рейне» заявил даже, что Фарнхаген глубоко понял его и ему самому не раз уяснял его. Право, после радости ощущать себя самим Гете я не знаю более радостного чувства, чем получить такое свидетельство от Гете, человека, стоящего на вершине своей эпохи. Кроме того, говорят о немецком «Жиль-Блазе», вышедшем четыре недели тому назад под редакцией Гете. Эта книга написана одним бывшим слугой. Гете отдал ее и приложил к ней весьма замечательное предисловие. Этот могучий старец, Али-Паша нашей литературы, издал также еще одну часть своей автобиографии. По завершении это будет одно из замечательнейших созданий, как бы великая эпопея эпохи. Ибо такая автобиография есть также биография эпохи. Гете рисует по преимуществу последнюю и ее воздействие на него, тогда как другие автобиографии, например Руссо, имеют в виду исключительно свою неприятную субъективность.

Но часть биографии Гете появится лишь после его смерти, так как он говорит в ней о всех своих веймарских отношениях, особенно же касающихся великого герцога. Эта дополнительная часть, конечно, привлечет наибольшее внимание. В скором времени мы получим также мемуары Байрона, которые, однако, по слухам, богаты, подобно его драмам, не столько действием, сколько изображением его душевного состояния. В предисловии к его трем новым драмам содержатся весьма замечательные слова о нашем времени и его революционности. Очень жалуются еще на безбожие его поэзии, и поэт-лауреат Саути в Лондоне называет Байрона и близких ему по духу «сатанинской школой». Но Чайльд-Гарольд мощно взмахивает отравленным бичом, которым хлещет увенчанного поэта. — Большое внимание возбуждает другая автобиография. Это «Мемуары Джакомо Казанова да Сенегалья», издаваемые Брокгаузом в немецком переводе. Французский оригинал

еще не напечатан, и судьбы манускрипта пребывают еще во мраке неизвестности. Подлинность его не подлежит сомнению. «Fragment sur Casanova»¹ в сочинениях принца Шарля де Линя — достоверное свидетельство, и по книге сразу видно, что она не сфабрикована. Моей возлюбленной я бы ее не предложил, но зато всем моим друзьям рекомендую. Итальянская чувственность знойно дышит на нас из этой книги. Герой ее — жизнерадостный, крепкий венецианец, истый пройдоха, объездивший весь свет, состоит в близких отношениях с самыми выдающимися людьми и еще в гораздо более близких — с женщинами. В этой книге нет ни строки, совпадающей с моими чувствами, но также ни строки, которую я читал бы без удовольствия. Вторая часть должна выйти уже в скором времени, но здесь ее пока достать нельзя, так как со вчерашнего дня, как мне сообщали, издательство Брокгауза опять подчинено цензуре. Хороших беллетристических произведений здесь за эти дни не появилось. Фуке выпустила в свет новый роман, под заглавием «Преследуемый». В мире поэтическом дело идет здесь так же, как в музыкальном. Поэтов достаточно, но хороших стихотворений мало. Будущей осенью, однако, мы можем ожидать кое-чего хорошего. Кехи (не берлинец), недавно давший нам очень содержательную работу о сцене, скоро выступит с томом стихов, и образцы, с которыми мне довелось познакомиться, дают мне основание питать очень большие надежды. Они проникнуты чистым чувством, необычайной нежностью, глубокой сердечностью, не омраченной никакой горечью, одним словом истинной поэзией. Избытка в подлинных драматических талантах теперь как раз нет, и я многого жду от фон Юхтрица (не берлинца), молодого поэта, написавшего ряд драм, изумительно расхваливаемых знатоками. Одна из них, «Иоанн Златоуст», скоро появится в печати и, полагаю, привлечет общее внимание. Я слышал из нее отрывки, достойные величайшего мастера. — О «Мастере Блохе» Гофмана я общал в прошлом письме написать побольше. Возбужденное против автора следствие прекращено. Он все еще хворает. Я, наконец, прочел этот нашумевший роман. *Ни строчки* не нашел я в нем, указывающей на демагогические интри-

¹ «Отрывок о Казанове» (франц.).

ги. Сперва заглавие книги показалось мне очень неприличным; при упоминании о нем в обществе щеки мои покрывались девственным румянцем, и я всегда лепетал: «С позволения сказать, роман Гофмана». Но в «Обхождении с людьми» Книгге (часть 3, гл. 9, об обхождении с животными; гл. 10 трактует об обхождении с писателями) я нашел место, которое касается обхождения с блохами и из которого я узнал, что последние не столь неприличны, как «некоторые другие маленькие животные», коих этот великий знаток людей и тварей сам не называет. Эта гуманистическая цитата оправдывает Гофмана. Сошлюсь на песню Мефистофеля:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила.

Однако герой романа — не блоха, а человек, по имени Перигрин Тис, живущий в состоянии сновидения, случайно встретившийся с повелителем блох и ведущий с ним забавнейшие разговоры. Этот повелитель, по прозванию Мастер Блоха, — весьма рассудительный человек, немножко трусоватый, но очень воинственный и носит на тощих ногах высокие золотые сапоги с алмазными шпорами, как и изображено на обложке книги. Его преследует некая Дертье Эльвердинк, которая, говорят, должна изображать собою демагогию. Прекрасная фигура — студент Георг Пепуш, который, собственно, есть репейник Цехерит и некогда процветал в Фамагусте и влюблен в Дертье Эльвердинк, которая, впрочем, есть принцесса Гамагея, дочь царя Секакиса. Возникающие таким образом контрасты между индусским мифом и повседневностью не так пикантны в этой книге, как в «Золотом горшке» и других романах Гофмана, где автор применяет ту же натурфилософскую *soup de théâtre*.¹ Мир задушевности, изображать который Гофман умеет так чудесно, вообще представлен в этом романе чрезвычайно трезво. Первая книга его божественна, прочие невыносимы. В книге нет устойчивости, нет большого средоточия, нет внутреннего цемента. Если бы переплетчик произвольно перепутал ее листы, этого, наверное, никто бы не заметил. Великая

¹ Нежданную развязку (*франц.*).

аллегория, в которой в конце концов сливается все, не удовлетворила меня. Пусть другие тешатся ею; по моему убеждению, роман не должен быть аллегорией. Вот в том-то и источник суровости и горечи, с которыми я говорю об этом романе, что я так ценю и люблю предыдущие произведения Гофмана. Они принадлежат к замечательнейшим созданиям нашего времени. Все носят печать необычайного. Каждого должны увлечь «Фантастические рассказы». В «Эликсире дьявола» заключено самое страшное и самое ужасающее, что только способен придумать ум. Как слаб в сравнении с этим «The monk»¹ Льюиса, написанный на ту же тему. Говорят, один студент в Геттингене сошел с ума от этого романа. В «Ночных рассказах» превзойдено все самое чудовищное и жуткое. Дьяволу не написать ничего более дьявольского. Маленькие новеллы, большинство которых объединено под заглавием «Серапиоповы братья» и к которым надо присоединить также «Крошку Цахеса», не так резки, иногда даже грациозны и веселы. «Театральный директор» — довольно посредственный плут. В «Стихийном духе» основная стихия — вода, а духа нет никакого. Но принцесса Брамбилла — восхитительное создание, и у кого от ее причудливости не закружилась голова, у того совсем нет головы. Гофман совершенно оригинален. Те, кто называет его подражателем Жан-Поля, не поняли ни того, ни другого. Произведения обоих имеют прямо противоположный характер. Роман Жан-Поля всегда начинается в высшей степени гротескно и шутовски, и так оно идет дальше, и вдруг, прежде чем успеешь оглянуться, выплывает из глубины прекрасный и чистый мир задушевности, озаренный месяцем, красновато цветущий пальмовый остров, который со всем своим тихим благоухающим великолепием вновь быстро погружается в уродливые, резко скрежещущие волны эксцентрического юмора. Передний фон романов Гофмана обыкновенно весел, цветущ, часто мягко трогателен, невиданно таинственные создания просятся в пляске, простодушные образы шагают мимо, забавные человечки кивают приветливо, и неожиданно из всей этой увлекательной сумятицы скалит зубы отвратительно уродливая старушечья харя, с жуткой быстротой старуха кор-

¹ «Монах» (англ.).

чит свои страшнейшие рожи и исчезает и опять уступает место вольной игре спугнутых резвых фигурок, которые опять несутся в своих забавнейших прыжках, но не могут разогнать охватившего нашу душу мрачного раздражения. — О романах других здешних писателей я поговорю в дальнейших письмах. Все отличаются одним характером. Это характер немецких романов вообще. Понять это легче всего, сравнивая их с романами других народов, например французов, англичан и т. д. Здесь видно, как внешнее положение романистов сообщает особенный характер романам известного народа. *Английский* писатель путешествует, как лорд или как апостол; уже обогащенный гонораром или еще бедный, — все равно, он путешествует, молчаливый и замкнутый, он наблюдает нравы, страсти, поступки людские, и в романах его отражаются действительный мир и действительная жизнь, часто весело (Гольдсмит), часто мрачно (Смоллет), но всегда правдиво и верно (Филдинг). *Французский* писатель постоянно живет в обществе, и притом в большом свете, как бы он ни был беден и *нетитулован*. Принцы и принцессы ласкают переписчика по т *Жан-Жака*, и в парижском салоне министра именуют *monsieur*, а герцогиню *madame*. Поэтому в романах французов царит этот легкий тон, принятый в обществе, эта подвижность и утонченность и обходительность, достижимые только в общении с людьми, и отсюда это фамильное сходство между французскими романами, язык которых кажется всегда одним и тем же по той именно причине, что это — язык общества. Но бедный немецкий писатель, который, получая в большинстве случаев ничтожный гонорар и редко располагая своими средствами, не имеет денег на путешествие или, во всяком случае, начинает путешествовать поздно, когда он уже пишет по выработанной у него манере, который редко имеет звание или титул, открывающий ему благодать доступа в высшее общество, не всегда могущее у нас назваться наилучшим, который часто даже не имеет черного сюртука, чтобы бывать в обществе среднего класса, — бедный немец запирается на своем одиноком чердаке, сочиняет целый мир и на чудаческом самодельном языке пишет романы, где движутся образы и люди, которые, может быть, великолепны, божественны, высоко поэтичны, но нигде не существуют. Этим фантастическим характером запечатлены все наши

романы, хорошие и плохие, от старых времен Шписа, Крамера и Вульпиуса до Арнима, Фуке, Горна, Гофмана и других, и этот характер романов сильно повлиял на национальный характер, и мы, немцы, среди всех народов наиболее восприимчивы к мистике, тайным обществам, натурфилософии, науке о духах, к любви, бессмыслице и — поэзии!



О ПОЛЬШЕ

I

Несколько месяцев тому назад я вдоль и поперек объездил прусскую часть Польши; по русской части я проехал недалеко, в австрийской совсем не был. Людей я узнал очень многих, и из всех частей Польши. В большинстве это были, правда, дворяне, и притом самые знатные. Но если тело мое вращалось лишь в сферах высшего общества, в замкнутом круге польских магнатов, то дух все же часто витал и в протонародных хижинах. Вот вам исходная точка зрения для оценки моих суждений о Польше.

О внешнем виде страны я не мог бы рассказать много заманчивого. Нет здесь острых горных кражей, романтических водопадов, соловьиных рощ и т. д.; здесь есть обширные равнины пахотной земли, большей частью плодородной, и густые, хмурые сосновые леса. Польша живет земледелием и скотоводством; заводов и промышленности здесь почти нет следа. Печальное зрелище представляют польские деревни: низенькие глиняные сараи, покрытые щепой или тростником. В них ютится польский мужик вместе со своим скотом и прочим семейством, наслаждаясь бытием и меньше всего размышляя об эстетических пышках.¹ Нельзя, однако, отрицать, что у польского мужика больше разума и чувства, чем у не-

¹ Игра слов: Pustkuchen (пышка) — фамилия писателя, над которым Гейне впоследствии издевался в «Романтической школе».

Медного крестьянина в иных землях. Нередко у самого незаметного поляка встречал я подлинное остроумие (не добродушное остроумие, не юмор), по всякому поводу брызжущее самыми причудливыми переливами красок, и ту мечтательную сентиментальность, тот сверкающий блеск оссиановского естественного чувства, внезапный взрыв которого при порывах страсти так же произволен, как прилив крови к щекам. Польский мужик ходит еще в национальной одежде: безрукавке, доходящей до половины бедер, и поверх нее полукафтани, расшитом светлыми шнурками. Этот полукафтани, обыкновенно светло-синего или зеленого цвета, — грубый прототип изящных польских казакинов наших франтов. Голова покрыта маленькой круглой шляпой с белыми полями, как кегля без вер-хушки, остроконечной спереди, украшенной пестрыми бантиками или несколькими павлиньими перышками. В этом паряде часто можно видеть по воскресеньям польского мужика, являющегося в город, чтобы совершить там три дела: во-первых, побриться, во-вторых, побывать у обедни, в-третьих, напиться пьяным. Человека, обретшего посредством совершения третьего дела блаженство, можно видеть по воскресеньям стоящим на четвереньках в уличной канаве в бессознательном состоянии и окруженным кучкой друзей, которые, обступив его группой, как будто в прискорбии размышляют о том, как мало может вынести на земле человек! Что есть человек, если... три кружки водки могут свалить его с ног! И все же поляки достигли по части питья сверхчеловеческих успехов. — Мужик хорошо сложен, крепок, статен, имеет солдатский вид и обыкновенно белокур; большинство носит длинные волосы. Поэтому у столь многих мужиков — *plisa polonica* (колтун), весьма привлекательная болезнь, которою, надо надеяться, будем некогда благословлены и мы, когда мода на длинные волосы распространится по немецким градам и весям. Раболепство польского мужика перед дворянином возмутительно. Он склоняется головою чуть не к панским ногам и приговаривает при этом формулу: «падам до ног». Кто хочет видеть воплощенную покорность, пусть взглянет на польского холопа пред его паном; недостает только вливающего собачьего хвоста. При таком зрелище я невольно думаю: и бог создал человека по образу своему и подобию! И беспредельная скорбь

охватывает меня при виде такого унижения одного человека перед другим. Только пред королем можно склоняться; если не считать этой заповеди, то мое исповедание целиком исчерпывается североамериканским катехизисом. Не отрицаю, что дерево в лесу я люблю больше, чем родословное дерево, что человеческое право что больше, чем каноническое, и что заветы разума ценю выше, чем абстракции близоруких историков; но если вы спросите меня, в самом ли деле несчастен польский мужик и улучшится ли его положение, если угнетенные крепостные сплошь превращены будут теперь в свободных собственников, то я солгал бы, отвечая на такой вопрос безусловным утверждением. Приняв понятие счастья в его относительности и имея в виду, что нельзя считать несчастьем, если привык с детства к работе в течение целого дня и отсутствию жизненных удобств, о которых не имеешь понятия, должно признать, что польский мужик в собственном смысле слова не несчастен, — тем более, что он не имеет никакого имущества и, следовательно, живет в полной беззаботности, которая ведь многими изображается как высшее счастье. И без всякой иронии скажу, что если бы польских мужиков сделали теперь вдруг самостоятельными собственниками, они, наверно, не замедлили бы очутиться в труднейшем на свете положении и многие из них, наверно, вскоре по этой причине впали бы в еще большую нищету. При беззаботности, сделавшейся теперь его второй натурой, мужик дурно управлялся бы со своей собственностью, и если бы его постигло какое-нибудь несчастье, он совсем бы погиб. Случись теперь неурожай, дворянин должен дать мужику хлеба из своего: ведь он сам пострадает, если мужик не сможет засеять или помрет с голоду. По тем же соображениям он должен обеспечить мужика скотом, если у него падет вол или корова. Он дает ему зимой дрова, посылает ему врачей, лекарства, когда он или кто-нибудь в его семье заболит; словом, дворянин — постоянный опекун мужика. Я убедился, что большинство дворян исполняет эту обязанность очень добросовестно и любовно, и вообще нашел, что дворяне обращаются со своими мужиками мягко и благожелательно; во всяком случае остатки старинной суровости встречаются редко. Многие дворяне даже хотели видеть мужиков освобожденными от зависимости — величайший

человек, какой создан был Польшей и память которого жива еще во всех сердцах, Тадеуш Костюшко был пламенным поборником освобождения крестьян, и заветы любимого героя незаметно проникают во все сердца. Кроме того, влияние французских идей, легче чем где-либо воспринимаемых в Польше, оказало не поддающееся учету воздействие на положение крестьян. Вы видите, что им уже не так плохо живется и что есть надежды на постепенное их освобождение. И прусское правительство как будто последовательно стремится к тому же посредством целесообразных мероприятий. Пусть бы увенчалась успехом эта благотворная постепенность; она надежнее и в данное время полезнее разрушительной внезапности. Но иногда хороша и внезапность, как бы ни ратовали против нее.

Между мужиком и дворянином стоят в Польше евреи. Они составляют с лишком четверть населения, занимаются всеми промыслами и, следовательно, могут быть пазваны третьим сословием Польши. Таким образом, наши составители статистических курсов, ко всему прилагающие немецкую или по крайней мере французскую мерку, не правы, утверждая, что в Польше нет никакого tiers-état,¹ потому что здесь это сословие резко отграничено от остальных, потому что членам его... угодно ложно толковать Ветхий завет... и потому что внешность их еще очень далека от идеала бюргерской почтенности, как он столь мило в праздничной нарядности представлен в одном «Нюрнбергском женском альманахе» в образе мещанства имперских городов. Вы видите, таким образом, что численность и положение евреев сообщают им в Польше большее экономическое значение, чем у нас, в Германии, и что для правильного суждения о них потребно нечто большее, чем величаво-кассо-ссудное мировоззрение чувствительных северных романистов или натурфилософское глубокомыслие остроумных южных приказчиков. Меня уверяли, что евреи великого герцогства стоят на более низкой ступени культуры, чем их восточные единоверцы; не стану поэтому вообще утверждать ничего определенного о польских евреях и укажу вам лучше на книгу Давида

¹ Третьего сословия (*франц.*).

Фридлиндера «Об улучшении быта израильтян (евреев) в королевстве Польском». Берлин. 1819. Со времени появления этой книги, написанной — если не считать слишком несправедливого отрицания заслуг и нравственного значения раввинов — с редкой любовью к истине и к людям, положение польских евреев, вероятно, не особенно изменилось. Некогда, говорят, исключительно они во всем великом герцогстве, как и до сих пор в остальной Польше, занимались всеми ремеслами; теперь же много ремесленников-христиан переселяется туда из Германии, да и польские крестьяне чувствуют как будто больше склонности к ремеслам и иным промыслам. Странно, однако, что поляк из простонародья обыкновенно становится сапожником или пивоваром и винокурором. В одном из предместий Познани, Валиши, я повсюду через дом наткнулся на вывеску сапожника и вспоминал город Бредфорд из «Уэкфилдского полевого сторожа» Шекспира. В прусской Польше некрещеные евреи не получают государственной службы; в русской Польше и евреи допускаются ко всем должностям, так как там это признано целесообразным. Впрочем, в тамошних рудниках мышьяк еще не перегоняется в сверхнабожную философию, и волки в старопольских лесах еще не обучены завывать историческими цитатами.

Было бы желательно, чтобы наше правительство постаралось целесообразными мерами внушить евреям великого герцогства больше любви к земледелию; ибо до сих пор здесь, говорят, было очень мало еврейских земледельцев. В русской Польше они встречаются часто. Нерасположение к хлебопашеству возникло у польских евреев, говорят, оттого, что некогда они видели крепостного крестьянина в столь печальном состоянии. Если крестьянство выйдет теперь из своей приниженности, то и евреи возьмутся за плуг. За редкими исключениями, все трактиры в Польше в руках евреев, и их многочисленные винокурни очень вредны для страны, так как побуждают крестьян пьянствовать. Но я уже сказал, что водка — это путь мужика к блаженству. — У всякого дворянина есть в деревне или в городе свой еврей, которого он называет фактором и который исполняет все его поручения, покупает, продает, собирает справки и т. д. Оригинальный порядок, вполне рисующий любовь польских

дворян к удобствам. Внешний вид польского еврея ужасен. Содрогание охватывает меня при воспоминании о том, как за Мезерицем я в первый раз увидел польское местечко, населенное по преимуществу евреями. «В—ский еженедельник», сваренный в физически съедобную кашу, не вызвал бы во мне такого тошнотворного отвращения, как вид этих грязных оборвышей; и велеречивые разглагольствования вдохновленного патриотическим спортом и любовью к отечеству шестиклассника не так истерзали бы мои уши, как польский еврейский жаргон. Вскоре, однако, омерзение сменилось состраданием, когда я поближе всмотрелся в положение этих людей и увидел свиные конуры, где они живут, картавят, молятся, торгашествуют и... голодают. Наречие их — немецкая основа, затканная древнееврейским и вышитая польским языком. В давние времена, гонимые религиозными преследованиями, они переселились из Германии в Польшу; ибо поляки в таких случаях всегда отличались терпимостью. Когда ханжи советовали польскому королю принудить польских протестантов вернуться к католичеству, он отвечал: «Sum rex populorum, sed non conscientiarum».¹ Евреи принесли в Польшу промышленность и торговлю и получили при Казимире Великом значительные привилегии. Они как будто гораздо ближе стояли к дворянству, чем к крестьянам, так как по старому закону еврей, принявший христианство, eo ipso² становится дворянином. Не знаю, потерял ли силу этот закон, и почему, и что здесь определенно попизилось в ценс. Однако в те далекие времена евреи по культуре и образованности стояли, конечно, гораздо выше дворянина, занимавшегося лишь грубым военным ремеслом и обходившегося еще без французского лоска. А те по крайней мере были поглощены своими древнееврейскими учеными и богословскими книгами, ради которых они и покинули свою родину и жизненный покой. Но они явно не пошли вперед вместе с европейской культурой, и их духовный мир погряз в тягостном суеверии, втиснутом хитроумной схоластикой в тысячу причудливых форм. Несмотря, однако, на варварскую меховую шапку, покрывающую его голову, и еще более

¹ «Я царь народов, а не совестей» (лат.).

² Тем самым (лат.).

варварские идеи, ее наполняющие, я ценю польского еврея гораздо выше иного немецкого еврея, носящего боливар на голове и Жан-Поля в голове. В его суровой исключительности характер польского еврея получил цельность; атмосфера терпимости, которою он дышит, наложила на этот характер печать свободы. Внутренний человек не сделался разнородной композицией из непримиримых чувств и не исчах под гнетом тесноты франкфуртского гетто, премудрых градских распоряжений и любвеобильных законодательных ограничений. Польский еврей со своей грязной шубой, населенной бородой, запахом чеснока и картавым жаргоном все же приятнее для меня, чем иной барин во всем своем государственно-ассигнационном великолепии.

Как я уже сказал, вы не встретите в этом письме никаких описаний восхитительных уголков природы, чудесных созданий искусства и т. д.; только люди, и особенно люди благороднейшего разряда, дворяне, заслуживают здесь, в Польше, внимания путешественника. И право, на мой взгляд, при виде крепкого заправского польского дворянина или красивой высородной польки в ее настоящем блеске душа так же может быть восхищена, как и при созерцании романтического замка на скале или медийского мрамора. Я очень охотно представил бы вам характеристику польских дворян, и это была бы драгоценная мозаика из прилагательных: гостеприимен, горд, отважен, обходителен, фальшив (без этого желтого камешка не обойтись), вспыльчив, восторжен, азартен, жизнерадостен, великодушен, своенравен. Но сам я слишком часто восставал против наших писак, которые, едва посмотрев, как прыгает парижский танцмейстер, импровизируют в своих брошюрах характеристику целого народа или, повидав, как зсваает толстый ливерпульский хлопчатобумажный оптик, тут же дают оценку этого народа Эти общие характеристики — источник всех зол. Целой жизни человеческой мало для того, чтобы понять характер одного человека, а из миллионов отдельных людей состоит нация. Только углубляясь в историю человека, в историю его воспитания и его жизни, получаем мы возможность понять отдельные основные черты его характера, — тем не менее, в тех человеческих группах, отдельным членам

которых воспитание и образование сообщили одинаковое направление, должны замечаться некоторые своеобразные особенности характера. Так оно и есть у польских дворян, и только стоя на этой точке зрения можно обнаружить нечто общее в их характере. Самое воспитание всегда и везде обусловлено местом и временем, почвой и политической историей. В Польше первое ощутительнее, чем где-либо. Польша лежит между Россией и — Францией. Лежащую перед Францией Германию я в расчет не принимаю, так как значительная часть поляков несправедливо считала ее как бы широким болотом, через которое надо поскорее перескочить, чтобы добраться до благословенной земли, где изготавливаются тончайшие нравы и тончайшие помады. Поэтому Польша была подвержена разнороднейшим влияниям. Проникновение варварства с Востока вследствие враждебных соприкосновений с Россией; проникновение сверхкультуры с Запада вследствие дружественных соприкосновений с Францией; отсюда — эти своеобразные сочетания культуры и варварства в характере и в домашнем быту поляков. Я не утверждаю, что все варварство проникло с Востока, — очень значительная доля его, возможно, была уже в стране; но в новейшее время это проникновение было очень заметно. Главное влияние на характер польских дворян оказывает деревенская жизнь. Лишь малая часть их воспитывается в городах; мальчики большею частью живут в поместьях у родных, пока не подрастут и, благодаря не слишком усердным стараниям домашнего учителя, или не слишком долговому посещению школы, или просто воздействию любезной природы, не получают возможности поступить на военную службу или в университет или воспринять благодать высшей культуры в облизывающей своих медвежат Лютении. Так как не все располагают одинаковыми для этого средствами, то ясно, что надо делать различие между бедными дворянами, богатыми дворянами и магнатами. Первые часто ведут самую жалкую жизнь, почти как мужики, и не изъявляют особенных притязаний на культурность. Между богатыми дворянами и магнатами разница невелика, иностранцу она очень мало заметна. Само по себе достоинство польского дворянина (*civis polonus*) как по объему, так и по внутреннему значению равно для всех дворян, от самого бедного до самого богатого. Но

с именами некоторых родов, всегда отличавшихся большими земельными владениями и заслугами пред государством, соединилось представление о высшем достоинстве, и их обыкновенно называют магнатами. Чарторийские, Радзивиллы, Замойские, Сапеги, Понятовские, Потоцкие и т. д. хотя тоже считаются просто польскими дворянами, подобно иному бедному дворянину, быть может ходящему за плугом, однако, если не *de nomine*¹, то *de facto*² они представляют собою высшее дворянство. Их высокое значение даже устойчивее, чем значение нашего высшего дворянства, потому что они сами облекли себя высоким достоинством и потому что их родословную знает на память не только какая-нибудь зашнурованная старая барышня, но весь народ. Название «староста» встречается теперь редко и обратилось в простой титул. Графское звание у поляков тоже только титул, и некоторые из них были пожалованы лишь Пруссией и Австрией. Дворянской надменности по отношению к городским сословиям у поляков нет, и она может возникнуть лишь в странах, где возвышается сильный и выступающий с известными притязаниями буржуазный класс. Лишь тогда, когда польский мужик начнет покупать землю и польский еврей будет не так услужлив пред дворянином, в последнем зашевелится дворянская гордость, которая, таким образом, явится доказательством развития страны. А так как евреи здесь поставлены выше мужиков, то они первые столкнутся с этой дворянской гордостью; но явление это, конечно, получит тогда более религиозное название.

Этим, лишь в беглых чертах намеченным здесь существом польского дворянства, конечно, объясняется в высшей степени удивительный ход политической истории Польши; а ее влияние на воспитание поляков и, таким образом, на их национальный характер было почти еще важнее, чем вышеуказанное влияние почвы. Благодаря идее равенства развилась в польских дворянах национальная гордость, столь удивляющая нас своей величавостью, столь раздражающая часто также своим пренебрежением ко всему немецкому и столь не похожая на кнутом вколоченное смирение. Именно благодаря этому равенству развилось

¹ Номинально (*лат.*).

² Фактически (*лат.*).

общеизвестное высокое честолюбие, воодушевляющее низшего и высшего и часто в самом деле стремившееся к вершине власти: ибо Польша чаще всего была государством с выборной властью. Власть была сладким плодом, к которому манило каждого поляка. Не умственным оружием старался добыть ее поляк: слишком медленно ведет оно к цели; смелый удар меча должен сбить этот сладкий плод для немедленной услады. Вот почему предпочитают поляки воинское звание, к которому привлекал их горячий и задорный нрав; вот почему у поляков хорошие солдаты и генералы, но совсем мало умелых государственных людей и еще меньше выдающихся ученых. Любовь к отечеству у поляков — великое чувство, в которое вливаются все прочие чувства, как река в океан; и, однако, это отечество не имеет особенно привлекательной внешности. Один француз, которому была непонятна эта любовь, глядя на тоскливую болотистую равнину Польши, выбил ударом поги кусок земли и, насмешливо покачивая головой, сказал: «Вот что эти чудаки называют отечеством!» Но не из самой земли, лишь из борьбы за самостоятельность, из исторических воспоминаний и из злосчастия родилась у поляков эта любовь к родине. Она все еще пылает теперь так же горячо, как в дни Костюшко, быть может еще горячее. Почти до смешного чтут теперь поляки все отечественное. Как умирающий в судорожном страхе борется со смертью, так возмущается и борется их душа против мысли об уничтожении их национальности. Эти предсмертные судороги польского народного тела представляют ужасающее зрелище! Но всем народам Европы и всей земле придется пережить эту предсмертную борьбу, чтобы из смерти возникла жизнь, из языческой национальности — христианское братство. Я имею здесь в виду не полное растворение прекрасных особенностей, в которых привлекательнее всего отражается любовь, но всеобщее братание людей, то первоначальное христианство, к которому больше всего стремимся мы, немцы, и которое нашло наилучших выразителей в наших благороднейших народных глашатаях — Лессинге, Гердере, Шиллере и т. д. От этого братания польские дворяне еще так же бескопечно далеки, как и мы. Значительная часть живет еще в мире католических форм, не ощущая, к сожалению, великого духа этих форм и их нынешнего перехода к всемирно-исто-

рическому; большинство исповедует учение французской философии. Я, разумеется, не стану здесь порочить ее; бывают часы, когда я ее почитаю, и очень почитаю; я сам в известной степени ее дитя. Однако я думаю все же, что ей недостает главного — любви. Где не светит эта звезда, там ночь, хотя бы все светочи Энциклопедии сверкали блеском своих огней. Если отечество — первое слово поляка, то второе его слово — свобода. Прекрасное слово! Несомненно, прекраснейшее наряду с любовью. Но, наряду с любовью, это слово чаще всего толкуется неправильно и должно служить обозначением для совершенно противоположных вещей. Такой случай пред нами. Свобода большинства поляков не божественная, вашингтоновская; лишь незначительное меньшинство, лишь такие мужи, как Костюшко, понимали и стремились распространить ее. Многие, правда, с энтузиазмом говорят об этой свободе, но не собираются освободить своих крестьян. Слово *свобода*, так прекрасно и полно звучащее в польской истории, было лишь девизом дворянства, стремившегося отобрать у королей возможно больше прав с целью увеличить свою власть и таким образом вызвать анархию.

S'était tout comme chez nous,¹ где тоже германской свободой некогда называлось не что иное, как пустить императора по миру для того, чтобы дворянство могло тем пышнее бражничать и тем неограниченнее властвовать. И не могло не погибнуть государство, правитель которого сидел связанный на престоле и в конце концов держал в руке лишь деревянный меч. В самом деле, польская история есть история Германии в миниатюре; разница только в том, что в Польше магнаты не так окончательно оторвались от главы государства и не достигли такой самостоятельности, как у нас, и что благодаря немецкой осмотрительности анархия все же была замедлена введением некоторого порядка. Если бы Лютер, муж господин и Катеринин, держал ответ пред Краковским сеймом, ему, конечно, не дали бы так спокойно высказаться, как в Аугсбурге. Тот принцип, что буйная свобода лучше спокойного рабства, несмотря на все свое великолешие все же погубил поляков. Но, как подумаешь, достойна

¹ Это было совсем как у нас (*франц.*).

изумления та сила, с которой одно слово *свобода* действует на их души; они воспаляются и горят, едва услышав, что где-нибудь борются за свободу; сверкая, устремлены их взоры на Грецию и Южную Америку. Однако в самой Польше под угнетением свободы понимают, как я уже сказал, лишь ограничение прав дворянства или даже постепенное уравнивание сословий в правах. Мы решаем это иначе: долой отдельные свободы там, где должна развиться всеобщая, законом обеспеченная свобода.

А теперь — на колени или по крайней мере шапки долой: я говорю о польских женщинах. Дух мой витает над берегами Ганга, отыскивая нежнейшие и прелестнейшие цветы для сравнения с ними. Но что пред этими чаровницами все прелести маллики, кувалайи, ошадди, цветов пагакесары, священного лотоса и всяких там — камалаты, падмы, камалы, тамалы, шириши и т. д.!! Если бы к услугам моим были кисть Рафаэля, мелодии Моцарта и язык Кальдерона, то мне, быть может, удалось бы колдовством вызвать в груди вашей чувство, которое охватило бы вас, когда бы вашим высокой милостью благословенным взорам явилась истая полька, Афродита Вислы. Но что вся цветистая мазня Рафаэля пред этим запрестольным образом красоты, который живописует, ликуя, господь в радостнейшие часы свои! Что брэнчание Моцарта пред словами, пачипенными конфетами для души, падающими с розовых уст этих сладостных созданий! Что все Кальдероновы звезды земли и цветы неба пред этими чаровницами, которых я также на Кальдероновом языке именую ангелами земли, потому что самих ангелов называю польками неба. Да, друг мой, кто смотрит в их газельи глаза, верит в небо, хотя бы он был пламеннейшим последователем барона Гольбаха;
. Если надо еще что-нибудь сказать о характере полек, то ограничусь замечанием: они — женщины. Кто возьмется изобразить характер последних?

Весьма заслуженный философ, написавший десять томов *in octavo*¹ «Женские характеры», в конце концов застал свою собственную жену в объятиях военного. Я совсем не хочу сказать, что женщины лишены всякого харак-

¹ В одну восьмую листа (*лат.*).

тера. Упаси бог! Наоборот, у них ежедневно новый характер. Не стану также порицать эту непрестанную смену характера. Это даже преимущество. Характер возникает из системы стереотипных правил. Если они ложны, то жизнь человека, систематически проводящего их, будет лишь большой, продолжительной ошибкой. Одобрительно называем мы «человеком с характером» того, кто поступает согласно твердо установленным правилам, и не принимаем в соображение, что в таком человеке погибла свобода воли, что дух его не движется вперед и что он сам — слепой раб своих отживших мыслей. Мы называем также последовательностью, когда человек держится того, что раз навсегда установил для себя и высказал, и часто мы достаточно терпимы, чтобы удивляться дуракам и прощать злодеям, раз о них можно сказать, что они поступили последовательно. Но это моральное самоподчищение встречается почти исключительно у мужчин; в духе женщин всегда пребывает живую и в живом движении стихия свободы. Ежедневно меняют они свои мировоззрения, в большинстве случаев не сознавая этого. Они встают по утрам простодушными детьми, в полдень строят систему взглядов, которая вечером разваливается, как картонный домик. Если у них сегодня дурные правила, то завтра, бьюсь об заклад, будут наилучшие. Они меняют мнения так же часто, как платья. Если в их уме нет в данное время господствующей мысли, то пред нами самое приятное — междущарствие духа. И это имеется у женщин в наиболее чистом и наиболее сильном виде и руководит ими вернее, чем рассудочно-абстрактные фонари, так часто заводящие нас, мужчин, на ложные пути. Не подумайте, что я хочу сыграть здесь роль *advocatus diaboli*¹ и даже восхвалять женщин за отсутствие устойчивого характера, на которое с таким вздыханием жалуются наши желторотые и наши седовласые, — одни обиженные Амуром, другие — Гимнеем. Мы должны также заметить, что это общее суждение о женщинах относится главным образом к полькам и немецких женщин почти не касается. Природная глубина натуры создает во всем немецком народе особое предрасположение к твердости характера, и на женщин также перешел некоторый налет этого свойства, который с тече-

¹ Адвоката дьявола (*лат.*).

нием времени все сгущается, так что у пожилых немок, даже у женщин среднего возраста, то есть сорокалетних, характер представляет собою довольно толстое чешуйчатое затвердение. Бесконечно различие между польками и немками. Объясняется это, вероятно, славянской натурой вообще и польским бытом в частности. В отношении привлекательности не буду ставить польку выше немки: они несравнимы. Кто станет превозносить Венеру Тициана за счет Марии Корреджо? В залитой солнцем цветущей долине я избрал бы в спутницы польку; в озаренной лунным светом липовой роще я предпочел бы немку. Путешествовать по Испании, Франции и Италии я хотел бы с полькой; странствовать по путям жизни я хотел бы с немкой. Образцов хозяйственности, воспитательного руководства детьми, благочестивого смирения и всех этих тихих добродетелей немецких женщин мы мало найдем у полек. Но и у нас эти семейные добродетели присущи по преимуществу лишь среднему сословию и части дворянства, примыкающей по нравам и склонностям к буржуазии. В прочей части немецкого дворянства недостаток этих семейных добродетелей часто чувствуется сильнее и гораздо болезненнее, чем у женщин из польского дворянства. Да, у них мы никогда не встречаемся с таким явлением, когда этот недостаток почитается даже чем-то ценным, когда им гордятся, — как это бывает у многих немецких знатных дам, не обладающих ни достаточным богатством, ни умом для того, чтобы стать выше буржуазии, и старающихся выделиться хоть презрением к бюргерским добродетелям и сохранением скверных стародворянских недостатков. К тому же, польские женщины не так чванятся своими предками, и польской барышне не придет в голову гордиться тем, что несколько сот лет тому назад ее предок, грабивший по большим дорогам рыцарь, сумел ускользнуть от... заслуженного наказания. Религиозное чувство глубже у немок, чем у полек. Эти живут более внешней, чем внутренней жизнью; это веселые дети, которые крестятся пред образами святых, и шалят, и смеются, и танцуют, и очаровательны в жизни, словно в прекрасном бальном зале. Я, право, не решился бы назвать ветреностью, ни даже легкомыслием ту поверхностность полек, которая так поддерживается легкостью польских нравов вообще, примешанными к ним легким французским тоном,

легким французским языком, на котором охотно и почти как на родном языке говорят в Польше, и легкой французской литературой, десерт которой, романы, жадно поглощают польки; а что касается чистоты нравов, то я убежден, что польки в этом не уступают немкам. В разные времена распущенность некоторых знатных полек привлекала своим размахом общее внимание, а наша чернь, как я заметил выше, судит о целом народе по нескольким грязным экземплярам, с которыми ей пришлось познакомиться. Кроме того, надо принять во внимание, что польки красивы и что красивые женщины по понятным причинам особенно легко становятся жертвами клеветы и никогда не ускользают от нее, если, как польки, живут радостно, в легкой, милой беззаботности. Поверьте мне, люди в Варшаве нисколько не менее добродетельны, чем в Берлине, только волны Вислы несколько более бурны, чем тихие воды мелкой Шпрее.

II

От женщин я перехожу к политическому настроению поляков, и должен сознаться, что не перестаю замечать в этом экзальтированном народе, как болезненно сжимается сердце польского дворянина, когда он подумает о событиях последнего времени. Сочувствием проникается сердце и у неполяка, когда перебираешь политические страдания, выпавшие за немногие годы на долю поляков. Многие наши журналисты легко отделались от этого чувства, попросту утверждая, что поляки своими раздорами сами навлекли на себя свою судьбу и их, стало быть, жалеть нечего. Это глупое самоутешение. Народ как целое никогда не бывает виноват; его поведение вытекает из внутренней необходимости, и судьбы его суть всегда ее следствия. Исследователю открывается возвышенная мысль, что история (природа, бог, провидение и т. д.) как с отдельными людьми, так и с целыми народами связывает свои особенные великие цели и что некоторые народы обречены на страдания для того, чтобы сохранилось и, процветая, развивалось целое. Уже пограничное положение поляков — славянского племени у входа в германский мир — как бы предназначает их к исполнению известных целей в мировом

круговороте событий. Их моральная борьба против гибели их нации всегда вызывала явления, сообщающие целому народу иной характер, и должна была также воздействовать на характер соседних народов. — Характер поляков, как я заметил выше, был до сих пор воинственный; каждый польский дворянин был солдатом, и Польша — большой военной школой. Но теперь это не так, на военную службу идут немногие. Однако польская молодежь требует дела, и вот многие предпочли военной службе иное поприще, а именно — науку. Во всем проявляются следы этого нового направления умов; многообразно благоприятствуемое временем и местом, оно в течение нескольких десятилетий сообщило, как было уже указано, новый облик всему национальному характеру. Еще недавно вы видели в Берлине отрядное стечение польской молодежи, которая с благородной жаждой знания и образцовым прилежанием углубилась во все отрасли наук, особенно черпая философию из ее источника, в аудитории Гегеля, — теперь же, к сожалению, вынуждена в связи с некоторыми прискорбными событиями покинуть Берлин. Приятным признаком является то, что поляки постепенно отделяются от слепого предпочтения французской литературы, начинают ценить по достоинству в течение долгого времени пренебрегавшуюся ими более глубокую немецкую литературу и, как упомянуто выше, сумели увлечься как раз глубокомысленнейшим немецким философом. Последнее служит доказательством, что они поняли дух нашего времени, печать и тенденция которого — научность. Многие поляки учатся теперь по-немецки, множество хороших немецких книг переведено на польский язык. Патриотизм также причастен этим явлениям. Поляки опасаются полного исчезновения их национальности; они замечают теперь, насколько важна в деле ее сохранения национальная литература, и (в какой бы мере это ни звучало забавно — это правда, как серьезно уверяли меня многие поляки) в Варшаве работают над созданием польской литературы. Естественно, великое недоразумение заключается в мысли, будто в столичной литературной теплице ученым обществом может быть написана литература, которая должна быть органическим порождением целого народа; но все же этим благим стремлениям положено начало, и прекрасное должно расцвести в литературе, когда на нее смотрят

как на дело патриотическое. Этот патриотизм должен повести, конечно, к своеобразным ошибкам, главным образом в поэзии и в истории. Поэзия получит возвышенную окраску, однако, надо надеяться, отрешится от французского покроя и приблизится к духу немецкой романтики. Чтобы особенно подразнить меня, один мой милый друг поляк сказал: «У нас, так же как у вас, есть романтические поэты, но у нас они пока сидят... в сумасшедшем доме!» В истории политическая скорбь поляков не всегда приводит к беспартийности, и история Польши слишком односторонне и слишком несоразмерно выдвинется из всеобщей истории; но тем больше заботы будет приложено к сохранению всего важного для польской истории, и это будет делаться тем тщательнее, что безобразное обращение, которому подверглись в последнюю войну книги варшавской библиотеки, возбуждает тревогу, как бы не погибли все польские национальные памятники и документы; вероятно ввиду этого недавно один из Замойских основал библиотеку польской истории в далеком... Эдинбурге. Обращаю ваше внимание на многие новые произведения, которые вскоре сойдут с печатных станков в Варшаве, а это касается уже существующей польской литературы; укажу вам на весьма пронизательную книгу Каульфуса. — Я возлагаю величайшие надежды на этот духовный переворот в Польше, где весь народ напоминает мне старого солдата, который вешает свой испытанный меч с лаврами на гвоздь, обращается к более кротким искусствам мирного времени, размышляет об истории прошлого, исследует силы природы, измеряет звезды или даже краткость и долготу слогов, как это делает Карно. Поляк будет так же хорошо владеть пером, как пикой, и выкажет в области знания такую же храбрость, как и на знакомых ему полях сражения. Именно потому, что умы так долго оставались невозделанными, посев принесет в них плоды тем более разнообразные и роскошные. У многих народов Европы ум именно вследствие частого трения порядком уже притупился, и торжество его усилий — достигнутое им самопознание — привело его кое в чем к саморазрушению. Кроме того, поляки овладеют конечными результатами многовековых умственных усилий прочей Европы, и между тем как народы, до сих пор напряженно трудившиеся над соору-

жением Вавилонской башни европейской культуры, источают свои силы, наши новые пришельцы с их славянской подвижностью и с неослабевающей бодростью двинут дело вперед. К этому присоединяется еще то, что лишь незначительнейшая часть этих новых работников трудится ради хлеба насущного, как оно происходит у нас в Германии, где науки — цеховой промысел и где даже муза — дойная корова, которую до тех пор доят ради гоноара, пока она не станет давать только воду. Поляки, обратившиеся теперь к наукам и искусствам, — дворяне и в большинстве случаев достаточно обеспечены, чтобы не иметь необходимости жить на заработок от своих знаний и научных работ. Это огромное преимущество. Великолепное многое, что уже создано голодом, но гораздо великолепнее то, что создано любовью. И обстановка — а именно деревенское воспитание поляков — благоприятствует их умственным успехам. Деревенская жизнь в Польше не так бесшумна и уединенна, как наша, так как польские дворяне навещают знакомых, живущих в десяти часах езды, часто по неделям вместе со всей семьей живут друг у друга, разъезжают, подобно кочевникам, со своими постелями; таким образом, все великое герцогство Познанское представлялось мне единым большим городом, где дома только разделены расстоянием в несколько миль друг от друга, а в некотором смысле даже небольшим городом, потому что все поляки между собой знакомы, каждый точно знает все о делах другого и его семейных отношениях, которые слишком часто бывают предметом самых провинциальных пересудов. Однако эта шумная суматоха, время от времени царящая в польских поместьях, не так вредна в воспитании юношества, как городская шумиха, ежеминутно изменяющаяся в тоне, отвлекающая молодую душу от созерцания природы, угнетающая своим разнообразием и притупляющая чрезмерным возбуждением. Это временное нарушение покоя в сельском быту даже благотворно для молодежи, так как вновь встряхивает и будоражит душу, готовую заплесневеть, или, как говорится, закиснуть в непреходящей внешней тишине: опасность, столь часто встречаемая у нас. Непосредственная, привольная деревенская жизнь в молодости, несомненно, всего более содействовала образованию у поляков того большого, сильного характера, который они обнаруживают на войне

и в несчастье. Она дает им здоровый дух в здоровом теле; в этом ученый так же нуждается, как солдат. История учит нас, что большинство людей, совершивших что-либо великое, провело молодость в тихом быту. — В последнее время мне пришлось слышать чрезвычайные восхваления средневековому воспитанию монахов; прославляли метод монастырских школ и называли вышедших из них великих людей, ум которых имел бы некоторое значение даже в наше особо умное время; забывали при этом, что не монахи, а монашеское уединение, не метод монастырских школ, а сама монастырская тишь воспитали и вскормили эти умы. Если бы наши воспитательные учреждения обнести стеною, то это оказалось бы действительнее всех наших педагогических систем, как идеально-гуманистических, так и практически-базедовских. Если бы то же самое было сделано с нашими женскими пансионатами, так привольно стоящими теперь между театром и таццклассом в созерцании вахтпарада, то наши пансионетки освободились бы от своей калейдоскопной фантастики и неодраматической водянистой сентиментальности.

Об обитателях прусско-польских городов распространяться не буду: это смесь из прусских чиновников, переселившихся немцев, силезцев, поляков, евреев, военных и т. д. Прусские чиновники-немцы не избалованы особенной любезностью со стороны польских дворян. Многие немецкие чиновники часто переводятся в Польшу против воли, но стараются как можно скорее выбраться отсюда; других удерживают в Польше домашние обстоятельства. Есть среди них и такие, которым по душе то, что они отрешены от Германии, которые стараются как можно скорее отделаться от скудных познаний, приобретаемых чиновником ввиду необходимости выдержать экзамен; которые построили свою жизненную философию на хорошем обеде и за кружкой скверного пива изливают ярость против польских дворян, ежедневно пьющих венгерское вино и не обязанных корпеть в канцелярии. О прусских военных, находящихся в этой местности, сказать нечего; как и везде, они храбры, исполнительны, вежливы, простодушны и честны. Поляк уважает их потому, что сам полон солдатского духа, и бравый молодец всегда знает цену молодцу; но о более глубоком чувстве еще пет и речи.

Познань, главный город великого герцогства, имеет вид угрюмый, унылый. Привлекательно в нем только большое количество католических церквей. Но красивой нет ни одной. Тщетно паломничал я каждое утро из костела в костел в поисках хороших старых картин. Старые картины здесь не хороши, а сколько-нибудь хорошие не стары. У поляков есть несносное обыкновение обновлять свои храмы. В древнем соборе в Гнезно, бывшей столице Польши, я нашел сплошь новые образа и новые украшения. Внимание мое привлекли здесь только чугунные церковные двери со множеством фигур, некогда бывшие воротами Киева и вывезенные в качестве добычи победоносным Богуславом; удар его меча до сих пор виден на них. Будучи в Гнезно, император Наполеон забрал кусок, выпиленный по его приказу из дверей, выигравших в значении от этого высокого внимания. После ранней мессы в гнезненском соборе я услышал четырехголосный гимн, сочиненный, по преданию, св. Адальбертом, похороненным здесь, и исполняемый каждое воскресенье. Собор в Познани новый, по крайней мере с виду, и, следовательно, мне не понравился. Рядом с ним — дворец архиепископа, который одновременно является архиепископом Гнезненским и, следовательно, также римским кардиналом и, следовательно, носит красные чулки. Это очень образованный, французски учтивый человек, седой и небольшого роста. Высшее духовенство в Польше всегда принадлежит к знатнейшим дворянским родам; низшее выходит из простонародья, грубо, невежественно и любит выпить. Ассоциация идей ведет меня прямо к театру. Прекрасное здание отвели здешние обитатели музам для жительства; но божественные дамы не поселились здесь и послали в Познань лишь своих горничных, которые наряжаются в одежды своих барынь и орудуют на выносливых подмостках. Одна пыжится, как павлин, другая носится, как кулик, третья клохчет, как индюк, четвертая подпрыгивает на одной ноге, как аист. Но публика в восторге разевает рот во всю ширь, человек в эполетах орет: «Честью клянусь, Мельпомена! Талия! Полигимния! Терпсихора!» Есть здесь и театральный рецензент, словно несчастному городу мало театра! Превосходные рецензии этого превосходного рецензента появляются пока только в «Познанской городской газете», но вскоре будут

собраны и выйдут в качестве продолжения Лессинговой «Драматургии»!! Возможно, впрочем, что мне этот провинциальный театр кажется таким плохим потому, что я приехал прямо из Берлина, где перед самым отъездом видел Шрек и Штих. Нет, я не предаю осуждению весь познанский театр; я признаю даже, что в нем есть одно выдающееся дарование, два хороших исполнителя и несколько недурных. Выдающееся дарование, о котором я говорю, — это девица Пайен. Ее обыкновенное амплуа — первая любовница. Тут нет жалостной слезливости и жеманного тараторенья тех чувствительных исполнительниц, которые считают сцену своим призванием потому, что в жизни, быть может с некоторым успехом, сыграли сентиментальную или кокетливую роль, и которых хочется свистками прогнать со сцены именно потому, что в уединенном кабинете от души поаплодировал бы им. Девица Пайен одинаково удачно исполняет самые разнообразные роли — Елизавету, как и Марию. Всего же больше она понравилась мне в комедии, в салонных пьесах, особенно в веселых, шаловливых ролях. В восхищение привела она меня в роли Полины в «Заботах без нужды и нужде без забот». Здесь я увидел ту свободную игру на внутренне пережитой основе, ту отрадную уверенность, ту увлекательную смелость, почти дерзновенность игры, которые мы встречаем лишь у подлинного большого таланта. С восторгом смотрел я ее также в нескольких мужских ролях, например в «Объяснении в любви» и в «Чезарио» Вольфа; я указал бы только на несколько угловатое движение рук, — недостаток, относимый мною, впрочем, на счет тех мужчин, которые служили ей образцом. Мадемуазель Пайен также поет и танцует, имеет счастливую наружность, и было бы жаль, если бы эта даровитая девушка погибла в трясине бродячих трупп.

Полезный исполнитель на познанской сцене — г-н Карлсен; он не портит никакой роли; хорошей актрисой надо назвать также г-жу Пайен. Она выделяется в ролях комических старух. Особенно она понравилась мне в роли возлюбленной Шиберле. Она играет также развязно и свободно и не имеет обычного недостатка актрис, которые с большим, правда, искусством исполняют роли старух, но очень хотят показать нам, что в этакой старушенции все еще скрывается очень приятная женщина. Г-н Оль-

денбург, красивый мужчина, в качестве любовника в комедии невыносим — образец деревянности и беспомощности; в роли трагического героя он сносен. В нем, несомненно, есть задатки трагика, но за его длинными руками, качающимися вдоль колен наподобие маятника, я не могу признать никакого сценического таланта. Однако в роли Ричарда в «Розамунде» он мне понравился, и временами я не обращал внимания на ложный пафос, так как он присуц самой пьесе. В этой трагедии мне понравился даже г-н Мунш в роли короля, в конце второго действия, в неподражаемой сцене с трескучими эффектами. Впадая в страсть, г-н Мунш имеет обыкновение издавать возгласы вроде собачьего лая. Девушка Франц, тоже первая любовница, играет плохо вследствие скромности; в ее физиономии есть нечто говорящее вам, а именно рот. Г-жа Фабрициус — изящная фигурка и, конечно, очаровательна везде, кроме театра. Ее муж, г-н Фабрициус, в комедии «Приказ герцога» так мастерски пародировал Великого Фрица, что следовало бы вмешаться полиции. Г-жа Карлсен — супруга г-на Карлсена. Но комик в труппе — г-н Фохт: он заявляет об этом сам, так как он составляет афишу. Он любимец галереи, придерживается правила, что одну роль следует играть так же, как другую, и я с изумлением смотрел, как он остается верным этому правилу и в качестве «Фельса фон Фельзенбурга», и глупого «барона» в «Альпийской розочке», и «вожака обывателей» в «Состязании стрелков», и т. д. Неизменно это был все один и тот же г-н Эрнст Фохт со своим фальшпетным комизмом. Другого комика приобрела недавно Познань в лице г-на Акермана, в исполнении которого я с большим удовольствием видел «Штаберле» и «Поддельную Каталани». Г-жа Лейтнер стоит во главе познанской труппы и отнюдь не может похвалиться доходами. До нее здесь играла труппа Келера, теперь выступающая в Гнезно, где она находится в самом плачевном положении. Вид этих несчастных сирот немецкого искусства, без хлеба и поощрительного внимания скитающихся по чужой холодной Польше, исполнил мою душу тоскою. Я видел в Гнезно, как они играли за городом на открытой лужайке, романтически окруженной высокими дубами: они исполняли пьесу под заглавием «Бианка Толедская, или Осада Кастильнеро», большую рыцарскую драму в пя-

ти действиях, сочинение Винклера; в ней много стреляли, звенели шпагами, скакали на лошадях, и до глубины души растрогали меня бедные трепещущие припщессы, подлинная скорбь которых заметно сквозила из-под их прискорбной декламации, домашняя нужда которых явно выглядывала из их царственного мишурного одеяния и на щеках которых нищета не вполне была замазана белилами. Недавно выступала здесь также польская труппа из Кракова. За двести талеров г-жа Лейтнер уступила им театр на четырнадцать представлений. Поляки давали главным образом оперы. Конечно, дело не могло обойтись без параллелей между ними и немецкой труппой. Хотя познанские немцы признавали, что польские актеры играют лучше немецких, и поют лучше, и имеют лучший гардероб и т. д., однако замечали: у поляков нет манер. И это верно: полякам были чужды традиционный театральный этикет и помпезная, изысканная и грациозная величавость немецких актеров. Поляки выступали в комедии, в мещанской драме и в опере по легким французским образцам, однако с оригинальной польской непринужденностью. К сожалению, я не видел их в трагедии. Думаю, что главная их сила в чувствительном. Это я заметил в исполнении «Записной книжки» Коцебу, которая шла здесь под заглавием: «Ян Грудзинский, староста Равский», драма в трех действиях в переделке с немецкого Л.-А. Дмушевского. Я был поражен захватывающей нежностью, излитой в скорбных речах Ядвиги, дочери обвиненного старосты, роль которой исполняла г-жа Шимкайло. Речь г-на Влодека, любовника Ядвиги, отличалась той же сентиментальной окраской. Нюхающего табак старика заменил чихающий домашний учитель Тадеуш Телемпский, довольно бесцветно представленный г-ном Цебровским. Невыразимо прелестны были польские певицы, и грубый польский язык показался мне в пении благозвучным, как итальянский. Г-жа Скибинская очаровала мою душу в ролях принцессы Наваррской, Зетульбы в «Калифе Багдадском» и Алины. Такой Алины я не слышал никогда. В сцене, где она убаюкивает своего возлюбленного и получает прискорбные известия, она показала и игру, какую редко встречаешь у певицы. Она и ее веселая Голконда долго будут носиться пред моими глазами и звенеть в моих ушах. Г-жа Завадская — премилая

Лорецца, привлекательно красивая девушка. Прекрасно поет и г-жа Влодко. Г-н Завадский превосходно поет Оливье, но играет его плохо. Г. Румановский удачно исполняет Иоанна. Г-н Шимкайло чудесный комик-буфф. Но у поляков нет манер! Быть может, прелесть новизны — причина того, что мне так понравились польские актеры. На каждом их представлении театр был переполнен. Все поляки, сколько их ни есть в Познани, посещали театр из патриотизма. Большинство польских дворян, усадьбы которых расположены не слишком далеко от города, приезжало в Познань, чтобы видеть, как играют по-польски. Первый ярус был обыкновенно унизан польскими красавицами, которые, сидя веселой вереницей, цветок к цветку, представляли из партера дивное зрелище.

О древностях города Познани и великого герцогства вообще не стану рассказывать вам, потому что ими занимается гораздо более опытный, чем я, знаток старины, который, конечно, не замедлит сообщить о них публике много интересного. Это здешний профессор Максимилиан Шоттки, проживший, по поручению нашего правительства, шесть лет в Вене с целью собирания там материалов по немецкой истории и языку. Побуждаемый юношеским энтузиазмом к этим предметам и опираясь при этом на основательнейшие ученые познания, профессор Шоттки собрал и привез с собой литературную добычу, которую исследователь немецкой старины может считать неоценимой. С каким беспримерным прилежанием и неутомимой энергией, очевидно, работал он в Вене, если привез с собой целых тридцать шесть толстых и даже очень толстых и почти сплошь прекрасно написанных томов рукописей in quarto.¹ Кроме цельных списков древненемецких стихотворений, хорошо подобранных и предназначенных для берлинской и бреславльской библиотек, в этих томах заключается также множество уже готовых к изданию больших, по преимуществу исторических, стихотворений и песен XIII века, сплошь сопровождаемых основательными комментариями — реальными и филологическими — и вариантами; затем в этих томах содержатся прозаические тексты некоторых романов, принадлежащих большей частью к циклу сказаний о короле Артуре и могущих

¹ В одну четверть листа (лат.).

привлечь внимание также широкого круга читателей; далее остроумно и осторожно проведенные сопоставления из печатных и рукописных документов, заглавия которых служат обозначением большинства важнейших жизненных отношений на протяжении средних веков; далее в этих томах содержатся чисто исторические памятники, среди коих особенно интересны полная в главных частях копия памятных книжек императора Максимилиана I за 1494—1508 годы, занимающая три толстых тома in quarto, и собрание старых документов, относящихся к более позднему времени; первые важны потому, что дают правильное освещение жизни великого императора и духа его времени, а последние, списанные с точным соблюдением старого правописания, проливают свет на многие семейные отношения австрийского дома и доступны не всякому, кому не были в виде особого исключения, как, например, профессору Шоттки, открыты архивы. Наконец, в этих томах содержится с лишком полторы тысячи песен, взятых из старых забытых сборников, из редких летучих листков и записанных из уст народа — материалы для истории австрийской поэзии, относящиеся сюда песни и более объемистые стихотворения, выписки из редких сочинений, любопытные устные сказания, пословицы, переснятые автографы австрийских государей, множество колдовских процессов в подлинных документах, рассказы о детской жизни, о нравах, праздниках и обычаях в Австрии и множество всяких иных очень важных и иногда курьезных заметок. Несмотря на то, что вышеупомянутые остроумные сопоставления под различными рубриками свидетельствуют о глубоком знакомстве с средними веками и проникновенном понимании их духа, все же этот метод имеет источником, собственно, недостатки бреславльской школы, к которой принадлежит профессор Шоттки. По моему мнению, понимание духовной жизни средневековья в ее совокупности теряется при распределении ее отдельных моментов по особым клеточкам, как бы ни было красиво и удобно для большой публики сразу находить — как это дано, например, в сопоставлениях профессора Шоттки — под рубрикой «рыцарство» собранным все, имеющее отношение к воспитанию, жизни, вооружению, турнирам и прочему быту рыцарства; или в разделе о женщинах получить всевоз-

можные выдержки из поэтов и заметки, касающиеся женской жизни в средние века, и то же самое относительно охоты, любви, религии и т. д. Сочинение профессора Шоттки о религии в средние века, под заглавием «Бог, Христос и Мария», скоро появится в издании Маркса в Бреславле. В журнале «Минувшее и современность», который будет выходить с будущего года (изд. Мунка в Познани) под редакцией профессора Шоттки, мы, конечно, найдем многие из его ценнейших работ о средних веках и важные результаты его исследований, хотя журнал этот должен охватить также большую часть самой животрепещущей современности и прежде всего поставить своей целью литературное сближение восточной Германии с южной и западной. Очень прискормно все же, что этот ученый живет в таком месте, где не имеет пособий для обработки и окончательной редакции своего богатого собрания материалов. В Познани нет библиотеки, нет во всяком случае такой, которая заслуживала бы это название. В Аллее, представляющей берлинскую Под Липами в миниатюре, строится теперь здание библиотеки, которое после окончания постройки будет понемногу снабжаться книгами, и было бы прискормно, если бы собранию профессора Шоттки пришлось так долго оставаться необработанным и недоступным широкому кругу читателей. Кроме того, надо жить в настоящей Германии, когда отдаешься работе, со всей необходимостью требующей полного погружения в немецкий дух и в немецкий быт. Над головой исследователя немецких древностей должны шуметь немецкие дубы. Опасно, как бы горячий энтузиазм ко всему немецкому не охладился или не испарился в сарматском воздухе. Пусть почтенный Шоттки не останется без тех внешних поощрений, без которых невозможна незаурядная работа. Она касается одного из святейших и важнейших наших дел — нашей истории. Правда, интерес к ней в народе теперь не очень силен. Можно даже сказать, что изучение памятников древнегерманского искусства и истории вообще не в ходу в наши дни; именно потому, что в прошлые годы оно было предметом моды, потому что им похвалялся портняжный патриотизм и потому что непрошенные друзья повредили ему больше, чем злейшие враги. Пусть же скорей придет время, когда к средним векам станут относиться справедливо; когда

никакой тупоголовый апостол пошлого просвещения не станет составлять инвентарь темных частей в великой картине, чтобы тем самым сделать комплимент своей возлюбленной светлой эпохе; когда ученый школяр перестанет проводить параллели между Кельнским собором и Пантеоном, между «Песнью о Нибелунгах» и «Одиссеей»; когда великолепие средневековья будет понято в его органической связи и будет сопоставляться лишь с самим собою, и «Песнь о Нибелунгах» назовут собором в стихах, а Кельнский собор — каменной «Песнью о Нибелунгах».



**«СТИХОТВОРЕНИЯ»
ЖАНА-БАТИСТА РУССО»**

(Крефельд, у Функе. 1823)

«СТИХИ ЛЮБВИ И ДРУЖБЫ» ЕГО ЖЕ

(Гамм, у Шульца и Вундермана, 1822)

Чувства, мысли и воззрения юношеского возраста — вот тема этих двух книжек. Мы не знаем, вполне ли уяснил себе автор значение этого возраста, однако несомненно, что в изображении его он не потерпел неудачи. — К чему стремится юноша? К чему это чудесное волнение его души? К чему эти расплывчатые образы, что влекут его сперва в людскую суету, а потом в уединение? К чему эти неясные желания, предчувствия и склонности, простирающиеся в бесконечность, исчезающие и вновь возникающие и побуждающие юношу к беспрестанному движению? Всякий отвечает на свой лад, и так как мы тоже имеем право избрать собственное выражение, то мы объясняем это явление такими словами: «Юноша хочет иметь собственную историю». Вот в чем смысл наших стремлений в юности. Мы хотим что-нибудь пережить, мы хотим созидать и разрушать, наслаждаться и страдать; в зрелом возрасте многое из этого уже достигнуто, и то бурное влечение, что, быть может, и является жизненной силой, уже несколько улеглось и вошло в спокойное русло. Но только старик, сидящий в кругу своих внуков под посаженным

им дубом или возле трупов своих близких, на развалинах своего дома, чувствует, что это стремление, это желание иметь свою историю совершенно утолено и погасло. — Мы можем теперь достаточно охарактеризовать основную идею этих двух названных выше книг, сказав, что автор изобразил в первой стремление иметь свою историю, а во второй первые, начальные ее шаги. Мы назвали это изображение удачным, ибо автор представил нам не размышления о своих чувствах, а эти чувства, мысли и намерения с неизбежно возникающими из них суждениями, действиями и другими внешними проявлениями. Он спокойно предоставил внешнему миру воздействовать на себя и свободно и просто, подчас великолепно-честно и детски-наивно высказал, как это все отразилось в его взволнованной душе. Автор следовал здесь высшему принципу романтической школы и, вместо того чтобы стремиться к известной фальшивой идеализации, собрал в своих стихотворениях исключительные особенности простоватой буржуазной юности. Но что возмущает в нем поэта, так это то, что в этих особенностях снова проявляется общее, и даже в тех нидерландских картинках, которые иногда предлагает нам автор в своих сонетах, ясно выступает перед нами идеальное. Этот выбор и сочетание особенностей и служат ведь мерилom, которым мы можем определить величину таланта; ибо, подобно тому как искусство живописца состоит в способности его глаза видеть своеобразно, и он, например, самый грязный деревенский кабаk воспринимает и изображает именно с той стороны, с какой тот отвечает своим видом чувству прекрасного и расположению души, так и истинный поэт наделен талантом видеть и сочетать самые ничтожные и безотрадные особенности повседневной жизни таким образом, что они слагаются в прекрасное, подлинно поэтическое произведение. Поэтому всякое подлинное произведение обладает определенным местным колоритом, и в субъективном стихотворении мы должны узнавать местную обстановку, в которой живет поэт. От лежащих перед нами стихотворных сборников веет духом прирейнских земель, и мы повсюду видим на них отпечаток тамошней жизни и деятельности, тамошнего народного характера со всей его жизнерадостностью, прелестью, любовью к свободе, подвижностью и неосознанной глубиной. Что касается степени художественности,

то мы отдаем преимущество второй книге, хотя первая содержит больше привлекательного и сильного. В первой книге еще преобладает движение страсти, именно потому, что в ней выражает себя беспокойное стремление иметь историю; во второй уже просвечивает эпическое спокойствие, так как для этой истории уже накоплен некоторый материал, приобретающий определенные очертания. Но всякий ведь знает, — а кто не знает, пусть узнает об этом здесь, — что страсть столь же хорошо творит стихи, как и прирожденный поэтический гений. Оттого-то и видим мы столько немецких юнцов, мнящих себя поэтами, ибо их непребродившая страсть, — например, взрыв наступившей половой зрелости, или патриотизма, или самого безумия, — произвела несколько сносных стихов. Оттого-то и многие захолустные эстеты, быть может наблюдавшие нежного кучера или гневную кухарку, разразившихся поэтическими речами, пришли к безумному мнению, будто поэзия не что иное, как язык страсти. По-видимому, в первой книжке наш автор много стихотворений создал с помощью рычага страсти, однако о стихотворениях второй книжки можно сказать, что они отчасти — произведение гения. Труднее определить степень его силы, и объем этих листов не позволяет предпринять подобное исследование. Поэтому мы переходим к внешней характеристике. Первая книжка содержит сто самостоятельных и связанных между собой стихотворений различных размеров и тональности. Автор склонен подражать большинству южных форм с тем или иным успехом. Но им не забыты также формы простого немецкого афоризма и народной песни. Стоит ради его краткости привести следующее изречение:

Противна мне упорная грусть
Теперешней молодежи,
И эта, затверженная наизусть,
Премудрость — противна тоже.

Народные песни хотя и выдержаны в настоящем народном тоне, однако же, по нашему суждению, написаны несколько тяжеловесно. Дело ведь в том, чтобы, уловив дух народной песни и пользуясь его знанием, создать новые формы применительно к нашим потребностям. Поэтому так безвкусно звучат титулованные народными

песни тех господ, которые самый современный материал, почерпнутый в образованном обществе, облачают в форму, какую, быть может, находили подобающей для выражения своих чувств честные ремесленные подмастерья двести лет назад. Буква умерщвляет, но дух дает жизнь. — Вторая книжка содержит только сонеты, первая половина которых, озаглавленная «Храм любви», состоит из апологий друзей по духу. Среди сонетов любви мы считаем самыми удачными XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXVI. В «Храме дружбы» мы отмечаем сонеты Штраусу, Арниму и Брентано, А.-В. фон Шлегелю, Гундесгагену, Сметсу, Крейзеру, Рюккерту, Бломбергу, Лебену, Иммерману, Арндту и Гейне. А среди них нам больше всего понравился сонет И. Крейзеру. Сонет Э.-М. Арндту мы находим заслуживающим похвалы, ибо автор, по известным соображениям, не боится, подобно многим прирученным людям, публично говорить об этом достойном человеке. В этом сонете нам непонятен второй стих: Вавилон вовсе не расположен на Сене, это отвратительная географическая ошибка 1814 года. В общем, кажется, ни один дух порицания не обитает в этом «Храме дружбы», и версифицированное благоволение здесь и там расточается чересчур щедро. В особенности это относится к сонетам, посвященным Г. Гейне, коему автор достаточно уделил внимания уже в первой книжке и которого, как мы видим здесь, он одарил восемью сонетами, тогда как другие лица почтены лишь одним. Голова Гейне будет украшена столь роскошным лавровым венком, что, поистине, г-ну Руссо придется в дальнейшем доставить себе удовольствие забросать эту так прекрасно увенчанную им голову деликатными комочками грязи; если же этого не случится, то будет страшно жаль и совсем против обычая и традиции, против самой сущности обыкновенной человеческой природы.



АЛЬБЕРТ МЕТФЕССЕЛЬ

Наш добрый Гамбург, несколько лет тому назад понесший с кончиной старого, славного, неотесанного, простодушного, сведущего и антикаталанистического Швенка и поныне еще памятную потерю, теперь, по-видимому, будет достойно за нее вознагражден, ибо один из самых выдающихся немецких музыкантов возымел намерение поселиться здесь. Это Альберт Метфессель, чьи песни распространены по всей Германии, любимы всеми классами народа и звучат и отзываются как на пирушках мягкосердечных филистеров, так и в буйных погребках бражничающих буршей. Также и пишущий эти строки в свое время честно распевал немало прелестных песен из студенческого песенника Метфесселя и уже тогда высоко ценил композитора и книгу. Поистине, невозможно достаточно почтить тех композиторов, которые подбирают к песням такие мелодии, что они находят доступ к народу и разносят истинную жизнерадостность и подлинное веселье. Большинство композиторов так внутренне вычурны, заплесневелы и изломаны, что неспособны произвести ничего простого, чистого, короче говоря, ничего естественного, — а естественное, органически появившееся и отмеченное неподдельным знаком истины, как раз и является тем, что придает песенным мелодиям то очарование, которое запечатлевается у всех в душе и делает их популярными. Правда, некоторые наши композиторы остаются еще настолько близки к природе, что могут сочинять подобные простые песенные произведе-

ния, однако часть их мнит себя слишком благородными для таких занятий, часть довольствуется нарочитыми отступлениями от природы и, быть может, страшится, что их перестанут считать подлинными художниками, когда они не будут вытворять музыкальных кунштюков. Театры — вот ближайшая причина, по которой песня находится в пренебрежении; все, кто только изучил или наполовину изучил генерал-бас, или кто вовсе не изучал его, устремились на подмостки. Тягостное обезьянство, погибель многих действительно одаренных! Слабодушные неженки желают раструбить и разбарабанить монументальную слоновую музыку, дюжие крепыши желают повеять сладкой или даже пересахаренной россиниевской музыкой Розины. Избави боже! Мы же хотим почитать благодарным признанием таких композиторов, как Метфессель, — его-то в особенности — и его песенные мелодии.



«СТРУЭНЗЕЕ»

Трагедия в пяти действиях Михаэля Беера

27 марта в здешнем Национальном театре состоялось представление «Струэнзее», трагедии в пяти действиях Михаэля Беера. Прежде чем высказать наше суждение об этой пьесе, да будет нам дозволено бросить беглый взгляд на предшествующие драматические произведения Беера. Только так, рассмотрев сколько-нибудь автора в его связи с самим собой и особо определив потом место, занимаемое им в драматической литературе, мы найдем твердое мерило, которое может служить для похвалы и порицания и имеет относительное значение.

Юношески незрелой, как и возраст ее сочинителя, была «Клитемнестра», ее поклонники принадлежали к тем избранным, которые почитают «Сафо» Грильпардера наивысшим образцом в этом греческом роде; ее хулители частью принадлежали к тем, которые хотят только порицать, частью же к тем, которые были действительно правы. Невозможно отрицать — лица этой трагедии были наделены лишь внешней, мнимой жизнью, а речи их также не что иное, как мнимая видимость. Тут не было подлинного чувства, а только одна традиционно-театральная напыщенность, ни одного вдохновенного слова, а только ходульные речи придворных комедиантов, и все, за исключением нескольких живых фиалок, — было только искусственным изделием из бумажных цветов. Единственное, чего нельзя было не признать, — это драматургический талант, неоспоримо проявившийся, вопреки всей привитой неестественности и достойному сожаления ложному направлению.

Что сам автор почувствовал это, доказала его вторая трагедия — «Невесты Арагонии». В ней кое-где уже сверкает подлинное пламя, здесь и там прорывается подлинная страсть, нельзя отказать ей и в некоторой поэтичности, однако ж, хотя и устранены бумажные цветочные убранства и появились цветы происхождения органического, они все же еще выдают взрастившую их почву, именно — театр; по ним видно, что созрели они не на вольном солнечном свете, а под чахлыми лампами оркестра, и цвет и аромат их сомнителен. Но драматургический талант здесь можно было отрицать еще менее.

Как отрадны были посему дальнейшие успехи автора! Было ли то сознание собственного заблуждения, или безотчетное естественное влечение, или даже внешняя подчиняющая сила, — это внезапно обратило автора на самый отличный и правильный путь. Вышла его «Пария». В этом образе не было ничего от жалкого дыхания театрального суфлера. Пламя этой души не было обыкновенным канифольным огнем, и в этом пламени не мелькали затверженные наизусть страдания. Тут были меткие слова, поражающие всякое сердце, тут были искры, воспламеняющие всякое сердце.

Господин Беер улыбнется, когда прочтет, что мы склонны приписать выбору фабулы для трагедии тот необычайный прием, какой оказала ей публика. Мы охотно признаем за ним, что в этой пьесе он обнаружил подлинную, несомненную поэтичность, да, и что мы как раз благодаря этому произведению побуждены были наделять его подлинным поэтическим достоинством, не сопричисляя больше к тем гомеопатическим стихотворцам, которые всыпают в свои водянистые трагедии лишь одну десятитысячную часть поэзии, — но все же мы должны указать на фабулу «Парии» как на главную причину ее успеха.

Поэзия сама по себе никогда не составляет славы произведениям поэта. Рассмотрим хотя бы гетевского «Вертера». Его первые читатели никак не ощущали его внутреннего значения, и большую публику привлекало или отталкивало только потрясающее, занимательность самого факта. Книгу читали из-за самоубийства, и николаиты писали против нее тоже из-за самоубийства. Но в «Вертере» заключен еще один элемент, который привлек мень-

шее число читателей: я разумею рассказ о том, как юный Вертер был вежливейшим образом выпровожен высоко-благородным обществом. Появись Вертер в наши дни, эта часть книги возбудила бы умы куда больше, нежели весь эффект от пальбы из пистолета.

С развитием общественных отношений новоевропейского общества у бесчисленного множества людей возникло благородное недовольство неравенством сословий; с негодованием стали взирать на всякие привилегии, оскорбляющие целые классы; отвращение возбуждали предрассудки, подобные отжившим, уродливым истуканам времен варварства и невежества, которые все еще требовали человеческих жертв и перед кем все еще закалывали много прекрасных и добрых людей. Идея человеческого равенства согревает мечтой наше время, и поэты, как верховные жрецы, служащие этому божественному солнцу, могут быть уверены, что тысячи людей преклоняют с ними колена и тысячи людей плачут и ликут вместе с ними.

Вот почему все те произведения, где выступает эта идея, собирают дань шумного одобрения. После гетевского «Вертера» первым, кто вывел эту идею на подмостки, был Людвиг Роберт, который и дал, нам на пользу, в «Силе обстоятельств» настоящую мещанскую трагедию, когда искусной рукой внезапно сорвал прозаические холодные повязки с пылающих сердечных ран современного человечества. С таким же успехом тревожили ту же тему, — мы почти готовы сказать — ту же рану, — и позднейшие авторы. Та же сила обстоятельств потрясает нас в «Урике» и «Эдуарде» герцогини фон Дурас, в «Исидоре и Ольге» Раупаха. Франция и Германия нашли даже одинаковые одеяния для одной и той же скорби, и Делавинь и Беер, оба дали нам «Парию».

Мы не станем исследовать, кто из обоих поэтов заслужил самый лучший лавровый венок; довольно того, что, мы знаем, оба лавровых венка орошены благороднейшими слезами. Но да будет нам позволено заметить, что язык бееровской «Парии» хотя и напоен поэзией, однако ж все еще отдает некоторой театральностью и кое-где дает знать, что «Пария» скорее выросла среди деревьев берлинских кулис, нежели среди индийских баньянов, и по прямой линии состоит в родстве с прекрасной «Клитемнестрой» и еще более прекрасными «Невестами Арагонии».

Мы должны были предпослать эти рассуждения о прежних произведениях М. Беера, чтобы тем короче и отчетливей высказать свое суждение о его новой трагедии «Струэнзее».

Прежде всего признаемся, что упрек, от которого мы только что не могли избавиться «Парию», отнюдь не коснется «Струэнзее», где язык струится чисто и плавно и может служить образцом прекрасного слога. Здесь мы должны надуть паруса похвалы всей силой нашего дыхания, здесь Михаэль Беер решительно выделяется из толпы наших так называемых театральных сочинителей, тех краснобаев, чьи образные ямбы вьются вокруг глупых мыслей, подобно цветочным гирляндам или ленточным глистам. Бесконечно отрадно было нам вновь приметить среди той сухой песчаной пустыни, которую называем мы немецким театром, чистый, свежий, живительный источник.

Что касается темы, то господина Беера и тут вела счастливая звезда, мы почти готовы сказать — счастливый инстинкт. История Струэнзее слишком недавнее событие, чтобы нам необходимо было ее пересказывать и, по обыкновению, раскрывать сюжет пьесы. Как легко угадать, он заключается отчасти в борьбе буржуазного министра с высокомерной аристократией, отчасти в любви Струэнзее к королеве датской Каролине-Матильде.

По поводу этой второй основной темы трагедии Беера мы не собираемся вдаваться в пространные рассуждения, хотя она и показалась сочинителю столь важной, что он в четвертом и пятом действиях почти забыл ради нее свою первую основную тему, и, пожалуй, эта вторая тема, может быть, покажется столь же важной и другим людям, вследствие чего представление трагедии, возможно, встретит кое-где высочайшие препятствия. Достойно ли вообще либерального правительства противиться драматическому представлению документально засвидетельствованных истин — вопрос, которым мы собираемся заняться в свое время. Нашему народному театру — об упадке его и без того сокрушаются — пришлось бы совсем погибнуть без той свободы подмостков, которая еще древнее свободы печати и которая всегда была там, где процветало драматическое искусство, например в Афинах во времена Аристофана, в Англии в прав-

ление королевы Елизаветы, которая даже позволяла к представлению мерзостные происшествия в ее собственной семье, даже ужасы, совершенные ее собственными родителями. Здесь, в Баварии, где мы видим свободный народ и, что еще реже, свободного короля, мы находим столь же возвышенные взгляды и посему осмеливаемся ждать также прекрасных плодов искусства.

Возвратимся к первой основной теме «Струэнзее» — борьбе бюргерства с аристократией. Нельзя отрицать, что эта тема родственна «Парии». Она должна была естественно вырасти из этой трагедии, и мы тем выше ставим внутреннее развитие автора и его острое чутье, которое всегда приводит его к принципу главнейших спорных вопросов нашего времени.

В «Парии» мы видели угнетенного, насмерть растоптанного железной стопой угнетателя, — и голос, что, разрывая души, проникал к нам в сердце, был воплем оскорбленного человечества. В «Струэнзее», напротив, видим мы прежнего угнетенного в борьбе со своими угнетателями, последние даже сломлены, и то, что мы слышим, — достойный протест, с каким человеческое общество домогается восстановления своих старых прав и требует гражданского равенства для всех своих сочленов. В беседе с графом Ранцау, представителем аристократии, Струэнзее энергично говорит о тех привилегированных кариатидах трона, которые желали бы казаться его необходимой опорой, и метко изображает то сиятельное время, когда он еще не захватил государственного кормила:

...Надменность с самомнением
Делили меж собою блага власти
И оттесняли лучших, предоставив
Толпе простых наемников корпеть
На низших должностях. Страна кормила
Тогда немало сводников бесстыдных,
Которым были вверены все тайны
Альковные, чтоб свято их блюсти;
До времени стремилась молодежь
Из знатных ввысь, по ступеням отличья,
Обскакивая в гонке этой тех,
Кто родом был пониже, пробираясь
К верхушке тесной, той, что лишь немногих
Испытанных избранников вмещает.
Страна взирала с ужасом растущим,
Как знатные мальчишки оттесняют
Цвет родины в забвение и мрак.

Р а н ц а у (с улыбкою)

Возможно так — что выводок орлов
Смелее к солнцу крылья расправляет,
Чем воробьи, летающие низко.

С т р у э н з е е

Но я решился крылья пообрезать
Орлиной этой стае и законом
Связал неоперившуюся юность —
С тем, чтоб не вздумал новый Фазтон
Схватить бразды летящей колесницы.

Само собой разумеется, что трагедия, где герой декламирует подобные стихи, не обошлась без соответствующих превратных толкований; не удовлетворившись тем, что преступник, отважившийся держать подобные речи, в конце концов был обезглавлен, кое-кто дал выход недовольству в художественной оценке трагедии, выставив эстетические принципы, согласно которым все недостатки пьесы были разобраны по косточкам. Между прочим, автору ставят в упрек, что в его трагедии нет глубоких и великолепных рассуждений и он ничего не дает, кроме действия и образов. Эти критики, бесспорно, не знакомы с «Клитемнестрой» и «Невестами Арагонии», где, по правде, нет недостатка в рассуждениях. Другим упреком был выбор темы, которая, как сказано, еще не совсем отошла в историю, и для ее разработки потребовалось вывести на подмостки лиц еще здравствующих. Также считали недопустимым выражать интересы нынешних партий, разжигать страсти нынешнего дня, представлять в рамках трагедии современность, и притом тогда, когда эта современность пришла в самое опасное и бурное волнение. Однако ж мы на сей счет другого мнения. Мерзостные происшествия при дворах не могут довольно скоро попасть на сцену, и тут надлежит, как некогда в Египте, творить суд над мертвыми королями и великими мира. Что же касается той теории полезности, по которой о постановке трагедии судят по вреду или пользе, которую она может принести, то мы, разумеется, весьма далеки от того, чтобы разделять этот взгляд. Однако даже если придерживаться этой теории, то трагедия Беера все же больше заслуживает похвалы, нежели порицания, и когда она раскрывает перед нашими гла-

зами картину кастовых привилегий во всей ее ужасающей жизненности, то, быть может, это более целительно, чем предполагают.

В народе ходит легенда, что василиск самый ужасный и непоборимый зверь, ни огонь, ни меч не могут его уязвить, и единственный способ умертвить его состоит в том, чтобы кто-нибудь отважился подставить ему зеркало; ибо, узрев самого себя, зверь так устрашается собственного своего безобразия, что падает и умирает. «Струэнзее», так же как и «Пария», было таким зеркалом, которое отважный поэт подставил худшим василискам нашего времени, и мы благодарны ему за эту услугу.

Мы не будем разбирать те законы искусства, те эстетические плебисциты, которых добивалась многочисленная толпа по поводу бееровской трагедии. Довольно, если мы скажем, что господин Беер с честью выдержал этот суд. Мы не говорим этого в похвалу, напротив — в этих словах скорее скрыт тайный упрек, что поэт, при помощи средств, которые, быть может, и не совсем достойны поэта, сумел привлечь к себе широкую публику. Мы имеем в виду здесь театральное возбуждение, достигаемое высшей степенью напряженного ожидания, благодаря чему стало возможным заставить тот битком набитый зрительный зал, какой мы видели на представлении «Струэнзее», высидеть свыше четырех часов, скажем четыре с половиной часа, и притом сохранить неослабевающий энтузиазм и дать выход всеобщему восторгу, так что большая часть публики еще была расположена долго ожидать, не появится ли господин Беер, которого бурно вызывали.

Быть может, мы были несправедливы к тем критикам, что упрекали господина Беера в отсутствии красивых размышлений; подобные упреки были, пожалуй, всего только ироническим порицанием, скрывавшим за собой самую тонкую похвалу. А ежели это было сказано всерьез — все мы люди со слабостями, — то выражаем сожаление, что эти критики из-за деревьев не увидели леса. Они, по их словам, не увидели ничего, кроме действия и героев, и не заметили, что они-то и представляли собой прекраснейшие рассуждения, да и что все целое было одним единственным огромным рассуждением. Мы удивляемся драматургической мудрости поэта и его знанию сцены, благодаря чему он достиг столь великого.

Он не только тщательно мотивировал, подготовил и выполнил каждую сцену, но каждая сцена сама по себе вытекает из органической необходимости и основной идеи пьесы; например, та народная сцена, которой открывается четвертое действие и которая педальновидному зрителю могла показаться излишним грузом, — а многим и на самом деле так показалось, — настолько определяет всю катастрофу, что без нее эта последняя сцена была бы мотивирована лишь наполовину. Мы даже не принимаем в соображение, что душа зрителя столь глубоко взволнована страданиями в трех первых действиях, что для отдыха ей совершенно необходима комическая сцена. Однако ее собственный смысл — трагического свойства, из-за смеющейся комедийной маски смотрят замогильные, страдальческие глаза Мельпомены, и именно по этой сцене мы узнаем, что Струэнзее, который мог погибнуть от одной своей любви, повинной в оскорблении величества, ускорила свою гибель еще тем, что его новые учреждения были антинациональны, что народ его ненавидел, что народ еще не созрел для великих идей его либерального сердца. Мы позволим себе некоторые выдержки из той народной сцены, которой господин Беер нам показал, что он обладает талантом и для комедии. Крестьяне сидят в шинке и рассуждают о политике:

Школьный учитель

По мне, так Струэнзее не стоит того, чтоб из-за него браниться. На нашу беду появился он в нашей стране. Всюду он вносит раздор и несогласие. Разве он не вмешался в дела благородного учительства? Не требует теперь от полноправных школьных учителей, чтобы они учили тому, что никак не подходит для башки ваших ребятишек? Коли все так пойдет, как он желает, так ваши мальчишки и девчонки скоро станут умнее вас самих. Но до этого не дойдет, о том я позабочусь.

Гооге (крестьянин)

Да, он хочет повсюду зажечь свет, где его надобно гасить; разве нынче не дозволено каждому печатать, что ему вздумается! Вам нынче нельзя, как честному школьному учителю, пропустить лишний глоток для утоления жажды, ведь причетник завтра может тиснуть: «Вчера школьный учитель был пьян!»

Школьный учитель

Посмей он только! Хотел бы я посмотреть!

Г о о г е

И поглядели бы и не смогли бы препятствовать. Они называют это свободой печати, однако ж, право, кто не ходит по одной половине, тот всегда может угодить в печать.

Б а б е (лекарь)

Ходите по одной половине, тогда это никому не повредит. Можете тем же манером поверять другим свои задушевные мысли и можете, коли вам нравится, говорить против Струэнзее и правительства.

Г о о г е

Э, что там говорить! Я вовсе не намерен говорить, я хочу сидеть молчком, но пусть и другие помалкивают. Всяк заботится о своих горшках в печке.

Ш к о л ь н ы й у ч и т е л ь

Не заводите таких бесчинных речей, кум Бабе! Для чего же править нами, если мы захотим говорить против правительства? Хорошее правительство должно управлять всем, сердцами и кошельками, языками и перьями. В хорошем государстве главное правило, чтобы, как попросту, от всего сердца выразился Гооге, сидеть молчком, ибо кто говорит и печатает, тот должен иногда и думать, а для верноподданных нет ничего опаснее, чем мысль.

Б а б е

Ну, думать-то вы помешать не можете.

Ф л и н с (крестьянин)

Нет, этому помешать никто не может, и я подумываю о многом.

Ш к о л ь н ы й у ч и т е л ь

А ну-ка, Флинсхен, давай послушаем, о чем ты думаешь. (*Тихо Свенне*). Это самый большой пентюх во всей деревне.

Ф л и н с

Я думаю, мне все ладно, когда бы только не дошло до исполнения плана, который, как говорят, замыслил Струэнзее.

Б а б е

А именно?

Ф л и н с

Что он замыслил нас, мужиков, в Дании и в герцогствах сделать свободными людьми. Я не желаю быть свободным и независимым. Велика беда, если я должен пахать свое поле для дворянина? Зато он меня кормит и заботится обо мне, а забучка в счет не идет.

Когда бы мы сделались свободными, нам бы пришлось страдать и мучиться, мы бы стали господами над самими собой, и нам пришлось бы платить подати.

Б а б е

А разве тебе не хочется позаботиться о своей собственности, о радости называть своим то, чем ты владеешь?

Ф л и н с

Вот еще! Когда обо мне заботится кто-нибудь другой, так мне удобнее.

Ш к о л ь н ы й у ч и т е л ь

Это первая разумная мысль, Флинс, на которой я тебя ловлю. Со свободой пришло бы одновременно просвещение, современный яд, ваша смерть.

Помимо метких замечаний, что свобода печати находит столь же яростных противников среди низших классов, как и среди высших, и что упразднение крепостного права всего более ненавистно самим крепостным, помимо такого рода правдивых черт, каких немало еще в этой сцене, мы отчетливо видели, как трагически одиноко стоял Струэнзее на высокой изолирующей скамейке своих идей и неминуемо должен был погибнуть в этой борьбе одного против всех. Тонкий вкус нашего поэта подсказал ему необходимость несколько смягчить чрезмерные страдания героя при такой гибели; он заставляет его предвидеть умственным взором то время, когда благодетели народа и сам народ придут к согласию; умирая, видит он утреннюю зарю этого времени и говорит прекрасные слова:

День занялся. Смиренно жизнь сложу
К его престолу вечному. Дела
Поблекнут, как земная блекнет скорбь,
И воссияет скрытая в нас воля.
Блаженная меня награда ждет:
Где я творил, там всходит мой посев.
Я эту жизнь недаром прожил; я
Не совратил страну ученьем ложным.
Настанет день, и воплотится в явь,
Чего хотел я; деспоты узнают,
Что близится их ярости конец.
Я вижу, воздвигаются помосты
Кровавые, оковы рвет народ;
В неистовстве разит он короля

И сам себя затем без счета ранит.
Топор косит за жизнью жизнь усердно,
Как жатву жнец; и вдруг смиряет ярость
Слепую чья-то мощная рука.
Палач отходит в сторону, но тот,
Другой, пришел не с пальмовою ветвью,
Мечом своим народы он разит.
И снова мир: пустынный океан
Могилу одинокую объемлет.
И дни настанут светлые, народы
И короли в одно соединятся,
Они придут, придут неотвратимо
И непреложно, как сама премудрость.
Лишь короли дают народам мощь,
И лишь в народах — королей величье.

После того как мы высказали свое суждение об основной идее, словесной технике и действии новой трагедии Беера, нам остается еще подробнее осветить образы, которые в ней выступают. Однако недостаток места не позволяет нам приступить к такому критическому разбору и едва разрешает привести несколько коротких замечаний о главных действующих лицах. Мы намеренно употребили слово «образы» вместо «характеры», обозначая первым внешнее, вторым внутреннее явление. Струэнзее — да простит нам поэт это суровое порицание — не образ. Расплывчатость, недосказанность, чрезмерная мягкость, которые мы видим в нем, должны, пожалуй, представить его характер, мы даже склонны считать их проявлением его характера, однако они лишают его всякой внешней образности. То же самое применимо и к графу Ранцау, более благородному, нежели аристократичному, подобно Струэнзее растекающемуся в чистой сентиментальности, этом наследственном пороке бееровских героев; только когда мы заглянем к нему в сердце, мы увидим, что это все-таки характер, хотя и бледно обозначенный, но все же характер. Его ненависть к королеве Юлиане, с которой он, однако, заключает союз против Струэнзее, и другие подобные черты дают ему внутреннюю жизнь, индивидуальность, одним словом характер. Сказанное до известной степени распространяется и на пастора Струэнзее; он, — кого один из наших друзей, разумеется несправедливо, хотел объявить копией с отца делавиневской «Парии», — приобрел свой внешний облик, быть может, не столько от самого поэта, сколько бла-

годаря личности исполнителя. Высокая фигура Эслера в подобной роли, именно в роли реформатского пастора, предстала перед нами подобно колоссальному старокатолическому собору, перестроенному для протестантских богослужений; на стенах прелестные картины, частью отбитые, частью замазанные свежей известкой, пилястры, голые и холодные, но слова, что так глухо и трезво раздаются со вновь сколоченной кафедры, — все же слово божие. Таким предстал перед нами Эслер, в особенности в сцене, где пастор Струэнзес, почти в литургическом тоне, благословляет своего сына.

Характер королевы Каролины-Матильды, как это само собой разумеется, — очаровательная женственность, и, если мы не ошибаемся, навеян поэту образом несчастной Марии-Антуанетты, как и сцена осады, в которой мятежные войска идут на приступ королевского замка, многозначительно вызывая в памяти штурм Тюильри. Свой внешний облик королева также получила благодаря исполнительнице, m-lle Гаген, которая в начале второго действия, сидя в красном золоченом кресле, выглядела столь же прелестной, как на картине Штилера, которой мы недавно восхищались на выставке здешнего художественного общества.

Мы не наделены талантом говорить прекрасным дамам что-либо огорчительное, разве только — что мы их любим, и мы воздержимся от суждения об игре m-lle Гаген в роли королевы Каролины-Матильды, тем более что, по общему мнению, она играла в ней лучше чем когда-либо, и наше возможное порицание вообще относилось бы ко всей той школе неестественности, откуда вышло столько прекрасных актрис. За исключением г-ж Вольф, Штих, Шредер, Пехе, Мюллер и еще нескольких дам, наши актрисы всегда старались говорить тем напыщенным, певучим, фальшивым, лицемерным тоном, подобие которому можно найти только на лютеранской кафедре и который пародировует вольное, искреннее чувство. Самые естественные, неспорченные девушки, коль скоро они вступили на подмостки, считают своим долгом настроиться на этот тон, и коль скоро усвоят они эту традиционную неестественность, то называют себя артистками. Ежели мы в этом смысле назовем нашу королеву Каролину-Матильду еще не вполне законченной артисткой, то выразим этим самую

высшую похвалу, которой она может от нас ожидать. Так как она еще молода и, можно надеяться, обращает внимание на доброжелательные указания, то, пожалуй, со временем ей удастся отделаться от стремления к этой роковой артистичности, и она найдет в нас дружественную готовность воздать ей подобающую честь. Но сегодня принуждены мы присудить венец другой, лучшей королеве, и вопреки нашему антиаристократическому образу мыслей мы присягаем на верность королеве Юлиане-Марии. Вот образ, вот характер, здесь не придерешься ни к рисунку, ни к краскам, здесь нечто новое, нечто совсем своеобразное, и здесь проявляет поэт свое величайшее божественное полномочие, свое полномочие творить людей. Здесь, по-видимому, господин Беер обнаруживает способность, которая больше того, что мы обыкновенно называем талантом, и мы бы охотно назвали ее почти гениальностью, если бы были менее скупы на это слишком драгоценное слово.

Старая, вкрадчиво-сильная, пленительно-ужасная королева — своеобразнейшее создание поэта, которое не поддается сравнению ни с одним из существующих образов. Г-жа Фрис сыграла эту роль так, как ее надлежало сыграть. Она с полным правом заслужила то шумное одобрение, которое выпало на ее долю, и с того вечера мы причислили ее к той небольшой группе лучших актеров, которых поименовали выше. Странные, беспокойные движения ее рук живо напомнили нам Семирамиду, исполняемую m-lle Жорж. Ее костюм, ее голос, ее походка, все ее существо наполнили нас тайным ужасом; в особенности во время той сцены, где она раздает заговорщикам приказания на ночь, стало нам так жутко, как в детстве, когда однажды вечером слепая служанка рассказала нам страшную историю о ночном замке, где заколдованная королева кошек, диковинно разряженная, восседает в кругу придворных котов и кошек и они, наполовину человеческими голосами, наполовину мяуча, замышляют беду.

Мы заканчиваем эти заметки сожалением, что размеры этого издания не позволяют нам подробнее разобрать новую трагедию господина Беера. Мы сами чувствуем, что осветили преимущественно одну ее сторону, политическую. Мы полагаем, что другие рецензенты, по обыкновению, однобоко разберут ее другую сторону, романтиче-

скую, любовную. Ожидая такого дополнения, мы хотим только выразить нашу благодарность за то высокое наслаждение, которое нам доставил поэт. По той откровенной оценке, которую мы дали его творению, пусть увидит он наш лишенный зависти, доброжелательный образ мыслей, и нас порадует, если наши слова смогут способствовать тому, что он надолго еще останется на том прекрасном пути, на который он вступил с такой славой.

Поэты — непостоянный народ, на них нельзя положиться, и лучшие из них часто меняли лучшие свои взгляды только из страсти к переменам. В этом смысле философы куда надежнее, куда больше, чем поэты, придерживаются тех истин, которые некогда высказали; куда более стойко борются за них, ибо сами с трудом извлекли эти истины из глубины своего мышления, в то время как к праздным поэтам они приходят как легкий подарок. Пусть же будущие трагедии господина Беера будут так же, как «Пария» и «Струэнзее», пронизаны дыханием того бога, что более велик, чем великий Аполлон и все другие медиатизированные боги Олимпа, — мы говорим о боге свободы.



**«НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ВОЛЬФАНГА МЕНЦЕЛЯ**

(в двух частях, Штутгарт, у братьев Франк, 1828)

«Знай, что всякое произведение, достойное того, чтобы появиться на свет, не может найти своего судью тотчас же при своем появлении; сперва должно оно взрастить свою публику и воздвигнуть себе судилище... Спиноза пролежал более столетия, прежде чем о нем сказали верное слово, о Лейбнице, быть может, это слово еще не сказано, о Капте — наверное. Когда книга тотчас при своем появлении приобретает полномочного судью, то это верное доказательство того, что книга эта с тем же успехом могла бы остаться ненаписанной».

Это слова Иоганна-Готлиба Фихте, и мы как бы берем их эпиграфом к нашей рецензии о труде Менцеля, частью для того, чтобы показать, что мы меньше всего намеряемся написать рецензию, частью затем, чтобы утешить автора, если об основном содержании книги не будет сказано ничего существенного, а будут обсуждаться лишь ее отношение к другим книгам этого рода, ее внешние стороны и особенно выдающиеся мысли.

Когда мы, прежде всего, пытаемся подыскать среди существующих книг этого рода такую, с которой можно было бы сопоставить для сравнения разбираемое сочинение, нам приходят на память почти только одни лекции о литературе Фридриха Шлегеля. Также и эта книга не нашла еще своего полномочного судью, и как бы громко за последнее время ни раздавались иные голоса, отри-

цающие из мелочно-протестантских соображений его за-
слуги, однако еще никто не смог, критикуя, подняться
над великим критиком; и даже если мы признаем, что его
брат Август Шлегель и некоторые новые критики, например
Вилибальд Алексис, Циммерман, Фарнхаген фон Энзе и
Иммерман значительно превосходят его остротой крити-
ческого суждения, все же они до сих пор писали только
монографии, тогда как Фридрих Шлегель величественно
постиг всю совокупность духовных устремлений, как бы
снова заключив все их проявления в первоначальное
творческое слово, из коего они произошли, так что его
книга уподобляется творческой песне духов.

Религиозные причуды, избыточные в позднейших
сочинениях Шлегеля, ради чего, казалось ему, он только
и писал, составляют, однако, случайную особенность,
и именно в его лекциях о литературе, быть может более,
чем он сам это сознает, — идея искусства все же является
главенствующим центром, который своим золотым излу-
чением пронизывает всю книгу. Ведь идея искусства
является средоточием всего того литературного пе-
риода, который начался с Гете и только в наши дни
подошел к концу, ведь эта идея по-настоящему образует
центр и в самом Гете, великом представителе этого пе-
риода, — и когда Шлегель в своей оценке Гете не находит
в нем никакого центра, то эта ошибка, быть может, коре-
нится в его простительном негодовании. Мы говорим
«простительном», чтобы не употребить слова «человече-
ском»: ибо Шлегели, руководимые идеей искусства, при-
знавали объективность высшим требованием художествен-
ного произведения, и так как они нашли ее в высшей
степени у Гете, то подняли его на щит, новая школа пре-
клонилась перед ним, как перед королем, а став королем,
он отблагодарил их, как имеют обыкновение благодарить
короли, — оскорбительно отстранив Шлегелей и растоп-
тав в прах их школу.

«Немецкая литература» Менцеля — достойное допол-
нение к упомянутому сочинению Фридриха Шлегеля. То
же величие взглядов, стремлений, силы и заблуждения.
Оба сочинения дадут последующим литераторам мате-
риал для размышления, ибо в них не только заложены
прекраснейшие сокровища духа, но каждое из этих двух
сочинений к тому же ярко характеризует время, в которое

оно написано. Это последнее обстоятельство доставляет и нам наибольшее удовольствие при сравнении обоих произведений. У Шлегеля мы отчетливо видим все стремления, потребности, интересы, общее направление немецких умов за последние десятилетия и, как средоточие всего, — идею искусства. Однако если шлегелевские лекции составляют, таким образом, литературный эпос, то сочинение Менцеля, напротив, представляется нам взволнованной драмой: интересы времени выходят на подмостки и произносят монологи, высказываются страсти, желания, надежды, страх и сострадание, друзья подают советы, враги наступают, партии сходятся лицом к лицу, автор воздаёт всем должное; как истый драматург, он не проявляет особого пристрастия ни к одной из борющихся партий, и если нам чего-нибудь недостает, то только хора, который бы спокойно пояснил конечное значение борьбы. Этого хора, однако, господин Менцель и не мог нам дать, по той простой причине, что он еще не дожил до конца этого столетия. По той же причине мы скорее находим подлинное средоточие в книге более раннего периода у Шлегеля, нежели в книге настоящего времени. Насколько мы можем судить, главенствующей идеей менцелевской книги уже не является идея искусства. Менцель скорее пытается уяснить отношение жизни к книгам, открыть организм в литературном мире; иногда нам казалось, что он рассматривает литературу как растительность — и вот он бродит вместе с нами повсюду и ботанизирует, называет деревья их именами, отпускает шутки по адресу великих дубов, с юмором обнюхивает каждую грядку тюльпанов, целует каждую розу, приветливо наклоняется к какому-нибудь дружественному полювому цветочку и смотрит так умно, что мы готовы поверить, будто он слышит, как растет трава.

С другой стороны, мы замечаем у Менцеля стремление к научности, что составляет также тенденцию новейшего времени, одну из тех тенденций, которыми оно отличается от предыдущего периода искусства. Мы совершили великие духовные завоевания, и наука должна упрочить их за нами как нашу собственность. Значение науки признано даже правительством некоторых немецких государств, в особенности в Пруссии, где в этом смысле всего ярче блистают имена Гумбольдта, Гегеля, Боппа,

А. В. Шлегеля, Шлейермахера и др. То же стремление, главным образом под влиянием немецких ученых, распространилось и во Франции; также и здесь признали, что всякое знание ценно само собой и само по себе, что его следует культивировать не ради минутной полезности, а для того, чтобы оно обрело свое место в том царстве мысли, которое мы, как лучшее наследие, передаем следующим поколениям.

У господина Менцеля скорее энциклопедический, нежели синтезирующе-научный ум. Но так как воля автора направляет его на научность, то мы находим в книге странное сочетание природных способностей с предвзятым стремлением. Поэтому обсуждаемые им предметы не следуют единому внутреннему принципу, а скорее рассматриваются порознь, подчиняясь остроумному схематизму, — однако дополняя друг друга, так что книга образует прекрасное, закругленное целое.

В этом отношении книга, может быть, выигрывает в глазах большой публики, которой легче обозреть все содержание и которая на каждой странице находит что-нибудь остроумное, глубокомысленное и привлекательное, все то, что не приходится сперва соотносить с конечным принципом, и что само по себе обладает полноценным достоинством.

В остроумии, которого мы вправе искать в произведении менцелевского ума, вовсе нет недостатка, оно тем достойней, что не кокетничает само с собой, но выступает лишь в интересах дела, — хотя нельзя отрицать: оно часто принуждено служить господину Менцелю для заштопывания прорех в его знаниях. Бесспорно, господин Менцель — один из остроумнейших писателей Германии, он не может изменить своей природе, и если бы даже он захотел, отбросив все остроумные выдумки, преподавать нам сухим тоном учебного парика, то им по меньшей мере овладело бы остроумие идей; и такой род остроумия — сопряжение мыслей, еще никогда не сталкивавшихся в человеческой голове, внебрачное сожительство шутки и мудрости, — преобладает в сочинении Менцеля. Еще раз воздадим хвалу остроумию автора, тем более что на свете много сухих людей, которые охотно бы подвергли проскрипции остроумие, и каждодневно можно слышать, как Панталоне горячится из-за этой низшей душевной

способности, остроумия, и как добрые граждане и отцы семейств требуют, чтобы его запретила полиция. Пусть остроумие принадлежит к низшей душевной способности, мы все же думаем, что оно имеет свою хорошую сторону. Мы по крайней мере не хотели бы обходиться без него. С тех пор как вышло из обычая носить на боку шпагу, совершенно необходимо иметь в голове остроумие. И если даже кто-либо впадает в такую прихоть, что употребляет остроумие не только при необходимости защиты, но и как оружие нападения, то не возмущайтесь этим чрезмерно, вы, благородные Панталоне германского отечества. То атакующее остроумие, которое вы называете сатирой, приносит свою пользу в это скверное, никуда не годное время. Никакая религия больше не в состоянии обуздать похоть маленьких властелинов земли, они безнаказанно глумятся над вами, их кони топчут ваши посевы, и дочери ваши голодают и продают цветущее тело грязному парвеню, все розы этого мира становятся добычей ветреного племени игроков на бирже и привилегированных лакеев, и от высокомерия богатства и власти ничто не защитит вас — кроме смерти и сатиры.

«Универсальность — характер нашего времени», — говорит господин Менцель на 63-й странице второй части своего сочинения — и так как это последнее, как мы заметили выше, вполне отвечает характеру нашего времени, то мы находим в нем то же стремление к универсальности. Отсюда его распространение на все области жизни и знания, и именно под следующими рубриками: «Литература в целом, национальность, влияние школьной учености, влияние иностранной литературы, литературные связи, религия, философия, история, государство, воспитание, природа, искусство и критика». Позволительно усомниться, что молодой ученый так глубоко посвящен во всевозможные дисциплины, чтобы мы могли ожидать от него основательной критики современного их состояния. Господин Менцель сумел выйти из затруднения путем догадок и построений. Его догадки часто весьма удачны, его построения всегда остроумны. Если иногда его посылки произвольны и ошибочны, зато он не превзойден никем в сопоставлении подобного и противоположного. Он комбинирует и примеряет. Принимая во внимание цель этих страниц, мы приведем как образец менцелев-

ского способа изложения следующее место из рубрики «государство»:

«Прежде чем мы приступим к рассмотрению литературы политической практики, окинем взглядом теории. Всякая практика исходит из теорий. Теперь уже не то время, когда между народами из некоторой чувственной гордыни или по случайному местному поводу возникали преходящие распри. Они вступают в борьбу скорее из-за идеи, и именно поэтому борьба эта более общая, она происходит в сердце каждого народа, и лишь в той мере одного народа против другого, в какой у одного из них берет перевес одна, а у другого другая идея. Борьба стала исключительно философской, равно как прежде она была религиозной. Теперь сражаются не за отечества и не за отдельного великого человека, а за убеждения, которым должны подчиняться как народы, так и герои. Народы побеждали идеями, но коль скоро они отваживались поставить свое имя на место идеи, они бесславно гибли; герои при помощи идеи завоевывали себе мировое господство, но коль скоро они отступали от идеи — они низвергались в прах. Люди сменялись, только идеи пребывали неизменными. История была только школой принципов. Прошрое столетие было богаче спекуляциями, заключавшими в себе предвидение, нынешнее богаче ретроспективностью и основанными на опыте принципами. В том и в другом заложены рычаги событий, ими объясняется все, что произошло.

Существуют только два принципа, или, лучше сказать, противоположных полюса политического мира, на обоих концах великой оси расположились партии, и они борются с возрастающим ожесточением. Правда, не всякий признак партии относится к каждому ее стороннику, правда, многие едва ли знают, что они принадлежат к определенной партии, правда, члены одной и той же партии борются между собой в той мере, в какой они из одних и тех же принципов делают различные выводы, — но в общем самый утонченный критик, равно как и простая газетная публика должны провести черту между либерализмом и сервиллизмом, республиканизмом и автократией. Каковы бы ни были нюансы, эта *clair-obscur*¹ и эти

¹ Светотень (франц.).

смешанные до потери всякого цвета краски, когда оба основные цвета переходят один в другой, сами они нигде не исчезают, они образуют великую единственную противоположность в политике, и обычно мы замечаем их с первого взгляда как в людях, так и в книгах. Куда бы мы ни обратили взор в политической области, всюду мы встретим эти краски. Они всецело заполняют ее, вне их пустота.

Либеральная партия — та, что определяет собой политический характер новейшего времени, тогда как так называемая сервильная партия в сущности еще действует в духе средних веков. Поэтому либерализм шагает вперед тем же шагом, что и само время, или стеснен в своем движении в той же мере, в какой прошедшее еще тяготеет над настоящим. Он соответствует протестантизму — поскольку он протестует против средневековья, он только новое развитие протестантизма в светском смысле, подобно тому как протестантизм был духовным протестантизмом. Его партия — образованное среднее сословие, тогда как сервильизм вербует свою партию среди знати и грубой черни. В среднем сословии постепенно все больше и больше растворяются твердые кристаллы средневековых сословий. Все новейшее просвещение возникло из либерализма или послужило ему, оно было освобождением от церковной веры в авторитеты. Вся литература — триумф либерализма, ибо даже его враги принуждены сражаться его оружием. Все ученые, все поэты содействовали ему, но своего величайшего философа он нашел в Фихте, своего величайшего поэта — в Шиллере».

Под рубрикой «философия» господин Менцель объявляет себя последователем Шеллинга, а под рубрикой «природа» он подобающим образом прославляет его учение. Мы вполне соглашаемся с тем, что он говорит об этом универсальном мыслителе. Геррес и Стефенс тоже находят себе признание в качестве Шеллинговых приверженцев. Первому из них отдано предпочтение, его мистика слишком уж опоэтизирована. Однако нам всегда приятнее встретить преувеличенную оценку этого высокого ума, нежели его умаление в угоду партийности. Стефенс выведен представителем пиетизма, и даже если взгляды автора на мистику и пиетизм ошибочны, они всегда отмечены глубиной, творчеством и величием. Мы не ждем ничего хорошего

от пиетизма, хотя господин Менцель старается напро-
рочить ему все лучшее. Мы разделяем мнение одного
остроумного человека, который дерзко утверждает: среди
сотни пиетистов девяносто девять мошенников и один
осел. От ханжествующих лицемеров не жди спасения,
и ослиное молоко также не слишком подкрепит наше сла-
бое время. Гораздо скорее можем мы ждать спасения от
мистицизма. Пусть он в своем теперешнем проявлении
противен и опасен; но результаты его могут быть благо-
творны. Так как мистик погружается в призрачный мир
внутреннего созерцания и открывает в самом себе источ-
ник всякого познания, то он освобождается от власти над-
ним всякого внешнего авторитета, и самые правоверные
мистики нашли таким путем в глубине своих душ те пред-
вечные истины, которые оказались в противоречии с пред-
писаниями позитивного верования; они отвергали автори-
тет церкви и отвечали за свои взгляды душой и телом.
Мистиком из секты ессеев был и тот равви, познавший
в себе откровение отца своего и избавивший мир от сле-
пого авторитета каменных законов и лукавых священ-
ников; мистиком был и тот немецкий монах, который
в своей одинокой душе почувствовал истину, что давно
исчезла из церкви; и мистиками будут те, что вновь изба-
вят нас от новейшего служения слову и вновь установят
естественную религию, религию, в которой из лесов и
камней вновь возникнут радостные боги и, подобно богам,
возрадуются люди. Католическая церковь всегда глубоко
чувствовала опасность мистицизма; поэтому в средние
века она больше поощряла изучение Аристотеля, чем
Платона; отсюда ее борьба с янсенизмом в прошлом сто-
летию; и если в настоящее время она держит себя весьма
благосклонно по отношению к таким людям, как Шле-
гель, Геррес, Галлер, Мюллер и т. д., то смотрит на них
все же лишь как на гверильясов, которых в случае труд-
ной войны, когда регулярная армия верующих несколько
растает, можно смело пустить в дело, а впоследствии,
в мирное время, приличествующим образом поработить.
Мы зашли бы слишком далеко, если бы захотели просле-
дить, как и на Востоке мистицизм подрывает веру в авто-
ритет, например в новейшее время из суфизма возникли
секты с самыми возвышенными религиозными представле-
ниями.

Мы не можем достаточно похвалить проникаемость, с какой господин Менцель говорит о протестантизме и католицизме, признавая в последнем принцип стабильности, а в первом принцип эволюции. В этом отношении он весьма верно замечает под рубрикой «религия»:

«Оцепенению должно противостоять движение, смерти — жизнь, неизменному бытию — вечное становление. В этом одном заключено великое всемирно-историческое значение протестантизма. С юношеской силой, стремящейся к высшему развитию, он ополчился против седого оцепенения. Закон природы он признал своим законом и им одним может победить. Таким образом, те из протестантов, которые сами впали в оцепенение другого рода, — ортодоксы, — отступились от подлинных интересов борьбы. Они остановились и по праву не могут советовать на то, что католики тоже остановились. Достигнуть чего-нибудь можно только вечным движением вперед и ничем больше. Где останавливаются, это безразлично, настолько безразлично, как то, где остановились часы. Они для того, чтобы идти».

Тема протестантизма приводит нас к его достойному поборнику, Иоганну-Генриху Фоссу, которого господин Менцель при всяком удобном случае поносит самыми жестокими словами и самыми едкими сопоставлениями. За это мы не можем достаточно твердо выразить наше порицание. Когда автор называет нашего покойного Фосса «неотесанным нижнесаксонским мужиком», — мы почти готовы подозревать, что он сам склоняется к партии тех рыцарешек и попов, с которыми так доблестно сражался Фосс. Эта партия слишком сильна, чтобы можно было сражаться против нее с тонкой щегольской шпагой, и нам нужен неотесанный нижнесаксонский мужик, который вновь откопал бы старый боевой меч времен крестьянской войны и стал бы им рубить на все стороны. Быть может, господин Менцель никогда не чувствовал, какие глубокие раны способен нанести неотесанному нижнесаксонскому мужицкому сердцу дружественный укол тонкой, гладкой, высокоблагородной гадюки, — боги, верно, хранили господина Менцеля от подобных ощущений, иначе он находил бы жестокость фоссовских сочинений только в самих фактах, а никак не в словах. Может быть и правда, что Фосс в своем протестантском усердии слишком далеко

зашел в иконоборчестве. Однако подумайте о том, что церковь теперь повсюду союзница аристократии и даже кое-где состоит у нее на жалованье. Церковь, некогда властительная дама, перед которой рыцари преклоняли колена и выезжали в ее честь на турнир со всем Востоком, эта церковь стала немощной и состарилась, она готова теперь подрядиться к этим самым рыцарям на службу нянькой и обещает своими песнями убаюкать народы, чтобы легче было наложить оковы на спящих и потом остричь их, как овец.

Под рубрикой «искусство» скопилась большая часть выпадов против Фосса. Эта рубрика охватывает почти всю вторую часть сочинения Менцеля. Его суждения о наших ближайших современниках мы оставим без разбора. Восхищение автора Жан-Полем делает честь его сердцу. Точно так же и его восторг перед Шиллером. Мы тоже разделяем его; но мы не принадлежим к тем, кто, сравнивая Шиллера с Гете, намеревается умалить достоинства последнего. Оба — первоклассные поэты, оба велики, превосходны, необыкновенны, и если мы отдаем некоторое предпочтение Гете, то лишь благодаря тому незначительному обстоятельству, что Гете, по нашему мнению, ежели бы ему в его творениях потребовалось подробно изобразить такого поэта, со всеми относящимися сюда стихами, был бы способен сочинить всего Фридриха Шиллера, со всеми его Разбойниками, Пикколомини, Луизами, Мариями и Девами.

Мы не можем с достаточной силой выразить ужас перед той резкостью и язвительностью, с какой господин Менцель говорит о Гете. Подчас он высказывает в общем верные суждения, но они никак не применимы к Гете. При чтении тех страниц, где он говорит о Гете, или, вернее, оговаривает его, нам стало так жутко, как прошлым летом, когда один банкир в Лондоне показал нам ради курьеза несколько фальшивых банкнот; мы поспешили как можно скорей вернуть их обратно — из опасения, как бы внезапно нас самих не обвинили в их изготовлении и без особых околичностей не повесили перед Old Bailey.¹ Только после того, как мы насытили наше зловещее любопытство чтением менцелевских страниц о Гете, пробу-

¹ Олд Бейли (англ.) — улица и тюрьма в Лондоне.

дилось негодование. Мы ни в коем случае не намерены защищать Гете; мы полагаем, менцелевское положение «Гете не гений, а талант» найдет отклик у немногих, да и эти немногие все-таки должны будут признаться, что Гете порой обладает талантом быть гением. Однако даже если бы Менцель был прав, ему бы не приличествовало высказывать свой резкий приговор с такой резкостью. Это все-таки Гете, король, и рецензент, который опускает свой нож на короля поэтов, должен быть наделен куртуазностью в той же мере, как и тот английский палач, что обезглавил Карла I и, прежде чем совершить этот критический служебный долг, преклонил колени перед царственным деликвентом и испросил прощения.

Но откуда берется эта резкость, которую мы иногда замечаем по отношению к Гете даже у самых замечательных умов? Быть может, как раз потому, что Гете не мог быть никем, кроме *primus inter pares*,¹ и стал тираном в республике умов, многие великие умы и смотрят на него с затаенной злобой. Они видят в нем даже своего рода Людовика XI, подавляющего высшее дворянство ума и в то же время возвышающего умственное *tiers-état*, милую посредственность. Они видят, он льстит respectableм корпорациям городов, он рассылает милостивые грамоты и медали любезным верноподданным и создает бумажное дворянство из высочайше пожалованных, которые уже возомнили себя много выше тех подлинно великих, что получили свою знатность, равно как и сам король, божьею милостью, или, говоря языком вигов, мнением народным. Но пусть так. Ведь недавно мы видели в княжеских усыпальницах Вестминстера, что те великие мира, что при жизни враждовали с королем, по смерти все же погребены в королевской близости, — и точно так же Гете не в силах будет помешать тому, что те великие умы, которых он охотно удалял от себя при жизни, по смерти все же соединятся с ним и займут рядом с ним свое вечное место в Вестминстере немецкой литературы.

Брюзгливое настроение недовольных великих людей заразительно, и воздух становится удушливым. Принцип гетевского времени, идея искусства, рассеивается,

¹ Первого среди равных (*лат.*).

восходит новое время с новыми принципами, и, странно, как позволяет заметить менцелевская книга, — оно начинается с восстания против Гете. Быть может, Гете и сам чувствует, что тот прекрасный объективный мир, который он создал словом и примером, силою необходимости разрушается, равно как идея искусства постепенно теряет свое верховенство, и что новые, свежие умы, вызванные к жизни новыми идеями нового времени, подобно ринувшимся на юг северным варварам, повергают в прах цивилизованный гетеизм и на его месте основывают государство необузданного субъективизма. Отсюда — стремление поставить на ноги гетевское ополчение. Повсюду гарнизоны и поощрительная раздача чинов.

Старые романтики, янычары, муштруются для зачисления в регулярные войска, они принуждены оставить свои котлы, принуждены надеть гетевские мундиры, принуждены каждодневно выходить на ученье. Рекруты шумят, и пьют, и кричат виват, трубачи трубят, — будут ли в силах искусство и древность отбить наступление природы и молодости?

Мы не можем не указать с надлежащей настойчивостью, что под «гетеизмом» мы разумеем не произведения Гете, не те ценные творения, что, быть может, будут жить и тогда, когда давно отомрет немецкий язык и Германия будет вопить под кнутом на славянском наречии; под «гетеизмом» мы не разумеем также собственно гетевского образа мыслей, этого цветка, который все пышнее будет цвести на навозе нашего времени, как бы там ни досадовало на его холодную уравновешенность пламенное сердце энтузиаста; словом «гетеизм» мы выше обозначили скорее гетевские формы, какими их лепят толпы скудоумных юнцов, и унылое чириканье мелодий, насвистанных стариком. Та радость, какую доставляют старику эта лепка и это чириканье, вызывает наши сетования. «Старик! Каким ручным и кротким он стал! Как он исправился!» — изрек бы какой-нибудь николаит, знавший его еще в те бурные годы, когда он написал исполненного предгрозовым удушьем «Вертера» и «Геца с железной рукой». Каким грациозно-жеманным сделался он, как противна ему теперь всякая грубость, как неприятно тревожит его, когда ему напоминают прежнее, штурмующее небо, время «Ксений», а то даже, вступив на его старую стезю, с той

же заносчивостью бурно проводят годы титанической молодости. В этом смысле один остроумный иностранец весьма метко сравнил нашего Геге со старым атаманом разбойников который отошел от своего ремесла, ведет честную жизнь бюргера в среде достопочтенных граждан провинциального городка, старается вплоть до мелочей соблюсти все филистерские добродетели и испытывает тягостную неловкость, когда какой-нибудь лесной собрат из Калабрии ненароком встретится с ним и пожелает возобновить былую дружбу.



ИОГАНН ВИТТ ФОН ДЕРРИНГ

В Вестминстерском аббатстве я видел надгробие Томаса Парра, из графства Салоп. Родился он в 1483 году, умер 15 ноября 1635 года, пробыв подданным десяти государей, а именно: Эдуарда IV, Эдуарда V, Ричарда III, Генриха VII, Генриха VIII, Эдуарда VI, королевы Марии, королевы Елизаветы, Иакова I и Карла I. Примечательно, что сей муж в возрасте 130 лет предстал перед духовным судом по обвинению в нарушении супружеской верности, за что и был присужден к всенародному церковному покаянию. Передают, что в первый раз, когда его привели к Карлу I, этот суровый король спросил его: «Парр, ты жил дольше других; что совершил ты сверх того, что сделали они?» Тот сразу ответил, не задумываясь: «Когда мне было сто тридцать лет, я совершил церковное покаяние».

Не всегда мудрость обитает под седой кровлей, и часто старики говорят столь же большие глупости, как и милая молодежь. Однако следует предположить, что столетние — и уж подавно, полуторастолетние — люди смотрят на мир иначе, чем наш брат, а их взгляды на ценность человеческих деяний на этом свете весьма разнятся от наших и, быть может, необычайность поступка сама по себе ставится ими выше всего. Эти люди всех глубже постигли ничтожество вещей, опыт показал им, какие никчемные последствия и низменные побуждения заложены в тех поступках, которые первоначально прославляют как чрезвычайно великие и благородные, и под конец они считаются лишь с занимательностью самого факта и судят обо

всех событиях, происходящих на этой земле, не как моралисты, не как политики, а как здравомыслящие зрители в большом театре, где актеров хвалят или порицают не за их роли, а за их игру.

Быть может, я припомню эти слова, когда мне вскоре придется говорить о необыкновенном человеке, чье политическое церковное покаяние вызывает к себе такое большое внимание, тем более что ему далеко не сто тридцать лет. Сама роль, которую он играет в Германии, не должна быть предметом критики. Пусть чувствительные души вменяют ему во зло, что он не выступает больше в черном сюртуке с длинными волосами, подобно горящему энтузиазмом Мортимеру свободы. Совсем не требуется тридцатилетнего опыта, чтобы усмотреть, что подобные Мортимеры с их кинжалами больше вредят, чем приносят пользу бедной плененной свободе. Пусть иные порицают этого человека за то, что он теперь играет Лейстера, который охотно полюбезничал бы тайком с прежней возлюбленной своей, свободой, однако ж публично отрекается от нее, бросаясь в объятия коронованной потаскушки. По правде, это не так называемая красивая роль, даже не благодарная, и какого-нибудь честного Ганса фон Биркена или иных немецких рецензентов не осудишь, когда они больше прислушиваются к своему чувству, нежели к своему рассудку, и грубо всерьез хлопают в ладоши. Но мы более рафинированы и критикуем не роль, а игру, и с этой точки зрения объявляем Иоганна Витт фон Дерринга редкостным мастером, прославляем его отважную ловкость, его удивительное умение владеть словом, его талапт быть любезным и язвительным, его искусство щеголять благочестивыми фразами и, наконец, сверкающие перья на крыльях его ума, которые равно полезны ему как для полета, так и для блеска.



**ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «КАЛЬДОРФ
О ДВОРЯНСТВЕ В ПИСЬМАХ К ГРАФУ
М. ФОН МОЛЬТКЕ»**

Галльский петух прокричал теперь во второй раз, и в Германии тоже рассвело. В отдаленные монастыри, замки, ганзейские города и тому подобные последние закоулки средневековья убегают жуткие тени и привидения, солнечные лучи сверкают, мы протираем глаза, милый свет врывается в наши сердца, проснувшаяся жизнь грохочет вокруг нас, мы изумлены, мы спрашиваем друг друга: «Что сделали мы в течение минувшей ночи?»

Да, что мы делали? Мы грезили на наш немецкий лад, то есть мы философствовали. Конечно, не о вещах, которые нас ближе всего касались или происходили в ближайшее время, — мы философствовали о реальности вещей в себе и для себя, о конечных причинах вещей и тому подобных метафизических и трансцендентальных призраках, причем кровавая возня у наших западных соседей подчас немало мешала нам, а то даже становилась довольно неприятной, так как пули французских ружей нередко со свистом влетали в наши философские системы и вырывали из них целые куски.

Удивительно при этом, что практическая деятельность наших зарейнских соседей связана все же своеобразным средством душ с нашими философскими сновидениями в безмятежной Германии. Достаточно сравнить только историю французской революции с историей немецкой

философии, чтобы убедиться, что французы, занятые таким множеством реальных дел, никак не позволявших им заснуть, просили нас, немцев, спать в это время и грезить за них и что вся наша немецкая философия есть не что иное, как сновидение французской революции. Таким образом, у нас произошел разрыв с существующим порядком и традицией в области мысли, точно так же, как у французов в области социальной; вокруг критики чистого разума сосредоточились наши философские якобинцы, не признававшие ничего, что не выдерживало этой критики; Кант был нашим Робеспьером... За ним пришел Фихте со своим *Я*, этот Наполеон философии, высшая любовь и высший эгоизм, самодержавие мысли, суверенная воля, импровизировавшая наскоро изготовленную всемирную империю, столь же быстро исчезнувшую, — деспотический, жутко одинокий идеализм... Под его последовательной поступью застонали сокровенные цветы, пощажённые Кантовой гильотиной или незаметно расцветшие впоследствии, зашевелились придушенные подземные духи, содрогнулась земля, разразилась контрреволюция, и при Шеллинге вновь получило признание прошедшее со своими традиционными интересами, и не только признание, но и возмещение, и в мире новой реставрации. в натурфилософии вновь орудовали седые эмигранты, неустанно интриговавшие против господства разума и идеи, — мистицизм, пиетизм, иезуитизм, легитимность, романтика, немецкий национализм, задушевность, — пока Гегель, Орлеанский герцог философии, не основал, или, вернее, не упорядочил, новое правление, правление эклектическое, в котором сам он, правда, значит немного, но поставлен во главе и отводит определенное, основными законами установленное место былым кантовским якобинцам, фихтевским бонапартистам, шеллинговским пэрам и своим собственным креатурам.

Итак, в философии мы счастливо закончили великий круговорот, и естественно, что теперь мы переходим к политике. Будем ли мы держаться здесь такого же метода? Откроем ли курс системой *Comité du salut publique*¹ или системой *Ordre légal*?² От этих вопросов трепещут

¹ Комитета общественного спасения (*франц.*).

² Законного порядка (*франц.*).

все сердца, и кто может потерять что-либо дорогое — будь то хоть собственная голова, — тот боязливо шепчет: «Будет немецкая революция сухой или влажно-красной?..»

Аристократы и попы неустанно грозят ужасами времен террора, либералы и гуманисты, напротив, обещают нам прекрасные сцены «великой недели» и последовавших за нею мирных празднеств: обе партии заблуждаются или хотят других ввести в заблуждение. Ибо из того, что французская революция была в девяностых годах так кровава и ужасна, а в прошедшем июле так человечна и мягка, нельзя вывести, что революция в Германии также должна принять тот или этот характер. Только при наличии тождественных условий можно ожидать тождественных явлений. Характер же французской революции был всегда обусловлен нравственным состоянием народа и особенно его политическим развитием. Правда, уже перед первым взрывом революции во Франции там была уже готовая культура, но лишь в высшем сословии и кое-где в среднем; низшие классы были духовно обездолены, и самый бессердечный деспотизм тормозил всякие благородные их порывы. Что же касается политического развития, то оно было чуждо не только этим низшим, но и высшим классам. В ту пору ничего и не знали, кроме мелочных интриг соперничающих групп, системы взаимного ослабления, традиций рутины, искусства двусмысленных формул, влияния фавориток и тому подобного государственного убожества. Монтескье лишь относительно пробудил немногие умы. Так как он всегда исходил из исторической точки зрения, то он имел мало влияния на массы народа, восторженного, чувствительного по преимуществу к мыслям, свежо и безыскусственно выливающимся из сердца, как в сочинениях Руссо. Но когда Руссо, этот Гамлет Франции, увидев разгневанного духа и проникнув взором в гнусные души коронованных отравителей, в лицемерное ничтожество кургизанов, неуклюжую ложь придворного этикета и всеобщее разложение, с болью воскликнул: «Мир вышел из колеи, горе мне, которому приходится его наладить!» — когда Жан-Жак Руссо в полуприветном, полудействительном безумии отчаяния выступил со своим великим воплем и великим обличением; когда Вольтер, этот Лукиан христианства, издеватель-

ством ниспроверг обман римского жречества и на нем основанное божественное право деспотизма; когда Лафайет, герой двух частей света и двух столетий, возвратился с аргонавтами свободы из Америки и привез золотое руно — идею свободного государственного строя; когда Неккер подсчитывал, и Сийес находил определения, и Мирабо ораторствовал, и громы Учредительного собрания проносились над увядшей монархией и ее расцветшим дефицитом, и новые экономические и государственные мысли засверкали, подобно внезапным молниям, — тут лишь впервые пришлось французам изучать великую науку свободы — политику, и первые ее начатки достались им дорого, и они заплатили за них своей лучшей кровью.

В том, однако, что французам пришлось заплатить за обучение так дорого, была виновата идиотски-мракобесная деспотия, пытавшаяся, как я уже говорил, держать народ в состоянии умственной незрелости, изгонявшая всякое политическое образование, поручившая цензуру книг иезуитам и обскурантам Сорбонны и, наконец, нелепым образом подавлявшая периодическую печать, это могущественнейшее орудие умственного развития народа. Стоит только прочесть в «Tableau de Paris»¹ Мерсье главу о дореволюционной цензуре, чтобы без всякого удивления отнестись к тому грубому политическому невежеству французам, которое в дальнейшем имело следствием то, что они были не столько просвещены, сколько ослеплены, не столько согреты, сколько разгорячены новыми политическими идеями, что они на слово верили всякому памфлетисту и журналисту и что всякий фантазер, обманывающий сам себя, и всякий интриган, состоящий на жалованье у Питта, мог довести их до самых безрассудных поступков. В том-то и заключается светлая сторона свободы печати, что она лишает смелую речь демагогов всякой прелести новизны; самое страстное слово нейтрализует она столь же страстным возражением и в самом зародыше уничтожает лживые слухи, которые, — посеяны ли они случайностью или злоумышлением, — с убийственной наглостью разрастаются в сумрачных закоулках, подобно тем ядовитым растениям,

¹ «Картинах Парижа» (франц.).

кои пышно произрастают лишь в темных лесных трясинах и в тени развалин старых замков и церквей, а при ясном свете солнца бессильно засыхают и гибнут. Разумеется, ясный солнечный свет свободы печати так же убийствен для раба, предпочитающего под покровом темноты получать высочайшие пинки, как и для деспота, которому не по душе луч, освещающий его одинокое ничтожество. Несомненно, что цензура очень приятна таким людям. Но столь же несомненно, что цензура, оказав в течение некоторого времени поддержку деспотизму, в конце концов губит его вместе с деспотом, что там, где поработало гильотинирование идей, вскоре вводят и цензурование людей, что тот же раб, который казнит мысли, впоследствии с тем же равнодушием вычеркивает своего собственного господина из книги жизни.

Ах, эти палачи мысли доводят нас самих до преступления, и писатель, болезненно возбужденный во время писания, подобно роженице, очень часто совершает в этом состоянии детоубийство мысли, и именно вследствие безумного страха пред мечом цензора. Я и сам в эту минуту предал казни несколько невинных новорожденных соображений о терпении и душевном спокойствии, с которыми мои любезные соотечественники уже в течение столь многих лет терпят закон об убийстве мысли, который во Франции — стоило только обнародовать его Полиньяку — вызвал революцию. Я говорю о пресловутых ордонансах, худший из которых устанавливал строгую цензуру газет и ужасом исполнил все благородные сердца в Париже: самые мирные граждане взяли за оружие, улицы покрылись баррикадами, сражались и штурмовали, гремели пушки, гудели колокола, свистали свинцовые соловьи, юные птенцы усопшего орла, *Ecole polytechnique*,¹ выпорхнули из гнезда с молниями в когтях, старые пеликаны свободы ринулись на штыки и кровью своею питали воодушевление молодежи, на коня сел Лафайет Несравненный, равного которому природа в силах была создать лишь однажды и потому со свойственной ей экономностью старается использовать его для двух частей света и двух столетий, — и после трех героических дней рабство было низвергнуто во прах вместе со своими красными палачами

¹ Политехническая школа (*франц.*).

и белыми лилиями; и священное трехцветное знамя, озаренное ореолом победы, вознеслось над колокольной собора Парижской богородицы. Тут не произошло никаких ужасов, тут не было разнузданной резни, тут не встала никакая всехристианнейшая гильотина, тут не баловались ужасающими шутками, как, например, при знаменитом возвращении из Версаля, когда впереди толпы несли наподобие знамен окровавленные головы господ де Дегютта и де Варикура и в Севре сделали остановку, чтобы тамошний гражданин-парикмахер обмыл и хорошенько завил эти головы. Нет, с того — страшной памяти — времени французская печать сделала парижский народ восприимчивым к более добрым чувствам и менее кровавым шуткам, она выколола из сердец невежество и насадила там разумение, и плодом этого посева явились благородная, легендарная умеренность и трогательная человечность парижского народа в великую неделю — и в самом деле, если Полиньяк впоследствии и физически не потерял головы, то этим он обязан исключительно смягчительному действию той самой свободы печати, которую он опрометчиво старался уничтожить.

Так сандаловое дерево чудеснейшим своим благоуханием улаживает именно того врага своего, который преступно ранил его кору.

Полагаю, что этих беглых замечаний достаточно для уяснения того, как всякий вопрос о характере, который приняла бы революция в Германии, должен обратиться в вопрос о культурности и политическом развитии германского народа, в какой совершенной зависимости находится это развитие от свободы печати и как трепетно должны мы желать, чтобы при ее посредстве вскоре распространилось возможно больше света, прежде чем наступит час, когда темнота причинит больше зла, чем страсть, и взгляды и мнения, чем меньше они обсуждались и выяснялись в прошлом, с тем более ужасающей страстностью будут действовать на слепую массу и применяться партиями в виде лозунгов.

«Гражданское равенство» могло бы быть теперь в Германии, так же как некогда во Франции, первым лозунгом революции, и кто любит отечество, тот, конечно, не должен медлить, если желает подействовать тому, чтобы

спорный вопрос «о дворянстве» был улажен или решен посредством спокойного обсуждения, раньше чем вмешаются неуклюжие диспутанты со слишком решительными доказательствами, с которыми не смогут справиться ни цепкие силлогизмы полиции, ни самые меткие доводы пехоты и кавалерии, ни даже *ultima ratio regis*,¹ который легко может превратиться в *ultimi ratio regis*.² В этом прискорбном отношении я считаю заслугой издание настоящего сочинения. Полагаю, что господствующий в нем тон умеренности соответствует указанной цели. С индусским терпением автор возражает против брошюры под заглавием:

«О дворянстве и его отношении к буржуазии. Графа М. фон Мольтке, королевского датского камергера и члена суда в Готторфе. Гамбург. Изд-во Пертес и Бессер. 1830».

Однако как в самой брошюре, так и в возражении на нее предмет отнюдь не исчерпан, и доводы за и против захватывают лишь общую, так сказать догматическую, часть спорного вопроса. Высокородный боец восседает на своем боевом коне, отважно повторяет средневековую непристойность, будто от дворянских производителей получается лучшая кровь, чем от обыкновенных буржуазных, отстаивает привилегии рождения, преимущественное право на получение доходных придворных, посольских и военных должностей, которыми следует вознаграждать дворянина за то, что он дал себе великий труд родиться, и так далее; против этого выступает боец, последовательно, одно за другим опровергающий эти звериные и бессмысленные утверждения и прочие благородные воззрения, и арена покрывается блестящими ключьями предрассудка и гербовыми осколками стародворянского нахальства. Этот буржуазный рыцарь выступает как бы с опущенным забралом, на заглавной странице он является под заимствованным именем, которое впоследствии, быть может, станет его славным *nom de guerre*.³ Сам я могу о нем сообщить лишь, что отец его был оружейник и ковал хорошие клинки.

¹ Последний довод короля (*лат.*).

² Довод последнего короля (*лат.*).

³ Кличка, прозвище (*франц.*)

Не вижу необходимости обстоятельно уверять в том, что я не автор этой книжки, а лишь способствую ее появлению. Я никак не мог бы рассуждать о дворянских притязаниях и наследственных враках с такой сдержанностью. Как разъярился я когда-то, когда один премильный графчик, мой лучший друг, во время нашей прогулки по террасе одного замка пытался доказать мне преимущество дворянской крови! Мы еще не кончили спора, когда его слуга сделал какую-то маленькую оплошность, и высокородный господин дал низкородному рабу такую пощечину, что брызнула неблагородная кровь, да в придачу еще сбросил его с террасы. Я был в ту пору на десять лет моложе, чем теперь, и без замедления тут же сбросил с террасы и благородного графа — это был мой лучший друг, — и он сломал себе ногу. Когда после его выздоровления я свиделся с ним, — он только слегка прихрамывал, — он все еще, однако, не исцелился от своей дворянской спеси и бойко утверждал: дворянство поставлено посредником между народом и королем, так же, как бог поставил между собой и людьми ангелов, которые, стоя в непосредственной близости к его престолу, представляют собой как бы небесное дворянство. «Милейший ангел, — отвечал я, — сделай-ка несколько шагов взад и вперед»; он это сделал — и сравнение захромало.

Таким же образом хромает сравнение, которое проводит граф Мольтке по тому же поводу. Чтобы показать его приемы, приведу его собственные слова: «Попытка уничтожить дворянство, в котором переходящее уважение воплощается в устойчивом образе, изолировала бы человека, подняла бы его на шаткую высоту, лишенную средств, необходимых для связи с нижестоящей массой, окружила бы его орудиями его произвола, что, как неоднократно показала история Востока, ставит самое существование властелина в опасное положение. Берк называет дворянство коринфской капителью благоустроенных государств, и что это не только риторическая фигура, порукою служит возвышенный дух этого необыкновенного человека, вся жизнь которого была посвящена служению разумной свободе».

На этом именно примере нетрудно было бы показать, как полужнания благородного графа вводят его в заблуждение. Как раз Берку отнюдь не подобает хвала, возда-

ваемая ему графом; ибо ему чужда та consistency,¹ которую англичане считают первой добродетелью государственного человека. У Берка были лишь риторические способности, дававшие ему возможность во вторую половину его жизни бороться против либеральных принципов, которые он исповедовал в течение первой половины. Стремился ли он посредством этой перемены убеждений снять милость высоких особ, зависть ли и раздражение по поводу либеральных триумфов Шеридана в капелле св. Стефана побудили его выступить в качестве противника Шеридана и поборника средневековой старины, представлявшей более благородный источник для романтических описаний и риторических фигур, был он плут или дурак, — не знаю. Думаю, однако, что всегда подозрительно, когда человек меняет взгляды и переходит на сторону господствующей власти, и что в этом случае он уж никак не может почитаться хорошим авторитетом. Человек не этого склада сказал однажды: «Дворяне не опора престола, а его кариатиды». Это сравнение мне представляется более подходящим, чем капитель коринфской колонны. Мы вообще постараемся как можно меньше пользоваться этой капителью, а то, чего доброго, некоторым всем известным капиталистам придет в голову капитальная мысль забраться в качестве коринфских капителей на верхушки государственных колонн. А это было бы слишком уж отвратительное зрелище.

Здесь, впрочем, я затрагиваю пункт, подлежащий освещению в позднейшем сочинении; там, равным образом, подвергнута будет соответственному обсуждению особая, практическая сторона спорного вопроса о дворянстве. Ибо, как я уже упомянул, настоящее сочинение посвящено только основному, — оно оспаривает правовые притязания и показывает только, в каком противоречии с разумом, временем и самим собою оказывается дворянство. Особая же практическая сторона относится к тем победоносным притязаниям и фактическим узурпациям дворянства, которые ставят под столь великую угрозу и с каждым днем все больше и больше разрушают благополучие народов. Больше того, мне представляется даже, что само дворянство не верит в свои собственные притяза-

¹ Устойчивость (англ.).

пия и бросает их лишь как приманку, чтобы вызвать буржуазию на полемику, с целью отвлечь ее внимание и силы от главной сути дела. Эта суть заключается не в институте дворянства, как таковом, не в определенных привилегиях, не в барщине и поборах в пользу дворянства, не в его судебных и иных традиционных преимуществах: суть дела в невидимом союзе всех тех, кто может предъявить такое-то и такое-то число предков и кто молча заключил соглашение овладеть всеми руководящими силами государства, и эта цель достигается тем, что все они, сообщая оттеснив буржуазных roturiers,¹ занимают почти все высшие офицерские и все посольские посты и таким образом при посредстве подвластных им солдат держат народы в подчинении, а посредством дипломатических ухищрений имеют возможность натравить их друг на друга в том случае, когда народы вздумают сбросить с себя аристократические оковы или вступить для этой цели в братский союз.

С начала французской революции дворянство, таким образом, находилось на военном положении в отношении к народам и открыто или тайно вело борьбу против принципа свободы и равенства и представителей его, французов. Английское дворянство, наиболее могущественное благодаря своим правам и богатству, сделалось знаменосцем европейской аристократии, и Джон Буль заплатил за это почетное звание своими лучшими гинейми и напобеждался до банкротства. Во время мира, последовавшего за этой позорной победой, Австрия вздымала благородный стяг и заботилась о дворянских интересах, и на каждом трусливом договорчике, заключенном против либерализма, красуется хорошо известная сургучная печать, и, подобно своему злополучному вождю, народы содержались в суровом заключении, вся Европа сделалась Святой Еленой, а Меттерних ее Гудсоном Лоу. Но осуществить месть можно было только над бранным прахом революции, только над той воплощенной в человеческом образе революцией, которая в сапогах и шпорах, обрызганная кровью боевых полей, улеглась в постель к белокурой императорской дочери, запачкав белые габсбургские простыни, — только эту революцию можно было заставить умереть от

¹ Разночинцев (франц.).

рака в желудке; дух же революции бессмертен и не по-
коится под плакучими ивами Лонгвуда, и во время вели-
ких родов июльских дней вновь родилась революция,
уже не в виде отдельного человека, а как целый народ,
и в этом новом воплощении она насмеяется над тюрем-
щиком, у которого от страха выпадает из рук связка
ключей. Сколь затруднительное положение для дворян-
ства! За время продолжительного мира оно, конечно,
несколько оправилось от былых неприятностей и с тех
пор для укрепления здоровья ежедневно пило молоко от
ослицы, и именно папской ослицы; однако достаточных
сил для новой борьбы оно еще не набралось. Менее чем
когда-либо способен, как в былые времена, взять врага
на рога английский bull,¹ ибо он истощен больше всех,
и от переменяющейся лихорадки вечной смены мини-
стров он чувствует бессилие во всех членах, и предпи-
сано ему лечение радикальное, если не лечение голодом, и
вдобавок ему предстоит ампутация зараженной Ирландии.
Австрия тоже не чувствует себя настроенной достаточно
героически для того, чтобы выступить против Франции
в качестве дворянского Агамемнона. Штаберле неохотно
надевает военный мундир и отлично знает, что его дожде-
вые зонтики не защищают от свинцового ливня, и притом
его теперь пугают еще венгры со своими свирепыми
усами, и в Италии ему приходится ставить часовых у каж-
дого восторженного лимонного дерева, и у себя дома ему
приходится заниматься производством принцесс, чтобы
в случае нужды кормить ими чудище революции.

Но во Франции все могущественнее разгорается солнце
свободы, озаряя своими лучами весь мир. Но с каждым
днем она проникает все дальше, идея буржуазного короля-
гражданина без придворного этикета, без пажей, без
куртизанок, без сводников, без алмазных подачек «на чай»
и прочих великолепий... Но в палате пэров уже видят
богадельню для неизлечимых старого режима, которых
терпят пока только из сострадания и со временем также
выбросят... Странное превращение! В этом тяжелом по-
ложении дворянство обращается к тому государству,
в котором последнее время усматривало и ненавидело
злейшего врага своих интересов, — оно обращается к Рос-

¹ Бык (англ.).

сии. Великого царя, еще недавно бывшего гонфалоньером либералов, так как он враждебнейшим образом противостоял феодальной аристократии и казался вынужденным в ближайшем будущем вступить с нею в бой, — именно этого царя избрала теперь эта аристократия в свои знаменосцы, и он вынужден стать ее передовым бойцом. Ибо если русское государство, с одной стороны, и покоится на антифеодальном начале равенства всех граждан государства, которым звание дается не рождением, а заслуженным на государственной службе чином, то, с другой стороны, самодержавный царизм несовместим с идеями конституционной свободы, способной защитить последнего подданного даже от благодетельного царского произвола. И если император Николай I из-за этого принципа гражданского равенства был ненавидим сторонниками феодализма и, вдобавок, в качестве явного врага Англии и тайного врага Австрии, явился во всей своей мощи фактическим представителем либералов, — то все же он сделался их злейшим противником с конца июля, когда их победоносные идеи конституционной свободы начали угрожать его абсолютизму, и именно как самодержца умело науськивает его европейская аристократия на борьбу против прямодушной и свободной Франции. Английский bull уже притупил в такой борьбе рога, теперь пусть русский волк заменит его в этой роли. Европейская знать умело применяет к своим целям и должным образом приспособляет грозу московских лесов; и грубому гостю немало льстит то, что ему приходится защищать величие исконной божией милостью установленной королевской власти от крамольников и противников знати; благосклонно дает он облечь себя в изъеденную молью багряную порфиру со всякой мишурной рухлядью из византийского наследия, и благоговейно приемлет от бывшего императора германского изношенные священные римские императорские штаны, и надевает на голову древнефранкскую¹ алмазную шапку Caroli Magni...²

Ах, волк надел на себя одежду старой бабушки и разорвет вас, бедные красные шапочки свободы!

¹ Игра слов: по-немецки altfränkisch значит и древнефранкский и старомодный.

² Карла Великого (лат.).

Вот я пишу эти строки, — и ведь мне кажется, будто кровь Варшавы брызжет на мою бумагу и будто доносится до меня радостное ликование берлинских офицеров и дипломатов. Не рано ли они ликуют? Не знаю; но мне и всем нам так страшен русский волк, и я боюсь, что и мы, немецкие красные шапочки, скоро на себе испытаем нелепо-длинные лапы и широкую пасть бабушки. И при этом мы еще должны быть в боевой готовности, чтобы идти на Францию. Боже правый! Идти на Францию? Да, ура! Вперед, на французов, и, верно, берлинские указуисты и кнутологи утверждают, что мы все еще те же спасители бога, короля и отечества, какими были в 1813 году, и что необходимо новое издание «Лиры и меча» Кернера, и Фуке присоединит еще несколько боевых песен, и Герреса вновь откупят у иезуитов для продолжения «Рейнского Меркурия», и кто добровольцем примет участие в этой священной войне, удостоится дубовой веточки на шапке и будет именоваться отныне «вы» и получит бесплатные театральные билеты или, уподобленный детям, заплатит только половину, — а за особые патриотические усилия всему народу будет особо обещана конституция.

Конечно, театральные контрамарки — вещь хорошая, но конституция тоже была бы неплоха. Да, временами нас могло страстно потянуть к ней. Не то чтобы мы не доверяли абсолютной доброте или доброму абсолютизму наших монархов; наоборот, мы знаем, что это сплошь восхитительные люди, и если случается между ними такой, который не делает чести своему сословию, как, например, его величество король дон Мигель, то он ведь представляет собой исключение, и если высочайшие коллеги до сих пор не собрались положить конец его кровавому озорству, то это делается лишь для того, чтобы на фоне контраста с таким коронованным мерзавцем показаться еще человеколюбиво-благороднее и вызывать еще большую любовь своих подданных. Но и в хорошей конституции есть кое-что хорошее, и не приходится жаловаться на народы, если они даже от лучших монархов желают получить эдакую бумажонку насчет жизни и смерти. И разумный отец поступает очень разумно, ограждая бездны самодержавной власти охранительной решеткой, дабы не приключилось когда-либо с его детьми несчастья, если бы им вздумалось слишком развязно

гарцевать на коне высокомерия вместе с хвастливой свитой юных дворянчиков. Мне известен некий королевич, уже наперед упражняющийся в размахистых прыжках в одной прескверной дворянской школе верховой езды. Для таких королевских сынков необходимо строить вдвое более высокие загородки, и обматывать их золотые шпоры, и давать им более спокойных коней, и приставлять к ним более буржуазно-смиранных сверстников. Знаю одну охотничью историю — клянусь св. Губертом! И знаю также кого-то, кто дал бы тысячу прусских талеров чистоганом за то, чтобы история эта оказалась враками.

Ах, вся история нашего времени — лишь охотничья история. Это время охоты на либеральные идеи, и высокопоставленные господа увлечены ею больше чем когда-либо, и их ливрейные егеря палят во всякое честное сердце, где укрылись либеральные идеи, и пет недостатка в натасканных собаках, которые, как добрую добычу, подбирают окровавленное слово. Берлин выкармливает лучшую свору, и я слышу уже, как яростно лает вся стая на эту книгу.

**ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
«САЛОНА»**

**ФРАНЦУЗСКИЕ
ХУДОЖНИКИ**



ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «САЛОНА»

«Мой совет вам, кум: позвольте мне нарисовать вам на вывеске не золотого ангела, а красного льва; мне это уж привычно, и вы увидите, если я и нарисую вам золотого ангела, он все-таки будет похож на красного льва».

Эти слова, принадлежащие одному почтенному собрату по искусству, должны явиться эпиграфом к предлагаемой книге, ибо они служат заблаговременным и вполне откровенным возражением на всякий упрек, который мог бы быть сделан ей. Чтобы не осталось никаких недомолвок, я тут же отмечу, что эта книга, за малыми исключениями, была написана летом и осенью 1831 года, в такое время, когда я большею частью занимался этюдами к будущим красным львам. В то время вокруг меня было немало рева и всякого рода помех.

Не правда ли, я сегодня очень умерен?

Можете быть спокойны: человеческая умеренность всегда имеет достаточные основания. Обычно гослочь бог очень облегчал рабам своим проявление умеренности и подобных ей добродетелей. Легко, например, прощать своим врагам, когда случайно не обладаешь достаточным умом, чтобы иметь возможность повредить им, и также легко не обольщать женщин, если ты наделен слишком уж неприглядным носом.

Ханжи всех оттенков опять будут тяжело вздыхать, читая многие стихотворения в этой книге, но это уже не поможет им. Новое, «восходящее поколение» поняло, что все мои слова и песни вырастали из великой, божественно-радостной весенней мысли, которая если и не лучше, то по

крайней мере так же достойна уважения, как эта скорбная, лахнувшая тлением великопостная мысль, угрюмо обесцвечившая нашу прекрасную Европу и населившая ее призраками и тартюфами. Тому, против чего я фрондировал с легким оружием в руках, объявлена теперь открытая и серьезная война — я стою уже даже не в первых рядах.

Слава богу! Июльская революция развязала языки, которые столько времени казались немymi; а так как внезапно проснувшиеся пожелали разом высказать все то, о чем они до тех пор молчали, то поднялся немалый шум, порою оглушавший меня самым неприятным образом. По временам у меня появлялась охота бросить всю эту говорильню; но это не так легко сделать, как, например, отказаться от места тайного советника, хотя последнее приносит больше дохода, нежели почетнейшее звание общественного трибуна. Люди думают, что наши дела и поступки — плод свободного выбора, из запаса новых идей мы выхватываем такую, которую хотим отстаивать словом и делом, ради которой хотим бороться и страдать, подобно тому как какой-нибудь филолог выбирает себе классика, комментированием которого и занимается всю жизнь; нет, не мы хватаем идею, идея хватает и порабощает нас и бичами гонит нас на арену, чтобы мы, как невольники-гладиаторы, сражались за нее. Так бывает со всяким истинным трибуном или апостолом. То было скорбное признание, когда Амос сказал царю Амазии: «Я не пророк и не сын пророка, я пастух и собирал сикоморы, но господь взял меня от овец и сказал мне: «Иди и пророчествуй». То было скорбное признание, когда бедный монах, которого император и империя судили в Вормсе за его учение, все же, несмотря на все смирение своего сердца, счел невозможным отречься и закончил свою речь словами: «Здесь я стою и не могу иначе, бог да поможет мне. Аминь!»

Если бы вы знали этот священный гнет, вы уже не поносили бы нас, не клеймили бы нас, не клеветали бы на нас; право же, мы не властители, но слуги слова. То было скорбное признание, когда Максимилиан Робеспьер сказал: «Я раб свободы».

И я теперь тоже сделаю признание. То не была пустая прихоть моего сердца, когда я покинул на родине все

дорогое, что пвело и улыбалось мне там, — иные любили меня там, например моя мать, — но я пошел, сам не зная почему; я пошел, потому что должен был идти. Позднее я ощутил большую усталость; я столько времени, еще задолго до июльских дней, занимался ремеслом пророка, что внутреннее пламя почти сожгло меня, что от могучих слов, вырывавшихся из моего сердца, оно стало слабым, как тело роженицы.

Я подумал: больше я вам не нужен, буду теперь жить для себя и писать изящные стихи, писать комедии и новеллы, запечатлевать нежные и веселые фантазии, накопившиеся в моем мозгу, и спокойно проскользну назад, в мир поэзии, где я был так счастлив в детстве.

И для осуществления этого намерения нельзя было найти места более подходящего, чем то, которое я избрал. То была маленькая вилла, у самого моря, поблизости от Гавр де Грас, в Нормандии. Изумительно красивый вид на великое Северное море; вечно меняющаяся и все же простая картина; нынче — суровая буря, завтра — ласковая тишь, а в вышине — белые сонмы облаков, огромных и причудливых, словно блуждающие тени тех норманнов, что свирепствовали некогда у этих берегов. А под моими окнами цвели приветливейшие цветы и растения: розы, любовно глядевшие на меня, красные гвоздики, в чьем благоухании — стыдливая мольба, и лавры, взбравшиеся ко мне по стене, почти что достигавшие моей комнаты, как та слава, что преследует меня. Да, некогда я гонялся за Дафной, теперь же Дафна гоняется за мной, как непотребная женщина, и врывается ко мне в спальню. То, к чему я стремился когда-то, тяготит меня теперь, мне хочется спокойствия и хочется, чтобы никто не говорил обо мне, по крайней мере в Германии. И хотелось бы мне сочинять тихие песни, и только для себя или в крайнем случае только для того, чтобы читать их вслух какому-нибудь притаившемуся соловью. Так и пошло сначала, ум мой снова был умиротворен гением поэзии, давно знакомые благородные образы и золотые картины снова замерцали в моей памяти, я вновь изведаль то же блаженство снов, то же сказочное упоение, те же чары, что и прежде, и мне стоило только записать спокойным пером все, что я чувствовал и думал... Я начал.

Но ведь всякому известно, что при таком расположении духа не всегда удастся спокойно высидеть в комнате и что порой выбегаешь в поле, с восторгом в груди и с пылающими щеками, не глядя себе под ноги. Так случилось и со мной, и, сам не зная как, я вдруг оказался на гаврском шоссе, и вот передо мной, высокие и неторопливые, потянулись крестьянские возы, нагруженные всякого рода жалкими сундуками и ящиками, старофранконской домашней утварью, женщинами и детьми. Рядом с ними шли мужичны, и я немало удивился, услышав их речь: они говорили по-немецки, на швабском наречии. Нетрудно было догадаться, что люди эти — эмигранты, и когда я вгляделся в них, мною овладело вдруг такое чувство, какого я еще никогда не испытывал в жизни, вся кровь внезапно прихлынула к сердцу и так заколотила в ребра, словно ей надо было вырваться из груди, как можно скорее вырваться наружу, и у меня захватило дыхание. Да, это мне повстречалась моя родина, на этих возах сидела белокурая Германия — с серьезно-голубыми глазами, задумчивыми, слишком уж задумчивыми лицами, а в углах рта была та жалкая ограниченность, которая рождала во мне такую скуку и так раздражала меня когда-то, теперь же вызвала грустное умиление: ведь если когда-то, среди цветущего веселья юности, я часто и сердито поругивал отечественные нелепости и филистерские обычаи; если мне когда-то пришлось, как это часто бывает в больших семьях, пережить не одну маленькую домашнюю ссору с моим счастливым, бургомистерски-благополучным, ленивым, как улитка, отечеством, то теперь, когда я увидел его в горе и в нищете, на чужбине, все эти воспоминания угасли в моей душе; даже его недостатки стали мне вдруг дороги и милы, я помирился даже с его захолустными повадками и пожал ему руку; я пожал руки этим немецким эмигрантам, как если бы, в залог союза и любви, я пожимал руку самому отечеству, и мы заговорили по-немецки. Люди эти тоже были очень рады, что слышат родную речь на чужеземном шоссе; тени заботы исчезли с их лиц, и они почти заулыбались. И женщины, среди которых были очень хорошие, приветливо крикнули мне с возов: «Бог в помощь!», и мальчуганы стали кланяться мне, вежливо краснея, и совсем маленькие дети испустили ра-

достные крики, улыбаясь своими беззубыми милыми ротиками. «Но почему же вы покинули Германию?» — спросил я этих бедных людей. «Земля хорошая, и мы бы рады остаться, — отвечали они, — но мы больше не могли терпеть...»

Нет! Я не из числа демагогов, стремящихся только к одному — как бы разжечь страсти, и я не буду пересказывать всего того, что на этом шоссе, около Гавра, под открытым небом, мне пришлось услышать о бесчинствах высокознатной и высокородной братии в Германии, — да и самая жалоба слышалась не в словах, а в звуке голоса, произносившего эти слова, простые и прямодушные, похожие скорей на вздохи. Да и бедные эти люди не были демагогами; все их жалобы оканчивались словами: «Что нам было делать? Уж не начать ли революцию?»

Клянусь всеми богами небесными и земными, десятая доля того, что выстрадали в Германии эти люди, вызвала бы во Франции тридцать шесть революций и стоила бы короны и головы тридцати шести королям.

«И мы бы все-таки вытерпели и не ушли бы, — заметил восьмидесятилетний, а следовательно, вдвойне благородный шваб, — но мы сделали это ради детей. Они еще не привыкли к Германии так, как привыкли мы, и, может быть, еще будут счастливы на чужбине; конечно, и в Африке придется им немало потерпеть».

Эти люди направлялись в Алжир, где им на выгодных условиях обещали кусок земли для колонизации. «Земля, говорят, хорошая, — рассказывали они, — но, мы слышали, там много ядовитых змей, очень опасных, и много там приходится терпеть от обезьян, которые таскают плоды с поля, а то воруют и детей и уносят их с собой в леса. Это тяжело. Но дома амтман тоже бывает ядовит, если не уплачены подати, а дичь да охотники еще пуще разоряют поля, а детей наших забирают в солдаты... Что нам было делать? Уж не начать ли революцию?»

Я должен, к чести человечества, упомянуть здесь о том сочувствии, которым, по словам этих эмигрантов, их всюду встречали во Франции во время их крестногошествия. Французы не только остроумнейший, но и милосерднейший народ. Даже самые бедные старались оказать

какую-нибудь услугу этим несчастным чужеземцам, действительно помогали им разгружать и разбирать их скарб, давали им для стряпни свои медные котлы, помогали им колоть дрова, носить воду и стирать. Я своими глазами видел, как француженка-нищая дала кусок своего хлеба бедному швабскому мальчику, за что я от души поблагодарил ее. К тому же надо еще заметить, что французам известно было только материальное горе этих людей; они, в сущности, никак не могут понять, почему эти немцы покинули свою родину. Ибо, когда французам гнет верховных властей становится слишком уж невозможу или же просто делается несколько обременительным, им все же никогда не приходит в голову бежать из страны, напротив, они своим притеснителям дают отставку, из страны выгоняют их, а сами преспокойно остаются у себя дома, — словом, производят революцию.

Что до меня, то после этой встречи в сердце моем осталась глубокая скорбь, черная грусть, свинцовое уныние, которое мне никогда не выразить словами. Я, еще несколько минут до того шествовавший в горделивом упоении победителя, теперь побрел больной и слабый, как сломленный жизнью человек. Право, это не было влияние внезапно пробудившегося патриотизма. Я чувствовал — это было нечто более благородное, нечто лучшее. К тому же мне с давних пор ненавистно все то, что носит название патриотизма. Более того, самый патриотизм в известной мере опротивел мне с тех пор, как я видел маскарад тех черных шутов, что обратили патриотизм в настоящее ремесло, и приобрели себе подходящий профессиональный костюм, и действительно стали делиться на мастеров, подмастерьев и учеников, и завели себе особые знаки приветствия, с помощью которых и добивались цели в своей стране, добивались самыми грязными средствами — вымогательствами, потому что добиваться чего-либо по-настоящему, то есть с мечом в руке, — это не входило в их цеховые обыкновения. Всем известно, что батюшка Ян, трактирщик Ян оказался на войне таким же трусом, как и дураком. Подобно мастеру, и большинство подмастерьев были подлые существа, грязные лицемеры, в самой грубости которых не было ничего подлинного. Они прекрасно знали, что немецкая простота все по-

прежнему считает неотесанность признаком отваги и честности, хотя стоит лишь заглянуть в наши смиренные дома, чтобы узнать, что бывают и неотесанные плуты и неотесанные трусы. Во Франции отвага вежлива и благовоспитанна, а честность носит перчатки и снимает шляпу. Во Франции патриотизм заключается в любви к родной стране, которая в то же время является родиной цивилизации и гуманного прогресса. Напротив, упомянутый немецкий патриотизм заключался в ненависти к французам, в ненависти к цивилизации и либерализму. Не правда ли, я не патриот — ведь я хвалю Францию?

Странная вещь — патриотизм, настоящая любовь к родине! Можно любить свою родину, любить ее целых семьдесят лет и не догадываться об этом; но для этого надо оставаться дома. Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские песни. Любовь к свободе — цветок темницы, и только в тюрьме чувствуешь цену свободы. Любовь к немецкой отчизне начинается только на немецкой границе, особенно же дает себя чувствовать, когда на чужбине видишь немецкое горе. В книге, которая как раз находится у меня под рукою и содержит письма моей покойной приятельницы, вчера поразило меня то место, где она описывает впечатление, которое произвели на нее во время войны 1813 года в чужой стране ее соотечественники. Приведу эти милые слова:

«Все утро я не переставая плакала горячими слезами умиления и обиды! О, я никогда не знала, что так люблю мою страну! Вот так же иной человек не знает из физики о значении крови; если же отнять у него кровь, он упадет без чувств».

В этом все дело. Германия — это мы сами. И поэтому я почувствовал себя вдруг таким слабым и больным при виде этих эмигрантов, этих страшных потоков крови, льющихся из ран отчизны и теряющихся в африканских песках. В этом все дело; то была как бы физическая утрата, и в душе я ощутил почти физическую боль. Напрасно я старался успокоить себя разумными доводами — что Африка тоже хорошая страна, и что змеи не много болтают там о христианской любви, и что обезьяны там не так отвратительны, как немецкие обезьяны, — и,

стараясь рассеяться, я стал напевать песенку. Но случайно это оказалась старая песня Шубарта:

Хотят нас в Африку услать,
В далекий жаркий край.
.....
Простимся на границе мы
С немецкою страной
И горсть земли с собой возьмем;
За хлеб, за соль, за отчий дом
Спасибо, край родной.

Только эти слова песни, слышанной в детстве, никогда не исчезали из моей памяти, и всякий раз они вспоминались мне, когда я переезжал немецкую границу. Да и об авторе ее я мало знаю; знаю только, что был он бедный немецкий поэт и большую часть своей жизни просидел в крепости и любил свободу. Теперь он уже умер и давно уже истлел, но песня его еще жива, ибо слово нельзя посадить в крепость и сгноить.

Уверяю вас, я не патриот, и если я плакал тогда, то причиной — эта маленькая девочка. Уже вечерело, и маленькая немецкая девочка, которую я раньше уже успел заметить среди эмигрантов, одна стояла на берегу, словно погруженная в мысли, и смотрела на необъятное море. Девочке было, верно, лет восемь, у нее были две аккуратно заплетенные косички, была на ней коротенькая — на швабский лад — юбка из полосатой фланели, личико покрывала болезненная бледность, глаза — большие и серьезные; и с кроткой опаской в голосе, но все же и с любопытством, она спросила меня — не океан ли это?

До глубокой ночи стоял я у моря и плакал. Я не стыжусь этих слез. Ахилл тоже плакал на берегу моря, и среброногая мать должна была подняться из волн, чтобы утешить его. Я тоже слышал голос из воды, но не столь утешительный, а скорее призывный, властный — и все же глубоко мудрый. Ибо море знает все, звезды поверяют ему сокровеннейшие загадки неба, в глубинах его покоятся, вместе с потонувшими сказочными царствами, также и древние, давно забытые предания земли, у всех берегов подслушивает оно тысячами ушей — тысячами любопытных волн, а реки, вливающиеся в него, приносят ему новости, которые они услышали в самых отдаленных местах материка или узнали из болтовни

маленьких ручейков и горных ключей. Но если море поведаст кому свои тайны и шепнет в самое сердце великое слово спасения мира, тогда — прощай, покой! Простите, безмятежные сны! Простите, повеллы и комедии, которые я уже так мило начал и которые теперь вряд ли вскоре удастся продолжить!

С тех пор золотые ангельские краски почти совершенно засохли на моей палитре, и влажной сохранилась на ней лишь ярко-красная краска, которая напоминает кровь и которой можно рисовать только красных львов. Да, следующая моя книга — это уж действительно будет красный лев, и уважаемая публика, выслушав мои признания, да простит мне это.

Генрих Гейне

Париж, 17 октября 1833



ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ

ВЫСТАВКА КАРТИН В 1831 ГОДУ В ПАРИЖЕ

Выставка картин, открывшаяся в начале мая, теперь закрылась. В общем ей было уделено только беглое внимание; умы были заняты другим и поглощены тревогами политики. Что до меня, впервые в этот раз посетившего столицу и охваченного бесконечно новыми впечатлениями, то я в еще меньшей степени, чем другие, был в состоянии с должным спокойствием осмотреть луврские залы. А там находились они, числом около трех тысяч, эти изящные картины, бедные чада искусства, которым суетливая толпа бросала, словно милостыню, всего лишь равнодушный взгляд. С немым страданием выпрашивали они хоть каплю участия, молили о доступе в какой-нибудь уголок сердца. Напрасно! Сердца были полностью заняты семьей собственных чувств и не могли предоставить этим чужим ни приюта, ни пищи. Но — в том-то и было все дело — выставка походила на приют для сирот, на сборище детей, понахватанных отовсюду, предоставленных до сих пор самим себе и не находящихся друг с другом ни в каком родстве. Эта выставка смущала нашу душу, как зрелище унижительной беспомощности и детской растерянности.

Какое совершенно непохожее чувство охватывало нас уже при входе в галереи итальянских картин! Они не брошены, словно какие-нибудь найденныши, на произвол холодного света, но вскормлены молоком великой общей

матери и, как члены одной семьи, умиротворенные и единоподушные, говорят если не всегда одними и теми же словами, то все-таки одним и тем же языком.

Католическая церковь, которая и для других искусств некогда была такой матерью, оскудела теперь и сама беспомощна. Каждый художник пишет теперь на свой лад и на свой риск; прихоть минуты, каприз богача или собственного праздного сердца дают ему материал, палитра дает ему блистательнейшие краски, а полотно все терпит. К тому же среди французских художников свирепствует сейчас непонятная романтика, и, следуя своему основному принципу, каждый стремится писать совершенно иначе, нежели другие, или, пользуясь модным выражением, выказать свою оригинальность. Легко угадать, какие картины появляются иногда благодаря этому.

Так как у французов, во всяком случае, много здравого смысла, то они всегда правильно определяли ошибки, легко узнавали истинное своеобразие и в пестром море картин без труда отыскивали истинные жемчужины. Художники, чьи произведения вызвали всего больше толков и были признаны лучшими, — это А. Шеффер, О. Верне, Делакура, Декан, Лессор, Шнетц, Деларош и Робер. Таким образом, я могу ограничиться тем, что изложу общее мнение. Оно мало отличается от моего собственного. Буду, насколько возможно, избегать обсуждения технических достоинств и недостатков. Да от этого и не большая была бы польза, поскольку речь идет о картинах, которые ведь не остаются в публичной галерее, где их можно было бы осматривать, и еще меньше пользы от этого немецкому читателю корреспонденций, вовсе не видевшему самых картин. Для него могут быть желательны только сведения о сюжетах и о смысле картин. Как добросовестный референт, я прежде всего упомяну о картинах

А. ШЕФФЕРА

В первый месяц выставки больше всего внимания возбуждали «Фауст» и «Гретхен» этого художника, ведь лучшие произведения Делароша и Робера были выставлены лишь впоследствии. К тому же всякий, кто не видел еще картин Шеффера, сразу поражается его манере,

сказывающейся особенно в колорите. Враги его толкуют, что он пишет только нюхательным табаком и зеленым мылом. Не знаю, насколько они несправедливы к нему. Его коричневые тени нередко очень неестественны и не достигают задуманного в рембрандтовской манере светового эффекта. Цвет лица у его персонажей обычно тот, который и нам подчас внушает отвращение к собственному лицу, когда, невыспавшиеся и сердитые, мы видим его отражение в зеленых зеркалах на старом постоялом дворе, где останавливается по утрам почтовая карета. Но если пристальнее взглянуть в картины Шеффера, его манера начинает нравиться, трактовка в целом кажется вам очень поэтической, и вы видите, что сквозь хмурые краски прорывается светлый образ, как солнечный луч — сквозь мгlistые облака. Это угрюмо-однотонное, напоминающее тушь письмо, эти смертельно усталые краски, до жути смутные очертания даже дают хороший эффект в «Фаусте» и «Гретхен». Обе фигуры изображены по колено, в натуральную величину. Фауст сидит в средневековом красном кресле, у стола, заваленного пергаменстами, облокотясь на него левой рукой, на которую он склонил свою непокрытую голову. Правую руку, ладонью вверх, он положил на бедро. Платье — синее, как пена зеленого мыла. Лицо — почти в профиль; оно желто-серое, как нюхательный табак. Черты его строги и благородны. Несмотря на болезненный цвет лица, на впалые щеки, на блеклость губ, на печать разрушения, лицо это хранит черты былой красоты, и глаза льют пленительно грустный свет, благодаря чему оно похоже на прекрасную руину, озаренную луной. Да, человек этот — прекрасная человеческая руина, в морщинах над этими выветрившимися бровями гнездятся сказочно ученые совы, а за этим челом таятся злые призраки; в полночь раскрываются там могилы умерших желаний, встают бледные тети, и в пустынном мозгу блуждает, словно бы со скованными ногами, дух Гретхен. Заслуга художника именно в том, что он написал только голову и что, взглянув на нее, мы уже узнаем чувства и мысли, мятущиеся в сердце и в мозгу этого человека. В глубине еле заметная и совершенно зеленая, отвратительно зеленая, виднеется и голова Мефистофеля, злого духа, отца лжи, бога мух, бога зеленого мыла.

«Гретхен» составляет параллель к этой картине, равную по достоинствам. Гретхен тоже сидит в полинялом красном кресле, рядом лежит без дела прялка с мочкой льна; в руке у Гретхен — раскрытый молитвенник, в который она не смотрит и откуда бросает утешающий взгляд блекло-пестрая богоматерь. Гретхен наклонила голову, так что большая часть лица, изображенного тоже почти в профиль, как-то странно остается в тени. Ночная душа Фауста как будто бросает свою тень и на черты задумчивой девушки. Эти две картины висели рядом, и тем легче было заметить, что на лице Фауста сосредоточена вся сила освещения, а лицо Гретхен слабо освещено и тем ярче выделяются контуры. Это придает ее лицу невыразимый, магический оттенок. На ней темно-зеленый корсет, голову едва прикрывает черная шапочка, из-под которой с обеих сторон выбиваются гладкие золотистые волосы, кажущиеся еще более светлыми. Овал лица трогательно благороден, и черты его полны красоты, которая рада была бы спрятаться из скромности. Она со своими милыми голубыми глазами — сама скромность. Тихая слеза крадется по прекрасной щеке, немая жемчужина печали. Правда, что это — Гретхен Вольфганга Гете, но она прочла всего Фридриха Шиллера, и в ней больше сентиментальности, чем наивности, и больше давящего идеализма, чем легкой грации. Может быть, она слишком верна клятве и слишком серьезна, чтобы быть грациозной, ибо грация заключается в движении. К тому же есть в ней что-то такое положительное, такое солидное, такое реальное, как лунддор, еще находящийся у вас в кармане. Словом, она немецкая девушка, и если поглубже заглянуть в ее меланхолические фиалки, то начинаешь думать о Германии, о благоухающих липах, о стихотворениях Гельти, о каменном Роланде перед зданием ратуши, о старом проректоре, о его румяной племяннице, о доме лесничего и оленьих рогах, о скверном табаке и славных товарищах, о бабушкиных страшных сказках, о честных ночных сторожах, о дружбе, о первой любви и всяких других милых пустяках... Право, Гретхен Шеффера невозможно описать. Это не лицо, а душа. Это — портрет чувства. Проходя мимо нее, я всякий раз невольно говорил: «Милое дитя!»

К сожалению, во всех картинах Шеффера мы видим все ту же манеру, и если она подходит к его Фаусту и Гретхен, то отнюдь не нравится нам в тех случаях, когда сюжет требует радостной, ясной, красочно-яркой трактовки, как, например, в маленькой картине, где изображены пляшущие школьники. Шеффер своими приглушенными, безрадостными красками изобразил здесь лишь рой маленьких гномов. Как бы ни был замечателен талант Шеффера-портретиста, каких бы похвал ни заслуживала в этой области оригинальность его трактовки, все же и здесь его колорит для меня неприемлем. Однако на выставке был портрет, где именно манера Шеффера оказалась вполне подходящей. Только этими неопределенными, лживыми, мертвыми, бесхарактерными красками можно было написать человека, чья слава состоит в том, что на лице его никогда нельзя было прочесть его мыслей, что скорее даже на нем всегда читали противоположное его мыслям. Это человек, которому можно было дать пинок в зад, а стереотипная улыбка все-таки не исчезала с его губ. Это человек, который четырнадцать раз изменил присяге и талантами которого в деле лжи пользовались все сменявшие друг друга правительства Франции, когда надо было совершить какое-нибудь убийственное вероломство; он заставляет вспомнить о той древней составительнице ядов, о той Локусте, что жила в доме Августа и, как преступное наследие переходя из рук в руки, молчаливая и верная, служила одному цезарю вслед за другим и одному против другого, предоставляя свою дипломатическую микстурку. Когда я стоял перед портретом этого вероломного человека, которого Шеффер так верно изобразил, на лице которого он своими ядовитыми красками написал даже все четырнадцать ложных присяг, дрожь пробирала меня при мысли: кому предназначено в Лондоне его последнее зелье?

Шефферовы «Генрих IV» и «Луи-Филипп I», два конных портрета в натуральную величину, заслуживают во всяком случае отдельного упоминания. Первый, *le roi par droit de conquête et par droit de naissance*,¹ жил до меня; я знаю только, что он носил бородку *à la Henri IV*,² и не

¹ Король по праву завоевания и по праву рождения (*франц.*).

² В стиле Генриха IV (*франц.*).

могу определить, насколько уловлено сходство. Другой же, le roi des barricades, le roi par la grâce du peuple souverain,¹ — мой современник, и я могу судить, похож ли портрет или непохож. Портрет я видел до того, как имел удовольствие видеть лично его королевское величество, и признаюсь, короля я все-таки узнал не сразу. Может быть, я видел его в слишком торжественную минуту, а именно в первый день празднования недавней революции, когда он проезжал верхом по улицам Парижа, окруженный ликующей муниципальной гвардией и получившими награды героями Июля, которые все, как безумные, горланили «Парижанку» и марсельский гимн, а по временам плясали карманьолу; его величество король высоко сидел в седле, не то как подневольный триумфатор, не то как добровольный пленник, который должен украшать собой триумфальное шествие; император, лишившийся престола, ехал подле него, точно символ или пророчество; два юных его сына тоже ехали рядом с ним, подобные цветущим надеждам, и его толстые щеки сверкали, прикрытые лесной чащей больших бакенбард, и приторно приветливые глаза сияли от удовольствия и смущения. На портрете Шеффера вид у него не такой забавный, а скорее унылый, как будто он едет по Гревской площади, где был обезглавлен его отец; лошадь его словно спотыкается. Мне кажется, что на картине Шеффера и голова не так заострена кверху, как у августейшего оригинала, где эта особенность всегда напоминала мне народную песню:

Высокая елка стояла в долине,
Потолще внизу и потоньше к вершине.

В остальном портрет довольно удачен, очень похож; однако это сходство я открыл лишь тогда, когда увидел самого короля. Это вызывает во мне сомнения, очень серьезные сомнения в достоинствах всей портретной живописи Шеффера. Дело в том, что портретистов можно разделить на два разряда. Одни обладают чудесным талантом — схватывать и зарисовывать именно те черты,

¹ Король баррикад, король милостью самодержавного народа (Франц.).

которые даже случайному зрителю дают представление об изображаемом лице, так что характер изображаемого оригинала становится ему сразу понятен и при встрече он сразу уже узнает его. Эту манеру мы находим у старых мастеров, особенно у Гольбейна, Тициана и Ван-Дейка, и в их портретах нас поражает та непосредственность, которая с такой живостью ручается нам за сходство их с давно умершими оригиналами. «Можно поклясться, что эти портреты похожи!» — невольно говорим мы, осматривая галерею. Другую манеру портретной живописи мы встречаем главным образом у английских и французских художников, которые рассчитывают на легкость узнавания и наносят на полотно только те черты, что воскрешают в нашей памяти лицо и характер хорошо знакомого оригинала. Эти художники, собственно говоря, работают на воспоминание, и их особенно любят благовоспитанные родители и нежные супруги, показывающие нам после обеда свои картины и не находящие слов, чтобы уверить нас, как очаровательно похож был портрет милого сыночка, пока у него не завелись глисты, и как разительно похож на себя господин супруг, которого мы еще не имеем чести знать и знакомство с которым нам еще предстоит по возвращении его с ярмарки в Брауншвейге.

Шефферова «Ленора» по колориту значительно превосходит остальные его произведения. Сюжет перенесен во времена крестовых походов, и художник благодаря этому получил возможность дать более блестящие костюмы и вообще более романтический колорит. Идут возвращающиеся воины, и бедная Ленора не видит среди них своего возлюбленного. Во всей картине царствует мягкая меланхолия, ничто не предвещает появления призрака в ближайшую ночь. Но думаю, именно потому, что художник перенес сцену в благочестивое время крестовых походов, покинутая Ленора не станет богохульствовать и мертвый всадник не явится за ней. Бюргерова Ленора жила в протестантские, скептические годы, в годы Семилетней войны, на которую ушел ее возлюбленный — завоевывать Силезию для Вольтерова друга. А Ленора Шеффера жила в набожный католический век, когда сотни тысяч, воодушевленные религиозной мыслью, нашивали себе красный крест на одеяние и уходили, воины-пилигримы, на восток,

чтобы завоевать там могилу. Диковинное время! Но мы, люди, разве не все мы крестоносцы и разве ценою всей нашей упорнейшей борьбы не завоевываем мы себе в конце концов только могилу? Эту мысль я читаю на благородном лице рыцаря, который с таким состраданием глядит на скорбную Ленору с высоты своего седла. Голову она склонила на плечо матери. Она скорбящий цветок, она завянет, но не будет богохульствовать. Картина Шеффера — прекрасная музыкальная композиция; краски ее звучат такой же светлой печалью, как меланхолическая весенняя песнь.

Остальные произведения Шеффера не заслуживают упоминания. Все же они имели большой успех, тогда как некоторые гораздо лучшие вещи менее знаменитых художников остались незамеченными. Такую роль играет имя мастера. Если принц наденет перстень с богемской стекляшкой, ее будут принимать за бриллиант, а если бы пиций стал носить перстень с бриллиантом, все-таки решили бы, что это — простое стекло.

Это размышление заставляет меня перейти к

О Р А С У В Е Р Н Е

Выставку этого года он тоже украсил не сплошь настоящими бриллиантами. Лучшая среди картин, выставленных им, — это Юдифь, готовящаяся убить Олоферна. Она только что поднялась с его ложа, цветущая, стройная девушка. Лиловое одеяние, наспех подвязанное пониже талии, спускается до самых ног; верхняя часть тела закрыта светло-желтым нижним платьем, правый рукав которого свисает, и она приподымает его левой рукой, жестом, хотя и напоминающим мясника, но все же чарующе грациозным; а правой рукой она только что вынула изогнутый меч, чтобы ударить спящего Олоферна. И вот она, чарующее создание, стоит у порога девственности, который она только что переступила, еще божественно-чистая и все-таки уже запятнанная, словно чаша с оскверненными дарами. Голова ее волшебнио приветлива и жутко прелестна; черные волосы — словно маленькие змеи, не летят вниз, а приподымаются, пугающе грациозные. Лицо в полутени, и сладостная дикость, угрюмая прелесть, сентиментальная ярость сквозят в чертах смертоносной красавицы.

В особенности глаза сверкают сладостной жестокостью и сладострастием мести, ибо за свою поруганную плоть она должна отомстить безобразному язычнику. Он действительно не слишком очарователен, но в сущности кажется *bon enfant*.¹ Он спит с таким простодушным видом, еще весь во власти пережитого блаженства; он, может быть, храпит, или, как говорит Луиза, спит вслух; губы еще шевелятся, как будто ищут поцелуя; он еще только сейчас покоился в объятиях счастья, или, может быть, счастье покоилось в его объятиях; и смерть рукою своего прекраснейшего ангела перенесет его, упоенного блаженством и, разумеется, вином, минуя интермедию страдания и болезни, в белую ночь небытия. Завидный конец! О боги, когда мне придется умирать, дайте мне умереть смертью Олоферна!

Не сказала ли ирония художника в том, что лучи восходящего солнца падают на этого спящего, как бы озаряя его, и тут же догорает ночная лампада?

Не столько умом, сколько смелостью рисунка и колорита отличается другая картина Верне, изображающая нынешнего папу. Раба рабов божиих, увенчанного золотом тройной тиары, облаченного в белые, золотом шитые одежды, несут на золотом седалище по собору св. Петра. Сам папа, несмотря на румянец щек, кажется хилым, почти умирающим, на белом фоне клубящегося фимиама и опаял из белых перьев, которые держат над ним. Зато носильщики папского кресла — дюжие, характерные фигуры, в ярко-красных ливреях, смуглолицые, с длинными черными волосами. Среди них выделяются только трое, но они превосходно написаны. То же самое можно сказать и о капуцинах, головы которых, или, вернее, только наклоненные затылки с широкой тонзурой, виднеются на переднем плане. Но именно расплывающаяся незначительность главной фигуры и подчеркнутая значительность фигур второстепенных — недостаток картины. Легкость, с которой художник набросал эти фигуры, и колорит их напомнили мне Паоло Веронезе. Не хватает лишь венецианского очарования, той поэзии красок, которая так же поверхностна, как и сияние лагун, но все же так волшебно волнует душу.

¹ Добрым малым (*франц.*).

Большой успех выпал на долю третьей картины Верне благодаря смелости трактовки и колориту. Это — арест принцев Конде, Конти и Лонгвиля. Место действия — лестница Пале-Рояля, по которой спускаются арестованные принцы, только что отдавшие свои шпаги по приказанию Анны Австрийской. Почти все фигуры, расположенные на разных ступенях, полностью сохраняют благодаря этому свои очертания. Первый, Конде, стоит на нижней ступени, задумавшись, крутит усы, и я знаю, о чем он думает. На верхней ступени стоит офицер, держащий под мышкой шпаги принцев. Это — три группы, они естественно возникли и естественно связаны между собой. Лишь тому, кто достиг высшей ступени искусства, приходят в голову такие ступенчатые замыслы.

К менее значительным картинам Ораса Верне относится его Камилл Демулен, взобравшийся на скамейку в саду Пале-Рояля и обращающийся с речью к народу.левой рукой он срывает с дерева зеленый лист, в правой руке у него пистолет. Бедный Камилл! Твоя храбрость подымалась не выше этой скамейки, и вот ты решил остановиться и оглянулся. Однако же — «Вперед! Все вперед!» — вот магическое слово, которым только и могут держаться революционеры, но стоит им остановиться и оглянуться — и они погибли, как Евридика, когда, следуя мирному зову супруга, один только раз оглянувшись на ужасы подземного мира. Бедный Камилл! Бедный малый! То были веселые детские годы свободы, когда ты вскакивал на скамейки, и высаживал окна деспотизму, и сыпал фонарные остроты; шутка потом вышла очень печальная, юнцы революции поседели, волосы встали у них дыбом, поднялись горой, и страшные звуки раздались вокруг тебя, а сзади, из мира теней, звали тебя призраки Жиронды, и ты оглянулся.

На этой картине довольно интересны костюмы 1789 года. Тут можно еще было увидеть напудренные прически, узкие женские платья с фижмами, полосатые пестрые фраки, кучерские сюртуки с маленькими воротничками, пару цепочек, параллельно свисающих вдоль живота, и даже те террористические жилеты с широкими отворотами, которые теперь в Париже опять вошли в моду у республиканской молодежи и называются *gilets à la*

Robespierre. ¹ На этой картине мы видим и самого Робеспьера, который привлекает внимание тщательностью туалета и своей щеголеватостью. Действительно, внешность его всегда была чиста и блестяща, как топор гильотины; но и внутренний его мир, его сердце были бескорыстны, неподкупны и последовательны, как топор гильотины. Эта неумолимая строгость была, однако, не бесчувственностью, а добродетелью, подобной добродетели Юния Брута, которую сердце наше осуждает и которой с содроганием восхищается наш разум. Робеспьер даже особенно любил Демулена, своего школьного товарища, которого он обрек на казнь, когда этот *fanfaron de la liberté* ² начал проповедовать несвоевременную умеренность и потворствовать слабостям, пагубным для государства. Может быть, в то время, как на Гревской площади лилась кровь Камилла, в уединенной комнате лились слезы Максимилиана. Это — не фигуральное выражение. Недавно один приятель рассказывал мне со слов Бурдона де Луаз, что тот однажды вошел в рабочий кабинет *Comité du salut public* и застал Робеспьера, который сидел там один, погруженный в свои мысли, и, глядя на свои бумаги, горько плакал.

Не касаюсь других, еще менее значительных картин Ораса Верне, многостороннего художника, который пишет решительно все — святых, сражения, натюрморты, животных, пейзажи, портреты, и все это — поверхностно, почти в тонах памфлета.

Обращаюсь к

ДЕЛАКРУА,

давшему картину, перед которой я видел всегда большую толпу и которую поэтому отношу к числу картин, возбуждавших наибольшее внимание. Святость сюжета не допускает строгой критики колорита, которая могла бы оказаться неблагоприятной. Но, несмотря на отдельные технические недостатки, картина одухотворена великой мыслью, волшебное веяние которой мы чувствуем. Изображена кучка народа в июльские дни; в середине группы

¹ Жилетами на робеспьеровский лад (*франц.*).

² Хвастун, фанфарон свободы (*франц.*).

наше внимание привлекает фигура, едва ли не аллегорическая, — молодая женщина в красном фригийском колпаке, с ружьем в одной руке и трехцветным знаменем — в другой. Она шествует через трупы, призывая к борьбе, обнаженная по пояс. Прекрасное неистовое тело; смелый профиль, дерзкая скорбь в чертах лица, странное сочетание Фрины, селедочницы и богини свободы. Нельзя с точностью определить, должна ли она олицетворять именно эту последнюю. Фигура, кажется, скорее должна изображать дикую народную силу, сбрасывающую ненавистное ярмо. Не могу не признаться, фигура эта напоминает мне тех перипатетиков-философов женского пола, тех быстроногих вестниц любви, или, вернее, быстрых на перемены любовниц, которые по вечерам рыскают по бульварам; признаю, маленький купидон-трубочист, что стоит возле этой уличной Венеры, держа по пистолету в каждой руке, запачкан, может быть, не только сажей; кандидат на место в Пантеоне, что бездыханно лежит на земле, вчера вечером, быть может, торговал театральными контрамарками; лицо героя, несущегося вперед с ружьем в руках, хранит печать каторги, а его безобразные одежды — запах залы уголовного суда; но ведь в том-то и дело, что великая мысль облагородила этот простой люд, этот сброд, освятила его поступки и пробудила в его душе уснувшее чувство собственного достоинства.

Священные дни парижского Июля! Вы вечно будете свидетельствовать о врожденном благородстве человека, которое веки не удастся искоренить. Тот, кто пережил вас, не рыдает больше над старыми могилами, но полон радостной веры в воскресение народов. Священные дни Июля! Как прекрасно было солнце, как велик был народ парижский! Боги в небе, созерцавшие великую битву, ликовали, восхищенные, и рады были подняться со своих золотых сидений и спуститься на землю, чтобы стать гражданами Парижа! Но, как всегда завистливые и трусливые, они в конце концов побоялись, как бы люди не вознеслись слишком высоко и не расцвели слишком ярко, и через посредство своих услужливых жрецов они постарались «очернить сияние и повергнуть высокое во прах» и устроили бельгийский мятеж, де поттеровский шедевр из жизни животных. Приняты меры к тому, чтобы деревья свободы не доросли до неба.

Ни на одной из выставленных картин краски так не приглушены, как на «Июльской революции» Делакруа. Между тем именно это отсутствие лоска и блеска, к тому же пороховой дым и пыль, как бы сетью паутины покрывающие все фигуры, высушенный солнцем колорит, словно жаждущий капли воды, — все это кладет на картину печать правдивости, подлинности, оригинальности, и в ней чувствуется настоящее лицо июльских дней.

Среди зрителей были многие из числа тех, что участвовали тогда в сражении или хотя бы смотрели на него, и эти не могли нахвалиться картиной. «Черт возьми! — воскликнул какой-то бакалейный торговец. — Эти мальчишки бились как великаны!» Молодая дама нашла, что на картине недостает воспитанника политехнической школы, имеющегося на всех картинах, где изображена июльская революция, а выставлено их было очень много — больше сорока.

«Папа! — закричала маленькая карлистка. — Кто эта грязная женщина в красной шапке?» — «Что ж, конечно, — начал иронизировать благородный папа, поджав губы для слащавой улыбки, — что ж, конечно, милое дитя, у ней нет ничего общего с чистотою лилий. Это богиня свободы». — «Папа, па ней даже нет рубашки». — «У настоящей богини свободы, милое дитя, обычно и нет рубашки, и оттого она очень зла на всех, кто носит чистое белье».

Тут он обдернул пониже манжеты на своих длинных праздных руках и обратился к своему соседу: «Ваше преосвященство, если республиканцам сегодня повезет и национальные гвардейцы застрелят какую-нибудь старуху у ворот Сен-Дени, тогда священный труп потащат по бульварам, и народ рассвирепеет, и у нас опять будет революция». — «*Tant mieux!*¹ — прошептало преосвященство, худощавый, на все пуговицы застегнутый человек, перерядившийся в штатское платье, как делают сейчас в Париже все священники, опасаясь, что их могут открыто осмеять, или же, может быть, страдая и угрызениями совести, — *tant mieux*, маркиз! Только бы натворили побольше мерзостей, чтобы опять переподнилась мера!

¹ «Тем лучше» (франц.).

Тогда революция снова проглотит зачинщиков, и прежде всего — тех тщеславных банкиров, которые теперь, к счастью, уже разорились». — «Да, ваше преосвященство, они à tout prix ¹ хотели истребить нас, потому что мы не хотели принимать их в наши салоны; вот секрет Июльской революции — пораздавали денег в предместьях, фабриканты распустили рабочих, виноторговцам было заплачено, чтобы они даром отпускали вино да еще подмешивали в него пороху, лишь бы разгорячить чернь, et du reste, c'était le soleil!» ²

Маркиз, может быть, прав: дело было в солнце. Как раз в июле, когда свободе угрожала опасность, солнце своими лучами всего сильнее воспаляло сердца парижан, и народ, опьяненный солнцем, восставал в Париже против дряблых Бастилий и ордонансов рабства. Город и солнце любят и чудно понимают друг друга. Вечером, прежде чем погрузиться в море, солнце долго еще покоит свой благосклонный взгляд на прекрасном городе Париже, и последние его лучи целуют трехцветные знамена на башнях прекрасного города Парижа. Прав был французский поэт, предлагавший праздновать июльскую годовщину символической свадьбой; подобно тому как некогда венецианский дож всходил на палубу золотого «Буцентавра», чтобы царственную Венецию обручить с Адриатическим морем, город Париж должен был бы каждый год на площади Бастилии обручаться с солнцем, этой великой пламенной звездой своего счастья и своей свободы. Казимиру Перье это предложение не пришлось по вкусу, он опасается девичника такой свадьбы, боится чрезмерного пыла этого брачного союза и соглашается разве что на морганатическую связь города Парижа с солнцем.

Но я забыл, что я — всего лишь корреспондент, пишущий о выставке. В качестве такового перехожу теперь к художнику, возбудившему всеобщее внимание и в то же время так очаровавшему меня, что картины его показались мне красочным эхо звуков моего собственного сердца, или, вернее, звучащие краски встретили волшебный отзвук в моей душе.

¹ Любой ценой (*франц.*).

² А ко всему прочему еще это солнце! (*франц.*).

имя художника, который так сильно привлек меня к себе. К сожалению, мне совсем не удалось увидеть его лучшее произведение — «Собачий госпиталь». Его уже убрали, когда я стал посещать выставку. Еще несколько его хороших работ остались мною незамеченными, потому что я не успел отыскать их среди множества картин, пока их не унесли. Но я сразу же понял, что Декан — великий художник, когда увидел сначала одну маленькую картину его работы, странно поразившую меня своим колоритом и простотой. Она изображает всего-навсего какое-то турецкое здание, белое и высокое; кое-где стену прорезает узкое слуховое окошко, из которого выглядывает голова турка; внизу — неподвижная вода, в которой отражаются меловые стены, окрашенные розоватой тенью, удивительно спокойные. Впоследствии я узнал, что Декан сам побывал в Турции, а то, что так сильно поразило меня, было не столько оригинальностью колорита, сколько жизненной правдой, нашедшей себе выражение в его картинах Востока, в простых и скромных красках. Это особенно можно сказать о его «Патруле». На этой картине мы видим великого Хаджи-бея, начальника полиции в Смирне, совершающего объезд по городу в сопровождении своих мирмидоняц. Он, со своим толстым животом, сидит высоко в седле, во всем великолепии своей паглости; лицо — оскорбительно высокомерное, беспросветно невежественное, а над ним красуется белый тюрбан; в руках у него скипетр неограниченной палочной власти, а рядом бегут девять верных исполнителей его приказаний *quand tême*,¹ торопливые твари на коротких тонких ногах и с почти животными лицами, в которых есть нечто кошачье, козлиное, обезьянье; а в одном из них собачья морда сочетается даже со свиными глазками, ослиными ушами, телачьим оскалом и заячьей трусостью. В руках у них случайное оружие, пики, ружья прикладами вверх, а также инструменты правосудия, а именно — кол и связка бамбуковых палок; так как дома, мимо которых проходит шествие, совершенно белые, а земля глинисто-желтая, то эти темные разряженные фигуры, бегущие по светлой

¹ Во что бы то ни стало (*франц.*).

улице на фоне светлой стены, почти папоминают китайские тени. Яркий вечерний свет и странные тени тонких пог, человеческих и лошадиных, усиливают сказочно-причудливое впечатление. Да и молодцы делают такие забавные курбеты, такие невероятные прыжки, лошадь откидывает ноги так потешно быстро, что не знаешь, то ли она ползет на брюхе, то ли летит, и иные из числа здешних критиков больше всего порицали именно это и отвергли, как нечто неправдоподобное и карикатурное.

Во Франции тоже есть свои присяжные художественные рецензенты, критикующие всякое новое произведение по старым, предвзятым правилам, есть свои верховные знатоки, которые шарят по мастерским художников и одобрительно улыбаются, когда им льстят, и за ними дело не стало, когда пришлось выносить приговор картине Декана. Некий господин Жаль, издающий по брошюре о каждой выставке, постарался еще раз обругать эту картину в «Фигаро»; он думает, что издевается над поклонниками этой картины, когда с лицемернейшим смирением признается, что он только человек и судит с точки зрения здравого рассудка и что в картине Декана его бедный рассудок не может усмотреть того великого произведения, которое увидели в нем энтузиасты, познающие прекрасное не только с помощью рассудка. Бедняга, верящий в свой бедный здравый рассудок! Он и не подозревает, как правильно его суждение! Бедному рассудку никогда не подобает первому подавать голос, если дело идет о произведениях искусства, — так же, как ему никогда не принадлежит главная роль в их создании. Идея художественного произведения подымается со дна души, и душа просит у фантазии творческой помощи. И вот фантазия сыплет ей все свои цветы, готова засыпать ими идею, и она бы скорее убила, а не оживила ее, если бы не подоспел ковыляющий рассудок, и не отбросил все лишние цветы, и не срезал их своими блестящими садовыми ножницами. Рассудок ведает лишь порядком, так сказать полицией, в царстве искусства. В жизни он обычно является холодным математиком, подводящим итог нашим глупостям. Ах! Порой он только бухгалтер разбитого, обанкротившегося сердца, спокойно вычисляющий дефицит.

Большая ошибка всегда заключается в том, что критик поднимает вопрос: что должен делать художник? Гораздо правильнее было бы спрашивать: чего хочет художник? Или даже — почему он не мог иначе? Вопрос «что должен делать художник?» возник благодаря тем философствующим эстетам, чуждым всякой поэзии, которые абстрагировали особенности разных художественных произведений, на основании наличных данных установили норму на будущее, разграничили жанры, выдумали определения и правила. Они не знали, что все подобные абстракции в лучшем случае годятся для суждения о толпе подражателей, но что о всяком самостоятельном художнике, и уж конечно о каждом новом гении, надо судить по законам его собственной эстетики, которые он принес с собой. Правила и всякие старые теории в еще меньшей степени можно применять в подобных случаях. Для юных великанов, как говорит Менцель, не существует искусства фехтования, потому что они и так парируют все удары. Каждого гения должно изучать и судить по его собственным законам. Тут следует ответить на вопросы: обладает ли он средствами выразить свою идею? правильные ли средства он избрал? Тут у нас твердая почва под ногами. И мы уже не пытаемся изменить чужой облик, отказываемся от наших субъективных желаний и приходим к соглашению относительно тех богом дарованных средств, которыми располагает художник, воплощая свою идею. В мусических искусствах эти средства — звуки и слова. В искусствах пластических это краски и формы. Но звуки и слова, краски и формы, вообще все чувственно воспринимаемое — это все же только символ идеи, символ, рождающийся в душе художника в те минуты, когда ею овладевает священный мировой дух; его художественные создания — только символ, с помощью которого он свою идею сообщает другим. Тот, кто наименьшим числом простейших символов скажет самое великое и самое значительное, тот величайший художник.

Но, мне кажется, высшего признания заслуживают те выражающие идею художника символы, которые, независимо от своего внутреннего смысла, сами по себе радуют наши чувства, как цветы селамы независимо от их тайного смысла милы и благоуханны и создают чудесный букет. Но всегда ли возможна такая гармония?

Вполне ли свободна воля художника, когда он выбирает и сочетает свои таинственные цветы? Или он выбирает и сочетает только то, что должен выбирать и сочетать? На вопрос, существует ли эта мистическая несвобода воли, я отвечаю утвердительно. Художник подобен той принцессе-сомнамбуле, которая ночью в садах Багдада, исполненная глубокой мудрости любви, нарвала самых причудливых цветов и связала их в селам, смысла которого она уже не могла понять, когда проснулась. И вот она сидела поутру у себя в гареме и рассматривала букет, собранный ночью, и старалась разгадать его, как забытый сон, и послала, наконец, возлюбленному халифу. Питливейший евнух, относивший его, любовался красивыми цветами, не подозревая их смысла. Но Гарун-аль-Рашид, повелитель правоверных, наследник пророка, обладатель Соломонова перстня, сразу понял смысл прекрасного букета, сердце его радостно возликовало, и он расцеловал каждый цветок и так смеялся, что слезы текли по его длинной бороде.

Я не наследник пророка и не обладаю перстнем Соломоновым, нет у меня и длинной бороды, но все же я утверждаю, что чудный селам, привезенный с востока Деканом, я лучше понимаю, чем все евнухи вместе с кизляр-агою, великим знатоком, посредником в гареме искусства. Для меня прямо-таки невыносима болтовня этих кастрированных знатоков, в особенности их трафаретные выражения, благонамеренные советы юным художникам, жалкие ссылки на природу, и все только на любезную природу.

В искусстве я супернатуралист. Я считаю, что художник не может найти в природе нужные ему типы, но что самые значительные из них как бы путем откровения являются его душе, подобные врожденной символике врожденных идей. Один новейший эстетик, автор «Итальянских исследований», попытался восстановить в правах старый принцип подражания природе, утверждая, что в природе художник должен отыскивать все типы. Возводя это положение в высший основной закон пластических искусств, эстетик совершенно забыл о древнейшем из этих искусств, а именно об архитектуре, типы которой теперь задним числом стали усматривать в беседках и гротах, но которые, разумеется, не там были найдены

впервые. Они заключены были не во внешней природе, а в человеческой душе.

Критику, который в картине Декана не видит натуры и упрекает его в том, что лошадь Хаджи-бея неестественно закидывает ноги и что у бегущих неестественный вид, — этому критику художник с уверенностью может ответить, что созданное им правдиво как сказка и что он был верен внутреннему прозрению — сну. Ведь в самом деле — когда темные фигуры изображаются на светлом фоне, они уже тем самым приобретают бредовый облик; кажется, что они отделились от земли и требуют какой-то менее материальной, какой-то сказочно воздушной манеры письма. Смесь человеческого и звериного в физиономиях на картине Декана представляет, помимо всего, необычный мотив; в таком смещении уже таится тот древний юмор, который греки и римляне сумели высказать в бесчисленных забавных изображениях чудовищ, являющихся нашему взору на стенах Геркуланума или в виде статуй сатиров, кентавров и т. д. Но от упрека в карикатурности художника защищает внутренняя стройность его произведения, та восхитительная музыка красок, которая звучит, правда, комически, но исполнена гармонии, — очарование его колорита. Карикатуристы редко бывают мастерами колорита, именно вследствие того душевного разлада, которым обуславливается их пристрастие к карикатуре. Мастерство колорита рождается в душе художника и зависит от единства его чувств. В оригиналах Хогарта в Национальной галерее в Лондоне я видел только пестрые кляксы, перекрикивавшие друг друга, мятеж пронзительных красок.

Я забыл отметить, что на картине Декана есть также и несколько молодых женщин, гречанок с непокрытыми лицами; они сидят у окна и смотрят на комическое шествие, ползущее мимо них. Их спокойствие и красота составляют с ним несказанно прелестный контраст. Они не улыбаются; эта наглость, восседающая верхом, и бегущая подле собачья покорность — привычное для них зрелище, и мы тем сильнее чувствуем всю реальность нашего переселения на родину абсолютизма.

Только художник, являющийся гражданином республики, мог в радостном расположении духа писать эту картину. Другой, не француз, наложил бы краски погу-

ще и позлее; он примешал бы немного берлинской лазури или по крайней мере немножко зеленой желчи, и основная нота иронии была бы утрачена.

Чтобы далее не задерживаться на этой картине, быстро обращаюсь к другой, под которой можно было прочесть имя

Л Е С С О Р

и которая всех привлекала к себе удивительной правдой и величайшей скромностью и простотой. Нельзя было не смутиться, проходя мимо нее. «Больной брат» — так обозначена она в каталоге. В бедной мансарде, на бедной постели лежит больной мальчик и смотрит с мольбой в глазах на простое деревянное распятие, висящее на голой стене. В ногах у него сидит другой мальчик, с опущенными глазами, озабоченный, грустный. Его коротенькая курточка и штанишки хотя и опрятны, но все в заплатках и сшиты из грубой материи. Пожелтелое шерстяное одеяло и не столько мебель, сколько ее отсутствие свидетельствуют о тоскливой нужде. Трактовка вполне соответствует сюжету. Она больше всего напоминает изображения пищих у Мурильо. Резко очерченные тени, мощный, твердый, серьезный штрих, краски, не торопливо намазанные, но наложенные смелой и спокойной рукой, необыкновенно приглушенные и все же не тусклые; общий характер манеры может быть обозначен словами Шекспира: «the modesty of nature».¹ Окруженная блестящими картинами в сверкающих роскошных рамах, эта вещь тем сильнее могла броситься в глаза, что она была в старой раме, с почерневшей позолотой — в полной гармонии с сюжетом и его трактовкой. Представляя во всем полную последовательность и контрастируя со всем окружающим, картина эта на каждого зрителя производила глубоко меланхолическое впечатление и наполняла душу тем несказанным состраданием, которое охватывает нас порой, когда из освещенного зала, после веселой беседы, мы внезапно попадаем на темную улицу и к нам обращается оборванный брат — человек, жалующийся на голод и холод. Картина эта немногими штрихами говорит очень многое и многое пробуждает в нашей душе.

¹ «Скромность естественности» (англ.).

имя более известное. Но это имя я произношу не с таким удовольствием, как предыдущее, до сих пор редко упоминавшееся в художественных кругах. Быть может, потому, что любители искусства видели лучшие произведения Шнетца, они и ценят его так высоко; ввиду этого я в моем отчете должен отвести ему нумерованное место. Пишет он хорошо, но, по-моему, он — не первоклассный живописец. На нынешней выставке в его большой картине, изображающей итальянских крестьян, которые молятся перед образом мадонны о ниспослании исцеления, есть превосходные детали, совершенно исключительно удалась фигура мальчика, застывшего в судорогах; в техническом отношении всюду сказывается большое мастерство; но в целом картина скорее отредактирована, чем написана, персонажи ее находятся на сцене и декламируют, и недостает внутренней сосредоточенности, непосредственности и цельности. Чтобы что-нибудь сказать, Шнетцу нужно слишком много штрихов, а в том, что он говорит, есть лишнее. Великий художник — так же как и посредственность — может порой создать и что-нибудь плохое, но никогда ничего лишнего. Возвышенность стремлений, величие целей могут, разумеется, заслуживать уважения и в посредственном художнике, но в его творчестве они производят весьма неважное впечатление. Гений, парящий в высоте, пленяет нас именно той уверенностью, с которой он летит; нас тем сильнее радует высокий его полет, чем более мы уверены в неослабной мощи его крыльев, и наша душа доверчиво поднимается в чистейшие солнечные выси искусства. Совсем не то, когда мы имеем дело с теми театральными гениями, глядя на которых мы замечаем, что их с помощью веревок тащат вверх; созерцая их возвышенное положение, мы чувствуем только страх и каждую минуту трепещем, что вот-вот они сорвутся. Не буду решать, слишком ли тонки веревки, на которых воздымается Шнетц, слишком ли тяжеловесен его талант; могу только сказать, что моей души он не возвысил, а, напротив, внул ей чувство гнета.

В приемах и выборе сюжетов у Шнетца есть сходство с художником, имя которого из-за этого сходства часто упоминается в связи с ним, но который на нынешней

выставке превзошел не только его, но, за малыми исключениями, и всех своих собратьев по искусству и при раздаче наград, как доказательство общественного признания, получил офицерский крест Почетного Легиона.

Л. РОБЕР —

имя этого художника. Исторический ли он живописец или жанрист? Слышу уже, как задают мне этот вопрос немецкие цеховые мастера. К сожалению, я не могу обойти здесь этот вопрос и должен условиться насчет этих невразумительных терминов, чтобы раз навсегда предотвратить крупнейшие недоразумения. Это различие исторической и жанровой живописи вносит такую путаницу, что можно было бы подумать, будто оно — изобретение художников, трудившихся над постройкой Вавилонской башни. Однако оно более позднего происхождения. В ранние времена искусства была только историческая живопись, а именно — картины из священной истории. Впоследствии исторической живописью стали называть картины, сюжеты которых были заимствованы не только из библии, из предания, но также из светской истории и языческой мифологии, и притом — в противоположность изображениям будничной жизни, появившимся преимущественно в Нидерландах, где протестантский дух не допускал католических и мифологических сюжетов, где, быть может, для этих сюжетов не нашлось бы и натуры и где их никогда не понимали, но где жило так много выдающихся художников, которым надо было чем-нибудь заняться, и так много ценителей живописи, любивших покупать картины. Различные явления будничной жизни и стали тогда предметом различных жанров.

Много было художников, замечательно выразивших юмор мещанского быта, но, к сожалению, все их внимание поглощалось техническим мастерством. Однако для нас все эти картины представляют исторический интерес, ибо когда мы созерцаем прелестные картины Мириса, Нетшера, Яна Стена, Ван-Доу, Ван-дер-Верфта и т. д., нам открывается дух их времени, мы заглядываем, так сказать, в окна шестнадцатого столетия и видим занятия и одежды того времени. Что касается последних, то нидерландские художники находились в довольно благоприятных усло-

виях: крестьянские одежды были живописны, мужские костюмы в городском сословии представляли премилое сочетание испанской *grandezza*¹ и нидерландского уюта, женские же костюмы — пеструю смесь всесветной фантазии и национальной флегмы. Так, *mynheer*,² щеголявший в бургундском бархатном плаще и пестрой рыцарской шапке, курил глиняную трубку, *miŋgow*³ носила тяжелые платья со шлейфами из переливчатого венецианского атласа, брюссельские кружева, привезенные из Африки страусовые перья, русские меха, западно-восточные туфли, а в руках у нее была или андалузская мандолина, или косматая коричневая *hondchen*⁴ саардамской породы; слуга-мавр, турецкий ковер, пестрые попугаи, чужестранные цветы, тяжелая золотая и серебряная утварь с непомерными арабесками — все это бросало отблеск прямо-таки восточной сказки на эту маслянистую, как голландский сыр, жизнь.

Когда, после долгого сна, искусство снова пробудилось в наше время, художники оказались в немалом затруднении — что изображать? Симпатии к сюжетам из священной истории и мифологии совершенно угасли в большей части европейских стран, даже в странах католических, а костюмы современников были как-никак слишком неживописны, чтобы могли создаться благоприятные условия для картин из истории нашего времени и будничной жизни. Действительно, в нашем современном фраке есть что-то бесконечно прозаическое, позволяющее воспользоваться им в картине только с целью пародии. Художники, держась того же мнения, стали поэтому искать живописных костюмов. Благодаря этому особенно могла развиться любовь к сюжетам из исторического прошлого, а в Германии мы видим целую школу, у которой, правда, нет недостатка в талантах, но которая вечно старается облачить человека современного и с современными чувствами в гардероб католического и феодального средневековья, в плащи и панцири. Другие художники прибегли к другому средству: для своих картин они стали

¹ Великолепия, пышности (*итал.*).

² Господин (*голл.*).

³ Госпожа (*голл.*).

⁴ Собачка (*голл.*).

выбирать такие племена, с которых завоевания цивилизации не стерли оригинальности и не сняли национальных костюмов. Отсюда — сцены из жизни Тироля, которые мы так часто видим на картинах мюнхенских художников. Эти горы так близко от них, а костюмы их обитателей живописнее, чем костюмы наших денди. Отсюда же — эти радостные картины из итальянской народной жизни, которая также очень близка большинству живописцев, живущих в Риме, где они находят ту идеальную природу и те исконные прекрасные человеческие формы и живописные костюмы, по которым томится сердце художника.

Робер — родом француз, в молодости гравер, впоследствии прожил в Риме ряд лет, и картины, которые он показал в этом году на выставке, относятся к только что упомянутому жанру — к картинам из итальянской пародной жизни. «Так, значит, он жанрист», — говорят, слышу я, цеховые мастера, и я знаю некую госпожу, историческую живописицу, которая теперь всякий раз задирает нос, когда речь заходит о нем. Я, однако, не могу согласиться с этим обозначением, ибо исторической живописи в старом смысле слова больше и не существует. Было бы слишком неопределенно, если бы ко всем картинам, выражающим глубокую мысль, стали применять это название, а затем по поводу всякой картины стали спорить, выражает ли она какую-нибудь мысль, — спор, в результате которого удается выиграть какое-нибудь слово. Быть может, если бы это название — историческая живопись — употреблялось в своем самом естественном смысле, для обозначения картин из мировой истории, оно было бы вполне применимо к жанру, который сейчас так пышно разрастается и расцвет которого уже сказывается в шедеврах Делароша.

Однако прежде чем обсуждать их более подробно, я еще позволю себе сказать несколько беглых слов о картинах Робера. Все они, как я уже указал, изображают итальянскую жизнь, чудесно показывая всю приветливую прелесть этой страны. Искусство, долгие годы украшение Италии, превращается теперь в чичероне ее великолепия, красноречивые краски художника открывают нам ее сокровеннейшие чары, вновь воскресает старое волшебство, и страна, покорявшая нас некогда оружием, а позднее —

словом, покоряет нас теперь своей красотой. Да, Италия будет вечно покорять нас, и художники, подобные Роберу, вновь приковывают нас к Риму.

Если не ошибаюсь, то публика уже знакома по литографиям с «Пиферари» Робера, которые появились теперь на выставке и представляют тех дудочников-албанцев, что на рождество приходят в Рим, музицируют перед статуями мадонны и, так сказать, поют матери божией священные серенады. На этой картине рисунок удачнее, чем краски, — в них есть что-то жесткое, хмурое, болонское, словно это раскрашенная гравюра. И все же картина трогает, как будто слышится наивно-набожная музыка, которую насвистывают эти пастухи албанских гор.

Не так проста, но, пожалуй, глубже по смыслу другая картина Робера, где мы видим покойника, которого «милосердные братья» несут хоронить в открытом гробу, по итальянскому обыкновению. Братство, в совершенно черных облачениях, в черных капюшонах с двумя отверстиями, откуда зловеще выглядывают глаза, шествует как процессия призраков. Спереди, на скамейке, лицом к зрителю, сидят отец, мать и маленький брат покойного. Старик, бедно одетый, в глубоком горе, опустив голову и сложив руки, сидит в центре между женой и мальчиком. Он молчит, ибо нет в мире горя большего, чем горе отца, если он, вопреки законам природы, переживает свое дитя. Мать, с бедно-желтым лицом, должно быть вопит в отчаянии. Мальчик, бедный дурачок, держит хлеб в руках, ему хочется поесть этого хлеба, но ему и куска не проглотить — мешает неосознанное горе, и тем грустнее у него вид. По-видимому, покойник — старший сын, краса и опора семьи, коринфский столп дома; и вот он, в расцвете юности, приветливый, чуть ли не улыбающийся, лежит в гробу; так что жизнь на этой картине кажется нам мрачной, безобразной и скорбной, смерть же — бесконечно прекрасной, даже приветливой и чуть ли не улыбающейся.

Художнику, так прекрасно преобразившему смерть, все же с еще большим блеском удалось изобразить жизнь: его великий шедевр — «Жнецы» — как бы является апофеозом жизни; глядя на эту картину, забываешь, что есть царство теней, и начинаешь сомневаться, может ли где

быть светлее и прекраснее, чем на этой земле. «Земля — это небо, и люди святые как боги» — вот великое откровение, которое блаженными красками сверкает на этой картине. Будь это евангелие в красках написано святым Лукою, парижская публика оказала бы ему худший прием. Относительно последнего у парижан сложилось слишком уж неблагоприятное, предвзятое мнение.

На картине Робера мы видим пустынную местность в Романье, озаренную ярким итальянским вечерним солнцем. Центр картины — крестьянская повозка, которую тащат в упряжке из тяжелых цепей два огромных вола, а в повозке крестьянская семья, только что остановившаяся на отдых. Направо, подле своих снопов, сидят жницы и отдыхают от работы, и тут же какой-то малый играет на волынке, а другой весельчак с таким блаженным видом отплясывает под эти звуки, что кажется, будто слышишь и мелодию и слова:

Damigella, tutta bella,
Versa, versa il bel vino!¹

Налево, неся плоды жатвы, тоже идут женщины, молодые и прекрасные, — цветы, нагруженные колосьями, — и два молодых жнеца, из которых один потупил глаза и как-то сладострастно млеет, другой же ликующе взмахивает серпом. Посередине, между волами, стоит коренастый юноша с загорелой грудью; он, по-видимому, всего-навсего работник и отдыхает стоя. Наверху, в повозке, лежит на чем-то мягком дед, кроткий усталый старец, который, однако, духовно, быть может, управляет семейной повозкой; по другую сторону мы видим его сына, спокойного, смелого, мужественного человека, который с поджатыми ногами сидит на спине одного из буйволов, держа в руке зримый символ власти — бич; на повозке, несколько выше и почти что в вышине, стоит молодая красавица жена, с ребенком на руках, — роза и почка; тут же рядом — юноша, такой же цветущий, как она, — верно, брат, — он как раз собирается разбить палатку. Эту картину, как я слышал, гравюруют сейчас, и, может быть, уже через месяц она в виде гравюры отправится в Герма-

¹ Прекраснейшая из девушек, лей, лей прекрасное вино! (итал.).

нию, почему я и воздерживаюсь от дальнейшего описания. Но гравюра, так же как и любое описание, не может передать своеобразной прелести картины. Эта прелесть — в колорите. Фигуры, все более темные, чем фон картины, так божественно, так волшебно освещены отблесками неба, что сами по себе сверкают радостно-ясными красками, и все-таки все контуры четко вырисовываются. Некоторые лица кажутся портретами. Но художник не копировал природу, не следовал глупо честной манере иных своих коллег и не воспроизводил лиц с дипломатической точностью; Робер — как остроумно заметил один из моих приятелей — сперва принял в свою душу те образы, которые дала ему природа, и вот, подобно тому как души в чистилище не теряют своей индивидуальности, но избавляются от земной грязи, чтобы затем в блаженстве вознестись на небеса, — так и эти образы очистились и просветлели в пылающих, огненных глубинах души художника, чтобы, сверкая светом, вознестись на небо искусства, где тоже царит вечная жизнь и вечная красота, где Венере и Марии никогда не изменяют их поклонники, где Ромео и Юлия никогда не умирают, где Елена сохраняет вечную молодость и где Гекуба по крайней мере хоть не стареет.

На колорите картины Робера сказывается изучение Рафаэля. Вспомнить о нем заставляет также архитектурная красота группировок. Также и отдельные фигуры, в частности мать с младенцем, напоминают фигуры с картин Рафаэля, и притом самого раннего периода, когда он, правда, с поразительной точностью передавал строгие типы Перуджино, но вместе с тем все же прелестно смягчал их.

Мне и в голову не придет проводить параллель между Робером и величайшим художником католической эры. Но не могу не указать на их родство. Это, однако, только родство материальных форм, не духовное родство, не родство душ. Рафаэль весь проникнут католическим христианством, религией, выражающей борьбу духа с материей или неба с землей, ставящей себе целью подавление материи, называющей грехом всякий ее протест и стремящейся одухотворить землю или, вернее, принести землю в жертву небу. А Робер принадлежит к народу, в котором католицизм угас. Ибо, заметим вскользь, слова

хартии, что католицизм является религией большинства народа, не что иное, как французская любезность по отношению к Собору богородицы, которая, со своей стороны, не менее учтиво носит на голове три цвета свободы, — двойное лицемерие, против которого грубая чернь протестовала в несколько уродливой форме, разрушая храмы и стараясь приучить изображения святых плавать в водах Сены. Робер — француз, и, как большая часть его соотечественников, он бессознательно подчиняется еще не сброшенной покрову доктрине, которая ничего не хочет знать о борьбе духа с материей, которая не запрещает человеку наслаждения надежными земными благами и взамен не обещает ему в будущем тем больших радостей небесных, которая, напротив, стремится уже и здесь, на земле, даровать человеку блаженство и для которой чувственный мир так же свят, как мир духовный, «потому что бог — это все сущее». Вот почему жнецы Робера не только безгрешны, но и не знают греха, само их земное дело — молитва, они молятся непрестанно, не шевеля губами, они блаженны и без рая, прощены без искупительных жертв, чисты без постоянных омовений, истинно святые, и если на католических картинах только голова, где восседает дух, бывает окружена ореолом, который и символизирует одухотворение, то, напротив, на картине Робера освещается и материя, так что человека всего целиком — и тело его и голову — озаряет, словно нимб, небесный свет.

Но католицизм не только угас в новой Франции, он не имеет здесь даже и отраженного влияния на искусство, как в нашей протестантской Германии, где благодаря поэзии, оживляющей все минувшее, он приобрел новую силу. Быть может, католические традиции отравляет французам затаенная, еще не умершая злоба; ко всему историческому они между тем проявляют живой интерес. Это наблюдение я могу подтвердить фактом, который, в свою очередь, можно объяснить этим наблюдением. Число картин, посвященных христианским сюжетам, как из Старого завета, так и из Нового, как из области предания, так и из области апокрифа, столь незначительно на нынешней выставке, что даже мелкие подразделения некоторых светских жанров представлены гораздо большим числом произведений, и произведений действительно

более совершенных. По точному подсчету, на три тысячи номеров каталога оказывается всего двадцать девять картин на религиозные темы, тогда как картин, изображающих только сцены из романов Вальтер Скотта, насчитывается более тридцати.

Таким образом, говоря о французской живописи, я не подам повода к недоразумению, если названиями «историческая картина» или «историческая школа» буду пользоваться в их самом естественном значении.

ДЕЛАРОШ —

корифей этой школы. Этому художнику прошлое дорого не само по себе, но как материал для картин, воплощающих его дух, для историографии в красках. Эта склонность проявляется сейчас у большей части французских художников; выставка была полна исторических картин, и самого почетного упоминания заслуживают имена Девериа, Стейбена и Жоанно.

Деларош, великий исторический живописец, выставил в этом году четыре вещи. Две относятся к французской истории, две — к английской. Первые две — одинаково небольшие по размерам, едва ли больше так называемых кабинетных портретов; на них — множество фигур, и они очень живописны. Одна из них изображает кардинала Ришелье, который, «уже смертельно больной, плывет из Тараскона вверх по Роне, а в лодке, привязанной сзади к его собственной лодке, везет в Лион Сен-Мара и де Ту, чтобы обезглавить их там». Две лодки, плывущие одна за другой, — замысел, правда, не художественный, но здесь в выполнении его виден большой вкус. Колорит блистателен, даже ослепителен, и фигуры прямо плавают в лучистом золоте заката. И тем печальнее контраст, который это сияние составляет с судьбой, ожидающей трех главных персонажей. Двух цветущих юношей везут на казнь, и везет их умирающий старец. Как ни пестро разукрашены эти лодки, все-таки они плывут в царство теней — царство смерти. Пышные золотые лучи солнца — это прощальные приветы: уже наступил вечер, и солнце должно зайти; оно еще уронит на землю кроваво-красную полосу, и вот — наступит ночь.

Так же блистает красками и полна такого же трагического смысла другая историческая картина, которая, в параллель с первой, тоже изображает умирающего кардинала и министра — Мазарини. Он лежит на пестром парадном ложе, в пестром окружении веселых придворных и слуг, которые болтают, играют в карты и расхаживают взад и вперед, — переливающиеся красками ненужные существа, особенно ненужные у смертного ложа. Красивые костюмы времен Фронды, еще не обремененные золотыми кистями, нашивками, лентами и кружевами, как в дальнейшем, в великолепную эпоху Людовика XIV, когда последние рыцари превратились в придворных кавалеров, — подобно тому как их старые боевые мечи мало-помалу становились все тоньше, пока, наконец, не выродились в глупые модные шпажонки. Одежды на картине, о которой я говорю, еще просты, камзолы и колеты еще напоминают о военном ремесле дворянства, да и перья на шляпах полны задора и не колышутся еще по воле придворного ветра. Волосы мужчин падают на плечи волнами еще живых кудрей, а на головах дам — игривая прическа à la Севинье. Все же в платьях дам чувствуется уже переход к длинношлейфной, раздувающейся фижмами безвкусице позднейшего периода. Но корсеты еще наивно изящны, и белые прелести выступают из них, словно цветы, сыплющиеся из рога изобилия. На картине все сплошь красавицы, прелестные придворные маски: на лицах улыбки любви, в сердце же, быть может, серое уныние; уста невинны, как цветы, а за ними — злой язычок, хитрая змея. Посмеиваясь и шушукаясь, налево от больного сидят три дамы и рядом с ними священник, — у него тонкий слух, зоркий глаз и насторожившийся нос. По правую сторону сидят три кавалера и дама, они играют в карты, должно быть в ландскнехт — прекрасную игру, в которую я и сам играл в Геттингене и выиграл однажды шесть талеров. Знатный вельможа в бархатном темно-лиловом плаще с красным крестом стоит посередине комнаты и, расшаркиваясь, отвешивает поклон. Направо, с краю картины, прогуливаются две придворные дамы и аббат, который одной из них дает прочесть какую-то бумажку, быть может сонет собственного изготовления, а другой строит глазки. Та быстро обмахивается веером — жест, служащий воздушным телеграфом любви.

Обе дамы — прелестнейшие существа, одна — цветущая утренним румянцем, как роза, другая же — как бы жаждающая сумерек, словно меланхолическая звезда. В глубине тоже расселись, болтая, придворные и, быть может, рассказывают друг другу всякие закулисные государственные секреты или, пожалуй, бьются об заклад, что через час Мазарини будет мертв. А дело как будто и вправду идет к концу: лицо бледное, как у покойника, глаза помутились, нос подозрительно заострился, в душе постепенно угасает то мучительное пламя, которое мы называем жизнью, мрак и холод воцаряются там, ангел ночи крылом своим уже коснулся его чела; в эту минуту к нему обращается дама, запятая игрой, и, показывая ему свои карты, как будто спрашивает его — козырять ли ей червами?

Другие две картины Делароша рисуют образы из английской истории. Обе в натуральную величину и написаны более просто. На одной из них показаны в Туэре оба принца, которых приказал убить Ричард III. Юный король и его младший брат сидят на старинной постели, а их маленькая собачка бросается на дверь, как будто возвещая своим лаем приближение убийц. Юный король, наполовину еще отрок и наполовину уже юноша, — чрезвычайно трогательный образ. Король-узник, как справедливо заметил Стерн, уже сам по себе представляет печальную мысль, здесь же король-узник — еще почти ребенок, невинный, беспомощный, отданный в руки коварному убийце. Несмотря на свой нежный возраст, он, по-видимому, уже много страдал; его бледное, болезненное лицо отмечено уже трагической величавостью, а ноги в синих бархатных башмаках с длинными носками, свисающие с постели и не касающиеся пола, даже придают ему какой-то надломленный вид; он напоминает сорванный цветок. Все это, как я сказал, очень просто и оставляет тем более сильное впечатление. Ах! Я еще сильнее был потрясен этой картиной оттого, что на лице несчастного принца я узнал милые глаза моего друга, так часто улыбавшиеся мне и связанные прелестным родством с еще более милыми глазами. Всякий раз, как я стоял перед картиной Делароша, мне вспоминался прекрасный замок в милой Польше, где я стоял перед портретом друга, и говорил о нем с его прелестной сестрой,

и украдкой сравнивал ее глаза с глазами друга. Мы говорили также о художнике, написавшем портрет и недавно умершем, и о том, как люди умирают один за другим... Ах! Мой милый друг и сам теперь уже мертв, он убит под Прагой, прелестные глаза прекрасной сестры угасли тоже, замок ее сгорел, и на душе у меня тревожно-одинокое, когда подумаю, что не только люди, дорогие нам, так быстро уходят из жизни, но что даже место, где мы жили с ними, исчезает без следа, как будто его никогда и не было, как будто все это — лишь сон. Однако еще более мучительные чувства пробуждает другая картина Делароша, изображающая другую сцену из английской истории. Это — сцена из той жуткой трагедии, которая переведена была и на французский язык и стоила стольких слез по обе стороны пролива и которой так глубоко потрясен немецкий зритель. На картине представлены оба героя пьесы: один лежит в гробу, а другой, полный жизненной силы, приподнимает крышку гроба, чтобы взглянуть на мертвого врага. Или, быть может, это не сами герои, а только актеры, которым директор вселенной назначил роли и которые, сами того не зная, воплощали два борющихся начала? Я не стану называть здесь эти два враждебные начала, две великие идеи, боровшиеся, быть может, в груди бога-творца, которые мы видим на этой картине, — одну, в лице Карла Стюарта, позорно раненую, исходящую кровью, а другую, в лице Оливера Кромвеля, дерзкую и победоносную.

В одной из сумрачных зал Уайтхолла на темно-красных бархатных стульях — гроб с обезглавленным королем, а перед гробом стоит человек, спокойной рукой приподнимающий крышку и созерцающий труп. Этот человек стоит там совсем один; он широкоплеч и коренаст, осанка его небрежна, лицо грубое и честное. Он одет как обыкновенный солдат, пуритански просто: на нем длинный темного бархата плащ, из-под которого видна желтая замшевая куртка; кавалерийские сапоги, такие высокие, что черные панталоны почти не заметны; через плечо — засаленная желтая португеза, на которой висит шпага с круглой рукоятью; темные, коротко остриженные волосы прикрыты черной шляпой с приподнятыми полями и красным пером; белый отложной воротник, под которым видны еще латы; грязные желтые замшевые перчатки; одной

рукой, касаясь рукоятки шпаги, он придерживает короткую трость, а другой рукой держит крышку гроба, в котором лежит король.

Обычно у покойников такое выражение лица, что рядом с ними живой человек кажется чем-то незначительным, ибо ему далеко до их гордого бесстрастия и гордой холодности. И люди это чувствуют, и часовые из уважения к высокому званию мертвеца отдают честь и делают на караул, когда мимо проходит похоронная процессия, хотя бы то были похороны самого ничтожного портняжки. Поэтому вполне понятно, как невыгодно положение Кромвеля рядом с мертвым королем. Король, преображенный мученичеством, освященный величием несчастья, с драгоценным пурпуром вокруг шеи, с поцелуем Мельпомены на побелевших устах, составляет оскорбительнейший контраст с этой грубой и плотной фигурой живого пуританина. Да и с одеждой последнего разительно глубоко контрастируют последние остатки павшего величия — пышная зеленая шелковая подушка в гробу, изящество ослепительно белого савана, украшенного брабантскими кружевами.

Какую великую мировую скорбь скупыми штрихами выразил здесь художник! Вот она, некогда радость человечества, краса его, лежит жалкая, истекающая кровью. Жизнь Англии с тех пор стала серой и бесцветной, и поэзия в ужасе бежала из страны, где в былые дни она расточала свои самые радостные краски. Как глубоко почувствовал я это, однажды в полночь проходя мимо рокового окна Уайтхолла, весь дрожа от ледяного холода, которым обдавала меня сырая проза нынешней Англии! Но почему не охватило мою душу то же глубокое чувство, когда я недавно в первый раз проходил по той страшной площади, где умер Людовик XVI? Думаю, потому, что он, умирая, уже не был королем, потому, что он уже лишился короны прежде, чем пала его голова. А король Карл лишился короны вместе с головой. Он верил в эту корону, в свое абсолютное право; за нее он боролся как рыцарь, смелый и стройный. Он умер аристократически гордо, отвергая права своих судей, истинный мученик королевской власти милостью божией. Бедный Бурбон не заслуживает этой славы, голова его была уже развенчана якобинским колпаком; он больше не верил в себя, он твердо верил в полномочия своих судей, он только доказывал свою невинность; он был действи-

тельно мещански добродетелен, этот хороший, не слишком тощий отец семейства; смерть его носит скорее сентиментальный, чем трагический характер, она слишком уж напоминает семейные романы Августа Лафонтена: почтим же слезой Людовика Капета, лавром — Карла Стюарта! «Un plagiat infame d'un crime étranger»¹ — вот слова, которыми виконт Шатобриан характеризует грустное событие, совершившееся однажды, 21 января, на площади Согласия. Он предлагает соорудить на этом месте фонтан, струя которого вырывалась бы из большого бассейна черного мрамора, омывая «вы сами знаете что», — прибавляет он патетически таинственно. Вообще смерть Людовика XVI — траурный парадный конь, на котором постоянно красуется благородный виконт: он давно уже эксплуатирует вознесение на небо сына Людовика Святого, причем та утонченная ядовитость, с которой он декламирует, его грандиозные траурные остроты как раз и не свидетельствуют об истинном горе. Всего ужаснее, когда слова его находят отголоски в сердцах Сен-Жерменского предместья, когда кружкí старых эмигрантов с лицемерными вздохами начинают оплакивать Людовика XVI, как будто они действительно его родственники, как будто он действительно принадлежит им, как будто им дана особая привилегия скорбеть о его смерти. И все же эта смерть была всеобщим, всемирным несчастьем, которое и ничтожнейшего подданика задело так же, как и высочайшего церемониймейстера Тюильри, и беспредельной скорбью должно было наполнить всякое чувствующее человеческое сердце. О, хитрая эта родня! С тех пор как она больше не может узурпировать наши радости, она узурпирует наши печали.

Быть может уже пора, с одной стороны, признать за всем народом право на эту печаль, чтобы он не слушал людей, уверяющих его, будто короли принадлежат не ему, а немногим избранным, имеющим привилегию оплакивать всякое королевское несчастье, как свое собственное; с другой стороны, быть может, пора высказать вслух эту печаль, ибо опять появились теперь холодные как лед, мудрые государственные философы, трезвые вакханки разума, которые в своем логическом безумии хотят, диску-

¹ «Позорный плагиат чужого преступлен'я» (франц.).

тируя, вырвать из нашего сердца все благоговение, внушаемое древним таинством монархии. Однако мрачную причину этой печали мы отнюдь не назовем плагиатом, еще менее — преступлением, и уж менее всего — позором; мы назовем ее предопределением Божиим. Ведь мы были бы слишком высокого мнения о людях и вместе с тем слишком глубоко презирали бы их, если бы могли приписать им такую чудовищную силу и вместе с тем столько преступности, что решили бы, будто они по собственной воле пролили ту кровь, следы которой Шатобриан собирает смыть водой из какой-то черной лохани.

Действительно, если взвесить обстоятельства того времени и собрать свидетельства очевидцев, которые еще живы, станет ясно, какую малую роль сыграла здесь свободная человеческая воля. Многие, собиравшиеся подать голос против казни, делали совсем не то, когда подымались на трибуну, и ими овладевало темное безумие политического отчаяния. Жирондисты чувствовали, что они тут же произносят и свой собственный смертный приговор. Многие речи, произнесенные по этому случаю, сказаны были только ради самооглушения. Аббат Сийес, которому стало тошно от мерзкой болтовни, совершенно просто подал голос за смерть и, сойдя с трибуны, сказал своему другу: «J'ai voté la mort sans phrase». ¹ Но злая молва во вред ему воспользовалась этим частным пояснением; жуткие слова «la mort sans phrase» пали бременем, как парламентское изречение, на самого кроткого человека, и напечатаны во всех учебниках, и школьники учат их наизусть. 21 января, как уверяют меня все, во всем Париже царили смущение и скорбь; даже самые яростные якобинцы, казалось, подавлены были мучительной тревогой. Мой всегдашний возница, старый санкюлот, рассказывал мне, что когда он смотрел на казнь короля, он почувствовал, «как будто у него самого отрезали что-то». Он прибавил: «Сделалась боль в животе, и весь день у меня было отвращение к пище». Да и «Старый Вето», по его словам, казался очень неспокоен, словно хотел защищаться. Во всяком случае он умер не так величаво, как Карл I, который сперва произнес длинную речь протеста, причем так владел собою, что несколько раз просил окружающих

¹ «Я голосовал за смерть без всяких фраз» (франц.).

его дворян не трогать топора, чтобы тот не затупился. Тайственно замаскированный уайтхоллский палач тоже производил более страшное и поэтическое впечатление, чем Сансон с открытым лицом. И придворные и палач сбросили последнюю маску, и это было прозаическое зрелище. Быть может, Людовик произнес бы длинную христиански примирительную речь, если бы при первых же словах не начали с такой силой бить в барабан, что едва ли можно было услышать его уверения в своей невинности. Величавые слова, сопровождавшие вознесение его и вечно парафразируемые Шатобрианом и его товарищами: «Fils de Saint Louis, monte au ciel!»,¹ — слова эти вовсе не были сказаны на эшафоте, они вовсе не соответствуют трезвому, будничному характеру доброго Эджворта, которому они вложены в уста, и являются изобретением современника-журналиста, Карла Гисса, который и напечатал их в тот самый день. Конечно, эта поправка совершенно бесполезна; слова эти имеются во всех компендиумах, они давно уже заучиваются наизусть, а тут бедным школьникам пришлось бы еще запоминать, и также наизусть, что слова эти никогда не были сказаны.

Нельзя не согласиться, что Деларош своей картиной сознательно дал повод к историческим сравнениям, и как между Людовиком XVI и Карлом I, так и между Кромвелем и Наполеоном постоянно проводились параллели. Но я должен сказать, что, сравнивая их друг с другом, мы к ним несправедливы, ибо если Наполеон не запятнал себя страшным, кровавым преступлением (казнь герцога Энгиенского была обыкновенным убийством), то Кромвель никогда не опускался до того, чтобы от священника принять помазание на царство и домогаться коронованного родства с цезарями, изменив матери-революции. В жизни одного из них — кровавое пятно, в жизни другого — пятно масляное. Но оба они чувствовали тайную вину. Бонапарту, который мог стать Вашингтоном Европы, а стал всего лишь ее Наполеоном, всегда было не по себе в пурпурной императорской мантии. Свобода, как призрак убитой матери, преследовала его, он всюду слышал ее голос. Даже ночью, лежа в объятиях легитимности, вступившей с ним в законный брак, он пугался

¹ «Сын Людовика Святого, поднимайся на небо!» (франц.).

этого голоса и начинал тогда носиться по гулким залам Тюильри, гневался и кричал; утром же, появляясь бледный и усталый в государственном совете, жаловался на идеологию, и опять-таки на идеологию, на весьма опасную идеологию, и Корвизар качал головой.

Если Кромвель тоже не мог спокойно спать и ночью в страхе бегал по Уайтхоллу, то преследовал его не окровавленный призрак короля, как полагали благочестивые кавалеры, но страх перед живыми мстителями; он боялся реальных кинжалов своих врагов и потому-то всегда носил латы под камзолом и становился все подозрительнее, а когда появилась книжечка «Умерщвлять не значит убивать», Оливер Кромвель уже и совсем перестал улыбаться.

Но если, проводя параллель между императором и протектором, мы не видим большого сходства, то тем большую пищу для сравнений дают ошибки Стюартов и Бурбонов вообще и периоды реставрации в обеих странах. Это как будто история одного и того же падения. И в новой династии — тот же квазилегитимизм, как некогда в Англии. Снова, как прежде, куется в очаге иезуитства священное оружие, душеспасительница-церковь вздыхает и так же интригует в пользу «чудесного отрока», и не хватает только, чтобы французский претендент, так же как некогда английский, вернулся на родину. Что ж, пусть возвращается! Пророчу ему участь, противоположную участи Саула, который разыскивал ослов своего отца, а нашел корону: юный Генрих прибудет во Францию и будет искать корону, а найдет здесь только ослов своего отца.

Посетителей выставки больше всего занимал вопрос: что думает Кромвель у гроба мертвого короля? Предание об этой сцене существует в двух версиях. По одной из них, Кромвель велел ночью, при свете факелов, открыть гроб и долго стоял перед ним с искаженным лицом, неподвижный, как немое изваяние. По другому преданию, он открыл гроб днем, спокойно посмотрел на труп и сказал: «Он был крепкого сложения и еще долго мог бы жить». По-моему, Деларош имел в виду эту более демократическую легенду. Лицо его Кромвеля не выражает никакого смущения или удивления, никакой душевной бури; напротив, зрителя потрясает это зловещее, страшное спокойствие его лица.

Вот стоит она, эта крепкая, непоколебимая как земля, «грубая как сама действительность» фигура, могущественная без пафоса, демонически естественная, поразительно заурядная, заклятая и замороженная, и вот она смотрит на дело рук своих как дровосек, только что поваливший дуб. Он спокойно повалил этот дуб, который некогда так горделиво осенял своими ветвями Англию и Шотландию, королевский дуб, в тени которого расцвело столько прекрасных человеческих поколений и вокруг которого эльфы поэзии носились блаженнейшим хороводом; он спокойно срубил его злополучным топором, и вот лежит поверженный дуб со всей своей прелестной листвой и верхушкой, оставшейся невредимой... Злополучный топор!

«Do you not think, Sir, that the guillotine is a great improvement?»¹ — эти слова проквкали стоявший позади меня британец и прервал те чувства, которые я только что описал и которые наполняли мою душу, пока я смотрел на шею Карла, как ее изобразил Деларош. Рана слишком уж яркая и кровавая. Крышка гроба совсем не удалась и придает ему вид футляра от скрипки. В остальном же картина эта написана с неподражаемым мастерством, сочетая в себе тонкость Ван-Дейка и смелость теней Рембрандта; в особенности напоминает она мне воинственные фигуры республиканцев на большой исторической картине Рембрандта «Ночной дозор», которую я видел в амстердамском Триппенхойсе.

Манера Делароша, равно как и большей части его соратников, вообще ближе всего к фламандской школе, с той лишь разницей, что французская грация трактует сюжеты с большим изяществом и легкостью и что французская изысканность скользит по ним мило-поверхностно. Поэтому мне хочется назвать Делароша грациозным, изысканным фламандцем.

В другом месте я, быть может, опишу те разговоры, которые мне так часто приходилось слышать вокруг его Кромвеля. Вряд ли где с большим успехом можно подслушивать чувства толпы и общественное мнение. Картина висела в большом зале при входе в длинную галерею, а рядом висел столь же глубокий по смыслу шедевр Ро-

¹ «Не находите ли вы, сэр, что гильотина — великое усовершенствование?» (англ.).

бера, утешая, казалось, и примиряя. И действительно, если воинственный, суровый пуританин, жуткий жнец со срезанной его серпом королевской головой, выступая из темной глубины, потрясал зрителя и расшевеливал в нем все политические страсти, то все-таки душу его сразу же успокаивал вид тех, других жнецов, что расцветали в ясном солнечном свете, возвращаясь на праздник любви и мира с жатвой более прекрасной. Если, глядя на первую картину, мы чувствуем, что великая борьба нашего времени еще не кончена, что почва еще колеблется под нашими ногами; если здесь мы еще слышим грохот бури, угрожающей разрушить мир; если здесь мы видим зияющую бездну, жадно глотающую потоки крови, и нас охватывает невыразимый страх гибели, то на другой картине мы видим, как незбылемо спокойна земля и с какой неизменной любовью отдает она свои золотые плоды, хотя бы по ней с топотом проносилась вся мировая римская трагедия, со всеми своими гладиаторами и цезарями, пороками и слонами. Если на одной картине мы видим ту историю, что так бессмысленно несетя по грязи и крови, часто на целые века нелепо застревает на одном месте, а потом вдруг опять быстро срывается и беспомощно мечется во все стороны, и которую мы называем всемирной историей, то на другой картине мы видим иную историю, еще более величественную, хотя для нее достаточно места и на повозке, запряженной буйволами, историю без начала и конца, которая вечно повторяется и так же проста, как море, как небо, как времена года, священную историю, которую изображает поэт и архив которой хранится в каждом человеческом сердце, — историю человечества!

Право же, соседство картин Робера и Делароша было благотворно и радостно. Не раз, наглядевшись на Кромвеля и совершенно погрузившись в него, — так, что, казалось, мне становились вняты его мысли, односложно жесткие слова, уныло ворчливые и шипящие, в духе той английской речи, которая напоминает далекий грохот моря и крик птиц, вестниц бури, — я снова слышал тайный зов тихих чар соседней картины, и мне чудилось, что я внимаю радостной гармонии, что сладостная тосканская речь звучит в римских устах, и на душе у меня становилось ясно и спокойно.

Ах! Так необходимо, чтобы милая, неизменная, мелодическая история человечества утешала нас среди крикливого шума истории всемирной. В эту самую минуту грознее и оглушительнее, чем когда бы то ни было, доносится с улицы этот крикливый шум, эта ошеломляющая разноголосица; свирепствуют барабаны, звенит оружие, парижский народ — возмущенное человеческое море — с дикими криками и проклятиями несется по улицам и воет: «Пала Варшава! Пал наш авангард! Долой министров! Война России! Смерть пруссакам!» Мне трудно усидеть за письменным столом и, храня спокойствие, продолжать дописывать мою бедную эстетическую статью, мой мирный отчет о выставке. А ведь если я спущусь на улицу и меня признают за пруссака, то какой-нибудь июльский герой размозжит мне голову, и все мои мысли об искусстве будут раздавлены; а то еще ткнут меня штыком в левый бок, где сердце мое и без того уже истекает кровью, или, в довершение всего, возьмут меня под стражу, как мятежного чужеземца.

Под этот шум срываются с мест и смешиваются все мысли и картины. Богиня свободы Делакура идет мне навстречу, совершенно изменившаяся в лице, почти что с боязнию в безумном взоре. Чудом изменяется и Вернетов портрет папы: старый и дряхлый наместник Христа оказывается вдруг таким молодым и здоровым и с улыбкой приподнимается в кресле, и кажется, что его сильные носильщики разинут пасти для «*Te Deum laudamus*».¹ Лицо мертвого Карла тоже приобретает совсем иное выражение, и если пристальнее взглядеться, то не король, а убитая Польша лежит в черном гробу, и над гробом стоит не Кромвель, а русский царь, благородная мощная фигура, такой же величественный, каким я видел его несколько лет тому назад в Берлине, когда он стоял на балконе рядом с королем прусским и целовал ему руку. Тридцать тысяч берлинских зевак вопили «ура!» — а я думал про себя: «Бог да помилует всех нас!» Ведь я знал сарматское изречение: руку, которую еще не собираешься отрубить, нужно целовать...

Ах, я желал бы, чтобы король прусский дал поцеловать себя и здесь в левую руку, а правой схватил бы меч и покон-

¹ «Тебе, бога, хвалим» (лат.).

чил бы с опаснейшим врагом родины, как того требуют долг и совесть. Уж если эти Гогенцоллерны стали хозяевами на севере, то они должны оберегать свои рубежи от натиска России. Русские — славный народ, и я рад уважать и любить их; но с тех пор как пала Варшава, последний оплот, отделявший нас от них, они так приблизились к нам, что мне делается страшно.

Боюсь, что если теперь русский царь навестит нас, очередь будет за нами — целовать ему руку. Бог да помилует всех нас!

Бог да помилует всех нас! Наш последний оплот пал, богиня свободы умирает, друзья наши лежат сраженные, верховный римский поп поднимается со злобной усмешкой, и победоносная аристократия стоит, торжествуя, над гробом народности.

Я слышал, Деларош пишет теперь картину в параллель к своему Кромвелю — Наполеона на острове св. Елены, и выбрал он тот момент, когда сэр Гудсон Лоу поднимает покров с трупа великого представителя демократии.

Возвращаясь к моей теме, я должен был бы похвалить еще целый ряд почтенных художников, но все же, несмотря на самые лучшие намерения, я не в силах спокойно разбирать их мирные заслуги, потому что грохот на улице действительно слишком уж силен и невозможно собраться с мыслями, когда в душе раздается эхо подобной бури. Ведь здесь, в Париже, даже в дни так называемого спокойствия трудно отвлечься от событий улицы и отдаться своим личным грезам. Если в Париже искусство и процветает как нигде, то грубый шум жизни каждую минуту мешает нам наслаждаться им; нежнейшее пение Пасты и Малибран отравлены для нас криками озлобленной нищеты, и опьяненное сердце, только что упивавшееся радостными красками Робера, сразу же отрезвляется при виде народных страданий. Нужен почти что гетевский эгоизм, чтобы достичь здесь невозмутимого наслаждения искусством, и как трудна здесь даже художественная критика, это я почувствовал именно сейчас. Вчера, однако, мне удалось снова поработать над этой статьей, после того как я прошелся по бульварам, где видел, как смертельно бледный человек упал от голода и нищеты. А когда целый народ так, разом, гибнет на бульварах Европы, становится

невозможным спокойно продолжать писать. Когда глаза критика затуманены слезами, тогда и суждение его уже немногого стоит.

Справедлива жалоба художников в эти годы вражды и всеобщего раздора. Говорят, что живопись во всех отношениях нуждается в оливе мира. Сердца, боязливо прислушивающиеся, не прозвучала ли труба войны, конечно не могут с должной сосредоточенностью внимать нежной музыке. Оперу слушают глухими ушами, равнодушно глазект даже на балет. «И в этом виновата проклятая Июльская революция», — вздыхают художники и проклинают свободу и ненавистную политику, которая все поглощает, так что о них больше никто и не говорит.

Я слышу, но с трудом могу поверить, что даже в Берлине больше не говорят о театре, и «Morning Chronicle»,¹ сообщив вчера, что билль о реформе прошел в нижней палате, рассказывает по этому поводу, что доктор Раупах находится сейчас в Баден-Бадене и сетует на наше время, по вине которого гибнут его художественные таланты.

Я, разумеется, искренний почитатель доктора Раупаха, я всегда приходил в театр, когда давали «Школьные проказы», или «Семь девушек в мундирах», или «Праздник ремесленников», или какую-нибудь другую его пьесу; но все-таки не могу утаить, что гибель Варшавы огорчает меня гораздо сильнее, чем могла бы огорчить меня гибель доктора Раупаха со всеми его художественными талантами. О Варшава! Варшава! За целый лес Раупахов я не отдал бы тебя!

Мое давнишнее предсказание, что эстетический период, начавшийся у колыбели Гете, должен окончиться у его гроба, по-видимому скоро исполнится. Современное искусство должно погибнуть, потому что его принципы уходят корнями в отживший, старый порядок, в прошлое Священной Римской империи. Поэтому, как и все ветхие остатки этого прошлого, оно находится в прискорбнейшем противоречии с современностью. Именно это противоречие, а не современное движение само по себе, так вредит искусству; наоборот, это современное движение должно бы оказывать на него благотворное влияние, как некогда в Афинах или

¹ «Утренняя хроника» (англ.).

Флоренции, где как раз среди военных и партийных бурь распускались прекраснейшие цветы искусства. Правда, те греческие и флорентинские художники вели не эгоистически замкнутую, посвященную только искусству жизнь, герметически закрывая праздно творящую душу от великих скорбей и радостей своего времени; напротив, произведения их были только созерцательным отражением их времени, и сами они были настоящие люди, личности такие же могущественные, как и их творческая сила; и Фидий и Микеланджело были созданы из одного камня, как и статуи их, и если эти статуи гармонировали с греческими или католическими храмами, то и художники находились в священном согласии со своей средой; они не отделяли своего искусства от современной политики, трудились не с жалким персональным вдохновением, лживость которого легко прикрывается любым сюжетом; Эсхил создал «Персов» с такой же правдивостью, с какой он сражался против них при Марафоне, а Данте написал свою «Комедию» не как поэт, принимающий заказы, но как изгнанник-гвельф, и в изгнании, среди бедствий войны, он оплакивал не гибель своего таланта, а гибель свободы.

Однако новое время породит и новое искусство, полное вдохновенной внутренней гармонии, и свою символику ему не надо будет заимствовать у выцветшего прошлого, и придется ему создать даже свою собственную технику, отличную от современной. А до тех пор пусть господствует, высказываясь в красках и звуках, упоенный собой субъективизм, необузданнейший индивидуализм, божественно свободная личность во всей своей жизнерадостности, что все-таки лучше мертвого, призрачного бытия старого искусства.

Или, быть может, для искусства и мира наступает печальный конец? Уж не является ли то преобладание духовности, которое сказывается теперь в европейской литературе, знаком близкого конца? Ведь порой в свой смертный час люди становятся ясновидящими и они побледневшими устами вещают непостижимейшие тайны. Или, быть может, дряхлая Европа вновь помолодеет и брезжащая духовность ее художников и писателей — не магическое ясновидение умирающего, а трепетное ожидание второго рождения, дуновение новой весны?

Но в этом году целый ряд картин, бывших на выставке, рассеивает этот зловеющий страх смерти и укрепляет нас в надеждах на лучшее. Архиепископ Парижский ожидает спасения от холеры, от смерти; я ожидаю его от свободы, от жизни. Вот чем отличаются наши верования. Я верю, что из сердечных глубин своей новой жизни Франция вызовет и новое искусство. И эту трудную задачу разрешат французы, легкий, порхающий народ, который мы так любим сравнивать с мотыльком. Но ведь мотылек есть также символ бессмертия души и ее вечного обновления.

ДОПОЛНЕНИЕ

1833

Когда летом 1831 года я приехал в Париж, ничто так не удивило меня, как открывшаяся в то время выставка картин, и хотя мое внимание привлекали к себе крупнейшие революции в политике и религии, все же я не мог удержаться и прежде всего написал о той великой революции, которая произошла здесь в области искусства и значительнейшим явлением которой следовало считать названную выставку.

Так же, как прочие мои соотечественники, я был очень враждебно настроен против французского искусства, в частности против французской живописи, с последними произведениями которой я был совершенно незнаком. Но живопись во Франции представляет нечто особое. Она следовала за социальным движением и сама помолодела вместе с народом. Однако это произошло не так непосредственно, как в родственных ей искусствах — музыке и поэзии, где метаморфоза началась еще до революции.

Господин Луи де Мейнар, напечатавший в «Europe littéraire»¹ ряд статей о нынешней выставке, которые принадлежат к самому интересному, что когда-либо писали французы об искусстве, сказал по этому поводу следующие слова, приводимые мной с полной точ-

¹ «Литературной Европе» (франц.).

ностью, насколько позволяет изящество и грация их стиля:

«Живопись восемнадцатого века возникла так же, как и современная ей политика и литература; развиваясь наравне с ними, она достигла известного совершенства и рухнула в тот самый день, когда все рушилось во Франции. Странный век, начинающийся громким смехом у гроба Людовика XIV и кончающийся в объятиях палача, «господина палача», как назвала его госпожа Дюбарри! О, этот век, все отрицавший, все осмеивавший, все осквернявший и ни во что не веривший, — он тем ревностнее исполнял свое великое дело разрушения, и разрушал, вовсе не будучи в силах что бы то ни было выстроить вновь, да и не было у него к тому охоты.

Однако искусства, если они и следуют за одним и тем же движением, то следуют не одинаковым шагом. И вот, живопись в восемнадцатом веке осталась позади. Она произвела своих Кребильонов, но у нее не было ни Вольтера, ни Дидро. Всегда на жалованье у знатных благодетелей, всегда под охраной юбок правящей фаворитки, она постепенно — уж не знаю как — утрачивала свою смелость и силу. При всей своей распущенности она никогда не проявляла того буйства и того вдохновения, которое захватывает и ослепляет нас и вознаграждает за отсутствие вкуса. Неприятное впечатление производят ее ледяные игрушки, ее вялые изящные безделушки, созданные для будуара, где так беспечно, раскинувшись на софе, обмахивается веером какая-нибудь нарядная миниатюрная дама. Фавар со своими Эглями и Зульмами правдоподобнее, чем Ватто и Буше с их идиллическими аббатами и кокетливыми пастушками. У Фавара, если он и казался смешным, все же были честные намерения. Художники того времени менее всего принимали участие в том, что подготовлялось во Франции. Революция застала их в неглиже. Философия, политика, наука, литература, имевшие каждая своего представителя, неистово, словно толпа пьяных, устремились к цели, неведомой им самим; но чем ближе становилась эта цель, тем больше остывал их пыл, тем спокойнее делалось лицо, тем увереннее становился шаг. Эту цель, неведомую им, они все смутно угадывали, ибо в книге божией могли прочесть, что все человеческие радости кончаются слезами. А пир, увы, был слишком

буйный и ликующий, и после него должно было настать для них самое серьезное и самое жуткое. Когда видишь тревогу, смущавшую их порой среди сладостнейшего опьянения этой оргии восемнадцатого века, то думается, что эшафот, которым кончилось все это дикое веселье, и тогда уже издали приветствовал их своими кивками, как призрачная голова привидения.

Живопись, державшаяся в то время поодаль от настоящего социального движения, — потому ли, что ее расслабляло влияние женщин и вино, потому ли, что свое участие в нем она считала бесполезным, — во всяком случае до последней минуты влачила среди роз, благоуханий мускуса и пасторалей. Вьен и некоторые другие чувствовали, что ее надо поднять во что бы то ни стало, но не знали, что делать с нею потом. Лесюэр, которого очень высоко ставил учитель Давида, не мог создать новой школы. Он должен был в этом сознаться. Давид, занесенный в эпоху, когда все духовные авторитеты тоже очутились во власти Маратов и Робеспьеров, оказался в таком же затруднении, как и те художники. Известно ведь, что он был в Риме и вернулся оттуда таким же ванлоистом, каким уезжал туда. Лишь впоследствии, когда начали проповедовать греческо-римскую древность, когда публицистам и философам пришла в голову мысль, что надо вернуться к литературным, социальным и политическим формам древних, тогда лишь во всей своей прирожденной смелости раскрылся его талант, и мощной рукой вырвал он искусство из игривой, раздушенной пасторали, в которой оно погрязло, и вознес его в величавые сферы античного героизма. Реакция была беспощадна, как всякая реакция, и Давид довел ее до крайности. Он и в живопись ввел терроризм».

О деятельности и творчестве Давида Германия достаточно осведомлена. В годы Империи наши французские гости довольно часто занимали нас разговорами о великом Давиде. Много слышали мы также и об его учениках, продолжавших, каждый по-своему, его манеру, — о Герене, Гро, Жераре и Жироде. Меньше знают у нас о другом человеке, имя которого тоже начинается на «ж» и который явился если не основателем, то все же вождем новой школы живописи во Франции. Это Жерико.

На предыдущих страницах я непосредственно касался этой новой школы живописи. Описывая лучшие произведения, находившиеся на выставке 1831 года, я вместе с тем давал и обстоятельную характеристику новых мастеров. По общему признанию, эта выставка была самой замечательной из всех, какие когда-либо бывали во Франции, и память о ней сохранится в летописях искусства. Картины, которые я почтил описанием, проживут века, и слово мое, может быть, послужит на пользу историку живописи.

В огромном значении выставки 1831 года я вполне мог убедиться уже в нынешнем году, когда 1 апреля вновь открылись залы Лувра, остававшиеся закрытыми в течение двух месяцев, и нас приветствовали новейшие произведения французского искусства. Старые картины, составляющие Национальную галерею, были, как это принято, заставлены ширмами, на которых висели новые картины, так что порой из-за готических безвкусиц неоромантического художника выглядывали мифологические шедевры старого итальянского искусства. Вся выставка походила на палимпсест, новый варварский текст которого раздражает нас тем более, что мы знаем, какая божественная греческая поэзия была им замарана.

Выставлялось около трех с половиною тысяч картин, и среди них не было почти ни одного шедевра. Было ли это следствием слишком сильной усталости после слишком сильного возбуждения? Не сказывается ли в искусстве то национальное похмелье, которое теперь, когда миновало безумное опьянение свободой, замечается и в политической жизни французов? Была ли нынешняя выставка всего лишь пестрой зевотой? Всего лишь красочным отголоском теперешней палаты? Если выставка 1831 года была еще накалена июльским солнцем, то на выставке 1833 года уже накрапывал унылый дождь июня. Знаменитые герои предшествующей выставки, Деларош и Робер, на сей раз вовсе не выступили на арену, прочие же художники, о которых я отзывался с похвалой, не выставили в этом году ничего замечательного. За исключением одной вещи Тони Жоанно, немца, ни одна картина нынешней выставки не отозвалась в моей душе. Господин Шеффер выставил новую Маргариту, которая свидетельствует о большом техническом прогрессе, но не имеет большого значения. Это все та же

мысль, написанная более пламенными красками и зародившаяся в еще более холодном мозгу. Орас Верне тоже выставил большую картину, которая, однако, хороша только в деталях. Декан, верно, захотел посмеяться над выставкой и над самим собою и выставил главным образом обезьян; среди них — отличнейшая обезьяна, пишущая историческую картину. Ее низко свисающие германохристианские волосы забавным образом напомнили мне моих зарейнских друзей.

Больше всего говорилось в этом году об Энгре, удостоившемся наибольших похвал и возбудившем наибольшие споры. Он выставил две вещи; одна — портрет молодой итальянки, другая — портрет господина Бертена l'aîné,¹ старого француза.

Как в мире политики Луи-Филипп, так в мире искусства господин Энгр играл в этом году роль короля. Как Луи-Филипп был королем в Тюильри, так Энгр был королем в Лувре. Характер Энгра — это та же *juste milieu*,² а именно — *juste milieu* между Мирисом и Микеланджело. В его картинах мы находим героическую смелость Мириса и тонкий колорит Микеланджело.

Если живопись, представленная на выставке этого года, неспособна была вызвать воодушевление, то с тем большим блеском проявила себя скульптура: она показала произведения, среди которых многие подавали повод к самому большому надеждам, а одно могло даже поспорить с высочайшими созданиями этого искусства. Это — «Каин» господина Этекса. Это группа симметричной, более того — монументальной красоты, доисторическая по своему характеру и в то же время полная современного смысла. Каин, с женой и детьми, — покорный судьбе, без думы, но сосредоточенный, в оцепенении безутешного покоя. Человек этот убил своего брата в споре за жертвоприношение, в религиозном споре. Да, религия подала повод к первому братоубийству, и с тех пор на челе ее — кровавое пятно.

К «Каину» Этекса я вернусь еще в дальнейшем, когда буду говорить о том расцвете, который у современных нам скульпторов сказывается даже сильнее, чем у живописцев.

¹ Старшего (франц.).

² Золотая середина (франц.).

«Спартак» и «Тезей», выставленные теперь оба в саду Тюильри, вызывают во мне всякий раз, как я гуляю там, восхищение, смешанное с раздумьем. Порой меня только огорчает, что эти мастерские произведения нашего современного искусства, ничем не защищенные, отданы на произвол погоды. Небо здесь не такое кроткое, как в Греции, да и там лучшие произведения были защищены от ветра и непогоды более надежно, чем принято считать. Лучшие произведения стояли в закрытых местах, большей частью в храмах. Однако пока что новым статуям в Тюильри влияние воздуха не причинило еще большого вреда, и они представляют отрадное зрелище, когда из свежей зелени листья каштанов приветствуют нас своей ослепительной белизной. К тому же забавно слушать, как няньки иногда объясняют детям, играющим там, что означает голый мраморный человек, так гневно сжимающий меч, или что это за странный чудак с телом человека и бычьей головой, которого другой голый человек поражает палицей; человек-бык, говорят они, сожрал много маленьких детей. Молодые республиканцы, проходя мимо, обычно замечают, что Спартак весьма подозрительно косится на окна Тюильри, а в образе Минотавра они видят монархию. Другие же считают, что Тезей неудачно взмахивает палицей, и утверждают, что если бы он ударил ею, то непременно раздробил бы собственную руку. Но как бы то ни было, до сих пор все это имеет прекрасный вид. Все же через несколько зим эти превосходные статуи уже выветрятся и станут ломкими, и на мече Спартака вырастет мох, и мирные семейства насекомых будут гнездиться между бычьей головой Минотавра и палицей Тезея, если тем временем у него вместе с палицей не отломается и рука.

Так как здесь приходится кормить огромное количество праздных военных, то королю следовало бы возле каждой статуи в Тюильри поставить по часовому, который раскрывал бы над нею зонтик, когда идет дождь. Тогда искусство в буквальном смысле слова было бы в безопасности под сенью буржуазно-королевского зонтика.

Художники всё жалуются на чрезмерную скупость короля. Говорят, он, будучи герцогом Орлеанским, более ревностно покровительствовал искусствам. Ворчат, что он

заказывает сравнительно слишком мало картин и платит за них сравнительно слишком дешево. Однако, если не считать короля баварского, он лучший ценитель искусства среди монархов. Сейчас, быть может, его ум слишком уж охвачен политикой, чтобы он мог заниматься искусством так же ревностно, как прежде. Но если несколько поостыла его страсть к живописи и скульптуре, то любовь его к архитектуре приняла почти неистовые формы. В Париже никогда столько не строилось, сколько строится сейчас по воле короля. Всюду возводятся новые здания, прокладываются совершенно новые улицы. В Тюильри и в Лувре все время стучат молотками. Нельзя себе представить ничего более великолепного, чем план новой библиотеки. Вскоре достроят и церковь Магдалины, бывший храм Славы. Большой посольский дворец, который Наполеон решил воздвигнуть на правом берегу Сены и который выстроен лишь наполовину, так что напоминает развалины какого-то исполинского замка, это огромное здание теперь достраивается. Кроме того, на площадях воздвигаются грандиозные памятники. На площади Бастилии высится огромный слон, неплохо изображающий сознательную силу и мощный разум народа. На площади Согласия мы уже видим деревянную модель Луксорского обелиска; через несколько месяцев встанет там и сам египетский оригинал и будет служить памятником страшного события, некогда, 21 января, совершившегося на этом месте. И каким бы тысячелетним опытом ни обладал этот иероглифический вестник из Египта — страны чудес, все же молодому фонарному столбу, стоящему на площади Согласия всего лишь пятьдесят лет, пришлось испытать вещи гораздо более замечательные, и старый красный древлесвященный камень-гигант побледнеет и задрожит от ужаса, если как-нибудь, тихой зимней ночью, этот легкомысленный французский фонарный столб примется болтать и расскажет историю площади, на которой стоят они оба.

Зодчество — главная страсть короля и может стать, пожалуй, причиной его падения. Опасаюсь, что, несмотря на все обещания, он все-таки не отстанет от мысли о *forts détachés*,¹ ибо этот проект даст случай пустить в дело его

¹ Фортах (франц.).

любимые орудия — лопату и молот; сердце же его радостно стучит, когда он думает о молотке. Пожалуй, этот стук заглушит когда-нибудь голос его разума, и сам того не подозревая, он поддастся внушениям своих любимых капризов, решив, что форты — его единственное спасение и что их постройка легко осуществима. Так из-за архитектуры мы, быть может, будем вовлечены в величайшие политические волнения. Что касается этих фортов и самого короля, то я приведу здесь отрывок из заметки, которую написал в июле прошлого года:

«Весь секрет революционных партий состоит в том, что они больше не хотят нападать на правительство, но сами ожидают с его стороны какого-нибудь резкого нападения, чтобы оказать действительное сопротивление. Поэтому в Париже не может случиться нового мятежа без особой на то воли правительства, которое само должно подать повод, сделав какую-нибудь большую глупость. Если мятеж удастся, во Франции тотчас же будет провозглашена республика; и революция забушует по всей Европе, учреждения которой будут если и не разрушены, то по крайней мере сильно расшатаны. Если мятеж не удастся, то здесь начнется страшная, неслыханная реакция, которой потом с обычной неумелостью начнут подражать и в соседних странах и которая также может вызвать не одну перемену в существующем строе. Как бы то ни было, всякая исключительная мера, которую здешнее правительство может принять против революционных партий, всякое враждебное действие, направленное против интересов революции, угрожает спокойствию Европы. А так как воля здешнего правительства — это исключительно воля короля, то грудь Луи-Филиппа, собственно, и является ящиком Пандоры, заключающим бедствия, которые разом могут излиться на нашу землю. К сожалению, на лице его невозможно прочесть желания его сердца, ибо в искусстве притворяться младшая линия не уступает старшей. В мире ни один актер не владеет так своим лицом, не умеет так мастерски исполнить свою роль, как наш король-буржуа. Он, быть может, один из самых способных, самых умных и самых отважных людей во Франции, а все-таки, когда дело шло о короне, он сумел принять вид совершенно невинный, мещанский, робкий, и люди, без особых церемоний посадившие его на трон,

наверно думали, что им с еще меньшими церемониями удастся сбросить его с этого трона. На этот раз королевская власть сыграла роль безумного Брута. Поэтому не над Луи-Филиппом, а над самими собою должны были бы смеяться французы, глядя на те карикатуры, где Луи-Филипп изображен в своей белой войлочной шляпе и с большим зонтиком. И то и другое было реквизитом и так же, как *poignées de main*,¹ относилось к его роли. Когда-нибудь историк признает, что он хорошо сыграл свою роль; это сознание может вознаградить короля за карикатуры и сатиры, избравшие его мишенью своих шуток. Число этих сатирических листов и карикатур с каждым днем возрастает, и всюду на стенах домов виднеются причудливые груши. Никогда еще так не издевались над монархом в его же собственной столице, как издеваются над Луи-Филиппом. Но, думает он, хорошо смеется тот, кто смеется последний; не вы скушаете грушу, а груша скушает вас. Конечно, он чувствует всякое оскорбление, наносимое ему, ибо он человек. Да у него уж и не такой милосердный, овечий характер, чтобы ему не хотелось отомстить за них; он человек, но человек сильный, умеющий сдерживать вспышки гнева и повелевать своими страстями. Когда настанет час, который покажется ему удобным для этого, он нанесет удар, сперва внутренним врагам, а затем врагам внешним, оскорблявшим его еще гораздо больше. Человек этот на все способен, и кто знает, не бросит ли он ту самую перчатку, что стала такой грязной от всевозможных *poignées de main*, как перчатку вызова всему Священному союзу? Право, у него нет недостатка в царственном чувстве собственного достоинства. Он, которого вскоре после Июльской революции я видел в войлочной шляпе и с зонтиком, — как внезапно он преобразился шестого июня прошлого года, когда усмирлял республиканцев! Это уж не был добродушный мещанин с толстым брюхом, с улыбающимся мясистым лицом; самая полнота его вдруг придала ему величественный вид: голову он закинул так смело, как какой-нибудь его предок; он высылся, величественно толстый, — король в каждом фунте своего тела. Когда он все-таки почувствовал, что корона еще не совсем твердо сидит у него на голове

¹ Рукопожатий (*франц.*).

и что еще не раз может наступить ненастье, — как быстро он напялил свою старую войлочную шляпу и взял в руки свой старый зонтик! С каким буржуазным видом несколько дней спустя, во время большого смотра, он снова кланялся куму-портному и куму-сапожнику, как он опять направо и налево раздавал сердечнейшие *poignées de main* не только рукой, но также и глазами, улыбающимися губами, даже бакенбардами! А все-таки и этот улыбающийся, кланяющийся, заискивающий, умоляющий добряк носил в груди четырнадцать *forts détachés*.

Эти форты вызывают сейчас опаснейшие вопросы, и разрешение их, быть может, окажется ужасным и потрясет весь земной шар. Вот то проклятие, которое губит умных людей, считающих себя умнее, чем целые народы, хоть опыты и показывает, что массы всегда судили правильно и если не целиком угадывали планы, то все же угадывали намерения своих правителей. Народы всеведущи, всевидящи; глаз народа — глаз божий. Оттого-то французский народ с состраданием пожал плечами, когда правительство, отечески лицемеря, стало сочинять ему, будто оно хочет укрепить Париж, чтобы иметь возможность защищать его против Священного союза. Все чувствовали, что это только Луи-Филипп хочет защищать себя от Парижа. Правда, у короля достаточно оснований бояться Парижа, корона будет гореть у него на голове и опалять его тупей, пока в Париже, очаге революции, еще пылает великое пламя. Но почему бы ему совершенно открыто не признаться в этом? Почему он все еще ведет себя как верный блюститель этого пламени? Может быть, полезнее было бы ему откровенно признаться бакалейным торговцам и прочим своим сторонникам, что он не в силах ручаться ни за себя, ни за них, пока не будет полным хозяином в Париже, что поэтому он хочет окружить столицу четырнадцатью фортами, пушки которых сразу же заставят замолкнуть любой мятеж. Откровенное признание, что дело идет о его голове и о головах всего *juste milieu* произвело бы, может быть, благоприятное действие. Теперь же не только оппозиционные партии, но также и лавочники и большинство приверженцев системы *juste milieu* совершенно раздосадованы этими *forts détachés*, а газеты с достаточной полнотой объяснили им причины, почему это так досадно. Дело в том, что теперь большинство лавочников того

мнения, что Луи-Филипп — отличнейший король, ради которого стоит приносить жертвы, а порою даже подвергать себя опасности, как, например, 5 и 6 июня, когда они, в количестве сорока тысяч человек, совместно с двадцатью тысячами линейного войска рисковали жизнью, сражаясь против нескольких сотен республиканцев; однако Луи-Филипп отнюдь не стоит того, чтобы, в случае дальнейших, более значительных восстаний, ради сохранения его подвергать опасности весь Париж, то есть самих себя вместе с женами и детьми и всеми лавками, рискуя быть расстрелянными с высоты четырнадцати фортвов. Впрочем, рассуждают они, за пятьдесят лет все уже привыкло ко всевозможным революциям, за пятьдесят лет уже учились оказывать сопротивление маленьким мятежам, так, чтобы сразу же можно было восстановить спокойствие, а мятежам более крупным сразу же покоряться — тоже для того, чтобы сразу же можно было восстановить спокойствие. Да, по их мнению, и богатые приезжие, — приезжие, которые тратят в Париже столько денег, — поняли теперь, что для мирного зрителя революция совершенно безопасна, что она протекает всегда в полном порядке, даже вполне соблюдает правила вежливости, и, таким образом, пережить революцию в Париже — это для чужеземца даже особое развлечение. Но если Париж окружают *forts détachés*, то страх, что как-нибудь рано утром вас пристрелят, прогонит из Парижа иностранцев и провинциалов, да и не только приезжих, но жительствовавших здесь рантье; придется продавать меньше сахару, перцу и помады, меньше брать за квартиры — словом, торговля и промышленность придут в упадок. Поэтому-то бакалейщики, дрожащие за доход от своих домов, за клиентуру своих лавок, за себя и за свои семьи, являются противниками проекта, который превращает Париж в крепость и не позволит ему больше быть прежним веселым, беззаботным Парижем. Другие, принадлежащие, правда, к *juste milieu*, но не отказавшиеся от либеральных принципов революции и все еще привязанные к этим принципам более, чем к Луи-Филиппу, желали бы, чтобы буржуазная монархия находилась под защитой государственных установлений, а не фортификационных сооружений, которые слишком уж напоминают феодальные времена, когда хозяин крепости мог по своему произволу управлять городом. Луи-Филипп.

говорят они, до сих пор был верным стражем буржуазной свободы и буржуазного равенства, завоевание которых стоило столько крови, однако он человек, а в человеке всегда живет тайное стремление к неограниченной власти. Располагая этими *forts détachés*, он безнаказанно мог бы удовлетворять любые прихоти, порожденные собственным произволом, и власть его была бы тогда еще более неограниченной, чем власть любого короля до революции; прежние короли могли сажать в Бастилию только отдельных недовольных, а Луи-Филипп окружил бы весь город Бастилиями, забастилировал бы весь Париж. И даже если бы можно было несколько не сомневаться в благородстве намерений теперешнего короля, то все же нельзя было бы поручиться за намерения его преемников, а тем менее — за намерения всех тех, кто благодаря хитрости или случайности мог бы оказаться хозяином этих *forts détachés* и стал бы тогда по своему произволу управлять Парижем. Гораздо существеннее всех этих соображений была иная тревога, дававшая о себе знать со всех сторон и всколыхнувшая даже тех, кто еще до сих пор не успел стать ни сторонником, ни противником правительства и даже не стал ни сторонником, ни противником революции. Тревога эта касалась высочайших и важнейших интересов всего народа, касалась национальной независимости. Несмотря на все французское тщеславие, которое никогда не любило воспоминаний о 1814 и 1815 годах, все же пришлось признать в душе, что возможность третьего нашествия не совсем исключена, что для союзников, идущих на Париж, *forts détachés* не только не явятся скольконибудь значительной преградой, но что, завладев этими *forts détachés*, они, верно, смогут держать Париж в своих руках, если даже не разрушат его до основания. Я излагаю здесь только мнение французоз, убежденных в том, что некогда, во времена нашествия, иностранные войска потому только и отошли от Парижа, что не отыскиали точки опоры против огромной массы населения, и что теперь монархи ничего так страстно не желают, как «полного уничтожения Парижа, великого очага революции»...

Действительно ли навсегда откажутся теперь от проекта *forts détachés*? То всдает один господь, читающий в почках королей.

Не могу не отметить здесь, что нас, быть может, ослепляет дух партий и что король в самом деле имеет в виду общую пользу и хочет только забаррикадироваться от Священного союза. Это, однако, невероятно. Скорее уж у Священного союза есть тысячи оснований бояться Луи-Филиппа, и, кроме того, у него есть еще более важная причина желать его сохранения. Ибо, во-первых, Луи-Филипп — могущественнейший монарх в Европе, материальные его силы удесятерятся благодаря свойственной им подвижности, и в десять, во сто раз сильнее те нравственные средства, которыми он может располагать в случае надобности, а если бы союзные монархи все-таки решили низвергнуть этого человека, они тем самым низвергли бы могущественнейший и, быть может, последний столп монархии в Европе. Да, монархи каждый день должны были бы на коленях благодарить творца тронов и корон за то, что Луи-Филипп — французский король. Раз они уже сделали глупость — убили человека, который лучше всех умел обуздывать республиканцев, — Наполеона. О, вы по праву называетесь королями милостью божией! То была особая милость божия, что он еще раз послал королям человека, спасшего их, когда якобинство снова схватило топор и грозило разрушить старую королевскую власть; если уж и этого человека убьют монархи, бог не в силах будет им помочь. Он дважды спасал монархию, ниспослав ей Наполеона Бонапарта и Луи-Филиппа, эти два чуда. Ибо господь благоразумен и понимает, что республиканская форма правления вовсе не подходит старой Европе, очень невыгодна и безотрадна для нее. И я такого же мнения. Но, быть может, нам обоим ничего не удастся сделать с ослеплением монархов и демагогов. Потому что против глупости и мы, боги, боремся вотще.

Да, — мое священнейшее убеждение, что народам Европы республиканство не идет, что оно для них невыгодно и безотратно, а для немцев даже и невозможно. Когда, слепо подражая французам, немецкие демагоги стали проповедовать республику и в безумной ярости поносили и позорили не только монархов, но и самую монархию, я счел долгом высказать свое мнение, как это и сделано выше, по поводу 21 января. Хотя с 28 июня прошлого года мой монархизм что-то скис, все же я

и в новом издании не пожелал бы исключить эти слова. Я горжусь тем, что некогда у меня хватило мужества и что ни заигрывания, ни интриги не могли увлечь меня к бессмысленным и ошибочным поступкам. Кто остановится, не пройдя всего пути, который указывает ему сердце и который разрешает ему рассудок, тот трус; кто идет дальше, чем хотел идти, тот раб.

**ФРАНЦУЗСКЕ
ДЕЛА**



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Тот, кто умеет читать, сам заметит, что наиболее значительные недостатки этой книги должны быть поставлены в вину не мне, а тот, кто не умеет читать, ничего не заметит». Эти простые умозаключения, которыми старик Скаррон начинает свой «Комический роман», могу предпослать и я этим более серьезным страницам.

Я даю здесь ряд статей и корреспонденций, которые, когда это требовалось, я писал для аугсбургской «Всеобщей газеты» при бурных обстоятельствах всякого рода, с целью, которую легко отгадать, и с умалчиваниями, которые отгадать еще легче. Теперь я должен издать эти анонимные беглые листки под моим именем отдельной книгой, чтобы никто другой, как мне грозят, не собрал их по собственному усмотрению и не исказил их по своей прихоти, а то и не подмешал к ним чужих изделий, которые ошибочно приписываются мне.

Пользуюсь этим случаем, чтобы решительнейшим образом объявить, что уже два года, как я не напечатал ни единой строки ни в одной политической газете Германии, кроме «Всеобщей газеты». Эта последняя, столь заслуживающая свой всемирно признанный авторитет и достойная называться «Всеобщей газетой» Европы, именно благодаря своему весу и неслыханно большому распространению казалась мне подходящим изданием для статей, имевших целью лишь уразумение современности. Когда мы достигнем того, что массы будут понимать

настоящее, тогда народы не позволят наемным писакам аристократии разжигать войну и раздоры, тогда осуществится великое единение народов, священный союз наций, нам больше не нужно будет содержать из-за взаимного недоверия постоянные армии во много сотен тысяч убийц, мечи мы перекуем в плуги, впряжем в них военных коней и добьемся мира, благосостояния, свободы! Этой деятельности посвящена по-прежнему моя жизнь. Это моя обязанность. Ненависть моих врагов может послужить ручательством, что я до сих пор добросовестно и честно ее исполнял. Я всегда буду достоин этой ненависти. Мои враги никогда не ошибаются во мне, хотя бы даже друзья в пылу возбужденных страстей и принимали мое разумное спокойствие за равнодушие. Впрочем, теперь они меньше будут ошибаться во мне, чем прежде, когда им казалось, что они стоят у цели своих желаний и когда надежда на победу, как попутный ветер, окрыляла их мечты. Я не принимал участия в их безумии, но я всегда готов разделить их несчастье. Я не вернусь на родину до тех пор, пока на чужбине принужден жить в нищете хоть один из тех благородных изгнанников, которые, чрезмерно воодушевляясь, не могли внять голосу рассудка. Я бы лучше стал выпрашивать корку хлеба у беднейшего француза, чем согласился бы в немецком отечестве вступить на службу к тем знатым покровителям, которые любую сдержанность силы принимают за трусость или даже за прелюдию к низкопоклонству и которые на главную нашу добродетель — на веру в честные намерения противника — смотрят как на плебейскую наследственную глупость.

Я никогда не буду стыдиться, что был обманут теми, кто тешил наши сердца столь прекрасными надеждами: «Все должно устроиться самым мирным образом, мы должны соблюдать приличествующую умеренность, чтобы уступки не были вынужденными, а значит, недействительными; они сами должны же видеть, что небезопасно лишать нас более свободы...» Да, мы снова одурачены и должны сознаться, что ложь снова одержала большую победу и пожала новые лавры. По существу, мы — побежденные, и с тех пор, как о геройском обмане официально объявлено — после обнародования плачевных постановлений сейма от 28 июня, — наше сердце терзают печаль и гнев.

Бедная, несчастная родина! Какой позор предстоит тебе, если ты перенесешь это поношение, какие страдания — если ты его не перенесешь!

Никогда ни над одним народом так не издевались его властители. Мало того, что постановления сейма имеют предпосылкой, будто мы согласились на все; нас притом стараются еще уверить, что, в сущности, нам не причиняют никакого зла или несправедливости. Но если вы и могли уверенно рассчитывать на рабскую покорность, то все же вы не имели права считать нас за дураков. Кучка дворянчиков, не учившихся ничему, кроме барышничания лошадьми, вольтижировки, игры стаканами и прочих грубых плутовских штук, на которые можно поддеть лишь каких-нибудь крестьян на ярмарке, воображает, что может провести этим целый народ — да еще народ, который изобрел порох и книгопечатание и дал «Критику чистого разума». Это незаслуженное оскорбление! То, что вы нас считали глупее даже самих себя и воображаете, будто могли нас обмануть, — вот злейшая обида, которую вы нанесли нам в глазах окружающих народов!

Я не хочу обвинять конституционных немецких государей, я знаю их беды, я знаю — они томятся в цепях своих ничтожных камарилей и безответственны. К тому же, путем принуждений всякого рода Австрия и Пруссия заставили их стать на свою сторону. Мы не будем поносить их, мы их пожалеем. Рано или поздно они пожнут горькие плоды злого посева. Неразумные, они еще завидуют друг другу, и между тем как всякому дальновидному взору ясно, что в конце концов они будут медиатизированы Австрией и Пруссией, все их помыслы и стремления направлены лишь на то, как бы урвать у соседа кусочек его землицы. Право, они напоминают тех воров, которые по пути к виселице еще обворовывают друг у друга карманы.

В подвигах сейма мы можем безусловно обвинять только обе абсолютные державы — Австрию и Пруссию. В какой мере каждая из них заслужила нашу благодарность — я не могу определить. Но только мне кажется, что всю гнусность этих подвигов Австрия снова сумела взвалить на плечи своего мудрого товарища по сейму.

В самом деле, мы можем бороться с Австрией, и бороться насмерть, с мечом в руках; но в глубине души мы чувствуем, что у нас нет права поносить эту державу бранными

словами. Австрия всегда была открытым, честным врагом, и никогда не отрицала своей борьбы с либерализмом, и никогда, даже на короткое время, не прерывала ее. Меттерних никогда не заигрывал с богиней свободы, он никогда в моменты робости не разыгрывал демагога, он никогда не пел песен Арндта и не пил при этом белого пива, он никогда не проделывал гимнастических упражнений на Заячьей поляне, он никогда не лицемерил с набожным видом, он никогда не плакал в крепости с узниками, которых морил в цепях. Всегда было известно, чего от него ждать, было известно, что его надо остерегаться, и его остерегались. Он всегда был одним и тем же, не обманывал нас милостивыми взглядами, не возмущал задулильными уловками. Было известно, что им не руководят ни любовь, ни ненависть, что он действует высокомерно, в духе системы, которой Австрия оставалась верна в течение трех столетий. Это та же система, за которую Австрия боролась против реформации; это та же система, из-за которой она вступила в борьбу с революцией. За эту систему бились не только мужи, но также и дочери Габсбургского дома. Ради сохранения этой системы Мария-Антуанетта в Тюильри ринулась в самую дерзостную борьбу; ради сохранения этой системы Мария-Луиза (которая, будучи объявлена регентшей, должна была бы сражаться за мужа и за сына) в том же Тюильри оставила борьбу и сложила оружие. Император Франц ради сохранения этой системы заглушил в себе самые нежные чувства, вытерпел несказанную душевную муку. Как раз теперь он носит траур по любимому погибшему во цвете лет внуку, принесенному им в жертву той же системе, и эта скорбь низко склонила седую голову, некогда носившую корону германского императора. И по сию пору бедный император является истинным представителем несчастной Германии!

О Пруссии мы смеем говорить в ином тоне. Тут по крайней мере нас не сковывает почтение к святости германской императорской главы. Пусть ученые холопы на берегах Шпрее грезят о великом императоре Бруссского государства и провозглашают гегемонию и протекторат Пруссии. Но до сих пор длинным пальцам Гогенцоллернов не удалось еще схватить корону Карла Великого и засунуть ее в мешок вместе со множеством награбленных

драгоценностей из Польши и Саксонии. Корона Карла Великого висит еще слишком высоко, и я очень сомневаюсь, чтобы она опустилась когда-либо на игривую голову государя, украшенного золотыми шпорами, которого его бароны уже чтут как будущего восстановителя рыцарства. Я скорее думаю, что его королевское высочество, вместо того чтобы стать преемником Карла Великого, станет всего лишь преемником Карла X и Карла Брауншвейгского.

Правда, еще недавно многие друзья отечества желали расширения Пруссии и надеялись увидеть ее королей государями объединенной Германии, им удалось даже любовь к отечеству поймать на удочку, и появился прусский либерализм, и уже друзья свободы доверчиво обращали взоры к берлинским липам. Что до меня, я никогда не разделял этого доверия. Напротив, я с тревогой созерцал этого прусского орла, и пока другие восторгались, как смело он глядит на солнце, я все более пристально следил за его когтями. Я не верил этой Пруссии, этому долговязому лицемерно-набожному герою в гамахах и с просторным желудком, большою пастью и капральской палкой, которую, прежде чем ударить ею, он опускает в святую воду. Мне не нравилась эта философически-христианская солдатчина, эта смесь белого пива, обмана и песка. Противна, глубоко противна была мне эта Пруссия, напыщенная, лицемерная, ханжеская Пруссия, этот Тартюф среди государств.

Наконец, когда Варшава пала, пал и мягкий благодетельный плащ, в который Пруссия умела так красиво драпироваться, и даже самые близорукие увидели железный панцирь деспотизма, скрытый под ним. Этим целетельным разочарованием Германия обязана несчастью поляков.

Поляки! Кровь трепещет у меня в жилах, когда я пишу это слово, когда я думаю о том, как вела себя Пруссия с этими благороднейшими детьми несчастья — как трусливо, как низко, как коварно! От внутреннего отвращения историк не сможет найти слов, когда, например, ему нужно будет рассказать, что произошло в Фишау; скорее палачу пристало описывать те бесчестные подвиги... Я слышу, как шипит уже раскаленное железо на тощей спине Пруссии!

На днях я читал во «Всеобщей газете», что тайному советнику Фридриху фон Раумеру, который недавно стяжал себе репутацию королевско-прусского революционера, заявив в качестве члена цензурной комиссии протест против чрезмерных запретительных строгостей, поручено теперь оправдать поведение прусского правительства в отношении поляков. Сочинение окончено, и автор уже получил за него свои двести талеров прусской ходячей монетой. Между тем, как мне передают, оно, по мнению укермаркской камарильи, написано все-таки еще недостаточно раболепно. Хоть это обстоятельство и кажется весьма ничтожным, все же оно достаточно значительно, чтобы охарактеризовать дух правителей и их подчиненных. Я случайно знаю бедного Фридриха фон Раумера: я иногда видел, как он гулял Под Липами в своем серо-синем сюртучишке и сине-серой военной шапочке; я как-то видел его на кафедре, когда он рассказывал о смерти Людовика XVI и пролил при этом несколько королевско-прусских чиновничьих слез. Потом я читал в дамском альманахе его «Историю Гогенштауфенов»; я также знаю его «Письма из Парижа», в которых он сообщает госпоже Крелинггер и ее супругу свои мнения о здешней политике и о здешнем театре. Это — вполне миролюбивый человек, спокойно ждущий в хвосте. Из всех посредственных писателей он еще наилучший, и притом он не совсем лишен соли и у него есть некоторая внешняя эрудиция, и потому-то он напоминает старую сухую селедку, завернутую в ученую макулатуру. Повторяю, это — миролюбивейшее существо, которое всегда спокойно давало своим начальникам навьючивать на себя мешки и послушно трусило с ними на служебную мельницу, порою лишь останавливаясь там, где слышались звуки музыки. Каким же низким в своей жажде притеснений должно было явить себя правительство, если даже какой-то Фридрих фон Раумер потерял терпение и встал на дыбы, не пожелав более трусить дальше, и даже заговорил человеческим языком! Может быть, он увидел по дороге ангела с мечом, которого берлинские Валаамы еще не видят в своем ослеплении? Ах! Они с самыми благими намерениями надавали бедной твари пинков, они кололи ее своими золотыми шпорами, они били ее уже в третий раз. А народ борусский — и по этому можно судить

о его состоянии — прославил своего Фридриха фон Раумера как Аякса свободы.

Этим королевско-прусским революционером и воспользовались сейчас для составления апологии поведения Пруссии по отношению к Польше, чтобы восстановить в глазах общественного мнения честь берлинского кабинета.

О, эта Пруссия! Как она умеет пользоваться людьми! Она умеет извлекать выгоду даже из своих революционеров. Для своих государственных комедий она нуждается в фигурантах всех цветов. Она пускает в ход даже зебр с трехцветными полосами. Так, в последние годы она пользовалась своими яростнейшими демагогами, чтобы они проповедовали повсюду, что вся Германия должна стать прусской. Гегель должен был оправдывать рабство и существующее объявлять разумным. Шлейермахер должен был протестовать против свободы и поучать христианскому смирению перед волей высших. Возмутительно и бесчестно пользоваться так философами и теологами, влиянием которых на простой народ хотят воспользоваться и которых принуждают публично позорить себя изменой разуму и богу! Сколько прекрасных имен, сколько чудных талантов погибает там ради недостойнейших целей! Как прекрасно было имя Арндта, прежде чем он, по приказанию свыше, написал мерзкую книжонку, в которой виляет хвостом, словно пес, и, подобно вандальской собаке, лает на июльское солнце. Штегеман — имя, так прекрасно звучавшее, — сколь низко он пал с тех пор, как сочинил свои русские песни! Да простит ему это муза, для лучших песен освятившая некогда своим священным поцелуем его уста. Что сказать мне о Шлейермахере, кавалере ордена Красного Орла третьей степени? Когда-то он был рыцарем более славного ордена и сам был орлом и принадлежал к первой степени. Но губят не одних только великих, а также и малых. Вот бедный Ранке, которого прусское правительство на свой счет посылало на некоторое время путешествовать; у него был приятный талант — он умел вырезать маленькие исторические фигурки и живописно приклеивать их одну возле другой, добрейшая душа, нежная, как баранина с тельтовской репкой, невиннейший человек, которого я, если когда-нибудь женюсь, изберу другом дома, и притом,

разумеется, либерал, — и он-то должен был недавно напечатать в правительственной газете апологию постановлений сейма. Другие стипендиаты, которых я не хочу называть, должны были проделать то же самое, и все же они вполне либеральные люди.

О, я их знаю, этих северных иезуитов! Тот, кто когда-либо по нужде или по легкомыслию принял от них хоть самую малость, навсегда попадает к ним в лапы. Как ад не отпускает Прозерпину, потому что она вкусила там гранатное зернышко, так и иезуиты не отпускают человека, который принял от них хоть самую безделицу, будь то одно-единственное зернышко золотого яблока или, выражаясь прозаически, всего один лишь луидор; едва разрешают они ему, как ад — Прозерпине, проводить полгода в надземном мире. В это время подобные люди являются людьми света, и садятся рядом с нами, олимпийцами, и говорят и пишут божественно либерально; все же в положенный час они снова спускаются во тьму ада, в царство обскурантизма, и сочиняют прусские апологии, статьи против «Messenger»,¹ проекты законов о цензуре или даже оправдание постановлений сейма.

Последние, то есть решения сейма, я не могу оставить без обсуждения. Я не буду опровергать их казенных защитников и тем более пытаться, как часто бывало, доказывать незаконность этих решений. Так как я хорошо знаю, что за люди изготовили документ, на который опираются эти постановления, то я нимало не сомневаюсь, что этот документ, а именно Венский союзный акт, содержит законнейшие основания для всякой деспотической прихоти. До сих пор мало пользовались этим мастерским произведением благородного юнкерства, и содержание этого документа могло быть народу безразлично. Но теперь, когда оно, это мастерское произведение, выставлено на ясный дневной свет, когда настоящие красоты этого произведения — тайные пружины, скрытые кольца, к которым может быть прикреплена любая цепь, капканы, потайные железные ошейники, застеночные обручи — словом, вся хитрая искусная работа делается зримой для всех, — теперь всякий видит, что немецкий народ, после того как он ради своих государей пожертвовал добром своим и

¹ «Вестника» (франц.).

кровью и в благодарность должен был бы принять обещанную награду, был безбожнейшим образом обманут, что с нами разыграли дерзкую шутку, что вместо обещанной Великой хартии свободы для нас изготовили письменно закрепленное рабство.

В силу моей компетенции как доктора обоих прав я торжественнейше заявляю, что подобный документ, сфабрикованный предателями-депутатами, недействителен и незаконен; в силу моего долга как гражданина я протестую против всех выводов, которые в постановлениях сейма от 28 июня сделаны из этого недействительного акта; в силу моих полномочий как публично высказывающегося писателя я возбуждаю против изготовителей этого документа обвинение и обвиняю их в злоупотреблении доверием народа, я обвиняю их в оскорблении народного величества, я обвиняю их в измене немецкому народу, — да, я обвиняю их!

Бедные немцы! Пока вы отдыхали от боев за ваших государей, и хоронили братьев, павших в этих боях, и перевязывали другу другу ваши честные раны, и, улыбаясь, смотрели, как еще струится кровь из вашей груди, переполненной радостью и доверием, радостью за любимых спасенных государей, доверием к священнейшему для человека чувству благодарности, — в то самое время там, на юге, в Вене, в старых кузницах аристократии, ковался союзный акт!

Странное дело! Тот самый монарх, который больше всего был обязан своему народу и потому обещал ему представительное правление, национальную конституцию, какую обладают другие свободные народы, обещал во дни бедствий черным по белому, обещал в решительнейших выражениях, — этот монарх сумел теперь склонить к нарушению клятвы и к предательству также и других немецких монархов, считавших себя обязанными дать своим подданным свободное правление, и он опирается теперь на Венский союзный акт, чтобы свести на нет едва расцветшие немецкие конституции, — он, которому нельзя было бы не краснеть произносить слово «конституция».

Я говорю о его величестве Фридрихе-Вильгельме, третьем этого имени короле прусском!

При том монархическом образе мыслей, какого я всегда придерживался и, вероятно, буду придерживаться впредь,

подвергать слишком суровой хуле особу государей противоречит моим правилам и чувствам. Я гораздо более склонен восхвалять их добрые качества. Поэтому я охотно хвалю личные добродетели монарха, систему управления которого — или, вернее, его кабинет — я только что подверг такой откровенной критике. Я с удовольствием отмечаю, что Фридрих-Вильгельм III как человек заслуживает то высокое уважение и ту любовь, которыми столь щедро дарит его большая часть прусского народа. Он добр и храбр. Он явил себя стойким в несчастьи и, что бывает гораздо реже, кротким в счастии. Он чист сердцем, трогательно скромн, бюргерски непритязателен, он прекрасный семьянин, нежный отец, он особенно нежен к прекрасной царице, и его нежности мы, быть может, обязаны холерой и еще бльшим злом, с которым бороться будут лишь наши потомки. Кроме того, король прусский очень верующий человек, он твердо стоит за веру, он добрый христианин, он строго придерживается евангелического исповедания, он сам сочинил литургию, он верит в символы... Ах, я хотел бы, чтобы он верил в Юпитера, отца богов, который отмщает клятвопреступление, и чтобы он дал нам, наконец, обещанную конституцию!

Или слово короля не столь же свято, как клятва?

Из всех добродетелей Фридриха-Вильгельма более всего, однако, восхваляют его справедливость. О ней рассказывают трогательные истории. Еще недавно он из своей личной кассы пожертвовал добрых 11 227 талеров 13 грошей, чтобы удовлетворить законные притязания мещанина из Кирица. Рассказывают, что сын мельника в Сан-Суси, нуждаясь в деньгах, хотел продать знаменитую ветряную мельницу, из-за которой его отец тягался с Фридрихом Великим. Нынешний король велел, однако, ссудить нуждающемуся большую сумму, чтобы знаменитая ветряная мельница осталась в прежнем виде, как памятник прусской справедливости. Все это очень мило и похвально, но только где же обещанная конституция, на которую прусский народ, по закону божескому и человеческому, имеет самые неотъемлемые права? Доколе прусский король не исполнит этой священнойшей obligation,¹ доколе он будет лишать свой народ заслуженной

¹ Обязанности, обязательства (лат.).

свободной конституции, я не смогу назвать его справедливым, и когда я вижу ветряную мельницу в Сан-Суси, я думаю не о прусской справедливости, а о прусской ветрености.

Я хорошо знаю, что литературные наемники утверждают, будто король прусский обещал эту конституцию лишь по своей прихоти, — обещание, совершенно не связанное с обстоятельствами времени. Глупцы! Лишенные сердца, они не чувствуют, что когда людей лишают того, что им следует по праву, это их оскорбляет гораздо меньше, чем когда им отказывают в том, что было им обещано просто из любви, ибо в подобных случаях задевают еще и наше самолюбие, так как мы видим, что человек, давший нам обещание по доброй воле, уже не так дорожит нами.

Или в самом деле только личная прихоть, совершенно не связанная с обстоятельствами времени, заставила некогда короля Пруссии обещать своему народу свободную конституцию? Значит, он даже и тогда не собирался быть благодарным? А у него было к тому так много оснований, ибо никогда монарх не находился в положении более жалком, чем то, в котором король прусский очутился после битвы при Иене и из которого он был спасен своим народом. Если бы к его услугам не находились тогда утешения религии, он должен был бы впасть в отчаяние от того презрения, с каким относился к нему император Наполеон. Но, как уже сказано, он находил утешение в христианстве, которое и вправду является лучшей религией после проигранной битвы. Его подкреплял пример его спасителя. Он тоже мог сказать: «Царство мое не от мира сего!» И он простил своим врагам, которые заняли всю Пруссию с помощью четырехсоттысячной армии. Если бы Наполеон не был тогда поглощен гораздо более важными делами, которые не давали ему слишком много думать о его величестве Фридрихе-Вильгельме III, он бы, наверно, дал ему полную отставку. Впоследствии, когда все короли Европы сплотились против Наполеона, и человек народа был побежден в этом бунте князей, и прусский осел нанес умирающему льву последние удары копытом, тогда он раскаялся — но слишком поздно — в этом упущении. Когда он в своей дервянной клетке на Святой Елене расхаживал взад и вперед и ему приходило на память, что он ублажал папу и забыл раздавить

Пруссию, он скрежетал зубами, и если тогда ему под ноги попадалась крыса, он давил бедную крысу.

Наполеон теперь мертв и лежит в своем плотно закрытом свинцовом гробу под песком Лонгвуда на острове св. Елены. Кругом море. Значит, его вам нечего бояться. И последних трех богов, оставшихся еще на небе, — отца, сына и святого духа, — вам также нечего бояться, потому что вы в хороших отношениях с их святой челядью. Вам нечего бояться, потому что вы могучи и мудры. У вас есть золото и ружья, а все, что продается, вы можете купить, и все, что смертно, вы можете умертвить. Против вашей мудрости также нельзя устоять. Каждый из вас — Соломон, и жаль, что царицы Савской, красавицы, уже нет в живых: вы бы ее разгадали до самой рубашки. Еще есть у вас и железные горшки, куда вы можете запрятать тех, кто загадывает вам загадки, которых вы вовсе не хотите знать, и вы можете запечатать и погрузить их в море забвения. Совсем как царь Соломон. Подобно ему, вы также понимаете язык птиц. Вы знаете все, о чем насвистывают и щебечут в стране, а не нравится вам пенье какой-нибудь птицы — на то у вас есть большие ножницы, которыми вы ей как следует подрезываете клюв, и, как слышно, вы собираетесь завести еще ббльшие ножницы для тех, чья песня превышает двадцать листов. Притом у вас на службе состоят умнейшие птицы: воё соколы, всё вороны, да еще черные, всё павы, всё совы. И жив еще старый Симург, и он у вас великий визирь, а это самая умная птица на свете. Он снова хочет сделать государство совершенно таким, каким оно было при доадамовских султанах, и потому он день и ночь неутомимо кладет яйца, и во Франкфурте их высиживают. Гудгуд, аккредитованный удод, носится между тем по бранденбургским пескам с хитрейшими депешами в клюве. Вам нечего бояться.

Только одного я бы советовал вам бояться — «Mopiteur»¹ 1793 года. Это — магическая книга, которую вам не заковать в цепи, и есть в ней слова заклятий, которые много могущественнее, чем золото и ружья, слова, которыми мертвых можно вызвать из могил и живых послать на смерть, слова, которые из карликов делают великанов,

¹ «Всеобщего вестника» (франц.).

а великанов обращают в прах, слова, которые рассекают всю вашу мощь, как нож гильотины — королевскую шею.

Я открою вам правду. Есть люди, у которых достаточно храбрости, чтобы выговорить те слова, и которые не боялись бы явления самых страшных духов, но они как раз не умели найти в книге нужное слово, да и не были бы в силах выговорить его своими толстыми губами; они не чародеи. Другие же, хотя и знакомы с волшебным жезлом, и могли бы найти нужное слово, и были бы в состоянии выговорить его своим чародейским языком, были робки сердцем и испугались духов, которых должны были заклинять; ибо, увы, мы не знаем словца, которым укрощают духов, когда шабаш в разгаре; мы не знаем, как вернуть пробужденные к жизни метлы снова в их деревянное состояние неподвижности, когда они наполняют дом красной водой; мы не знаем, как заговаривать огонь, если он слишком уж бешено начинает лизать все кругом; мы побоялись.

Но не полагайтесь на наше бессилие и нашу боязнь. Замаскированный муж века, у которого столь же отважное сердце, сколь искусный язык, и который знает великое слово заклятия и в силах выговорить его, стоит, быть может, уже вблизи вас. Может быть, он наряжен в лакейскую ливрею или даже в костюм арлекина, и вы не подозреваете, что это ваш губитель покорно разувает вас или смешит вас своими дурачествами. Не становится ли вам жутко порой, когда раболопные фигуры с почти насмешливым подобострастием ходят вокруг вас, виляя хвостом, и вам внезапно приходит на ум: уж не хитрость ли это, пожалуй? А этот несчастный, что ведет себя таким идиотом-абсолютистом, суетится с такой скотской покорностью, — уж не тайный ли он Брут? Не снятся ли вам иногда ночью сны, предостерегающие вас от мельчайших, ничтожнейших червей, которых днем вы случайно видели ползающими? Не пугайтесь! Я только шучу: вы в полной безопасности. Наши глупые малые, эти подхалимы, нисколько не притворяются. Даже Ярке не опасен. Будьте спокойны и насчет тех маленьких шутов, что иногда шутят с вами двусмысленные шутки. Большой шут охранит вас от малых. Большой шут — великий шут, он великан, и имя ему — немецкий народ.

О, это великий шут! Его пестрый кафтан состоит из тридцати шести заплат. Его дурацкий колпак вместо бубенчиков сплошь увешан многопудовыми церковными колоколами, и в руке он держит огромную железную палку. Но грудь его полна страданий. Только он не хочет думать об этих страданиях и тем веселее откалывает шутки, и порой он смеется, чтобы не плакать. Если же страдания, пробуждаясь в памяти, становятся слишком жгучими, тогда он как безумный трясет головой и сам себя оглушает христиански-благотельным звоном своего колпака. Если его навещает добрый друг, который желает участливо поговорить с ним о его страданиях или даже советует ему какое-нибудь домашнее средство от них, тогда он приходит прямо в бешенство и бьет друга железной палкой. Вообще его приводит в бешенство всякий, кто желает ему добра. Он злейший враг своих друзей и лучший друг своих врагов. О, величайший шут всегда останется верен и покорен вам; своими исполинскими дурачествами он всегда будет потешать ваших барчуков; он каждый день ради их забавы будет проделывать свои старые фокусы, и балансировать на носу неисчислимыми тяжестями, и позволять топтаться у себя на брюхе сотням тысяч солдат. Но неужели вам совсем не страшно, что когда-нибудь все эти тяжести станут ему неважною и что он стряхнет с себя ваших солдат и, разыгравшись, вам самим придавит голову своим мизинцем так, что мозг ваш брызнет до самых звезд?

Не пугайтесь: я только шучу. Великий шут пребудет верноподданнически покорен вам, и если малые шуты захотят вас обидеть, великий шут убьет их.

Писано в Париже 18 октября 1832 г.

Генрих Гейне



Vive la France! Quand même...¹

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Париж, 28 декабря 1831 г.

Наследственные пэры произнесли теперь свои *last speeches* ² и оказались настолько умны, что сами объявили себя мертвыми, чтобы не быть убитыми народом. Этот довод с особой настойчивостью приводил им Казимир Перье. Таким образом, с этой стороны больше нет повода к восстаниям. Между тем положение народных низов в Париже, по слухам, так безнадежно, что при малейшем внешнем поводе может произойти восстание более страшное, чем обычно. Я, однако, не думаю, что мы столь близки к подобным вспышкам, как утверждают сейчас. Не то чтобы я считал правительство слишком уж могущественным, а враждебные ему партии очень уж бессильными. Напротив, правительство обнаруживает свою слабость при каждом случае; в частности, это проявилось во время лионских беспорядков. А что касается враждебных партий, то они достаточно озлоблены и могли бы, кроме того, найти отличнейшую поддержку у тысяч, которые умирают в нищете. Но сейчас стоит холодная и туманная зимняя погода.

¹ Да здравствует Франция! Несмотря ни на что... (*франц.*).

² Последние речи (*англ.*).

«Сегодня вечером они не придут, потому что идет дождь», — сказал Петион, растворив окно и снова спокойно закрыв его, тогда как друзья его, жирондисты, ожидали нападения со стороны народа, который на них натравливала партия Горы.

Этот анекдот рассказывают в историях революции, чтобы показать флегматичность Петиона. Но с тех пор как я собственными глазами изучаю природу парижских народных восстаний, я вижу, как неправильно понимались эти слова. Для хороших восстаний требуется действительно хорошая погода, ласковый солнечный свет, приятно теплый день, и оттого в июне, июле и августе они удавались всего лучше. При этом также не должно быть и дождя, потому что парижане больше всего боятся дождя. Он разгоняет сотни тысяч мужчин, женщин и детей, по большей части принаряженных, когда они весело устремляются на поля битв и своей численностью возбуждают храбрость бойцов. Не должно быть и тумана, иначе нельзя читать большие плакаты, которые правительство приказывает развешивать на перекрестках улиц. А это чтение должно ведь вызвать стечение людей в определенных местах, где они лучше всего могут толкаться, тесниться и воодушевляться своим собственным шумом. Гизо, педант почти немецкого склада, будучи одним из правителей Франции, желал показать в таких плакатах свои философско-исторические познания, и, как уверяют, именно потому, что толпы народа не могли особенно легко справиться с этим чтением и всё стремительнее разрастались на углах улиц, восстание оказалось настолько серьезным, что бедный доктринер, жертва собственной учености, должен был отказаться от своего поста. Но что, пожалуй, всего важнее — в холодную погоду нельзя читать газет в Пале-Рояле, а ведь это как раз то самое место, где под прекрасными деревьями собираются группами самые яростные политики, читают газеты, неистово дискутируют и во все стороны расточают свое вдохновение.

Теперь стало очевидно, как несправедливо судили о покойном герцоге Орлеанском, Филиппе Эгалите, приписывая ему верховное руководство большинством народных восстаний только потому, что установлено было, будто Пале-Рояль, где он жил, служил для них центром. В этом году Пале-Рояль все еще являлся таким центром; он все

еще был местом сборищ всех беспокойных голов; он все еще был штаб-квартирой недовольных. А ведь теперешний его владелец, конечно, не созывал народ и не подкупал его. Дух революции не хотел покинуть Пале-Рояль, хотя владелец его стал королем. Он даже был вынужден отказаться от своего прежнего жилища. Говорили о различных опасениях, будто бы подавших повод к этой перемене квартиры, а именно — о страхе перед французской копией порохового заговора. Конечно, поскольку верхнюю часть дворца занимал король, а нижний этаж сдавался под лавки, легко было бы притащить бочки с порохом и с большим удобством взорвать его величество. Другие думали, что неприлично было Луи-Филиппу править наверху, в то время как внизу господин Шеве продавал свои колбасы. Но ведь последнее — столь же почтенное дело, и королю-буржуа не стоило бы съезжать из-за этого, особенно Луи-Филиппу, который еще в прошлом году издевался над всякими феодальными и цесарскими обыкновениями и костюмами и говорил некоторым юным республиканцам, что золотая корона слишком холодна зимой и слишком горяча летом, скипетр слишком туп, чтобы пользоваться им как оружием, и слишком короток, чтобы служить палкой, и что гораздо полезнее в нынешнее время круглая фетровая шляпа и хороший зонтик.

Не знаю, помнит ли еще Луи-Филипп эти слова, ибо много времени прошло уже с тех пор, как он в последний раз гулял по Парижу в круглой шляпе и с зонтиком и с утонченной искренностью разыгрывал роль простого, прямодушного отца семейства. Он каждому торговцу москательными товарами и ремесленнику пожимал тогда руку, и для этого была у него, говорят, особенно грязная перчатка, которую он всякий раз снимал и менял на более чистую лайковую перчатку, когда снова подымался в свой высший мир, к своим старым дворянам, банкирам-министрам, интриганам и амарантово-красным лакеям. Когда я видел его в последний раз, он прогуливался взад и вперед между золотыми башенками, мраморными вазами и цветами по террасе Орлеанской галереи. На нем был черный сюртук, а на широком лице сияла беспечность, внушающая нам почти что ужас, если подумать о головокружительном положении этого человека. Гово-

рят, впрочем, что душа его отнюдь не так беспечна, как его лицо.

Конечно, достойно порицания, что лицо короля избирают предметом стольких шуток и что оно выставлено в витринах всех торговцев карикатурами как мишень для насмешек. В тех случаях, когда суды хотят положить конец этой дерзости, зло обычно усугубляется. Мы видели недавно, что из подобного процесса вырос еще один процесс, причем король был еще более скомпрометирован. Так, Филиппон, издатель журнала карикатур, заявил в своей защитительной речи, что если в какой-нибудь роже на карикатуре пожелать найти сходство с лицом короля, то его можно отыскать, как только этого пожелают, даже в любом, хотя бы и очень отдаленном изображении, и в конце концов никто не будет гарантирован от обвинения в оскорблении величества. Для подтверждения своих слов он на куске бумаги нарисовал несколько карикатурных лиц, из которых первое было поразительно похоже на короля, второе же походило на первое, но так, что сходство с королем не было слишком заметно; третье лицо походило на второе, а четвертое на третье, однако же так, что это четвертое лицо совсем напоминало грушу и все-таки представляло слабое, но тем более забавное сходство с чертами любимого монарха. Так как присяжные заседатели всё же признали Филиппона виновным, то он напечатал у себя в журнале свою защитительную речь и в качестве одного из доказательств приложил к ней литографированный листок со своими четырьмя карикатурами. За эту литографию, известную под названием «Груши», остроумный художник опять был привлечен к ответственности, и от нового процесса ожидают забавнейшей путаницы. Я думаю, Луи-Филипп — не бесчестный человек, он наверно не хочет зла, и ошибка его только в том, что он не понимает собственного жизненного принципа. Это может погубить его. «Ибо, — как глубокомысленно говорит Саллюстий, — правительства могут держаться лишь тем, из чего они возникли». Так, например, правительство, основанное на насилии, может держаться тоже только насилием, а не хитростью, и наоборот; Луи-Филипп забыл, что его правление родилось из принципа народного суверенитета, и в плачевнейшем заблуждении он пытается укрепить свое положение каким-то квази-

легитимизмом, сближением с неограниченными монархами и продолжением порядков периода Реставрации. Поэтому-то духи революции теперь негодуют и, принимая разные личины, нападают на него. Эта борьба во всяком случае еще более законна, чем борьба против прежнего правительства, которое ничем не было обязано народу и с самого же начала явно враждебно противопоставило ему себя. Луи-Филипп, который обязан короной народу и булыжникам июльских мостовых, — неблагодарный человек, и его отступничество тем более прискорбно, что с каждым днем становится все более ясно, какому грубому обману здесь поддались. Да, каждый день делаются явные шаги вспять, и подобно тому как камни мостовой, которыми в июльские дни пользовались в качестве оружия и которые с тех пор еще лежали в некоторых местах нагроможденные кучами, теперь снова спокойно вбивают в землю, чтобы не оставалось никаких видимых следов революции, — так и народ втаптывают на прежнее место и снова попирают ногами.

Выше я забыл отметить: к числу причин, которые, как говорят, заставили короля покинуть Пале-Рояль и переехать в Тюильри, относился также и слух, будто он принял корону лишь для вида, будто в душе он остался верен своему законному повелителю, Карлу X, что он подготавливает его возвращение и оттого не переезжает в Тюильри. Этот слух пустили карлисты, и он был достаточно нелеп, чтобы заслужить доверие в народе. Теперь этот слух опровергнут на деле: сын Эгалите, наконец, вступил победителем через триумфальные ворота площади Карусель и разгуливает с беспечным лицом, в шляпе и с зонтиком, по всемирно-историческим покоям Тюильри. Говорят, королева сильно восставала против переезда в этот «дом несчастья». О короле рассказывают, что в первую ночь ему спалось не так хорошо, как всегда, и что его посетили разные призраки. Так, он будто бы видел Марию-Антуанетту, носившуюся по комнатам с раздувающимися от гнева ноздрями, как некогда в день 10 августа; потом он слышал лукавый смехок того красного человечка, который явственно смеялся иногда и за спиной Наполеона, в то время как последний раздавал в зале аудиенций свои горделивейшие приказы; под конец же к нему явился святой Дени и от имени Людовика XVI вызвал его на дуэль на гильотине.

Святой Дени, как всякий знает, — покровитель королей Франции; как известно, этого святого изображают держащим в руке собственную голову.

Опаснее всех призраков, притаившихся внутри дворца, те глупости, которые творятся при производстве наружных строительных работ. Я имею в виду пресловутые fossés des Tuileries.¹ Они долгое время были главным предметом разговоров как в салонах, так и на перекрестках, и до сих пор не выходят из сферы горьких и злобных обсуждений. Пока перед садовым фасадом Тюильри еще стояли высокие дощатые заборы, скрывавшие работы от глаз публики, о них строили нелепейшие предположения. Большинство полагало, что король хочет укрепить дворец, и притом со стороны сада, откуда народ смог некогда, в день 10 августа, так легко ворваться. Говорили даже, что из-за этого будет снесен Королевский мост. Другие полагали, будто король хочет лишь воздвигнуть длинную стену, чтобы закрыть для себя вид на площадь Согласия; что это, впрочем, делается не из детского страха, а из чуткой впечатлительности, ибо отец его умер на Гревской площади, площадь же Согласия служила местом казней для старшей линии. Между тем и на сей раз, как это часто случается с бедным Луи-Филиппом, к нему были несправедливы. Когда таинственные дощатые заборы перед дворцом были убраны, не оказалось ни укреплений, ни валов, ни рвов, ни бастионов — ничего, кроме глупости да цветов. Королю, при его страсти к постройкам, пришла только мысль — отделить от большого общественного сада маленький садик перед дворцом для себя и для своей семьи; это достигнуто было посредством обыкновенной канавы и проволочной решетки в несколько футов вышины, и на разбитых клумбах уже красовались цветы, столь же невинные, как и сама эта садовая затея короля.

Но Казимир Перье, говорят, был сильно разгневан этой невинной затеей, осуществленной без его ведома. Ибо она, как бы то ни было, подает повод к справедливому негодованию публики, недовольной тем, что изуродовали весь сад, мастерское создание Ленотра, которое производит такое сильное впечатление именно своим величественным ансамблем. Это ведь совершенно то же, что

¹ Тюильрийские рвы (франц.).

выкинуть несколько сцен из Расиновой трагедии. Английские сады и романтические драмы все же можно сокращать без ущерба, а иногда и с пользой; но поэтические сады Расина с их божественно скучными единствами, патетическими мраморными статуями, размеренными выходами и строгой стрижкой, так же как и зеленая трагедия Ленотра, столь величественно начинающаяся широкой экспозицией Тюильри и столь величественно завершаемая возвышенной террасой, откуда открывается вид на катастрофу площади Согласия, — не могут быть подвергнуты ни малейшему изменению без ущерба для их симметрии, а следовательно, и их красоты. Кроме того, эта несвоевременная садовая затея еще вредит королю и по другим причинам. Во-первых, от этого он еще чаще становится предметом разговоров, что для него вряд ли особенно полезно; во-вторых, из-за этого непосредственной близости от него постоянно собирается толпа зевак, которые пускаются в разные сомнительные толкования; глаза по сторонам, они, может быть, только стараются заглушить голод, но во всяком случае у них длинные праздные руки. Там можно слышать горько-язвительные замечания и красные шуточки, напоминающие о девяностых годах. У одного из входов в новый сад стоит бронзовая копия «Человека, точащего ножи» — статуя, оригинал которой можно видеть во Флоренции в «Трибуне» и о значении которой существуют разные мнения. Но здесь, в Тюильрийском саду, я слышал кое-какие новейшие толкования ее смысла, которые вызвали бы у иных антикваров усмешку сожаления, а у иных аристократов — тайную дрожь.

Конечно, эта садовая затея — величайшая глупость и навлекает на короля самые злобные нарекания. Ей можно даже дать символическое истолкование: Луи-Филипп проводит ров между собой и народом, он внешне отделяет себя от него. Что же, он так мелочно воспринял и так близоруко понял сущность конституционной монархии, что думает, будто он, оставляя для народа большую часть сада, с тем большим правом может владеть меньшей частью, как своим собственным садиком? Нет, абсолютная монархия с ее величаво-эгоистическим Людовиком XIV, который вместо «L'État c'est moi»¹ мог также сказать:

¹ «Государство — это я» (франц.).

«Les Tuileries c'est moi»,¹ должна казаться более величественной, чем конституционный народный суверенитет с его Луи-Филиппом I, боязливо отгораживающим себе собственный садик и требующим жалкого *chacun chez soi*.² Говорят, все работы будут закончены весною. Тогда и новая монархия, которая пока так мало отстроена и стоит еще свежоштукатуренной, примет несколько более законченный вид. Теперешний вид ее в высшей степени необычен. В самом деле, когда смотришь теперь на Тюильри со стороны сада и видишь, как там копают и перерывают землю, переносят статуи, сажают деревья, лишённые листья, видишь старый каменный мусор, новые строительные материалы и все эти переделки, а кругом слышишь такой стук, крики, смех, шум, то кажется, будто перед тобой — символ новой, еще не dokonченной монархии.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Париж, 19 января 1832 г.

«Temps»³ замечает сегодня, что «Всеобщая газета» печатает сейчас статьи, враждебные королевской семье, и что немецкая цензура, не позволяющая обычно никаких неодобрительных суждений о неограниченных монархах, нимало не щадит короля-гражданина. «Temps» как-никак умнейшая газета на свете! Несколькими спокойными словами она достигает своих целей гораздо скорее, чем другие самой неистовой полемикой. Ее хитрый намек был достаточно понят, и я по крайней мере знаю одного либерального писателя, который теперь считает противным своей чести говорить с разрешения цензуры что-либо враждебное королю-гражданину, чего ему не разрешили бы, если бы дело шло о короле абсолютном. Но пусть зато Луи-Филипп доставит нам удовольствие — пусть он останется королем-гражданином. Именно потому, что с каждым днем он все более напоминает королей абсолютных, нам приходится негодовать на него. Как человек он, наверно, безукоризненно честен, он — достойный уважения

¹ «Тюильри — это я» (франц.).

² Каждый у себя (франц.).

³ «Время» (франц.).

отец семейства, нежный супруг и хороший хозяин. Но прискорбно, что он велит срубать все деревья свободы и срывает с них прелестный лиственный убор, чтобы смастерить подпорки для шатающегося Орлеанского дома. Поэтому, только поэтому сердится на него либеральная пресса, и духи истины ради борьбы с ним не гнушаются даже ложью. Весьма грустно, прямо-таки достойно слез, что из-за этой тактики должна страдать даже семья короля, столь же невинная, сколь и симпатичная. В этом отношении немецкая либеральная пресса, менее остроумная, но более чувствительная, чем ее старшая французская сестра, не дает повода к упрекам в жестокости. «Вы по крайней мере должны были иметь сострадание к королю!» — восклицал недавно миролюбивый «Journal des Débats». ¹ «Сострадание к Луи-Филиппу! — возразила «Tribune». ² — Этот человек требует пятнадцати миллионов и нашего сострадания! Имел он сострадание к Италии, к Польше и т. д.?» Я на днях видел несовершеннолетнего сироту Менотти, отец которого был повешен в Модене. Видел я также недавно сеньору Луизу де Торрихос, несчастную, смертельно бледную женщину, поспешно возвратившуюся в Париж после того, как на испанской границе она узнала о казни своего мужа и пятидесяти двух товарищей его по несчастью. Ах, я, право, чувствую сострадание к Луи-Филиппу!

«Tribune», орган открыто республиканской партии, не знает пощады к своему врагу — монархии и каждый день проповедует республику. «National», ³ самая неумолимая и самая независимая газета Франции, поразительнейшим образом стала с недавних пор вторить в том же тоне. Жутко, словно отклик самых кровавых дней Конвента, прозвучали речи тех главарей «Société des amis du peuple», ⁴ что на прошлой неделе предстали пред судом по обвинению в «заговоре против существующего правительства с целью свержения его и установления республики». Они были оправданы присяжными заседателями, так как доказали, что отнюдь не состояли в заговоре, а, напротив, выражали свое мнение перед лицом всей публики.

¹ «Дневник прений» (франц.).

² «Трибуна» (франц.).

³ «Национальная газета» (франц.).

⁴ «Общества друзей народа» (франц.).

«Да, мы хотим падения этого слабого правительства, мы хотим республики!» Таков был рефрен всех их речей перед судом.

Между тем как, с одной стороны, серьезные республиканцы обнажают мечи и негодуют в громовых речах, «Фигаро» блещет и хохочет и достигает наибольшего эффекта, пощелкивая своим легким бичом. Он неистощим в насмешках над «лучшей из республик» — выражение, которым точно так же дразнят и бедного Лафайета, ибо, как известно, однажды перед зданием городской ратуши он обнял Луи-Филиппа и воскликнул: «Vous êtes la meilleure république!»¹ «Фигаро» заметил на днях, что республики уже не требуют с тех пор, как увидели лучшую. Столь же убийственно выразился он по поводу прений о смете расходов на двор: «La meilleure république coûte quinze millions».²

Республиканская партия никогда не простит Лафайету его промаха в отношении короля, которого он предложил. Она ставит ему в упрек, что он достаточно давно был знаком с Луи-Филиппом и мог бы заранее знать, чего ждать от него. Лафайет теперь болен от горя. Ах, благороднейшее сердце Старого и Нового Света — как мучительно должно оно ощущать этот королевский обман! Тщетно Лафайет напоминал в первое время о «Programme de l'hôtel de ville»,³ о республиканских установлениях, которые должны были окружить королевскую власть, и подобных же обещаниях. Но его перекричали те болтуны-доктринеры, которые примером английской революции 1688 года хотят доказать, что в июле 1830 года в Париже сражались только за сохранение хартии и что все жертвы и бои имели целью лишь возвести на престол младшую линию Бурбонов взамен старшей, подобно тому как в свое время в Англии все кончилось возведением на престол Оранского дома взамен Стюартов. Тьер, который, правда, думает не так, как доктринеры, но высказывается сейчас в духе этой партии, оказал ей в последнее время немалое содействие. Этот глубочайший индифферентист, так удивительно умеющий соблюдать меру в ясности, понятности и наглядности своего писательского стиля, этот Гете в политике, является

¹ «Вы — лучшая из республик!» (франц.).

² «Лучшая из республик стоит пятнадцать миллионов» (франц.).

³ «Программе городской ратуши» (франц.).

сейчас, бесспорно, самым могучим защитником системы Перье, и, право, своей брошюрой против Шатобриана он почти уничтожил этого Дон-Кихота легитимизма, который с таким пафосом восседал на своем крылатом Россинанте, держа меч, отличавшийся скорее блеском, нежели остротой, и стрелял лишь драгоценными жемчужинами вместо хороших, метких свинцовых пуль.

В своем негодовании на плачевный поворот событий многие энтузиасты свободы доходят даже до клеветы на Лафайета. Как далеко можно зайти в этом смысле, явствует из произведения Бельмонте, которое также направлено против известной брошюры Шатобриана и в котором с похвальной откровенностью ведется проповедь республики. Я привел бы целиком горькие замечания о Лафайете, которые встречаются в этом произведении, если бы, с одной стороны, они не были полны такой ненависти а, с другой стороны, не были связаны с неуместной на этих страницах апологией республики. Вместо этого я лишь сошлюсь на самое сочинение и в особенности на отдел его, озаглавленный: «Республика». Здесь видно, как несчастье делает несправедливыми даже и самых благородных людей.

Я не хочу оспаривать здесь блистательную мечту о возможности республики во Франции. Будучи роялистом по врожденной склонности, я делаюсь им во Франции также и по убеждению. Я убежден, что французы не могут вынести никакой республики — ни афинской, ни спартанской, ни тем менее североамериканской. Афиняне были учащейся молодежью человечества, афинская конституция была чем-то вроде академической свободы, и неразумно было бы вводить ее вновь в наш взрослый век, в нашей седеющей Европе. А как бы мы вынесли конституцию Спарты, этой скучной большой фабрики патриотизма, этой казармы республиканской добродетели, этой величественно-скверной кухни равенства, где черные супы варились столь плохо, что аттические остряки утверждали, будто лакедемоняне оттого-то и презирают жизнь и так геройски бестрашны в бою. Какой успех могла бы иметь подобная конституция в стране гурманов, в отчизне Вери, Вефура, Каррема! Каррем, конечно, по примеру Вателя, бросился бы на свой меч, как истинный Брут кулинарного искусства, как последний гастроном! Право, если бы только Робеспьер ввел спартанскую кухню, гильотина оказалась бы

излишней, ибо тогда последние аристократы умерли бы от ужаса или же стремительно эмигрировали бы. Бедный Робеспьер! Ты хотел ввести республиканскую строгость в Париже — в городе, где сто пятьдесят тысяч модисток и сто пятьдесят тысяч парикмахеров и парфюмеров правят свое смеющееся, вьющееся и благоухающее ремесло!

Монотонность, бесцветность и мещанство американской жизни были бы еще невыносимее в отчизне любопытства, тщеславия, мод и новинок. Поистине, болезненная жажда отличий нигде не свирепствует так, как во Франции. В Германии, за исключением, пожалуй, Августа-Вильгельма Шлегеля, нет ни одной женщины, которая так любила бы украшаться цветными ленточками, как французы; даже июльские герои, сражавшиеся все же за свободу и равенство, дали себя потом украсить голубыми ленточками, чтобы отличаться от прочего народа. Однако если я на этом основании сомневаюсь в успехе республики у французов, то все же нельзя из-за этого отрицать, что все ведет к республике, что роялистское почитание личности у лучших людей сменилось республиканским благоговением к закону и что оппозиция, в течение пятнадцати лет разыгрывавшая комедию с королем, теперь продолжает ту же комедию с самой монархией, и что, таким образом, песня, хоть на короткое время, может кончиться республикой. Карлисты способствуют тому же, ибо смотрят на это как на неизбежную стадию, через которую нужно пройти, чтобы вернуться к неограниченной монархии старшей линии. Вот почему они ведут себя сейчас как ревностнейшие республиканцы, и даже Шатобриан восхваляет республику, называет себя республиканцем по влечению, братается с Маррастом и принимает от Беранже посвящение в рыцари. «Gazette», лицемерная «Gazette de France»,¹ вздыхает теперь по республиканским формам правления, всеобщей подаче голосов, избирательным собраниям и т. д. Забавно, как перерядившиеся попики щеголяют сейчас санкюлотскими речами, как яростно они кокетничают якобинским красным колпаком, как тем не менее порой на них нападает страх, не надели ли они вместо него по рассеянности красную прелатскую скуфейку, как они тогда на миг снимают с головы взятый напрокат

¹ «Французская газета» (франц.).

убор, и весь свет замечает их тонзуру. Такие люди тоже считают себя вправе поносить Лафайета, и для них это является сладким отдохновением после кислого республиканства и налагаемого на себя бремени свободы.

Но что бы ни говорили ослепленные друзья и лицемерные враги, Лафайет, наряду с Робеспьером, — самый чистый характер во всей французской революции и, после Наполеона, самый популярный ее герой. Наполеон и Лафайет — вот два имени, что цветут теперь во Франции самым пышным цветом; конечно, слава их — различного рода: один сражался скорее ради мира, чем ради победы, а другой скорее ради лавра, чем ради дубового венка. Конечно, смешно было бы мерить одним масштабом величие обоих героев и ставить одного на пьедестал, воздвигнутый другому. Смешно было бы водружать статую Лафайета на Вандомскую колонну, ту колонну, что вылита из пушек, отбитых в стольких сражениях, и вида которой, как поет Барбье, не может вынести ни одна французская мать. На эту железную колонну ставьте Наполеона, железного мужа, опирающегося и здесь, как и в жизни, на свою пушечную славу и в жутком одиночестве возносящегося до облаков, чтобы у всякого честолюбивого солдата при виде его, недосыгаемого, там, в вышине, смирившееся сердце исцелялось от суетной жажды славы и чтобы таким образом эта металлическая колонна, служа громоотводом для геройского духа, приносила величайшую пользу делу мира в Европе.

Лафайет воздвиг себе колонну выше Вандомской и памятник тверже металла или мрамора. Где найти мрамор столь же чистый, как сердце старого Лафайета? Где найти металл столь же твердый, как его верность? Правда, он всегда был односторонен, но односторонен, как магнитная стрелка, указывающая всегда на север и никогда, хотя бы для разнообразия, на юг или на восток. Так Лафайет в течение сорока лет говорит каждый день одно и то же и постоянно указывает на Северную Америку. Это он открыл революцию Декларацией прав человека. На этой декларации, без которой нет спасения, он настаивает и посейчас — односторонний человек, верный своим односторонним небесным сферам свободы! Конечно, он не гений, каким был Наполеон, в голове которого гнездились орлы вдохновения, меж тем как в сердце вились змеи

расчета. Но зато он никогда не давал орлам запугивать себя, а змеям — соблазнять себя. Юношей — мудрый как старец, старцем — пламенный как юноша, защитник народа от козней великих мира, защитник великих мира против ярости народа, товарищ в борьбе и в страданиях, никогда не заносившийся и никогда не робевший, в меру строгий и милостивый — таким оставался Лафайет, всегда один и тот же. В своей односторонности и явной неизменности он стоит все на том же месте со дней Марии-Антуанетты и до сего часа; верный Эккарт свободы, он все еще, опираясь на свой меч и предостерегая от опасностей, стоит у входа в Тюильри, в этот предательский Венерин грот, откуда доносятся такие соблазнительные звуки и из чьих сладостных сетей никогда не смогут вырваться несчастные, запутавшиеся в них.

Правда, мертвого Наполеона французы все-таки любят еще больше, чем живого Лафайета, — быть может, именно потому, что он мертв, а это, по крайней мере для меня, — самое приятное в Наполеоне, так как, будь он еще жив, мне пришлось бы бороться против него. За пределами Франции не имеют никакого представления о том, как еще сильно привязан к Наполеону французский народ. Поэтому и недовольные, если они отважатся когда-либо на решительные действия, начнут с того, что провозгласят молодого Наполеона, дабы обеспечить себе сочувствие масс. Наполеон — это для французов магическое слово, которое электризует их и оглушает. Тысячи пушек дремлют в этом имени, как в колонне на Вандомской площади, и Тюильри задрожит, если когда-нибудь эти пушки проснутся. Как евреи не произносили всуе имени бога своего, так и Наполеона редко называют здесь по имени, и зовут его чаще Человек, l'homme. Но повсюду можно видеть его изображения — из металла, из дерева, из гипса, на гравюрах и во всевозможных видах. На всех бульварах и перекрестках стоят ораторы, прославляющие его — Человека, и уличные певцы, воспевающие его деяния. Вчера вечером, возвращаясь домой, я попал в темный пустынный переулочек, где перед сальным огарком, воткнутым в землю, стоял ребенок лет трех, не более, и лепетал песню во славу великого императора. Когда я бросил ему один су на разостланный платок, ко мне подползло еще что-то, также попросившее у меня су. То был старый солдат,

который также мог бы спеть песенку во славу великого императора, ибо слава эта стоила ему обеих ног. Бедный калека просил меня не именем бога, он умолял с ревностной верой: «*Au nom de Napoléon, donnez-moi un sou*».¹ Так имя это служит в народе и высшим заклинанием. Наполеон — его бог, его культ, его религия, и религия эта в конце концов надоедает, как и всякая другая. Напротив, Лафайета почитают больше как человека или как ангела-хранителя. Он тоже живет, но менее героический, на картинах и в песнях; и даже, откровенно говоря, на меня произвело смешное впечатление, когда в прошлом году, в день 28 июля, пели «Парижанку» и я слышал слова: «*Lafayette aux cheveux blancs*»,² а сам он, в коричневом парике, стоял тут же рядом со мной. Это было на площади Бастилии, герой находился на подходящем месте, и все же я втайне не мог не смеяться. Быть может, именно эта комическая примесь делает его для нас человечески близким. Его добродушие действует даже на детей, и они понимают его величие, пожалуй, еще лучше, чем взрослые. По этому поводу я могу рассказать еще историйку о нищем, которая, впрочем, показывает характер Лафайетовой славы в ее отличии от славы Наполеона. Когда совсем недавно я стоял на углу перед Пантеоном и, как обычно, созерцая это прекрасное здание, погрузился в думы, маленький овернец попросил у меня су, и я, чтобы скорей отвязаться от него, дал ему монету в десять су. Однако после этого он еще доверчивее приблизился ко мне и спросил: «*Est-ce que vous connaissez le général Lafayette?*»,³ а когда я ответил утвердительно на этот странный вопрос, на простодушном грязном лице красивого мальчишки изобразилось самое горделивое удовлетворение, и он сказал с забавной важностью: «*Il est de mon pays*».⁴ Он, верно, думал, что человек, давший ему десять су, должен быть и почитателем Лафайета, и тут заодно он счел меня заслуживающим того, чтобы отрекомендоваться мне его земляком.

Таким образом, и сельское население проникнуто самым нежным уважением к Лафайету, — тем более что

¹ «Во имя Наполеона, подайте мне су!» (франц.).

² «Седовласый Лафайет» (франц.).

³ «Вы знаете генерала Лафайета?» (франц.).

⁴ «Он — мой земляк» (франц.).

он и сам смотрит на сельское хозяйство как на свое главное занятие. Занятие это поддерживает в нем простоту и свежесть, которые могли бы исчезнуть при постоянном пребывании в городе. Он и в этом подобен тем великим республиканцам прошлого, которые также сами растили для себя капусту, во времена бедствий спешили от плуга на поле битвы или на трибуну, а после одержанных побед опять возвращались к своим сельским трудам. В поместье, где Лафайет проводит лучшее время года, он обычно окружен энергичными юношами и прекрасными девушками. Там гостеприимный стол и приветливые сердца, там много смеются и танцуют, там двор суверенного народа, там может быть представлен всякий, кто является сыном своих деяний и кто не вступал в мезальянс с ложью. И Лафайет там — церемониймейстер.

Но еще более, чем во всяком другом классе народа, почитание Лафайета господствует, собственно, в среднем сословии, среди ремесленников и мелких торговцев. Они боготворят его. Лафайет — созидатель порядка, идол этих людей. Они чтят его как своего рода провидение на коне, как вооруженного ангела-хранителя общественной безопасности, как гения свободы, который заботится о том, чтобы во время битвы за свободу ничего не украли и чтобы всякий сохранил свою милую собственность. Великая армия общественного порядка, как Казимир Перье назвал национальную гвардию, эти упитанные герои в медвежьих шапках, из-под которых выглядывают головы лавочников, бывают вне себя от восторга, когда говорят о Лафайете, о своем старом генерале, о своем мирном Наполеоне. Да, он Наполеон для *petite bourgeoisie*,¹ для этих честных платежеспособных людей, для кума-портного и кума-перчаточника, которые днем, правда, слишком заняты, чтобы думать о Лафайете, но зато вечером прославляют его с удвоенным энтузиазмом, так что с уверенностью можно утверждать, что в одиннадцать часов, когда большинство лавок закрыто, слава Лафайета достигает своего апогея.

Выше я употребил слово «церемониймейстер». Мне вспоминается, что Вольфганг Менцель, говоря как-то в «Литературном листке» о триумфальном шествии Лафайета

¹ Мелкой буржуазии (*франц.*).

по Соединенным Штатам и о депутациях, адресах и торжественных речах, имевших при этом место, с остроумной фривольностью назвал Лафайета церемониймейстером свободы. И другие, менее остроумные люди ошибочно считают, будто Лафайет — старик, которого всего только выставляют напоказ или двигают, как машину. Между тем, если бы эти люди хоть один раз видели его на ораторской трибуне, они легко убедились бы, что он не только стяг, за которым следуют или которому приносят присягу, что он сам все еще тот гонфалоньер, в чьих руках знамя правого дела, орифламма народов. Лафайет, пожалуй, — самый выдающийся оратор нынешней палаты депутатов. Когда он говорит, он всегда попадает не в бровь, а в глаз, и враги от этого слепнут. Когда надо, когда решается один из великих вопросов человечества, всякий раз поднимается Лафайет, словно юноша, рвущийся в бой. Только тело — слабое и дрожащее, надломленное временем и битвами века, подобно изрубленной и разбитой железной броне; и трогательно бывает видеть, как он плетется к трибуне и, очутившись на ней, на своем старом посту, тяжело переводит дух и улыбается. Эта улыбка, речь и весь облик его, пока он говорит с трибуны, не поддаются описанию. Во всем этом столько прелести и вместе с тем столько тонкой иронии, что чувствуешь себя словно зачарованным каким-то странным любопытством, как бы сладостной загадкой. Не знаешь, что это: утонченные ли манеры французского маркиза или честная прямота американского гражданина. Все лучшее, что было в старом режиме, — рыцарство, вежливость, такт, — дивным образом сливается здесь со всем, что есть лучшего в новой гражданственности, — с любовью к равенству, скромностью и честностью. Ничто не может быть интереснее, чем когда в палате речь заходит о первых временах революции и кто-либо на доктринерский лад вырывает отдельный исторический факт из подлинной общей связи событий и пользуется им для своих доводов. Тогда Лафайет немногими словами разрушает ложные выводы, поясняя или восстанавливая истинный смысл подобного факта указанием на обстоятельства, сопровождавшие его. Сам Тьер в таких случаях опускает паруса, и великий историограф революции склоняется перед свидетельством ее великого живого памятного, ее генерала Лафайета.

В палате против трибуны сидит старый, как камни, человек с блистающими серебряными волосами, низко спадающими на его черную одежду; он обмотан очень широким трехцветным шарфом; это и есть тот старый messenger, который уже в начале революции исполнял эту должность и с тех пор в этом звании присутствовал при всех событиях мировой истории, начиная с первого Национального собрания и кончая *juste milieu*. Я слышал, что он часто еще говорит о Робеспьере, которого называет *le bon monsieur de Robespierre*.¹ Во время Реставрации старик страдал коликами; но с тех пор как живот его опять опоясан трехцветным шарфом, он снова хорошо себя чувствует. Лишь сонливость одолевает его в эти скучные дни *juste milieu*. Раз, во время речи Могена, я даже видел, как он заснул. Уж конечно старик слышал и не таких, как Моген, — а все же это один из лучших ораторов оппозиции, — и, может быть, он вовсе не находит его резким, он, *qui a beaucoup connu ce bon monsieur de Robespierre*.² Но когда говорит Лафайет, тогда старый messenger пробуждается от своей дремоты, словно старая гусарская лошадь, заслышавшая трубу, и кажется, сладостные воспоминания юности встают перед ним, и тогда он, довольный, кивает серебристо-белой головой.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Париж, 10 февраля.

Автор предыдущей статьи руководствовался правильным чутьем, когда, порицая болезненную страсть к отличиям, свирепствующую среди французов гораздо сильнее, чем среди немецких женщин, он в числе последних, в качестве исключения, отметил одного немецкого писателя, знаменитого художественного критика и переводчика. Этот человек, составивший исключение, эмигрировавший сюда в прошлом году вследствие германских волнений, которые он сам вызвал кое-какими альманаш-

¹ Славным господином де Робеспьером (*франц.*).

² Который хорошо знал этого славного господина де Робеспьера (*франц.*).

ными «ксениями»), и с тех пор получивший от его величества короля Луи-Филиппа I орден Почетного Легиона, своей неустанной погоней за знаками отличия, к сожалению, слишком обратил на себя внимание многих французов, и они ссылкой на него могут подорвать любой зарейнский упрек в тщеславии. Они, коварные, даже не отметили в своих газетах этого пожалования ордена; а так как немцы должны были чувствовать, что в лице их соотечественника наградили их самих, и из скромности неохотно говорили об этом, то событие, важное для обеих стран, оставалось до сих пор малоизвестным. Подобное упущение и молчание были тем огорчительнее для нового кавалера, что в его присутствии громким шепотом говорилось, будто новый орден, хотя бы он и получил его из рук самой королевы, совершенно не имеет силы, пока это пожалование не опубликовано в «Moniteur». Новый кавалер стремился выйти из этого горестного положения, но, к несчастью, всплыло еще более серьезное препятствие, а именно то обстоятельство, что патент на орден, пожалованный королем, совершенно недействителен, пока он не скреплен подписью министра. Наш рыцарь, через посредство доктринерствующего родственника одной знаменитой дамы, у которой он некогда был на положении сыра в масле, получил свой орден от короля, и, говорят, король нашел во всем его облике разительное сходство со своей покойной воспитательницей, госпожой Жанлис, и пожелал почтить ее по смерти в лице ее двойника. Но министры, не ощущающие в себе при виде кавалера столь душевных чувств и ошибочно считающие его немецким либералом, боятся скреплением патента оскорбить абсолютные правительства. Все же вскоре ожидается мирное соглашение, и, чтобы вполне обеспечить согласие континентальных держав, с сент-джемским кабинетом завязаны переговоры, которые и его тоже должны склонить к пожалованию ордена, а для этого проситель самолично отправится в Англию с древнеиндийским эпосом, посвященным его величеству королю Вильгельму IV. Но для здешних немцев прискорбное зрелище являет вид их высокочтимого тщедушного соотечественника, который вследствие по добных задержек носится туда и сюда, в дождь и в стужу, с судорожным нетерпением, тем более непонятным, что к его услугам находятся все утешительнейшие примеры

индийской невозмутимости, вся «Рамаяна» и вся «Махабхарата».

Манера французов подходить к важнейшим предметам с насмешливым легкомыслием проявляется и в толках по поводу последних заговоров. Заговор, который был разыгран на башнях Собора богоматери, по-видимому целиком является плодом полицейской интриги. В шутку говорилось, что это классики из ненависти к романтическому роману Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери» хотели поджечь самую церковь. Остроты Рабле о колоколах снова пошли в ход. Также известная поговорка: «Si on m'accusait d'avoir volé les cloches de Notre-Dame, je commencerais par prendre la fuite»,¹ стала на разные лады повторяться в шутках, когда некоторые из карлистов после этого происшествия обратились в бегство. Последний заговор, в ночь на 2 февраля, большею частью также приписывают махинациям полиции. Говорят, она заказала себе в ресторане на улице Прувер роскошный заговор на двести приборов и пригласила в гости нескольких слабоумных карлистов, которые, разумеется, должны были всё заплатить по счету. Они при этом не жалели денег, и в сапогах одного из арестованных заговорщиков оказалось 27 000 франков. С такой суммой можно ведь было бы что-нибудь да устроить. В «Мемуарах» Мармонтеля я как-то прочел замечание Шамфора, что уже с тысячей луидоров в Париже можно произвести изрядный шум, и во время последних восстаний эти слова постоянно вспоминались мне. Из важных соображений я не могу умолчать о том, что для революции необходимы деньги. Даже великолепная Июльская революция была поставлена вовсе не так бесплатно, как думают. Этот спектакль для богов обошелся как-никак в несколько миллионов, хотя действительные актеры — парижские граждане — старались превзойти друг друга в храбрости и бескорыстии. Дело делается не из-за денег, но деньги нужны для того, чтобы дать ему ход. Дураки-карлисты, однако, считают, что оно пойдет само собой, если только у них будут деньги в сапогах. Республиканцы, конечно, совершенно не повинны в событиях ночи на

¹ «Если бы меня обвинили в краже колоколов с Собора богоматери, я бы первым делом обратился в бегство» (франц.).

2 февраля, ибо, как сказал мне недавно один из них, «если ты услышишь, что заговорщики раздавали деньги, то можешь быть уверен, там не было ни одного республиканца». И действительно, у этой партии мало денег, так как она по большей части состоит из честных и бескорыстных людей. Если они придут к власти, то запятнают руки кровью, но не деньгами. Это известно, и поэтому интриганы, более жадные до денег, чем до крови, внушают меньший страх.

Гильотиномания, которую мы встречаем в среде республиканцев, вызвана, может быть, писателями и ораторами, впервые употребившими слова «система террора», чтобы охарактеризовать правительство, которое в 1793 году для спасения Франции прибегло к крайним мерам. Однако терроризм, развившийся в то время, был скорее явлением, чем системой, и уже царил в умах правителей в такой же мере, как и в умах народа. Безумно сейчас носиться с гипсовой маской Робеспьера, призывая к подражанию ему. Безумно воскрешать язык 1793 года, как это делают *les Amis du peuple*,¹ которые, сами того не сознавая, поступают столь же ретроградно, как усерднейшие поборники старого режима. Тот, кто приклеивает воском к дереву опавшие с него весной красные цветы, поступает столь же глупо, как и тот, кто увядшие срезанные лилии сажает в песок. Республиканцы и карлисты — плагиаторы прошлого, и когда они соединяются вместе, это напоминает забавнейшие союзы сумасшедших, возникающие в домах для умалишенных, где общий гнет вызывает дружественные отношения между разнороднейшими безумцами, хотя один, считая себя Иеговой, от глубины души презирает другого, который почитает себя Юпитером. Так, на этой неделе мы видели Женуда и Туре, редактора «Газеты» и редактора «Революции», представших перед судом присяжных в качестве сообщников, а в качестве хора за ними стояли Фитц-Джемс со своими карлистами и Кавеньяк со своими республиканцами. Бывают ли более отвратительные контрасты! Несмотря на то, что я очень не расположен к республике, все же в душе мне больно, когда я вижу республиканцев в таком недостойном сообществе. Лишь на одном и том же эшафоте

¹ Друзья народа (франц.).

могли бы они встретиться с этими друзьями абсолютизма и иезуитства, но никак не перед одним и тем же судом присяжных. И какими смешными делают их подобные союзы! Ничто не может быть забавнее того факта, что среди заговорщиков 2 февраля газеты называли и четырех бывших поваров Карла X и четырех республиканцев из общества «Amis du peuple».

В сущности, я не верю, чтобы последние были действительно замешаны в эту глупую историю. В тот вечер я был на собрании Amis du peuple и ввиду ряда обстоятельств считаю возможным заключить, что они думали скорее об обороне, чем о нападении. Там было свыше полутора тысяч человек, сжатых в кучу, в узком зале, похожем на театр. Гражданин Бланки, сын одного из членов Конвента, держал большую речь, полную насмешек над буржуазией, над *boutiquiers*,¹ избравшими в короли какого-то Луи-Филиппа, *la boutique incarnée*,² и притом сделавшими это в своих собственных интересах, а не в интересах народа, *du peuple qui n'était pas complice d'une si indigne usurpation*.³ То была речь, полная ума, искренности и гнева, но свободе, которая в ней излагалась, не хватало свободы в изложении. Несмотря на всю республиканскую строгость, былая галантность давала себя знать, и дамам, *citoyennes*,⁴ с истинно французской внимательностью отведены были лучшие места возле трибуны. От собрания шел совсем такой запах, как от зачитанного, замусоленного экземпляра «Moniteur» 1793 года. Оно состояло главным образом из очень молодых и из очень старых людей. В первую революцию энтузиазм свободы охватил преимущественно мужчин среднего возраста, в которых юношеское негодование против поповской лжи и дворянской заносчивости сочеталось с ясной зрелостью рассудка; люди более молодые и совсем старые были сторонниками одряхлевшего строя; последние (то есть среброволосые старцы) — по привычке, первые же, *la jeunesse dorée*,⁵ — от недовольства мещанской скромностью республиканских нравов.

¹ Лавочниками (*франц.*).

² Воплощенную лавку (*франц.*).

³ Народа, который не был сообщником этого недостойного захвата (*франц.*).

⁴ Гражданкам (*франц.*).

⁵ Золотая молодежь (*франц.*).

Теперь наоборот: истинные энтузиасты свободы — совсем молодые и совсем старые люди. Последние еще по собственному опыту знают мерзости старого режима и с восхищением вспоминают времена первой революции, когда они сами еще были такие сильные и такие большие. Первые же — молодежь — любят те времена потому, что вообще они полны самопожертвования и героически настроены, жаждут великих дел и презирают скаредное малодушие и лавочническое себялюбие нынешних властителей. Люди средних лет большей частью утомлены беспокойным занятием — оппозицией периода Реставрации, или же испорчены временами Империи, когда грохочущее славолубие и блестящая солдатчина убили мещанскую простоту и любовь к свободе. К тому же героические времена Империи стоили жизни многим, которые теперь были бы мужами, так что среди последних от некоторых годов сохранилось очень мало целых экземпляров.

Но и стар и млад в зале общества «Amis du peuple» сохранял полную достоинства серьезность, которую можно встретить у людей, чувствующих свою силу. Лишь глаза их сверкали, и лишь по временам восклицали они: «C'est vrai! C'est vrai!»,¹ когда оратор приводил какой-нибудь факт. А когда гражданин Кавеньяк в речи, которую я не совсем точно понял, ибо он говорит короткими, небрежно-отрывистыми фразами, коснулся судебных преследований, которым все еще подвергаются писатели, я вдруг заметил, что мой сосед от внутреннего волнения схватился за меня и что он в кровь кусает губы, чтобы тоже не заговорить. Это был ярый молодой энтузиаст, с глазами словно гневные звезды, и на нем была отличающая республиканцев низкая черная клеенчатая шляпа с широкими полями. «Но не правда ли, — обратился он, наконец, ко мне, — ведь это преследование писателей — косвенная цензура? Можно печатать то, что можно говорить, а говорить можно все. Марат утверждал, что несправедливо привлекать гражданина к суду за его мнения и что в мнениях можно давать отчет только публике. (Toute citation devant un tribunal pour une opinion est une injustice; on ne peut citer, en ce cas, un citoyen que devant le public.)²

¹ «Правильно! Правильно!» (франц.).

² В скобках приведены слова Марата на французском языке.

Все, что говорится, есть не что иное, как мнение. Камилл Демулен тоже справедливо замечает: «Как только децемвиры запятали собрание законов, вывезенное ими из Греции, законом против клеветы, сразу обнаружилось, что они намерены уничтожить свободу и сделать свой децемвират постоянным. Равным образом, когда Октавий четыреста лет спустя воскресил этот закон децемвиров против писаний и речей и прибавил еще параграф к *Lex Julia Laesae Majestatis*,¹ можно было сказать, что римская свобода находится при последнем издыхании».

Я привел здесь эти цитаты, чтобы показать, каких авторов цитируют *Amis du peuple*. Последняя речь Робеспьера от 8 термидора — их евангелие. И все же было смешно, что люди так жалуются на гнет в то самое время, как им разрешают столь открыто соединиться в союз против правительства и говорить вещи, десятой доли которых в северной Германии было бы совершенно достаточно, чтобы обречь себя на пожизненное судебное следствие. Впрочем, в тот вечер передавали, что этим непорядкам будет положен конец и что зал этого общества решено закрыть. «Я думаю, национальная гвардия и линейные солдаты оцепят нас сегодня, — заметил мой сосед. — Захватили ли вы на этот случай свои пистолеты?» — «Я пойду за ними», — ответил я, вышел из зала и отправился на вечер в Сен-Жерменское предместье. Там — сплошь огни, зеркала, цветы, обнаженные плечи, сахарная вода, желтые лайковые перчатки и пошлости. Кроме того, на всех лицах отражалась такая торжествующая радость, словно победа старого режима была совершенно обеспечена. И пока в моих ушах все еще гремел клич улицы Гренель: «*Vive la République!*»,² я должен был выслушивать категорические уверения в том, что возврат чудо-младенца со всей его чудо-кликлой — вполне решенное дело. Не могу не проговориться, что видел там, как два доктринера танцевали англез; они танцуют только англезы. Дама в белом платье с зелеными пчелами, походившими на лилии, спросила меня, можно ли определенно рассчитывать на поддержку немцев и казаков. «Мы, — стал я уверять, — почтем за величайшую честь снова принести

¹ Закону об оскорблении величества (*лат.*).

² «Да здравствует республика!» (*франц.*).

в жертву нашу кровь и наше добро ради восстановления старших Бурбонов». — «А знаете ли вы, — прибавила дама, — что нынче годовщина того дня, когда Генрих Пятый причастился в первый раз после того, как стал герцогом Бордосским?» — «Какой великий день для друзей престола и алтаря, — отвечал я, — священный день, достойный того, чтоб его воспел Ламартин!»

Ночь, последовавшая за этим прекрасным днем, заслуживает быть отмеченной красным цветом в календаре Франции, и на следующее утро слухи о ней служили пищей для толков во всем Париже. Слухи носились самые дикие и противоречивые, да и сейчас, как уже отмечено выше, на истории этого заговора лежит покров тайны. Говорили, будто намеревались умертвить всю королевскую семью вместе с многочисленным обществом, собравшимся в Тюильри, будто подкупили привратника Лувра, чтобы можно было через большую дворцовую галерею проникнуть прямо в танцевальный зал Тюильри, будто произведен был выстрел, направленный в короля, но не причинивший вреда, будто арестовано несколько сот человек и т. д. Днем я еще застал перед садом Тюильри большую толпу, глазевшую вверх, на окна, как будто ей хотелось увидеть выстрел, который грянул там. Кто-то рассказывал, что прошлой ночью Перье сел на лошадь и тотчас поскакал на улицу Прувер, — как раз когда там арестовывали заговорщиков и был убит полицейский агент. Будто бы собирались поджечь павильон Флоры, а на павильон Марсан напасть снаружи. Король, как говорили, очень опечален. Женщины жалели его, а мужчины сердито качали головами. Французы питают отвращение ко всякому ночному убийству. В бурные времена революции самые ужасные деяния совершались открыто, при дневном свете. Что до ужасов Варфоломеевской ночи, то они подстроены были главным образом римско-католическими священниками.

Насколько замешан привратник Лувра в заговоре 2 февраля, я еще не мог точно узнать. Одни говорят, будто он тотчас дал знать полиции, как только ему предложили деньги, чтобы получить от него ключи Лувра. Другие полагают, что он действительно отдал ключи и теперь схвачен. Как бы то ни было, подобные случаи показывают, что в Париже важнейшие посты вверяют без особых мер предосторожности самым ненадежным лицам.

Так, даже государственная казна долгое время находилась в руках биржевого спекулянта, господина Кеснера, которого государство должно бы наградить дубовым венком за то, что он проиграл на бирже только шесть, а не сто миллионов. Так и картинная галерея Лувра, которая скорее является достоянием всего человечества, чем французов, могла бы сделаться ареной ночных злодеяний и совсем погибнуть при этом. Так и кабинет медалей стал уже добычей воров, расхитивших его сокровища, конечно, не из любви к нумизматике, а для того, чтобы отправить их прямо в тигель. Какая потеря для науки! Ведь среди похищенных древностей были не только редчайшие монеты, но, быть может, даже единственные экземпляры их, уцелевшие до наших дней. Гибель этих старых монет непоправима, ибо не могут же древние приняться опять за работу и отчеканить для нас новые монеты. Но это не только потеря для науки: гибель этих маленьких памятников из золота и серебра отнимает у самой жизни выражение ее подлинности. Древняя история звучала бы сказкой, если бы не уцелели тогдашние монеты — высшая реальность тех времен, если бы они не служили нам доказательством, что древние народы и цари, о которых мы читаем такие чудеса, в самом деле существовали, что это — не плоды досужей фантазии, не создания поэтов, как утверждают некоторые писатели, желающие убедить нас, будто вся история древности, все письменные памятники ее сочинены монахами в средние века. Здешний кабинет медалей сохранил самые звонкие опровержения подобных взглядов. Но они теперь безвозвратно утрачены. Часть древней истории мира прикарманена и расплавлена, и самые могучие народы и цари древности — теперь только сказка, которой не стоит верить.

Уморительно, что окна кабинета медалей снабжают теперь железными решетками, хотя вовсе не приходится рассчитывать на то, что воры ночью принесут похищенное назад. Эти железные решетки окрашивают в красный цвет, что производит превосходное впечатление. Всякий прохожий смотрит вверх и смеется. Monsieur Пауль Рошетт, смотритель украденных медалей, le conservateur des ex-médailles,¹ должен удивляться, что воры не украли его

¹ Хранитель бывших медалей (франц.).

самого, так как себе он приписывал всегда большее значение, чем медалям, и во всяком случае считал последние бесполезными, если дело обходилось без его устных объяснений. Он расхаживает теперь без дела и посмеивается, как наша кухарка, у которой кошка стащила из кухни кусок сырого мяса. «Она ведь не умеет варить мясо», — говорила кухарка и посмеивалась.

Между тем, какой бы утратой для древней истории ни являлась эта покража монет, кеснеровский недочет в кассе раздражает умы еще больше. Он важнее для современной истории. В то время как я пишу эти строки, ходят слухи, что дефицит составляет не шесть, а десять миллионов. Думают, что под конец он вырастет даже до двенадцати миллионов. Это, разумеется, умаляет заслугу Кеснера, и я теперь не могу признать за ним право на дубовый венок. Вследствие этого недочета в кассе, который вызвал немало трогательных сцен в духе Ифланда, прежде всего попадает в затруднительное положение барон Луи. Пожалуй, ему в конце концов самому придется заплатить залог, которого не потребовали от Кеснера. Он легко может перенести этот ущерб, так как чудовищно богат, получает ежегодно больше двухсот тысяч франков чистого дохода, а сам — старый аббат, не имеющий семьи. Перье эта история сердит гораздо больше, чем думают, ибо она касается денег, в которых его сила и его слабость. Как мало снисхождения оказала ему в этом случае оппозиция — известно из газет. В них с достаточной полнотой рассказано о безобразиях, происходящих в палате, и на этом не стоит останавливаться. Право, оппозиция ведет себя столь же плачевно, как и правительство, и являет зрелище столь же отвратительное.

Но, в то время как всевозможные беды и заботы вызывают смуту внутри государства, а внешние дела после событий в Италии и экспедиции дона Педро все более запутываются, в то время как все установления и даже высшее из них — королевская власть — находятся в опасности, когда политическая сумятица угрожает существованию всех, — Париж этой зимой все еще остается прежним Парижем, прекрасным, волшебным городом, так пленительно улыбающимся юноше, так мощно воодушев-

ляющим мужа и так нежно утешающим старца. «Здесь можно обойтись без счастья», — сказала некогда госпожа де Сталь, — меткое слово, в ее устах терявшее, однако, свой смысл, ибо она долгое время лишь потому и была несчастна, что не могла жить в Париже и, следовательно, Париж был ее счастьем. Так, патриотизм французов чаще всего основан на пристрастии к Парижу, и когда Дантон отказался от бегства, «потому что отечество нельзя унести на подошвах своих сапог», это значило также, что за границей пришлось бы отказаться от прелестей прекрасного Парижа. Но Париж, собственно, и есть Франция; последняя — всего лишь окрестность Парижа. Если не считать прекрасных пейзажей и приветливого нрава народа вообще, Франция — совершенная пустыня, во всяком случае пустыня духовная; все, что есть выдающегося в провинции, скоро находит путь в Париж, в центр всяческого света и всяческого блеска. Франция напоминает сад, где прекраснейшие цветы сорваны для того, чтобы из них можно было сделать букет, и имя этому букету — Париж. Правда, сейчас он уже не благоухает так сильно, как после тех цветущих дней июля, когда все народы были одурманены этим благоуханием. Все же он по-прежнему еще достаточно прекрасен, чтобы красоваться по-свадебному на груди Европы. Париж — столица не только Франции, но всего цивилизованного мира и сборный пункт для его умственных авторитетов. Все собрано здесь, что есть великого в любви или в ненависти, в мире чувства или мысли, знания или силы, в счастья или в несчастии, в будущем или в прошлом. Когда смотришь на этот сонм знаменитых или выдающихся людей, собравшихся здесь, можно принять Париж за Пантеон живых. Новое искусство, новая вера, новая жизнь создаются здесь, и весело кружатся здесь творцы нового мира. Правители мелочны, но народ велик и чувствует свое пугающе высокое назначение. Сыновья хотят превзойти отцов, столь славно и свято сошедших в могилу. Уже брезжит свет могучих деяний, и неведомые боги должны явиться миру. И притом — везде танцы и смех, всюду цветет легкая шутка, самая веселая насмешка, а так как сейчас карнавал, то многие маскируются теперь доктринарами, строят уморительно неадаптичные физиономии и утверждают, что боятся пруссаков.

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Париж, 1 марта.

С некоторых пор события в Англии более чем когда бы то ни было привлекают наше внимание. Мы должны, наконец, сознаться, что открытая вражда самодержавных монархов для нас менее опасна, чем двусмысленная дружба конституционного Джона Булля. Народоубийственные происки английской аристократии достаточно угрожающе проступают в свете официальной гласности, и лондонский туман едва прикрывает тонкие петли и узлы, связывающие протокольную паутину конференций с парламентскими силками. Дипломатия деятельнее чем когда-либо охраняет там свои родовые интересы и усерднее чем когда-либо прядет пагубную ткань, а господин Талейран оказывается заодно и пауком и мухой. Или старый дипломат уже не так хитер, как прежде, когда он, второй Гефест, самого бога войны, столь могучего, поймал в свои искусно выкованные сети? Или с ним на этот раз случилось то же, что и с мудрейшим кудесником Мерлином, который опутал себя собственными чарами и лежит в могиле со скованным языком, сам себя сковав? Но почему же именно господина Талейрана назначили на пост, который всего важнее для интересов Июльской революции и где всего нужнее была бы непоколебимая прямота безупречного гражданина? Этим я не хочу сказать категорически, что старый лощеный экс-епископ Отенский нечестен. Напротив, присягу, которую он принес теперь, он наверно не нарушит, ибо она — тринадцатая. Правда, у нас нет других гарантий его честности, но и этой достаточно, так как никогда еще честный человек не изменял присяге тринадцать раз. Кроме того, уверяют, что Луи-Филипп из предосторожности сказал ему на прощальной аудиенции: «Господин Талейран, что бы вам ни предлагали, я даю вам вдвое». Однако с вероломными людьми и это не может служить ручательством, ибо в природе вероломства — изменять самому себе, так что, даже удовлетворив его корыстолюбие, нельзя рассчитывать на него.

Хуже всего то, что французы представляют себе Лондон вторым Парижем, Вест-Энд — вторым Сен-Жерменским кварталом, британских реформеров — своими братьями-либералами, а на парламент смотрят как на палату пэров и палату депутатов, — словом, все английское они

мерят и определяют французским масштабом. От этого происходят заблуждения, за которые впоследствии им, быть может, дорого придется поплатиться. У обоих народов слишком резко противоположный характер, чтобы они могли понять друг друга, и положение в обеих странах слишком различно в самом корне, чтобы можно было сравнивать их. И прежде всего — с точки зрения политической. Добавления к «Путевым картинам» содержат по этому поводу ряд поучительных данных, почерпнутых из непосредственных наблюдений, и к ним я должен отослать читателей, чтобы не повторяться здесь. Также сошлюсь здесь опять на «Письма умершего», хотя поэтическая душа автора вложила в тупое британство, увиденное им, больше умственного движения, чем на самом деле можно в нем найти. Англию, собственно, надо было бы описывать в стиле учебника высшей механики, примерно так, как описывают невероятно сложную фабрику, где сплошь свистящие, гудящие, стучащие, гремящие и сердито ворчащие машины, где вычищенные до блеска колеса утилитаризма вертятся вокруг давно заржавевших исторических дат. Справедливо замечают сен-симонисты, что Англия — рука, а Франция — сердце мира. Ах, это великое сердце мира должно было бы изойти кровью, если бы когда-либо, в расчете на британское великодушие, ему пришлось попросить помощи у холодной деревянной руки соседа. Я представляю себе эгоистическую Англию не так, как ее рисуют на карикатурах, не в виде жирного зажиточного брюха, полного пивом, а так, как ее описал один сатирик, — в виде высокого, тощего, костлявого холостяка, пришивающего к своим штанам оторвавшуюся пуговицу; он пришивает ее ниткой, к концу которой вместо клубка привешен земной шар, а когда она ему больше не нужна, он спокойно обрезает нитку и спокойно предоставляет всему миру свалиться в бездну.

Французы полагают, что английский народ желает свободы на их лад, что он борется, так же как и они, против узурпаторских стремлений аристократии и что поэтому есть не только много внешних, но также много и внутренних интересов, которые служат ручательством тесного союза. Но они не знают, что английский народ сам навсвязь аристократичен, что он требует свободы лишь в узко корпоративном смысле, вернее даже — своих пись-

менно закрепленных вольностей и привилегий, и что французская всечеловеческая свобода, которой весь мир, как того требует разум, должен стать сопричастен, в самом своем существе глубоко ненавистна англичанам. Они знают лишь английскую свободу, историческую английскую свободу, либо дарованную в виде патента великобританским королевским подданным, либо основанную на каком-нибудь старинном законе, примерно времен королевы Анны. Берк, который пытался беркировать умы и самую жизнь продать в анатомический театр истории, упрекал французскую революцию главным образом в том, что она не возникла, подобно английской, из старых установлений, и он не в силах понять, что государство может существовать без nobility.¹ Английская nobility, однако, нечто совсем другое, чем французская noblesse,² и заслуживает того, чтобы воздать ей особую похвалу. Английская аристократия всегда заодно с народом противостояла абсолютизму королей, отстаивая вместе со своими и его права; французская знать, напротив, всецело отдалась на милость королей. Со времен Мазарини она больше не противилась их власти, она только старалась получить в ней свою долю путем льстивой службы при дворе и, верноподданнически угождая королям, угнетала и обманывала народ. Французское дворянство бессознательно отомстило королям за прежнее угнетение, направив их на путь расслабляющего разврата и доведя их своей лестью почти до отупения. Правда, и само оно, обессиленное и духовно опустошенное, должно было погибнуть вместе со старинной монархией; 10 августа застало в Тюильри отживших, дряхлых людей с хрупкими салонными шпагами, и даже не мужчине, а женщине пришлось властно и мужественно призвать их к сопротивлению. Но и этой последней даме французского рыцарства, последней представительнице гибнущего старого режима, даже ей не суждено было сойти в могилу в блеске молодости, и одной только ночи было довольно, чтобы покрыть снежной белой локоны прекрасной Антуанетты.

Иной была судьба английской знати. Она сохранила свою силу, корни ее — в народе, в здоровой почве, кото-

¹ Дворянства, аристократии (*англ.*).

² Дворянство, аристократия (*франц.*).

рая принимает благородных отпрысков, младших сыповой nobility, и через этих последних, составляющих уже собственно gentry,¹ хранит связь с самой знатью, с nobility. Притом английская знать полна патриотизма; она с истинным рвением выступала до сих пор настоящей представительницей старой Англии, и лорды, которые так дорого обходятся стране, когда надо было, тоже приносили жертвы родине. Правда, эти лорды высокомерны, более даже, чем дворянство на континенте, которое кичится своим высокомерием и старается отличаться от народа даже внешне — с помощью костюмов, лент, плохого французского языка, гербов, звезд и прочих погрешушек. Английская же знать слишком презирает буржуазию, чтобы считать нужным еще импонировать ей при помощи внешних знаков и всенародно, напоказ, носить пестрые эмблемы власти. Напротив, английские аристократы, словно боги, являющиеся ишкогнито, показываются на улицах, на раутах и в театрах Лондона одетые с буржуазной простотой и потому незаметные; свои феодальные украшения и прочую великолепную мишуру они надевают только для придворных празднеств и для старинных придворных церемоний. Оттого им с гораздо большим успехом удается поддерживать в народе уважение к себе, чем нашим континентальным богам, которые повсюду таскают свои атрибуты и оттого всем известны. Однажды на мосту Ватерлоо в Лондоне я слышал, как мальчик спрашивал другого: «Have you ever seen a nobleman?» (Видел ли ты когда-нибудь дворянина?), на что другой ответил: «No, but I have seen the coach of the Lord Mayor» (Нет, но я видел карету лорд-мэра). А экипаж этот представляет собой причудливо большой ящик, роскошно раззолоченный, раскрашенный сказочно пестро, с бархатно-алым, золотогалунным, пышно причесанным кучером на козлах и тремя столь же пышно причесанными лакеями на запятках. Если английский народ и ссорится сейчас со своей аристократией, то вовсе не из-за гражданского равенства, о котором он не думает, и менее всего из-за гражданской свободы, которою он пользуется в полной мере, а из-за чисто денежных интересов. Ибо аристократия, владеющая всеми синекурами, церковными бенефициями и прибыль-

¹ Среднее дворянство (англ.).

нейшими должностями, нагло утопает в роскоши, тогда как большая часть народа, сверх меры обремененная налогами, томится в глубочайшей нищете и умирает с голоду. Поэтому народ и требует парламентской реформы, и дворяне, поощряющие ее, разумеется, не собираются воспользоваться ею для чего-либо другого, кроме как для материальных улучшений.

Да, дворянство Англии по-прежнему больше связано с народом, чем с королями, по отношению к которым оно, в отличие от французского дворянства, всегда умело держать себя независимо. Оно служило королям только мечом и словом, но в частной их жизни, в их развлечениях и забавах, принимало только равнодушно-интимное участие. Это относится даже ко времени наивысшей испорченности. Гамильтон в своих «Мемуарах герцога Грамона» дает наглядную картину этого положения. Таким образом, английское дворянство, хотя и целующее королевскую руку и склоняющее колени, как того требует этикет, все же до самого последнего времени оставалось фактически на равной ноге с королями, которым оно сопротивлялось с достаточной силой всякий раз, когда они покушались на его привилегии или хотели избавиться от его влияния. Это произошло на глазах у всех несколько лет тому назад, когда Каннинг стал министром. В средние века английские бароны при подобных обстоятельствах поднялись бы в замок короля, одетые в броню, со шлемами на головах и с мечами в руках, в сопровождении своих вассалов, и с иронической покорностью и вооруженной куртуазией добились бы исполнения своей воли. В наш век они должны были прибегнуть к менее рыцарским средствам, и, как всем известно, дворяне, входившие в состав правительства, постарались воздействовать на короля тем, что, условившись втайне, с коварной неожиданностью все вместе подали в отставку. Последствия этого тоже достаточно хорошо известны. Георг IV вынужден был после этого опереться на Георга Каннинга, этого Георгия Победоносца Англии, который чуть было не сразил самого могучего дракона на земле. После Каннинга явился лорд Годерих с уютно румяным лицом и аффективно-страстным адвокатским тоном и в скором времени выронил из слабых рук вверенное ему копые, так что бедный король снова должен был отдаться во власть своих старых баро-

нов, и полководец Священного союза снова получил жезл главнокомандующего. В другом месте я указал, почему в Англии либеральный министр не в силах сделать ничего особенно хорошего и бывает принужден уйти, дабы уступить место гордым тори, которые могут провести крупный билль об улучшениях тем легче, что им не нужно бороться с парламентским сопротивлением своего собственного упрямства. Черт издавна строит лучшие церкви. Веллингтон добился эмансипации, за которую тщетно боролся Каннинг, и, быть может, ему же суждено провести билль о реформе, тогда как лорд Грей в этом деле, вероятно, потерпит неудачу. Я уверен в скором падении последнего, и тогда вернутся к власти те непримиримейшие аристократы, которые уже сорок лет не на жизнь, а на смерть борются с французским народом как с представителем демократических идей. Конечно, на этот раз старая злоба должна будет уступить материальным интересам, и французскому оружию охотно предоставят возможность побороть более опасного врага на востоке со всеми его приверженцами. Тем более что враги при этом взаимно ослабят друг друга. Да, англичане будут особенно подстрекать галльского петуха к борьбе против самодержавных орлов, и с любопытством, вытягивая длинные шеи, будут смотреть с того берега канала и рукоплескать, как на *Cockpit*,¹ и за исход борьбы будут держать пари на многие сотни тысяч гиней.

Ужели и боги с высоты своего лазурного шатра будут столь же равнодушно созерцать это зрелище? Будут ли они, британцы неба, безучастные к нашему зову о помощи и к нашей льющейся крови, наблюдать бездушным свинцовым взором эту отчаянную борьбу народов? Или прав поэт, который утверждает, что, подобно тому как мы ненавидим обезьян за то, что из всех млекопитающих они более всего похожи на нас и этим оскорбляют нашу гордость, так и боги ненавидят людей, созданных по их образу и имеющих с ними такое оскорбительное сходство; и поэтому, чем люди выше, прекраснее, богоподобнее, тем ожесточеннее боги преследуют их бедствиями и губят их, тогда как маленьких уродливых людишек, похожих на млекопитающих животных, они милостиво щадят и дают им

¹ Месте петушиного боя (англ.).

наслаждаться счастьем. Если это грустное предположение справедливо, то французы ближе к своей гибели, чем все другие! Ах, если бы конец императора французов мог еще научить их, чего остается ждать от великодушия Англии! Или «Беллерофон» не уничтожил уже давно этой химеры? Пусть Франция никогда не полагается на Англию, так же как Польша — на Францию!

Но если бы этот ужас все же совершился, и Франция, родина цивилизации и свободы, пала бы жертвой легкомыслия и предательства, и картавая речь потсдамских офицеров снова раздалась бы на улицах Парижа, и грязные тевтонские сапоги снова осквернили бы священные мостовые бульваров, и Пале-Рояль снова завонял бы юфтью... тогда на свете оказался бы человек более несчастный, чем бывали когда-либо люди на земле, человек, чья жалкая лавочническая ограниченность стала бы причиной гибели родины, в чьем сердце собрались бы все змеи раскаяния и на чью голову обрушились бы все проклятия человечества. Грешники в аду, чтоб утешить себя, стали бы рассказывать друг другу о муках этого человека — о муках Казимира Перье.

Какая ужасающая ответственность тяготеет на одном этом человеке! Мне становится жутко всякий раз, как я приближаюсь к нему. Я, словно зачарованный страшным волшебством, простоял на днях целый час рядом с ним, созерцая эту мрачную фигуру, столь дерзновенно ставшую между народами и солнцем Июля. Если этот человек падет, думал я, великому солнечному затмению будет конец, и снова трехцветный флаг вдохновенно засверкает на Пантеоне, и снова расцветут деревья свободы! Человек этот — Атлас, несущий на своих плечах и биржу, и Орлеанский дом, и все государственное здание Европы, и если он рухнет, то рухнет и вся лавочка, в которой торговали благороднейшими упованиями человечества, рухнут меняльные столы, и биржевые курсы, и эгоизм, и пошлость!

Имя Атлас далеко не так случайно. Перье — необыкновенно высокий, широкоплечий, крепко сложенный человек, на вид очень сильный. Обычно составляют себе ложное представление о его наружности — отчасти потому, что газеты постоянно толкуют о его болезненности, стараясь рассердить его, совершено здорового и желающего остаться председателем совета министров, отчасти же

и потому, что о его раздражительности рассказывают самые невероятные анекдоты и что страстность, с которой он выступает на трибуне, принимают за его обычное состояние. Но этот человек — совсем другой, когда наблюдаешь его в домашнем кругу, в обществе, вообще в мирном состоянии. Тогда его лицо, вместо возвышенно-вдохновенного или же подавленного выражения, которое придает ему трибуна, становится истинно внушительным, полным достоинства, и весь он дышит еще более мужественной красотой и благородством, и смотришь на него с удовольствием, особенно пока он не говорит. В этом отношении он полная противоположность кассирше в кафе Кольбер, которая кажется почти некрасивой, пока молчит, но лицо которой сразу же приобретает сияющую прелесть, едва она откроет рот, чтобы заговорить. Только Перье, когда долго молчит и со вниманием слушает других, поджимает свои тонкие губы, и от этого рот имеет вид ямы среди лица. У него еще есть привычка — слушать, склонив голову, и тихонько кивать ею, словно ему хочется сказать: «Это все устроится». Лоб его высок и кажется еще больше оттого, что над ним осталось уже мало волос. Волосы, седые, почти белые, гладкие, скудно прикрывают остальную часть головы, выпуклость которой красива и пропорциональна; уши его можно назвать почти прекрасными. Но подбородок — короткий и заурядный. Дико и спутанно свисает черный кустарник его бровей на глубокие глазные впадины, где маленькие черные глаза, глубоко спрятавшись, всегда настороже; лишь порой что-то сверкнет там, словно стилет. Цвет лица — желтовато-серый, обычный цвет заботы и недовольства, и по лицу блуждают всякого рода странные морщины, правда не вульгарные, но и не благородные, пожалуй — морщины *juste milieu*, пристойно печальные морщины золотой середины. В этом человеке всегда хотят найти нечто банкирское, даже в его манере держаться выискивают купеческие черты, и один из моих друзей уверяет, что ему всегда хочется расспросить Перье о сегодняшней цене на кофе или о состоянии дисконта. «Но когда о ком-нибудь знаешь, что он слеп, — говорит Лихтенберг, — кажется, что это в нем заметно и сзади». Во всей наружности Казимира Перье я, правда, не нахожу ничего, что свидетельствовало бы о благородстве происхождения, но во всем его облике ярко сказывается

та прекрасная буржуазная культура, которую мы и находим у людей, обремененных важнейшими государственными заботами и не имеющих времени заниматься рыцарскими манерами и вопросами туалета.

О Перье вернее всего можно судить по его речам; ведь это — лучшее в нем, по крайней мере за период Реставрации, когда он, один из самых блестящих ораторов оппозиции, вел благороднейшую борьбу с лживыми попами и придворными лизоблюдами. Не знаю, был ли он и тогда столь же несдержан в движениях, как теперь; тогда я только читал его речи, которые, являясь образцом выдержки и достоинства, были вместе с тем так спокойны и обдуманны, что я считал его совсем старым человеком. В этих речах царил строжайшая логика, в них было что-то непреклонное, непреклонные доводы рассудка, поставленные прямо один возле другого, подобно несокрушимым железным прутьям, и порой из-за них проглядывала тихая грусть, словно бледная монахиня из-за монастырской решетки. Непреклонные доводы рассудка, эти железные прутья, остались в его речах, но теперь за ними виден лишь бессильный гнев, мечущийся взад и вперед подобно дикому зверю.

Многие из последних речей Перье, в которых обсуждаются проекты законов, как, например, законопроект о пэрах, написаны не им самим; для таких больших работ у министра не хватает времени. В собственных речах ему теперь с каждым днем приходится быть все более раздражительным, мелочным и страстным, по мере того как система, которую он должен защищать, становится все более сомнительной, недостаточной и бесчестной. В общественном мнении ему всего более благоприятствует то, что он стоит рядом с господином Себастиани, старым кокетничавшим человеком с пепельно-серым сердцем и желтым лицом, на котором порой виднеется еще пятнышко румянца, как на осенних деревьях, из желтой листвы которых скалятся несколько ярко-красных листков. Право, нет ничего отвратительнее этого надутого ничтожества, которое, хоть оно и объявлено большим, еще часто приходит в палату и садится на скамью министров с пошлой усмешкой на губах и с глупостями на языке. Для меня почти непонятно, что этот изящно обутый и гантированный хилый человек с расплывчатым взглядом водянистых глазок

когда-либо мог быть творцом великих дел в совете и в бою, как повествуют нам люди, описывающие отступление из России и посольство в Турцию. Все его познания состоят теперь из старых, потрепанных дипломатических фокусов, которые непрестанно трещат в его жестяном мозгу. Его политические идеи в собственном смысле слова напоминают тот большой ремень, который царица Карфагена вырезала из воловьей шкуры и которым она охватила целую страну; круг идей этого почтенного мужа обширен, охватывает немало пространства, но все-таки он — кожаный. Перье однажды сказал про него: «Он очень высокого мнения о себе, и это его единственное мнение».

Я поставил этого купидона Империи, как называют Себастиани, рядом с Геркулесом эпохи *juste milieu*, как называют Перье, лишь для того, чтоб показать последнего во весь рост. Право, я скорее готов преувеличить, чем умалить его достоинства, и все же не могу не признаться, что при виде его в памяти моей встает образ, рядом с которым он кажется столь же малым, как Себастиани рядом с ним. Дух ли сатиры вызывает в памяти контрасты? Или действительно Казимир Перье похож на величайшего министра, когда-либо правившего Англией, — на Джорджа Каннинга? Но и другие признают, что он удивительно напоминает его и что между обоими существует некое тайное родство.

Быть может, сходство между Перье и Каннингом скрывается в мещанском происхождении и облике, в трудности их положения, в непоколебимой силе поступков и сопротивления феодально-аристократическому натиску. Но оно отнюдь не распространяется на их карьеру и на их воззрения. Первый, родившийся и выросший среди мягких подушек изобилия, мог спокойно развивать свои лучшие склонности и спокойно принимать участие в той зажиточной оппозиции аристократам и иезуитам, которую в период Реставрации вела буржуазия. Напротив, Джордж Каннинг, родившийся от несчастных родителей, был бедным сыном бедной матери, которая с печалью и со слезами пестовала его днем, а вечером, чтобы заработать на хлеб, должна была подыматься на подмостки, играть в комедиях и смеяться; впоследствии, сменив меньшее зло нищеты на худшее зло блестящей зависимости, он терпел помощь богатого дяди и покровительство высокой знати.

Но если эти два человека различались положением, в которое поставила их удача и в котором долгое время она держала их, то еще сильнее они различались образом мыслей, который проявили, достигнув вершины власти, когда они, наконец, освободились от всяких стеснений и великое слово их жизни могло быть произнесено. Казмир Перье, который никогда ни от кого не зависел, который всегда владел золотым уменьем сохранять, развивать, совершенствовать в себе чувство свободы, вдруг стал малодушен и мелочен; не поняв своей собственной мощи, он склонился перед силой тех, кого он мог уничтожить, раздавить, и начал умолять о мире, который сам лишь из милости должен был бы даровать. Теперь он изменяет долгу гостеприимства и оскорбляет священнейшее несчастие, и, точно Прометей навыворот, похищает свет у людей, чтобы вернуть его богам. Напротив, Джордж Каннинг, бывший гладиатор на службе у тори, как только смог сбросить цепи духовного рабства, поднялся во всем величии своего прирожденного гражданского правосознания и, к ужасу своих прежних покровителей, став Спартак-ом Даунинг-стрита, провозгласил гражданскую и духовную свободу для всех народов и завоевал для Англии все вольнолюбивые сердца и тем самым — главенство в Европе.

То было мрачное время в Германии: одни только совы, цензурные указы, запах казематов, романы о самоотречении, вахтпарады, ханжество, тупоумие. И когда отблеск Каннинговых слов проник и к нам, возликовали немногие сердца, еще сохранявшие надежду; а что до автора этих строк, он простился со всеми милыми и дорогими, сел на корабль и направился в Лондон, чтобы видеть и слышать Каннинга. Я просиживал там целые дни на галерее капеллы св. Стефана, и проводил время в созерцании Каннинга, и пил слова с его уст, и сердце мое было в упоении. Он был среднего роста, красивый мужчина; ясное, благородное лицо, очень высокий лоб, небольшая лысина, благожелательный изгиб губ, кроткие убеждающие глаза, заметная резкость в движениях. Порой он ударял по железному ящику, стоявшему перед ним, на столе с документами, но и в пылу страсти всегда сохранял приличие, всегда был он полон достоинства, gentlemanlike.¹ Так в чем же

¹ Походил на джентльмена (англ.).

было его внешнее сходство с Казимиром Перье? Не знаю, но мне кажется, форма головы Перье, хотя и более крупной и грубой, разительно напоминает Каннинга. Некоторая болезненность, раздражительность и усталость, которую мы замечали в Каннинге, также поражают и в Перье и напоминают английского министра. Что касается таланта, то они могли бы друг с другом поспорить. Разница та, что Каннинг самое трудное совершал с особой легкостью, подобно Одиссею, который так легко натягивал тугой лук, точно это были струны лиры. Наоборот, Перье в самых малых делах обнаруживает некоторую тяжеловесность, ради незначительнейшего мероприятия он пускает в ход все свои силы, всю свою духовную и светскую кавалерию и инфантерию и, касаясь самых нежных струн, затрачивает столько усилий, как если бы он натягивал лук Одиссея. Его ораторскую манеру я охарактеризовал уже выше. Каннинг тоже был один из величайших ораторов своей эпохи. Его упрекали только в том, что он говорит слишком цветисто, слишком нарядно. Но этот упрек он, конечно, заслуживал лишь в первый период, когда, еще будучи в зависимом положении, не смел высказывать собственные взгляды и потому вместо них наполнял речь ораторскими цветами, умственными арабесками и блестящими остротами. Речь его была тогда не мечом, а только ножнами, правда драгоценными ножнами, пышно блиставшими чеканным узором из золотых цветов и вправленных в них самоцветных камней. Из этих ножен он впоследствии выхватил прямой, лишенный всяких украшений стальной клинок, который засверкал еще ярче и все же оказался достаточно отточен и остер. Я и теперь еще вижу плаксивые лица сидевших против Каннинга, в особенности же смехотворного сэра Томаса Летбриджа, который спросил его с огромным пафосом, выбрал ли он уже членов своего кабинета, после чего Джордж Каннинг спокойно встал, как будто собираясь сказать длинную речь, и, с пародийным пафосом произнес: «Yes»,¹ — снова сел, так что вся палата загрохотала от смеха. То было удивительное зрелище: почти вся прежняя оппозиция сидела позади министра, в том числе храбрый Рессел, неутомимый Брум, ученый Мекинтош, Кем Хобхоуз с изборожден-

¹ «Да» (англ.)

ным бурями лицом, благородный Роберт Вильсон с острым носом и, наконец, вдохновенно длинная допкихотовская фигура Френсиса Бердетта, чье прекрасное сердце — неувядаемый сад либеральных идей и чьи худые колени, по словам Коббета, касались тогда спины Каннинга. Это время вечно будет цвести в моей памяти, и вовеки не забуду я того часа, когда я внимал Джорджу Каннингу, говорившему о правах народов, и услышал те слова освобождения, что, подобно священным громам, пронеслись над всей землей, оставив эхо утешения и в хижине мексиканца и в хижине индуса. «That is my thunder»,¹ — мог сказать тогда Каннинг. Его прекрасный, полный, проникновенный голос скорбно и мощно вырывался из большой груди, и то были ясные, обнаженные, освященные смертью прощальные слова умирающего. За несколько дней до того умерла его мать, и траур, который он поэтому послал, усугублял торжественность его облика. Я все еще вижу его в черном фраке и в черных перчатках. Он посматривал на них порой во время своей речи, и когда при этом он становился особенно задумчив, я говорил себе: может быть, он думает теперь о своей умершей матери, и о долгой ее нужде, и о нужде всего бедного народа, умирающего с голоду в богатой Англии, и перчатки эти служат речательством того, что Каннинг знает, каково у народа на душе, и что он хочет ему помочь. В пылу своей речи он даже сорвал перчатку с одной руки, и мне уже казалось, что он хочет бросить ее к ногам всей высшей английской аристократии как черный вызов от лица всего оскорбленного человечества.

Если эта аристократия и не убила его прямо, как не убила она и узника Святой Елены, умершего от рака желудка, то она вонзила ему в сердце достаточно отравленных иголок. Мне рассказывали, например, что однажды Каннинг, отправляясь в парламент, получил письмо, которое было запечатано хорошо известным гербом и которое он распечатал уже в зале заседания, и пошел в нем старую афишу спектакля, где среди имен актеров стояло также имя его покойной матери. Вскоре после того Каннинг умер, и теперь, вот уже пять лет, он спит в Вестминстере рядом с Фоксом и Шериданом, и, быть может, на устах, которые

¹ «Это мой гром» (англ.).

произнесли такие великие, могучие слова, паук плетет свою бессмысленно безмолвную паутину. И Георг IV также спит теперь там в ряду своих отцов и предков, каменные изваяния которых лежат вытянутые на гробницах, положив каменные головы на каменные подушки, со скипетром и державой в руке; а кругом в высоких гробницах лежит аристократия Англии, благородные герцоги и епископы, лорды и бароны, теснящиеся и в смерти, как и в жизни, вокруг королей. И кто желает посмотреть на них там, в Вестминстере, платит шиллинг и шесть пенсов. Эти деньги взимает бедный маленький сторож, промысел которого — показывать знатных мертвых господ и который при этом бормочет их имена и деяния, словно показывая кабинет восковых фигур. Я люблю подобные зрелища, так как убеждаюсь тогда, что великие мира сего не бессмертны. Я не пожалел о шиллинге и шести пенсах и, покидая Вестминстер, сказал сторожу: «Я доволен твоей выставкой, но я охотно заплатил бы тебе вдвое, если бы коллекция была полней».

Все дело в этом. Пока аристократы Англии не все собрались к своим отцам, пока вестминстерская коллекция не полна, до тех пор борьба народов с привилегиями рождения все еще остается нерешенной, а гражданский союз между Францией и Англией сомнительным.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ

Париж, 25 марта 1832 г.

Бельгийский поход, осада Лиссабона и взятие Анконы — вот три главнейших подвига, которыми *juste milieu* ознаменовало за рубежом свою силу, свою мудрость и свое величие; внутри государства оно стяжало столь же доблестные лавры под колоннадой Пале-Рояля, в Лионе и в Гренобле. Никогда еще Франция не падала так низко в глазах других стран, даже во времена Помпадур и Дюбарри. Теперь оказывается, что может быть нечто еще более плачевное, нежели владычество метресс. В будуаре куртизанки все-таки можно найти больше чести, нежели в банкирской копторе. Даже в молельне Карла X, и то не вполне забывали о национальном достоинстве, и оттуда исходила мысль

о завоевании Алжира. От этого завоевания теперь для полноты унижения должны отказаться. Этот последний лоскут чести Франции приносится в жертву призрачному союзу с Англией. Точно обманчивая надежда на этот союз не обошлась уже достаточно дорого! Ради этого союза французы должны будут осрамиться и на цитадели Анконы, как на равнинах Бельгии и на стенах Лиссабона.

В самой стране затруднения и раздоры стали уже до того невыносимы, что даже немец потерял бы терпение. Сейчас французы — словно те грешники Дантова ада, которым их настоящее положение сделалось столь нестерпимо, что они только желают вырваться из него, хотя бы пришлось попасть в положение еще худшее. Так объясняется, что легитимная монархия для республиканцев и республика для легитимистов стали гораздо более желательными, чем то болото, которое находится посередине и в котором они увязли. Общее страдание связывает их. Рай у них не один и тот же, но один и тот же ад, и в нем стоит плач и скрежет зубовой. «Vive la République! Vive Henri V!»¹

Приверженцы нынешнего кабинета, то есть чиновники, банкиры, землевладельцы, лавочники, усугубляют общую досаду радужными заверениями, что все мы живем самым мирным образом, что курс государственных бумаг, этот термометр общественного благополучия, поднялся, что этой зимой в Париже мы видели балов больше чем когда-либо и что опера достигла высшего расцвета. Так оно и было на самом деле, ибо эти люди имеют ведь средства давать балы. И вот они танцевали, чтобы доказать, будто Франция счастлива, танцевали за свою систему, за мир, за спокойствие Европы; они хотели вытанцевать повышение курсов, они танцевали à la hausse.² Правда, порой во время самых радостных антраша дипломатический корпус доставлял злоешие депеши из Бельгии, Испании, Англии и Италии, но никто не проявлял замешательства, и с веселостью, полной отчаяния, все продолжали танцевать, подобно тому как Алина, королева Голконды, продолжает свои притворно веселые пляски

¹ «Да здравствует республика! Да здравствует Генрих V!» (франц.).

² На повышение (франц.).

в то время, как хор евнухов с писком сообщает одну ужасную весть за другой. Люди эти, как я отметил уже, танцевали за свою ренту, и чем умереннее они были настроены, тем с большей страстью танцевали они, и самые толстые, самые нравственные банкиры отплясывали безбожный вальс мопахинь из «Роберта-Дьявола», этой знаменитой оперы.

Мейербер достиг неслыханного, сумев на целую зиму завладеть вниманием порхающих парижан. По-прежнему все еще стремятся в Музыкальную академию посмотреть «Роберта-Дьявола», но да простят мне восторженные мейерберянцы, если мне кажется, что иных притягивает не одна только музыка, но также и политический смысл оперы! Роберта-Дьявола, сына черта, столь же нечестивого, как был Филипп Эгалите, и принцессы, столь же благочестивой, как дочь Пантьевра, дух отца влечет ко злу, к революции, а дух матери — к добру, к старому режиму; в душе его борются два врожденных начала, он витает посередине между ними, он — *juste milieu*. Тщетно пытаются адские голоса из волчьего дола вовлечь его в «*Mouvement*»,¹ тщетно манят его духи Конвента, восстающие из могил в виде революционных монахинь, тщетно Робеспьер в образе девицы Тальэни заключает его в объятия, — он противостоит всем нападениям, всем искушениям, им руководит любовь к принцессе Обеих Сицилий, а она очень благочестива, и он тоже становится благочестивым, и под конец мы видим его в лоне церкви, в облаках ладана и окруженного жужжанием попов. Не могу не отметить, что на первом представлении этой оперы, по недосмотру машиниста, люк, через который старый Дьявол-отец провалился в ад, остался незакрытым, и Дьявол-сын, нечаянно ступив на него, провалился тоже.

Поскольку в палате депутатов так много говорилось об этой опере, упоминание о ней на этих страницах не может быть неуместно. Явления общественной жизни здесь отнюдь не лишены политического значения, и я отлично понимаю, как мог Наполеон заниматься в Москве составлением регламента для парижских театров. На них во время последнего карнавала было обращено особое внимание правительства, так как вообще это время требовало от него тем большей бдительности, что опасения в нем

¹ «Движение» (франц.).

вызывала даже свобода масок, и в последний день масленицы ожидали восстания. Как легко маскарад может подать к этому повод, подтвердилось в Гренобле. В прошлом году последний день масленицы был отпразднован разрушением дворца архиепископа.

Так как для меня эта зима — первая в Париже, то я не могу решить, действительно ли карнавал в этом году был столь блистателен, как хвалится правительство, или он имел столь печальный вид, как жалуется оппозиция. Даже в таких чисто внешних вещах здесь нельзя добиться правды. Все партии стараются обмануть, и нельзя верить даже собственным глазам. Один из моих друзей, сторонник *juste milieu*, был так любезен, что водил меня по Парижу в последний день масленицы и дал мне увидеть воочию, как счастлив и весел народ. Он в тот день отпустил также всех своих слуг и категорически велел им всласть повеселиться. Весело держал он меня под руку, и весело носился со мною по улицам, и хохотал порой весьма громко. У Сен-Мартенских ворот на мокрой мостовой лежал смертельно бледный, хрипящий человек, о котором стоявшие зеваки говорили, что он умирает от голода. Но мой спутник уверил меня, что этот человек умирает с голоду каждый день на разных улицах и что он этим живет, так как ему платят карлисты, чтобы он подобным зрелищем возбуждал народ против правительства. Однако ремесло это, по-видимому, плохо оплачивается, так как многие и в самом деле умирают от голода. Голодная смерть — нечто совсем особое; много тысяч людей пришлось бы здесь видеть в таком состоянии, если бы они дольше могли его выдержать. Но обычно через три дня, проведенных без пищи, бедные мученики голода умирают один за другим, и их закапывают тихо и незаметно.

«Смотрите, как счастлив народ», — заметил мой спутник, указывая на многочисленные экипажи, полные масок, которые весело шумели и вытворяли забавнейшие штуки. Бульвары в самом деле представляли зрелище, исключительно занимательное по своей нестроте, и мне вспоминалась старая поговорка: «когда господь бог соскучится в небесах, он открывает окошко и глядит на бульвары Парижа». Но только мне казалось, что жандармерии наставлено было больше, чем, собственно, требуется для безобидного веселья. Республиканец, которого

я повстречал, испортил мне удовольствие, начав уверять меня, что большинство масок, суетящихся всего веселее, оплачено самой полицией для того, чтобы не было жалоб, будто народ больше не веселится. Я не стану определять, в какой мере это справедливо; мужчины и женщины в масках веселились, казалось, от всей души, и если полиция к тому же еще платила им, то это очень мило с ее стороны. Если что и могло выдать ее участие, так это разговоры замаскированных парней из народа и публичных женщин, которые, налив мушки на раскрашенные лица и щеголяя придворными нарядами, взятыми напрокат, пародировали и передразнивали благородные манеры времен Карла X, титулуя друг друга карлистскими именами, и при этом обмахивались веерами так надменно и так важничали, что невольно вспоминались мне те высокотожественные празднества, на которые еще ребенком я имел честь смотреть вниз с галереи; но только парижские торговки лучше говорили по-французски, чем кавалеры и знатные девицы в моем отечестве.

Отдавая справедливость последнему, признаюсь, что масленичный бык нынешнего года не возбудил бы в Германии никакого удивления. У немца вызвал бы насмешливую улыбку этот непредставительный бык, толщине которого здесь все так изумлялись. Намсками на этого бедного быка целую неделю была полна мелкая пресса; ходячей шуткой было, что он gros, gras et bête,¹ и шествие этого квазижирного быка пародировали в карикатурах на самый отвратительный лад. Уже ходили слухи, что в этом году шествие запретят; но потом спохватились. От стольких народных забав, ныне забытых, одно только шествие масленичного быка и сохранилось еще во Франции. Неограниченную монархию, parc des cerfs,² христианство, Бастилию и много подобных установлений доброго старого времени опрокинула революция; остался только бык. Потому-то и ведут его с торжеством по улицам, увенчанного цветами, в сопровождении свиты мясников, на которых и шлемы и латы — ветошь, унаследованная ими, как ближайшими родственниками, от покойных рыцарей. Легко понять смысл публичных маскарадов.

¹ Толст, жирен и глуп (*франц.*).

² Олений парк (*франц.*).

Труднее разгадать тот тайный маскарад, который замечашь здесь повсюду. Этот более обширный карнавал начинается 1 января и кончается 31 декабря. Блистательнейшие зрелища являет он в Пале-Бурбон, в Люксембурге и в Тюильри. Не только в палате депутатов, но и в палате пэров и в королевском кабинете разыгрывают сейчас безобразную комедию, которая, быть может, окончится трагично. Сторонники оппозиции, которые лишь продолжают комедию времен Реставрации, — это переодетые республиканцы, с явной иронией или слишком заметным отвращением играющие роль статистов монархии. Пэры играют сейчас роль не наследственных, а призванных в силу заслуг сановников. Но если заглянуть под маски, за ними большей частью оказываются хорошо известные лица знати, и в какие бы современные костюмы они ни облачались, это те же потомки старой аристократии, и самые имена их напоминают их древнее ничтожество, и можно встретить среди них даже одного Дрё-Брезе, о котором «National» говорит, будто он замечателен только тем, что однажды один из его предков получил хорошую отповедь. Что касается Луи-Филиппа, то он все еще играет свою роль roi-citoyen¹ и все еще носит соответствующий костюм буржуа. Однако под своей скромной фетровой шляпой он, как всем известно, носит совершенно несоразмерную с ней корону обыкновенного формата и в своем зонтике прячет неограниченный скипетр. И только тогда, когда речь заходит о самых дорогих интересах или когда кто-нибудь подходящей репликой разжигает страсти, эти люди забывают выученную роль и выдают себя. Интересы эти прежде всего денежные, а им-то и приходится отступать пред всеми остальными интересами, как можно было видеть во время бюджетных прений... Реплики, которые при этом вскрывали в палате депутатов республиканский образ мыслей, известны. И вовсе не так случайны и неважны — как думают, кажется, в Германии — были прения по поводу слова «*sujet*».² Это слово еще в начале французской революции давало повод к рассуждениям, в которых сказывались республиканские тенденции тех времен. Какой яростный

¹ Короля-гражданина (франц.).

² «Подданный» (франц.).

поднялся шум, когда однажды с уст бедного Людовика XVI в одной из его речей сорвалось это слово. Для сравнения с современностью я перечитал по этому поводу тогдашние газеты: тон 1790 года не заглох, он только облагородился. Филипписты вовсе уж не столь безобидны, когда словечками такого рода приводят в ярость оппозицию. В прошлом году тщательно остерегались называть Тюильри *château*,¹ и «*Moniteur*» получил прямое указание пользоваться словом *palais*.² Потом к этому стали относиться не так строго. А теперь решаются уже и на большее, и «*Débats*»³ говорят о Дворе, *la cour*! «Мы широкими шагами идем назад к Реставрации», — жаловался мне мой не в меру опасливый приятель, прочитав, что сестре короля дарован титул *Madame*. Эта подозрительность граничит почти с комизмом. «Мы пойдем назад еще дальше Реставрации!» — воскликнул на днях тот же приятель, бледнея от ужаса: на одном вечере он увидел нечто ужасное, а именно — красивую молодую даму с напудренными волосами. Откровенно говоря, это было очень красиво. Белокурые локоны были словно прикрыты легким инеем, теплые свежие цветы тем трогательнее и милее выглядывали из-под него.

«21 января» подобным же образом стало одним из тех слов, которые в парижской палате срывали личину с замаскированных наследственных страстей и с самого зыблого аристократизма. Случилось то, что я давно предвидел: аристократия и в парламенте повела себя так, будто ей принадлежит особая привилегия оплакивать смерть Людовика XVI, и оскорбила французский народ сохранением закона об искупительной годовщине, которым наместник Священного союза Людовик XVIII наложил епитимью, как на преступника, на весь французский народ. 21 января — это день, когда народ-цареубийца для устрашения всех окружающих его соседних народов должен был, посыпав голову пеплом, в мешке и со свечой в руках стоять перед Собором богоматери. Депутаты с полным правом голосовали за отмену этого закона, служившего скорее к унижению французов, чем к их утешению в том национальном бедствии, которое их постигло 21 января

¹ Замок (*франц.*).

² Дворец (*франц.*).

³ То есть «*Journal des Débats*» — «Дневник прений» (*франц.*)

1793 года. Не допустив отмены этого закона, палата пэров раскрыла свою непримиримую злобу к новой Франции и сняла личину со своей благородной вендетты, направленной против детей революции и против самой революции. Не столько ради непосредственных насущных интересов, сколько против самых основ революции борются сейчас пожизненные господа из Люксембургского дворца. Поэтому они не отвергли законопроект Бриквилля; они отреклись от своей чести и подавили в себе жесточайшее отвращение. Ведь этот законопроект ни в малой мере не затрагивал основ революции. Но закон о разводе — он не может быть допущен, потому что сущность его насковозь революционна, как поймет всякий христианско-католический дворянин.

Раскол, который по этому поводу возник между палатой депутатов и пэрами, вызовет самые неблагоприятные последствия. Говорят, что король уже начинает понимать смысл этого раскола во всей его безнадежности. Вот из-за этой половинчатости, из-за этих колебаний между раем и адом, из-за этой роберто-дьявольской золотой середины Луи-Филипп должен остерегаться, как бы невзначай не ступить на плохо закрытый люк. У него под ногами весьма ненадежная почва. По своей собственной вине он утратил свою вернейшую опору. Он совершил обыкновенный промах нерешительного человека, желающего добрых отношений с противниками и потому портящего отношения с друзьями. Он ублажал аристократию, которая его ненавидит, и оскорблял народ, свою лучшую опору. Его благоволение к наследственности пэров оттолкнуло от него жаждущие равенства сердца многих французов, и его затруднения с этими пожизненными господами будут служить для них злорадным развлечением. И только тогда, когда встает вопрос: «Что же означала Июльская революция?», недовольство перестает шутить шутки и мрачный гнев прорывается в грозных речах. Это — самая сильная из всех реплик, вскрывающая тайные страсти и заставляющая партии совершенно сбрасывать маски. И думаю, мертвецов великой недели, похороненных под стенами Лувра, можно было бы пробудить от сна, если бы спросить их: в самом ли деле мужи Июльской революции ничего не хотели, кроме того, что говорила оппозиция в палате при Реставрации? Такое именно определение Июльской революции дали во время последних прений сторонники правительства.

Какое это жалкое, само собою рушащееся объяснение, явствует уже из признания, сделанного впоследствии самой оппозицией, что за все годы Реставрации она играла комедию. Какая же после этого может быть речь о точности декларации? Точно так же и то, что три дня под пушечный гром кричал народ, не было точным выражением его желаний, как утверждали потом филипписты. Крик «Vive la Charte!»,¹ который потом истолковывали как всеобщее желание сохранить хартию, был тогда не чем иным, как лозунгом, паролем, служившим лишь в качестве *signe de ralliement*.² Выражениям, которыми в таких случаях пользуется народ, нельзя придавать слишком определенный смысл. Это относится одинаково ко всем революциям, которые совершил народ. «Люди завтрашнего утра» всегда приходят напоследок и стараются найти слова. И находят они лишь мертвящее слово, а не животворящий дух. Важно же знать дух, а не слова. Ибо народ так же мало понимает слова, как и сам не умеет словами заставить себя понять. Он понимает лишь дела, лишь факты и говорит только делами и фактами. Таким фактом была Июльская революция, и она заключалась не только в том, что Карл X был изгнан в Голируд из Тюильри, а Луи-Филипп поселился там; такая чисто личная перемена имела бы значение только для швейцара этого дворца. Народ, изгнав Карла X, видел в нем лишь представителя аристократии, каким он являлся всю свою жизнь, начиная с 1788 года, когда, представляясь в качестве принца крови Людовику XVI, решительно заявил, что государь — прежде всего дворянин и как таковой естественно принадлежит к корпорации дворянства и поэтому должен защищать ее права преимущественно перед всякими иными интересами. А в Луи-Филиппе народ прежде всего видел человека, чей отец даже самым своим именем уже признал гражданское равенство людей, человека, который сам сражался за свободу при Вальми и при Жемаппе, у которого с самой ранней юности и до сего дня слова «свобода» и «равенство» всегда были на устах и который, находясь в оппозиции к собственной родне, всегда выступал представителем демократии.

¹ «Да здравствует хартия!» (франц.).

² Сигнала к сбору (франц.).

Как прекрасно светился этот человек в сиянии июльского солнца, которое словно нимбом озаряло его голову и даже на самые ошибки его бросало столько света, что они казались еще ослепительнее, чем его добродетели. Вальми и Жемапп! Таков был патриотический рефрен всех его речей. Он гладил трехцветный флаг, словно вновь обретенную возлюбленную; он стоял на балконе Пале-Рояля и рукой отбивал такт «Марсельезы», которую внизу, ликуя, пел народ; и он весь был сын Равенства, *filis d'Égalité*,¹ *soldat tricolore*² свободы, как он дал воспеть себя Делавиню в его «*Parisienne*»³ и как дал изобразить себя Орасу Верне на тех картинах, которые всегда были выставлены напоказ, полные особого смысла, в залах Пале-Рояля. Во времена Реставрации народ всегда имел свободный доступ в эти залы, и разгуливал в них по воскресеньям, и дивился, какой мещански простой вид имело там все, в противоположность Тюильри, куда не мог так легко попасть бедный простолюдин; с особенной любовью он смотрел на картину, где Луи-Филипп, изображенный в виде учителя швейцарской школы, стоит перед глобусом и обучает ребят географии. Бедные люди неведь что думали о той премудрости, которою он сам должен был для этого обладать. Теперь же говорят, что Луи-Филипп научился тогда всего лишь *faire bonne mine à mauvais jeu*⁴ и чрезмерно ценить деньги. ореол вокруг головы его исчез, и недовольство видит в ней лишь грушу.

Груша все еще составляет предмет уличных острот, постоянно повторяющихся в юмористических листках и карикатурах. Эти листки — в особенности «*Le Revenant*», «*Les Cancans*», «*Le Brid'Oison*», «*La Mode*»⁵ и как там еще называются эти карлистские насекомые — издеваются над королем с бесстыдством, которое тем более отвратительно, что их, как хорошо известно, оплачивает аристократическое предместье. Говорят, королева часто их читает и плачет от этого чтения; эти листки бедной женщине доставляет неутомимая услужливость тех злей-

¹ Сын Равенства (*франц.*)

² Трехцветный солдат (*франц.*).

³ «Парижанке» (*франц.*).

⁴ Делать хорошую мину при плохой игре (*франц.*).

⁵ «Привидение», «Сплетни», «Бридуазон» (имя комического персонажа из «Женитьбы Фигаро» Бомарше), «Мода» (*франц.*).

ших врагов, которых под именем «добрых друзей» можно найти во всяком большом доме. Груша, как я сказал, сделалась постоянным предметом остроумия, и сотни карикатур, на которых видишь ее, выставлены повсюду. На них можно видеть Казимира Перье, стоящего на трибуне и держащего в руке грушу, которую он выхваляет окружающим и сбывает самому щедрому покупателю за восемнадцать миллионов. Там — опять необычайно большая груша лежит, подобно горе, на груди спящего Лафайета, который, как написано на стене комнаты, грезит о лучшей из республик. Потом еще можно видеть Перье и Себастиани, одеты они: один — в костюм пьеро, а другой — в костюм трехцветного арлекина, пробираются по глубокой грязи и несут на плечах перекладину, к которой привешена огромная груша. Юного Генриха изображают благочестивым странником в одеянии пилигрима, в шляпе наподобие раковины и с посохом, на котором сверху висит груша, напоминающая отрубленную голову.

Я, право, не собираюсь защищать бесстыдство этих карикатур, менее всего, когда они затрагивают самую личность монарха. Но их бесчисленное множество есть глас народа и кое-что означает. Подобные карикатуры становятся до некоторой степени извинительными, когда, не стремясь просто оскорбить лицо, они бичуют обман, жертвой которого становится народ. Тогда и влияние их беспредельно. С тех пор как появилась карикатура, на которой изображен трехцветный попугай, отвечающий на каждый обращенный к нему вопрос попеременно то «Вальми», то «Жемапп», Луи-Филипп остерегается повторять эти слова столь же часто, как прежде. Он ведь чувствует, что в этих словах всегда содержалось обещание, и тот, у кого они были на устах, не имел права добиваться квазилегитимизма, не имел права сохранять аристократические установления, не имел права этим путем вымалывать мир, не имел права позволять безнаказанно оскорблять Францию, не имел права предавать палачам свободу остального мира. На доверии народа должен был Луи-Филипп укрепить свой трон, которым он обязан доверию народа. Он обязан был окружить его республиканскими учреждениями, верный своему обещанию, засвидетельствованному безупречнейшим гражданином Старого и Нового Света. Ложь хартии должна была быть уничтожена,

а Вальми и Жемапп должны были стать явью. Луи-Филипп обязан был исполнить то, что символически обещала вся его жизнь. Как некогда в Швейцарии, он обязан был снова стать перед глобусом и всенародно объявить: «Видите эти прекрасные страши, люди в них все свободны, все равны, и если вы, малыши, этого не запомните, то получите розги». Да, Луи-Филипп обязан был стать во главе европейской свободы, слить ее интересы со своими собственными интересами, отождествить себя со свободой, и подобно тому как один из его предшественников произнес дерзновенное «L'État c'est moi», так и он с еще большей уверенностью в себе должен был воскликнуть: «La liberté c'est moi!»¹

Он этого не сделал. Теперь будем выжидать последствий. Они неминуемы, и только насчет срока нельзя сказать ничего определенного. Советуют остерегаться прекрасных дней весны. Карлисты полагают, что новый трон рухнет лишь осенью. Если это не произойдет, то он продержится еще около четырех-пяти лет. Республиканцы больше не хотят пускаться в слишком определенные предсказания. «Довольно того, — говорят они, — что будущее принадлежит нам». И в этом они, пожалуй, правы. Хотя до сих пор их всегда обманывали карлисты и бонапартисты, все же должно наступить время, когда окажется, что деятельность обеих этих партий послужила на пользу лишь республиканцам. Они и рассчитывают на эту деятельность карлистов и бонапартистов, тем более что сами они не могут ни деньгами, ни сочувствием к себе вызвать движение в массах. Деньги же льются сейчас золотыми потоками из Сен-Жерменского предместья, и все продажное покупается на них. На рынке в Париже, к сожалению, всегда есть слишком много продажного, и считается, что карлисты за этот месяц сделали большие успехи. Подкуплены будто бы многие люди, всегда пользовавшиеся в народе большим влиянием. Известны и благочестивые происки черных сутан в провинции; они проползают и всюду кругом шипят и лгут во имя господне. Всюду выставляется изображение чудо-отрока, и можно видеть его в самых трогательных позах. То он стоит на коленях и молится о спасении Франции и своих несчастных подданных, то он карабкается на горы Шотландии, в одеянии горца, без штанов. «Mâtin! —

¹ «Свобода — это я!» (франц.).

сказал рабочий, вместе со мной рассматривавший это изображение в лавке торговца гравюрами. — *On le représente sans culotte, mais nous savons bien qu'il est jésuite*».¹ На другой картине в том же роде он, плачущий, изображен вместе со своей сестрицей, и внизу начертаны чувствительные стихи: «*Oh! que j'ai douce souvenance — Du beau pays de mon enfance*»² и т. д. Песни и стихи, прославляющие юного Генриха, распространяются в большом количестве и хорошо оплачиваются. Как некогда в Англии была якобистская поэзия, так теперь существует здесь поэзия карлистская.

Между тем бонапартистская поэзия много значительнее, и важнее, и опаснее для правительства. В Париже нет гризетки, которая не пела бы и не чувствовала песен Беранже. Народ лучше всего понимает эту бонапартистскую поэзию, и на этом спекулируют поэты, а на поэтах, в свою очередь, спекулируют другие. Виктор Гюго пишет сейчас большую героическую поэму о старом Наполеоне, и родственники по отцу молодого Наполеона состоят в переписке именно с теми народными поэтами, которые известны в качестве Тиртеев бонапартизма и воодушевляющую лиру которых они надеются в надлежащее время пустить в ход. Здесь даже думают, будто «сыну человека» стоит лишь появиться, чтобы положить конец теперешнему правительству. Известно, что имя Наполеона увлекает народ и обезоруживает армию. Однако благоразумные истинные демократы отнюдь не склонны вторить этим всеобщим восторгам. Конечно, имя Наполеона им дорого и ценно, потому что оно стало почти синонимом славы Франции и победы трехцветного знамени. В Наполеоне они видят сына революции; в молодом герцоге Рейхштадтском они видят только сына императора. Признав его, они тем самым признали бы принцип легитимизма. Это во всяком случае было бы забавной непоследовательностью. Столь же забавно мнение, что сын, хотя бы он и не достиг величия своего отца, наверно все же и не совсем выродок и все-таки будет маленьким Наполеоном.

¹ «Черт возьми! Его изображают санкюлотом, но мы-то знаем, что он иезуит» (*франц.*). Здесь игра слов: по-французски *sans culotte* значит без штанов и санкюлот.

² «О как сладки воспоминания — О прекрасном крае, где я провел свое детство!» (*франц.*).

Маленьким Наполеоном! Как будто Вандомская колонна возбуждает наше удивление чем-нибудь иным, кроме своей величины! Ведь именно потому, что она такая большая и мощная, народ хочет опереться на нее в это смутное, шаткое время, когда единственное, что крепко стоит во Франции, — это Вандомская колонна.

Вокруг этой колонны вращаются все мысли народа. Она для него несокрушимая железная летопись, и по ней он читает о своих собственных подвигах. Но особенно живо помнит он то поругание, которому немцы подвергли статую на этой колонне, помнит, как они бедному императору отпилили ноги, как ему, словно вору, накинули веревку на шею и низвергли его с высоты. Добрые немцы исполнили свой долг. На этой земле каждый имеет свое назначение, бессознательно осуществляет его и оставляет по себе символ этого осуществления. Так, Наполеон должен был во всех странах добиться победы революции. Но, забыв об этом назначении, он лишь самого себя захотел возвеличить победой и дерзновенно-эгоистически вознес свое изображение на трофеи революции, на сплавленные воедино пушки Вандомской колонны. И вот немцам назначено было отомстить за революцию и низвергнуть императора с узурпированной высоты, с высоты Вандомской колонны. Лишь трехцветному флагу подобаает это место, и с июльских дней он развеивается там, победный и многообещающий. Если впоследствии Наполеона снова водрузят на Вандомскую колонну, то он будет стоять уже не как император, не как Цезарь, а как представитель революции, несчастием искупивший грехи и очищенный смертью, как символ победной власти народа.

Так как я только что говорил о молодом Наполеоне и о молодом Генрихе, я должен также упомянуть и о молодом герцоге Орлеанском. У здешних торговцев эстампами они обычно бывают выставлены рядом друг с другом, и наши памфлетисты постоянно рассуждают об этих трех странных представителях легитимизма. Что это, помимо всего, служит одной из главных тем для болтовни публики — понятно само собой. Это слишком обширный и слишком бесплодный вопрос, чтобы касаться его здесь. Более важным кажется мне все, что касается личных качеств герцога Орлеанского, так как с личностью молодого принца связано столько интересов ближайшего будущего.

Более практическое значение имеет вопрос не о том, имеет ли он право вступить на престол, а о том, обладает ли он необходимой для этого силой, может ли его партия доверять этой силе и чего следует ожидать от его характера, так как во всяком случае ему предстоит играть важную роль. Однако мнения насчет его характера разнообразны, даже разноречивы. Одни говорят, будто герцог Орлеанский — совсем ограниченный человек, робкий, тупоумный, будто бы даже в семье его называют *grand poulot*,¹ но при этом он одержим наклонностями к абсолютизму, временами с ним даже делаются припадки бешеного властолюбия. Так, например, он с упрямством настоял на том, чтобы отец пустил его в Лион во время восстания рабочих, опасаясь, как бы его не опередил герцог Рейхштадтский, и т. д. Другие, напротив, говорят, что его королевское высочество — сама доброта, само благомыслие, сама скромность; что он очень разумный молодой человек, получивший вполне соответствующее воспитание и наилучшее образование; что он преисполнен отваги, чувства чести и любви к свободе и доказал это, часто и настойчиво советуя отцу проводить более либеральную политику; что он чужд всякой лжи и злобы, что он сама любезность и что любимый его способ мстить своим врагам — это отбить на балу хорошенькую девушку. Нет надобности говорить, что это благожелательное мнение исходит от сторонников династии, а мнение неприязненное — от ее противников. И тем и другим одинаково нельзя верить.

Итак, о молодом принце я не могу сообщить ничего определенного, кроме того, что видел сам, то есть какова его внешность. Тут, в согласии с истиной, я должен признать, что внешность его хороша. Несколько долговязая, собственно не худая, а скорее тонкая фигура, продолговатая, узкая голова на длинной шее, также удлинненные, но совершенно правильные, благородные линии лица, честный открытый лоб, прямой правильный нос, красивый свежий рот, с мягко округленными, словно просящими, губами, маленькие голубоватые, странно невыразительные, лишенные мысли глаза, напоминающие своей формой крошечные треугольники, русые волосы и совсем белокурые бакенбарды, продолжающиеся и под подбород-

¹ Взрослым ребенком (*франц.*). Буквально — большим цыпленком.

ком и словно заключающие в золотую рамку румяно-цветущее, здоровое юношеское лицо. Мне кажется, что в чертах этого лица я читаю большую будущность, однако будущность не слишком радостную. В лучшем случае этот юноша идет навстречу великому мученичеству: он станет королем. Если будущих событий он не провидит умом, то все же, кажется, он инстинктивно их понимает. Животная природа, так сказать — плоть, как бы охвачена печальными предчувствиями, и поэтому некоторая меланхолия сказывается в его наружности. Уныло и задумчиво свешивается порой узкая длинная голова на длинной шее. Походка — сонная и перешительная, как походка чело-вэка, который все боится, не пришел ли он слишком рано. Его речь то тянется медлительно, то обрывается, точно в полусне. В этом и проявляется отмеченная нами меланхолия, или, вернее, меланхолическая печать будущего. Впрочем, в его внешности есть что-то мещански простое. Эта особенность тем отчетливее выступает в нем, что в его брате, герцоге Немурском, замечается противоположное. Он — красивый, очень разумный юноша, стройный, но невысокий, очень нежного сложения; белое приятное личико, умный и легкий взгляд, устремленный вперед, несколько по-бурбонски изогнутый нос; в общем — изящный блондин стародворянского склада. Это не наглые черты дворянчика из ганноверской глуши, но особое благородство внешности и манер, какое встречается лишь среди образованнейшей высокой знати. Так как эта порода с каждым днем уменьшается в числе или вырождается вследствие мезальянсов, то аристократическая наружность герцога Немурского бросается в глаза. Однажды я слышал, как кто-то, увидев его, сказал: «Это лицо через несколько лет будет производить в Америке сильное впечатление».

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ

Париж, 19 апреля 1832 г.

Я не намерен заимствовать из мастерских различных партий банальный масштаб, чтобы мерить им людей и их дела; еще менее намерен я определять достоинство и величие их по грезам и личным своим чувствам. Но я хотел

бы со всем возможным беспристрастием способствовать уразумению настоящего и искать ключа к шумным загадкам нынешнего дня прежде всего в прошедшем. Салоны лгут — могилы правдивы. Но, — увы! — мертвые, эти холодные повествователи истории, тщетно взывают к бушующей толпе, которой понятен лишь язык страстей.

Разумеется, салоны лгут непреднамеренно. Общество власть имущих действительно верит в вечность своей власти, хотя анналы мировой истории, и огненное «менé, текéл» газет, и даже громкий голос уличной толпы производят слова предостережений. Оппозиционные группы лгут, собственно говоря, тоже неумышленно. Они совершенно твердо верят в свою победу, так как люди вообще верят в то, чего желают, и опьяняют себя шампанским своих надежд. Каждую неудачу они считают неизбежным шагом, еще более приближающим их к цели. Накануне падения их упования сверкают всего блистательнее, и посланец суда, официально возвещающий им поражение, обыкновенно застаёт их за дележом медвежьей шкуры. Отсюда — те ошибки односторонности, которых нельзя избежать, если близко стоять к той или иной партии; каждая из них невольно обманывает нас, а мы охотнее всего доверяем нашим друзьям-единомышленникам. Если же мы сами столь равнодушны по природе, что постоянно находимся в общении со всеми партиями, ни одной не отдавая предпочтения, то нас сбивает с толку полная самоуверенность, которую мы находим в любой из них, и наше суждение расслабляюще нейтрализуется. Индифферентисты такого сорта, не имеющие собственного мнения, безучастные к интересам современности и желающие лишь разузнать, что, собственно, происходит, и поэтому подслушивающие болтовню всех салонов и подбирающие во всякой партии *chronique scandaleuse* других партий, — такие индифферентисты видят только личности и не видят дел, или, вернее, в делах видят только личности. И, распознав слабость личностей, они предсказывают крушение их дел и вследствие этого вовлекают тех, кто им доверяется, в опаснейшие ошибки и промахи.

Не могу не обратить здесь особого внимания на то несоответствие между делами (то есть духовными и материальными интересами) и личностями (то есть представи-

телями этих интересов), которое сейчас наблюдается во Франции. Совсем не то было в конце прошлого столетия, когда люди-колоссы вырастали до высоты стоявших перед ними дел, так что в истории революции они образуют как бы героический период, и этот период, как героический, прославляется и почитается нашей республиканской молодежью. Или мы, быть может, впадаем в этом смысле в такое же заблуждение, какое мы находим у господи Ролан, весьма горько жалующейся в своих «Мемуарах», что среди людей ее времени нет ни одного выдающегося человека? Бедная женщина не знала своего собственного величия и не замечала поэтому, что современники ее уже были достаточно велики, если они даже ей духовно не в чем не уступали. Теперь весь французский народ так сильно вырос, что мы, пожалуй, несправедливы к его общественным представителям, которые хотя и не особенно возвышаются над толпой, все же не могут быть названы маленькими. Теперь из-за леса не видно деревьев. В Германии мы наблюдаем обратное — чрезмерное обилие деревьев-уродов, карликовых елок, а между ними то здесь, то там — исполинский дуб, верхушка которого поднимается до облаков, меж тем как внизу черви подтачивают ствол.

Нынешний день — порождение вчерашнего дня. Чтобы узнать, чего желает нынешний день, нужно исследовать, чего хотел вчерашний день. Революция — все та же. Не за хартию сражались в дни великой недели, как хотят убедить нас доктринеры, но за те же самые интересы революции, ради которых уже сорок лет проливалась лучшая кровь Франции. Однако, чтобы автора этих страниц не сочли за одного из тех проповедников, которые под революцией понимают лишь перевороты, и только перевороты, а случайные явления принимают за сущность революции, я постараюсь как можно точнее определить ее основное понятие.

Когда духовное развитие народа и обусловленные им нравы и потребности перестают быть созвучными старым государственным установлениям, тогда народ вступает в неизбежную борьбу с этими установлениями, которая приводит к их преобразованию и называется революцией. Пока революция не завершена, пока это преобразование установлений не достигает полного соответствия с духов-

ным развитием и вытекающими из него нравами и потребностями народа, до тех пор и государство не исцеляется от своего недуга и болезненно возбужденный народ будет, правда, временами впадать в сонную усталость, но вскоре вновь, ощутив лихорадочный жар, станет срывать со старых ран самые тугие повязки и самую благодетельную корпию, начнет выбрасывать в окно благороднейших сиделок и беспокойно и мучительно метаться в разные стороны, пока сам собой не окажется среди соответствующих усталовлений.

Вопрос — достигнет ли сейчас Франция покоя, или же мы идем навстречу новым государственным изменениям, и, наконец, чем все это кончится? — вопрос этот, собственно, должен был бы ставиться иначе: что побудило французов начать революцию, и достигли ли они того, в чем нуждались? Чтобы облегчить ответ на этот вопрос, я в ближайших моих статьях буду говорить о начале революции. Это — вдвойне полезное занятие, ибо когда мы пытаемся прошлым объяснить настоящее, тотчас же становится очевидно, что свое истинное объяснение прошлое находит лишь в настоящем, и каждый новый день проливает на него новый свет, о котором и не подозревали наши прежние составители учебников. Они думали, что летопись революции уже замкнулась, и уже высказали окончательное суждение о людях и делах, как вдруг загромыхали пушки великой недели, и геттингенский факультет заметил, что на решение его академического совета подана апелляция в высшую инстанцию и что не только не кончилась чисто французская революция, но что теперь лишь началась гораздо более широкая — всемирная революция. Как должны были испугаться эти мирные люди, когда ранним утром, высунувшись из окна, они узрели крушение государства и своих компендиумов, и, несмотря на ночные колпаки, до их слуха донеслись звуки марсельского гимна. Поистине же, то, что в 1830 году трехцветный флаг развевался несколько дней на башнях Геттингена, было студенческой потехой, которую мировая история позволила себе по отношению высокоученому филистерству *Georgiae Augustae*. В наше слишком серьезное время полезны такие развлечения.

Но сказанного достаточно для вступления к статье, имеющей целью объяснения в свете прошлого. Настоящее

в этот момент более важно, и тема, которую оно мне предлагает на обсуждение, — такого рода, что ею определяется весь характер дальнейших писаний.

Отрывок из статьи, обещанной здесь, я дам в приложении. Часть ее, написанная позднее, появится в следующей книге. Мне очень мешали, когда я писал эту статью, больше же всего тревожили меня ужасающие крики соседа, умиравшего от холеры. Вообще я должен заметить, что тогдашняя обстановка неблагоприятно отразилась также и на следующих страницах. Правда, я не помню, чтобы ощущал малейший страх, но все-таки очень беспокойно, когда в ушах непрестанно звенит лязг косы, которую точит смерть. Недомогание скорее физическое, чем душевное, от которого все же нельзя было отделаться, выгнало бы отсюда и меня вместе с другими чужестранцами; но лучший друг мой лежал здесь больной. Я отмечаю это, чтобы мое пребывание в Париже не сочли за браваду. Только безумцу могло бы доставить удовольствие сопротивляться холере. Это был период террора, гораздо более ужасного, чем тот, прежний террор, ибо казни совершались теперь с такой поспешностью и столь таинственно! Замаскированный палач ходил по Парижу с незримой guillotine ambulante.¹ «Всех нас, одного за другим, засунут в мешок!» — каждое утро говорил со вздохом мой слуга, называя мне число мертвецов или сообщая о смерти знакомого. Выражение «засунуть в мешок» было отнюдь не метафорой; вскоре не хватило гробов, и покойников стали большей частью хоронить в мешках. Когда я на прошлой неделе проходил мимо одного общественного здания и увидел веселую толпу, наполнявшую просторный зал, — игриво прыгающих французикув, милецких болтушек-француженок, со смехом и шутками делавших там покупки, мне вспомнилось, что во время холеры здесь сотнями лежали высоко нагроможденные друг на друга белые мешки, в которых сплошь были трупы, и что здесь раздавались редкие, но тем более зловещие голоса, слышно было, как сторожа с жутким равнодушием по счету сдают эти мешки могильщикам и как те, нагружая ими свои телеги, глухо повторяют число или же крикливо начинают жаловаться, будто им отпустили на один мешок меньше, причем нередко разгоралась странная ссора. Помню, что возле меня стояли с грустными лицами два маленьких мальчика, и один из них меня спросил, не могу ли я ему сказать, в каком мешке его отец.

Нижеследующее сообщение имеет, быть может, то достоинство, что оно — как бюллетень, писанный на поле битвы и притом во время самого боя, а потому правдиво передающий колорит минуты. Фукидид, историк, и Боккаччо, новеллист, оставили нам, конечно, лучшие описания в этом роде, но я сомневаюсь, чтобы у них хватило спокойствия духа, если бы в то самое время, как холера их века всего лютее бушевала вокруг них, им надо было так красиво, так мастерски описывать ее в поспешной статье для «Всеобщей газеты» Коринфа или Пизы.

¹ Передвижной гильотиной (франц.).

Я и на следующих страницах останусь верен правилу, которого держусь во всей книге, а именно: я ничего не изменю в этой статье, я отдам ее в печать совершенно в том виде, как она первоначально была написана, лишь кое-где я вставлю или выброшу слово, если, по моим воспоминаниям, это соответствует первоначальной рукописи. Я не могу отказаться от таких небольших реминисценций, но они очень редки, очень незначительны и нигде не касаются существенных ошибок, ложных предсказаний и превратных мнений, в которых здесь не может быть недостатка, так как они принадлежат истории того времени. Сами события являются всегда лучшими поправками.

Я говорю о холере, которая с тех пор царит здесь, и царит неограниченно, тысячами поражая свои жертвы, невзирая ни на положение, занимаемое ими, ни на их образ мыслей.

К этому бедствию отнеслись сперва тем беззаботнее, что, как сообщали из Лондона, холера уносит сравнительно мало жертв. Сперва как будто даже собирались поднять холеру насмех и думали, что она, как и всякая знаменитость, не сможет поддержать здесь свой престиж. И не приходится пенять на бедную холеру, если она, из боязни показаться смешной, прибегла к тому средству, которое еще и Робеспьер и Наполеон считали надежным, и, чтобы заставить уважать себя, стала косить народ. При большой нищете, которая здесь царит, при страшной нечистоплотности, которую можно наблюдать не только среди беднейших классов населения, при восприимчивости народа вообще ко всему, при его безграничном легкомыслии, при полном отсутствии предосторожностей и предохранительных мер, холера должна была распространиться здесь быстрее и ужаснее, чем где бы то ни было. Ее пришествие было официально возвещено 29 марта, а так как это был день *mi-saînte*¹ и стояла солнечная и мягкая погода, то парижане, еще более веселые, чем обычно, толпились на бульварах, где даже встречались маски, которые, пародируя болезненный цвет лица и расстроенный вид, высмеивали боязнь холеры и самую болезнь. В тот вечер танцевальные залы были полны, как никогда, самонадеянный смех почти заглушал самую громкую музыку, публика горячилась, танцуя *shahût* — не слыш-

¹ День общественных увеселений на третьей неделе поста, в четверг (*франц.*).

ком двусмысленный танец, поглощала затем мороженое и всякие прохладительные напитки. И вдруг самый веселый арлекин ощутил в ногах чрезмерную прохладу, снял маску, и из-под нее, ко всеобщему изумлению, глянуло сине-лиловое лицо. Скоро заметили, что это не шутка, и смех умолк, и несколько повозок, наполненных людьми, прямо от танцевального зала направились к Отель-Дё, центральному госпиталю, где люди эти вскоре и умерли в своих затейливых маскарадных одеждах. Так как в первый миг испуга у всех явилась мысль о заразе, а более давние гости Отель-Дё стали надрывно голосить, то всех этих мертвецов похоронили, говорят, столь поспешно, что не сняли с них даже пестрых шутовских нарядов, и такие же веселые, как весела была их жизнь, они лежат и в своих могилах.

Ни с чем не сравнится та растерянность, с которой затем принялись за предохранительные меры. Назначена была *Commission sanitaire*,¹ всюду учреждены были *Bureaux de secours*,² и немедленно приведено было в действие постановление о *Salubrité publique*.³ Здесь пришлось прежде всего столкнуться с интересами нескольких тысяч человек, считающих общественную грязь своим достоянием. Это так называемые *chiffonniers*,⁴ которые из мусора, скопляющегося за день в грязных закоулках домов, извлекают средства к жизни. С большой остроконечной корзиной за спиной и с крючковатой палкой в руке бродят по улицам эти люди, грязные, бледнолицые, и умудряются вытащить из мусора и продать всякую всячину, еще годную к употреблению. А когда полиция сдала в аренду очистку улиц, чтобы грязь не залеживалась на них, и когда мусор, нагруженный на телеги, стали вывозить прямо за город, в открытое поле, где тряпичникам предоставлялось сколько угодно рыться в нем, тогда эти люди стали жаловаться, что если их и не лишают хлеба, то мешают их промыслу, что промысел этот — их давнишнее право, почти собственность, которую у них произвольно хотят отнять. Удивительно, что доказательства, которыми

¹ Санитарная комиссия (*франц.*).

² Бюро помощи (*франц.*).

³ Общественной гигиене (*франц.*).

⁴ Тряпичники (*франц.*).

они при этом пользовались, совершенно те же, которые обычно выставляют наши дворянчики, цеховые старшины, мастера гильдий, проповедники десятинного сбора, факультетские товарищи и прочие утопающие в привилегиях люди всякий раз, когда речь заходит о том, что древние злоупотребления, из которых они извлекают выгоду, весь мусор средневековья должен, наконец, быть выметен, чтобы застарелая гниль и вошь не зачумляли нашу нынешнюю жизнь. Когда жалобы не помогли, тряпичники насильственным путем постарались помешать ассенизационной реформе; они попытались устроить маленькую контрреволюцию, и притом в союзе со старыми бабами, старьевщицами, которым было запрещено раскладывать вдоль набережных и перепродавать зловонные лоскутья, купленные большею частью у тряпичников. И вот мы увидели омерзительнейшее восстание: новые ассенизационные повозки были разбиты и брошены в Сену; тряпичники забаррикадировались у ворот Сен-Дени; старухи ветошницы сражались большими зонтами на площади Шатле. Забили общий сбор. Казимир Перье барабанным боем вызвал своих мирмидонян из их лавок. Буржуазный трон затрясся. Рента пала. Карлисты возликовали. Они нашли, наконец, своих естественных союзников, собирателей тряпья, старух ветошниц, выступивших теперь на защиту тех же принципов, как поборники древних прав, наследственно-мусорных интересов, всякого рода гнили.

Когда восстание тряпичников было подавлено вооруженной силой, а холера продолжала бушевать, но не с такой яростью, как хотелось иным людям, надеющимся при всяком народном бедствии и народном возмущении если не на победу своего дела, то по крайней мере на падение теперешнего правительства, — внезапно пронесся слух, будто многие из тех людей, которых с такой поспешностью предают земле, умирают не от болезни, а от отравления. Яд будто бы умудрились подмешать во все припасы — на овощных рынках, в булочных, в мясных, в винных лавках. Чем диковиннее были рассказы, тем с большей жадностью подхватывал их народ, и даже скептики, качавшие головами, должны были поверить после того, как появилось уведомление префекта полиции. Полиция, которой и здесь, как и всюду, менее важно предупредить преступление, чем знать о нем, либо желала похвалиться

своим всеведением, либо же хотела по крайней мере отвести от правительства всякое подозрение, возможное при слухах об отравлениях, основательны ли они или неосновательны. Как бы то ни было, ее злополучное уведомление, где прямо было сказано, что она уже попала на след отравителей, официально подтвердило зловещий слух, и весь Париж впал в смертельное, полное ужаса отчаяние.

«Это неслыханно!» — кричали старики, которые даже в самые суровые времена революции не слыхали о подобном преступлении. «Французы, мы опозорены!» — восклицали мужчины, ударяя себя по лбу. Женщины с маленькими детьми, которых они боязливо прижимали к сердцу, горько плакали и сокрушались, что эти невинные крошки должны будут умереть у них на руках. Бедные люди не решались ни пить, ни есть и ломали руки от горя и ярости. Казалось, что гибнет мир. Народ собирался кучками и совещался главным образом на перекрестках, где находятся выкрашенные в красный цвет винные лавки, и там-то всего чаще обыскивали людей, возбуждавших подозрение, и горе им, если в их карманах оказывалось что-нибудь подозрительное!словно дикий зверь, словно толпа безумных, набрасывался на них народ. Очень многие спаслись только благодаря присутствию духа; многие избегли опасности благодаря мужеству муниципальной гвардии, ходившей в тот день патрулями по всему городу; многие были тяжело ранены и искалечены; шесть человек безжалостно убиты. Нет зрелища более ужасного, чем ярость народа, жаждущего крови и расправляющегося со своими беззащитными жертвами. По улицам несетя мрачный людской поток, в котором там и здесь белеют, словно пенящиеся валы, рубашки рабочих, и все это ревет и грохочет, беспощадное, стихийное, демоническое. На улице Сен-Дени я услышал знаменитый старый клич: «à la lanterne!»¹ — и несколько исступленных голосов стали мне рассказывать, что вешают отравителя. Одни говорили, что это карлист, что в его кармане нашли brevet du lys;² другие говорили, что это священник и что такой способен на все. На улице Вожирар, где убили двух человек, имевших при себе белый порошок, я видел одного

¹ «На фонарь!» (франц.).

² Диплом лилии (франц.).

из этих несчастных: он еще слабо хрипел, а старухи сняли свои деревянные башмаки и били его ими по голове, пока он не умер. Он был совершенно голый, в крови, избитый и растерзанный; с него не только сорвали одежду — ему вырвали волосы, половые органы, губы, нос, а какой-то мерзкий человек обвязал веревкой ноги трупа и потащил его по улице, все время выкрикивая: «Voilà le Choléra-morbus!»¹ Женщина поразительной красоты, бледная от ярости, стояла тут же с обнаженной грудью и окровавленными руками, и когда труп поравнялся с ней, она еще ударила его ногой. Она засмеялась и попросила меня подарить ей несколько франков — дань ее нежному ремеслу, чтобы она могла купить себе на них черное траурное платье: несколько часов тому назад от яда умерла ее мать.

На другой день выяснилось из газет, что несчастные, которых убили с такой жестокостью, были совершенно невинны, что подозрительные порошки, найденные у них, представляли собой камфару, или хлор, или еще какие-то противохолерные снадобья и что мнимоотравленные умерли самой естественной смертью от свирепствующей эпидемии. Здесьшний народ, как и всякий народ, быстро поддаваясь порывам страсти, способен на ужасные поступки, но он столь же быстро возвращается к состраданию и с трогательной скорбью раскаивается в своем злодействе, когда услышит голос благоразумия. Голосом благоразумия газеты на другое же утро успели успокоить и укротить народ, и то обстоятельство, что они оказались в силах так быстро положить конец злу, которое натворила полиция, следует отметить как триумф прессы. Здесь я должен подвергнуть порицанию поведение некоторых лиц, отнюдь не принадлежащих к низшему классу и все же позволивших вражде увлечь себя так далеко, что в отравлениях они публично обвиняли карлистов. Так далеко страсть никогда не должна завлекать нас; право, я бы призадумался, прежде чем возвести столь ужасное обвинение на самых моих ядовитых врагов. Карлисты имели полное право жаловаться по этому поводу. И подозрительным могло бы показаться мне только то, что они при этом слишком громко брапились, — не таков обычно язык невинности. Но, по убеждению наиболее осведомленных

¹ «Вот холера-морбус!» (франц.).

лиц, никаких отравлений не было. Может быть, отравления были инсценированы, может быть, в самом деле наняли нескольких горемык, которые посыпали жизненные припасы разными безвредными порошками, чтобы посеять волнение в народе и рассердить его. Если это было так, то народу нельзя вменять в слишком большую вину его буйства, тем более что они вызваны были не личной ненавистью, а заботой об общих интересах, в полном согласии с принципами «теории устрашения». Да, карлисты, пожалуй, свалились в яму, которую они рыли правительству; отнюдь не ему, и еще менее республиканцам, приписывались отравления, а именно этой партии, которая, «будучи всегда побеждаема в бою, всегда поднималась на ноги с помощью подлых средств, добивалась удачи и власти всегда ценою несчастья Франции и теперь, лишенная помощи казаков, легко могла прибегнуть к обыденному яду». Примерно так выразился «Constitutionnel».¹

Что до меня, то в день, когда совершались эти убийства, я вынес твердое убеждение, что власть старших Бурбонов никогда уже не будет восстановлена во Франции. С разных сторон я слышал самые поразительные слова. Я глубоко заглянул в сердце народа. Он знает, с кем имеет дело.

С тех пор здесь все спокойно. «L'ordre règne à Paris»,² — сказал бы Орас Себастиани. Мертвая тишина царит во всем Париже. На всех лицах каменная серьезность. В течение ряда вечеров на бульварах даже редко показывались люди, да и те быстро проходили друг мимо друга, закрывая рот рукой или платком. Театры словно вымерли. Когда я вхожу в какую-нибудь гостиную, все удивляются, что видят меня еще в Париже, так как у меня ведь здесь нет никаких неотложных дел. Большинство иностранцев, особенно мои соотечественники, сразу же убрались. Послушные родители получали от своих детей приказание немедленно вернуться домой. Богобоязненные сыновья беспрекословно исполняли нежные просьбы дорогих родителей, пожелавших их возвращения на родину: чти отца твоего и мать твою, да долголетен будешь на земле! У других внезапно пробудилась бесконечная тоска по

¹ «Конституционалист» (франц.).

² «Порядок царит в Париже» (франц.).

дорогому отечеству, по романтическим берегам почтенного Рейна, по любимым горам, по милой Швабии, стране рыцарской любви, жепской верности, чувствительных песен и более здорового климата. Говорят, за это время в Hôtel de Ville¹ выдано свыше ста двадцати тысяч паспортов. Хотя холера явно в первую очередь поражает беднейший класс, богатые все же сразу обратились в бегство. Нельзя упрекать некоторых parvenus² за то, что они бежали, ибо они, вероятно, думали так: «Холера, пришедшая из далекой Азии, не знает, что за последнее время мы заработали на бирже много денег, и, пожалуй, все еще считает нас за пищу голь и заставит лечь в могилу». Господин Агуадо, один из богатейших банкиров и кавалер Почетного Легиона, явился фельдмаршалом в этом великом отступлении. Кавалер, говорят, все время с безумным страхом выглядывал из окон кареты и даже принял своего слугу, стоявшего в синей ливрее на запятках, за воплощенную смерть, за холеру-morbus.

Народ горько роптал, видя, что богатые бегут и, обзаведясь врачами и аптеками, ищут спасения в более здоровых местностях. Бедняк с негодованием замечал, что деньги стали средством защиты даже против смерти. Большая часть juste milieu и haute finance³ покинула город и живет с тех пор в своих замках. Однако истинные представители богатства, господа Ротшильды, спокойно остались в Париже, показав таким образом, что они величественны и смелы не только в денежных делах. Также и Казимир Перье явил свое величие и смелость, посетив Отель-Дьё, когда вспыхнула холера. Даже своих противников он должен был смутить тем, что в результате этого посещения сам он, при своей восприимчивости, заболел холерой. Все же она не сразила его, ибо сам он — еще более злой недуг. Величайшей похвалы заслуживает и наследный принц, молодой герцог Орлеанский, посетивший больных в сопровождении Перье. Все королевское семейство также показало себя в это безотрадное время с самой похвальной стороны. Когда вспыхнула холера, добрая королева созвала своих друзей и слуг и

¹ Ратуше (франц.).

² Выскочек (франц.).

³ Золотой середины и высшего финансового мира (франц.).

оделила их набрюшниками из фланели, спитыми большей частью ею самой. Нравы старого рыцарства не угасли. Они только приняли мещанскую форму; теперь благородные дамы снабжают своих рыцарей менее поэтическими, зато более полезными для здоровья перевязями. Ведь живем мы уже не в старые времена шлемов и лат воинственного рыцарства, но в мирное мещанское время теплых набрюшников и фуфаск. Мы живем не в железном веке, а во фланелевом. Фланель действительно — лучший панцирь, защищающий от нападений лютейшего врага — холеры. «Венера в нынешнее время, — говорит «Фигаро», — стала бы носить пояс из фланели». Сам я по шею закутан во фланель и поэтому считаю себя защищенным от холеры. Король тоже носит набрюшник из самой лучшей мещанской фланели.

Я не могу оставить неотмеченным, что он, этот король-гражданин, в дни всеобщего бедствия роздал бедным гражданам много денег и проявил сострадательность и большое гражданское благородство. Заодно я должен похвалить и архиепископа Парижского, который, после того как Отель-Дьё посетили наследный принц и Перье, тоже ездил туда — утешать больных. Он давно предсказывал, что бог пошлет холеру, дабы покарать народ, «прогнавший христианнейшего короля и вычеркнувший из хартии привилегии католической веры». Теперь, когда гнев божий обрушился на грешников, господин де Келен шлет к небесам свою молитву и молит о прощении по крайней мере для невинных, ибо много умирает и карликов. Сверх того, господин де Келен, архиепископ, предложил для устройства больницы свой замок Конфлан. Однако правительство отклонило это предложение, так как замок находится в заброшенном состоянии и разорен, и ремонт обошелся бы слишком дорого. Архиепископ к тому же требовал, чтоб ему предоставили свободу распоряжаться в этой больнице. Но души бедных больных, чьи тела уже мучились в страшном недуге, нельзя же было подвергнуть еще и мучке спасительных экспериментов, которые собирались предпринять архиепископ и его духовные помощники. Решено было дать закоренелым в революции грешникам умереть от простой холеры, без напоминания об аде и вечной мучке, без покаяния и миропомазания. Хотя утверждают, что католицизм — религия,

подходящая для такого бедственного времени, как нынешнее, все же французы не хотят приравниваться к ней из боязни, что им потом и в счастливые времена придется сохранить эту больничную религию.

Много переодетых священников снует сейчас в народе и утверждает, что четки — лучшее средство против холеры. Сен-симонисты относят к числу преимуществ своей религии то, что ни один сен-симонист не может умереть от свирепствующей эпидемии, ибо поскольку прогресс является законом природы, а социальный прогресс состоит в сен-симонизме, то до тех пор, пока у него не будет достаточного числа апостолов, никто из них не может умереть. Бонапартисты утверждают: как только ощутишь приступ холеры, тотчас же подними глаза к Вандомской колонне — и останешься в живых. Так в эти дни бедствия каждый верит на свой лад. Что до меня, я верю во фланель. Хорошая диета тоже не может повредить, только опять-таки не надо есть слишком мало, как иные люди, которые ночью боли от голода принимают за начало холеры. Забавно видеть, с какой трусостью люди садятся сейчас за стол и как недоверчиво смотрят на самые человеколюбивые яства и с глубокими вздохами глотают самые лакомые куски. Врачи сказали им, что не надо бояться и не надо сердиться. Но вот теперь они боятся, как бы не рассердиться невзначай, и сердятся, так как испытывают страх. Они теперь — сама любовь и часто употребляют слова «mon Dieu»,¹ и голос их нежен и еле слышен, точно голос роженницы. Притом от них пахнет как от передвижной аптеки, они часто шупают себе живот и с трепетом во взоре спрашивают каждый час о числе умерших. То обстоятельство, что это число в точности никогда не было известно, вернее, что все убеждены были в неправильности объявляемой цифры, наполняло сердца смутным ужасом и делало тревогу беспредельной. И действительно, газеты признались впоследствии, что в один день, именно 10 апреля, умерло около двух тысяч человек. Народ не желал поддаваться официальному обману и все время жаловался, что людей умирает больше, чем пишут. Мой цирюльник рассказывал мне, что какая-то пожилая женщина в Монмартрском предместье целую ночь просидела

¹ «Боже мой» (франц.).

у окна, чтобы сосчитать число трупов, проносимых мимо ее дома; она насчитала триста трупов, после чего, когда уже настало утро, сама ощутила озноб и холерные судороги и вскоре скончалась. Куда, бывало, ни взглянешь, всюду на улицах видны были похоронные процессии или — что представляет зрелище еще более печальное — дроги с покойниками, никем не сопровождаемые. Так как имевшихся в наличии погребальных дрог оказалось слишком мало, пришлось воспользоваться всякими другими экипажами, которые, будучи обтянуты черным полотном, являли довольно причудливую картину. Потом и в них возник недостаток, и мне пришлось видеть, как гробы везли в извозничьих пролетках; их ставили посередине, так что в растворенные боковые дверцы высывались оба конца. Противно было видеть, как большие фургоны для мебели, которыми пользуются обычно при переезде, разъезжали теперь, точно omnibus для мертвых, omnibus mortuis, останавливались на разных улицах для погрузки гробов и дюжинами отвозили их к месту упокоения.

Но самое безотрадное зрелище открывалось вблизи кладбища, где сходились похоронные процессии. Однажды, собравшись навестить знакомого, я поспел к нему в то самое время, когда гроб его ставили на дроги, и мне пришла мрачная фантазия отплатить ему за любезность, которую он оказал мне однажды, и я нанял экипаж, чтобы проводить его до Пер-Лашез. Лишь там, близ кладбища, остановился возница, и когда, пробудившись от своих грез, я осмотрелся кругом, я увидел только небо да гробы. Я очутился среди нескольких сотен погребальных дрог, тянувшихся вереницей перед узкими кладбищенскими воротами, и, не имея возможности выбраться, должен был провести несколько часов в этом мрачном окружении. От скуки я спросил у кучера имя соседнего покойника, и (грустное совпадение!) он назвал мне имя молодой женщины, чья карета несколько месяцев тому назад, когда я ехал на бал к Луантье, должна была таким же образом простоять некоторое время рядом с моей каретой. Но только тогда молодая женщина не раз высывала в окно кареты свою нетерпеливую цветочную головку, свое оживленное лунно-светлое личико и премирло выражала свое неудовольствие по поводу этой задержки. Теперь она лежала совсем спокойная и, быть может,

посиневшая. Все же по временам, когда впряженные в дроги траурные коши, вздрагивая, начинали тревожно двигаться, мне почти казалось, что это проявляется нетерпение покойников, что они устали ждать, что они словно спешат попасть в могилу. А когда у самых ворот кладбища один возница попытался перерезать путь другому и процессии пришли в расстройство, появились жандармы с саблями наголо, кое-где послышались крики и брань, несколько дрог опрокинулось, гробы раскрылись, покойники вывалились, — тогда мне почудилось, будто я вижу ужаснейшее из восстаний — восстание мертвецов.

Щадя нервы читателя, я не буду здесь описывать, что я видел на Пер-Лашез. Достаточно сказать, что я, человек закаленный, не мог не поддаться глубочайшему ужасу. Можно у смертного ложа больного научиться умирать и потом с ясным спокойствием ожидать смерти. Но с мыслью о погребении среди холерных трупов, в ямах, засыпанных известью, — с этой мыслью нельзя свыкнуться. Я постарался как можно скорее выбраться на самый высокий кладбищенский холм, откуда открывается такой прекрасный вид на город. Солнце только что зашло; последние лучи его, казалось, посылали прощальный привет, полный тоски; сумеречный туман словно белыми простынями окутывал больной Париж, и я горько плакал над несчастным городом, городом свободы, вдохновения и мученичества, городом-спасителем, который уже так много выстрадал за дело всемирного освобождения человечества!

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ

Париж, 12 мая 1832 г.

Исторические отступления, обещанные в предыдущей статье, приходится отложить. Настоящее за это время так сурово дало о себе знать, что прошлому нельзя было уделить много внимания. Великое всеобщее бедствие, холера, правда, стихает постепенно, но оно оставляет по себе много тоски и горя. Правда, солнце светит достаточно весело, люди опять весело гуляют, и беседуют, и улыбаются, но множество черных, траурных платьев, которые видишь повсюду, не дают истинному спокойствию воца-

риться в нашей душе. Во власти болезненной печали сейчас, по-видимому, находится весь народ, словно человек, перенесший тяжкий недуг. Не только правительство, но и оппозиция объята сейчас почти сентиментальной усталостью. Воодушевление ненависти угасает, сердца покрываются тиной, мысли блекнут в мозгу, люди смотрят друг на друга, добродушно позевывая, больше не сердятся друг на друга, стали миролюбивыми, любвеобильными, примиренными, прямо-таки христианами. Немецкие пиетисты могли бы теперь обделывать здесь прекрасные дела.

Раньше думали, что положение изменится с чудесной быстротой, как только Казимир Перье не будет более у власти. Но зло тем временем стало, кажется, непоправимым; даже смерть Перье не может исцелить государство.

Даже непримиримейших врагов Перье должно было опечалить то обстоятельство, что его сразила холера, всеобщее бедствие, с которым не может бороться ни сила, ни мудрость. Всеобщий враг насильно вступил с ними в союз, и помощь с этой стороны, даже самая действительная, не может быть особенно по сердцу. Зато Перье благодаря этому приобретает симпатию толпы, внезапно увидевшей, что он был великий человек. Теперь, когда его должны заменить другие, величие его стало заметно. Хотя ему и не удавалось с особой легкостью натягивать лук Одиссея, все же, когда это требовалось, он, напрягая все свои силы, пожалуй, и справлялся с ним. По крайней мере друзья его могут теперь хвастать, что если бы не вмешательство холеры, он осуществил бы все свои намерения. Но что теперь будет с Францией? Что же, Франция — это терпеливая Пенелопа, которая тклет каждый день и каждый день распускает свою ткань, чтобы только выиграть время до пришествия истинного мужа. Кто этот истинный муж? Я не знаю. Но я знаю: он сумеет натянуть огромный лук, он у дерзких женихов отобьет охоту пировать, он угостит их смертельными стрелами, он повесит доктринерствующих слуганок, которые с ними всеми разделяли ложе, он очистит дом от этой великой неурядицы и с помощью мудрой богини установит лучший порядок. Подобно тому, как наше нынешнее состояние, когда царит слабость, вполне напоминает времена Директории, нам так же придется пережить и наше восемнадцатое брюмера, и истинный муж внезапно явится среди поблед-

невших от испуга властителей и заявит им, что наступил конец их власти. И тогда снова будут вопить о нарушении конституции, как в свое время в Совете старейших, когда тоже явился истинный муж, очистивший дом. Но подобно тому как он гневно воскликнул: «Конституция! И вы еще смеее ссылаться на конституцию, вы, нарушившие ее восемнадцатого фрюктидора, нарушившие ее двадцать второго флореаля, нарушившие ее тридцатого прериаля», так же и теперь истинный муж сумеет указать день и число, когда правительство *juste milieu* нарушило конституцию.

Как слабо проникла конституция в сознание не только правительства, но и народа, обнаруживается здесь всякий раз, когда ставятся важнейшие конституционные вопросы. И народ и правительство пытаются толковать конституцию, воспользоваться ею сообразно со своими воззрениями. Публицисты и ораторы, которые либо по невежеству, либо из партийного пристрастия стараются извратить понятия, направляют народ по ложному пути. Правительство же направлено на ложный путь частью аристократии, преданной ему из личных выгод, составляющей нынешний двор и все еще, как во времена Реставрации, считающей представительный строй новейшим пред-рассудком, к которому народ успел привязаться, который нельзя отнять у него силой, который, однако, можно обезвредить, если в новых формах и под новыми именами незаметно для толпы подсунуть прежних людей и прежние стремления. По понятиям таких господ, величайший министр — тот, кто с помощью новых конституционных формул умеет добиться того же, чего в прежние времена умели достигать с помощью старых формул старого режима. Таким министром был Виллель, о котором, однако, теперь, когда заболел Перье, подумать не решились. Все же хватило смелости подумать о Деказе. Он бы и сделался министром, если бы новый двор не побоялся, что вскоре его вытеснят члены прежнего двора. Боялись, как бы он не потянул за собой в правительство всю Реставрацию. После Деказа особенно имели в виду господина Гизо. За ним тоже признают большое умение прикрывать, когда надо, конституционными терминами и формами самые абсолютистские вождедения. Ибо этот мнимый отец новейших доктринеров, этот автор английской исто-

рии и французской синонимике мастерски умеет примерами из парламентской истории Англии придать самым незаконным вещам видимость *ordre légal*¹ и неуклюжим ученым словом принизить высоко парящий дух французов. Но говорят, что во время довольно страстной беседы с королем, предлагавшим ему портфель, он внезапно ощутил неприличнейшие симптомы холеры и, быстро прервав речь, откланялся и заявил, что не может бороться с натиском времени. Об уроне, который потерпел Гизо при выборах в министры, другие рассказывают еще более забавные вещи. Затем начались переговоры с Дюпеном, на которого всегда смотрели как на преемника Перье и которому приписывают большую силу и мужество. Но эти переговоры тоже потерпели неудачу, потому что Дюпен не соглашался на некоторые ограничения, касавшиеся прежде всего председательствования в совете министров. С этим председательствованием связано особое обстоятельство. Дело в том, что часто сам король занимал председательское место, главным образом в начале своего правления; это всегда было роковым обстоятельством для министров, и этим была вызвана большая часть тогдашних недоразумений. Один Перье умел противиться подобным посягательствам. Этим он пресекал слишком большое влияние на ход дел со стороны двора, который при любом правительстве руководит королями; и говорят, весть о болезни Перье не всем друзьям Тюильрийского дворца была неприятна. Казалось, король имеет теперь все основания принять на себя председательствование в совете министров. Когда об этом заговорили официально, в салонах и в газетах поднялась самая страстная полемика по поводу вопроса: имеет ли король право председательствовать в совете?

При этом проявлены были большая придирчивость и еще большее невежество. Люди болтали все, что когда-либо слышали краем уха и чего совершенно не поняли, и все это с шумом и брызгами лилось из их ртов, как некий политический водопад. Мнения большей части газет не являли особого блеска. Выделялся среди них только «National». Снова стала слышаться старая боевая формула, созданная им в последний период Реставрации:

¹ Законного порядка (*франц. j.*)

«Le roi règne, mais ne gouverne pas».¹ Те самые три с половиной человека, которые в Германии занимались тогда политикой, перевели эту фразу, если не ошибаюсь, следующими словами: «Король царствует, но не управляет». Но я против слова «царствовать»; я чувствую в нем отенок абсолютизма. И все же именно эта фраза должна была определить различие обеих форм власти — неограниченной и конституционной.

В чем заключается это различие? У кого в политике чистое сердце, тот и по другую сторону Рейна имеет право на подробнейшее рассмотрение этого вопроса. По одну сторону Рейна умышленное замалчивание его оказало поддержку самому отчаянному якобинству, а по другую — трусливейшему рабству.

Так как со времени презренного, однако ученого, Сальмазиуса и вплоть до господина Ярке, вовсе не ученого, теорию абсолютизма защищали большей частью писатели сомнительные, то дурная слава адвокатов сверх всякой меры повредила самому делу. Тот, кому дорого его честное имя, едва ли решится открыто защищать эту теорию, как бы он ни был убежден в ее превосходстве. И все же учение о неограниченной власти столь же почтенно и в такой же мере может быть защищено, как всякое другое политическое воззрение. Что может быть нелепее, чем смешение абсолютизма с деспотизмом, которое теперь часто встречается? Деспот поступает по произволу, по своей прихоти, неограниченный государь действует согласно с разумом и с чувством долга. Притом для неограниченного короля характерно, что все в государстве творится по его собственной воле. Но так как лишь у немногих есть собственная воля, так как скорее большинство, само не подозревая, желает лишь того, чего хочет их среда, то последняя обычно и господствует вместо неограниченных королей. Среду, окружающую короля, мы называем двором, и, следовательно, придворные господствуют в тех неограниченных монархиях, где государи не слишком строптивы по природе и поэтому поддаются постороннему влиянию. Искусство дворов — это умение так ожесточить кроткого государя, чтобы он стал палицей в руках царедворца, а сурового государя так смягчить, чтобы он, подобно львам

¹ «Король царствует, но не управляет» (*франц.*).

господина Мартена, охотно играл в любую указываемую ему игру, принимал любую позу, выполнял любое дело. Ах, почти так же, как Мартен умеет приручать царя животных, приближаясь ночью к его клетке, темной рукой посвящая его в людские пороки и затем, уже днем, находя его, ослабевшего, покорным и послушным, так и придворные порой умеют путем расслабляющих утех приручить короля человеческого, если он чрезмерно суров и дик, и они властвуют над ним с помощью любовниц, поваров, комедиантов, сладострастной музыки, танцев и прочих чувственных наслаждений. Неограниченные государи слишком часто являются самыми жалкими рабами окружающей среды, и если бы мы могли услышать голос тех, кого общественное мнение наиболее жестоко осуждает, нас, быть может, тронули бы справедливые жалобы на неслыханное искусство соблазна и прискорбное извращение лучших человеческих чувств. Кроме того, неограниченная власть таит в себе такую жуткую, искушающе-злую силу, что только самые благородные могут ей противостоять. Тот, кто не подчинен никакому закону, лишен благодетельной защиты, ибо законы защищают нас не только от других, но и от нас самих. Вера в то, что власть дарована богом, не только прощительна у неограниченных монархов, но и необходима для них. Без этой веры они были бы несчастнейшими из смертных и, будучи только людьми, подвергались бы сверхчеловеческому соблазну и несли бы сверхчеловеческую ответственность. Именно эта вера в божественное полномочие придавала неограниченным монархам, которыми мы восхищались в истории, такое величие, до которого никогда не подняться новейшей королевской власти. Они были посредниками между землей и небом, порой им приходилось искупать грехи своих народов, они были вместе и жертвами и жрецами, они были священны, sacer в античном смысле, в смысле посвящения смерти. Так, в древнем мире мы видим царей, которые во времена мора собственной кровью искупали грех народа или смотрели на всеобщее бедствие как на кару за свои собственные прегрешения. Еще и теперь, когда в Китае случается солнечное затмение, император пугается и думает, не его ли грехи вызвали наступление этой всеобщей тьмы, и творит покаяние, чтобы небо снова стало светить его подданным. Пропо-

ведь представительного образа правления была бы достойна порицания, если бы вести ее среди народов, где абсолютизм господствует еще с такой священной строгостью, а ведь это касается также и соседей Китая на северо-запад вплоть до самой Эльбы; но столь же достойно порицания, когда в большей части всей остальной Европы, где вера в божественное право угасла в сердцах монархов и в народе, проповедуется абсолютизм. Определив сущность абсолютизма указанием на то, что в неограниченной монархии господствует личная воля правителя, я смогу еще легче определить сущность монархии представительной, конституционной, если скажу, что она отличается от неограниченной монархии тем, что в ней королевскую волю заменяют государственными установлениями. Вместо личной воли, которую легко направить на ложный путь, мы видим там установления, систему государственных начал, остающихся неизменными. Король там — нечто вроде нравственной личности в юридическом смысле, и страстям физически окружающей его среды он подчиняется в гораздо меньшей степени, чем потребностям своего народа; он действует не под диктовку неосновательных вождельней двора, а в силу твердых законов. Вот почему царедворцы во всех странах тайно или даже явно враждебны конституционной системе. Эта система сломала их тысячелетнее могущество при помощи остроумного и искусного установления, сводящегося к тому, что король как бы представляет только идею власти, что он может, правда, выбирать своих министров, но правит не он, а министры, и притом лишь до тех пор, покуда они правят в согласии с большинством народных представителей, ибо последние могут отказать им в средствах на управление, например в налогах. Благодаря тому, что король правит не сам, гнев народа даже в случае плохого управления не может непосредственно обрушиться на него. В конституционном государстве этот гнев повлечет за собой лишь то, что король выберет других — и притом популярных — министров, от которых ожидают лучшего управления, тогда как в самодержавном государстве, где король правит сам, гнев народа обрушивается непосредственно на него, и народ, чтобы помочь себе, вынужден бывает совершить государственный переворот. Благодаря тому, что король правит не сам, благополучие государства

не зависит от его личных качеств, государство не подвергается опасности по случайным причинам, из-за слишком возвышенных или слишком низменных влечений, и приобретает такую устойчивость, о которой государственные мудрецы прошлого не могли и думать, ибо от Ксенофонта до Фенелона самым главным им казалось воспитание государя. Даже великий Аристотель указывает на это в своей «Политике», а Платон, еще более великий, не находит ничего лучшего, как предложить, чтобы на трон сажали философов или философами делали государей. Благодаря тому, что король не правит сам, он также не несет ответственности, он неприкосновенен, *inviolable*, и только министры его могут быть обвинены в плохом управлении, могут подвергнуться осуждению и наказанию. Комментатор английской конституции Блекстон впадает в заблуждение, относя безответственность короля к числу его прерогатив. Это мнение более льстит королю, чем приносит ему пользы. В странах политического протестантизма, в странах конституционных, больше всего желают, чтобы права государей основывались на разуме, разум же представляет достаточные доводы в пользу неприкосновенности государей, если принять, что они не могут действовать сами и поэтому невменяемы, безответственны, ненаказуемы, как и всякий, кто не сам действует. Таким образом, основная посылка: «*the king cannot do wrong*»,¹ поскольку на ней зиждется безответственность, может иметь смысл только в том случае, если прибавить: «*because he does nothing*».² Зато вместо конституционного короля действуют его министры, и поэтому они ответственны. Они действуют самостоятельно, всякое требование короля, с которым они не согласны, они могут прямо отклонить, а в случае, если королю не нравится их система управления, могут совсем уйти в отставку. Если бы не эта свобода воли, ответственность министров, которую они взваливают на себя всякий раз, как скрепляют подписью какое-нибудь распоряжение правительства, была бы непростительной несправедливостью, жестокостью, нелепостью; это было бы то же, что ввести в государственное право теорию козла отпущения. На том же основании

¹ «Король не может сделать зла» (англ.).

² «Потому что он ничего не делает» (англ.).

министры абсолютного монарха не ответственны ни перед кем, кроме него самого; и подобно тому как он отвечает только перед богом, так и они обязаны отчетом только своему неограниченному господину. Они только покорные помощники его, верные слуги и должны безусловно ему повиноваться. Их контрсигнатура служит лишь свидетельством подлинности документа и монаршей подписи. Правда, по смерти монарха такие министры часто подвергались обвинениям и несли кару, но всегда несправедливо. Ангерран де Мариньи защищался при подобных обстоятельствах следующими трогательными словами: «Мы, министры, лишь словно руки и ноги, мы должны слушаться головы, короля. Он теперь мертв, и мысли его лежат вместе с ним в могиле. Мы не можем и не смеем говорить».

После этих многих замечаний о разнице между обеими формами власти — неограниченной и конституционной—каждому должно быть ясно, что спор о председательствовании, в том виде, как он возник в здешних условиях, затрагивает не столько вопрос о том, имеет ли король право председательствовать в совете министров, сколько вопрос — в какой мере он будет председательствовать? Дело не в том, что председательство не запрещено ему хартией или что одним из ее параграфов оно ему даже разрешено; дело в том, будет ли король председательствовать лишь *honoris causa*,¹ ради собственного поучения, совершенно пассивно, не проявляя деятельного участия, или же он, в качестве председателя, будет стараться влиять на ход и на ведение государственных дел. В первом случае ему, конечно, можно позволить по несколько часов в день скучать в обществе господ Барта, Луи, Себастиани и пр.; во втором случае это удовольствие ему должно быть строго запрещено. В этом последнем случае, правя своей собственной волей, он приблизился бы к абсолютной монархии; по крайней мере на него можно было бы смотреть как на ответственного министра. Совершенно основательно утверждали некоторые газеты, что было бы несправедливо, если бы за единовластные правительственные акты короля должен был нести ответственность человек, лежащий на смертном ложе, как Перье, или неспособный

¹ Почетным образом (то есть будет ли он лишь почетным председателем) (*лат.*).

управлять даже мускулами собственного лица, как Себастиани. Во всяком случае это неприятный спорный вопрос, имеющий достаточно определенное значение; ибо многие вспоминают теперь террористическое изречение: «La responsabilité c'est la mort».¹ По этому поводу «National» с недоброжелательством, которое я не смею одобрить, отстаивает ответственность короля и, таким образом, отрицает его неприкосновенность. Для Луи-Филиппа это все же недоброе предзнаменование и должно было бы вызвать в его голове кое-какие размышления. По мнению его друзей, было бы желательно, чтобы он не делал ничего такого, что могло бы подать хоть самый малый повод к обсуждению принципа неприкосновенности и тем самым поколебать его в общественном мнении. Но Луи-Филипп, если правильно оценить его положение, пожалуй, и не заслуживает безусловного порицания за то, что старается немного помочь в деле управления государством. Он знает, его министры — не гении, плоть у них бодра, дух же немощен. Фактическое сохранение его власти представляется ему главным делом. Принцип неприкосновенности должен иметь для него лишь второстепенный интерес. Он знает, что Людовик XVI, безглавой памяти, тоже был неприкосновенен. Неприкосновенность во Франции имеет вообще совсем особое свойство. Принцип неприкосновенности совершенно неприкосновенен. Он подобен драгоценному камню в перстне дона Луиса-Фернандо Переса-Акайба, камню, обладавшему чудесным свойством: если человек, носивший его, падал с высочайшей колокольни, камень оставался невредим.

Все же, чтобы хоть в некоторой мере ослабить это роковое зло, Луи-Филипп учредил временное председательство и поручил его господину Монталиве, ставшему теперь также и министром внутренних дел, а министром вероисповеданий вместо него сделался господин Жиро де л'Эн. Стоит лишь взглянуть на обоих, чтобы с уверенностью утверждать, что они не пользуются никакой независимостью и что они всего лишь марионетки, скрепляющие бумаги своей подписью. Один из них, *monsieur le comte de Montalivet*,² — красиво сложенный молодой

¹ Ответственность — это смерть (*франц.*).

² Господин граф де Монталиве (*франц.*).

человек; он несколько напоминает хорошенького школьника, рассматриваемого в увеличительное стекло. Другой, господин Жиро де л'Эн, достаточно известен в качестве председателя палаты депутатов, где он, затягивая или укорачивая заседания, всегда умел послужить интересам короля; он — сама преданность. Это приземистый мягкотелый человек, с изрядным брюшком, с негнушимися ножками, с сердцем из папье-маше, и напоминает он брауншвейгца, который торгует трубками на базарах, или друга дома, который приносит детям крендели и гладит собак.

Относительно маршала Сульта, военного министра, утверждают, — собственно говоря, даже точно знают, — что он неустанно интригует, добиваясь председательства в совете. Это председательство вообще является целью многих стремлений внутри правительства, и происки, которые при этом перекрещиваются, парализуют нередко лучшие мероприятия; возникают соперничество, раздоры и несогласия, которые как будто вызываются различием мнений, но на самом деле — единодушно-всеобщим тщеславием. Каждый честолюбиво тянется к председательскому месту. Председатель совета — это определенный титул, слишком резко отграничивающий его носителя от прочих министров. Так, например, вопрос об ответственности министров ставится здесь следующим образом: председатель отвечает за ошибки в направлении всего кабинета, каждый же отдельный министр — лишь за ошибки своего ведомства. Это различие и вообще официальное назначение председателя совета — неудобство, являющееся тормозом и вызывающее осложнения. Мы этого не видим у англичан, конституционный строй которых признается ведь образцовым. Если я не ошибаюсь, титула председателя совета у них официально не существует. «Первый лорд казначейства», правда, является обычно и председателем, но не как таковой. Естественный, хотя и не назначаемый никаким законом председатель — это всегда тот министр, кому король поручает образовать кабинет, то есть выбрать министров из числа друзей и знакомых, которые разделяют его политические убеждения и вместе с тем могут рассчитывать на большинство голосов в парламенте. Такое поручение дано сейчас герцогу Веллингтону; лорд Грей со своими вигами побежден — на время.

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ

Париж, 27 мая 1832 г.

Казимир Перье унижил Францию, чтобы поднять биржевой курс. Ценой свободы Европы он хотел купить недолгий позорный для Франции мир. Он оказал помощь сборам рабства и худшему, что есть в нас самих, — корыстолюбию, и тысячи благороднейших людей погибли от горя, нищеты, стыда, унижения. Он сделал смешными мертвецов, что спят в июльских могилах, а живым он так страшно испортил жизнь, что им оставалось завидовать даже этим мертвецам. Он погасил священный огонь, закрыл храмы, оскорбил богов, разбил сердца. И все же я подал бы голос за то, чтобы Казимир Перье был похоронен в Пантеоне, в великом храме чести, на котором красуется золотая надпись: «Великим мужам — благодарное отечество». Ибо Казимир Перье был великий человек. Он обладал редкими талантами и редкой силой воли, и все, что он делал, он делал с полной уверенностью, что это принесет пользу родине, и, делая это, он жертвовал своим спокойствием, своим счастьем и своей жизнью. В этом весь вопрос: не за пользу и не за успех деящий отечество должно быть благодарно своим великим людям, а за волю и за самопожертвование, которые они проявили. И даже если бы они ничего не хотели сделать и ничего не сделали для отечества, оно всё же должно было бы чтить своих великих людей и после их смерти, потому что они прославили его своим величием. Как звезды являются украшением неба, так и великие люди украшают свою родину, да и всю землю. А сердца великих людей — это земные звезды, и я думаю, если бы сверху взглянуть на нашу планету, эти сердца засияли бы нам навстречу как яркие огни, подобно звездам небесным. Быть может, с такой высоты стало бы видно, как много чудесных звезд рассеяно по этой земле, как много их, безвестных и одиноких, светит в мрачных пустынях, как много их в нашей немецкой отчизне, как блистательна, как лучезарна Франция, этот Млечный Путь великих человеческих сердец!

Франция за последнее время потеряла много звезд первой величины. Многих героев эпохи Империи и революции сразила холера. Много крупных государственных деятелей, среди которых самый выдающийся — Мартиньяк,

умерло от других болезней. Друзья науки особенно скорбели о смерти Шамполиона, который откопал столько египетских царей, и о смерти Кювье, который открыл так много других великих зверей, не существующих уже более, и очень негалантно доказал нашей старой матери-земле, что она на много тысяч лет старше, чем выдавала себя до сих пор. «Ле-э тэ-эт сан вон!» (les têtes s'en vont)¹ — проквашал господии Себастиани, узнав о смерти Перье, и проквашал еще, что и сам он тоже скоро умрет.

Смерть Перье вызвала здесь меньшую сенсацию, чем можно было ожидать. И даже на бирже. В день, когда умер Перье, я не мог удержаться и пошел на Биржевую площадь. Там стоял тот огромный мраморный храм, где Перье почитали как бога, а слово его — как пророчество, и я потрогал колонны, эти сто огромных колонн, что возвышаются снаружи, и все они были неподвижны и холодны, как сердца тех людей, для которых Перье так много сделал. О жалкие карлики! Никогда более великан не будет приносить себя в жертву ради вас и не покинет он своих великих собратьев, чтобы защищать ваши карликовые интересы! Пускай себе эти малыши издеваются над великанами, бедными и неуклюжими, что сидят на горах, тогда как они, малыши, благодаря своему росту пробираются в самые узкие горные пещеры и добывают там благородный металл или же отнимают его у гномов еще более мелких, у металлариев. Спускайтесь же в ваши пещеры, но только покрепче держитесь за лестницу и не смущайтесь тем, что ступени становятся тем грязнее, чем глубже вы спускаетесь к драгоценнейшим залежам богатства!

Я возмущаюсь всякий раз, как вступаю на порог биржи, прекрасного мраморного здания, выстроенного в благороднейшем греческом стиле и посвященного презреннейшему делу — спекуляции государственными бумагами. Это самое красивое здание в Париже; построил его Наполеон. В том же стиле и по тому же масштабу начал он строить храм Славы. Увы, храм Славы остался недостроенным. Бурбоны превратили его в церковь и посвятили ее кающейся Магдалине. Но биржа стоит совершенно законченная, в полном блеске, и, конечно, ее влиянию следует приписать то, что ее более благородный соперник,

¹ «Какие головы умирают!» (франц.).

храм Славы, все еще стоит недостроенный и все еще, к своему глубокому стыду, посвящен кающейся Магдалине. Здесь же, в огромном биржевом зале с высокими сводами, торг государственными бумагами, со всеми его типичными фигурами и всей его какофонией, движется, волнуясь и грохоча, словно море корыстолюбия. Из его бурных человеческих волн показываются, подобно акулам, крупные банкиры, одно чудовище пожирает там другое, а вверху, на галерее, подобно хищным птицам, притаившимся на морском утесе, видны дамы, также занимающиеся спекуляцией. И вот в этом-то месте сосредоточены интересы, решающие в наше время вопросы войны и мира.

Поэтому биржа так важна и для нас, публицистов. Однако нелегко составить себе точное представление о характере этих интересов по тому влиянию, какое оказывает на них каждое событие, и определить возможные его последствия. Курс государственных бумаг и дисконта, несомненно, является политическим термометром, но было бы ошибкой думать, что этот термометр указывает степень победы того или иного великого вопроса, волнующего сейчас человечество. Повышение или падение курсов свидетельствует не о подъеме или падении либеральной или же рабоплеменной партии, а о больших или меньших надеждах на умиротворение Европы, на сохранение существующих отношений или, вернее, на гарантии отношений, от которых зависит уплата процентов по государственному долгу.

В этом ограниченном смысле биржевые спекулянты достойны удивления при всевозможных обстоятельствах. Чуждые всяких духовных волнений, они сосредоточили свое внимание на одних только фактах и почти звериным чутьем, как древесные лягушки, распознают, не явится ли какое-нибудь событие, на вид вполне успокоительное, источником грядущих бурь, и наоборот, не послужит ли какое-нибудь большое бедствие в конце концов к упрочению мира? Когда пала Варшава, спрашивали не о том, сколько зла принесет это человечеству, а о том, смутит ли победа нагаяк дух мятежников, то есть друзей свободы. Утвердительный ответ вызвал повышение курса. Если бы сегодня на бирже было получено по телеграфу известие о том, что господин Галейран верит в возмездие после смерти, французские государственные бумаги тотчас же

упали бы на десять процентов, так как возникли бы опасения, что он станет искать примирения с богом, отречется от Луи-Филиппа и от всего *juste milieu*, принесет их в жертву и поставит на карту уютное спокойствие, которым мы сейчас наслаждаемся. Великий вопрос для биржи — это не «быть или не быть», а «спокойствие или беспокойство». Ибо от этого зависит также дисконт. В беспокойные времена деньги боязливы, скрываются в сундуках богатей, как в крепостях, держатся замкнуто — дисконт подымается. В спокойное время деньги снова становятся беспечны, предлагают свои услуги, показываются в публике, держатся очень благосклонно — дисконт стоит низко. Так старый луидор оказывается умнее человека и лучше всех знает, мир ли будет или война. Быть может, благодаря близкому общению с деньгами биржевики также приобрели нечто вроде политического инстинкта, и между тем как в последнее время глубочайшие мыслители ожидали только войны, они оставались совершенно спокойны и были уверены в сохранении мира. Если кого-нибудь из них спрашивали, какие основания он имеет к этому, — от него, как от сэра Джона, нельзя было добиться никаких доводов, он только беспрестанно повторял: «Это моя идея».

Биржа укрепилась с тех пор в этой идее, и даже смерть Перье не навела ее на другие мысли. Правда, она давно была подготовлена к этому, и кроме того, здесь воображают, что мирная система Перье переживет его и будет держаться волей короля. Но это полное равнодушие при вести о смерти Перье неприятно меня поразило. Приличия ради биржа должна была бы хоть небольшим понижением выразить свою скорбь. Но нет, даже и на одну восьмую процента, даже и на одну восьмую траурного процента скорби не понизились государственные бумаги после смерти Казимира Перье, великого министра банкиров!

На похоронах Перье, так же как и при известии о его смерти, наблюдалось самое холодное равнодушие. Это было зрелище, как всякое другое. Погода стояла хорошая, и сотни тысяч людей собрались, чтоб посмотреть на погребальное шествие, длинное и равнодушное, тянувшееся по бульварам к кладбищу Пер-Лашез. На многих лицах — улыбки, на других — самое будничное выражение, на большинстве лиц — только скука. Бесчисленное

множество военных, что вряд ли было уместно в отношении мирного героя системы разоружения. Много пациональной гвардии и жандармов. Была тут и артиллерия со своими пушками, которые имели основание скорбеть, потому что при Перье жилось им хорошо, — у них была как бы синекура. Народ смотрел на все с удивительной апатией; он не проявлял ни ненависти, ни любви; хоронили врага энтузиазма, и за гробом следовало равнодушные. В толпе, провожавшей гроб, по-настоящему скорбели только двое сыновей покойного, в длинных траурных плащах и с бледными лицами шедшие за погребальными дрогами. Это молодые люди лет около двадцати, коренастые, склонные к полноте; внешность их скорее свидетельствует о благосостоянии, чем об уме. Этой зимой я их видел, веселых и румяных, на всех балах. На гробу лежали трехцветные знамена, покрытые черным крепом. Трехцветному знамени как раз не стоило бы грустить о смерти Перье. Печально, как безмолвный упрек, лежало оно на его гробу, — это знамя свободы, претерпевшее по его вине столько оскорблений. Так же, как вид этого знамени, тронул меня и вид старого Лафайета, шедшего за гробом Перье, за гробом отступника, который некогда все же столь доблестно сражался вместе с ним под этим знаменем.

Соседи мои, смотревшие на шествие, говорили о похоронах Бенжамена Констана. Так как я только год живу в Париже, то печаль, которую проявил тогда народ, известна мне лишь по рассказам. Однако я могу составить себе представление об этом народном горе, так как вскоре после того я видел похороны бывшего епископа округа Блуа, члена Конвента, Грегуара. Там не было высоких сановников, не было пехоты и конницы, не было пустых траурных карет с придворными лакеями, не было пушек, не было посланчиков и пестрых ливрей, не было никакой официальной помпы. Но народ плакал, печаль виднелась на всех лицах, и хотя дождь лил как из ведра, все же головы были непокрыты, и народ сам впрягся в погребальную колесницу и собственноручно влек ее на Монпарнас. Грегуар, истинный пастырь, всю жизнь боролся за свободу и равенство людей всех цветов и всех исповеданий; он всегда был ненавидим и преследуем врагами народа, и народ любил его и плакал о нем, когда он умер.

Между двумя и тремя часами похоронная процессия проходила по Бульварам. В половине же восьмого, идя с обеда, я встретил солдат и кареты, которые возвращались с кладбища. Кареты катились теперь весело и быстро. Траурный креп был снят с трехцветного знамени; это знамя и латы кирасир сверкали в лучах солнца самым радостным блеском. Красные трубачи, гарцуя на белых конях, весело играли «Марсельезу». Народ, пестро наряженный и веселый, бежал в театры. Небо, долгое время затянутое облаками, стало нежно-голубым, лучезарно-благоуханным; деревья так весело сверкали зеленью; холера и Казимир Перье были забыты, и наступила весна.

И вот прах похоронен, но система еще жива. Или в самом деле правда, что эта система — создание не Казимира Перье, а короля? Впервые высказали это некоторые филипписты, чтобы возбудить доверие к самостоятельной силе короля, дабы нельзя было подумать, будто он стоит беспомощный над могилой своего защитника, и нельзя было бы сомневаться в сохранении существовавшей донне системы. Многие враги короля ухватились теперь за это мнение. Они весьма довольны, что пачало этой непопулярной системы относится ко времени до 13 марта и что она приписывается высочайшему основателю, высочайшая ответственность которого поэтому возрастает. Друзья и враги объединяются здесь порой, чтобы калечить истину. Они либо отсекают ей ноги, либо так растягивают ее в длину, что она становится тонкой, как ложь. Партийный дух — это Прокруст, стелющий истине плохое ложе. Не думаю, чтобы при создании так называемой системы 13 марта Перье лишь принес в жертву свое честное имя и чтобы истинным отцом ее был Луи-Филипп. Может быть, он отрицает, что он — отец этого сомнительного младенца, совсем как тот крестьянский паренёк, который наивно заявил: «*Mais pour dire la vérité, je n'y ai pas nui*». ¹ Все оскорбления, которые Франция должна была вытерпеть до сих пор, теперь засчитываются королю. Пиннок, полученный напоследок большим львом от ослицы господней в Риме, болезненно ожесточил французов. Но к Луи-Филиппу несправедливы. Он не любит оставлять оскорбления безнаказанным и рад был бы драться, только не со

¹ «Но, по правде говоря, я здесь ни при чем» (франц.).

всяким. Например, он неохотно дрался бы с Россией, но был бы очень рад драться с пруссаками, с которыми он уже дрался при Вальми и которых он поэтому, кажется, не очень боится. Во всяком случае, как уверяют, в нем ни разу не замечали боязни, когда речь заходила о Пруссии и ее грозной рыцарственности. Луи-Филипп Орлеанский, потомок Людовика Святого, отпрыск старейшего королевского рода, величайший дворянин христианского мира, обычно в таких случаях шутит с бюргерским добродушием: как, мол, прискорбно, что укермаркская камарилья столь высокомерно и дворянски горделиво смотрит на него, бедного буржуазного короля.

Не могу не упомянуть здесь, что в Луи-Филиппе никогда не заметен *grand seigneur*¹ и что в самом деле человека более буржуазного французский народ и не мог избрать королем. Так же мало заинтересован он в том, чтобы быть легитимным монархом, и, говорят, изобретенная Гизо квазилегитимность ему вовсе не по вкусу. Он нимало не завидует преимуществам легитимности, которыми обладает Генрих V, и отнюдь не склонен вступать с ним в сделки или даже предлагать ему деньги. Но зато Луи-Филипп убежден, что он изобрел буржуазную монархию, что на это изобретение он имеет патент. Этим он зарабатывает в год восемнадцать миллионов, сумму, почти превышающую доход парижских игорных домов, и он хотел бы сохранить для себя и для своих потомков монополию на этот прибыльный промысел. Я уже указывал в предшествующей статье, что сохранение этой королевской монополии для Луи-Филиппа гораздо важнее всего другого и что, принимая во внимание этот вполне человеческий взгляд на вещи, следует извинить захват им председательского места в совете. Фактически он все еще не замкнулся в надлежащие границы своих конституционных функций, хотя формально он больше не решается председательствовать. Действительно, спорный вопрос все еще остается нерешенным и, вероятно, будет обсуждаться вплоть до образования нового кабинета. Слабость правительства, однако, более всего сказывается в том, что не внутренние потребности страны, а зарубежные события обуславливают сохранение, обновление или пре-

¹ Знатный господин (*франц.*).

образование французского правительства. Такая зависимость от иностранных интересов прискорбно обнаружилась и стала достаточно явной во время последних событий в Англии. Каждый слух, доносившийся к нам оттуда в ту пору, вызывал здесь предложения и обсуждения новых министерских комбинаций. Много думали здесь об Одилоне Барро и даже были недалеки от мысли о Могене. Когда же увидали, что кормило Британской империи в руках Веллингтона, тогда совсем потеряли голову и собрались уже, военного равновесия ради, назначить первым министром маршала Сульта.

Свобода Англии и Франции очутилась бы тогда под командой двух старых солдат, чуждых или даже враждебных всякой независимой гражданственности и учившихся только рабски слушаться или деспотически повелевать. Сульт и Веллингтон по своему характеру — только кондотьеры, и разница лишь та, что первый обучался военному ремеслу в более благородной школе и столь же жаден к славе, как и к деньгам. Корона, не что-нибудь другое, должна была однажды выпасть ему на долю, и, как меня уверяют, Сульт в течение нескольких дней был португальским королем под именем Николо I, короля Альгарвы. Каприз его строгого властелина не позволил ему продлить эту королевскую шутку. Но, конечно, он не может ее забыть: обоими ушами впивал он некогда сладость титула «величество», опьяненным взором видел он людей, всеподданнейше склонявших перед ним колени; на своих всемилостивейших руках он еще чувствует жгучесть португальских губ. И ему-то должна была быть вверена свобода Франции! О другом, о милорде Веллингтоне, можно вовсе ничего не говорить. Последние события показали, что в прежних моих сочинениях я еще слишком мягко судил о нем. Ослепленные его неуклюжими победами, люди не верили, что он в сущности глуп; но и это показали события последнего времени. Он глуп, как всякий человек, лишенный сердца. Ибо мысли выходят не из головы, а из сердца. Славьте же его, продажные придворные поэты и рифмующие льстецы торийского высокомерия! Воспевай его, каледонский бард, обанкротившийся призрак со свинцовой арфой, на которой струны — из паутины! Воспевайте его, набожные лауреаты, оплаченные певцы героев, в особенности же воспойте его последние

подвиги! Никогда смертный не являлся взорам света в более жалкой наготе. Почти единогласно вся Англия — суд присяжных из двадцати миллионов свободных граждан — признаёт виновным этого бедного грешника, который, точно заурядный вор, ночью и с помощью укрывательниц хотел выкрасть коронные сокровища суверенного народа — его свободу и его права. Почитайте «Morning Chronicle», «Times»¹ и даже тех ораторов, которые обычно столь умеренны, и дивитесь тем беспощадным словам, которыми они, как палачи, бичевали и клеймили победителя при Ватерлоо. Его имя стало поношением. Путем самых коварных придворных интриг ему удалось на несколько дней достигнуть власти, которою, однако, он не решался воспользоваться. Лей Гент сравнивает его поэтому с дряхлым развратником, собиравшимся соблазнить девушку, которая в тревоге попросила совета у подруги и услышала в ответ: «Не мешай ему, и, помимо греха своего злого умысла, он покроет себя и позором своего бессилия».

Я всегда ненавидел этого человека, но никогда не думал, чтобы он был таким презренным. Вообще о тех, кого я ненавижу, я всегда был мнения более высокого, чем они заслуживали. И я сознаюсь, что в английских тори я предполагал всегда больше мужества, и силы, и великодушного самопожертвования, чем они обнаружили теперь, когда в этом оказалась нужда. Да, я ошибся в высоком дворянстве Англии: я думал, что оно, подобно гордым римлянам, не отдаст за более дешевую цену, чем прежде, тех полей, на которых расположился вражеский стан, и будет ждать врагов, сидя на курульных креслах... Нет, панический страх овладел им, когда оно увидало, что поведение Джона Булля что-то уж очень серьезно, и вот поля вместе с rotten boroughs² поступают в продажу по более низким ценам, и число курульных кресел увеличивается, чтобы и враги соблаговолили усесться. Тори больше не доверяют своей собственной силе, они больше не верят в себя — их власть сломлена. Правда, виги — тоже аристократы, лорд Грей так же гордится своей знатностью, как и лорд Веллингтон; но английскую аристокра-

¹ «Утреннюю хронику», «Время» (англ.).

² Гнилыми местечками (англ.).

тию постигнет та же участь, что и французскую: одна рука отрубит другую.

Непонятно, каким образом тори, рассчитывавшие на ночную авантюру своей королевы, так могли испугаться, когда она удалась, а народ поднялся, громко протестуя против нее. Это ведь следовало предвидеть, если принять во внимание характер англичан и их средства законного сопротивления. Мнение по поводу билля о реформе твердо установилось во всем народе. Все размышления превратились в факты. Вообще англичане, когда нужно действовать, имеют то преимущество, что у них, как у людей свободных, имеющих право свободно высказываться, всегда наготове есть суждение по всякому вопросу. Они как будто больше судят, нежели думают. Мы, немцы, наоборот, думаем все время; от сплошных дум мы не можем высказать суждения. Да и не всегда полезно высказываться. Одного удерживает опасение, что это не понравится господину директору полиции, другого — скромность или даже тупоумие. Много немецких мыслителей сошло в могилу, не высказав собственного суждения о том или ином великом вопросе. Англичане, напротив, во всем определены, практичны, все духовное материализуется у них, так что все их мысли, вся их жизнь и сами они составляют единый факт, права которого неоспоримы. Да, они «грубы как факт» и сопротивляются материально. Немец со своим мышлением, своими идеями, мягкими как мозг, в котором они возникли, — как будто и сам всего лишь идея, и, если она не нравится правительству, ее отправляют в крепость. Так, в голове Кёпеника сидело взаперти шестьдесят идей, и никто не замечал их отсутствия; пивовары варили свое пиво, как и раньше; альманахи печатали свои художественные повести, как и раньше. К деятельности способности сопротивления, к тугому упрямству англичан в области уже решенных вопросов присоединяется еще законная уверенность, с которой они могут действовать. Мы просто не в силах представить себе, как далеко может идти вперед легальным путем английская оппозиция, выступая против правительства и в парламенте и вне его. Дни Вилькса можно понять, только если собственными глазами видеть Англию. Путешественники, желающие нарисовать картину английской свободы, обычно дают для этой цели перечень законов. Но законы —

это еще не сама свобода, а только ее границы. На континенте совершенно не представляют себе, как много напряженной свободы может быть порой сосредоточено в этих границах, и еще меньше представляют себе, как велика леность и сонливость пограничных стражей. Только там, где эти границы должны служить защитой от произвола власти, их охраняют твердо и бдительно. Когда власть переступает их, тогда вся Англия подымается как один человек, и произвол оттесняется. Да, люди эти даже не дожидаются, пока нарушат свободу, и, если ей грозит хоть малейшая опасность, они мощно обороняют ее и словами и ружьями. Французы в июльские дни восстали не прежде, чем на их головы обрушились первые удары деспотической палицы — ордонансы. Англичане в мае этого года не дожидались первого удара; им было достаточно и того, что меч вложен в руки знаменитому палачу, который уже и в других страхах подверг свободу казни.

Они удивительные чудачки, эти англичане. Я их терпеть не могу. Во-первых, они скучны, а затем — они необщительны, своекорыстны, они квакают, как лягушки, они от природы враги всякой хорошей музыки, они ходят в церковь с золочеными молитвенниками и презирают нас, немцев, за то, что мы едим кислую капусту. Но когда английской аристократии удалось при помощи незаконнорожденных придворных чад привлечь на свою сторону «немку» (*the nasty German frog*);¹ когда король Вильгельм, еще накануне вечером обещавший лорду Грею назначить столько новых пэров, сколько будет необходимо для проведения билля о реформе, — утром, уже иначе настроенный королевой ночи, изменил своему слову; когда Веллингтон и его тори захватили государственную власть своими свободоубийственными руками, — тогда англичане вдруг стали совсем не скучны, а, напротив, очень интересны; они перестали быть необщительны, а, напротив, начали собираться сотнями тысяч; они сделались очень единодушны. Слова их перестали быть похожими на кваканье и стали полны самого смелого благозвучия. Они говорили вещи, которые звучали увлекательнее, чем мелодии Россини и Мейербера, и они говорили о духовенстве

¹ Грязную немку (*англ.*).

без всякой набожности и не в молитвенном духе, а с полным свободомыслием совещались: «не отправить ли епископов к черту и не послать ли обратно в Ганновер короля Вильгельма со всей его кислокапустной родней?»

Когда я был в Англии, я смеялся над многими вещами, но всего веселее — над лорд-мэром, истинным бургомистром лондонского Сити, сохранившимся во всем величии своего парика и пышного цехового достоинства, точно руина времен средневековой общины. Я видел его в обществе его олддерменов. Это величавые представители городского сословия, кум-портной и кум-сапожник, большею частью толстые лавочники, красные лица-бифштексы, воплощение портерной кружки, трезвые, однако, и очень богатые благодаря трудолюбию и бережливости, так что у многих из них, как уверяют меня, в Английском банке лежит больше миллиона фунтов стерлингов. Английский банк — большое здание на Тред-Нидл-стрит; и если бы в Англии вспыхнула революция, банк оказался бы в величайшей опасности, а богатые граждане Лондона могли бы потерять свое состояние и в течение одного часа превратиться в нищих. Тем не менее, когда король Вильгельм изменил своему слову и свободе Англии грозила опасность, тогда лорд-мэр Лондона надел большой парик и пустился в путь со своими толстыми олддерменами; при этом у них был такой уверенно-бодрый, чиновно-спокойный вид, как будто они шли на торжественный обед в Гилдхолл. Пошли они, однако, в палату общин и выразили там самый решительный протест против нового кабинета, и сказали, что пойдут против короля, если он его не отзовет, и скорее были согласны решиться на революцию и поставить на карту свою жизнь и свое добро, чем дать погибнуть свободе Англии. Удивительные чудачки эти англичане!

Никогда не забуду человека, которого я видел в палате общин по левую сторону от оратора, потому что никогда ни один человек не производил на меня такого отталкивающего впечатления, как он. Он и теперь еще сидит там. Это коренастая плотная фигура с большой четырехугольной головой, покрытой неприятно всклокоченными рыжими волосами. Чрезмерно румяное и широкоскулое лицо пошло и правильно-вульгарно; трезвые дешевые

глаза; скудно отмеренный нос; большое расстояние от носа до рта, который не может выговорить и трех слов, чтобы между ними не втерлась какая-нибудь цифра или чтобы речь не зашла о деньгах. Во всем его облике — что-то скряжническое, скаредническое, мерзкое. Словом, он истинный сын Шотландии, этот господин Джозеф Юм. Лик его следовало бы выгравировать в каждом учебнике арифметики. Он всегда принадлежал к оппозиции; английские министры всякий раз испытывают перед ним особый страх, когда обсуждаются финансовые вопросы. Даже когда Каннинг сделался министром, он остался сидеть на скамье оппозиции, и Каннинг, если ему приходилось в речи называть какую-нибудь цифру, всякий раз тихо спрашивал сидящего рядом с ним Гескиссона: «How much?»,¹ и когда тот суфлировал ему эту цифру, он громко произносил ее и почти с улыбкой смотрел при этом на Джозефа Юма. Ни один человек не производил на меня более неприятного впечатления, чем он. Но когда король Вильгельм изменил своему слову, Джозеф Юм поднялся, высокий и бесстрашный, как бог свободы, и произнес слова, звучавшие столь же мощно и величественно, как колокол церкви св. Павла, и речь шла, конечно, опять-таки о деньгах, и он заявил, что «не нужно платить налоги», и парламент согласился с предложением своего великого гражданина.

Это и решило вопрос. Законный отказ от уплаты налогов испугал врагов свободы. Они не осмелились вступить в бой с единодушным народом, ставившим на карту свою жизнь и свое добро. Правда, у них все еще оставались солдаты и гиней. Но уже не было веры красным лакеям, хотя они до тех пор так по-холопски повиновались палке и розгам Веллингтона. Не верилось больше и в преданность подкупленных ораторов, ибо даже английская аристократия заметила теперь, «что на свете не все продажно и что в конце концов не хватит денег за все платить». Тори уступили. Это, конечно, было самое малодушное, хотя и самое умное решение. Но как могло случиться, что они уступили? Или среди камней, которыми бросали в их окна, они нашли случайно философский камень?

¹ «Сколько?» (англ.).

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ

Париж, 16 июня 1832 г.

Джон Бульль требует сейчас дешевого правительства и дешевой религии (*cheap government, cheap religion*) и больше не желает отдавать полностью плоды своего труда, чтобы вся родня тех господ, которые ведают его государственными интересами или проповедают ему христианское смирение, утопала в горделивейшей роскоши; он уже не питает к их власти такого уважения, как прежде, и Джон Бульль тоже заметил: *la force des grands n'est que dans la tête des petits*.¹ Чары сломлены с тех пор, как английское *nobility* само показало свою слабость. Его не боятся больше: все видят, что оно состоит из людей таких же слабых, как и все прочие. Когда первый испанец пал и мексиканцы заметили, что белые боги, которых они видели вооруженными молнией и громом, тоже смертны, испанцам, пожалуй, плохо пришлось бы в бою, если бы огнестрельное оружие не решило дела. У наших врагов, однако, нет этого преимущества; Бертольд Шварц изобрел порох для всех нас. Напрасно шутит духовенство: «Воздавайте кесарево кесареви». Мы отвечаем: в течение восемнадцати веков мы уж слишком много отдавали кесарю; что осталось, то теперь наше.

С тех пор как билль о реформе возведен в закон, аристократы стали вдруг так великодушны, что утверждают, будто не только тот, кто платит налог в десять фунтов стерлингов, но и всякий англичанин, даже самый бедный, имеет право подавать голос на выборах депутатов в парламент. Они скорее предпочтут зависимость от низкого сброда нищих и оборванцев, чем зависимость от самого состоятельного среднего сословия, которое не так легко подкупить и которое не чувствует к ним такой глубокой симпатии, как чернь. Последнюю с этими высокородными связывает по крайней мере родство душ. И чернь и знать питают величайшее отвращение к промышленной деятельности. Они гораздо больше стремятся к присвоению чужой собственности или к подаркам и чаевым за случайные лакейские услуги. Делать долги — это отнюдь не ниже

¹ Сила великих мира сего существует только в головах малых (*франц.*).

их достоинства. И нищий и лорд презирают буржуазную честь; они проявляют одинаковое бесстыдство, когда голодны, и совершенно единодушны в своей ненависти к состоятельному среднему сословию. Басня повествует: верхние ступени лестницы надменно сказали однажды нижним ступеням: «Не думайте, что вы нам ровня: вы вязнете внизу, в грязи, а мы свободно возносимся ввысь; иерархия ступеней введена самой природой, она освящена временем, она — законна». Но философ, проходивший мимо и услышавший эти аристократические речи, улыбнулся и перевернул лестницу. Это очень часто случается в жизни, и вот обнаруживается, что верхние и нижние ступени общественной лестницы проявляют в одинаковом положении также и одинаковые воззрения. Знатные эмигранты, впавшие на чужбине в нищету, по чувствам и по образу мыслей превратились в обыкновенных нищих, тогда как корсиканский сброд, занявший во Франции их место, стал так задира́ть пос, стал чваниться так нагло и надменно, точно принадлежал к стариннейшей аристократии.

Насколько опасен для друзей свободы этот союз знати и черни, обнаруживается самым отвратительным образом на Пиренейском полуострове. Там так же, как и в некоторых провинциях западной Франции и южной Германии, католическое духовенство благословляет этот священный союз. Также и священники протестантской церкви всюду стараются упрочить хорошие отношения между народом и правителями (то есть между чернью и аристократией), чтобы безбожники (либералы) не могли добиться власти. Ибо они рассуждают весьма правильно: кто дерзко пользуется своим разумом и отрицает преимущества благородного рождения, тот в конце концов усомнится и в священнейших предписаниях религии и не будет верить в первородный грех, в сатану, в избавление, в вознесение, он больше не придет к трапезе господней и ничего не даст слугам господним на святое вишце, не бросит им подачки, от которой зависит их существование, а следовательно, и спасение мира. Аристократы, со своей стороны, поняли, что христианство — весьма полезная религия, что тот, кто верит в первородный грех, не станет отрицать и природных привилегий, что ад — весьма подходящее учреждение, чтобы держать людей в страхе, и что тот, кто съедает

собственного бога, в состоянии очень многое переварить. Правда, эти знатные люди сами когда-то были весьма безбожны и порчей нравов способствовали падению старого режима. Но они исправились и по крайней мере понимают, что народу нужно показать хороший пример. С тех пор как старая оргия кончилась столь плохо и вслед за самым сладостным греховным упоением пришла горчайшая беда, эти благородные господа сменили соблазнительные романы на душеспасительные книги, сделались очень набожны и целомудренны и хотят показать народу хороший пример. Также и благородные дамы, стерев румяна со щек, приподнялись из бездны греха, и приводят в порядок свои растрепанные прически и помятые юбки, и проповедуют добродетель, благопристойность, христианство, и хотят показать народу хороший пример.

(Здесь я должен был выпустить несколько страниц, где проявил слишком благосклонное отношение к тому духу умеренности, который в наше реакционное время неуместен и не заслуживает похвал. Взамен я даю написанную после заметку, которую прилагаю в конце этой статьи.)

Мне дороги воспоминания о первых боях революции и героях, участвовавших в них; я чту их так высоко, как может чтить их только юношество Франции; да, я еще до июльских дней восторгался Робеспьером и святым Юстином, и великой Горой, по все же я не хотел бы жить под властью столь высоких личностей, я не мог бы вынести, если бы меня стали каждый день гильотинировать, и никто не мог этого вынести, и Французской республике оставалось только победить и, побеждая, изойти кровью. Нет никакой непоследовательности в том, что я восторженно люблю эту республику, однако отнюдь не желаю возврата к этой форме правления во Франции, а еще менее — ее перевода на немецкий язык. Можно было бы даже, не впадая в непоследовательность, пожелать, чтобы республика была восстановлена во Франции, а в Германии, напротив, оставалась монархия. Тот, кому важнее всех других интересов упрочение побед, одержанных принципом демократии, действительно легко мог бы в данном случае прийти к подобному убеждению.

Здесь я затрагиваю большой и спорный вопрос, во-круг которого сейчас во Франции ведется такая кровавая

и жестокая борьба, и я должен указать, почему так много друзей свободы являются приверженцами теперешнего правительства и почему другие требуют его низвержения и восстановления республики. Первые, то есть филипписты, говорят: Франция, которая может быть управляема только монархически, в лице Луи-Филиппа имеет самого подходящего короля. Он — надежный защитник достигнутых свободы и равенства, потому что по своим взглядам и по своим нравам он благоразумен и буржуазен. Он не может, подобно прежней династии, таить в сердце злобу против революции, так как отец его и он сам принимали в ней участие. Он не может предать народ в руки прежней династии, ибо он, как родственник, должен ненавидеть ее сильнее, чем кто-либо другой. Он может оставаться в мирных отношениях с прочими монархами, потому что благодаря его высокому рождению они мирятся с его нелегитимностью, тогда как они тотчас же объявили бы войну, если бы на французский трон посажен был какой-нибудь простолудин или если бы провозглашена была республика. А ведь мир необходим для счастья Франции. Республиканцы, наоборот, утверждают: разумеется, тихое счастье мира — прекрасная вещь, однако оно не имеет смысла без свободы. Так думали их отцы, когда штурмовали Бастилию, когда рубили голову Людовику Капету и вели войну со всей аристократией Европы. Война эта еще не кончена, сейчас только перемирие. Европейская аристократия по-прежнему питает глубочайшую ненависть к Франции, это — кровная вражда, которая может кончиться лишь уничтожением одной из этих сил. А Луи-Филипп — король, для него главное — сохранить корону. Он вступает в соглашение и в родственные связи с королями, и, обреченный на самую жалкую половинчатость вследствие всяких семейных обстоятельств, дергающих его во все стороны, он не может быть авторитетным представителем тех священнейших интересов, которые некогда лишь республика умела мощно защищать и для которых восстановление республики является необходимым.

Тот, у кого нет во Франции ценного имущества, рискующего погибнуть во время войны, вполне может чувствовать симпатию к этим воякам, которые в жертву демократическому принципу приносят тихое счастье

жизни, ставят на карту решительно все и хотят сражаться до тех пор, пока аристократия не будет уничтожена во всей Европе. Благодаря тому что Германия тоже принадлежит к Европе, многие немцы разделяют эту симпатию к французским республиканцам; но так как при этом часто заходят слишком далеко, то у некоторых эта симпатия перерождается в пристрастие к самой республиканской форме правления, и вот мы видим явление едва ли постижимое, а именно — немецких республиканцев. Что итальянцы и поляки, которые, подобно немецким друзьям свободы, чают от французских республиканцев больше пользы, чем от *juste milieu*, а поэтому больше любят их, тоже питают теперь пристрастие к республиканской форме правления, не совсем чуждой для них, — это вполне естественно! Но немецкие республиканцы! Почти не веришь собственным ушам и глазам, а все же мы видим их и здесь и в Германии.

Я и теперь еще, когда гляжу на своих немецких республиканцев, протираю глаза и говорю себе: «Не спится ли тебе это?» Читаю ли я «Немецкую трибуну» и подобные издания, я спрашиваю себя: кто же тот великий поэт, который все это придумывает? Существует ли доктор Вирт со своим сверкающим мечом чести? Или это лишь плод фантазии Тика или Иммермана? Но затем я сознаю, что поэзия не парит столь высоко, что наши великие поэты все же не в силах изображать такие мощные характеры и что доктор Вирт — совсем как живой, смелый, хоть и блуждающий рыцарь свободы, каких не много видел в Германии со времен Ульриха фон Гуттена.

Неужели правда, что тихая мечтательная страна вновь ожила, снова задвигалась? Кто бы мог это подумать до июля 1830 года! Гете — своим баюшки-баю, шетисты — своим скучным молитвенным топом, мистики — своим магнетизмом совершенно усыпили Германию, и все кругом неподвижно лежало и спало. Но только тела были скованы сном; души, томившиеся в них, как в темнице, сохраняли страшное сознание. Автор этих страниц, тогда еще молодой человек, страпствовал по немецким землям и созерцал спящих людей. Я видел страдание на их лицах, и пзучал их физиономии, я прикладывал руку к их сердцу, и они, подобно лунатикам, начинали говорить во сне странные отрывистые речи, в которых раскрыва-

лись их затаеннейшие мысли. Стражи народа, натянув на самые уши свои золотые ночные колпаки и плотно закутавшись в горностаевые плафроки, восседали в красных бархатных креслах и тоже спали и даже храпели. И вот, странствуя с котомкой и палкой, я говорил или громко пел о том, что удавалось мне прочесть на лицах спящих людей или во вздохах их сердец. Вокруг меня стояла глубокая тишина, и я слышал только эхо моих собственных слов. С тех пор разбуженная пушками великой недели Германия проснулась, и каждый молчавший до сих пор хочет наверстать потерянное, и стоит шумная болтовня и стукотня, и при этом курят табак, и в темных клубах дыма рождается страшная гроза. Это — словно разбушевавшееся море, и на утесах, высящихся среди него, стоят ораторы. Одни, набрав полный рот воздуха, дуют на волны и думают, что это они подняли бурю и чем больше они будут дуть, тем яростнее будет реветь ураган. Другие робеют: они слышат, как трещат корабли государства, они со страхом смотрят на бушующие волны; а так как из своих учебников они знают, что маслом можно укротить море, то они и выливают в разъяренную людскую пучину масло из своих кабинетных лампочек или, выражаясь прозаически, пишут примирительные брошюрки, и удивляются, когда это средство не помогает, и вздыхают: «oleum perdidit!».¹

Легко предвидеть, что идея республики, как ее понимают теперь многие немецкие умы, отнюдь не является мимолетной фантазией. Доктора Вирта, и Зибенифейфера, и господина Шарпфа, и Георга Фейна из Брауншвейга, и Гроссе, и Шюлера, и Савуа — их всех можно засадить, и их засадят; но мысли их останутся свободными и свободно будут парить, как птицы в воздухе. Как птицы, сошьют они себе гнезда в вершинах немецких дубов, и, быть может, полвека их не будет видно и ничего о них не будет слышно, пока прекрасным летним утром они не появятся вновь на рыночной площади, большие, выросшие, подобные орлу верховного бога, с молниями в когтях. Да и что такое полвека или даже целый век? У народов есть время, они вечны; смертны лишь короли.

¹ «Масло потеряно!» (то есть труд напрасен — *лат.*).

Я не верю в близость германской революции, а еще менее — в германскую республику; до нее я ни в каком случае не доживу. Но я убежден, что когда мы уже успеем спокойно истлеть в наших могилах, в Германии будут словом и мечом бороться за республику. Ибо республика — идея, а немцы никогда не отказывались от идеи, не отстояв ее до конца, со всеми ее последствиями. Мы, немцы, в дни нашего художественного периода исчерпывавшие до дна мельчайший спорный вопрос эстетики, например вопрос о сонете, — неужели мы теперь, когда начинается наш политический период, оставим нерешенным этот более важный вопрос?

Для подобной полемики французы снабдили нас совсем особым оружием, ибо за последнее время оба народа — и французы и немцы — многому друг у друга научились. Французы многое позаимствовали от немецкой философии и поэзии, а мы позаимствовали политический опыт и практический смысл французов. Эти два народа подобны гомеровым героям, которые на поле сражения в знак дружбы обмениваются оружием и латами. Отсюда вообще — та огромная перемена, которая происходит сейчас с немецкими писателями. В прежние времена были они либо академически учеными людьми, либо поэтами. Они мало заботились о народе, никто из них не писал для него, и в философской и поэтической Германии народ пребывал во власти самого грубого образа мыслей, и когда ему порой случалось вступать в борьбу со своими властями, эта борьба возникала на почве грубых фактов действительности, материальных нужд, тяжелых налогов, таможенных стеснений, опустошений, причиняемых дичью, въездных пошлин и т. д., между тем как в практической Франции народ, воспитанный и руководимый писателями, боролся большей частью за идеальные интересы, за философские принципы. Во время войны за освобождение (*lucus a non lucendo*)¹ правительства воспользовались сворой факультетских ученых и поэтов, толкая их на то, чтобы они повлияли на народ в интересах их корон, и народ оказывался весьма

¹ Роцца (называется так) оттого, что в ней не светло (*лат.*) — пример бессмысленной этимологии, основанной лишь на звуковом сходстве.

восприимчивым; он читал «Меркурия» Иосифа Герреса, пел песни Э.-М. Арндта, украшал себя листвою отечественных дубов, вооружался, восторженно выстраивался в шеренги, причем его величали на «вы», маршировал в ландштурме, сражался и побеждал Наполеона, — ибо против глупости даже боги борются тщетно. Теперь немецкие правительства снова хотят воспользоваться этой сворой. Но она все это время просидела на цепи в грязной дыре, и очень опаршивела, провоняла, и не выучилась ничему новому, и лает все на старый лад. Народ же за это время слышал совсем иные голоса, громкие, величавые голоса, говорившие о гражданском равенстве, о правах человека, о неотъемлемых правах человека, и с насмешливым сожалением, если не с презрением, смотрит он сверху вниз на знакомых шапок, средневековых кобелей, верных пуделей и набожных мопсов 1814 года.

Разумеется, я бы не стал защищать голоса 1832 года ни все вместе, ни каждый из них в отдельности. Выше я уже высказал свое мнение о наиболее странном из этих голосов, а именно — о немецких республиканцах. Я указал на случайное обстоятельство, вызвавшее их появление. Я здесь вовсе не собираюсь выступать против их взглядов; это не входит в мои обязанности, да ведь и правительства держат для этой цели особых людей, которым они особо за это платят. Все же я не могу воздержаться здесь от следующего замечания: главное заблуждение немецких республиканцев происходит оттого, что они, желая и для Германии той республиканской формы правления, которая для Франции, пожалуй, и могла бы явиться самой подходящей, не принимают как следует в расчет различия между обеими странами. Германия не может стать республикой отнюдь не вследствие своего географического положения и не вследствие вооруженных угроз соседних монархов, как недавно утверждал великий герцог Баденский. Эти географические условия скорее могли бы подкрепить аргументацию немецких республиканцев, а что касается чужеземной опасности, то объединенная Германия была бы самой страшной силой в мире, и народ, который в самых рабских условиях всегда так превосходно сражался, легко мог бы, если бы он состоял из одних только республиканцев, превзойти в храбрости башкиров

и калмыков, которыми нам угрожают. Но Германия не может быть республикой потому, что она по существу своему монархична. Франция же, напротив, по существу своему — страна республиканская. Я этим не хочу сказать, что у французов больше республиканских добродетелей, чем у нас; нет, и у французов добродетели эти имеются не в изобилии. Я говорю только о существе, о характере, которым республиканизм и монархизм не только отличаются друг от друга, но и проявляются вонне и приобретают общественное значение как явления, глубоко различные.

Монархизм народа по существу своему состоит в том, что народ уважает авторитеты, что он верит в личности, являющиеся носителями авторитетов, что в силу этого доверия он предан и самой личности правителя. Республиканизм народа по существу своему состоит в том, что республиканец не верит в авторитеты, что он чтит только законы, что он от их блюстителей постоянно требует отчета, с недоверием наблюдает за ними, проверяет их, что, следовательно, он никогда не привязан к личности, а напротив, чем выше она поднимается над народом, тем настойчивее он стремится противоречиями, насмешками и преследованиями низвести ее с высоты.

Остракизм был в этом смысле самым республиканским установлением, и тот афинянин, который голосовал за изгнание Аристиды, «потому, что его всегда называют справедливым», был самым настоящим республиканцем. Он не желал, чтобы добродетель была представлена одним лишь лицом, чтобы лицо в конце концов имело большее значение, чем закон, он опасался авторитета имени. Этот человек был величайшим гражданином Афин, и то, что история умалчивает его имя, — больше всего его характеризует. Да, с тех пор как я изучаю французских республиканцев — по книгам и в жизни, — я всюду встречаю характерную черту — недоверие к личности, ненависть к авторитету имени. Не из мелочной жажды равенства ненавидят эти люди великие имена, — нет, они опасаются, как бы посетители этих имен не употребили их во вред свободе или, быть может, по слабости и уступчивости не позволили другим употребить их во вред свободе. Во время революции было казнено столько великих

популярных деятелей свободы именно потому, что боялись вредного влияния их авторитета в опасную минуту. Поэтому еще и теперь я из разных уст слышу республиканское учение, что надо уничтожить все либеральные репутации, ибо в решительный момент они могут приобрести самое пагубное влияние, как недавно показал пример Лафайета, которому обязаны «лучшей из республик».

Я, быть может, указал здесь мимоходом на причину, почему сейчас во Франции так мало выдающихся репутаций: большая часть их уже уничтожена. Начиная с самых высоких особ и кончая самыми низкими, здесь больше нет авторитетов. От Луи-Филиппа I до Александра, *chef des claqueurs*,¹ от великого Галейрана до Видока, от Гаспара Дебюро, знаменитого Пьеро театра Фюнамбюль, до Гиацинта де Келен, архиепископа Парижского, от господина Штауба, *maître tailleur*,² до Ламартина, благочестивого барашка, от Гизо до Поль де Кока, от Керубини до Биффи, от Россини до мельчайшего разини — никто, каким бы ремеслом он ни занимался, не пользуется здесь неоспоримым уважением. Однако уничтожена здесь не только вера в личности, но также и вера во все, что существует. Да, в большинстве случаев здесь уже даже и не сомневаются, ибо сомнение уже имеет предпосылкой веру. Здесь нет атеистов, к господу богу не осталось уважения даже настолько, чтобы кто-нибудь утруждал себя отрицанием его. Старая религия совершенно умерла, она уже начала разлагаться, «большинство французов» ничего и знать уже не хочет об этом трупе и затыкает нос платком, когда речь заходит о католицизме. Старая мораль тоже умерла, или, вернее, она теперь лишь привидение, которое не появляется даже и ночью. Право, глядя порой на этот народ, когда он раздражается бурей, разбивает священные куклы на столе, называемом «алтарь», сдирает красный бархат со стула, называемого «трон», требует нового хлеба и новых зрелищ, забавляясь видом дерзкой крови жизни, быющей из ран его собственного сердца, — я готов думать, что народ этот не верит даже в смерть.

¹ Главного клакера (*франц.*).

² Лучшего портного (*франц.*).

У таких неверующих монархия коренится лишь в мелких потребностях тщеславия, но более мощная сила невольно влечет их снова к республике. Эти люди, чья жажда к отличиям и к блеску соответствует лишь монархическая форма правления, все же обречены на республику, так как их существо не может ужиться с монархическими условиями. Немцы, однако, еще не в таком положении: вера в авторитеты еще не угасла в них, и ничто существенное не толкает их к республиканской форме правления. Они еще не выросли из монархизма, почтение к монархам не распатано в них насильно, они сами не переживали несчастья, случившегося 21 января, они еще верят в личности, они верят в авторитеты, в верховное начальство, в полицию, в пресвятую троицу, в «Галльскую литературную газету», в пропускную бумагу, в оберточную бумагу, всего же более — в пергамент! Бедный Вирт! ¹ Ты ждал не таких гостей!

Писатель, желающий содействовать социальной революции, имеет право опережать свое время на столетие; трибун же, ставящий себе целью революцию политическую, не должен слишком удаляться от масс. Вообще, в политике, так же как и в жизни, следует желать только достижимого.

Говоря выше о республиканизме французов, я, как уже отметил, скорее имел в виду бессознательное стремление, чем ясно выраженную волю народа. Как мало благоприятствует сейчас республиканцам выраженная воля народа, обнаружилось 5 и 6 июня. Об этих достопамятных днях я дал уже достаточно горестных сообщений, чтобы иметь право избавить себя от подробного их обсуждения. Да и судебное следствие по этому делу еще не закончено, и, может быть, допросы, производимые военным судом, объяснят случившееся за эти дни лучше, чем удавалось до сих пор. Еще не выяснено, как началась борьба, еще менее известно число бойцов. Филипписты заинтересованы в том, чтобы представить все дело как давно подготовлявшийся заговор и преувеличить число своих противников. Этим они оправдывают насильственные меры, принимаемые теперь правительством,

¹ В и р т (Wirt) — по-немецки хозяин.

и приписывают себе славу великого военного подвига. Оппозиция же, напротив, утверждает, что восстание это отнюдь не было подготовлено заранее, что у республиканцев вовсе не было вождей и что вообще республиканцев было крайне мало. Кажется, это правда. Во всяком случае для оппозиции — все же большое несчастье, что эта неудачная революционная попытка произошла в то самое время, когда она собралась *in cogrore*¹ и как будто находилась в боевой готовности. Однако если оппозиция утратила при этом долю своего авторитета, то правительство в этом отношении пострадало еще больше, необдуманно объявив *état de siège*.² Точно оно хотело показать, что, если уж на то пошло, оно сумеет оскандалиться еще грандиознее, чем оппозиция. Я в самом деле думаю, что на события 5 и 6 июня следует смотреть как на простое происшествие, особенно даже и не подготовлявшееся. Похороны Ламарка должны были быть лишь большим военным смотром оппозиции. Но сборище стольких враждебно настроенных и чающих борьбы людей внезапно было объято непреодолимым энтузиазмом, святой дух не вовремя сошел на них, они не вовремя начали пророчествовать, а вид красного знамени, очевидно, как бы околдовал их разум.

Было что-то мистическое в том красном знамени с черной каймой, на котором начертаны были слова: «*La liberté ou la mort*»³ и которое, как орифламма смерти, вознеслось на Аустерлицком мосту над головами всей толпы. Многие, собственными глазами видевшие таинственного знаменосца, утверждают, что это был высокий тощий человек с длинным мертвенным лицом, неподвижными глазами, сжатым ртом, над которым торчали острые концы черных старопспанских усов, — зловещая фигура, неподвижно сидевшая на большой черной кляче, в то время как кругом яростно кипел бой.

Связанные с этим знаменем слухи о Лафайете сейчас заботливо опровергаются его друзьями. Он будто бы не возлагал венка ни на красное знамя, ни на красный

¹ В полном составе (*лат.*).

² Осадное положение (*франц.*).

³ «Свобода или смерть» (*франц.*).

кошак. Бедный генерал сидит дома и оплакивает горестный исход похорон, — событие, в котором он, как и в большинстве народных мятежей с самого начала революции, снова играл роль, — каждый раз все более странным образом увлекаемый общим движением, — имея при этом доброе намерение своим личным присутствием удерживать народ от слишком крайних эксцессов. Он напоминает того гувернера, который сопровождал своего воспитанника в публичный дом, чтобы он там не напился, и ходил с ним в трактир, чтобы он по крайней мере не играл там, и следовал за ним даже в игорный дом, чтобы уберечь его от дуэлей; но если дело доходило до настоящей дуэли, старик сам бывал секундантом.

Хотя и можно было предвидеть, что на похоронах Ламарка, когда соберется целая армия недовольных, произойдут некоторые беспорядки, все же никто не думал, что вспыхнет настоящий мятеж. Быть может, мысль, что все теперь так удачно собраны вместе, и побудила некоторых республиканцев симпровизировать восстание. Во всяком случае, момент не был неблагоприятен для того, чтобы вызвать всеобщее воодушевление и воспламенить даже нерешительных. По крайней мере то был момент, сильно возбудивший умы, вытеснивший обычное будничное настроение и все мелочные опасения и заботы. Даже на спокойного зрителя похороны эти должны были произвести сильное впечатление как множеством провожающих (их было больше ста тысяч), так и сумрачно-отважным духом, которым дышали их лица и жесты. Бодрящее и вместе с тем устрашающее впечатление производил в особенности вид молодежи всех высших школ Парижа, членов общества «Amis du peuple» и стольких других республиканцев всех сословий, которые, оглашая воздух страшными ликующими кликами, проходили, как вакханки свободы, держа в руках обвитые зеленью палки, которыми они потрясали, точно тирсами, с зелеными венками из ветвей ивы вокруг шапочек, одетые братски просто, с глазами, опьяненными жаждой подвигов, с ярко пылающими шеями и щеками. Увы! На некоторых лицах я видел также меланхолическую тень близкой смерти, которую весьма легко предсказать юным героям. Кто видел этих юношей в их горделивом упоении свободой, тот должен был чувствовать, что многим из них недолго

осталось жить. Печальным предзнаменованием было также и то, что победная колесница, за которой, ликуя, следовала эта вакхическая молодежь, везла не живого, а мертвого триумфатора.

Злополучный Ламарк! Сколько крови стоили твои похороны! И ведь это были не подневольные или наемные гладиаторы, рубившие друг друга, чтобы воинственной игрой усугубить суету траурного великолепия. То была цветущая, восторженная молодежь, отдававшая кровь свою ради священнейших стремлений, ради великодушной грезы своей души. На улице Сен-Мартен пролилась лучшая кровь Франции, и я не думаю, чтобы при Фермопилах сражались более отважно, чем у входа в улочки Сен-Мери и Обри-де-Буше, где под конец горсточка людей, каких-нибудь шестьдесят республиканцев, защищалась против шестидесяти тысяч линейного войска и национальных гвардейцев и дважды заставляла их отступать. Старые солдаты Наполеона, знающие толк в военном деле не хуже, чем мы в христианской догматике, примирении крайних мнений или художественных талантах актрисы, утверждают, что бой на улице Сен-Мартен принадлежит к числу величайших подвигов в новейшей истории. Республиканцы творили чудеса храбрости, и немногие оставшиеся в живых отнюдь не просили пощады. Это подтверждают все расследования, добросовестно произведенные мной, как того требует мой долг. Большинство республиканцев было заколото штыками национальных гвардейцев. Когда всякое сопротивление стало бесполезно, некоторые республиканцы с обнаженной грудью выступили навстречу своим врагам и дали себя застрелить. Когда же был взят угловой дом на улице Сен-Мери, один из студентов Альфорской школы поднялся со знаменем на крышу, воскликнул: «Vive la République!» и упал, пронзенный пулями. В один из домов, первый этаж которого был еще занят республиканцами, ворвались солдаты и сломали лестницу, но республиканцы, не желая отдаться живыми в руки врагов, покончили с собой, и в плен была взята лишь комната, полная трупов. Мне рассказывали эти подробности в церкви Сен-Мери, и мне пришлось прислониться там к статуе св. Себастиана, чтобы от внутреннего волнения не свалиться, и я заплакал как дитя. Все те героические истории, которые еще

в детстве вызывали у меня слезы, вспомнились мне теперь, но больше всего думал я о Клеомене, царе спартанском, и его двенадцати сподвижниках, что бегали по улицам Александрии и звали народ на бой за свободу, и не нашли единомышленных сердец и, не желая сдаться слугам тирана, умертвили себя сами; последним был прекрасный Антей; еще раз склонился он над мертвым Клеоменом, любимым другом, и поцеловал любимые уста, а потом бросился на свой меч.

О числе сражавшихся в улипе Сен-Мартен еще не удалось узнать ничего определенного. Кажется, сперва там собралось около двухсот республиканцев, но в течение дня 6 июня число это, как отмечено выше, растаяло до шестидесяти. Среди них не было ни одного, чье имя было бы уже известно, кто имел бы уже репутацию выдающегося поборника республики. Это тоже свидетельствует о том, что если сейчас во Франции немного осталось героических имен, звучащих особенно громко, то это объясняется не недостатком в героях. Вообще, кажется, миновал тот период мировой истории, когда надо всем высились деяния отдельных личностей. Сами народы, партии, массы — герои нового времени. Современная трагедия отличается от античной тем, что теперь хоры принимают участие в действии и исполняют настоящие главные роли, тогда как боги, герои и тираны, бывшие прежде действующими лицами, опустили теперь до ролей скромных представителей воли партий и деяний народа и выступают с болтливыми рассуждениями, в качестве тронных ораторов, председателей банкетов, депутатов ландтага, министров, трибунов и т. д. Круглый стол великого Луи-Филиппа, вся оппозиция с ее *comptes rendus*,¹ с ее депутациями, господи Одилон Барро, Лафитт и Араго, — какими бессильными и жалкими кажутся эти истасканные знаменитости, эти мнимые авторитеты, если сравнить их с героями улицы Сен-Мартен, имена которых никому неизвестны, которые умерли как бы анонимно!

Скромная смерть этих великих неизвестных внушает нам не только трогательную скорбь, она вселяет в наши души отвагу, как знамение того, что многие тысячи

¹ Отчетами (*франц.*).

людей, совершенно неведомых нам, готовы пожертвовать жизнью за святое дело человечества. А деспотов должен охватить тайный ужас при мысли, что их постоянно окружает такая толпа неведомых, жаждущих смерти людей, подобных замаскированным слугам священного тайного суда. С полным основанием боятся они Франции, красной земли свободы!

Ошибочно думать, что герои улицы Сен-Мартен принадлежали к низшим слоям народа, или, как выражаются, к черни. Нет, это были большей частью студенты, красивые юноши, питомцы Альфорской школы, художники, журналисты, вообще — люди с духовными интересами, и среди них несколько рабочих, у которых под грубыми куртками бились очень благородные сердца. У монастыря Сен-Мери сражалась, кажется, только молодежь, но в других местах сражались и пожилые люди. В числе пленных, которых вели по городу, я видел также стариков, и особенно мне бросилось в глаза лицо одного старого человека, которого вели в Консьержери вместе с несколькими воспитанниками Политехнической школы. Эти шли с опущенными головами, сумрачные и дикие, и души их были истерзаны так же, как и их одежда; старик же, напротив, был одет хотя и бедно и старомодно, зато аккуратно: на нем был поношенный соломенно-желтый фрак, такие же штаны и куртка, выкроенная по последней моде 1793 года, большая треугольная шляпа, надетая на старую пудреную голову, а лицо было так беззаботно, почти радостно, словно он шел на свадьбу; за ним бежала старая женщина, держа в руках зонтик, который она, по видимому, хотела ему передать, и в каждой морщине ее лица был смертельный страх, какой можно испытать, когда знаешь, что любимый человек должен предстать перед военным судом и быть расстрелянным в двадцать четыре часа. Я никак не могу забыть лицо этого старика. 8 июня, в морге, я тоже видел старика, покрытого ранами и, как уверял меня стоявший рядом со мной национальный гвардеец, тоже сильно скомпрометированного в качестве республиканца. Но он лежал на скамье в морге. А морг — это здание, куда привозят и где выставляют трупы, найденные на улице или в Сене, и куда, следовательно, обычно приходят разыскивать исчезнувших родственников.

В вышеупомянутый день, 8 июня, в морт направлялось так много народа, что приходилось стоять в очереди, точно перед зданием Большой Оперы, когда дают «Роберта-Дьявола». Мне пришлось прождать целый час, пока меня впустили, и времени у меня было достаточно, чтобы подробно рассмотреть этот мрачный дом, похожий скорее на громадную каменную глыбу. Не знаю, что означает желтый деревянный диск с голубым кружком в середине, висящий над входом, — точно большая бразильская кокарда. Номер дома 21, vingt-un. Грустно было видеть, с какой боязнью иные внутри здания рассматривали выставленных мертвецов, опасаясь найти того, кого они искали. При мне там разыгрались две ужасные сцены узнавания. Маленький мальчик увидел своего мертвого брата и молча застыл, словно прирос к земле. Молодая девушка нашла там своего мертвого возлюбленного и, вскрикнув, лишилась чувств. Так как я знал ее, на мою долю выпала печальная обязанность отвести безутешную домой. Она была из модной лавки по соседству со мною; там работает восемь молодых дам — все республиканки. Их возлюбленные тоже все молодые республиканцы. В этом доме я всегда — единственный роялист.

ВСТАВКА К СТАТЬЕ ДЕВЯТОЙ

(Написано 1 октября 1832 г.)

Место, пропущенное в предыдущей статье, относилось главным образом к немецкому дворянству. Однако чем больше я размышляю о событиях последнего времени, тем важнее представляется мне эта тема, и я должен поскорее решиться основательно ее рассмотреть. Право, я это делаю не из личных побуждений; думаю, за последнее время я доказал, что выступаю лишь против принципов, а не против моих противников, как личностей. Поэтому современные *enragés*¹ ослабили меня в последнее время как тайного союзника аристократов, и если бы мятеж 5 июня не потерпел крушения, они легко могли

¹ Бешеные (франц.).

бы предать меня смерти, на которую они меня обрекли. Я от души простил им эту глушость, и только в моей корреспонденции от 7 июня вырвалось у меня словцо по этому поводу. Дух партий — зверь столь же слепой, сколь и яростный.

С немецким дворянством дело обстоит, однако, очень скверно. Ни одна конституция, даже самая лучшая, не в силах помочь нам, пока все дворянство целиком не будет уничтожено в самом корне. Бедные государи находятся сами в величайшем затруднении, их лучшие намерения бесплодны, они должны действовать вопреки своим священнейшим клятвам, они принуждены противодействовать интересам народа, — одним словом, они не могут соблюдать верность конституциям, которым присягали, пока не будут освобождены от других, более древних конституций, которые путем тонких, как шелк, придворных происков сумело выманить у них дворянство, когда ему пришлось отказаться от своей блистающей оружием независимости; от конституций, которые в качестве неписаного обычного права глубже вкоренились, нежели постановления, наилучшим образом отпечатанные на листах пропускной бумаги; от конституций, кодекс которых всякий мелкий дворянчик знает наизусть и соблюдение которых поставлено под особый надзор всякого старого придворного кота; от конституций, в которых и самый неограниченный монарх не решится изменить ни одного заглавия. Я говорю об этикете.

Из-за этикета государи всецело находятся во власти дворянства, они не свободны, они невменяемы, и вероломство, проявленное некоторыми из них в последних постановлениях сейма, должно быть приписано, если судить справедливо, не столько их собственной воле, сколько окружающим условиям. Ни одна конституция не обеспечивает прав народа до тех пор, пока монархов держит в плену этикета дворянство, которое, как только дело доходит до кастовых интересов, забывает личные распри и объединяется. Что может сделать отдельная личность, монарх, против целого сословия, искушенного в интригах, изучившего все слабости монархов, насчитывающего в числе своих членов ближайших его родственников, имеющего исключительное право находиться вблизи его особы, так что государь, даже если он ненавидит своих дворян,

никак не может отстранить их от себя, должен выносить их любезный вид, должен позволять им одевать себя, умывать и лизать ему руки, должен есть, пить и разговаривать с ними, ибо они имеют доступ ко двору, имеют наследственные права на придворные должности, и все придворные дамы пришли бы в возмущение и сделали бы бедному государю нестерпимой жизнь в его же доме, если бы он стал действовать по внушениям собственного сердца, а не по предписаниям этикета. Так случилось, что короля английского Вильгельма, честного, доброго государя, происки его высокородных приближенных заставили самым жалким образом изменить слову, пожертвовать своим честным именем и навсегда утратить уважение и доверие своего народа. Так случилось, что один из благороднейших и умнейших государей, когда-либо украсивших собою трон, Людвиг Баварский, еще три года тому назад так горячо преданный делу народа и так твердо противостоявший всем порабощительным попыткам своей знати, с таким героическим мужеством переносивший ее фрондирующую дерзость и клевету, — даже и он, усталый и обессиленный, падает теперь в ее предательские объятия и изменяет сам себе! Бедное сердце, некогда столь жаждавшее славы и столь гордое, до чего должно быть сломлено твое мужество, если, не желая, чтобы тебя беспокоило прекословие нескольких надоедливых подданных, ты отказалось от верховной независимости и само обратилось в покорного вассала, вассала твоих природных врагов, вассала твоих свойственников!

Повторяю, ни одна писаная конституция не в силах помочь нам, пока мы до основания не уничтожим дворянства. Дело еще не сделано, если путем обсуждаемых, вотируемых, санкционируемых и публикуемых законов аннулируются привилегии дворянства; это уже проделано было в разных странах, и тем не менее интересы дворянства там все еще господствуют. Мы должны искоренить традиционные злоупотребления в домашнем быту монархов, ввести новый порядок для придворной челяди, разбить этикеты и, чтобы самим стать свободными, начать дело с освобождения монархов, с эмансипации королей. Древних драконов надо прогнать от источника власти. И если вы это сделали, будьте бдительны, дабы они снова

не приползли ночью порой и не отравили источника. Некогда мы принадлежали королям, теперь короли принадлежат нам. Мы поэтому должны сами воспитывать их и не отдавать их высокородным придворным гувернерам, которые воспитывают их в интересах своей касты и калечат их тело и душу. Ничто не может быть опаснее для народов, чем это юнкерство, с ранних пор окружающее наследных принцев. Лучший гражданин по выбору народа пусть будет воспитателем принца, а тот, о ком идет дурная слава или кто хоть в малейшей степени запятнан, пусть будет законом удален от особы юного государя. Если же такой человек с бесстыдной навязчивостью, свойственной в подобных случаях дворянству, все же сумеет протискаться вперед, то да будет он подвергнут бичеванию на площади с соблюдением самых звучных ритмов, и раскаленным железом да будет на его плече выжжено соответствующее клеймо. Если же он станет утверждать, что протискивался к особе юного государя, желая прослыть остряком и умником, и если у него окажется толстое брюхо, как у сэра Джона, то пусть его просто посадят в исправительную тюрьму, но туда, где сидят женщины.

Впрочем, есть и белые вороны.

Как я обещал уже в предисловии к «Письмам Кальдорфа к графу Мольтке», я об этом предмете более подробно поговорю впоследствии; при этом наибольший интерес представит статистика дипломатического корпуса, которому вверены интересы народов. К ней будут приложены таблицы, каталоги различных добродетелей дипломатического корпуса разных столиц. Из них можно будет усмотреть, например, что в столицах каждый третий человек, принадлежащий к этому благороднейшему обществу, либо игрок, либо безродный наемный слуга, либо есгос,¹ либо *ruffiano*² своей собственной супруги, либо супруг своего жокея, либо всесветный шпион, либо какой-нибудь другой знатный негодяй. Ради этой статистики я весьма основательно занялся изучением источников, и притом — за столами царя-фараона и других царей востока, на вечерах прелестнейших богинь танца и песни,

¹ Мошенник, плут (*франц.*).

² Сводник (*итал.*).

в храмах обжорства и волокитства, словом — в знатнейших домах Европы.

Относительно графа Мольтке я должен здесь еще отметить, что в июле прошлого года он был тут, в Париже, и хотел втянуть меня в полемику о дворянстве, чтобы показать публике, что я не понял его принципов или произвольно их искажил. Но как раз тогда мне казалось неосторожным публично касаться в моей обычной манере этой темы, за которую так ужасно могла бы ухватиться злоба дня. Я поделился с графом этими опасениями, и он оказался достаточно благоразумен, чтобы не выступить печатно против меня. Так как я первый задел его, то не мог бы пройти мимо его ответа и должен был бы написать возражение. За это благоразумие граф заслуживает величайшей похвалы, которую я ему и воздаю здесь, и тем более охотно, что в нем я нашел остроумного и — что еще важнее — благомыслящего человека, который вполне заслужил, чтобы в предисловии к «Письмам Кальдорфа» я отнесся к нему не как к заурядному дворянину. С тех пор я прочел его труд о свободе ремесл, в котором, как и во многих других вопросах, он отдает дань либеральнейшим принципам.

Есть что-то страшное в этих дворянах! Лучшие среди них не могут отрешиться от своих родовых интересов. Они в большинстве случаев могут мыслить либерально, пожалуй еще более независимо и либерально, чем *roturiers*, они даже более, чем последние, способны любить свободу и приносить ради нее жертвы, — но к гражданскому равенству они очень невосприимчивы. В сущности ни один человек не либерален совершенно, — вполне либерально лишь человечество в целом, потому что у одного есть частица либерализма, которой недостает другому, и, следовательно, люди в своей совокупности вполне дополняют друг друга. Наверно, граф Мольтке твердо убежден, что торговля рабами — нечто незаконное и постыдное, и, конечно, он стоит за ее отмену. Напротив, мингер ван дер Нулл, торговец невольниками, с которым я познакомился в Роттердаме «под Боомхен», всецело убежден, что торговля невольниками — нечто вполне естественное и приличное, однако же преимущества рождения, наследственные привилегии, дворянство — нечто несправедливое и бессмысленное, и что все это

должно быть уничтожено во всяком порядочном государстве.

То обстоятельство, что в июле 1831 года я не захотел вступить в полемику с графом Мольтке, поборником дворянства, сможет оценить всякий благоразумный человек, если он взвесит сущность тех угрожающих обстоятельств, которые так шумно пронесли тогда по Германии.

Страсти в то время кипели яростнее чем когда-либо, и дело шло о том, чтобы столь же отважно противостать якобинизму, как некогда абсолютизму. Меня же, непоколебимого в моих принципах, происки якобинизма даже здесь, в Париже, не смогли завлечь в тот темный водоворот, где немецкое недомыслие соперничало с французским легкомыслием. Я не принимал участия в здешней немецкой ассоциации, если не считать, что при подписке в пользу свободной прессы я пожертвовал ей несколько франков; еще задолго до июньских дней я самым решительным образом объявил вождям этой ассоциации, что прекращаю с ней всякие сношения. Поэтому я могу только с сожалением пожимать плечами, когда слышу, что иезуитско-аристократическая партия в Германии старалась тогда изо всех сил представить меня одним из современных *engagés* и тем самым навязать мне компрометирующую солидарность с их бесчинствами.

Это было безумное время, и большие заботы причиняли мне мои лучшие друзья, и больших тревог стоили мне мои злейшие враги. Да, милые враги, вы и не знаете, сколько страха я вытерпел из-за вас. Речь заходила уже о том, чтобы вздернуть в Германии всех вероломных юнкеров, попов-клеветников и прочих негодяев. Как я мог снести это! Если бы дело шло лишь о том, чтобы вас немножко проучить, чтобы на Замковой площади в Берлине или на Шранненмаркте в Мюнхене постегать вас розгами в умеренном ритме, или пригвоздить к вашей тонзуре трехцветную кокарду, или сыграть с вами еще какую-нибудь шутку, — это я еще допустил бы. Но вас прямо-таки собирались истребить, и этого я не мог стерпеть. Ваша смерть была бы для меня величайшей потерей. Я должен был бы завести себе новых врагов, быть может даже среди порядочных людей, что в глазах публики всегда очень вредно для писателя. Ничто не может быть выгоднее для нас,

как иметь в числе своих врагов одних лишь негодяев. Господь несказанно щедро наделил меня этой породой, и я рад, что они теперь в безопасности. Что же, милые враги, воспоем «Te Metternich laudamus».¹ Вы подвергались величайшей опасности — опасности быть повешенными, и я потерял бы вас навеки! Теперь снова все тихо, все улажено, точно определено, постановления сейма опубликованы, патриотов запирают в тюрьмы, и мы предвкушаем долгий, сладостный, прочный покой. Теперь мы снова можем безмятежно наслаждаться прекрасным старым обычаем: я буду бичевать вас так же, как и прежде, а вы будете клеветать на меня так же, как и прежде. Как я рад, что вижу вас все еще столь далекими от виселицы! Ваша жизнь дороже мне, чем когда бы то ни было. Я не могу подавить в себе чувства умиления при виде вас. Прошу вас, берегите свое здоровье! Не глотайте собственного яда, лгите и клеветайте по возможности еще больше, чем обычно, — это очищает благочестивое сердце. Не ходите такими согбенными и сгорбленными — это вредно для груди. Посетите как-нибудь театр, когда будут давать раупаховскую трагедию, — это развлекает. Попробуйте также поразнообразить ваши частные увеселения, посетите как-нибудь хорошенькую девочку, но только берегитесь дочки канатного мастера!

Вы теперь снова порхаете на длинной нитке. Но кто знает, в одно прекрасное утро вы, быть может, повиснете на короткой веревке.

ТЕКУЩИЕ СООБЩЕНИЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

О неудавшемся восстании 5 и 6 июня, об этом столь важном и богатом последствиями событии никогда не удастся узнать ничего истинного и правильного, так как обе партии были одинаково заинтересованы в том, чтобы извратить известные факты и скрыть неизвестные. Нижеследующие сообщения, писанные в момент событий,

¹ «Тебя, Меттерних, хвалим» (лат.).

среди шума партийной борьбы, и притом всегда перед самым отходом почты, со всей возможной поспешностью, — дабы корреспонденты побеждающего *juste milieu* не опередили меня, — эти беглые страницы я печатаю здесь, ничего не меняя в той их части, которая касается восстания 5 июня. Со временем историк, пожалуй, может воспользоваться ими с тем большим доверием, что по крайней мере будет уверен в том, что они не были изготовлены в угоду позднейшим интересам.

Если некоторые ошибочные предположения, встречающиеся на этих страницах, и не требуют особых опровержений, все же одно из них я не могу не исправить. А именно, генерал Лафайет после того официально заявил, что не он 5 июня возлагал венок на красное знамя и на якобинский колпак. Как я узнал лишь впоследствии, наш старый генерал явился в тот день вполне достойным себя. Легко понятная деликатность не позволяет мне в настоящее время сообщить кое-какие относящиеся сюда обстоятельства, которые даже заядлых якобинцев должны бы заставить умилиться и исполниться уважения к Лафайету.

На этих страницах, как и во всей книге, встретится немало противоречащих друг другу суждений, но они относятся не к фактам, а всегда к личностям. Относительно первых суждение наше должно быть твердо установлено, относительно вторых оно может меняться с каждым днем. Так, я всегда высказывал одинаковое мнение о той дурной системе, в которой, словно в болоте, завяз Луи-Филипп, но о личности его я не все время судил в одинаковом тоне. Сперва я был настроен против него, так как принимал его за аристократа; впоследствии, убедившись в его истинной буржуазности, я стал уже гораздо лучше отзываться о нем; когда он напугал нас своим *état de siège*, я был опять очень восстановлен против него; но это прошло после первых же дней, когда мы увидели, что бедный Луи-Филипп совершил этот промах лишь будучи оглушен собственным страхом, а с тех пор карлисты своей бранью внушили мне истинную любовь к личности этого короля, и я мог бы еще усилить это чувство в моем сердце, если бы стал сравнивать его с...

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ ШЕСТОЙ

«Смотрите, самые подонки лихоимства, воровства и разбоя — вот что наши великие мира и господа; всякую тварь они обращают в свою собственность; рыбы в воде, птицы в воздухе, растения на земле — все должно принадлежать им (Иез., V). И вот они распространяют заповедь господню среди бедных и говорят: «Господь повелел: не укради»; но это служит на пользу не им. Так они отягощают всех людей, бедного земледельца, ремесленника, и все, что живет, обдирают и обчищают (Мих., III), а если бедняк согрешит перед всевятейшим, то должен быть повешен. И тут доктор Лгун говорит: Аминь. Господа сами виной тому, что бедный человек — враг им. Причину восстания они не хотят уничтожить, как же это может продолжаться? Так говорю я, и вот я поднимаюсь, вперед же».

Так говорил триста лет тому назад Томас Мюнцер, один из отважнейших и несчастнейших сынов немецкого отечества, проповедник евангелия, которое, по его мнению, не только служит залогом блаженства на небеси, но предписывает также равенство и братство людей на земле. Доктор Мартин Лютер был другого мнения и осудил эту мятежную ересь, грозившую опасностью его собственному делу — отделению от Рима и утверждению нового исповедания. И, быть может, больше по осмотрительности, чем по злому усердию, он написал бесславную книгу против несчастных крестьян. Пиетисты и раболепные пройдохи в последнее время воскресили эту книгу и распространяют среди народа новое издание, с одной стороны, чтобы показать высоким покровителям, какой крепкой опорой абсолютизма служит чистое лютеранское учение, с другой — чтобы авторитетом Лютера подавить в Германии энтузиазм свободы. Но свидетельство более священное, кровью истекающее из евангелия, противоречит холопскому толкованию и уничтожает ложный авторитет. Христос, умерший за равенство и братство людей, явил свое слово не как орудие абсолютизма, и Лютер был неправ, а Томас Мюнцер был прав. Его обезглавили в Медлипе. Последователи его тоже были правы, и одни из них казнены мечом, а другие повешены, смотря по тому, благородного ли они были происхождения или мещанского.

Маркграф Казимир Ансбахский, помимо этих казней, велел выколоть глаза восьмидесяти пяти крестьянам, которые потом просили милостыню по стране и тоже были правы. Всякому известно, что было сделано с бедными крестьянами в Верхней Австрии и в Швабии и как многие сотни тысяч крестьян, не требовавших ничего, кроме человеческих прав и христианского милосердия, были изрублены и задушены своими духовными и светскими владыками. Но и последние тоже были правы, ибо они еще пахотились в расцвете силы, крестьяне же сами не раз были сбиты с толку авторитетом какого-нибудь Лютера и других духовных лиц, державших руку светских властей, и несвоевременными спорами о темных местах Библии, да еще тем, что порой они распевали псалмы вместо того, чтоб сражаться.

В лето господне 1789 во Франции пачалась та же борьба за равенство и братство, по тем же причинам, против тех же властителей, с тою лишь разницей, что последние за это время утратили свою силу, а народ приобрел ее и уже не из евангелия, а из философии стал черпать свои законные требования. Феодалные и иерархические учреждения, которые Карл Великий ввел в своем обширном государстве и которые многообразно развивались в возникших из него странах, пустили могучие корни во Франции, цвели в течение столетий и, наконец, как все на свете, утратили свою силу. Короли Франции, недовольные своей зависимостью от дворянства, которое мнило себя равным им, и от духовенства, имевшего над народом большую власть, чем они сами, — постепенно сумели уничтожить самостоятельность этих двух сил, и при Людовике XIV это величественное дело было завершено. Вместо воинственного феодального дворянства, господствовавшего над королями и защищавшего их, теперь у ступеней трона стала ползать хилая придворная знать, которой придавало вес число ее предков, а не число замков и вассалов. Вместо строгих ультрамонтанских пастырей, грозивших королям покаянием и отлучением, но державших в узде и народ, явилась теперь галликанская, так сказать медиатизированная церковь, в которой должности добывались происками в версальском «*oeil de boeuf*»¹

¹ «Круглом или овальном окне» (франц.).

или в будуарах фавориток и вожди которой принадлежали к тем же самым аристократам, что парадировали в качестве придворных слуг, и облачение аббата и епископа — паллий и митру — можно было принять за особую разновидность придворной ливреи. И несмотря на это превращение, дворянство сохранило те преимущества перед народом, которыми пользовалось с давних пор, и даже чем больше разрасталось его высокомерие по отношению к народу, тем больше углублялось его собственное унижение перед царственными владыками. Оно, как и прежде, по праву захвата наслаждалось всеми благами, притесняло и наносило обиды, как прежде; то же самое делало и духовенство, давно уже утратившее власть над душами, но сохранившее еще свой десятинный доход, свою триединую монополию, свои привилегии на порабощение духа и на церковные козни. То, что некогда в Крестьянской войне пытались делать проповедники евангелия, теперь во Франции совершили философы — и с большим успехом. Они продемонстрировали народу беззакония знати и церкви; они показали ему, что и та и другая стали бессильны. И народ возликовал, а когда 14 июня лета 1789 погода оказалась вполне благоприятной, народ начал дело своего освобождения, и тот, кто 14 июня 1790 года посетил площадь, где стояла некогда древняя немая, змуро-безотрадная Бастилия, вместо нее нашел там воздушно-радостное здание с веселой надписью: «Ici on danse».¹

Вот уже семнадцать лет, как в Европе многие писатели неутомимо стараются снять с французских ученых упрек в том, что они явились главной причиной французской революции. Нынешние ученые захотели опять войти в милость к великим мира сего, они снова стали искать теплого местечка у ног власти и повели себя при этом так раболепно-невинно, что на них уже стали смотреть не как на змей, а как на обыкновенных червяков. Однако в интересах истины я не могу не признать, что именно ученые прошлого века больше всего содействовали взрыву революции и определили ее характер. Я хвалю их за это, как хвалят врача, вызвавшего быстрый кризис и смягчившего своим искусством природу болезни, которая могла

¹ «Здесь танцуют» (франц.).

стать смертельной. Если бы не слово ученых, болезненное состояние Франции тянулось бы еще дольше и безотраднее, и революция, которая в конце концов все же должна была вспыхнуть, приняла бы менее благородную форму. Она была бы грубой и жестокой, а между тем она явилась лишь трагичной и кровавой. И — что еще хуже — она выродилась бы в нечто смешное и глупое, если бы материальные нужды не приняли идеального выражения, — чего, к сожалению, не бывает в тех странах, где не писатели побуждают народ требовать признания человеческих прав и где революцию делают для того, чтобы не платить за право въезда в город или чтобы избавиться от фаворитки государя и т. д. Вольтер и Руссо — те два писателя, которые более всех других подготавливали революцию, определили ее дальнейшие пути и ныне еще духовно руководят французским народом и властвуют над ним. Даже вражда этих двух писателей имела поразительные последствия; быть может, борьба партий среди революционеров даже и по сей день была лишь продолжением этой вражды.¹

К Вольтеру все же несправедливы, когда утверждают, что он не был так вдохновенен, как Руссо, что он только был немного умнее и искуснее. Беспомощность всегда ищет убежища в стоицизме и лаконически ропщет при виде чужой гибкости. Альфьери упрекает Вольтера в том, что он, как философ, писал против великих мира, а между тем, в качестве камергера, носил впереди них светильник. Мрачный пьемонтец не заметил, что Вольтер, услужливо носивший светильник впереди великих мира, этим же светильником освещал и их наготу. Я отнюдь не собираюсь ограждать Вольтера от упрека в лести; он и большая часть французских ученых, как маленькие собачки, ползали у ног дворянства, лизали золотые шпоры и улыбались, если царапали о них язык, и позволяли топтать себя ногами. Но когда маленьких собачек топчут ногами, им бывает так же больно, как и большим собакам. Тайная ненависть французских ученых к великим мира должна была быть тем ужаснее, что, кроме достававшихся

¹ Ср. в конце примечание А. (*Примечание Гейне.*)

порой пинков, они видели от них много и настоящих благодеяний. Гара рассказывает о Шамфоре, что когда в начале революции собирали деньги для революционных целей, он вынул из старого кожаного кошелька тысячу талеров, сбережения целой трудовой жизни, и с радостью отдал их. А Шамфор был скуп, и ему всегда покровительствовали сильные мира.

Но еще сильнее, чем мужи науки, падению старого режима способствовали деятели промышленности. Если те — ученые — полагали, что вместо старого порядка начнется режим духовных дарований, то эти — промышленники — полагали, что им — фактически самой сильной и мощной части народа — подобает и со стороны закона признание их высокого значения, а вместе с тем, разумеется, и гражданское равноправие, и участие в государственных делах. И, так как прежние установления покоились на старом военном строе и церковной вере, уже утративших жизненную силу, то теперь общество действительно должно было опереться на эти две новые силы, полные жизненных соков, то есть на науку и на промышленность. Духовенство, умственно отставшее с тех пор как было изобретено книгопечатание, и дворянство, осужденное изобретением пороха на исчезновение, должны были бы понять теперь, что власть, которою они пользовались тысячу лет, ускользает из их гордых, но слабых рук и переходит в презираемые, но крепкие руки ученых и промышленников; они должны были бы понять, что вернуть утраченную власть им удастся лишь в союзе с этими учеными и промышленниками. Но они этого не поняли. Они безрассудно стали сопротивляться неизбежному. Началась мучительная, бессмысленная борьба; вероломная пресмыкающаяся ложь и дряхлая больная гордость боролись против железной необходимости, против истины и гильотины, против жизни и воодушевления, и мы доселе еще стоим на поле битвы.

Был в то время унылый министр, почтенный банкир, добрый отец семейства, добрый христианин, прекрасный математик, Панталоне революции, который твердо и упрямо верил, что дефицит в бюджете — истинная причина бедствия и раздора. И он считал день и ночь, чтобы покрыть дефицит, и за множеством цифр он не видел ни людей, ни их угрожающих лиц. Однако при всей его глу-

пости ему пришла очень хорошая мысль, а именно — созвать нотаблей. Я говорю: очень хорошая мысль, — потому что она послужила на пользу свободе. Если бы не этот дефицит, Франция долго еще прозябала бы в состоянии тягостного недуга. Этот дефицит, по существу, не мог быть покрыт деньгами именно потому, что он вызвал болезнь наружу. Созыв нотаблей ускорил кризис, а следовательно, и будущее выздоровление, и если когда-нибудь в Пантеоне свободы поставлен будет бюст Неккера, мы наденем ему на голову шутовской колпак, украшенный патриотическим венком из дубовых листьев. Право же, если нелепо видеть в событиях только личности, то еще нелепее видеть в событиях одни лишь числа. Есть, однако же, мелочные умы, которые презабавно стараются соединить оба заблуждения и даже в лицах ищут чисел, желая при их помощи объяснить события. Они не довольствуются тем, что Юлия Цезаря считают причиной гибели римской свободы, но еще утверждают, будто у гениального Юлия было столько долгов, что он — лишь бы самому не попасть в темницу — вынужден был лишиться свободы весь мир вместе со всеми своими кредиторами. Если не ошибаюсь, то основанием для подобной аргументации служит одно место у Плутарха, где он говорит о долгах Цезаря. Бурьенн, маленький кокетничающий Бурьенн, продажный крупье в азартной игре Империи, жалкая, трусливая душошка, где-то в своих мемуарах замечает, что, наверное, денежные затруднения двинули Наполеона Бонапарта в начале его карьеры на великие начинания. Точно так же некоторые глубокие мыслители не довольствуются тем, что считают графа Мирабо причиной падения французской монархии, но еще утверждают, будто он так нуждался в деньгах и так был обременен долгами, что мог выйти из затруднения, лишь опрокинув существующий строй. Я не буду долгие останавливаться на подобных нелепостях, но я должен указать на них, потому что именно в последнее время они смогли распусться пышным цветом, ибо Мирабо ныне считают истинным представителем той первой фазы революции, которая начинается и кончается Национальным собранием. Как таковой, он стал национальным героем. О нем постоянно говорят, его встречаешь всюду на рисунках и в виде изваяний, его изображают на всех французских сценах,

во всех обликах — бедным и диким, любящим и ненавидящим, смеющимся и скрежещущим, беспечным, запутавшимся в долгах божеством, которому принадлежат и небо и земля и которое способно проиграть в фараон свою последнюю звезду и последний луидор; Самсоном, который рушит столбы государства, чтобы обломками здания завалить своих кредиторов-филистимлян; Геркулесом, который на перепутье сговорился с обеими дамами и сумел в объятиях порока оправиться от напряжений добродетели; «Ариелем — Калибаном, сияющим гениальностью и уродством», которого отрезвляла проза любви, когда он опьянен был поэзией разума; просветленным, поклонения достойным развратником свободы; гермафродитом, которого мог описать лишь Жюль Жанен.

Именно благодаря нравственным противоречиям своего характера и своей жизни Мирабо является истинным представителем своего времени, которое было так же беспутно и величаво, так же опутано долгами и так же богато, которое, так же сидя в темнице, писало не только соблазнительные романы, но и благороднейшие книги свободы и которое потом, хотя еще и под бременем старого пудреюго парика и с обрывком старой отвратительной цепи, выступило герольдом новой мировой весны и бросило бледнеющему церемониймейстеру прошлого смелые слова: «Allez dire à votre maître, que nous sommes ici par la puissance du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la force des bayonnettes». ¹ Этими словами начинается французская революция. Ни один буржуа не отважился бы произнести их, язык разночинцев и вилланов все еще был окован пемыми чарами древней покорности, и только среди дворянства, среди этой крайне дерзкой касты, которая никогда не питала подлинного благоговения перед королями, новое время нашло своего первого глашатая.

Я не могу не отметить, что меня уверяли недавно, будто всемирно известные слова Мирабо принадлежат, собственно, графу Вольне, который, сидя рядом с ним,

¹ «Пойдите скажите вашему господину, что мы здесь — волею народа и что нас можно прогнать отсюда лишь силой штыков» (франц.).

просуфлировал их ему. Я не думаю, чтобы эта легенда была придумана вовсе без основания: она нисколько не противоречит характеру Мирабо, который занимал идеи у своих друзей так же охотно, как и деньги, и который во многих мемуарах, в частности в мемуарах Бриссо и в недавно появившихся мемуарах Дюмона, подвергся за это жесточайшему осуждению. Некоторые его современники сомневались из-за этого в величии его ораторского таланта и признавали за ним лишь остроумные выходки и театральные эффекты трибуна. Теперь трудно судить о нем в этом отношении. По свидетельству его современников, которых еще можно расспрашивать о нем, очарование его речи шло скорее от его личности, чем от его слов. Удивительный звук его голоса приводил слушателя в трепет, особенно тогда, когда он говорил тихо. Слышно было шипение змей, незримо ползавших среди цветов красноречия. Когда им овладевала страсть, он делался неотразим. О госпоже де Сталь рассказывают, что она сидела на галерее Национального собрания, когда Мирабо поднялся на трибуну, чтобы говорить против Неккера. Разумеется, дочь, так благоговевшая перед своим отцом, была исполнена гневом и злобой против Мирабо; но эти враждебные чувства исчезали по мере того как она его слушала, и, наконец, когда гроза его речи разразилась с самым потрясающим великолепием, когда отравленные молнии полетели из его глаз, когда из его души грянули громы, сокрушающие мир, — госпожа де Сталь высунулась за балюстраду и стала аплодировать, как безумная.

Но еще значительнее, чем ораторский талант этого человека, было то, что он говорил. Об этом мы можем теперь судить вполне беспристрастно. Мы видим, что Мирабо всех глубже понимал свое время, что он умел не только разрушать, но также и созидать, и что созидать он умел лучше, нежели великие мастера, которые по сей день трудятся над этим великим делом. В писаниях Мирабо мы находим основные идеи конституционной монархии, какая нужна была Франции, находим ее контуры, набросанные, правда, бегло и бледными штрихами. И право же, всем мудрым и опасливым правителям Европы я рекомендую изучать эти штрихи, эти спасительные для государств штрихи, которые с пророческой прозорли-

востью и математической точностью набросал величайший политический гений нашего времени. Было бы очень важно, если бы сочинениями Мирабо постарались в этом отношении воспользоваться и для Германии. Его революционные, очищающие идеи легко были восприняты и быстро приведены в действие. Его столь же мощные, положительные, создающие идеи были поняты хуже и не имели такого влияния.

Менее всего понимали предпочтение, которое Мирабо оказывал монархии. То, что он хотел отнять у нее в смысле абсолютной власти, он собирался возместить ей конституционными гарантиями. Более того, он собирался еще усилить и укрепить королевскую власть, насильственно вырвав короля из рук высших сословий, фактически господствовавших над ним при помощи исповедальни и придворных интриг, и толкнув его в объятия третьего сословия. Именно Мирабо был провозвестником конституционной монархии, которая, как мне кажется, была стремлением того времени и которой, в более или менее демократической форме, сейчас требуем и мы в Германии.

Этот конституционный роялизм и повредил больше всего репутации графа, ибо революционеры, не понимавшие его, увидели здесь измену и решили, что он продал революцию. Они стали поносить его наперебой с аристократами, ненавидевшими его именно потому, что они понимали его и знали, что уничтожением системы привилегий Мирабо за их счет хочет спасти и омолодить монархию. Но подобно тому как ничтожество привилегированных вызывало в нем отвращение, так же должна была отталкивать его и грубость большей части демагогов, тем более что они, впадая в тот безумно разнузданный тон, который нам хорошо известен, уже проповедовали республику. Интересно следить по тогдашним газетам, к каким странным средствам прибегали эти демагоги, не решавшиеся еще открыто нападать на популярность Мирабо, чтобы парализовать монархическую тенденцию великого трибуна. Так, например, однажды, когда Мирабо решительно высказался в роялистском духе, люди эти не могли придумать ничего лучшего, как пустить слух, будто Мирабо часто не сам сочиняет свои речи и будто он забыл заранее прочесть речь, полученную им от одного из своих друзей,

и только на трибуне заметил, что друг коварно подсунул ему чисто роялистскую речь.

Все еще идет спор о том, удалось ли бы Мирабо спасти монархию и воссоздать ее. Одни говорят, что он умер слишком рано; другие говорят, что он умер как раз вовремя. Он умер не от яда, ибо именно в то время аристократия пуждалась в нем. Люди из народа не отравляют: отравленный кубок принадлежит старой трагедии дворцов. Мирабо умер оттого, что наслаждался двумя танцовщицами, девицами Гелисберг и Коломб, а за час до того еще и паштетом с трюфелями.

ПРИМЕЧАНИЕ А

Борьба революционеров в Конвенте была не что иное, как тайная злоба ригоризма Руссо против вольтеровской *légèreté*.¹ Истые монтаньяры вполне разделяли мысли и чувства Руссо, и если они заодно гильотинировали и дантонистов и гебертистов, то это произошло совсем не потому, что одни слишком усердно проповедовали расслабляющую умеренность, а другие, напротив, впадали в самый необузданный санкюлотизм, но, как недавно мне сказал один старый монтаньяр: «*Parce qu'ils étaient tous des hommes pourris, frivoles, sans croyance et sans vertu*».² Низвергая старое, самые свирепые революционеры были еще сравнительно единодушны, но когда надо было строить новое, когда речь зашла о самом положительном, тогда пробудились врожденные антипатии. Тогда глубокомысленный мечтатель-руссоист Сен-Жюст возненавидел веселого, остроумного фанфарона Демулена. Нравственный, неподкупный Робеспьер возненавидел сладострастного, деньгами запятнанного Дантона. Блаженной памяти Максимилиан Робеспьер был воплощением Руссо; он был глубоко религиозен, верил в бога и в бессмертие, ненавидел вольтерьянские насмешки над религией, недостойные фарсы какого-нибудь Гобеля, оргии атеистов и разнузданность умников и, быть может, ненавидел всякого, кто был остроумен и любил посмеяться.

¹ Легкости (*франц.*).

² «Потому что это все были люди разложившиеся, развратные, без веры и без добродетели» (*франц.*).

9 термидора победила партия Вольтера, незадолго до того побежденная. При Директории она действовала против Горы. Позднее, во время героической драмы Империи и при набожной христианской комедии Реставрации, она могла появляться лишь во второстепенных ролях; но все же вплоть до этого часа мы видели ее стоящей — более или менее деятельно — у кормила государства, представленной, правда, бывшим епископом Отенским Шарлем-Морисом Талейраном. Партия Руссо, находящаяся в загоне с того злополучного дня термидора, живет в бедности, но здоровая духом и телом, в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо, живет в образе Гарнье-Пажеса, Кавеньяка и еще стольких достойных республиканцев, которые время от времени выступают как мученики за евангелие свободы. Я не достаточно добродетелен, чтобы когда-нибудь примкнуть к этой партии, но я слишком ненавижу порок, чтобы когда-нибудь бороться против нее.

Париж, 5 июня.

Похоронная процессия генерала Ламарка, — un convoi d'opposition,¹ как говорят филипписты, — только что направилась от собора Магдалины к площади Бастилии; за гробом шло больше провожающих и больше было зрителей, чем на похоронах Казимира Перье. Сам народ вез траурную колесницу. Особенно бросались в глаза в этом шествии иностранные патриоты, которые, идя в ряд, несли свои национальные знамена. Среди этих знамен я заметил знамя, цвета которого были: черный, темно-красный и золотой. В час дня пошел сильный дождь, продолжавшийся более получаса; тем не менее на бульварах оставалась несметная толпа народу, большинство с непокрытыми головами. Когда шествие достигло театра «Варьете», а мимо проходила колонна Amis du peuple и многие из их числа закричали «Vive la République!», какой-то полицейский сержант вздумал вмешаться; но на него набросились, сломали его шпагу, и поднялась отвратительная свалка: прекратить ее удалось лишь с трудом. Все же зрелище этой сумятицы, приведшей в движение несколько сот тысяч человек, было изумительно и навредило на размышление.

¹ Оппозиционная процессия (франц.).

Париж, 6 июня.

Не знаю, упомянул ли я в моем вчерашнем письме, что на вечер назначено было восстание. Когда траурная процессия с телом Ламарка проходила по Бульварам и произошла сцена у театра «Варьете», уже можно было предвидеть недоброе. Кто виноват в том, что страсти вспыхнули так ужасно, — трудно определить. Все еще ходят самые противоречивые версии о начале военных действий, о событиях этой ночи и вообще о положении вещей. Здесь я отмечу лишь одно происшествие, которое мне достовернейшим образом подтверждали с разных сторон. Когда на площади близ Аустерлицкого моста, где происходило траурное торжество, Лафайет, чье присутствие на похоронах возбудило всеобщий энтузиазм, окончил свою надгробную речь, ему надели на голову венок из иммортелей. В это же время на ярко-красное знамя, уже и раньше сильно возбуждавшее внимание, надели красный фригийский колпак, и один воспитанник Политехнической школы поднялся на плечи своих соседей, взмахнул обнаженной шпагой над этой красной шапкой и воскликнул: «Vive la liberté»,¹ а по другим сведениям: «Vive la République». Лафайет будто бы надел тогда свой венок из иммортелей на красную шапку свободы; многие люди, вполне заслуживающие доверия, утверждают, что видели это собственными глазами. Возможно, что это символическое действие он совершил, вынужденный к тому или застигнутый врасплох, но возможно также, что здесь была замешана и какая-то третья рука, которую нельзя было заметить в этой огромной теснящейся толпе. По словам некоторых, после этой демонстрации красный увенчанный колпак хотели с торжеством пронести по городу, а когда муниципальные гвардейцы и полицейские оказали вооруженное сопротивление, начался бой. Несомненно одно: когда Лафайет, утомленный четырьмя часами ходьбы, сел в наемную карету, народ выпряг лошадей и собственными руками, при громких криках одобрения, повез по Бульварам своего старого и самого верного друга. Многие рабочие повырывали из земли молодые деревья и, словно дикие, бежали с ними подле экипажа,

¹ «Да здравствует свобода!» (франц.).

которому, казалось, каждую минуту грозила опасность быть опрокинутым этой неукротимой толпой. Говорят даже, будто два выстрела попали в экипаж. Об этом странном обстоятельстве я, впрочем, не могу сказать ничего определенного.

Многие из тех, кого я расспрашивал о начале военных действий, утверждают, что кровавая схватка началась близ Аустерлицкого моста из-за тела мертвого героя, так как часть «патриотов» хотела нести гроб в Пантеон, другая же часть собиралась провожать его дальше до ближайшей деревни, а полиция и муниципальные гвардейцы воспротивились этим намерениям. И вот начали драться с великим ожесточением, как некогда перед Скейскими воротами бились за труп Патрокла. На площади Бастилии было пролито много крови. В половине седьмого бились уже у ворот Сен-Дени, где народ построил баррикады. Взяты были многие важные позиции; национальные гвардейцы, занимавшие их, сопротивлялись слабо и сдавали оружие. Так народ добыл ружья. На площади Нотр-Дам-де-Виктуар я застал военные действия в разгаре; «патриоты» заняли три поста возле банка. Повернув на Бульвары, я увидел, что все лавки заперты, что народу мало, а среди него мало даже и женщин, хотя во время восстания они весьма бесстрашно удовлетворяют свою страсть к зрелищам. Все выглядело очень серьезно. Линейные войска и кирасиры двигались в ту и в другую сторону, ординарцы с озабоченными лицами проносились мимо, вдали — выстрелы и пороховой дым. Погода уже не была пасмурной, а к вечеру стала весьма благоприятной. Положение правительства казалось очень опасным, когда пронесся слух, что национальная гвардия перешла на сторону народа. Это ложное известие распространилось потому, что вчера многие «патриоты» были в форме национальной гвардии, а национальная гвардия в самом деле находилась некоторое время в нерешительности, какую партию поддерживать. Вероятно, за эту ночь жены доказали своим мужьям, что нужно поддерживать только ту партию, которая дает самые надежные гарантии для жизни и для имущества и что такие гарантии Луи-Филипп представляет в гораздо большей мере, чем республиканцы, которые очень бедны и вообще приносят большой вред торговле и промышленности. Национальная

гвардия сегодня, следовательно, всецело против республиканцев; дело решено. «C'est un coup manqué»,¹ — говорил народ. Со всех сторон в Париж прибывают линейные войска. На площади Согласия стоит очень много заряженных пушек; стоят они также и по ту сторону Тюильрийского замка, на площади Карусель. Король-буржуа окружен буржуазными пушками; où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille?² Сейчас четыре часа, и льет сильный дождь. Это очень неблагоприятно для «патриотов», большая часть которых забаррикадировалась в квартале Сен-Мартен и получает лишь слабое подкрепление. Они окружены со всех сторон, и как раз в эту минуту я слышу сильнейшую пушечную пальбу. Мне говорили, что два часа тому назад народ еще питал большие надежды на победу, но что теперь ему остается лишь геройски умереть. Многие так и сделают. Так как я живу у ворот Сен-Дени, то всю ночь провел без сна; стрельба продолжалась почти непрерывно. Теперь пушечная пальба находит в моем сердце самый горестный отклик. Это — злополучное событие, которое будет иметь еще более злополучные последствия.

Париж, 7 июня.

Вчера, когда я пошел на Биржу, чтобы опустить в почтовый ящик мое письмо, под колоннами, перед широкой биржевой лестницей, толпилось все спекулянтское племя. Так как только что пришло известие, что поражение «патриотов» — достоверный факт, то на всех лицах изображалось сладостнейшее удовлетворение: можно сказать, улыбалась вся биржа. Под пушечный гром фонды поднялись на десять су. Стреляли же еще до пяти часов. К шести часам попытка революционного выступления была окончательно подавлена. Следовательно, газеты уже сегодня могли сообщить по этому поводу столько поучительного, сколько считали нужным. «Constitutionnel» и «Débats», кажется, до некоторой степени верно поняли главные черты событий. Только окраска и масштаб неверны. Я лишь сейчас вернулся с места вчерашней битвы, где убедился,

¹ «Дело не удалось!» (франц.).

² Где может быть лучше, чем в лоне своей семьи? (франц.).

как трудно выяснить всю правду. Это место — одна из самых больших и самых многолюдных улиц Парижа, а именно улица Сен-Мартен, начинающаяся от бульвара у ворот того же имени и кончающаяся лишь у Сены, близ моста Нотр-Дам. На обоих концах улицы говорили, что число сражавшихся там «патриотов», или, как их сегодня называют, «мятежников», простиралось от пятисот до тысячи; но ближе к середине улицы число это становилось все меньше и, наконец, растаяло до пятидесяти. «Что есть истина?» — вопрошает Понтий Пилат.

Число линейных войск легче определить. Вчера (даже по сведениям «*Journal des Débats*») в Париже в боевой готовности находилось сорок тысяч человек. Если прибавить к этому по крайней мере двадцать тысяч национальной гвардии, то окажется, что горсть людей сражалась против шестидесяти тысяч человек. Геройскую отвагу этих безумных смельчаков прославляют единогласно. Говорят, они творили чудеса храбрости. Они непрестанно кричали: «*Vive la République!*» и не находили отклика в сердце народа. Если бы вместо этого они кричали: «*Vive Napoléon!*»,¹ то, как утверждают сегодня всюду в народе, линейные полки вряд ли стали бы в них стрелять, и вся масса рабочих пришла бы им на помощь. Но они отвергли ложь. Это были самые чистые, но отнюдь не самые умные поборники свободы. И все-таки уже сегодня у некоторых хватает глупости обвинять их в сообщничестве с карлистами! Нет, тот, кто с таким мужеством умирает за святое заблуждение своего сердца, за прекрасную мечту об идеальном будущем, тот не связывается с подлой грязью, которую прошлое оставило нам под именем карлистов. Клянусь, я не республиканец, я знаю, что если победят республиканцы, они перережут мне горло, — именно потому, что я поклоняюсь не всему тому, чему поклоняются они. И все же истинные слезы выступили у меня сегодня на глазах, когда я пришел на место, еще обгаренное их кровью. Я предпочел бы, чтобы я и все мои умеренные единомышленники умерли вместо этих республиканцев.

Национальные гвардейцы очень радуются своей победе. Вчера вечером, упоенные своей победой, они мне,

¹ «Да здравствует Наполеон!» (*франц.*).

принадлежащему все же к их партии, чуть было не всадили в тело весьма бесполезную пулю — они вообще с геройской отвагой стреляли во всякого, слишком близко подошедшего к их постам. Был дождливый, беззвездный, отвратительный вечер. На улицах — мало света, потому что магазины, так же как и днем, закрыты. Сегодня снова всюду движение и пестрота, и можно бы подумать, что ничего не произошло. Даже на улице Сен-Мартен открыты все магазины. Хотя сейчас там трудно ходить из-за развороченной мостовой и остатков баррикад, огромная толпа народа снует из любопытства по этой улице, очень длинной, сравнительно узкой, с невероятно высокими домами по обеим сторонам. От канонады почти всюду вылетели оконные стекла, и всюду видны свежие следы ядер. Ведь эту улицу с обеих сторон обстреливали из пушек, пока республиканцы не оказались сжатыми в самой ее середине. Вчера мне говорили, что под конец их окружили со всех сторон в церкви Сен-Мери. Но я там же, на месте, слышал и опровержение. Дом, немного выступающий вперед, называемый «Кафе Леклерк» и находящийся на углу переулка Сен-Мери, был, по-видимому, штабом республиканцев. Здесь они продержались дольше всего; здесь они оказали последнее сопротивление. Они не просили пощады и почти все погибли от штыков. Здесь пали воспитанники Альфорской школы. Здесь лилась самая пламенная кровь Франции.

Однако заблуждаются те, кто думает, что среди республиканцев были только юные пылкие головы. Вместе с ними сражалось много стариков. Молодая женщина, с которой я разговаривал у церкви Сен-Мери, оплакивала смерть своего деда. Он вел такой мирный образ жизни, но когда увидел красное знамя и услышал возгласы: «Vive la République!», то, схватив свою старую пику, кинулся к молодым людям и умер вместе с ними. Бедный старец! Он услышал зов родной Горы, и в нем пробудились воспоминания первой любви к свободе, и ему еще раз захотелось пережить грезу юности! Спите спокойно!

Последствия этой неудавшейся революции можно предвидеть. Арестовано больше тысячи человек, в том числе, как говорят, один депутат — Гарнье-Пажес. Либеральные газеты подвергаются преследованиям. Лавочники ликуют,

эгоизм процветает, и многие из лучших людей надевают траур. Теория устрашения потребует еще больше жертв. Национальные гвардейцы уже пугаются своей собственной силы: героям этим делается страшно, когда они видят в зеркале самих себя. Король — великий, сильный, могучий Луи-Филипп — раздаст много почетных крестов. Наемный остряк будет поносить друзей свободы даже в их могилах, и уже теперь их называют врагами общественного спокойствия, убийцами и т. д.

Одного портного, осмелившегося сегодня утром на Вандомской площади упомянуть о добрых намерениях республиканцев, прибила какая-то здоровенная баба, очевидно его собственная жена. Вот — контрреволюция!

Париж, 8 июня.

Кажется, знамя, которое Лафайет на похоронах Ламарка увенчал имморталями, было не совсем красное, а красно-черно-золотое. Это таинственное знамя, никому неизвестное, многие приняли за республиканское. О, мне оно очень хорошо было известно, я сразу подумал: «Боже мой! Да ведь это наши старые студенческие цвета; сегодня случится или несчастье, или глупость». Увы, случилось и то и другое! Когда в самом начале военных действий драгуны напали также и на пемцев, следовавших за знаменем, последние забаррикадировались во дворе столярной мастерской, за большими бревнами. Потом они отступили к зоологическому саду, и знамя, хотя и в поврежденном состоянии, было спасено. Французам, которые спрашивали меня о значении этого красно-черно-золотого знамени, я добросовестно ответил, что император Барбаросса, уже много столетий живущий в Кифхайзере, прислал нам это знамя в знак того, что великое древнее сказочное царство еще существует и что сам он придет со скипетром и мечом. Что до меня, то я не думаю, чтобы это случилось так скоро, — еще слишком много черных воронов летает вокруг горы.

Здесь, в Париже, обстоятельства складываются менее сказочно. Всюду на улицах — штыки и бдительные лица военных. Введение осадного положения в Париже я сперва считал холостым выстрелом; говорили, что оно сейчас же будет отменено. Но, увидев вчера днем, что по улице

Ришелье везут все больше и больше пушек, я понял, что поражением республиканцев хотят воспользоваться для расправы с другими противниками правительства, в частности с журналистами. Теперь — вопрос в том, кроется ли за этим «добрым намерением» достаточная сила. Теперь воспользовались ошеломленными своей победой национальными гвардейцами, которые принимали участие в насильственных действиях против республиканцев и которыми Луи-Филипп теперь снова, как прежде, товарищески пожимает руки. Так как карлистов ненавидят, а республиканцев осуждают, то народ поддерживает короля как блюстителя порядка, и он популярен, как сама необходимость. Да, в то время как король проезжал верхом по Бульварам, я слышал возгласы «Vive le roi!»,¹ но я видел также недалеко от Монмартрского предместья высокую фигуру, которая смело выступила ему навстречу и крикнула: «À bas Louis Philippe!»² Несколько всадников из королевской свиты тотчас же спешились, они схватили этого протестанта и потащили его с собой.

Я никогда не испытывал в Париже такой духоты, как вчера. Несмотря на дурную погоду, общественные места были переполнены публикой. В саду Пале-Рояля теснились группы политиков и разговаривали тихо, даже очень тихо, так как теперь вас могут в один миг предать военному суду и расстрелять в двадцать четыре часа. Я начинаю тосковать по медлительности судов моей Германии. То беззаконие, в котором мы теперь живем, отвратительно. Это — бедствие, худшее, чем холера. Как прежде, когда она свирепствовала и всех пугали преувеличенные сведения о числе умерших, так и теперь пугаешься, слыша про невероятное множество арестов, про тайные расстрелы, внимая всяким черным вестям, которые тысячами носятся во мраке, как, например, было вчера вечером. Сегодня, при дневном свете, мы чувствуем себя спокойнее. Мы сознаемся, что трусили вчера, и чувствуем не столько страх, сколько досаду. Теперь царит террор *juste milieu*.

Газеты умеренны в своем протесте, однако отнюдь не робеют. «National» и «Temps» говорят с бесстрашием,

¹ «Да здравствует король!» (франц.).

² «Долой Луи-Филиппа!» (франц.).

достойным свободных людей. Сверх того, что напечатано в сегодняшних газетах, я больше ничего не могу сообщить о последних событиях. Все спокойны и спокойно ждут, что будет дальше. Правительство, пожалуй, испугано той огромной властью, которую оно видит в собственных руках. Оно стало выше закона — опасное положение. Ибо верно говорят: «Qui est au-dessus de la loi, est hors de la loi».¹ Единственное, чем многие истинные друзья свободы оправдывают теперешние насильственные мероприятия, — это необходимость для royauté démocratique² окрепнуть изнутри, чтобы с большей силой действовать во внешних делах.

Париж, 10 июня.

Вчера Париж был совсем спокоен. Слухи о многочисленных расстрелах, которые еще третьего дня вечером распространяли люди, наиболее заслуживающие доверия, были самым успокоительным образом опровергнуты теми, кто ближе всего стоит к правительству. Признали только большое число арестов. Впрочем, в этом можно было убедиться и собственными глазами; вчера, а еще более третьего дня, всюду можно было видеть арестованных, сопровождаемых линейными солдатами или муниципальной стражей. Временами это напоминало процессии: старые и молодые люди в самых жалких одеждах, а за ними — плачущие родственники. Ведь говорили же, что все они тотчас будут преданы военному суду и в течение двадцати четырех часов расстреляны в Венсенне. Всюду перед домами, где происходили обыски, толпился народ. Происходили же они главным образом на тех улицах, которые стали ареной сражения и где многие из бойцов, отчаявшись в успехе своего дела, скрывались до тех пор, пока их не выслеживал какой-нибудь предатель. Глазеющего и болтающего люда больше всего толпилось вдоль набережных, особенно близ улицы Сен-Мартен, которая все еще полна зевак, и около Palais de Justice,³ куда отводили многих арестованных. Народ теснился также около морга, чтобы посмотреть на выставленные там трупы;

¹ «Кто выше закона, тот вне закона» (франц.).

² Демократической монархии (франц.).

³ Дворца правосудия (здания судебных установлений; франц.).

были мучительнейшие сцены узнавания. Город действительно представлял горестное зрелище. Всюду — толпы народа с омраченными горем лицами, патрули, похороны павших национальных гвардейцев.

В обществе, однако, с третьего дня нимало не печалются. Там знают своих и знают также, что *juste milieu* при всей своей нынешней полноте власти чувствует себя очень неприятно. Оно владеет теперь великим мечом правосудия, но ему не хватает нужной для него сильной руки. При малейшем взмахе оно боится себя поранить. Опьяненное победой, которой оно главным образом обязано было маршалу Сульту, оно дало склонить себя к военным мероприятиям, которые, по-видимому, предложил этот старый солдат, полный еще замашек времен Империи. Теперь этот человек также фактически стоит во главе совета министров, и его коллеги и прочие сторонники *juste milieu* опасаются, как бы ему не досталось и столь вождеденное председательствование в совете. Поэтому стараются тихонько поворотить назад и выбраться из героического положения. Эту же цель преследуют и краткие дополнительные разъяснения, которые рассылаются теперь вслед за ордонансом об осадном положении. Видно, как *juste milieu* само страшится своей власти и от страха судорожно сжимает ее в руках и, пожалуй, выпустит ее не раньше, чем ему пообещают прощение. От отчаяния оно, быть может, принесет несколько незначительных жертв. Быть может, притворившись до смешного сердитым, чтобы напугать своих врагов, оно наделает жутких глупостей, оно... невозможно предвидеть, на что только не способен страх, когда он забаррикадировался в сердцах правителей и видит, что со всех сторон его окружают насмешки и смерть. Поступки труса, так же как и поступки гения, нельзя предвосхитить. Между тем высшие круги чувствуют здесь, что незаконное положение, в которое их ставят, существует только формально. Там, где законы живут в сознании народа, правительство не может упразднить их внезапным ордонансом. *De facto* жизнь и имущество здесь больше обеспечены, чем где бы то ни было в Европе, за исключением Англии и Голландии. Хотя учреждены военные суды, фактическая свобода прессы здесь больше, журналисты же о мероприятиях правительства пишут по-прежнему гораздо свобод-

нее, чем в некоторых государствах континента, где свобода печати санкционирована бумажными законами.

Так как нынче, в воскресенье, почта отходит уже в полдень, я ничего не могу сообщить о сегодняшних событиях. Я должен просто сослаться на газеты. Их тон много существеннее, чем то, что они говорят. Впрочем, они, наверно, опять полны лжи.

С раннего утра не переставая бьют барабаны. Сегодня большой смотр. Мой слуга говорит, что Бульвары, вообще все пространство от *Barrière du Trône*¹ до самой *Barrière de l'Étoile*² заполнено линейными войсками и национальной гвардией. Луи-Филипп, отец отечества, победитель Катилины в день 5 июня, Цицерон на коне, враг гильотины и бумажных денег, спаситель жизней и лавок, король-буржуа, — через несколько часов явится своему народу; громкое «ура!» будет его приветствовать; он будет очень растроган; он многим будет жать руки, а полиция не преминет позаботиться, чтобы не было недостатка в особых мерах предосторожности и в экста-энтусиазме.

Париж, 11 июня.

Великолепная погода благоприятствовала вчерашнему смотру. На Бульварах от *Barrière du Trône* до *Barrière de l'Étoile* стояло, пожалуй, пятьдесят тысяч национальных гвардейцев и линейного войска, и бесчисленное множество зрителей находилось на улицах или же глядело из окон, с любопытством высматривая, какой вид будет у короля и как примет его народ после столь исключительных событий. В час дня его величество прибыл со своим генеральным штабом к воротам Сен-Дени, где я стоял на опрокинутой тумбе, чтобы иметь возможность все наблюдать. Король ехал не посередине, а с правой стороны, где стояли национальные гвардейцы, и всю дорогу он сидел на лошади, свесившись на один бок, чтобы непрерывно пожимать руки национальным гвардейцам; когда два часа спустя он возвращался той же дорогой, он ехал с левой стороны, продолжая тот же маневр, так что я не удивлюсь, если в результате этой искривленной позы

¹ Заставы Трона (*франц.*).

² Заставы Звезды (*франц.*).

он будет испытывать сегодня сильнейшие боли в груди или если он даже повредил себе ребро. Это исключительное терпение короля было прямо непостижимо. При этом ему все время приходилось улыбаться. Но под тучной приветливостью его лица, кажется мне, таилось немало забот и горя. Вид этого человека внушил мне глубокое сострадание. Он очень изменился с тех пор, как я видел его этой зимой на балу в Тюильри. Щеки его, красные и пухлые тогда, вчера были обвислыми и желтыми, его черные бакенбарды совершенно поседели, так что кажется, будто самые щеки его стали с тех пор бояться и настоящих и будущих ударов судьбы. О его печали свидетельствовало по крайней мере уже то, что он не подумал покрасить свои бакенбарды. К тому же и треугольная шляпа, низко надвинутая на лоб, придавала ему очень несчастный вид. Он словно молил глазами о благосклонности и прощении. Право, по виду этого человека нельзя было предположить, что он объявил нас всех на осадном положении. Поэтому он и не возбуждал против себя ни малейшего недовольствия, и я должен засвидетельствовать, что всюду его встречали громкие приветственные возгласы, особенно неистовое ура кричали вслед ему те, кому он пожимал руку, а из тысячи женских глоток неслось пронзительное «Vive le roi!» Я видел, как старая женщина толкала своего мужа в бок за то, что он недостаточно громко кричит. Горькое чувство овладело мной при мысли, что народ, который ликует теперь вокруг бедного пожимающего руки Луи-Филиппа, — те же самые французы, которые так часто видели проезжавшего на коне Наполеона Бонапарта с мраморным лицом Цезаря, неподвижными глазами и «недоступными» руками.

После того как Луи-Филипп окончил смотр войскам, или, вернее, ощупал их, дабы убедиться, что они в самом деле существуют, военный шум продолжался еще несколько часов. Различные корпуса, проходя один перед другим, непрерывно возглашали друг другу приветствия: «Vive la ligne!»¹ кричала национальная гвардия, а пехота в свою очередь кричала ей: «Vive la Garde nationale!»² Они

¹ «Да здравствует линейное войско!» (франц.).

² «Да здравствует национальная гвардия!» (франц.).

братались. Отдельных липейных солдат и национальных гвардейцев можно было видеть в символическом объятии; точно так же в виде символического акта делились они своими колбасами, хлебом и вином. Не произошло ни малейшего беспорядка.

Не могу не отметить, что чаще всего раздавался возглас: «Vive la liberté!», и когда эти слова ликующе выкрикивались от полноты сердца столькими тысячами вооруженных людей, ощущалось радостное спокойствие, несмотря на осадное положение и учреждение военных судов. Но ведь в том-то и дело: Луи-Филипп добровольно никогда не пойдет против общественного мнения, он всегда будет стараться подслушать его настоятельнейшие требования и будет поступать соответственно. В этом — важное значение вчерашнего смотра. Луи-Филипп ощутил потребность посмотреть на собравшийся народ, дабы убедиться, что он не сердится на него за его пушечные выстрелы и ордонансы, не считает его суровым королем-деспотом и что вообще не произошло никакого недоразумения. Народ же тоже хотел хорошенько посмотреть на своего Луи-Филиппа, чтобы убедиться, что он по-прежнему верно-подданный слуга его державной воли и что он остался по-прежнему верен и покорен ему. Поэтому также можно было сказать, что народ устроил смотр королю, принял королевский парад и выразил свое высочайшее удовольствие от королевских маневров.

Париж, 12 июня.

Большой смотр войскам был вчера предметом всех разговоров. Умеренные видели в нем лучшее выражение согласия между королем и гражданами. Однако многие опытные люди не доверяют этому прекрасному союзу и предсказывают разрыв, который легко может произойти, как только интересы трона придут в столкновение с интересами лавки. Сейчас, впрочем, они взаимно поддерживают друг друга, и король и буржуа друг другом довольны. Как мне рассказывали, третьего дня пополудни на Вандомской площади лучше всего можно было наблюдать это согласие. Король был обрадован ликованием, которым его встречали на Бульварах; и когда колонны национальной гвардии дефилировали мимо него, некоторые гвар-

дейцы, не чинясь, выходили из рядов, протягивали ему руку, говорили при этом ласковое словцо, или коротко сообщали ему свое мнение о последних событиях, или же прямо объявляли ему, что они будут поддерживать его, пока он не станет злоупотреблять своей властью. В том, что этого никогда не случится, что он будет усмирять лишь зачинщиков волнений, что он тем ревностнее готов защищать свободу и равенство французов, — Луи-Филипп дал священнейшую клятву, и слово его внушало большое доверие. Об этих обстоятельствах я должен упомянуть в интересах беспристрастия. Да, сознаюсь, мое недоверчивое сердце было несколько успокоено.

Оппозиционные газеты, по-видимому, пытаются игнорировать события, имевшие место третьего дня. Вообще тон их весьма примечателен. Это — своего рода затишье, которое обычно предшествует страшным взрывам. Газеты как будто хотят только выждать отмены ордонанса об осадном положении. Тон каждой газеты обнаруживает, в какой мере она скомпрометирована в последних событиях. «*Tribune*» вынуждена совсем замолчать, так как замешана больше всех. «*National*» замешан тоже, но не в такой степени, и поэтому он уже смеет говорить и больше и свободнее. «*Temps*», который сильнее и смелее всех восстал против ордонанса об осадном положении, вовсе не в плохих отношениях с некоторыми вождями *juste milieu* и более защищен, чем Саррю и Каррель. Но это соображение не помешает нам воздать хвалу господину Косту, как одному из лучших граждан Франции, за те великие мужественные слова, с которыми он в самое опасное время выступил против беззаконий и произвола правительства.

Господин Саррю арестован; господина Карреля ищут повсюду. Против Карреля восстановлены более всего. Все ведь думали, что господин Каррель стоял во главе народного движения 5 июня. Большое здание на улице Круассан, где находится типография и контора «*National*», считали штаб-квартирой, и около двух тысяч человек, среди которых было немало весьма значительных имен, приходили туда предлагать свое содействие и содействие своих приверженцев. Но, как достоверно известно, Каррель отклонял все подобные предложения

и предсказывал, что замышляемая революция не удастся, ибо ее недостаточно подготовили, ибо не обеспечили себе сочувствия народа, ибо нет необходимых средств, ибо неизвестны действующие лица и т. д. И действительно, никогда еще не бывало восстания, столь скверно подготовленного, и до сего часа еще неизвестно, как оно возникло и как оно протекало. Один из тех, что сражались на улице Сен-Мартен, уверяет, что когда республиканцы, которые там заперлись, смотрели друг на друга, то оказывалось, что ни один из них не знает другого, и лишь случай свел вместе всех этих людей, друг другу совершенно чуждых. Впрочем, они скоро узнали друг друга, сражаясь вместе, и умерли как истинные братья по оружию. До сих пор не удалось также выяснить, что, собственно, случилось, когда Лафайет ехал домой. Хорошо осведомленное лицо уверяло меня вчера, что правительство, относившееся с подозрением к похоронам Ламарка и поэтому державшее наготове своих драгун, отдало приказ полиции — в случае возможных беспорядков прежде всего захватить Лафайета, чтобы он не попал в руки бунтовщиков и не мог поддержать их авторитетом своего имени. И вот, когда раздались первые выстрелы, несколько полицейских агентов, переодетых рабочими, насильно посадили бедного Лафайета в экипаж, а другие — тоже переодетые полицейские агенты — впряглись в него и при громких криках «Vive Lafayette!»¹ с триумфом потащили его.

Послушать теперь республиканцев, — так они сознаются, что им сильно повредила неудача их друзей 6 июня, но что на следующий же день глупый промах их врагов, именно — ордонанс об осадном положении в Париже, принес им тем большую пользу. Они утверждают, что на 5 и 6 июня следует смотреть лишь как на стычку аванпостов, что никто из именитых республиканцев не был при этом и что из пролитой крови для них вырастет много новых соратников. То, о чем я упоминал выше, до некоторой степени, кажется, подкрепляет это мнение. Партия, представителем которой является «National» и членом которой коварная «Gazette de France» называет доктринерами-республиканцами, не принимала участия

¹ «Да здравствует Лафайет!» (франц.).

в этих событиях, и главари партии «Трибуны» — мон-таньяры — также ничем себя в них не проявили.

Париж, 17 июня.

Когда теперь вдали отсюда обсуждаются последние события, не отмененный еще *état de siège* и резкий антагонизм партий, возникают, вероятно, самые странные представления о здешних делах. И все же мы сейчас видим здесь так мало перемен, что более всего должны удивляться именно этому отсутствию необычных явлений. Это наблюдение — самое главное из того, что я могу сообщить, и это отрицательное содержание моего письма, наверно, послужит поправкой ко многим ошибочным представлениям.

Здесь совершенно тихо. Военные суды с суровым видом ведут следствие. До сих пор не расстреляли еще ни одной кошки. Над осадным положением, над храбростью национальной гвардии, над мудростью правительства смеются, шутят, острят. То, что я сразу же предсказал, оправдилось: *juste milieu* не знает, как ему выпутаться из своего героического положения, и осажденные со злорадством наблюдают это отчаянное положение осаждающих. Последние очень хотели бы как можно более походить на варваров, они роются в архивах самых варварских времен, чтобы воскресить самые страшные законы, но им только удается выставить себя на посмешище.

Группы расфранченных людей, которые гуляют в садах Пале-Рояля, Тюильри и Люксембурга, вдыхают тихую летнюю прохладу, или смотрят на идиллические игры маленьких детей, или же как-нибудь иначе развлекаются среди окружающего спокойствия, представляют, сами того не зная, забавнейшую сатиру на существующее, согласно закону, осадное положение. Чтобы публика хоть немного уверовала в него, всюду с величайшей серьезностью производят обыски, тревожат больных и роются в их постелях, чтобы расследовать, не спрятаны ли там какое-нибудь завалящее ружье или, чего доброго, пакеты с порохом. Более всего беспокойства терпят бедные иностранцы, которые, из-за осадного положения, должны являться в префектуру для получения новых видов

на жительство. Им приходится подвергаться там *pro forma*¹ всякого рода допросам. Многие французы из провинции, особенно студенты, должны давать полиции подписку в том, что во время своего пребывания в Париже они ничего не будут предпринимать против правительства Луи-Филиппа. Многие предпочли оставить город, чем давать такую подписку. Другие же подписали только после того, как им позволили прибавить, что они по своим убеждениям республиканцы. Эту полицейскую меру предосторожности доктринеры ввели, наверно, по примеру немецких университетов.

Аресты все еще продолжают, порой арестуют самых разнородных людей и по самым разнородным поводам: одних за участие в республиканском восстании, других — по причине только что раскрытого бонапартистского заговора. Вчера арестовали даже трех карлистских пэров, в том числе дон Шатобриана, рыцаря печального образа, самого лучшего писателя и самого большого дурака во Франции. Тюремь переполнены. В одной лишь тюрьме Сент-Пелажи сидят по политическим делам свыше шестисот заключенных. От одного из моих друзей, сидящего там за долги и пишущего большой труд, в котором доказывается, что Сент-Пелажи основана пелазгами, я получил вчера письмо, где он очень жалуется на то, что вокруг теперь очень шумно и это мешает его ученым исследованиям. Узники Сент-Пелажи преисполнены сейчас величайшего задора. На стене двора они нарисовали огромную грушу, а над нею топор.

Упомянув о груше, я не могу не отметить, что магазины эстампов совершенно не считаются с нашим осадным положением. Грушу, и опять-таки грушу, — вот что мы видим там на всех карикатурах. Всего более заметна среди них, конечно, та, на которой изображена площадь Согласия с монументом, посвященным хартии; на этом монументе имеющем вид алтаря, лежит громадная груша с чертами лица Луи-Филиппа. Душе немца это под конец становится несносно и противно. Эти вечные насмешки, печатные и гравированные, вызывают во мне скорее известную симпатию к Луи-Филиппу. Его, право, жаль, — теперь более чем когда-либо. Он добр и кроток от природы, а военные

¹ Для формы, для вида (*лат.*).

суды, вероятно, принудят его быть строгим. При этом он чувствует, что казни и не помогают и не устрашают, особенно после того, как холера несколько недель тому назад казнила свыше тридцати пяти тысяч человек, предварительно подвергнув их ужаснейшим пыткам. Но жестокости скорее простятся властителям, чем то оскорбление исконного правосознания, каким является обратное действие объявленного осадного положения. Вот почему угроза военно-судебных строгостей внушила республиканцам такой надменный тон и вот почему противники их кажутся теперь такими маленькими.

Париж, 7 июля.

Здесь замечается в настоящий момент упадок, какой обычно наступает после сильного возбуждения. Всюду серое недовольство, тоска, усталость, разинутые рты, то зевающие, то бессильно скалящие зубы. Решение кассационного суда положило почти комический конец нашему своеобразному осадному положению. По поводу этой непредвиденной катастрофы столько смеялись, что почти простили правительству неудавшийся ему *coup d'état*.¹ Как мы потешались, читая на углах улиц прокламацию господина Монталиве, в которой он словно благодарит парижан за то, что они обращали так мало внимания на *état de siège* и все это время отнюдь не переставали развлекаться! Я не думаю, чтобы сам Бомарше мог лучше написать этот документ. Поистине, нынешнее правительство очень заботится об увеселении народа!

В то же время французы забавлялись странной игрой — головоломкой. Это, как известно, китайское времяпрепровождение, и задача состоит в том, чтобы из нескольких кривых и угловатых кусочков дерева составить определенную фигуру. И вот в здешних салонах принялись составлять по правилам этой игры новый кабинет, и невозможно вообразить себе, что за кривые и угловатые персонажи оказывались рядом друг с другом, и тем не менее все эти деревянные комбинации не могли составить целой порядочной фигуры.

¹ Государственный переворот (франц.).

О сомнительных шансах кандидатуры Дюпена на пост премьер-министра газеты болтали много странного, но не всегда без основания. Правда, он немного резко обошелся с королем, и однажды оба они расстались с обоюдным неудовольствием. Правда и то, что поводом был лорд Гранвиль. Дело же обстояло следующим образом: господин Дюпен раньше дал слово королю Луи-Филиппу, что, как только король этого потребует, он возьмет на себя пост председателя совета министров. Лорд Гранвиль, которому неприятно видеть во главе правительства столь буржуазного человека и который, следуя духу своей касты, хочет более знатного премьер-министра, говорят, высказал Луи-Филиппу кое-какие серьезные сомнения насчет способностей господина Дюпена. Когда король пересказал эти слова господину Дюпену, тот так рассердился, наговорил таких неприличных вещей, что между ним и королем произошел разрыв. Множество мелких интриг перекрещивается с этим происшествием. Однако дальнейший ход вещей разрешит много недоразумений. Как только в палате снова начнутся прения, Дюпен окажется единственным приемлемым министром *juste milieu*. Только он в состоянии оказывать в парламенте сопротивление оппозиции, а правительству, право же, придется во многом отчитываться перед палатой.

До сих пор Луи-Филипп все еще — сам свой первый министр. Это явствует уже из того, что все правительственные распоряжения приписываются именно ему, а не господину Монталиве, о котором почти даже не говорят и которого даже не ненавидят. Примечательна перемена, которая, по-видимому, произошла во взглядах короля после восстания 5 и 6 июня. Он теперь считает себя совсем уже сильным; он думает, что может вполне рассчитывать на поддержку большинства нации; он думает, что он — необходимый человек, к которому, в случае враждебных действий извне, примкнет безусловно вся нация, и поэтому он, по-видимому, уже не так сильно опасается войны, как прежде. Патриотическая партия представляет, правда, меньшинство, и оно ему не доверяет. Оно с полным основанием опасается, что к чужеземцам он настроен менее враждебно, чем к туземцам. Первые угрожают лишь его короне, а последние — жизни. Король знает, что это действительно так. И в самом деле, если принять во внимание.

что Луи-Филипп в глубине души убежден в кровожадной злобе своих противников, то нужно удивляться его умеренности. Правда, объявив *état de siège*, он дал повод обвинять себя в безответственном беззаконии, но все же нельзя сказать, чтобы он недостойно злоупотреблял своей властью. Напротив, он великодушно пощадил тех, кто оскорблял его лично, а усмирить, вернее обезоружить, старался только тех, кто враждовал и боролся с его правительством. Несмотря на все неудовольствие, какое может возбуждать король Луи-Филипп, у меня все же невольно складывается убеждение, что как человек Луи-Филипп необычайно благороден и великодушен. Его главная страсть — это, по-видимому, страсть к постройкам. Я был вчера в Тюильри. Там повсюду идут постройки — и на земле и под землей. Ломают стены комнат, роют большие погреба, и непрестанно стоит стук и треск. Король, живущий со своей семьей в Сен-Клу, ежедневно приезжает в Париж и прежде всего смотрит, насколько продвинулись постройки в Тюильри. Дворец стоит сейчас почти совсем пустой; там собирается лишь совет министров. О, если бы, как в детских сказках, все капли пролитой там крови могли заговорить, там пришлось бы выслушать не один добрый совет, ибо в каждой комнате этого трагического дома лилась поучительная кровь.

Париж, 15 июля.

Четырнадцатое июля прошло спокойно, и нигде не было никаких проявлений возмущенного полицией восстания. Но это был такой жаркий день, такая гнетущая духота нависла над всем Парижем, что подобное предсказание даже не могло привлечь достаточного числа любопытных на привычные места мятежных сборищ. Лишь на великой площади, где совершилось открытие революции, где в этот день была некогда разрушена Бастилия, сошлось много народа; люди спокойно выжидали в жгучем полуденном зное и как будто из патриотизма жарились на июльском солнце. Раньше говорили, что 14 июля на этой площади будут все-народно венчать лаврами стариков — участников штурма Бастилии, оставшихся еще в живых и получающих теперь пенсию. Лафайету в этом торжестве предназначалась главная роль. Но, очевидно, события 5 и 6 июня не дали

осуществиться этому проекту; да и Лафайет в этом году, по-видимому, не стремится к новым триумфам. Быть может, среди народа на площади Бастилии было больше полиции, чем людей, ибо самые злые замечания высказывались так громко, как обычно позволяют себе высказываться лишь переодетые сыщики. Говорилось, что Луи-Филипп — предатель, национальные гвардейцы — предатели, депутаты — предатели и честно одно лишь июльское солнце. И действительно, оно делало свое дело и так палило нас своими лучами, что становилось почти невоготу. Что касается меня, то я на этой страшной жаре подумал, что Бастилия, вероятно, была очень прохладным зданием и, наверно, бросала летом весьма приятную тень. Когда ее разрушали, в ней сидело всего пять человек заключенных. А теперь имеется десять государственных тюрем и в одной лишь Сен-Пелажи сидит больше шестисот государственных арестантов. Сен-Пелажи, говорят, очень нездоровое и тесное здание. Но там весело. Республиканцы и карлисты, правда, держатся в стороне друг от друга, но все же не перестают перебрасываться остротами, и смеются, и веселятся. Республиканцы носят красные якобинские колпаки; карлисты носят зеленые шапки с белой кистью в виде лилии. Одни все время кричат: «Vive la République!», другие кричат: «Vive Henri V!» Всеобщие возгласы одобрения раздаются всякий раз, когда кто-нибудь с дикой яростью выругает Луи-Филиппа. Это делается тем свободнее, что заключенный в Сен-Пелажи не может уже быть ни арестован, ни посажен в тюрьму. Большинство горячих голов, которые вообще по всякому поводу затевают шум, сидят там теперь в сохранности, и поэтому полиции с тех пор не удалось вызвать сколько-нибудь выгодной для нее попытки возмущения. Республиканцы пока что будут очень остерегаться насилия. Да у них нет и оружия: разоружение было произведено очень основательно.

Сегодня день тезоименитства молодого Генриха, и ожидаются какие-то карлистские эксцессы. Тряпичники и переодетые священники распространяли вчера прокламацию в пользу Генриха V. В ней сказано, что он сделает Францию счастливой и защитит ее от нашествия иноземцев. В будущем году он достигнет совершеннолетия, ибо французские короли уже в тринадцать лет достигают совершеннолетия и своего высшего развития. На этой прокламации

юный Генрих впервые изображен со скипетром и в короне; до сих пор мы видели его всегда в одеянии паломника или шотландского горца, взбирающегося по скалам или сующего свой кошелек в руку несчастной нищей, и т. д. Однако пустяки не могут повлечь за собой ничего опасного. Карлисты и сами очень упали духом. Безумная отвага герцогини Беррийской очень повредила им. Вожди парижских карлистов тщетно посылали к герцогине господина Беррье, чтобы уговорить ее вернуться в Голируд. Тщетно пытался Луи-Филипп достигнуть того же через своих агентов. Тщетно иностранные посланники заклинали ее именем бога оставить в настоящее время свою попытку. Все доводы разума, все угрозы и мольбы не могли побудить эту упрямую женщину уехать обратно. Она все еще в Вандее, и хотя лишена всяких средств и нигде больше не находит поддержки, она не хочет уступить. Ключ загадки таков: глупые или умные священники распалили ее фанатизм и внушили ей, что благодать сойдет на ее ребенка, если она умрет за его дело. И вот она, с чисто религиозной жадностью мученичества и восторженной материнской любовью, ищет смерти.

Если здесь в общественных местах незаметно никаких брожений, то тем больше беспокойства замечается в обществе. Немецкие дела, решения сейма — вот что главным образом взволновало все умы. И о Германии высказываются самые нелепые суждения. Французы в легкомысленном заблуждении полагают, будто свободу губят монархи, и не понимают, что требуется только положить конец анархии в среде немецких либералов и что вообще имеется в виду лишь единство и благо немецкого народа. Уже 2 июня в «Temps» было напечатано содержание шести пунктов постановления сейма. Еще и раньше один известный пиетист таскал здесь в кармане выдержки из этого постановления и, оглашая их, утешил многие сердца.

Луи-Филипп все еще того мнения, что он силен. «Смотрите, какие мы сильные!» — вот припев всякой речи в Тюильри. Как больной все время говорит о здоровье и не может нахвалиться тем, что он хорошо переваривает пищу, что он без судорог может стоять на ногах, что он совсем свободно дышит и т. п., так и эти люди непрестанно говорят о той силе и той твердости, которую они уже проявили при разных грозных обстоятельствах и могут

проявить еще и впредь. И каждый день во дворец приходят дипломаты, и щупают у них пульс, и заставляют показывать язык, внимательно рассматривают мочу, и посылают потом своим дворам бюллетень политического здоровья. Иностранные послы тоже ведь не перестают задавать вопрос: «Силен или слаб Луи-Филипп?» В первом случае их повелители могут у себя дома спокойно решаться на любую меру и проводить ее; в противном случае (то есть, если бы приходилось опасаться падения французского правительства и возникновения войны) им нельзя было бы вводить у себя дома никаких строгостей. Этот важный вопрос — силен ли или слаб Луи-Филипп — трудно разрешить. Но легко понять, что сами французы в настоящее время отнюдь не слабы. В сердцах народов они нашли себе новых союзников, тогда как их противники стоят сейчас вовсе не на вершине популярности. Соратники их — незримые полчища духов, да и их собственные зримые армии — в самом цветущем состоянии. Французская молодежь так же воинственна и так же полна воодушевления, как в 1792 году. С веселой музыкой проходят по городу молодые рекруты и несут на шляпах развевающиеся ленты, цветы и номер, который они вытянули, и он для них — словно главный выигрыш в лотерее. И при этом поются песни о свободе и барабаны выбивают марши 90-го года.

ИЗ НОРМАНДИИ

Гавр, 1 августа.

Силен или слаб Луи-Филипп — это, по-видимому, в самом деле главный вопрос, в решении которого заинтересованы и народы и их правители. Вот почему я постоянно имел его в виду во время моей поездки по северным провинциям Франции. Однако относительно настроения общества я узнал столько противоречивого, что не могу сообщить по этому поводу ничего более основательного, чем те, кто черпает свою мудрость в Тюильри или, скорее, в Сен-Клу. Северные французы, в частности хитрые нормандцы, вообще не так склонны открывенничать, как люди страны Ок. Или одно уже то служит знаком неудовольствия, что часть граждан края «Oui», которая заботится лишь

об интересах страны, чаще всего хранит важное молчание, если начнешь расспрашивать ее об этом. Только молодежь, живущая идейными интересами, открыто выражает свое мнение о неизбежном, как ей кажется, приближении республики, да еще карлисты, преданные личным интересам, всеми возможными способами проявляют свою ненависть к теперешним правителям, которых они рисуют сгущенными красками и падение которых предсказывают вполне уверенно, чуть ли не назначая его день и час. Карлисты в этой местности довольно многочисленны. Последнее объясняется тем, что здесь еще оказывает влияние особая заинтересованность, а именно — симпатия к отдельным членам павшей династии, которые обычно проводили лето в этой местности и сумели кое-где заслужить любовь. Это в особенности удалось герцогине Беррийской. Вот почему ее приключения — злободневный предмет разговоров в этой провинции, а священники католической церкви изобретают к тому же благочестивейшие легенды в честь политической мадонны и благословенного плода ее плоти. В прежние времена священники были вовсе не так уж довольны церковным рвением герцогини, и расположение народа она завоевала именно тем, что возбуждала неудовольствие духовенства. «Милая маленькая женщина совсем не такая ханжа, как другие, — говорилось тогда. — Смотрите, с каким светским кокетством она порхает в процессии, и как равнодушно несет молитвенник в руке, и держит свечу так шаловливо низко, что воск капает на атласный шлейф ее невестки, ворчливо-благочестивой герцогини Ангулемской!» Те времена прошли, румяная веселость поблекла на щеках бедной Каролины, она стала благочестивой, как и другие, и держит свечу с полной верой, как того требуют священники, и разжигает ею гражданскую войну в прекрасной Франции, как того требуют священники.

Не могу не отметить, что влияние католических священников в этой провинции сильнее, чем думают в Париже. На похоронах можно видеть, как они шествуют по улицам в церковных облачениях, с крестами и хоругвями, с меланхолическим пением — зрелище, почти удивительное для приезжего из столицы, где подобные шествия строго запрещены полицией или, вернее, народом. За все время, что я был в Париже, я ни разу не видел на улице священ-

ника в облачении; ни в одной из тех многих тысяч похоронных процессий, которые проходили мимо меня во время холеры, я не видел, чтобы церковь была представлена своими служителями или своими символами. Однако многие пытаются утверждать, что и в Париже религия снова потихоньку оживает. Это правда; по крайней мере французско-католическая община аббата Шателя растет с каждым днем; зал этой общины на улице Клиши стал уже слишком тесен для множества верующих, и с некоторых пор аббат совершает католическое богослужение в большом здании на бульваре Бонн-Нувель, где прежде господин Мартец показывал своих зверей и где теперь большими буквами написано: «Eglise catholique et apostolique».¹

Северные французы, которым нет дела ни до республики, ни до чудесного отрока, но которые желают лишь благополучия Франции, — отнюдь не слишком ревностные сторонники Луи-Филиппа и не восхваляют его чистосердечия и прямоты, но они проникнуты убеждением, что он — человек необходимый; что следует поддерживать его авторитет, поскольку этим поддерживается общественное спокойствие; что подавление всякого восстания благотворно для торговли, и, дабы не вызвать окончательной гибели торговли, необходимо избегать всякой новой революции, а также и войны. Последней они боятся только из-за торговли, которая и сейчас уже в плачевном состоянии. Войны они боятся не из-за самой войны, ибо они — французы, следовательно, честолюбивы и воинственны по природе; к тому же они более крупного и крепкого телосложения, чем южные французы, и, пожалуй, превосходят их там, где требуется твердость и упрямая выносливость. Не объясняется ли это примесью германской крови? Они похожи на своих крупных, сильных лошадей, равно пригодных и для бодрой рыси и для перевозки грузов и преодолевающих все трудности, связанные с ненастьем и дорогой. Эти люди не боятся ни австрийцев, ни русских, ни пруссаков, ни башкир. Они не являются ни приверженцами, ни противниками Луи-Филиппа. Как только начнется война, они последуют за трехцветным знаменем — все равно, кто бы его ни нес.

¹ «Католическая апостольская церковь» (франц.).

Я действительно думаю, что, как только будет объявлена война, внутренние раздоры французов тем или иным способом, путем уступок или насилия, быстро уладятся, и Франция станет единой могучей державой, которая будет в состоянии бороться против всего света. Сила или слабость Луи-Филиппа тогда перестанет быть предметом споров. Тогда он будет силен или не будет ничем. Вопрос — силен он или слаб — имеет смысл только при мирном состоянии, и лишь с этой точки зрения он важен для иностранных держав. От многих я получал ответ: «Le parti du roi est très nombreux, mais il n'est pas fort».¹ Я думаю, слова эти дают немалую пищу для размышления. Прежде всего, в них заключается прискорбное указание на то, что само правительство подчинено партии и всяким партийным интересам. Король уже не является здесь той величественной верховной властью, что с высоты трона спокойно взирает на борьбу партий и умеет держать их в спасительном равновесии; нет, он сам вышел на арену борьбы. Одилон Барро, Моген, Каррель, Пажес, Кавеньяк думают, пожалуй, что от них его отличает лишь случайность мгновенной власти. Вот печальное следствие того, что король сам принял на себя председательствование в совете. Теперь Луи-Филипп не может изменить существующую систему правления, если не хочет впасть в противоречие со своей партией и с самим собою. Оттого и печать относится к нему как к главному вождю партии, порицает его самого за все ошибки правительства, приписывает всякое министерское слово его языку и в короле-буржуа видит лишь короля-министра. Когда статуи богов спускаются со своих высоких пьедесталов, тогда исчезает священное благоговение, которое мы питали к ним, и мы их судим по словам их и поступкам, как равных нам.

Что касается указания, будто партия короля хотя многочисленна, но не сильна, то в нем нет ничего нового; это давно известная истина, но необходимо отметить, что и народ сделал это открытие, что он считает не головы, как обычно, но руки, и прекрасно отличает те, которые аплодируют, и те, которые хватаются за меч. Народ внимательно разглядел людей и очень хорошо знает, что пар-

¹ «Партия короля многочисленна, но не сильна» (франц.).

тия короля делится на три разряда: на купцов и собственников, которые опасаются за свои лавки и свое добро; на людей, утомленных борьбой, вообще желающих спокойствия, и на робкие сердца, опасующиеся воцарения террора. Эта королевская партия, нагруженная собственностью, досадующая на всякое нарушение уюта, — это большинство противостоит меньшинству, которое тащит с собой лишь немного багажа, а к тому же свыше всякой меры жаждет тревог и в диком, необузданном вихревороте своих мыслей смотрит на террор не иначе, как на своего союзника.

Несмотря на большое число голов, несмотря на триумф 6 июня народ сомневается в силе *juste milieu*. А ведь всегда бывает опасно, когда правительство в глазах народа не кажется сильным. Тогда всякого тянет испытать на нем свою силу. Демонически темное влечение заставляет людей трясти его. В этом секрет революции.

Дьепп, 20 августа.

Нельзя себе представить, какое впечатление произвела среди низших слоев французского народа смерть молодого Наполеона. Уже сентиментальный бюллетень его постепенного угасания, который недель шесть тому назад начала выпускать газета «*Temps*» и который отдельными выпусками продавался в Париже по одному су, вызывал там на всех перекрестках самое глубокое огорчение. Я видел даже, как плакали молодые республиканцы; старые, однако, не казались особенно тронутыми, и от одного из них я с удивлением услышал сердитое замечание: «*Ne pleurez pas, c'était le fils de l'homme qui a fait mitrailler le peuple le 13 Vendémiaire*».¹ Странно: когда с кем-нибудь случается несчастье, мы невольно вспоминаем какую-либо старую обиду, которую он нанес нам и о которой мы, быть может, не думали уже с незапамятных времен. Совершенно безусловное почитание император вызывает лишь в деревнях; там в каждой хижине висит портрет «Человека», и притом, как замечает «*Quotidienne*»,² на той самой стене, где ви-

¹ «Не плачьте, это был сын человека, который приказал стрелять в народ 13 вандемьера» (*франц.*).

² «Ежедневная» (*франц.*).

сел бы портрет хозяйского сына, если бы этот человек не принес его в жертву на одном из сотни полей своих сражений. Злость вызывает у «Quotidienne» иногда самые честные замечания, и на это злится более тонкая иезуитская «Gazette»; в этом их главное политическое различие.

Я объехал большую часть северофранцузского побережья в то время, как весть о смерти молодого Наполеона распространялась там. Поэтому, куда бы я ни приезжал, я всюду встречал удивительную скорбь. Люди испытывали чистую печаль, которая коренилась не в корыстолюбии нынешнего дня, а в самых дорогих воспоминаниях славного прошлого. О ранней смерти сына героя особенно скорбели прекрасные нормандки.

Да, портрет императора висит во всех хижинах. Всюду видел я его, увенчанного траурными цветами, как статуи Спасителя на страстной неделе. Многие солдаты надели креп. Какой-то старик с деревянной ногой грустно протянул мне руку и сказал: «A présent tout est fini».¹

Разумеется, для тех бонапартистов, которые верили в воскресение императорской плоти, все кончено. Наполеон для них теперь только имя, нечто вроде Александра Македонского, чей наследник тоже рано угас. Но для тех бонапартистов, которые верили в воскресение духа, теперь расцветают самые радужные надежды. Для них бонапартизм не есть передача власти по праву рождения и старшинства; нет, их бонапартизм теперь словно очищен от всякой плотской примеси, он для них — идея единовластия высшей мощи, направленной на благо народа, и у кого есть такая сила и кто в этом направлении будет применять ее, того они и назовут Наполеоном II. Как Цезарь дал свое имя открытому единовластию, так Наполеон даст свое имя новой цезарской власти, на которую только тот имеет право, кто обладает высшим дарованием и ставит себе самые благие цели.

В известном смысле Наполеон был сеп-симониистским императором. Как сам он получил право на высшую власть в силу своего духовного превосходства, так он содействовал лишь господству даровавший и ставил себе целью физи-

¹ «Теперь все кончено» (франц.).

ческое и моральное благоденствие многочисленнейших и беднейших классов. Он господствовал не столько во имя блага третьего сословия, среднего сословия, золотой середины, сколько во имя блага тех людей, все богатство которых — в их сердце и в их руках. И даже его армия была иерархией, где по ступеням почестей можно было подняться только в силу личных заслуг и способностей. Последний крестьянский сын совершенно так же, как и дворянин из древнейшего рода, мог достигнуть в ней высших чинов и приобрести золото и звезды. Поэтому-то в каждой крестьянской хижине и висит портрет императора на той самой стене, где висел бы портрет хозяйского сына, если бы он не пал в каком-нибудь сражении, не успев возвыситься до генерала, а то и герцога или короля, как многие бедняки, которые благодаря своей храбрости и талантам могли подняться столь высоко, пока еще правил император. В его портрете многие, быть может, чтут лишь померкшую надежду на собственное величие.

Чаще всего я встречал в крестьянских домах изображение императора, посещающего лазарет в Яффе или лежащего на смертном одре на острове св. Елены. Оба изображения представляют разительное сходство с изображением святых христианской религии, ныне угасшей во Франции. На одной из картин Наполеон подобен Спасителю, от прикосновения которого словно исцеляются больные чумой; на другой картине он умирает искупительной смертью.

Мы, придерживающиеся другой символики, в мученической смерти Наполеона на Святой Елене не видим искупления в указанном смысле; император расплатился за самый страшный свой проступок, за вероломство, которым он согрешил перед революцией, своей матерью. История давно показала, что брачный союз между сыном революции и дочерью прошлого никогда не мог иметь благих последствий, — и вот мы видим теперь, что единственный плод этого брака не долго прожил и плачевно угас.

Что касается наследия покойного, мнения сильно расходятся. Друзья Луи-Филиппа думают, что осиротевшие бонапартисты примкнут теперь к ним; но сомневаюсь, чтобы мужи войны и славы могли так быстро перейти в мир-

ное *juste milieu*. Карлисты думают, что бонапартисты принесут теперь присягу единственному претенденту, Генриху V. Я, право, не знаю, чему больше удивляться в надеждах этих людей — их глупости или дерзости. Республиканцы, кажется, более всех способны привлечь к себе бонапартистов. Но если некогда легко было из самых нечесаных санкюлотов сделать самых блестящих приверженцев Империи, то трудно, должно быть, теперь совершить обратное превращение.

Сожалеют, что драгоценные реликвии, шпага императора, плащ Маренго, историческая треугольная шляпа и т. п., которые, в соответствии с завещанием, составленным на Святой Елене, перешли к молодому герцогу Рейхштадтскому, не достались Франции. Во Франции каждая партия могла бы прекрасно воспользоваться чем-нибудь из этого наследия. И, право, если бы мне пришлось распоряжаться этим, я все это разделил бы так: республиканцам я отдал бы шпагу императора, ибо они единственные, которые еще могли бы владеть ею; господам из *juste milieu* я дал бы плащ Маренго, — они и в самом деле нуждаются в таком плаще, чтобы прикрыть им свою бесславную наготу; карлистам я дал бы шляпу императора, которая, правда, не очень идет к таким головам, но все же может пригодиться им, когда они снова будут разбиты наголову; я отдал бы им даже и сапоги императора, которыми они тоже смогут воспользоваться, когда им вскоре снова придется удирать. Что же касается палки, с которой император ходил на прогулку под Иеной, то я сомневаюсь, чтобы она находилась среди вещей герцога Рейхштадтского, и думаю, что она все по-прежнему в руках французов.

После разговоров о смерти молодого Наполеона больше всего я слышал толков о похождениях в этой провинции герцогини Беррийской. О приключениях этой женщины здесь ходят такие поэтические рассказы, что можно подумать — внуки сочинителей фэблио выдумали их от нечего делать. Также очень много пищи для разговоров дала свадьба в Компъене; я мог бы сообщить целую энтомологическую коллекцию скверных остроумий, которые я слышал по этому поводу в одном карлистском замке. Например, один из ораторов на компьенском торжестве будто бы заметил: в Компъене была взята в плен Орлеанская дева,

а теперь случилось так, что в Компьене снова налагаются оковы на деву из Орлеанского дома.

Хотя во всех французских газетах весьма пышно сообщается, что стечение иностранцев здесь очень велико и что вообще курортный сезон в Дьеппе в этом году очень блестящ, все же на месте я нашел совершенно противоположное. Здесь, пожалуй, не будет и пятидесяти посетителей, все здесь грустно и уныло, и курорт, который так роскошно цвел когда-то благодаря герцогине Беррийской, каждое лето приезжавшей сюда, навеки погиб. Так как вследствие этого многие в городе впали в самую горькую нищету и считают падение Бурбонов источником своего несчастья, то понятно, что здесь можно встретить много ярых карлистов. Однако мы оклеветали бы Дьепп, если бы предположили, что его население больше чем на четверть состоит из приверженцев прежней династии. Нигде национальная гвардия не проявляет больше патриотизма, чем здесь, все здесь собираются на учение при первом звуке барабана, все в полной форме, что свидетельствует об особом усердии. Здесь на этих днях с поразительным энтузиазмом справили торжество в честь Наполеона.

Луи-Филиппа здесь в общем не любят и не ненавидят. Сохранение его считают необходимым для счастья Франции; его правление не вызывает особого восторга. Вообще французы, благодаря свободной печати, так хорошо осведомлены об истинном положении вещей, политически они так образованы, что терпеливо переносят небольшое зло, лишь бы не стать жертвою большего зла. Против личного характера короля мало что могут возразить, — его считают человеком, достойным уважения.

Руан, 17 сентября.

Эти строки я пишу в бывшей резиденции герцогов Нормандских, в старинном городе, где еще столько каменных документов напоминает нам историю этого народа, столь знаменитого давними своими подвигами и приключениями и теперь своей страстью к тяжбам и умением наживать. Вот в этой крепости жил Роберт-Дьявол, положенный на музыку Мейсбергом; на этой рыночной

площади сожжена была la riselle,¹ великодушная девушка, воспетая Шиллером и Вольтером; в том соборе лежит сердце Ричарда, храброго короля, который и сам был прозван Львиным Сердцем, coeur de lion; на этой почве выросли победители при Гастингсе, сыновья Танкреда и столько других цветков нормандского рыцарства... Но до них всех нам сейчас нет никакого дела, мы здесь гораздо более заняты вопросом: пустила ли мирная система Луи-Филиппа корни в воинственной почве Нормандии? Хорошо или плохо придется новой буржуазной монархии в древней героической колыбели английской и итальянской аристократии, в стране норманнов? На этот вопрос я, кажется, смогу сейчас ответить весьма коротко: крупные землевладельцы, большею частью дворяне, держатся карлистских взглядов, зажиточные ремесленники и земледельцы — филипписты, а низшие народные слои презирают и ненавидят Бурбонов, и меньшинству их дороги исполинские воспоминания Республики, большинству же — блестящий героизм времен Империи. Карлисты, как всякая побежденная партия, — деятельнее, чем филипписты, чувствующие себя в безопасности, и к чести их надо сказать, что они приносят и крупные жертвы, то есть жертвы денежные. Карлисты, которые никогда не сомневаются в том, что когда-нибудь они победят, и убеждены, что будущее тысячекратно воздаст им за все жертвы настоящего, отдают свой последний су, когда это кажется полезным для интересов их партии; вообще в природе этого класса — не столько беречь свое собственное добро, сколько зариться на чужое имущество (sui profusus, alien appetens).² Жадность и расточительность — родные сестры. Простолудин, который привык приобретать свои земные блага не придворной службой, не милостями фавориток, не сладкими речами и ловкой игрой, но тяжелым, горьким трудом, крепче держится за приобретенное.

Между тем добрые граждане Нормандии поняли, что газеты, с помощью которых карлисты пытаются влиять на общественное мнение, очень вредны для безопасности государства и их собственности, и они пришли к тому мнению

¹ Девственница (*франц.*).

² Расточая свое, завидовать чужому (*лат.*).

что с этими происками надо бороться тем же оружием — прессой. С этой целью недавно основана «Estafette du Havre»¹, кроткая газета золотой середины, которая обходится очень дорого почтенному гаврскому купечеству и в которой принимают участие также и некоторые парижане, в частности monsieur де Сальванди, маленький, изворотливый, водянистый ум в длинном, неповоротливом, сухом теле (Гете хвалил его). До сих пор эта газета — единственная контрмина, подведенная под карлистов в Нормандии; карлисты же, напротив, неутомимы и всюду основывают свои газеты, свои крепости обмана, против которых дух свободы должен раздроблять свои силы, пока не придет помощь с Востока. Эти газеты издаются более или менее в духе «Gazette de France» и «Quotidienne»; последние, кроме того, самым деятельным образом распространяются среди народа. Обе газеты редактируются изящно, остроумно и привлекательно, притом они насквозь коварны, злы, полны полезных поучений, забавного злорадства, и их благородные разносчики, нередко раздающие их даром и даже, пожалуй, иногда наделяющие читателей в придачу и деньгами, находят, разумеется для них лучший сбыт, чем разносчики кротких газет золотой середины. Я всемерно рекомендую обе эти газеты, так как с более возвышенной точки зрения отнюдь не считаю их вредными для дела истины; они даже скорее способствуют ему, возбуждая новую энергию в бойцах, которых борьба порой утомляет. Эти две газеты — истинные представительницы тех людей, которые, когда дело их гибнет, вымещают свою злобу на лицах. Таково старое соотношение: мы наступаем им на голову, а они жалят нас в пятку. Но только в похвалу «Quotidienne» надо отметить, что хотя она и змея, так же как и «Gazette», но менее скрывает свою злость; что ее исконная злоба выдает себя в каждом слове; что она своего рода гремучая змея, которая, подползая, сама предупреждает о своем приближении стуком своих же гремушек. «Gazette», к сожалению, не имеет такой гремушки. «Gazette» выступает иногда против своих собственных принципов, чтобы обходным путем обеспечить их; «Quotidienne» в пылу борьбы скорее жертвует победой, чем подчинится такому холодному самоотрица-

¹ «Гаврская эстафета» (франц.).

нию. «Gazette» обладает спокойствием иезуитизма, которое не сбивают с толку страстные убеждения, и это тем легче, что иезуитизм собственно не есть убеждение, а только промысел; в «Quotidienne», напротив, мнутятся и беснуются надменные дворяне и сердитые монахи, плохо прикрытые маской рыцарской честности и христианской любви. Такой же точно характер имеет карлистская газета, издаваемая здесь, в Руане, под названием «Gazette de la Normandie».¹ Она полна слащавых сетований о добром старом времени, которое, к сожалению, исчезло вместе с рыцарскими образами, вместе с крестовыми походами, турнирами, герольдами, скромными горожанами, благочестивыми монахинями, дамами сердца, трубадурами и прочими приятностями, так что при чтении ее вспоминаются феодальные романы одного прославленного немецкого автора, в чьей голове цвело больше цветов, нежели мыслей, а сердце было полно любви; напротив, у редактора «Gazette de la Normandie» голова полна грязного мракобесия, сердце же полно яда и желчи. Этот редактор — некий виконт Вальш, длинный седеющий блондин лет шестидесяти. Я видал его в Дьеппе, куда он был приглашен на карлистский консилиум и где его очень чествовала вся знатная компания. Однако один маленький карлистик по свойственной всем им болтливости шепнул мне: «C'est un fameux comrège».² Он собственно не принадлежит к настоящему французскому дворянству. Отец его, родом ирландец, в начале революции находился на французской военной службе и когда эмигрировал и захотел избежать конфискации своих имений, то для вида продал их своему сыну. Когда же старик возвратился во Францию и потребовал обратно от сына свои имения, тот стал отрицать фиктивность покупки, утверждая, что продажа имений была совершена совсем всерьез, и таким образом завладел состоянием своего обманутого отца и своей бедной сестры; последняя сделалась фрейлиной madame (герцогини Беррийской), и восторженное отношение ее брата к madame основано столько же на тщеславии, сколько и на корыстолюбии, ибо — «я знал достаточно...»

¹ «Нормандская газета» (франц.).

² «Это изрядный пройдоха» (франц.).

Трудно представить себе, с какой коварной последовательностью подкапываются карлисты под власть нынешних правителей. С успехом ли — покажет время. Как они не брезгают даже самым низким человеком, если он может им пригодиться для их целей, так не брезгают они никаким, даже самым грязным средством. Карлисты прибегают не только к каноническим газетам, о которых я упоминал выше, — они действуют также и традиционным путем устного распространения всевозможной клеветы. Эта черная пропаганда старается основательнейшим образом повредить доброму имени нынешних правителей, главным образом короля. Ложь, сплетаемая с этой целью, бывает подчас столь же омерзительна, сколь и нелепа. «Всегда клеветать, всегда клеветать, что-нибудь да прилипнет!» — вот что было девизом этих добрых наставников.

В одном карлистском доме в Дьеппе молодой священник мне сказал: «Сообщая своим соотечественникам о здешних делах, вы должны несколько подкрашивать истину, чтобы в случае, если начнется война, а Луи-Филипп все еще, может быть, будет находиться во главе французского правительства, немцы его сильнее ненавидели и с бóльшим воодушевлением сражались против него». На мой вопрос, вполне ли нам обеспечена победа, он улыбнулся чуть ли не с состраданием и стал уверять меня, что немцы — самый храбрый народ и что им только для вида будет оказано легкое сопротивление; что север, так же как и юг, совершенно предан законной династии; что Генрих V и madame почитаются всюду, подобно младенцу Христу и божией матери; что в этом — религия народа; что рано или поздно законная ревность к вере вспыхнет открыто, особенно в Нормандии.

В то время как служитель божий высказывался таким образом, перед домом, в котором мы находились, вдруг поднялся ужаснейший шум. Затрещали барабаны, затрубили трубы, марсельский гимн зазвучал так громко, что задрожали оконные стекла, и во все горло раздался восторженный крик: «Vive Louis-Philippe! A bas les carlistes! Les carlistes à la lanterne!»¹ Это произошло в час ночи, и все общество сильно испугалось. Я также был

¹ «Да здравствует Луи-Филипп! Долой карлистов! Карлистов на фонарь!» (франц.).

напуган, потому что вспомнил поговорку: вместе пойман, вместе и повешен. Но это была только шутка дьепских национальных гвардейцев. Они узнали, что Луи-Филипп прибыл в замок Э и тотчас же решили отправиться туда, чтобы приветствовать короля, но перед своим уходом они захотели напугать бедных карлистов, подняли страшный шум перед их домами и, как помешанные, запели там «Марсельезу», это «*dies irae, dies illae*»¹ новой церкви, возвещающее прежде всего карлистам день их страшного суда.

Так как я вскоре после этого тоже отправился в Э, то могу, в качестве очевидца, удостоверить, что ликование и восторги, которыми национальные гвардейцы встретили короля, не были инсценировкой. Король сделал им смотр, остался очень доволен той нескрываемой радостью, с которой они принимали его, и я не могу отрицать, что в наше время разлада и недоверия эта картина согласия была очень назидательна. То были свободные вооруженные граждане, которые без смущения смотрели в глаза своему королю, с оружием в руках свидетельствовали ему свое глубокое почтение и подчас мужественным пожатием руки выражали ему свою верность и покорность. Луи-Филипп, само собой разумеется, каждому подавал руку. Над этими рукопожатиями карлисты насмеяются больше всего, и я охотно признаю, что ненависть подчас делает их остроумными, когда они осмеивают эту «*mes-séante popularité des poignées de main*».² Так, в замке, о котором я уже упоминал прежде, я был на представлении *en petit comité*³ одного фарса, в котором потешнейшим образом показано, как Фип I, король филистеров (*épiciers*),⁴ преподает своему сыну, Большому Цыпленку (*grand poulot*), государственную науку и отечески поучает, что не надо поддаваться внушениям теоретиков, видящих в буржуазной монархии только верховную власть народа или, еще того хуже, только соблюдение хартии; что не надо слушаться ни правой, ни левой болтовни; что дело вовсе не в том, чтобы Франция была свободна внутри и чтима за рубежом, еще менее в том, защищен ли трон,

¹ Первые слова средневекового церковного гимна: «Тот день, день гнева» (*лат.*).

² «Непристойную популярность рукопожатий» (*франц.*).

³ В тесном кругу (*франц.*).

⁴ Лавочников (*франц.*).

словно баррикадами, республиканскими учреждениями или поддерживается последственными пэрами; что ни дарованные обещания, ни геройские подвиги не имеют большого значения; что буржуазная монархия и все искусство управлять сводятся к тому, чтобы пожимать руку всякому оборванцу. Тут он показывает различные приемы, как пожимать руку людям в разных положениях — пешком, верхом, проезжая галопом мимо их рядов или когда они дефилируют мимо, и т. д. Большой Цыпленок понятлив, он отлично проделывает эти правительственные фокусы; он даже говорит, что хочет еще усовершенствовать изобретение буржуазной монархии и каждый раз, пожимая руку буржуа, будет его спрашивать: «Как поживаешь, *mon vieux cochon?*»¹ — или, что то же самое: «Как поживаешь, *citoyen?*»² «Да, это одно и то же», — отвечает король весьма сухо, и карлисты смеются. Затем Большой Цыпленок хочет упражняться в пожимании рук, — сперва на гризетке, потом на бароне Луи, но делает все это очень неуклюже, ломает людям пальцы. При этом нет недостатка в насмешках и в клевете на тех хорошо известных людей, которых мы когда-то, до Июльской революции, прославляли как светочей либерализма и которых мы с тех пор так рады презирать за их раболепие; хотя я обычно не очень расположен к *juste milieu*, все же в моей душе шевельнулась какая-то почтительная нежность к этим некогда высокочтимым людям, опять шевельнулось прежнее расположение, когда я увидел, как их поносят эти худшие люди. Да, как человек, находящийся на дне глубокого колодца, может среди бела дня видеть звезды небесные, так и я, когда спустился в темное общество карлистов, снова стал ясно и отчетливо понимать заслуги сторонников *juste milieu*. Я снова чувствую былое уважение к бывшему герцогу Орлеанскому, к доктринерам, к какому-нибудь Гизо, какому-нибудь Тьеру, какому-нибудь Ройе-Коллару, какому-нибудь Дюпену и к другим звездам, потерявшим свой блеск в пламенном сверкании июльского солнца.

Полезно время от времени смотреть на вещи не с высокой, а с такой низкой точки зрения. Прежде всего мы

¹ Старая скотина (*франц.*).

² Гражданин (*франц.*).

учимся более беспристрастно судить о людях, даже если ненавидим дело, представителями которого они являются; мы учимся отличать сторонников *juste milieu* от самой системы. Последняя, по нашему мнению, плоха, но люди все еще заслуживают наше уважение, в особенности тот человек, положение которого — самое трудное в Европе и который теперь видит, что может существовать, лишь следуя тенденциям 13 марта; это — вполне человеческий инстинкт самосохранения. Когда мы попадаем в среду карлистов и непрестанно слышим, как поносят этого человека, он возвышается в нашем мнении, ибо мы замечаем, что в Луи-Филиппе они порицают именно то, что нам больше всего в нем нравится, и как раз то, что нам не нравится, им более всего по вкусу. Если в глазах карлистов он имеет то достоинство, что он Бурбон, то, наоборот, нам это достоинство кажется *levis nota*.¹ Но было бы несправедливо, если бы мы не видели столь лестного для него и его семьи различия между ними и старшей линией Бурбонов. Орлеанский дом так решительно примкнул к французскому народу, что переродился вместе с ним и из грозного очистительного омовения революции вышел, так же как и французский народ, очищенным и исправившимся. А старшие Бурбоны, не принимавшие участия в этом обновлении, еще целиком принадлежат к тому старшему, большому поколению, которое Крепильон, Лакло и Луве так хорошо нам изобразили в его самом веселом греховном блеске и его цветущем тлении. Вновь помолодевшая Франция никогда не могла бы стать на сторону этой династии, этих призраков прошлого. Их притворная жизнь с каждым днем становилась все более жуткой. Посмертное их покаяние представляло отвратительное зрелище. Раздушенная гниль оскорбляла всякий порядочный нос. И в одно прекрасное июльское утро, когда пропел галльский петух, этим призракам снова пришлось исчезнуть. А Луи-Филипп и его семья здоровы и полны жизни; это — цветущие дети молодой Франции, целомудренные духом, бодрые телом и верные добрым буржуазным нравам. Именно эта буржуазность, которая так не нравится карлистам, возвышает Луи-Филиппа в нашем мнении. Я при всем желании не могу совершенно отрешиться от

¹ Наименее значащим (*лат.*).

партийного духа, чтобы правильно определить, насколько серьезно он относится к буржуазной монархии. Великое жюри истории выяснит, честны ли были его намерения. В таком случае его *poignées de main* вовсе не смешны, и мужественное рукопожатие, быть может, сделается символом новой буржуазной монархии, как рабское коленопреклонение было символом феодального самовластия. Луи-Филипп, если он сохранит престол и честные убеждения и передаст их своим детям, может оставить по себе великое имя в истории, и не только как основатель новой династии, но даже как основатель новой формы власти, которая придаст новый вид всему миру, — как первый буржуазный король Луи-Филипп, если только он сохранит престол и честные убеждения, — но это-то и составляет великий вопрос!

**ИЗ МЕМУАРОВ
ГОСПОДИНА
ФОН ШНАБЕЛЕВОПСКОГО**



КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Моего отца звали Шнабелевопский; мою мать звали Шнабелевопская; законный сын их обоих, я родился первого апреля 1795 года в Шнабелевопсе. Моя двоюродная бабушка, старая госпожа фон Пипицкая, ходила за мною в раннем детстве и рассказывала мне много прекрасных сказок и не раз убаюкивала песней, слова и мелодия которой исчезли из моей памяти. Однако я никогда не забуду, с каким таинственным видом, напевая ее, она склоняла трясущуюся голову и как горестно при этом высовывался большой единственный зуб, отшельник в пустыне ее рта. Еще вспоминается мне иногда попугай, смерть которого она так горько оплакивала. Старая бабушка теперь тоже умерла, и на всем белом свете, я, пожалуй, единственный человек, который еще поминает ее милого попугая. Нашу кошку звали Мими, а нашего пса звали Жоли. Он хорошо изучил людей и всегда норовил улизнуть, когда я хватался за плетку. Однажды утром наш слуга сказал, что собака ходит с поджатым хвостом и больше обычного высовывает язык; и бедному Жоли привязали на шею несколько камней и бросили его в воду. При этой оказии он утонул. Слугу звали Пррштцвитш. Чтобы вполне правильно произнести эту фамилию, необходимо чихнуть. Служанку нашу звали Свуртецкая. По-немецки это звучит несколько грубо, а по-польски — в высшей степени мелодично. Это была толстая приземистая особа с русыми

волосами и белыми зубами. Кроме того, по дому носились еще два прекрасных черных глаза, которых звали Серафима. Это была моя красивая нежнолюбимая двоюродная сестричка; мы с нею играли в саду и подглядывали, как хозяйничают у себя муравьи, ловили бабочек и сажали цветы. Она безумно хохотала, когда я однажды посадил в землю мои маленькие чулочки, убежденный, что из них вырастут большие штаны для моего отца.

Мой отец был человек добрейшей души и долгое время оставался удивительно красивым; он пудрил голову и носил на затылке сплетенную косичку, которая не висела свободно, а прикреплялась черепаховым гребнем на макушке. У отца были ослепительно белые руки, и я часто целовал их. Кажется, еще и сейчас я вдыхаю их сладкий аромат, а он, пощипывая, забирается мне в глаза. Я очень любил отца, ведь я никогда не думал, что он может умереть.

Моим дедушкой с отцовской стороны был старый господин фон Шнабелевопский; я знаю о нем только то, что он был человек и что мой отец был его сыном. Моим дедушкой с материнской стороны был старый господин фон Влрсанский, он изображен в ярко-красном бархатном сюртуке и с длинной шпагой; мать часто рассказывала мне, что у него был друг, который носил зеленый шелковый сюртук, розовые шелковые панталоны, белые шелковые чулки, и, говоря о прусском короле, яростно размахивал маленькой треуголкой.

Моя матушка, госпожа фон Шнабелевопская, когда я подрос, дала мне прекрасное воспитание. Она была очень начитана; будучи беременной мною, она читала почти исключительно Плутарха и, должно быть, согрешила с кем-нибудь из его героев, вероятнее всего с одним из Гракхов. Отсюда моя мистическая страсть к осуществлению аграрного закона в современной его форме. Мое чувство свободы и равенства является, вероятно, следствием этого предродового материнского чтения. Если бы моя матушка читала в то время жизнеописание Картуша, я стал бы, пожалуй, крупным банкиром. Как часто в детстве я пропускал уроки, чтобы на прекрасных лугах Шнабелевопса размышлять в одиночестве о том, как осчастливить человечество! Поэтому меня часто бранили лентяем и наказывали как такового; я уже тогда перенес много страданий и горя, оттого что много думал, как осчастливить мир.

Окрестности Шнабелевопса, впрочем, очень красивы; там протекает речонка, в которой летом приятно купаться, а в прибрежных зарослях можно найти чудесные птичьи гнезда. Старый Гнезен, прежняя столица Польши, находится всего в трех милях. Там, в соборе, погребен святой Адальберт. Там стоит его серебряный саркофаг и на нем покоится изображение святого в натуральную величину, в епископской митре, с посохом, с благочестиво сложенными руками — все из литого серебра. Как часто мне приходится вспоминать тебя, ты, серебряный святой! Ах, как часто мои мысли пробираются назад в Польшу, и я снова стою в гнезенском соборе, прислонившись к пилястре, у надгробного памятника Адальберта. И снова, как бывало, гудит орган, и кажется, будто органист наигрывает отрывок из «Miserere» Аллегри; в отдаленной капелле кто-то бормочет мессу; последние лучи солнца падают сквозь разноцветные оконные стекла; церковь пуста; лишь перед серебряным надгробием святого простерлась молящаяся фигура — несказанно прелестная женщина; она искоса кидает на меня быстрый взгляд, но так же быстро обращается снова к святому и шепчет страстными лукавыми устами: «Поклоняюсь тебе!»

В ту самую минуту, когда я услышал эти слова, вдали зазвонил пономарь; орган загудел с нарастающим неистовством, прелестная женщина поднялась со ступеньки надгробия, прикрыла разгоревшееся лицо белой вуалью и покинула собор.

«Поклоняюсь тебе!» К кому относились эти слова: ко мне или к серебряному Адальберту? Она обернулась к нему, но только лицом. Что означал косой взгляд, брошенный мне перед тем и озаривший лучами мою душу, точно длинная сверкающая дорожка, которую проливает луна над ночным морем, появляясь из мрака облаков и снова торопливо скрываясь за ними? Та сверкающая дорожка разбудила чудища, спавшие глубоко на дне мой души, столь же мрачной, как и море, и сумасброднейшие акулы и меч-рыбы страсти внезапно рванулись к поверхности, перегоняя друг друга и впиваясь от блаженства в собственннне хвосты, а орган ревел и гудел со все возрастающей мощью, подобно рокоту бури на Северном море.

На следующий день я покинул Польшу.

ГЛАВА II

Мать сама уложила мой чемодан; с каждой сорочкой она укладывала также добрые советы. Прачки впоследствии подменили мне все эти сорочки и вместе с ними все добрые советы. Отец глубоко растрогался и дал мне длинную памятку, в которой по параграфам было расписано, как мне следует вести себя в этом мире. Первый параграф гласил, что я должен десять раз обернуть каждый дукат, прежде чем истратить его. Вначале я этому следовал, впоследствии это постоянное оборачивание показалось мне чересчур утомительным делом. Отец вместе с запиской передал мне также упомянутые в ней дукаты. Затем он взял ножницы, срезал косичку со своей милой головы и дал мне эту косичку на память! Я до сих пор сохраняю ее и не могу удержаться от слез, глядя на тонкие напудренные волоски.

В ночь перед отъездом мне приснился следующий сон.

Я одиноко гулял у моря, вокруг было весело и красиво. Наступил полдень, солнце освещало воду, и она вся сверкала, точно в алмазах. Кое-где у взморья подымались огромные алоэ, жадно простирая зеленые руки к солнечному небу. Тут же росла плачущая ива с длинными ниспадающими золотистыми ветвями, которые подымались всякий раз, когда с плеском подбегали волны, и тогда она казалась юной русалкой, приподымающей зеленые косы, чтобы лучше расслышать, что нашептывают ей на ухо влюбленные духи воздуха. И в самом деле, порою раздавались как бы вздохи и нежный шепот. Море сияло все ласковее и ярче, все благозвучней шумели волны, и по шумящим сверкающим волнам шагал серебряный Адальберт, совершенно такой, каким я его видел в гнезенском соборе; с серебряным посохом в серебряной руке, в серебряной митре на серебряной голове, он махал мне рукой и кивал головою и наконец, очутившись возле меня, крикнул мне что-то зловещим серебряным голосом...

Да, слов мне из-за шума волн не удалось разобрать; но мне все же кажется, что мой серебряный соперник насмеялся надо мной. Потому что я еще долго стоял на берегу и плакал, пока, наконец, не спустились сумерки и небо и море стали бесконечно тусклыми, бледными и печальными. Поднимался прилив. Алоэ и ива рухнули с тре-

ском, их подхватили и унесли волны, которые нарастали еще неистовее, грохочущие и грозные, вздымая пенистые белые дуги. Потом я вдруг услышал размеренные звуки, точно удары весел, и, наконец, увидел гонимый бурунами челн. Четыре закутанные в белые саваны фигуры с пепельно-бледными, как у мертвецов, лицами сидели в нем и напряженно гребли. Посредине челна стояла бледная, но бесконечно прекрасная женщина, бесконечно нежная, точно созданная из аромата лилии, — она спрыгнула на берег. Челн со своими призраками-гребцами унесся стрелой в открытое море, а в моих объятиях лежала панна Ядвига, и плакала, и смеялась: «Поклоняюсь тебе».

ГЛАВА III

Покинув Шнабелевопс, я раньше всего поехал в Германию, а именно в Гамбург, где пробыл шесть месяцев, вместо того чтобы тотчас же отправиться в Лейден и там, согласно желанию родителей, отдаться изучению богословской премудрости. Должен признаться, что в течение этого семестра я занимался больше мирскими, нежели божественными делами.

Город Гамбург — хороший город: в нем все только солидные дома. Здесь правит не мерзкий Макбет, здесь правит Банко. Дух Банко¹ — банковский дух — правит повсюду в этом маленьком вольном государстве, видимым главой которого является высокий и премудрый сенат. В самом деле, это — вольное государство, и здесь человек находит наибольшую политическую свободу. Граждане вольны здесь делать все что им вздумается, а высокий и премудрый сенат также волен делать, что ему вздумается; каждый здесь — вольный господин своих поступков. Это — республика. Если бы Лафайету не посчастливилось найти Луи-Филиппа, он, конечно, рекомендовал бы своим французам гамбургских сенаторов и старейшин. Гамбург — лучшая из республик. Нравы в нем английские, а пища ангельская. Правда, между Дреквалем и Вандра-

¹ Здесь игра слов: Банко — родоначальник династии королей в трагедии Шекспира «Макбет». Банко — также особая денежная расчетная единица в гамбургской торговле до 1873 г.

меном подаются блюда, о которых не имеют понятия наши философы. Гамбургцы — хорошие люди и едят хорошо. В вопросах религии, политики и науки их мнения очень разноречивы, но насчет кушаний господствует великолепнейшее единодушие. Пускай себе христианские богословы спорят друг с другом, сколько им вздумается, о значении тайной вечери — насчет полдневной трапезы они вполне единодушны. Пусть среди местных евреев существует секта, утверждающая, что застольную молитву надо произносить по-немецки, в то время как другие распевают ее по-древнееврейски; однако и те и другие едят, и едят основательно, и одинаково правильно судят о кушаньях. Адвокаты, вертельщики жареного, которые вертят и переворачивают законы ¹ до тех пор, пока на их долю не перепадает жирный кусок, они-то пускай себе спорят без конца о том, должен или не должен суд быть гласным; однако они согласны в том, что все блюда должны быть хорошо приготовлены, и у каждого судьи есть судок для любимого блюда.² У военных образ мыслей, конечно, самый отважный и вполне спартанский; но о черной похлебке они не желают и слышать. Врачи, столь несогласные в лечении болезней, тамошнюю национальную болезнь (а именно: расстройство желудка) лечат обычно либо по методу броунианцев, с помощью еще больших порций копченого мяса, либо по методу гомеопатов — одна десятитысячная капли абсента в огромной миске черепахового супа, — врачи эти вполне солидарны, когда речь пойдет о вкусе этого супа и этого копченого мяса. Гамбург — родина последнего, то есть копченого мяса, и гордится им, как Майнц гордится своим Иоганном Фаустом, а Эйслебен своим Лютером. Но что значат книгопечатание и реформации по сравнению с копченым мясом? Были ли первые полезны или вредны, об этом спорят в Германии две партии; но даже самые ревностные из наших иезуитов согласны с тем, что копченое мясо является добрым, спасительным для человека изобретением.

Гамбург построен Карлом Великим, и его заселяют восемьдесят тысяч маленьких людей, которые отнюдь

¹ В оригинале игра слов: по-немецки wenden — переворачивать, aufwenden — применять.

² В оригинале игра слов: по-немецки Gericht означает и суд и блюдо.

не завидуют Карлу Великому, погребенному в Ахене. Возможно даже, что население Гамбурга достигает ста тысяч, точно я этого не знаю, хотя целыми днями бродил по улицам Гамбурга, наблюдая тамошних жителей. При том же я, наверное, проглядел многих мужчин, между тем как женщины особенно привлекали мое внимание. Этих последних я нашел отнюдь не тощими, но в большинстве случаев даже полнотелыми, порою пленительно красивыми и в общем отличающимися некоей благосостоятельной чувственностью, которая, право же, не внушила мне отвращения. Если к романтической любви они относятся не так восторженно и имеют весьма слабое представление о великих страстях сердца, то это не их вина, а вина амура, маленького божка, который иногда закладывает в свой лук острейшие стрелы любви, но из озорства или по неловкости пускает стрелу чересчур низко, попадая гамбургским гражданам вместо сердца прямо в желудок. Что касается мужчин, то мне встречались все коренастые фигуры, рассудительные, холодные глаза, низкие лбы, небрежно отвисшие красные щеки; жевательный аппарат чрезмерно развит; шляпа словно прибита к голове гвоздями, а руки — в карманах брюк, как у человека, который сейчас спросит: сколько с меня причитается!

К достопримечательностям города относятся: 1) старая ратуша, в которой стоят изображения великих гамбургских банкиров, высеченные из камня, со скипетром и державой в руках; 2) биржа, где ежедневно собираются сыны Гаммонии, как некогда римляне на форуме, и где над их головами висит черная доска почета с именами наиболее выдающихся сограждан; 3) прекрасная Марианна, необычайно красивая особа, которую зуб времени грызет вот уже двадцать лет, — кстати сказать, «зуб времени» плохая метафора, ибо выражение это настолько старо, что, наверное, уже не имеет зубов; речь идет о времени, — прекрасная же Марианна сохраняет пока еще все свои зубы и пускает их при случае в ход; 4) старинная центральная касса; 5) Альтона; 6) подлинные манускрипты трагедий Марра; 7) владелец рединговского кабинета; 8) ресторан «Биржа»; 9) ресторан «Бахус» и, наконец, 10) городской театр. Последний заслуживает особой похвалы: его посетители — исключительно хорошие бюргеры, почтенные отцы семейств, не умеющие ни сами лицемерить, ни других обма-

нывать, — мужи, которые превращают театр в дом господень, поскольку они успешнейшим образом убеждают несчастного, отчаявшегося в человечестве, что не все на свете обман и чистое лицемерие.

При перечислении достопримечательностей гамбургской республики я не могу не упомянуть, что в мое время зал Аполлона на Канатном дворе был еще весьма блестящим. В настоящее время он очень опустился, в нем даются филармонические концерты, демонстрируется искусство фокусников и промышленяют естествоиспытатели. Когда-то было иначе! Гремели трубы, звенели литавры, развевались страусовые перья. Элоиза с Минкой носились между танцующими под полонез Огинского, и все было очень прилично. Прекрасное время, когда мне улыбалось счастье! И счастье называлось Элоизой! Это было сладкое, милое счастье, с розовыми щечками, лилейным носиком, горячим ротиком, благоуханным, как гвоздика, с глазками точно голубое горное озеро; но немножко глупости залегло на лбу, подобно мрачной туче над блистательным весенним ландшафтом. Она была стройна, как тополь, и резва, как птица, и ее кожа была так нежна, что если кольнуть шпилькой, то она двенадцать дней оставалась припухшей; когда я ее уколол, Элоиза дулась едва двенадцать секунд и затем улыбнулась, — прекрасное время, когда мне улыбалось счастье! Минка улыбалась реже, так как у нее были некрасивые зубы. Но тем прекраснее были ее слезы, когда она плакала, а плакала она при каждом чужом несчастье и была сверх всякой меры благотворительна. Бедным она отдавала последний шиллинг; часто случалось, что она снимала с себя даже последнюю сорочку — когда от нее этого требовали. Так добра она была душевно! Она от всего могла отказаться, кроме испускания влаги. Ее мягкий податливый характер очень мило контрастировал с внешним обликом. Смелая осанка Юноны; белая дерзкая шея, обрамленная, точно сладострастными змеями, неистово-черными косами; глаза, сиявшие столь победно из-под мрачных триумфальных арок; пурпурно-гордые, круто изогнутые губы; мраморные властные руки, к сожалению с некоторым количеством веснушек; и еще была у нее на левом бедре коричневая родинка в форме маленького кинжалчика.

Если я ввел тебя, любезный читатель, в так называемое дурное общество, утешься тем, что оно обошлось тебе

по крайней мере дешевле, чем мне. Однако в дальнейшем в этой книге не будет недостатка и в идеальных женских персонажах, и уже сейчас я представлю тебе, в виде передышки, двух почтенных дам, с которыми я тогда же познакомился и к которым проникся уважением. То были мадам Пипер и мадам Шнипер. Первая в самые зрелые годы оставалась красивой женщиной: большие темные глаза, высокий белый лоб, черные фальшивые локоны, смелый древнеримский нос и рот, служивший гильотиной любой репутации. И в самом деле, не существовало более подходящего орудия казни для репутации, чем уста мадам Пипер; она не затягивала агонии, она обходилась без многозначительных приготовлений; стоило самой лучшей репутации испастись ей на зубок, — она только улыбалась, но эта улыбка была подобна гильотине, и честь отсекалась и падала в мешок. Она всегда оставалась образцом приличия, порядочности, благочестия и добродетели. Мадам Шнипер пользовалась такой же славой. Это была нежная женщина: маленькие робкие груди, обыкновенно прикрытые болезненно-печальным тонким флером, светло-русые волосы, светло-голубые глаза, которые ужасно умно выделялись на белом лице. Говорили, будто у нее совсем неслышная походка. И в самом деле, частенько, бывало, не успеешь оглянуться, а она уже стоит перед тобою и затем исчезает столь же бесшумно. Ее улыбка была тоже смертельна для любого доброго имени, но не как топор, а скорее как тот африканский губительный вихрь, от одного веяния которого увядают цветы; любая репутация плачевно увядала, когда она тихонько улыбалась. Она была всегда образцом приличия, порядочности, благочестия и добродетели.

Я не преминул бы также воздать хвалу еще многим сынам Гаммонии и самым красноречивым образом восхвалить некоторых особенно уважаемых мужей — именно тех, что оцениваются в несколько миллионов марок банко, но мне придется на мгновение умерить свой энтузиазм для того, чтобы позже он вспыхнул еще более ярким пламенем. Я имею в виду ни более ни менее как издание «Гамбургского Пантеона», точь-в-точь по тому плану, который десять лет назад уже набросал знаменитый писатель, приглашавший по сему поводу каждого гамбуржца прислать ему наискорейше особый список своих особых добродетелей

с приложением особо одного талера. Я никогда не мог узнать толком, почему этот «Пантеон» не был осуществлен; одни говорили, будто предприниматель, честный муж, едва добравшись от «Аарона» до «вечерней зари», или, другими словами, едва сколотив первые бревна, был совершенно раздавлен тяжестью материала, другие же говорили, будто высокий и премудрый сенат, по причине своей чрезмерной скромности, воспрепятствовал осуществлению проекта, внезапно приказав строителю «Пантеона» покинуть в двадцать четыре часа гамбургскую территорию со всеми ее добродетелями. Но что бы ни было тому причиной, здание не было осуществлено, и так как я по врожденной склонности всегда хотел все же свершить в этом мире нечто великое и всегда стремился достигнуть невозможного, то я подхватил этот гигантский проект и сим предлагаю «Пантеон Гамбурга», бессмертную исполинскую книгу, в которой опишу великолепие всех, без изъятия, его обитателей, в которой сообщу о благородных случаях тайной благотворительности, еще не заявленных в газетах, в которой расскажу о великих деяниях, никому не внушающих веры, и в которой в виде виньетки красуется мое собственное изображение, а именно: я сижу на Юнгферштеге перед Швейцарским павильоном и размышляю о прославлении Гамбурга.

ГЛАВА IV

Ради читателей, которые не знакомы с городом Гамбургом, — таковые, пожалуй, найдутся в Китае и в Верхней Баварии, — я должен заметить, что лучшее место прогулок сынов и дочерей Гаммонии носит правомерное наименование Юнгферштег; что оно представляет собою липовую аллею, ограниченную с одной стороны рядом домов, с другой — большим Альстеровским бассейном, и что перед этим последним стоят две возведенные над водою шатрообразные забавные маленькие кофейни, именуемые павильонами. Особенно приятно посидеть перед одним из них, так называемым Швейцарским павильоном, в летнее время, когда послеобеденное солнце жарит не особенно яростно, а лишь весело улыбается и чудесно, почти как в сказке, обливает своим сиянием липы, дома, людей, Альстер и плавающих в нем лебедей. Здесь приятно поси-

доть, и я очень приятно сживал тут не раз в летние послеобеденные часы и думал о том, о чем обыкновенно думают молодые люди, то есть ни о чем, и глядел на то, на что обыкновенно глядят молодые люди, то есть на проходивших мимо молодых девушек; тут порхали передо мною эти прелестные существа в крылатах чепцах и с прикрытыми корзиночками, в которых ничего не содержалось, — тут, ссеменя, проходили они в своих все еще чересчур длинных юбках, эти пестрые поселянки, снабжающие весь Гамбург земляникой и молоком; тут горделиво выступали прекрасные купеческие дочки, к любви которых получаешь в придачу еще много наличных денег; тут же вприпрыжку разгуливает кормилица с розовым мальчиком на руках, которого она осыпает поцелуями, думая при этом о возлюбленном; тут прогуливаются жрицы пеннорожденной богини, ганзейские весталки, дианы, вышедшие на охоту, наяды, дриады, гамадриады и прочие пасторские дочки... ах, тут гуляют также Минка и Элоиза! Как часто сживал я перед павильоном и смотрел, как они проходят взад и вперед в своих розовых полосатых юбках — четыре марки три шиллинга за локоть, и господин Зелигман уверял меня, что розовые полоски не полиняют от стирки. «Великолепные девчонки!» — восклицали сидевшие рядом со мною добродетельные юноши. Вспоминаю, как один страхового агента, вечно разряженный, точно бык в процессии троицына дня, сказал однажды: «Одною из них я не прочь как-нибудь попользоваться на завтрак, а другую — на ужин, и в такой день я бы совсем обошелся без обеда!» «Она ангел», — сказал однажды какой-то моряк-капитан так громко, что обе девушки одновременно оглянулись и потом ревниво взглянули друг на друга. Я же никогда ничего не говорил, предавался думами своему сладчайшему бездумью и глядел на девушек, и на радостное кроткое небо, и на долговязую башню св. Петра со стройной талией, и на тихий голубой Альстер, в котором так гордо, так грациозно и так уверенно плавали лебеди. Лебеди! По целым часам глядел я на них, на эти прелестные создания с нежными длинными шеями, следил, как они сладострастно покачиваются на мягких волнах, как блаженно ныряют и снова всплывают на поверхность и величественно плещутся, пока не потемнеет небо и не взойдут золотые звезды, чего-то настойчиво желая, обещая, чудесно-нежно, светло.

Звезды! Не золотые ли это цветы на девственной груди неба? Не влюбленные ли это глаза ангелов, сладострастно отражающиеся в голубых водах земли и нежничающие с лебедями?

. . . Ах! Это было так давно. Я был тогда молод и глуп. Теперь я стар и глуп. Иные цветы за это время увяли, иные даже растоптаны. Иное шелковое платье за это время износилось, и полинял даже розовый в полоску ситец господина Зелигмана. Да и сам он также увял — фирма называется теперь: «Вдова блаженной памяти Зелигмана»,¹ и Элоиза, — это кроткое существо, казалось созданная только для того, чтобы под веянье павлиньих опахал бродить по мягким индийским коврам, — погрязла среди матросского гама, пунша, табачного дыма и скверной музыки... Когда я вновь увидал Минку, — она называлась теперь Катенькой и жила между Гамбургом и Альтоной, — она походила на Соломонов храм после того, как его разрушил Навуходоносор, причем от нее разлило ассирийским кнастером; рассказывая о смерти Элоизы, она горько плакала, в отчаянии рвала на себе волосы, чуть не упала в обморок и, чтобы прийти в себя, была вынуждена выпить большой стакан водки.

А как переменялся сам город! А Юнгферштег! Снег лежал на крышах, и, казалось, даже дома состарились и поседели. Липы Юнгферштега — теперь это были только мертвые стволы с сухими ветвями — точно призраки колыхались под холодным ветром. Небо было пронзительно голубое и стремительно темнело. Было воскресенье, пять часов, время всеобщей кормежки; катились экипажи, мужчины и дамы высаживались с замороженной улыбкой на голодных устах. — Ужасно! В эту минуту я содрогнулся от страшного ощущения; мне почудилось, что на всех лицах лежит печать непостижимой тупости и что все проходящие мимо меня люди охвачены каким-то необычным безумием. Я их уже видел двенадцать лет тому назад, в этот же час, с тем же выражением на лицах; они были, точно куклы на часах ратуши, с теми же самыми движениями, и с тех пор они все так же и все с тем же видом подсчитывали, посещали биржу, приглашали друг друга в гости, двигали челюстями, платили чаевые и вновь

¹ Игра слов: selig — блаженный (нем.).

считали: дважды два — четыре. Ужасно! — вскричал я. — Что, если бы одному из этих сидящих за конторкой людей вдруг взбрело на ум, что дважды два — пять и что он, в сущности, всю свою жизнь путал счета и промотал всю свою жизнь в омерзительном заблуждении! Но вдруг и меня самого охватило забавное безумие, и когда я внимательнее всмотрелся в проходивших мимо людей, мне показалось, что они сами — не что иное, как числа, арабские цифры; тут шествовала кривоногая двойка рядом с противной тройкой, ее беременной и полногрудой супругой; сзади брел на костылях господин четыре; ковыляя, приближалась прегадкая пятерка с круглым брюшком и маленькой головкой; затем шла старая знакомая, маленькая шестерка, и еще более знакомая злая семерка; однако когда я очень пристально разглядел проковылявшую мимо злополучную восьмерку, я узнал в ней агента страхового общества, который когда-то был нарядным, как бык в процессии троицына дня, теперь же походил на самую тощую из тощих фараоновых коров: бледные запавшие щеки, точно опустошенные суповые тарелки, окочневший до красноты нос, точно зимняя роза, потертый черный сюртук, отсвечивающий жалким белесоватым блеском, шляпа, в которой Сатурн вырезал свою косою несколько отдушин, однако ботинки были по-прежнему наваксены до зеркального блеска, — и, казалось, он уже не думал о том, как бы проглотить за завтраком или ужином Элоизу или Минку, наоборот, казалось, он страстно тоскует по кушаньям из самой обыкновенной говядины. Среди прокативших мимо меня нулей узнал я несколько старых знакомых. Эти и еще другие люди-цифры катили мимо, суетливые и голодные, в то время как вблизи, вдоль домов Юнгферштега, еще более зловеще-забавно двигалось погребальное шествие. Печальный маскарад! Подобно марионеткам смерти, за дрогами шагали, как всегда, точно на ходулях, на своих тонких, в черном шелку, пожках, привилегированные служители скорби, лакеи магистрата — в пародийных старобургундских костюмах: короткие черные плащи и черные с буфами штаны, белые парики и белые жабо, из которых смешно выглядывали красные продажные физиономии, короткие стальные шпаги на бедре, под мышкой — зеленый зонтик.

Но еще более жуткими и странными, чем эти образы, молчаливо проплывавшие мимо, точно китайские тени, были звуки, доносившиеся до моего слуха откуда-то с другой стороны. Это были хриплые, шипящие, лишенные металлического оттенка звуки, какое-то бессмысленное пронзительное попискивание, боязливое поплескивание, тоскливое посапывание, храп и шипение, стенания и вздохи, какой-то неопикуемый леденящий мучительный вопль страдания. Альстерский пруд замерз, лишь возле самого берега в ледяном покрове был вырублен широкий четырехугольник, а ужасные звуки, доносившиеся до меня, вырывались из горла бедных белых созданий, плававших в нем и вопивших в отчаянной, смертельной тоске, и — ах! — это были те самые лебеди, которые когда-то так мягко и светло волновали мою душу. Ах, прекрасные белые лебеди! Им обломали крылья, чтобы они не могли улететь осенью к теплому югу, и теперь север держал их в оковах своих мрачных ледников, а маркер павильона полагал, что им здесь хорошо и что холод им полезен. Но это неправда, не может быть хорошо тому, кто бессильно заточен в холодной луже, кто почти замерз, тому, у кого обломаны крылья и кто не может улететь к прекрасному югу, где прекрасные цветы, где золотые лучи солнца, где голубые горные озера! Ах! И со мной случилось нечто подобное, и я понял муку этих бедных лебедей; а когда стало уже совсем темно и в вышине ярко засветили звезды, те самые звезды, что когда-то так страстно любилась с лебедями, а теперь так по-зимнему холодно, так по-морозному светло и почти насмешливо глядели на них сверху, — тогда-то я понял, что звезды — вовсе не любящие, сочувствующие существа, а только блестящие обманы ночи, вечные марева в пригрезившемся нам небе, золотые небылицы в голубом ничто...

ГЛАВА V

Когда я писал предыдущую главу, невольно думалось совсем о другом. Старая песня, не умолкая, звенела в памяти; и образы и мысли путались самым несносным образом; волею или неволею я вынужден говорить об этой песне. Быть может, ей здесь и место, и она по праву вторгается в мою пачкотню. Да, я даже кое-что начинаю пони-

мать в ней, и я понимаю теперь также тот мрачный тон, каким пел ее Клас Генрихсон; он был ютландец и служил у нас конюхом. Он пел ее еще накануне того дня, когда повесился в нашей конюшне. Произнося припев: «Осмотришься, герр Вонвед!», он иногда очень горько смеялся; лошади при этом пугливо ржали; дворовая собака выла, точно по покойнику. Это — старинная датская песня о господине Вонведе, который странствует верхом по свету и сражается до тех пор, пока не получит ответа на все свои вопросы, и который, когда все его загадки разрешены, с превеликой досадой возвращается домой. От начала до конца звучит арфа. Что пел он в начале! Что пел он в конце? Я часто думал об этом. Иной раз Клас Генрихсон трогательно и мягко запевал песню, но постепенно голос его становился суровым и грозным, точно море, когда приближается буря. Песня эта начинается так:

Герр Вонвед в комнате сидит,
На лютне золотой бренчит,
Под платьем держит лютню он,
А в комнату к Вонведу мать спешит.
Осмотришься, герр Вонвед.

То была его мать Аделин, королева; она говорит ему:

— Мой юный сын, пусть другие играют на лютне; опоясайся мечом, оседлай коня, поезжай испытай свою силу, борись и сражайся, повидай белый свет, осмотришься, герр Вонвед! — И

Герр Вонвед меч повязал боевой:
Его давно уже тянет в бой,
Но выдался путь у юноши странный:
Не встретился боец желанный.
Осмотришься, герр Вонвед!

А шпора его звенит,
А шлем его блестит,
А конь, как ветер, летит,
А всадник соколом глядит.
Осмотришься, герр Вонвед!

Он ехал день, он ехал три,
Нет ни селенья на пути.
«О, гей! — воскликнул он тогда, —
Да есть ли в этой стране города?»
Осмотришься, герр Вонвед!

Герр Вонвед держит путь вперед;
Навстречу Тулэ Ванг идет,
Сам Тулэ и его сыны;
Храбры эти рыцари и сильны.
Осмотришь, герр Вонвед!

«Послушай ты, мой сын меньшей,
Меняйся панцирем со мной.
Мы обменяемся щитами,
И враг не устоит пред нами».
Осмотришь, герр Вонвед!

Герр Вонвед вынул меч боевой;
Его давно уже тянет в бой.
Сперва он Тулэ побил самого,
Потом двенадцать сынов его.
Осмотришь, герр Вонвед!

Герр Вонвед меч повязал боевой, он продолжает свой путь. И тут он встречает охотника и требует у него половину добычи; тот не хочет делиться, тогда он вызывает его на бой и убивает. И

Герр Вонвед меч повязал боевой,
Дальше он путь продолжает свой;
К высокой горе подъехал герой;
Пастух скотину пас под горой.
Осмотришь, герр Вонвед!

«Скажи, пастух, скажи-ка мне,
Чей скот пасешь ты на этой земле?
И что круглей, чем колесо?
Где пьют веселее под рождество?»
Осмотришь, герр Вонвед!

«Скажи: где рыба в глуби речной?
Где красная птица в чаще лесной?
Где в мире веселей да пьяней?
Где Видрих пирует с дружиной своей?»
Осмотришь, герр Вонвед!

Но тот глядел, стал бел как мел,
Совсем от страха онемел:
Он только щелкнул — у пастуха
Выпали печень и все потроха.
Осмотришь, герр Вонвед!

И он подъезжает к другому стаду; там тоже сидит пастух, которому он задает свои вопросы. Но тот на все ответил, и герр Вонвед, сняв золотое кольцо, надевает его

пастуху на руку. Затем он едет дальше, встречает Тиге
Нольда и убивает его вместе с двенадцатью сыновьями.
И снова

Коню дал шпоры он,
Герр Вонвед, молодой барон.
Через горы и доли он ехал снова,
Но ни от кого не добился ни слова.
 Осмотришь, герр Вонвед!

Он видит стадо в третий раз,
Седой пастух то стадо пас.
«Эй, друг пастух, прими привет.
Ты, верно, добрый дашь ответ!»
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Что круглей, чем колесо?
Где пьют веселее под рождество?
Куда нисходит солнце над нами?
Куда мертвец лежит ногами?»
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Что заполняет все долины?
Что почитают властелины?
Что громче крика журавлей?
Что белого лебеда белей?»
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Кто носит бороду над спиной?
Кто держит нос под бородой?
Что всех замков на свете черней?
Что легконогой серны быстрей?»
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Где самый широкий мост над водой?
Чего не выносит взор людской?
Куда мы высшей тропой идем?
Где самый холодный напиток пьем?»
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Солнце круглее, чем колесо,
На небе лучшее рождество,
На западе солнце прячет венец,
Ногами к востоку лежит мертвец».
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Снег заполняет все долины,
Храбрость и силу чтут властелины,
Гром заглушает крик журавлей,
Белого лебеда — ангел белей».
 Осмотришь, герр Вонвед!

«У чибиса борода над спиной,
Нос у медведя под бородой,
Грех черней, чем замки на дверях,
Мысль быстрее, чем серна в горах».
Осмотришь, герр Вонвед!

«Лед — широчайший мост над водой,
Жабу взор не выносит людской,
Высшей тропею в рай мы идем,
Смерть ледяным напоит нас питьем».
Осмотришь, герр Вонвед!

«Таков наш мудрый совет и сказ,
И ты его получил от нас». —
«Старик, я верю тебе, но скажи:
Где ждут меня храбрые мужи?»
Осмотришь, герр Вонвед!

«Твой путь на Зондербург ведет,
Там пьют герои веселый мед,
Немало бойцов и челяди там,
Послушен меч их сильным рукам».
Осмотришь, герр Вонвед!

Он снял с руки золотое кольцо,
Пятнадцать фунтов весит оно.
Он дал пастуху кольцо золотое,
Чтоб тот указал дорогу к героям.
Осмотришь, герр Вонвед!

И он въезжает в замок, убивает сначала Рандульфа,
потом Штрандульфа.

Прошиб он Эгге Ундеру латы,
Побил и Эгге Карла — брата,
Рубил и вдоль и поперек,
Врагам на славу дал урок,
Осмотришь, герр Вонвед!

Герр Вонвед спрятал меч боевой,
Он дальше путь продолжает свой.
И в дикой чаще встречается он
Бойца, что был и храбр и силен.
Осмотришь, герр Вонвед!

«Скажи мне, благородный герой:
Где рыба живет в глубине речной?
Где вина пьяней да веселей?
Где Видрих стоит с дружиной своей?»
Осмотришь, герр Вонвед!

«На востоке рыба в речной глубине.
На севере черпают радость в вине.
В Галланде злобный Видрих твой,
С бойцами и челядью удалой».
 Осмотришь, герр Вонвед!

Снял Вонвед с груди золотое кольцо,
Герою на руку надел он его:
«Запомни, ты последним был,
Кто золото Вонведа получил!»
 Осмотришь, герр Вонвед!

Подъехал он к замку, где башням нет счета,
Он кликнул стражу — раскрыть ворота,
Когда ж никто не ответил на зов,
Он перепрыгнул стену и ров.
 Осмотришь, герр Вонвед!

Коня на веревку он привязал,
Поднялся в королевский зал.
Там занял место за столом,
Ни слова не сказав при том.
 Осмотришь, герр Вонвед!

Он ел, и пил, и яства брал
И спрашивать короля не стал.
«Я ездил, но не видал ни разу
Столько проклятых бестий сразу».
 Осмотришь, герр Вонвед!

Король сказал своим бойцам:
«Связать немедленно наглеца!
Вяжите незваного гостя туго,
Не то плохие будете слуги».
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Хоть пять, хоть двадцать пять поставь,
Хоть самого себя прибавь,
Сыном шлюхи зову тебя,
Можешь вязать меня».
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Король Эсмер, любезный отец мой,
Гордая Аделин, мать моя,
Дали мне строгий-престрогий наказ —
Золото с плутом не расточать».
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Если Эсмер король — родитель твой,
Если милая Аделин — мать твоя,
Так ты ведь Вонвед, боец лихой,
Моей милой сестры сынок дорогой».
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Герр Вонвед, хочешь остаться при мне —
Почет и слава будут тебе.
А если хочешь ездить по свету, —
Лучших рыцарей дам тебе в свиту».
 Осмотришь, герр Вонвед!

«Коль ты отложишь отъезд домой, —
Служить тебе буду моей казной».
Но на чужбине ему не по праву.
Он хочет к матери ехать обратно.
 Осмотришь, герр Вонвед!

И Вонвед поехал в обратный путь:
Тоска ему сжимала грудь;
Когда ж он подъехал к родным стенам,
Двенадцать колдуний стояло там.
 Осмотришь, герр Вонвед!

Веретена и прялки они держали,
По голени белой его ударяли;
Герр Вонвед погнал коня своего;
Он сбил двенадцать колдуний в кольцо.
 Осмотришь, герр Вонвед!

И тут задал колдуньям герой:
Им всем досталось от него!
А матери был конец таков:
Разрубил ее на пять тысяч кусков.
 Осмотришь, герр Вонвед!

Потом он в залу прошел один,
Ел там и пил много сладких вин,
И лютно взял, и так долго играл,
Что струны все на ней порвал.
 Осмотришь, герр Вонвед!

ГЛАВА VI

Был, однако, отличный весенний день, когда я впервые покинул город Гамбург. Я вижу еще, как золотые солнечные лучи играют в гавани на просмоленных бортах кораблей, слышу веселое, протяжное «гой-го!» матросов. Такая гавань в весеннюю пору имеет, впрочем, большое сходство с настроением юноши, который впервые пускается по свету, впервые дерзает выйти в открытое море жизни, — на всех его помыслах красуются еще пестрые флаги, вера в себя надувает паруса его желаний: гой-го! — Но вскоре подымутся бури: горизонт нахмурится, заревет шквал,

доски затрещат, волны изломают руль, и несчастное судно разобьется о романтические скалы или сядет на прозаически плоскую мель... или, быть может, изношенное и изувеченное, с подрубленной мачтой, без единого якоря надежды, оно возвратится домой, в старую гавань, и истлеет там, жалкая, с ободренным такелажем, никуда негодная развалина!

Но бывают люди, которых никак не сравнишь с обыкновенными судами, а только с пароходами. Они носят мрачный огонь в груди и идут наперекор ветру и непогоде, — их дымовые флаги выются, подобно султану ночного всадника, их зубчатые колеса — точно колоссальные грузные шпоры, которыми они врезаются в ребра морских волн, и непокорная пенная стихия, точно конь, подчиняется их воле, — но очень часто котел лопаается и внутреннее пламя пожирает нас.

Но пора мне, наконец, выкарабкаться из метафоры и сесть на настоящий корабль, идущий из Гамбурга в Амстердам. Это было шведское судно, погрузившее, кроме героя настоящих записок, еще железные брусья и, по всей видимости, предполагавшее обратным рейсом доставить груз трески в Гамбург или сов в Афины.

Берега Эльбы удивительно красивы, особенно за Альтоной, около Ренвиля. Неподалеку погребен Клошток. Я не знаю местности, где бы мертвому поэту было так хорошо лежать, как там. Жить здесь в качестве живого поэта было бы гораздо труднее. Как часто посещал я твою могилу, певец мессии, так трогательно-правдиво воспевавший страдания Иисуса! Ты, правда, тоже достаточно долго жил на Кенигштрассе за Юнгферштегом, чтобы знать, как распинают пророков.

На другой день мы достигли Куксгафена, гамбургской колонии. Жители его — подданные республики и этим очень довольны. Когда они зимой мерзнут, им посылают из Гамбурга шерстяные одеяла, а летом в невыносимо жаркие дни им посылают лимонад. В качестве проконсула там имеет свою резиденцию высокий и премудрый сенатор. Его ежегодный доход равняется двадцати тысячам марок, и под его управлением находятся свыше пяти тысяч душ. Там имеются также морские купанья, которые по сравнению с другими морскими купаньями обладают тем преимуществом, что они одновременно и эльбские купанья.

Большая плотина, по которой можно разгуливать, ведет к Ритцебюттелю, который также принадлежит Куксгафену. Слово «Ритцебюттель» финикийского происхождения. Слова «Ритце» и «бюттель» означают по-финикийски «устье Эльбы». Некоторые историки утверждают, будто Карл Великий только расширил Гамбург, основали же Гамбург и Альтону финикийцы, и притом как раз в то время, когда погибли Содом и Гоморра. Возможно, что беглецы из этих городов спаслись в устьях Эльбы. Между Фуленвите и Кафамахерайе было извлечено из земли несколько древних монет, выбитых еще под владычеством Бера XVI и Бирзы X. По моему мнению, Гамбург — это древний Тарс, откуда к Соломону приплывали корабли, битком набитые золотом, серебром, слоновой костью, павлинами и обезьянами. Соломон, тот самый, что был царем Иудеи и Израиля, всегда проявлял особое пристрастие к золоту и обезьянам.

Незабываемым остается для меня это первое морское путешествие. Старая моя двоюродная бабушка рассказывала мне множество морских сказок, и они теперь снова расцвели в моей памяти. По целым часам просиживал я на палубе и думал о старинных историях, и когда до меня доносилось бормотание волн, мне казалось, что я слышу бабушкины речи. Закрыв глаза, я видел ее точно живую с единственным зубом во рту: она опять, быстро двигая губами, рассказывала историю о Летучем Голландце.

Мне очень хотелось увидеть морских русалок, сидящих, на белых утесах и расчесывающих зеленые волосы; но мне удалось услышать только их пение.

Как ни всматривался я напряженно в прозрачное море, я не увидел затонувших городов, среди которых люди, обращенные колдовством в рыб, ведут свою чудесно глубинную подводную жизнь. Рассказывают, будто лососи и старые скаты сидят там у окошка, разряженные, точно дамы, обмахиваются веерами и поглядывают на улицу, где плавают треска в ратманских мундирах, где кишат крабы, омары и всякая мелкота из породы раков и откуда снизу вверх лорнируют их молодые модники-сельди. Однако я не мог заглянуть так глубоко, — до меня доносился снизу только звон колоколов.

Однажды ночью я увидел проходящий мимо большой корабль с распущенными кроваво-красными парусами,

походивший на темного великана в широком огненно-красном плаще. Был ли это Летучий Голландец?

Но в Амстердаме, куда я вскоре прибыл, я увидел страшного мингеера живого, правда на сцене. При этой okazji я познакомился в амстердамском театре с одной из тех русалок, которых тщетно искал в море. Так как она была очень мила, я посвящаю ей особую главу.

ГЛАВА VII

Легенда о Летучем Голландце вам, наверно, известна. Это история о заколдованном корабле, который не может достигнуть гавани и с незапамятных времен скитается по морю. Встретится ему другое судно, и вот к нему подплывают в лодке несколько человек из жуткого экипажа и просят оказать им услугу, приняв пакет писем. Эти письма следует непременно прибить гвоздями к мачте, не то судно постигнет какое-нибудь несчастье, особенно если на борту его нет библии или если к фок-мачте не прибита подкова. Письма всегда адресованы людям, которые либо никому неизвестны, либо давно умерли, так что, случается, поздний потомок получит вдруг любовное письмо, адресованное его прабабушке, сотню лет уже покоящейся в могиле. Этот деревянный призрак, это страшное судно названо по имени своего капитана, голландца, который однажды поклялся всеми чертями, что, несмотря на налетевший в ту минуту сильный шторм, он объедет какой-то мыс, название которого я позабыл, если бы даже для этого пришлось плавать до Страшного суда. Дьявол поймал его на слове, — он обречен блуждать по морям до Страшного суда, освободить же его в силах только верность женщины. Дьявол, как бы глуп он ни был, не верит в женскую верность и посему разрешает заколдованному капитану раз в семь лет сходить на берег и жениться, добываясь таким путем избавления. Бедный голландец! Он частенько радуется, избавившись от брака и своей избавительницы, и возвращается снова на борт корабля.

На этой сказке построена пьеса, которую я видел в амстердамском театре. Опять прошло семь лет, бедный голландец, утомившись более чем когда-либо от бесконечных блужданий, сходит на берег, заводит дружбу

с одним шотландским купцом, продает ему алмазы по смехотворно низкой цене и, услышав, что у его клиента красавица дочь, просит отдать ее ему в жены. И эта сделка тоже заключена. Вот мы видим дом шотландца: девица, робея душою, ожидает жениха. Она часто с тоской поглядывает на висящую в комнате большую темную картину, изображающую красивого человека в испано-голландском костюме: это старинная, доставшаяся по наследству картина, и, согласно признанию бабушки, на ней правдиво изображен Летучий Голландец в том облике, в каком его видели сто лет назад в Шотландии во времена короля Вильгельма Оранского. С этой картиной связано также переходящее из рода в род предостережение, по которому женщины этой семьи должны опасаться оригинала. Именно потому девушка с детства запечатлела в своем сердце черты этого опасного человека. И когда настоящий Летучий Голландец в подлинном своем виде входит в комнату, девушка трепещет, но не от страха. Однако и он смущен при виде портрета. Когда ему объясняют, кто изображен на портрете, ему все же удается отвести от себя всякие подозрения. Он смеется над суеверием, он издевается сам над Летучим Голландцем, Вечным Жидом океана. Однако, непроизвольно впадая в печальный тон, он рассказывает, какие несказанные муки пришлось претерпеть мингееру: среди безбрежной водной пустыни, говорит он, плоть его — не что иное, как гроб, в котором тоскует душа; его гонит от себя жизнь и не принимает смерть; подобно пустой бочке, которую волны кидают друг другу и снова насмешливо отбрасывают, мечется бедный голландец между жизнью и смертью, и ни та, ни другая не хотят его принять; его скорбь глубока, как море, по которому он плавает; на корабле его нет якоря, а в сердце — надежды.

Мне думается, что приблизительно таковы были слова, которыми закончил жених. Невеста серьезно приглядывается к нему и бросает косые взгляды на портрет. Похоже, что она разгадала его тайну, и когда он затем спрашивает: «Катарина, будешь ли ты мне верна?», она решительно отвечает: «Верна до смерти!» В этот момент, помнится, я услышал чей-то смех, и этот смех исходил не снизу, из ада, а сверху, из райка. Взглянув наверх, я увидел удивительно красивую Еву, которая соблазнительно

глядела на меня своими большими голубыми глазами. Рука ее свешивалась с перил галереи, и в руке она держала яблоко, или, вернее, апельсин. Но вместо того чтобы символически предложить мне половину, она лишь метафорически бросала мне на голову корки. Нарочно или случайно? Мне хотелось это узнать. Но когда я поднялся в раек, чтобы продолжить знакомство, то был немало удивлен, увидав белую кроткую девушку с чрезвычайно женственной, мягкой фигуркой, никак не болезненную, но хрустально-нежную, образ домовитой скромности и сулящей счастье прелести. Только где-то слева у верхней губки залегло, или, скорее, свернулось колечком нечто вроде хвостика у скользящей ящерицы. Это была таинственная черточка, которую никак нельзя встретить у невинных ангелов, но которой не встретишь и у каменных демонов. Эта черта не означала ни добра, ни зла, но лишь порочное познание: это — улыбка, отравленная ядом яблока познания, от которого вкусили уста. Когда я замечая эту черту на мягких полнокровных девичьих устах, я чувствую, как судорожно вздрагивают мои губы дрожью желанья — поцеловать ее уста: это — средство душ!

Поэтому я шепнул красивой девушке на ухо:

— Юфрау! Я хочу целовать твой рот.

— Клянусь богом, мингеер, прекрасная мысль, — был ответ, стремительно, с упоительным благозвучием прозвучавший из глубины сердца.

Однако нет... мне хочется теперь умолчать обо всей этой истории, которую я хотел рассказать здесь и для которой Летучий Голландец должен был служить только рамой. Так я отомщу тем притворно целомудренным женщинам, которые упиваются подобными историями, восхищаются ими до пуга, а то и глубже, а затем бранят рассказчика, морщат нос в обществе и кричат о его безнравственности. Это хорошая история, превосходная, как ананасное варенье, или как свежая икра, или как трюфели в бургундском, и она могла бы послужить приятным чтением после молитвы. Но из мстительности, в наказание за прежние несправедливости, я молчу. Поэтому я ставлю здесь многоточие...

Это многоточие означает черный дивал, на нем-то и произошла история, которой я не рассказываю. Невин-

ному придется пострадать вместе с виноватым, иная чистая душа поглядывает сейчас на меня молящим взглядом. Что же, этим избранным я потихоньку признаюсь, что никто так дико не целовал меня, как та голландская блондинка, и что она победоносно разрушила предубеждение, которое я до тех пор питал против белокурых волос и голубых глаз. Только теперь понял я, почему один английский поэт сравнил таких дам с замороженным шампанским. Под ледяной оболочкой таится пламеннейший напиток.

Нет ничего более пикантного, чем контраст между внешней холодностью и внутренним жаром, который вакхически вспыхивает и непреодолимо опьяняет счастливого бражника. Да, значительно сильнее, чем у брюнеток, пылает пожар чувственности в этих сошедших с иконы тихонях-святых с золотым ореолом волос, и синими небесными глазами, и благочестиво лилейными руками. Я знаю блондинку, дочь одного из лучших голландских семейств, которая время от времени покидала свой прекрасный замок на Зюдерзее, отправлялась инкогнито в Амстердам, а там в театре швыряла каждому, кто ей понравится, апельсиновые корки в голову и — голландская Мессалина — проводила иной раз неистовые ночи даже в матросских кабаках.

...Придя еще раз в театр, я поспел как раз к последней сцене пьесы, когда жена Летучего Голландца, госпожа летучая голландка, ломает в отчаянии руки на высоком утесе, а в море на палубе страшного корабля стоит злополучный супруг. Он любит ее, но хочет покинуть, чтобы избавить от гибели, и открывает ей свою ужасную судьбу и тяготеющее над ним страшное проклятие. А она кричит громким голосом: «Я была тебе верна до этого часа и знаю надежное средство сохранить мою верность до самой смерти!»

С этими словами верная жена бросается в море, и вот наступает конец проклятью, тяготеющему над Летучим Голландцем; он спасен, и мы видим, как корабль-призрак погружается в морскую пучину.

Мораль пьесы для женщин заключается в том, что они должны остерегаться выходить замуж за летучих голландцев, а мы, мужчины, можем из этой пьесы вывести, что даже при самых благоприятных обстоятельствах погибаем из-за женщин.

ГЛАВА VIII

Но не в одном только Амстердаме боги благосклонно позаботились о том, чтобы разрушить мое предубеждение против блондинок... И в остальной Голландии я имел счастье исправить свои былые заблуждения. Я ни в коем случае не хочу превозносить голландок за счет дам других стран. Избави меня небо от подобной несправедливости, которая с моей стороны явилась бы в то же время величайшей неблагодарностью! Каждая страна обладает своей особой кухней и особой женственностью, и здесь все зависит от вкуса. Один любит жареных кур, другой жареных уток; что касается меня, то я люблю и жареных кур, и жареных уток, и, кроме того, еще жареных гусей. Если взглянуть с высоко-идеалистической точки зрения, женщины повсюду имеют некоторое сходство с кухней данной страны. Разве британские красавицы не так же полезны, питательны, солидны, основательны, содержательны, наивны и в то же самое время так же превосходны, как добрые простые блюда старой Англии: ростбиф, баранина, пудинг в пылающем коньяке, сваренные в воде овощи под двумя соусами, из которых один из топленого масла? Тут не улыбнется вам какое-нибудь фрикасе, тут вас не обманет никакое ветренное vol au vent;¹ тут не вздыхает остроумное рагу, тут не подаются всяческие пустяки, на тысячу ладов начиненные, вареные, взбитые, печеные, подсахаренные, пикантные декламационные и сентиментальные блюда, кои мы находим во французских ресторанах и кои представляют столь разительное сходство с прекрасными француженками! Разве мы не замечаем столь часто, что у последних основная сущность воспринимается как нечто второстепенное, что само жаркое иногда имеет меньше значения, нежели соус, что здесь главное — вкус, грация и элегантность? Итальянская желто-жирная, страстно-пряная, юмористически гарнированная, но в то же время томительно-идеалистическая кухня носит полностью характер итальянских красавиц. О, как тоскую я иногда по ломбардскому

¹ Слоеное тесто с начинкой, отличающееся воздушной легкостью (буквально: полет по ветру) (*франц.*).

stufato, tagliarini u broccoli¹ блаженной Тосканы! Все плавает в масле, бездеятельно и нежно, разливается сладкими мелодиями и трелями Россини и рыдает от ароматного лука и тоски! Макароны, однако, пужно есть пальцами, и тогда они называются: Беатриче!

Слишком уж часто вспоминаю я об Италии, и чаще всего по ночам. Третьего дня мне приснилось, что я в Италии, что я пестрый арлекин и лежу весьма лениво под плакучей ивой. Но нависшие ветви этой плакучей ивы оказались самыми настоящими макаронами, ниспадавшими столь протяжно и приятно до самого моего рта; сквозь эту макаронную листву текли вместо солнечных лучей потоки желтого масла, и в конце концов сверху пролился белый дождь из натертого пармезана.

Ах, приснившимися макаронами сыт не будешь... Беатриче!

О немецкой кухне — ни единого слова. Она обладает всеми возможными добродетелями и только одним пороком, — я не скажу, однако, каким. Тут есть чувствительные, но робкие печенья, влюбленные яичницы, дельная лапша, душевный ячменный суп, оладьи с яблоками и салом, добродетельные семейные клецки, кислая капуста, — благо тому, кто в состоянии переварить все это.

Что касается голландской кухни, она отличается от последней, во-первых, чистоплотностью, а во-вторых, своеобразным соблазнительным вкусом. Неопишимо сладостно готовится в Голландии особым способом рыба. Трогательно задушевный и в то же время глубоко-мысленный аромат сельдерея. Осознавшая себя наивность и чеснок. Достоинно порицания однако, что они носят флашелевые панталоны, — не рыбы, а прекрасные дочери омываемой морем Голландии.

Но приехав в Лейден, я убедился, что там ужасно дурная кухня. Гамбургская республика избаловала меня; я принужден еще раз похвалить тамошнюю кухню и притом воспользуюсь случаем снова воздать хвалу прекрасным девицам и женщинам города Гамбурга. О вы, боги, как я тосковал в первые четыре недели по копченому мясу и горлицам Гаммонии! Я тосковал сердцем и желудком.

¹ Рагу, итальянской вермишели и цветной капусте.

И я бы умер от тоски, если бы хозяйка «Рыжей коровы», наконец, не влюбилась в меня.

Слава тебе, хозяйка «Рыжей коровы»!

Это была коренастая женщина с очень большим круглым животом и очень маленькой круглой головкой. Красные щечки, голубые глазки — розы и фиалки. Целыми часами сидели мы рядышком в саду и пили чай из подлинно китайских фарфоровых чашек. Это был прекрасный сад! — квадратные и треугольные гряды, симметрично усыпанные вокруг золотым песком, киноварью и мелкими блестящими ракушками. Стволы деревьев красиво окрашены в красный и синий цвета. Медные клетки полны канареек. Драгоценнейшие тюльпаны в пестро размалеванных глазированных горшках. Тисы, изумительно искусно подстриженные в видеobelisks, пирамид, ваз и даже животных. Тут же стояло тисовое дерево, подрезанное в виде зеленого быка, почти ревниво глядевшего на меня, когда я обнимал ее, милую хозяйку «Рыжей коровы».

Слава тебе, хозяйка «Рыжей коровы»!

Когда мифрау, бывало, украсит голову фризскими золотыми щитками, покроет живот, точно панцирем, юбкой из пестрого с цветочками атласа, укутает руки белой пеной драгоценнейших брабантских кружев — она кажется сказочной китайской куклой, чем-то вроде богини фарфора. Когда я впадал от всего этого в восторг и звучно целовал ее в обе щеки, она оставалась совершенно по-фарфоровому неподвижной и совершенно по-фарфоровому вздыхала: «Мингеер!» И тогда казалось, что все тюльпаны в саду тронуты и умиленно вместе с нею вздыхают: «Мингеер!»

Эта деликатная связь доставляла мне кое-какие деликатные куски. Ибо каждая подобная любовная сцена не оставалась без влияния на содержание корзины с едой, которые прекрасная хозяйка посылала мне каждоедневно домой. Мои сотрапезники, шестеро других студентов, обедавших со мной у меня в комнате, могли каждый раз угадать по вкусу жареной телятины или говяжьего филе, как сильно любит меня хозяйка «Рыжей коровы». Если кушанье вдруг оказывалось дурным, мне приходилось смиренно сносить много насмешек, и объяснялось это так: «Посмотрите, какой жалкий вид у Шнабелевского,

какое у него желтое лицо и сколько морщинок, какие мутные у него, точно с перепоя, глаза, кажется, будто они вылезли у него на лоб; не удивительно, что он надоел нашей хозяйке и она стала посылать нам дурные кушанья». Или еще говорили: «Господи, Шнабелевопский с каждым днем слабеет и худеет; в конце концов он совсем потеряет благосклонность нашей хозяйки, и тогда мы будем всегда получать такую же дурную пищу, как сегодня, — надо бы нам его хорошенько подкормить, чтобы к нему снова возвратился его пылкий вид». Затем они совали мне в рот самые плохие куски и заставляли есть непомерно много сельдея. Когда же дурной стол затягивался на несколько дней подряд, меня осаждали серьезнейшими просьбами позаботиться об улучшении питания, снова воспламенить сердце нашей трактирщицы, повысить мою нежность к ней, — короче говоря, пожертвовать собой ради общего блага. В длинных речах доказывали они тогда, как благородно, как прекрасно героическое самоотречение во имя блага сограждан, подобно Регулу, который позволил себя засадить в старую, набитую гвоздями бочку, или подобно Тезею, который добровольно отправился в пещеру Минотавра, — затем шли цитаты из Ливия, Плутарха и т. д. Они пытались побудить меня к подобному соревнованию наглядными способами, для чего рисовали упомянутые великие деяния на стене, и, конечно, с гротескными намеками: ибо Минотавр походил на рыжую корову с хорошо всем известной трактирной вывески, а утыканная гвоздями карфагенская бочка напоминала самое хозяйку. Вообще же эти неблагодарные люди избрали внешность этой превосходной женщины постоянной мишенью своего остроумия. Обыкновенно они складывали ее изображение из яблок или скатывали из хлебных крошек. Они брали маленькое яблочко, которое должно было изображать голову, насаживали его на очень большое яблоко, представлявшее живот, и укрепляли этот живот на двух зубочистках, игравших роль ног. Или скатывали изображение нашей хозяйки из хлебного мякиша и сверх того лепили совсем тщедушную куколку, которая должна была изображать меня самого, и сажали эту куколку на большую фигуру, делая при этом самые скверные сравнения. Один, например, замечал, что маленькая фигурка представляет собою

Аннибала, восходящего на Альпы. Другой, напротив, утверждал, что это Марий, сидящий на развалинах Карфагена. Как бы там ни было, но если бы я не восходил иногда на Альпы или не сидел иногда на развалинах Карфагена, то мои сотрапезники питались бы очень дурно.

ГЛАВА IX

Когда жаркое оказывалось совершенно негодным, мы принимались спорить о божьем бытии. И бог получал обычно большинство голосов. Лишь трое из сотрапезников были настроены атеистически; однако и они поддавались убеждениям, когда мы получали к десерту хотя бы хороший сыр. Самым рьяным дейстом был маленький Самсон, и, диспутируя о божьем бытии с долговязым ван Питтером, он приходил иногда в превеликий раж, бегал взад и вперед по комнате, то и дело выкликая: «Клянусь богом, это недопустимо!» Длинный ван Питтер, худощавый фрисландец, душа которого была невозмутима, как воды голландского канала, а слова спокойно тянулись, подобно барке на бечеве, черпал аргументы из немецкой философии, которой тогда упорно занимались в Лейдене. Он посмеивался над тупыми головами, которые приписывают господу богу личное бытие; он обвинял их даже в богохульстве, так как они наделяют бога мудростью, справедливостью, любовью и тому подобными человеческими свойствами, которые вовсе не подобают ему, ибо эти свойства являются до известной степени негативным изображением человеческих пороков, поскольку мы их воспринимаем лишь как противопоставление человеческой глупости, несправедливости и злобе. Когда же ван Питтер принимался развивать свои собственные пантеистические взгляды, то против него выступал толстый фихтеанец, некто Дриксен из Утрехта, умевший соответствующим образом подпортить репутацию этого смутного, разлитого в природе, а стало быть, все-таки существующего в пространстве бога. Он даже признавал богохульством одно то, что кто-то говорит о бытии бога, поскольку «бытие» есть понятие, предполагающее определенное пространство, короче говоря, нечто субстанциональное. Да, богохульство сказать о боге «он существует»; чистейшее

бытие нельзя мыслить без чувственного ограничения. Если хочешь мыслить бога, необходимо отвлечься от всякой субстанции; нельзя мыслить его как одну из форм протяжения, а только как известный порядок событий; господь не бытие, а чистое действие, он только принцип сверхчувственного мирового порядка.

Но при этих словах маленький Самсон впадал в совершенную ярость и еще безумнее бегал по комнате и еще громче кричал: «О господи, господи! Клянусь богом, это недопустимо, о господи!» Думается, он мог бы поколотить толстого фихтеанца во славу божью, не обладай он столь слабенькими ручонками. Иногда он и в самом деле кидался на толстяка, но тот преспокойно брал маленького Самсона за обе ручонки, спокойно держал его, совершенно спокойно излагал ему свою систему, не вынимая из рта трубки и извергая ему прямо в лицо жидкие аргументы вместе с густейшими клубами табачного дыма, так что малыш чуть не задышался от дыма и негодования и все тише бормотал, моля о помощи: «О господи! О господи!» Но бог никогда не приходил ему на помощь, хотя малыш боролся за его же собственное дело.

Несмотря на этот божеский индифферентизм, несмотря на эту почти человеческую неблагодарность бога, маленький Самсон все же оставался верным чемпионом деизма и, думается мне, в силу врожденной склонности. Ибо предки его принадлежали к избранному богом народу, к народу, которому господь когда-то особо протезировал своею любовью и который поэтому до сего часа сохранил известную преданность господу богу. Евреи всегда были самыми послушными деистами, в особенности те, которые, подобно маленькому Самсону, родились в вольном городе Франкфурте. В политических вопросах они могут быть самыми крайними республиканцами и даже вполне по-санкюлотски валяться в грязи, но когда в игру вступают религиозные понятия, они остаются верноподданнейшими камер-лакеями своего Иеговы, старого фетиша, которому нет никакого дела до всего их рода и который ничего не имеет против того, чтобы его обратили в божественно чистый дух.

Я думаю, этот божественно чистый дух, этот парвеню небес, который ныне столь моралистически, столь космополитически и столь универсально образован, питает

тайное недоброжелательство к бедным евреям, которые знавали его еще в первобытно грубом его облике и которые ежедневно напоминают ему в своих синагогах о его прежних темных национальных связях. Быть может, старый господин не желает больше слышать о том, что он палестинского происхождения и что когда-то он был богом Авраама, Исаака и Иакова и пазывался Иеговой.

ГЛАВА X

С маленьким Самсоном я поддерживал в Лейдене очень близкие отношения, и он еще часто будет поминаться в этих записках. Кроме него, я чаще всего встречался с другим моим сотрапезником, молодым ван Мойленом; я способен был целыми часами глядеть на его красивое лицо, думая при этом о его сестре, которую я никогда не видел и о которой знал только, что она красивейшая женщина в Ватерланде. А ван Мойлен был образцом мужской красоты, Аполлоном, но Аполлоном не из мрамора, а скорее из сыра. Он был самым совершеннейшим голландцем, какого я когда-либо видел. Своеобразная помесь мужества и флегмы. Когда он однажды в кофейне взбесил одного ирландца, тот выхватил из кармана пистолет и выстрелил, но не попал, а только выбил у него изо рта глиняную трубку; лицо ван Мойлена осталось при этом неподвижно, как сыр, и он равнодушно-спокойнейшим тоном произнес: «Jan, e nie Pier».¹ Мне была противна его улыбка, потому что он показывал при этом ряд совсем маленьких белых зубов, похожих скорее на рыбы кости. Еще не нравилось мне, что он носил большие золотые серьги. Была у него странная привычка каждый день переставлять в своей комнате мебель, и когда бы ни прийти к нему, он бывал занят либо перестановкой комода на место кровати, либо перестановкой письменного стола на место дивана.

Маленький Самсон был в этом отношении самой страшной его противоположностью. Он терпеть не мог, чтобы в его комнате передвигали даже мелкие предметы: он явно впадал в беспокойство, когда кто-нибудь брал в руки

¹ «Ян, новую трубку!» (голл.).

хотя бы безделицу вроде свечных шиппов. Все должно было оставаться там, где лежало. Ибо мебель и прочие предметы служили ему, согласно правилам мнемоники, подсобным средством для фиксирования в памяти всевозможных исторических дат или философских положений. Когда однажды в его отсутствие служанка извлекла из комнаты какой-то старый ящик и вынула из комода сорочки и носки, чтобы отдать их в стирку, он возвратясь домой, впал в крайнее отчаяние и утверждал, что полностью забыл историю Ассирии и что все его аргументы о бессмертии души, которые он с таким трудом расположил весьма систематически по различным ящикам, попали в стирку.

К оригиналам, с которыми я познакомился в Лейдене, относится также мингеер ван дер Писсен, кузен ван Мойлена, который меня ему и представил. Он был профессором богословия в университете, и я слушал у него «Песнь Песней» Соломона и «Откровение от Иоанна». Это был красивый, цветущего вида мужчина, лет около тридцати пяти, очень серьезный и степенный на кафедре. Когда же я однажды вздумал навестить его, в гостиной не оказалось ни души, но через полуоткрытую дверь бокового кабинета я увидел весьма удивительное зрелище. Кабинет был убран наполовину в китайском стиле, наполовину во французском стиле помпадур; на стенах отливающая золотом шелковая обивка; на полу драгоценнейший персидский ковер; повсюду удивительные фарфоровые пагоды, перламутровые безделушки, цветы, страусовые перья и драгоценные камни, кресла, обитые красным бархатом с золотыми кистями и среди них особенно высокое кресло, похожее на трон, на котором сидела маленькая девочка, никак не старше трех лет, одетая в платье из голубого шитого серебром атласа, старинного франкского покроя; в одной руке она держала пестрое павлинье опахало, высоко подняв его, точно скипетр, в другой — увядший лавровый венок. На полу перед нею кувыркались мингеер ван дер Писсен, его негритенок, цудель и обезьяна. Все они четверо таскали друг друга за волосы и кусали, между тем как ребенок и сидевший на жердочке зеленый попугай без умолку кричали «браво!» Наконец мингеер встал, опустился перед ребенком на колени, совершенно серьезно произнес по-латыни по-

хвальное слово мужеству, благодаря которому он победил и сокрушил своих врагов, и подставил девочке голову, чтобы она возложила на нее увядший лавровый венок. «Браво! Браво!..» — воскликнули дитя и попугай, а затем я, входя в комнату.

Мингеер казался несколько смущенным тем, что я застал его за проявлением такого чудачества. Как мне потом рассказывали, эта сцена разыгрывалась ежедневно; ежедневно он побеждал негра, пуделя и обезьяну; ежедневно его венчала лавровым венком маленькая девочка, которая вовсе не была его дочерью, а подкидышем из сиротского дома в Амстердаме.

ГЛАВА XI

Дом, в котором я квартировал в Лейдене, занимал когда-то Ян Стен, великий Ян Стен, которого я считаю столь же великим, как и Рафаэля. Как религиозный живописец, Ян был так же велик, и это все когда-нибудь ясно поймут, когда религия страдания угаснет и религия радости сорвет мрачный флер с розовых кустов этой земли и когда соловьи, наконец, ликуя, зальются своими столь долго затаенными песнями восторга.

Но ни одному соловью не дано петь так светло и восторженно, как рисовал Ян Стен. Никто не понимал так глубоко, как он, что на сей земле должен быть вечный праздник; он понимал, что наша жизнь — это всего только красочный поцелуй бога, и знал, что дух святой прекраснее всего открывается в свете и смехе.

Его глаза смеялись, погружаясь в свет, а свет отражался в его смеющихся глазах.

И Ян навсегда остался добрым, милым ребенком. Когда старый строгий лейденский проповедник сел рядом с ним возле очага и стал корить его за его веселое времяпрепровождение, его веселый, нехристианский образ жизни, его пристрастие к вину, его беспорядочное хозяйство и закоренелую жизнерадостность, Ян совершенно спокойно слушал его битых два часа, не проявляя ни малейшего нетерпения по поводу этой длинной проповеди, и только раз прервал ее словами: «Да, доминe,¹ вот этак

¹ Господин (лат.).

освещение будет много лучше; я попрошу вас, домине, пододвиньте ваш стул чуть-чуть ближе к камину, чтобы огонь бросал красный отсвет на все ваше лицо и чтобы остальная часть тела оставалась в тени...»

Домине в бешенстве встал и удалился. Ян, однако, тотчас же схватил палитру и написал старого сурового домине точь-в-точь таким, каким тот был во время своей обличительной проповеди; так домине, ни о чем не подозревая, послужил ему моделью. Портрет этот превосходен, он висел в моей спальне в Лейдене.

После того как я перевидал в Голландии так много картин Яна Стена, мне кажется, будто я знаю всю жизнь этого человека. Да, я знаю всю его родню, его жену, его детей, его мать, всех его кузенов, его домашних врагов и прочих близких ему людей, да, я знаю их всех в лицо... Ведь эти лица приветствуют нас со всех его картин, и собрание их было бы биографией художника. Он часто одним-единственным мазком кисти запечатлевал в них глубочайшие тайны своей души. Так, думается, жена частенько попрекала его за обильные возлияния, потому что на картине, которая изображает «праздник бобов» и на которой Ян сидит за столом в кругу своей семьи, жена его представлена с чрезмерно большою кружкою вина в руке, и глаза ее блестят, как у вакханки. Я, однако, убежден, что добрая женщина никогда не употребляла вина больше чем следует и что хитрец думал убедить нас, будто не он, а жена любит выпить. Оттого-то и посмеивается он так весело с картины. Он счастлив: он сидит среди своих; сынишка его — король бобов и стоит в сусальной короне на стуле; старуха мать с блаженнейшей улыбкой на морщинистом лице держит на руках младшего внучонка; музыканты наигрывают свои самые забавные, развеселые плясовые мотивы, а бережливо-рассудительная, хозяйственно-ворчливая хозяйка дома нарисована так, чтобы у всех потомков возникало подозрение, что она пьяна.

Как часто имел я возможность в моей квартире в Лейдене целыми часами представлять себе давно минувшие домашние сцены, которые пережил и перенес в ней чудесный Ян. Иногда мне казалось, что я вижу его точно живым у стапка; он время от времени прикладывается к кувшину, чтобы «подумать и при этом выпить, а потом

снова выпить, уже не раздумывая». Это был не мрачно католический призрак, а по-современному светлый дух радости, даже после смерти посещающий свою мастерскую, чтобы рисовать веселые картины и пить. Только такие призраки будут являться порою среди бела дня нашим потомкам, когда солнце глядит в сияющие окна, и не черно-глухие колокола, а пурпурно-восторженные трубные звуки возвестят с башни милый обеденный час.

Воспоминания о Яне Стене было, однако, лучшим, или, точнее, единственным благом в моей лейденской квартире. Не будь этого уютного очарования, я не держал бы в ней и недели. Снаружи дом был и скверный, и жалкий, и угрюмый, совершенно не голландский. Темный ветхий дом стоял у самой воды, и, проходя мимо него по ту сторону канала, казалось, видишь старую ведьму, глядящуюся в блестящее волшебное зеркало. На крыше, как на всех голландских крышах, стояла обычно чета аистов. Рядом со мною помещалась корова, молоко которой я пил по утрам, а под окном был курятник. Мои пернатые соседки доставляли мне хорошие яйца; но так как мне неизменно приходилось, прежде чем они произведут их на свет, выслушивать продолжительное кудахтанье, нечто вроде скучного предисловия к их яйцам, то удовольствие от последних бывало в значительной степени отравлено. К подлинным же неприятностям моей квартиры относились, однако, две фатальнейшие гадости: во-первых, игра на скрипке, терзавшая мой слух в течение дня, и затем ночные происшествия в тех случаях, когда хозяйка обрушивалась на своего несчастного мужа со своей странной ревностью.

Тому, кто хотел бы изучить отношения хозяина моей квартиры и моей хозяйки, стоило только послушать, как они совместно музицируют. Муж играл на виолончели, а жена играла на так называемой *violon d'amour*,¹ однако никогда не держала темпа, неизменно обгоняла мужа на один такт и ухитрялась вымучивать из своего несчастного инструмента самые утонченно-пронзительные взвизги; когда виолончель начинала бубнить, а скрипка ныть, казалось, что слышишь перебранку супружеской четы.

¹ Виоле (франц.).

Жена все еще продолжала играть, когда муж уже давно кончил, так что казалось — ей хочется непременно, чтобы последнее слово оставалось за нею. Это была высокая, но очень худая женщина — кожа да кости, рот, в котором пощелкивало несколько фальшивых зубов, низкий лоб, почти полное отсутствие подбородка, но зато длиннейший нос, кончик которого выдавался наподобие клюва и которым она, играя на скрипке, казалось, порою приглушала звук струны.

Хозяин мой был человеком лет около пятидесяти, с очень тонкими ногами, с изможденно-бледным лицом и совсем маленькими, беспрестанно мигающими зелеными глазками, точно у часового, которому солнце светит прямо в лицо. По профессии он был бандажистом, а по религии — анабаптистом. Он очень усердно читал Библию. Это чтение отражалось на его ночных сновидениях, и за утренним кофе он, мигая, рассказывал жене, что снова сошла на него великая благодать, что святейшие персоны удостоили его своей беседы, что он общался даже с самим высочайше-святейшим величеством Иеговой и что все ветхозаветные женщины оказывали ему весьма дружественное и нежное внимание. Последнее обстоятельство вовсе не радовало мою хозяйку, и не раз проявляла она свое ревнивейшее неудовольствие по поводу ночных походов мужа с ветхозаветными женщинами. Была бы, говорила она, хотя бы пречистая мать Мария, престарелая Марфа, или пускай даже Магдалина, которая ведь кое-как исправилась... но ночные похождения с пьянчужками дочерьми старого Лота, с грязной мадам Юдифь, с истаскавшейся царицей Савской и им подобными неприличными бабами совершенно недопустимы. Ничто, однако, не могло сравниться с ее яростью, когда однажды утром муж, впад от избытка блаженства в словоблудие, набросал восторженный портрет прекрасной Эсфири, которая попросила помочь ей при совершении туалета, так как ей хотелось всемогуществом своих прелестей обратить на путь истины царя Агасфера. Напрасно уверял бедный человек, что господин Мардохай сам представил его своей прекрасной воспитаннице, что она в то время была уже полуодета, что он только расчесал ее длинные черные волосы, — тщетно! Обозленная женщина избила бедного мужа его собственными бандажами, выплеснула ему в

лицо горячий кофе и, несомненно, умертвила бы его, если бы он не поклялся всеми святыми прекратить всякие сношения с ветхозаветными женщинами и впредь общаться только с библейскими патриархами и пророками мужского пола.

Следствием этого избиения было то, что отныне мингеер стал трусливо утаивать свои ночные радости; но теперь он обратился окончательно в святейшего «гоуэ»;¹ он признавался мне, что у него хватило дерзости сделать безнравственное предложение даже нагой Сусанне; да, в конце концов дерзость его дошла до того, что он догрезился до гарема царя Соломона и до чаепития с его тысячью жен.

ГЛАВА XII

Злополучная ревность! Из-за нее была разрушена одна из моих лучших грез и косвенно, быть может, жизнь маленького Самсона.

Что такое сон? Что такое смерть? Приостановка ли жизни, или полнейшее ее прекращение? Да, для людей, которым ведомы только прошедшее и будущее и которые не в силах в каждом мгновении настоящего переживать целую вечность, да, для таких людей смерть должна быть ужасна! Потеряв оба костыля — пространство и время, — они погружаются в вечное ничто.

А сон? Почему мы не боимся отхода ко сну больше, чем погребения? Разве не страшно, что тело может быть безжизненным трупом в течение целой ночи, между тем как дух внутри нас ведет самую деятельную жизнь, — жизнь со всеми ужасами того разделения, которое мы только что установили между телом и духом? Если когда-нибудь в будущем они снова соединятся в нашем сознании, тогда, пожалуй, не станет больше снов, или грезить будут только больные люди, люди, в которых нарушена гармония. Лишь потихоньку и скупно грезил древние; яркий, потрясающий сон был для них подобен событию, и его заносили на скрижали истории. Подлинное сновидение начинается впервые у иудеев, народа духа, и достигает высшего расцвета у христиан, народа духов. Наши

¹ Развратника (*франц.*).

потомки ужаснутся, если когда-нибудь прочтут, какое мы вели призрачное существование, как был раздвоен в нас человек и как одна только половина вела подлинную жизнь. Наше время — а оно начинается у Христова креста — будет восприниматься как длительный период болезни всего человечества.

И все-таки какие сладкие сны могли сниться нам порою! Наши здоровые потомки вряд ли это поймут. Вокруг нас погибало все великолепие мира, а мы находили его вновь в недрах нашей души; в душе нашей нашли убежище аромат растоптанных роз и очаровательнейшая песня вспугнутых соловьев.

Я знаю все это и умираю от зловещих тревог и гнусных наслаждений нашего времени. Когда я вечером разденусь, и улягусь в постель, и вытяну ноги, и покроюсь белой простыней, меня подчас невольно охватывает трепет, и приходит на мысль, что я труп и что я сам себя хороню. Тогда я спешу разом закрыть глаза, чтобы ускользнуть от этой страшной мысли и спастись в страну снов.

То был сладкий, милый, солнечный сон. Небо небесно-голубое и безоблачное, море аквамариново-зеленое и тихое. Необозримо широкая водная равнина, а по ней плыл распвеченный пестрыми флагами корабль. Я сидел на палубе у ног Ядвиги и нежно беседовал с ней. Я читал ей, весело вздыхая, самые восторженные песни любви, что я сам написал на листах розовой бумаги, и она слушала, недоверчиво склонившись ко мне, со страстной улыбкой, и подчас порывисто выхватывала у меня из рук листки и бросала их в море. Но прекрасные русалки, с их белоснежными грудями и плечами, тотчас всплывали на поверхность и подхватывали вспорхнувшие песни любви. Когда я перегибался через борт, передо мною отчетливо раскрывалась морская глубь; там сидели русалки, точно в кругу гостей, и посреди них стоял юный морской бог, с чувствительно-одушевленным лицом декламировавший им мои любовные песни. Бурные аплодисменты раздавались после каждой строфы; зеленокудрые красавицы аплодировали так страстно, что их грудь и шея порозовели, и они выражали свое одобрение с радостным и в то же время все-таки сострадательным одушевлением: «Что за страшные существа эти люди! Как странна их жизнь! Как

трагична вся их судьба! Они любят друг друга и обычно не смеют об этом сказать, а если и смеют, то редко могут понять друг друга! И при этом они не живут вечно, как мы; они смертны; им даровано лишь краткое мгновение для того, чтобы искать счастье, они должны быстро поймать его, крепко прижать к сердцу, пока оно не улетит, — поэтому их любовные песни так печны и задушевы, так сладостно тревожны, так безнадежно веселы, такая причудливая в них смесь радости и скорби. Мысль о смерти бросает меланхолическую тень на их счастливейшие часы и нежно утешает в несчастье. Они могут плакать. Сколько поэзии в такой человеческой слезе!..»

«Слышишь, — сказал я Ядвиге, — как они там внизу судят о нас? Обнимем же друг друга, чтобы они перестали жалеть нас, чтобы они даже нам позавидовали!» Она же, возлюбленная, не говоря ни слова, взглянула на меня с бесконечной любовью. Я молча поцеловал ее. Она побледнела, и холодный трепет пробежал по ее прелестному телу. И вот, наконец, она лежала, оцепенелая, точно белый мрамор, в моих руках, и я мог бы подумать, что она умерла, если бы из глаз ее не пролились неудержимо два обильных потока слез, и эти слезы затопили меня, между тем как я все сильнее и сильнее сжимал в своих руках прелестное создание.

Тут до меня вдруг донесся визгливый голос мсей хозяйки, и я очнулся от сна. Она стояла возле моей кровати с потайным фонарем в руке и просила, чтобы я поскорее встал и прошел вместе с нею. Никогда не казалась она мне такой отвратительной. Она была в рубашке, и лунный блеск, проникая через окошко, золотил ее дряблые груди; они походили на два иссохших лимона. Не понимая, чего она хочет, почти в полусне, последовал я за нею в спальню ее супруга, — там лежал этот бедный человек, нагнув на глаза колпак, и, казалось, бурно грезил. Иногда тело его отчетливо содрогалось под одеялом; губы улыбались в непомерном блаженстве, порою судорожно вытягивались, точно для поцелуя, и он хрипел и лепетал: «Фасти, царица Фасти, ваше величество! Не бойся никаких Агасферов! Возлюбленная Фасти!»

С пылающими от гнева глазами поклонилась женщина над спящим супругом, приложила ухо к его голове, как

будто она могла подслушать его мысли, и прошептала мне: «Вы теперь убедились, мингеер Шнабелевопский? У него сейчас любовные дела с царицей Фасти! Презренный прелюбодей! Я еще вчера ночью открыла эту непристойную связь. Даже язычницу он предпочитает мне. Но я женщина и христианка, и вы увидите, как я отомщу за себя».

С этими словами она сорвала одеяло с тела несчастного грешника, — он был весь в поту, затем схватила бандаж из оленьей кожи и стала безбожно хлестать щуплое тело несчастного грешника. Последний, будучи столь неприятно пробужден от своего библейского сна, закричал так громко, как будто столица Суза была охвачена пламенем, а Голландия затоплена водою, и своим криком привел в замешательство соседей.

На другой день весь Лейден говорил о том, что мой хозяин поднял такой шум, так как застал меня ночью в обществе своей супруги. Последнюю видели полуголой у окошка, и наша горничная, которая меня терпеть не могла, рассказала хозяйке «Рыжей коровы», расспрашивавшей о случившемся, будто она сама видела, как мифрау нанесла мне ночной визит в мою спальню.

Я не могу без великой горести вспоминать об этом событии! И какие страшные последствия!

ГЛАВА XIII

Если бы хозяйка «Рыжей коровы» была итальянкой, она, быть может, отравила бы мою пищу; но, так как она была голландка, она начала посылать мне очень плохую пищу. Уже на второй день мы испытали последствия ее женского гнева. Первым блюдом было: никакого супа. Это было ужасно, в особенности для столь хорошо воспитанного человека, как я, который от юности ел суп ежедневно и по сей день не может представить себе мир, где утром не всходит солнце, а к обеду не подают супа. Второе блюдо состояло из говядины, холодной, жесткой, как Миронова корова. Третьим блюдом шла треска, от головы которой пахло, как от человека. Четвертым — большая курица; далеко не будучи склонной утолить наш голод, она была столь тощей и изможденной, как будто

сама страдала от голода, так что к ней не хотелось прикоснуться почти из сострадания.

— Ну, а теперь, маленький Самсон, — вскричал толстый Дриксен, — ты все еще веришь в бога? И это справедливость? Госпожа бандажистиха посещает Шпабелевского среди темной ночи, а нам приходится из-за этого плохо есть среди бела дня.

— О господи, господи! — вздыхал малыш, весьма раздосадованный этими атеистическими выходками, а может быть, и скверной пищей. Его досада усилилась, когда длинный ван Питтер стал также отпускать остроты против антропоморфистов и похвалил египтян, которые когда-то поклонялись быкам и луку; ибо первые, если их зажарить, и второй, если его утушить, приобретают вполне божественный вкус.

Однако такого рода издевательства вызывали все более горестное настроение в душе маленького Самсона, и он, наконец, следующим образом заключил свою апологию деизма:

— Что солнце для цветов, то бог для людей. Когда лучи этого небесного светила касаются цветов, они весело поднимаются, раскрывают свои чашечки и разворачивают самые пестрые свои красочные уборы. Ночью, когда их солнце далеко, они стоят печальные, со свернутыми лепестками, и спят или грезят о солнечных поцелуях прошедшего. Цветы, которым долго приходится жить в тени, теряют окраску и плохо растут, становятся уродливыми, блекнут и увядают, унылые, не изведавшие счастья. Цветы же, растущие в полной темноте, в подвалах старых замков, среди монастырских развалин, пресмыкаются по земле, точно змеи, и уж самый аромат их тлетворен, ядовито одуряюще, смертелен.

— О, брось плести свои библейские притчи! — закричал толстый Дриксен, вливая в глотку большой стакан можжевелевой водки. — Ты, маленький Самсон, — благочестивый цветок; ты так жадно сосешь святые лучи добродетели и любви под солнечным сиянием божьим, что душа твоя расцветает, точно радуга; наша же, отворотившись от божества, увядает бесцветно и безобразно или даже распростаивает зловоние...

— Я видел однажды во Франкфурте, — сказал маленький Самсон, — часы, которые не верили ни в каких часовщиков. Они были томпаковые и шли очень скверно.

— Я тебе покажу по крайней мере, что такие часы могут бить, — возразил Дриксен, но при этом вдруг успокоился и перестал травить малыша.

Так как последний, несмотря на свои слабые ручонки, превосходно фехтовал, было решено, что они будут драться в тот же день. Они напали друг на друга с большим озлоблением. Черные глаза маленького Самсона широко раскрылись и засверкали, и тем разительнее был контраст с ручонками, столь жалко выглядывавшими из подвернутых рукавов рубашки. Он наступал все стремительнее... ведь он бился за бытие господа бога, старого Иеговы, царя царей. Последний, однако, не оказал своему чемпиону ни малейшей поддержки, и на шестом туре малыш получил удар в легкое!

— О господи! — простонал он и упал наземь.

ГЛАВА XIV

Эта сцена страшно меня потрясла. Но вся буря моих чувств обратилась против женщины, бывшей косвенною причиной такого несчастья; с сердцем, полным гнева и скорби, бурею помчался я к «Рыжей корове».

— Чудовище, почему ты не прислала супа? — таковы были слова, с которыми я обратился к побледневшей хозяйке, застигнув ее в кухне. Фарфор на камине задрожал при звуке моего голоса. Я был страшен, насколько может быть страшен человек, когда он не поел супа и когда у его лучшего друга проколото легкое.

— Чудовище, почему ты не прислала супа? — повторил я, а тем временем осознавшая свою вину женщина стояла передо мной, неподвижная и безмолвная. Наконец, точно из открытых шлюзов, из глаз ее хлынули слезы. Они залили ее лицо и стали капать в канал на ее груди. Однако это зрелище не могло смягчить моего гнева, и еще с большей горечью я сказал:

— О вы, женщины, я знаю, что вы умеете плакать, но слезы — не суп. Вы созданы нам на погибель: взгляд ваш — ложь; ваше дыхание — обман. Кто первым вкусил от яблока ада? Гуси спасли Капитолий, но из-за женщины Троя погибла. О Троя! Троя! Священная твердыня Приама, ты пала по вине женщины!.. Кто вверх в погибель

Марка Антония? По чьему наущению был убит Марк Туллий Цицерон? Кто потребовал голову Иоанна Крестителя? Кто был причиной увечья Абеяра? Женщина! История полна примеров того, как мы погибали из-за вас. Все ваши дела — безумие; все ваши помыслы — неблагодарность. Мы отдаем вам самое высокое, святейший огонь сердца, нашу любовь, — что же вы даете нам взамен? Мясо, скверную говядину, еще более скверную курятину, — чудовище, почему ты не прислала супа?

Напрасно теперь мифрау лепетала извинения и заклинала меня всеми блаженствами вкушенной нами любви простить ее на этот раз. Она обещала посылать мне отныне лучшую пищу, чем до сих пор, и по-прежнему считать за порцию всего шесть гульденов, хотя хозяин «Большой сороки» за свои грубые кушанья взыскивает восемь гульденов. Она зашла так далеко, что обещала мне к следующему дню паштет из устриц; да, в мягком звуке ее голоса благоухали даже трюфели. Но я остался непреклонным, я решил порвать навсегда и покинул кухню с трагическими словами:

— Прощай, достаточно мы с тобою на всю нашу жизнь настряпали!

Уходя, я слышал, как что-то упало. Был то какой-нибудь кухонный горшок или сама мифрау? Я не дал себе труда оглянуться и прошел прямо в «Большую сороку», чтобы заказать шесть обедов к следующему дню.

После этого najważнейшего дела я поспешил на квартиру маленького Самсона и застал его в очень плохом состоянии. Он лежал на большой старофранкской кровати без полога; в углах кровати возвышались четыре деревянные под мрамор колонны, поддерживавшие богато вызолоченный балдахин. У малыша было страдальчески бледное лицо, и во взгляде, который он кинул на меня, сказались столько печали, доброты и страдания, что я был тронут до глубины души. Врач только что ушел от него, признав рану опасной. Ван Мойлен, единственный, кто остался дежурить при нем ночью, сидел у кровати и читал ему Библию.

— Шнабелевопский, — вздохнул малыш, — хорошо, что ты пришел. Можешь послушать, это пойдет тебе на пользу. Вот чудная книга. Предки мои носили ее с собой по всему свету и приняли за нее много горя и несчастья,

позора и ненависти; их даже убивали за нее. Каждая страница в ней стоила слез и крови; это писанная отчизна детей божьих; это святое наследие Иеговы...

— Не говори слишком много, — крикнул ван Мойлен, — тебе это вредно.

— В особенности, — прибавил я, — не говори о Иегове, неблагодарнейшем из богов, за бытие которого ты сегодня дрался...

— О господи! — вздохнул малыш, и слезы потекли из его глаз. — О господи, ты помогаешь нашим врагам!

— Не разговаривай так много, — повторил ван Мойлен. — А ты, Шнабелевопский, — шепнул он мне, — извини, если я нагоню на тебя скуку: малыш во что бы то ни стало хотел, чтобы я прочел ему историю его тезки Самсона. Мы дошли до четырнадцатой главы, послушай: «Самсон пошел в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину среди дочерей филистимлянских».¹

— Нет! — воскликнул малыш, не открывая глаз. — Мы дошли уже до шестнадцатой главы. И мне чудится, будто я пережил в действительности все, о чем ты читаешь, будто я слышал блеяние овец, пасущихся у Иордана, будто я сам поджег хвосты у лисиц и погнал их на поля филистимлянские, будто я сам побил тысячу филистимлян ослипой челюстью. О филистимляне! Они угнетали нас и ругались над нами; они заставляли нас, как свиней, платить подати, и выкинули меня из танцзала на Конную площадь, и в Бокенгейме топтали меня ногами... выкинули... ногами топтали на Конной площади, о господи, это недопустимо!..

— У него лихорадка от раны, он бредит, — тихо заметил ван Мойлен и начал шестнадцатую главу:

— «Самсон пришел в Газу и увидел там блудницу и лежал у нее. Тогда сказали жителям Газы: «Пришел Самсон». И они окружили его, и следили за ним всю ночь у городских ворот, и соблюдали всю ночь тишину и говорили: «Подожди, завтра, когда станет светло, мы его удавим».

Самсон, однако, лежал до полуночи. В полночь он встал, схватил двери городских ворот с обоими их косяками, поднял их вместе с запорами, возложил их на плечи свои и отнес на вершину горы, которая на пути к Хеврону.

¹ Немецкое Philister значит и «филистимлянин» и «филистер».

После того он полюбил одну женщину у ручья Сорек, которую звали Далила. К ней вошли князья филистимлянские и сказали ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать и усмирить его; а мы дадим тебе за это каждый по тысяче и сто сиклей серебра».

И Далила сказала Самсону: «Милый, скажи мне, в чем твоя великая сила и чем тебя связать, чтобы усмирить тебя?»

Самсон сказал ей: «Если свяжут меня семью сырыми тетивами непросохшего льна, то я сделаюсь бессилен и буду как и прочие люди». Тогда принесли ей князья филистимлянские семь сырых тетив из непросохшего льна, и она связала его ими.

(Между тем один сидел скрытно у ней в спальне.) И она сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он же разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда ее пережжет огонь; и не узнана сила его».

— О, глухие филистимляне! — воскликнул тут малыш и улыбнулся, удовлетворенный. — Они ведь и меня хотели посадить в полицейскую караулку...

Но ван Мойлен читал дальше:

— «И сказала Далила Самсону: «Смотри, ты обманул меня и говорил мне ложь; скажи же теперь мне, чем бы связать тебя».

Он отвечал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди».

Далила взяла новые веревки и связала его ими и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» (Между тем один скрытно сидел в спальне.) И сорвал он их с рук своих, как нитки».

— О, глупые филистимляне! — воскликнул малыш в кровати.

— «И сказала Далила ему: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Милый, скажи же мне, чем бы связать тебя?» Он отвечал ей: «Если ты вплетешь семь прядей моих волос в ткань и укрепишь ее гвоздем...»

И сказала она ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и вырвал сплетенные пряди вместе с тканью и гвоздем».

Малыш засмеялся:

— Это было в Эшенгеймеровом переулке.

Но ван Мойлен продолжал:

— «И сказала она ему: «Как же ты говоришь: «люблю тебя», а сердце твое не со мною? Трижды ты обманул меня и не сказал, в чем великая сила твоя».

И как она своими словами тяготила его всякий день и мучила его, то душе его стало тяжело до смерти.

И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я назарей божий еще от чрева матери моей. Если остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду как прочие люди».

— Какая глупость! — вздохнул малыш.

Ван Мойлен продолжал:

— «Далила, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и созвала князей филистимлянских, сказав им: «Идите теперь, ибо он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней князья филистимлянские и принесли серебро в руках своих.

И усыпила она его на коленях своих, позвала человека и велела ему остричь семь кос головы его. И начала усмирять его. И отступила от него сила его.

И она сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь, вырвусь», — и не знал, что господь отступился от него.

Филистимляне же взяли его, выкололи ему глаза, и привезли его в Газу, и сковали его двумя медными цепями, и он молот в доме узников».

— О господи, господи! — тихонько жаловался и плакал, не переставая, больной.

— Лежи мирно, — сказал ван Мойлен и продолжал чтение:

— «Между тем волосы на голове его начали расти.

Князья же филистимлянские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши».

Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас».

И, когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из

дома узников, и он забавлял их, и поставили его между двумя столбами.

И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтоб я мог ощупать столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним».

Дом же был полоп мужчин и женщин; там были все властители филистимлянские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавлявшего их Самсона.

И воззвал Самсон к господу и сказал: «Господи боже! Вспомни меня и укрепи теперь, о боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза моих».

И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них — в один правую рукою своею, а в другой левою.

И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на властителей и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых Самсон умертвил при смерти своей, более, чем умертвил он при своей жизни...»

В этом месте глаза маленького Самсона раскрылись вдохновенно широко; он судорожно приподнялся, схватился тощими ручонками за обе колонки в ногах кровати и стал трясти их, причем гневно и прерывисто шептал: «Да умрет душа моя вместе с филистимлянами!» Но крепкие колонки не шелохнулись. Обессиленный, скорбно улыбающийся малыш упал на подушки, и из раны, повязка которой сдвинулась, хлынул красный поток крови.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПРЕДИСЛОВИЮ

(самим Гейне не печаталось, Штротман впервые напечатал этот текст в издании 1862 г. по корректурному экземпляру, имевшемуся у него в руках)

Предисловие к «Французским делам», как я слышу, появилось в столь изуродованном виде, что долгом моим является издать его в первоначальной целости. Выпущенная его теперь отдельным оттиском, я прошу отнюдь не приписывать мне намерения парочно раздражить или оскорбить нынешних властителей Германии. Я даже пытался, насколько позволяла истина, смягчить выражения. Поэтому я был немало удивлен, узнав, что в Германии это предисловие сочли все еще слишком резким. Боже мой! Что же это будет, если я дам волю моему сердцу и выскажусь полным голосом, сбросив всякие путы! А ведь это может случиться. Отвратительные вести, которые, точно вздохи, каждый день доносятся к нам с того берега Рейна, могут довести меня до этого. Напрасно вы стараетесь своей хулой уронить в общественном мнении друзей отечества и их принципы, выдавая последние за «французские революционные учения», а друзей отечества — за «французскую партию в Германии». Вы ведь всегда спекулируете на том, что есть дурного в немецком народе, — национальной ненависти, религиозном и политическом суеверии и глупости вообще. Но вы не знаете, что уже и Германию нельзя обмануть старыми штуками, что даже немцы заметили теперь, что национальная ненависть служит лишь средством для порабощения одной нации

другую и что в Европе вообще нет больше наций, а есть лишь две партии, одна из которых, называемая аристократией, считает себя привилегированной от рождения и узурпирует все блага гражданского общества, тогда как другая, называемая демократией, отстаивает свои неотъемлемые человеческие права и во имя разума стремится упразднить все наследственные привилегии. Право же, вы должны были бы назвать нас партией небесной, а не французской, ибо та декларация прав человека, на которой зиждется вся наша государственная наука, создана не во Франции, где, правда, она всего торжественнее была провозглашена, даже не в Америке, откуда ее вывез Лафайет, — она создана на небе, вечной отчизне разума.

Как ужасно должно быть для вас слово «разум»! Наверно, столь же ужасно, как и для наследственных врагов его, попов, царству которых оно тоже кладет конец и которых общая беда заставляет объединиться с вами.

Выражение «французская партия в Германии» не выходит у меня сегодня из головы, так как нынче утром в последней книжке «Edinburgh Review»¹ оно особенно поразило меня. Там помещена характеристика стихов господина Уланда, хорошего мальчика, и моих стихов, стихов злого мальчика, которого изображают вождем «французской партии в Германии». Это, как я подозреваю, лишь эхо немецких журналов, которых, к сожалению, я здесь не вижу. Однако если я сейчас и не могу оценить их как следует, то сделаю это ко всеобщему удовольствию как-нибудь в другой раз. В течение десяти лет являясь неизменно предметом газетной критики, высказывавшейся то про, то contra,² но всегда со страстью, по поводу моих сочинений, я полагаю, что в достаточной мере доказал свое равнодушие к печатным отзывам обо мне. Поэтому если теперь я иногда и буду упоминать об этих отзывах, чего я раньше никогда не делал, то читатель, надеюсь, все же поймет, что не личная обидчивость писателя, а высшие интересы гражданина вдохновляют мою речь. К сожалению, как я сказал уже, в Париже теперь, кроме политических газет, попадаетея очень

¹ «Эдинбургского обозрения» (англ.).

² То за, то против (лат.).

мало современных немецких произведений. Отсутствие их досадно для меня во всех отношениях. Право же, в этом великом городе, где каждый день разыгрывается какая-нибудь страница всемирной истории, пикантно было бы позаняться порой, ради контраста, нашими домашними *misères*.¹ Некий молодой человек недавно писал мне, что он в прошлом году напечатал по моему адресу ряд ругательств, за которые я не должен на него сердиться, так как мой антинациональный образ мыслей привел его в ярость и в патриотическом негодовании он дал волю словам. Этот молодой человек должен был бы довести свою любезность до конца и прислать мне также экземплярчик своего опуса. По-видимому, он принадлежит к беотийской партии в Германии, негодование которой по отношению к французской партии вполне простибельно; я от всего сердца прощаю его. Но, право же, мне было бы приятно, если бы он прислал мне самый опус. Тут я должен похвалить содомитскую партию в Германии, которая всегда сама присылает мне свои ругательства, порою даже изящно переписанные и — что всего похвальнее — уплатив почтовые расходы. Но этим людям незачем принимать такие меры предосторожности, чтобы скрыть свои имена. Несмотря на искаженную манеру письма, я всегда узнаю безымянных авторов этих безымянных подлостей, я знаю этих людей по стилю. «*Cognosco stilum curiae romanae!*»² — воскликнул благородный летописец Тридентского собора, когда подлый кинжал убийцы поразил его в спину.

Кроме партий содомитской и беотийской, возмущается мною в Германии еще и партия абдеритская. И уж не только мои французские принципы раздражают большинство ее членов. Тут действуют порою и более благородные мотивы. Например, один из вождей абдеритской партии, который уже долгие годы непрестанно громит и разносит меня, является только защитником своей супруги, которая считает, что я ее обидел, и поклялась погубить меня. Такая смертельная ненависть очень меня огорчает, ибо дама эта весьма привлекательна. В ней много черт сходства с Венерой Медицейской, а именно —

¹ Несчастьями, бедами (*франц.*).

² «Узнаю острие пера римского двора!» (*лат.*).

она так же стара, так же не имеет зубов; подбородок ее, когда она побреется, совершенно так же гладок, как подбородок сей мраморной богини; и ходит она почти такая же голая, желтая, конечно, показать, что кожа ее не совершенно желтая, что там и сям есть на ней и белые пятна. Тщетно обращался я к этой привлекательной даме с разными любезностями и в самом примирительном тоне, говорил, например, что я ей завидую, ибо бриться ей нужно лишь два раза в неделю, тогда как я должен выносить эту операцию каждый день, что среди женщин, не имеющих зубов, я считаю ее самой добродетельной, что я желал бы обладать ее сердцем (конечно, в золотом футляре), — но тщетно, никакие задабривания не помогли! Непримируемая слишком остро ненавидит меня, и, подобно тому как некогда Изабелла Кастильская поклялась не менять рубашку до тех пор, пока не падет Гранада, так и эта дама тоже поклялась не надевать чистой рубашки до тех пор, пока я, враг ее, не буду повержен во прах. Вот она и натравливает на меня всех писак, в частности своего бедного супруга, которому рубашка цвета Изабеллы на его дражайшей половине доставляет, право же, немалое неудобство, особенно летом, когда красавица по этой причине благоухает еще восхитительнее, чем обычно. Так что порою, обезумев, он выскакивает из постели и устремляется к письменному столу, стараясь поскорее дописаться до моей гибели.

Летом брокгаузовская «Энциклопедическая газета» печатает гораздо больше ругательных статей против меня, чем зимою.

Прости, любезный читатель, что строки эти не совсем подходят к нашему серьезному времени. Но враги мои слишком уж смехотворны! Я говорю — враги, я из вежливости дарю им этот титул, хотя большею частью они только мои клеветники. Это — маленькие людишки, ненависть которых не достигает даже моих икр. Тупыми зубами грызут они мои сапоги. В изнеможении лают они там, внизу.

Хуже, когда несправедливы ко мне друзья. Это может меня огорчить и в самом деле огорчает меня. Однако я не стану скрывать, я сам довожу до всеобщего сведения, что мое доброе имя подвергалось нападкам даже и со стороны небесной партии. Но у этой партии есть фанта-

зия, и ее намеки — не такие плоско прозаические, как намеки беотийской, содомитской и абдеритской партий. Разве не огромная требовалась фантазия, чтобы, как это случилось недавно, обвинить меня в самых антилиберальных тенденциях и счесть изменником делу свободы? Печатное суждение об этой инкриминируемой мне измене я на днях нашел в книге, озаглавленной «Письма дурака к дуре». За все то хорошее и остроумное, что есть в этой книге, за благородный образ мыслей автора вообще я охотно прощаю ему злые отзывы обо мне; я знаю, с какой стороны наваяно ему все это, откуда дул ветер. Дело здесь в том, что среди наших якобинских бешеных, которые после Июльской революции стали так громогласны, есть и продолжатели той полемики, которую я во время Реставрации вел с твердой прямолинейностью и в то же время с разумной осмотрительностью. Они же очень неумело делали свое дело и, вместо того чтобы личные затруднения, постигшие их вследствие этой причины, приписать собственной своей пеловкости, обрушили свой гнев на автора этих страниц, которого они видели невредимым. С ним случилось то же, что с обезьяной, которая подглядела, как бреется человек. Когда он вышел из комнаты, обезьяна вынула из ящика бритвенный прибор, намылилась, а затем перерезала себе горло. Не знаю, в какой мере поранили себе горло эти немецкие якобинцы, но вижу, что они истекают кровью. Теперь они бранят меня. «Смотрите, — восклицают они, — мы честно намылились и ради правого дела истекаем кровью; Гейне же, когда бреется, действует нечестно, он недостаточно серьезен, когда орудует ножом, он никогда не порежется, он спокойно вытирает следы мыла и при этом беспечно насвистывает и смеется над кровавыми ранами тех, кто перерезал себе горло, тех, у кого честные намерения».

Утештесь, на этот раз и я порезался.

Париж, конец ноября 1832 г.

Генрих Гейне

КОММЕНТАРИИ

СТАТЬИ

РОМАНТИКА

Написано летом 1820 года, по поводу сатиры В. фон Бломберга «Новейшая комедия многоумного небесного посланца Фосфоруса Корфункулуса Соляриса, которую он сам произвел на свет, играл и смотрел». Сатира была напечатана в 1810 году в «Heidelberger Taschenbuch» Алоиса Шрейбера и перепечатана в 1820 году в приложениях к «Rheinisch-Westfälischer Anzeiger». Там же в 1820 году появилась и статья Гейне (№ 67 Beilage).

Стр. 7. *«Листок искусства и развлечений»* — «Kunst und Unterhaltungsblatt».

«Всеобщая литературная газета в Галле» — «Hallische allgemeine Literatur-Zeitung».

...сатиры карфункелей и солярисов... — Имеется в виду пародийный альманах «Карфункель, или Трень-брень альманах. Карманная книжка для законченных романтиков и начинающих мистиков, изданная Ф. Баггезен. Тюбинген, 1810».

Орифламма — главнейшая воинская хоругвь королевских французских войск.

«СМЕРТЬ ТАССО»

Впервые напечатано в «Der Zuschauer» Hrsg. v. S. D. Symanski. Берлин, 1821, № 74, 76, 77, 80, 82, 83, 86, 95.

Стр. 10. *Вильгельм Сметс* (1796—1848) — немецкий поэт и драматург. Сотрудник альманахов, которые издавали Рассман и Руссо. Сборник стихов Сметса вышел в 1816 г.

Стр. 11. *Лирика* — первый и древнейший род поэзии — положение, выдвинутое Гердером; было развито А.-В. Шлегелем.

Стр. 13. ...первая его трагедия... — «Кровавая невеста» (в четырех действиях), Кобленц, 1818.

Стр. 14. *Тассо* Торквато (1544—1595) — великий итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575).

Леонора д'Эсте — дочь Эрколе и сестра Альфонса, герцогов Феррары. Легенда о любви Тассо и Леоноры д'Эсте лишена исторического основания.

Серасси Пьетро (1721—1791) — итальянский ученый. Его книга «Жизнь Тассо» вышла в 1785 г.

Мансо Джованни-Батиста — один из первых биографов Тассо. Его «Жизнь Торквато Тассо» вышла в Венеции в 1621 г. Сметс пользовался этой книгой.

Муратори Людовико (1672—1750) — итальянский историк. Издал большое число хроник и документов, преимущественно по истории средневековой Италии.

Стр. 19. *Ариосто* Людовико (1474—1533) — великий итальянский поэт эпохи позднего Возрождения. Автор поэмы «Неистовый Роланд» (сорок песен вышли в 1516 г., остальные шесть песен в 1532 г.). Эта поэма, написанная по мотивам феодального эпоса и куртуазных рыцарских романов, послужила источником и для Тассо.

Стр. 22. *Готгольд-Эфраим Лессинг* (1729—1781) — великий немецкий драматург и теоретик искусства. Первое имя, Иоганн, дано Гейне ошибочно.

«*Торквато Тассо*» Гете начал писать в 1780 и окончил в 1789 г.

Эленшлегер Адам-Готлиб (1779—1850) — датский поэт и драматург. «*Корреджисо*» вышел в 1816 г.

«РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛЬСКИЙ АЛЬМАНАХ МУЗ НА 1821 ГОД»

Впервые напечатано в «Der Gesellschafter, oder Blätter für Geist und Herz», Berlin, 13 August 1821. 129 Blatt. Beilage.

Стр. 29. *Фридрих Рассман* (1772—1831) — немецкий поэт и издатель альманахов.

Стр. 30. «*Альманахи муз*» *Фосса*, *Тика*, *Шлегеля* и др. — ежегодно издаваемые поэтические сборники и антологии, вокруг которых объединялись поэты, близкие по направлению. «Альманах муз», издававшийся Фоссом, выходил с 1776 по 1798 г. «Альманах муз» Тика и Шлегеля — в 1802 г.

Жан-Поль (1763—1825) — псевдоним немецкого писателя Рихтера Иоганна-Пауля. Его романы, исполненные тонкой иронии и причудливой чувствительности, высоко ценятся не только немец-

кими романтиками, но и писателями реалистического направления (Г. Келлер, В. Раабе и др.).

Стр. 30. *Клаурен*, Генрих (1771—1854) — немецкий писатель, автор сентиментальных повестей.

Каролина Фуке (1773—1831) — немецкая писательница. Жена известного поэта Фридриха де ла Мотт Фуке.

Стр. 31. *Ардт* Эрнст-Мориц (1769—1860) — немецкий писатель, автор националистических песен в эпоху войны с Наполеоном.

Бломберг (1786—1847) — немецкий поэт и драматург. В названной «Элегии» Бломберг прославляет художественный вкус герцогини Веймарской.

Бюрен Бернгард-Готфрид (1771—1845) — незначительный немецкий поэт.

Теобальд — то есть Вильгельм Сметс (см. примечание к стр. 10). На сюжет «Шельм фон Берген» Гейне впоследствии написал стихотворение (см. том 3 настоящего издания).

Гебауэр Христиан-Август (1792—1852) — немецкий писатель и издатель альманахов. Профессор философии в Бонне (1818—1823).

Николай Мейер (1775—1855) — немецкий поэт и переводчик. Друг Гете. Упомянутое Гейне стихотворение обозначено как «перевод старопровансальской народной песни 1402 года».

Адельгейда фон Штольтерфот (Цвирлейн), баронесса, (1800—1875) — немецкая поэтесса, была известна в свое время стихами, посвященными Рейну.

Куровский-Эйхен Фридрих (1780—1853) — немецкий поэт и новеллист. Был офицером русской службы.

Стр. 32. «*Собеседник*» — «*Gesellschafter*».

Элиза фон Гогенхаузен (1789—1857) — немецкая поэтесса. Вместе с мужем, бароном Гогенхаузеном, издавала журнал «*Sonntagsblatt*», в котором принимали участие Гейне, Иммерман, Фрейлиграт и др.

ПИСЬМА ИЗ БЕРЛИНА

Написаны Гейне для «*Rheinisch-Westfälischer Anzeiger*», где и напечатаны впервые (8 и 15 февраля, 12, 19 и 26 апреля, 3 мая, 28 июня, 5, 12 и 19 июля 1822 г.). Часть писем была включена Гейне в «Путевые картины» (II часть, 1827). В остальные издания «Путевых картин» берлинские письма не были включены.

Стр. 33. *Клейст* Генрих (1777—1811) — выдающийся немецкий поэт и драматург.

Стр. 33. *Ваше милейшее письмо...* — Гейне обращается к Генриху Шульцу, редактору «Rheinisch-Westfälischer Anzeiger». ...*сентябрь 1821 года.* — В сентябре 1821 г. Гейне путешествовал по Вестфалии.

Фриц фон Б. — Фридрих Бейгем, товарищ Гейне по юридическому факультету Боннского университета.

В. — Вундерман, соредактор Генриха Шульца.

...*древности в Зосте...* — *Зост* — город в Пруссии; в средние века был значительным торговым центром.

Стр. 34. *Галерея Джустиниани* — картинная галерея, принадлежавшая старинной итальянской фамилии Джустиниани. Основана в конце XVI в. В 1807 г. картинная галерея была перевезена в Париж, а в 1815 г. приобретена прусским королем. Первый каталог этой галереи (в двух томах с гравюрами) издан в Риме в 1631 г.

Стр. 35. *Длинный мост* — через Шпрее. Построен в 1692—1695 гг. Первоначально был построен не только над рекой, но и над обширной болотистой низменностью.

Иости — кондитерская в Берлине.

Бренны — славянское племя, населявшее нынешний Бранденбург (Бреннабург).

Глаз видит отпертые двери... — Гейне пародирует в этих стихах «Песню о колоколе» Шиллера.

Старый Дессауер — Леопольд I; князь Ангальт-Дессау (1676—1747), прусский генерал. Его статуя, работы Шадова (1794), была в 1828 г. перенесена на площадь Вильгельма.

Стр. 36. *Кейт Якоб* (1696—1758) — прусский фельдмаршал, участник Семилетней войны. Убит в сражении при Хихкпирхене. Статуя Кейта — работы Тассарта (1794).

Цитен Ганс-Иоахим (1699—1785) — прусский генерал. Статуя Цитена — работы Шадова (1794).

Зейдлиц Фридрих-Вильгельм (1721—1773) — прусский генерал. Статуя Зейдлица — работы Тассарта (1781).

Шверин Курт-Кристоф (1684—1757) — прусский генерал-фельдмаршал.

Винтерфельд Ганс-Карл (1707—1757) — прусский генерал.

Собор построен в Люстгартене Иоганном Бауманом в 1750 г. Башенки, о которых говорит Гейне, построены в 1820—1821 гг. архитектором Шинкелем.

Филолог В. — Август-Фридрих Вольф (1759—1824), исследователь Гомера.

Стр. 36. *Ориенталист Г.* — фон Гаммер-Пургшталь (1774—1856) — переводчик и популяризатор восточных литератур (арабской, персидской, турецкой).

Меланхтон Филипп (1497—1560) — один из деятелей реформации в Германии, богослов и педагог, сподвижник Лютера.

Бегасс Карл (1794—1845) — немецкий живописец. Гейне имеет в виду картину Бегасса «Сошествие святого духа» (1821) в алтаре собора в Люстгартене.

Теремин Франц (1780—1846) — известный немецкий проповедник и теоретик гомилетики, исходивший из положения «красноречие — не искусство, а добродетель». С 1818 г. начало выходить собрание его проповедей.

Паулюсианцы — то есть сторонники Паулюса. Паулюс Генрих-Эберхард (1751—1851) — протестантский богослов, глава протестантского рационализма.

Стр. 37. *Мост*, о котором упоминает Гейне, был построен Шинкелем в 1822—1824 гг. на месте старого деревянного Собачьего моста.

Липы — Унтер ден Линден — одна из главных улиц Берлина, начинающаяся от Замковой площади. Была обсажена на всем протяжении четырьмя рядами лип и каштанов.

Цейхгауз — главная архитектурная достопримечательность Унтер ден Линден. Построен в 1698—1706 гг. архитектором Мильдом и скульптором Андреасом Шлоттером.

Стр. 38. *...король живет... просто и буржуазно.* — Гейне имеет в виду Фридриха-Вильгельма III.

Эвнике Иоганна и *Мильдер* — берлинские оперные певицы.

Стр. 39. «*Союз Арминия*» — студенческий союз, основанный в 1820 г.; был распущен за связь с союзом «Полония» — патриотическим объединением студентов-поляков.

...в двенадцати пестрых жилетах. — Мода носить несколько жилетов возникла около 1818 г. и продержалась до 30-х гг.

Стр. 40. *Цельтер* Карл-Фридрих (1758—1832) — немецкий композитор. С 1800 г. дирижер певческой капеллы в Берлине. Был близок к Гете и написал музыку ко многим его песням и балладам.

Стр. 41. *...современные перуанцы...* — До появления европейцев перуанцы поклонялись солнцу.

Штих (Августа Крелингер) (1796—1865) — немецкая актриса.

Graces in all her steps... — стихи из поэмы великого английского поэта Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай». VIII, 488—489.

Стр. 41. *Неандер* Август (1789—1850) — протестантский богослов и историк церкви. По происхождению еврей. Крестился в 1806 г. С 1812 г. профессор церковной истории в Берлине. Входил в кружок берлинских романтиков, с которым Гейне поддерживал тесные связи. Занимая все более и более реакционные позиции, Неандер в 1835 г. выступил против известной книги Д. Штрауса «Жизнь Иисуса», подвергавшей рационалистической критике евангелие. Ожесточенные нападки Неандера способствовали лишению Штрауса кафедры профессора богословия в Цюрихе.

Гностики — представители мистико-религиозных течений, развивавшихся в Римской империи в I—II вв. н. э. наряду с христианством и оказавших на него некоторое влияние. В основе этих учений лежало представление о сокровенном познании, возвышавшемся над простой верой и доступном только избранным.

Василид — гностик, живший в Александрии в первой половине II в. Представитель эллинистического течения в гностицизме, сочетавшего элементы платоновской и пифагоровской философии с восточной мифологией.

Валентин — гностик, живший в Риме (ум. ок. 160 г.), разработавший наиболее целостную систему эллинистического гностицизма.

Вардесан (154—222) — сирийский гностик, по учению которого мир — злонамеренное создание противобожественных сил.

Стр. 42. *Карпократ* — гностик из Александрии, проповедовавший во второй половине II в. С его именем связана близкая к христианству секта карпократиков.

Марк — гностик середины II в., учение которого было особенно распространено в Малой Азии.

Буше Александр-Жан (1778—1861) — скрипач-виртуоз.

Спонтини Гаспаро (1774—1851) — итальянский композитор. С 1804 г. выступал в Париже, где после постановки оперы «Фердинанд Кортес» занял место дирижера Итальянской оперы. В 1820 г. получил приглашение в Берлин и стал придворным капельмейстером прусского короля. Деспотическое и нетерпимое поведение Спонтини, от которого зависела почти вся музыкальная жизнь Берлина, привело к враждебным демонстрациям публики, вынудившим его в 1842 г. покинуть Берлин.

Лангганс Иоганн-Готгард (1733—1808) — архитектор. Построил Бранденбургские ворота в Берлине.

Богиня наверху, конечно, достаточно известна вам из новейшей истории. — Статуя Виктории (работы Шадова) была увезена французами в Париж и возвращена в 1814 г.

Стр. 43. *Прадт Доминик* (1759—1837) — французский публицист.

Космели написал «Безобидные наблюдения во время путешествия через Петербург, Москву, Киев и Яссы» (Берлин, 1822), «Рапсодические письма с пути в Крым и Турцию» (Галле, 1813) и др.

Стр. 44. ...*Вольф, разорвавший на куски Гомера*... — А.-В. Вольф утверждал, что гомеровский эпос создан различными поэтами в разное время.

«*Кот Мур*» Э.-Т.-А. Гофмана был издан в 1821—1822 гг. Рецензия Лютвица была напечатана в «*Vossische Zeitung*» 12 января 1822 г.

Мальтиц Фридрих-Аполлониус — незначительный немецкий поэт, который в 1821—1823 гг. был близок к кружку Фарнхагена.

Хартман. — Под этим псевдонимом писал (также и в «*Rheinisch-Westfälischer Anzeiger*») друг Гейне Эрнст-Христиан-Август Келлер (1797—1879), правительственный референдарий в Берлине.

Гельвиц К.-Ф. (1773—1838) — композитор, ученик Цельтера и Шнейдера. Опера Гельвица «*Рудокопы*» шла в первый раз 15 января 1822 г.

Корейфф Давид (1783—1851) — врач и либреттист. Был близок к кружку Фарнхагена.

Стр. 45. *Шнейдер* Георг-Авраам — валторнист-виртуоз и композитор. Его опера «*Окассен и Николетта*» была поставлена 26 февраля 1822 г.

Бернгард Клейн (1793—1832) — немецкий композитор. «*Дидона*» написана в 1821 г., поставлена 15 октября 1823 г.

«*Фрейшюц*» — опера немецкого композитора Карла Вебера (1786—1826). Первое представление ее состоялось 18 июня 1821 г.

Бас Фишер. — Гейне, вероятно, имел в виду певца Иозефа Фишера, выступавшего в Королевской опере в 1814—1818 гг.

Хоувальд Эрнст-Кристоф (1778—1845) — немецкий драматург.

Раух Христиан-Даниэль (1777—1857) — немецкий скульптор.

Блюхер Гебгард-Леберехт (1742—1819) — прусский фельдмаршал, прославившийся в эпоху наполеоновских войн. Подоспев к концу битвы при Ватерлоо, решил исход сражения.

Шарнгорст Бернгард-Иоганн (1755—1813) — прусский генерал, реорганизовавший прусскую армию.

Трагедия д-ра Куна «Жители Дамаска» не была поставлена.

Вах Карл-Вильгельм (1787—1845) — немецкий живописец.

Каролина Фуке издала роман в письмах... — «Прошлое и настоящее», вышел в 1822 г.

Стр. 45. *Геррес* Иоганн-Иозеф (1776—1848) — немецкий публицист, издававший в 1814—1816 гг. в Кобленце журнал «Рейнский Меркурий». Подвергался преследованиям прусского правительства за книгу «Германия и революция» (1819). Впоследствии католический писатель.

Брокгауз Фридрих-Арнольд (1772—1828) — лейпцигский издатель.

...*мистическая пропаганда в Нижней Померании*. — Гейне имеет в виду возникшее после наполеоновских войн движение в Померании, связанное с именем барона фон Котвица и братьев фон Белов.

«*Блоха*». — Имеется в виду «Повелитель блох» («Meister Floh»), знаменитая сатирическая сказка Э.-Т.-А. Гофмана, вышедшая впервые во Франкфурте в 1822 г. с цензурными купюрами. Только в 1906 г. Георг Эллинггер восстановил выпущенные места. Однако и в искаженном виде сказка навлекла на Э.-Т.-А. Гофмана жестокие преследования.

Губиц Фридрих-Вильгельм (1786—1870) — немецкий ксилограф. Писал и издавал книги «для народа».

«*Скорбные песни греков*» — «Венок сонетов» К.-Л. Блюма, вышел в 1822 г.

Стр. 46. *Штаберле* — комическая фигура старинного венского фарса (родственна Касперле). Фарсы со Штаберле писали различные немецкие писатели (Людвиг Роберт, «Штаберле в высших сферах»; Карл Голтей, «Штаберле-Робинзон» и др.).

Юлиус фон Фосс — плодовитый немецкий драматург и романист. Комедия «Квинтин Мессис» впервые была сыграна 30 января 1822 г.

Грильпарцер Франц (1791—1872) — австрийский поэт и драматург. Трилогия Грильпарцера «Золотое руно» вышла в 1821 г. «*Аргонавты*» — вторая часть трилогии.

...о *большом северогерманском юристе*... — Гейне имеет в виду Савиньи Фридриха-Карла (1779—1861) — немецкого юриста, историка римского права, основателя реакционной «исторической школы» права.

Стр. 47. ...я *держусь здесь взгляда Буало*. — В своем «Рассуждении о сатире» и в сатире 9-й Буало защищает право сатирика касаться имен и личностей.

Кревинкель — условное название захолустья, немецкий «город Глупов».

Евгений фон Б. — Евгений фон Бреза, польский граф, друг молодости Гейне. Осенью 1822 г. оставил Берлинский университет.

Ему посвящено стихотворение Гейне: «Мне снился сон, что я господь» (см. том 1 настоящего издания).

Стр. 48. *Мендельсон-Бартольди* Феликс-Яков-Людвиг (1809—1847) — немецкий композитор.

Стр. 51. «*Танкред*» — опера Джакомо Россини (1792—1868), написана в 1813 г.

Стр. 52. *Антиспонтиниевская партия* — то есть сторонники композитора Вебера.

Глюкисты и пиччинисты. — После представления опер немецкого композитора Кристофа-Вилибальда Глюка (1714—1787) «Орфей» и «Альцеста» в 1774 г. в Париже образовались две большие группы: сторонники итальянской музыки и, в частности, оперного композитора Николо Пиччини (1728—1800) — пиччинисты (Мармонтель, Лагарп, Даламбер) и глюкисты (аббат Арно, Сюр и др.). Либретто для оперы «Роланд», переданное Глюку, в то же время без его ведома было предложено Пиччини. Узнав об этом, Глюк сжег набросок оперы.

Стр. 55. ...*новой комической оперы* — то есть «Эврианты» (поставлена в 1823 г. в Вене).

...*рецензии... профессора Губица...* — Эта рецензия была напечатана в «Gesellschafter», 1821, №№ 105 и 106.

Стр. 57. ...*превосходные речи о чистой ослиности в замкнутой овечности, об идее бараньей головы и о великолепии старокозлиного.* — Намеки на «замкнутое торговое государство» Фихте, философию Гегеля и на филолога Бёка.

Стр. 59. ...*об их новом богослужении...* — Гейне имеет в виду модернизацию еврейского культа по образцу лютеранства. Возникшие на основе этого движения общины имели свои храмы, где богослужение совершалось на немецком языке в сопровождении органа.

О новой литургии... — Новая литургия введена в 1816 г.

Шлейермахер Фридрих-Эрнст-Даниэль (1768—1834) — немецкий богослов, философ и филолог. Принимал активное участие в литературном движении романтизма.

Стр. 60. *Де-Ветт* Вильгельм-Мартин (1780—1849) — профессор теологии и философии в Гейдельберге и Берлине. В 1819 г. написал письмо, в котором утешал мать казненного студента Карла Занда, убившего писателя Августа Коцебу, сторонника реакционного Священного союза и тайного агента русского царя. Это письмо привело Де-Ветта к конфликту с правительством. В 1820 г. Де-Ветт опубликовал сборник актов о своей отставке, апеллируя по поводу нее к общественному мнению.

Стр. 61. *Тиртей* — греческий поэт VII в. до н. э. По преданию, калека. Афиняне послали поэта в Спарту в насмешку над спартапцами, просившими у них полководца. Тиртей своими песнями внушил спартапцам мужество, и они победили.

Гейне Иоганн-Август (1778—1853) — профессор географии в Берлине, языковед и переводчик.

Драма Клейста «Принц Гомбургский» написана зимой 1809—1810 гг. Впервые опубликована в 1821 г. Людвигом Тиком в издании: «Hinterlassene Schriften von H. v. Kleist» (1821). 30 октября 1821 г. в Вене в Бургтеатре состоялось первое представление этой пьесы, которая была издана в следующем году там же, под названием «Сражение при Фербеллине». Битва при Фербеллине между войсками курфюрста Бранденбургского Фридриха-Вильгельма и шведами произошла 28 июня 1675 г.

Гёте Эдуард-Георх (1793—1850) — немецкий драматург и либреттист. Его трагедия «Анна Болейн» появилась на сцене в 1823 г. в Дрездене. В Берлине поставлена не была.

«Мастер Блоха и его подмастерья». — Гейне имеет в виду повесть Э.-Т.-А. Гофмана «Повелитель блох» («Meister Floh»), намеренно смешивая ее заглавие с названием другой повести Гофмана «Мастер Мартин бочар и его подмастерья».

Стр. 63. *Штепель* Франц-Давид-Кристоф (1794—1834) — музыкальный критик и педагог. В 1821 г. был послан прусским правительством в Лондон, чтобы собрать сведения о методе Ложье. В 1822 г. Штепель открыл школу в Берлине, где преподавал по этому методу.

Михаэль Беер (1800—1833) — немецкий драматург, брат композитора Мейербера.

...новая опера Мейербера... — «Изгнанник из Гренады», шла в Милане в 1822 г. в театре «Ла Скала».

Шаден Август (1791—1840) — немецкий бульварный писатель. Под его именем выходило много книг и других авторов.

Беттихер Карл-Август (1760—1835) — немецкий филолог, археолог и журналист. В 1797—1809 гг. был фактическим редактором и издателем журнала Виланда «Немецкий Меркурий». Был осмеян Людвигом Тиком в пьесе «Кот в сапогах» (1797). Беттихер и в дальнейшем оставался постоянной мишенью для насмешек Л. Тика (пьеса «Пугало», 1834) и других романтиков.

Фанни Гарнов (1779—1862) — немецкая писательница. Известна своими мемуарами.

«Берлинский еженедельник» был основан в 1821 г. Фр. Ферстером.

Стр. 63. *Мену Менутули* (1772—1846) — немецкий генерал. В 1820—1821 гг. стоял во главе экспедиции в Египет, снаряженной прусским правительством. Его книга «Путешествие к храму Юпитера Аммона и в Верхний Египет» вышла в 1824 г.

Стр. 64. ... *большой труд о всеобщем языкознании* — книга Бошна «Сравнительная грамматика санскритского, зендского, греческого, латинского, литовского, готского и немецкого языков» (первая часть вышла только в 1833 г.).

Шадов Иоганн-Готфрид (1764—1850) — немецкий скульптор. *Молодой Шадов* — старший сын Иоганна-Готфрида. Умер в Риме, где учился у Кановы и Торвальдсена.

Шадов Фридрих-Вильгельм (1789—1862) — немецкий живописец. С 1819 г. профессор Академии художеств.

Вильгельм Гензель (1794—1861) — немецкий живописец и поэт. Брат поэтессы Луизы Гензель. Был близок к немецким романтикам, произведения которых иллюстрировал («Фантазус» Л. Тика и др.). Общался с литературным кружком советника Хитцига, куда входили де ла Мотт Фуке, Шамиссо, Э.-Г.-А. Гофман и др. Принимал участие в оформлении и постановке «Лалла Рук» (см. примечания к стр. 65), после чего получил от прусского короля стипендию, позволившую ему провести пять лет в Италии.

Кольбе Карл-Вильгельм (1781—1853) — немецкий исторический живописец.

Шинкель Карл-Фридрих (1781—1841) — известный немецкий архитектор и живописец. Писал также театральные декорации (к «Волшебной флейте» и др.). С 1820 г. — профессор Берлинской Академии художеств.

Тик Христиан-Фридрих (1776—1854) — немецкий скульптор.

...*при похищении принцессы в Бонне...* — Герцогиня Ангальт-Бернбург, сестра курфюрста Вильгельма II Гессенского, была ночью похищена из Бонна и доставлена в Ганау, где ее владения были отданы под управление назначенного Вильгельмом II куратора.

Стр. 65. «*Праздник роз в Кашире*, или Нурмагал» — праздничное представление; музыка была написана Спонтини; он использовал музыку из «Лалла Рук» и другие свои старые произведения.

«*Лалла Рук*» — торжественное представление с пением и танцами. Исполнено в честь русского великого князя Николая Павловича в королевском замке в Берлине 27 января 1821 г. Музыка Спонтини. Издано в 1822 г.

Стр. 75. *Стихи для музыки сочинены театральным поэтом...* — Карлом-Александром Герклотом (1759—1830).

Стр. 76. *Гейм Эрнст-Людвиг* (1747—1834) — немецкий врач, лечивший бесплатно. Первый в Берлине стал прививать оспу.

Стр. 77. *Кернер Карл-Теодор* (1791—1813) — немецкий поэт, песни которого пользовались большой популярностью во время наполеоновских войн (1813—1815).

Иоганна де Монфоко — героиня произведения «Романтические картины времен XIV столетия, в пяти действиях, сочинение Августа Коцебу», Лейпциг, 1800.

Стр. 79. *Клаузен* (см. прим. к стр. 30) был осмеян Гауфом. Отношение Гейне к Клаузену впоследствии резко изменилось.

Стр. 82. *Спонтини покидает нас надолго*. — 9 июня 1822 г. Спонтини отправился в путешествие по Италии.

Процесс Фонка. — Имеется в виду процесс кельнского купца Фонка, обвинявшегося в убийстве. Процесс тянулся свыше пяти лет; в связи с этим появилось множество рассчитанных на сенсацию брошюр.

Стр. 83. *Юстус Грунер* (1777—1820) — прусский политический деятель. С 1809 г. полицейспрезидент Берлина.

Стр. 84. *Пусткухен* Иоганн-Фридрих-Вильгельм (1793—1834) — немецкий пастор и писатель. Автор водянистой пародии на «Вильгельма Мейстера» Гете (первые две книги вышли в 1821 г., третья в 1823 г.).

Стр. 85. *...говорят о немецком «Жиль-Блазе»...* — Имеется в виду «Жизнь, странствия и судьбы Иог.-Христ. Закса из Тюрингии. Составлено им самим». Штутгарт и Тюбинген, 1822. (С предисловием Гете).

Али-Паша Янинский (1741—1822) — албанский паша.

Саути Роберт (1774—1843) — английский поэт, представитель реакционного романтизма.

Джакомо Казанова (1725—1798) — итальянский авантюрист. Оставил мемуары, которые впервые появились (в обработке Шютца) на немецком языке в 1822—1828 гг.

Стр. 86. *Шарль де Линь* (1735—1814) — австрийский генерал и политический деятель. Состоял в переписке с Вольтером и Руссо.

Кехи Карл (1800—1880) — немецкий драматург и новеллист. Том стихов, о котором говорит Гейне, вышел только в 1832 г. (Брауншвейг и Лейпциг). Его книга «О немецком театре» вышла в 1821 г.

Юхтриц Фридрих (1800—1875) — немецкий поэт. Был близок к Адаму Мюллеру и Людвигу Тику. Позднее Гейне осмеял его в «Книге Ле Гран».

Стр. 90. *Шпис* Христиан-Герман (1755—1799) — немецкий писатель и странствующий актер. Автор многочисленных рыцарских

и разбойничьих романов. Некоторые из них были переведены на русский язык.

Стр. 90. *Краммер* Карл-Готлиб (1785—1817) — плодовитый немецкий писатель в духе Шписа и Вульпиуса (см. ниже). На русский язык переведен его роман «Жизнь и странные приключения Эразма Шлейхера», М., 1802, и др.

Вульпиус Христиан-Август (1762—1827) — немецкий писатель. Автор известных разбойничьих романов «Орландо Орландини», «Ринальдо Ринальдини» (русский перевод — М., 1802—1803).

Арним Людвиг-Иоахим (1781—1831) — немецкий писатель-романтик.

О ПОЛЬШЕ

Впервые напечатано в «Gesellschafter» от 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 и 29 января 1823 года. Подпись — ...е. Статья эта написана Гейне осенью 1822 года во время поездки в Прусскую Польшу, которую он совершил вместе с Евгением фон Бреза (см. «Письма из Берлина»). Несмотря на то, что редактор «Gesellschafter» профессор Губиц, а потом и цензор значительно смягчили текст этой статьи, она вызвала сильное волнение. «Она сделала меня смертельно ненавистным у баронов и графов», — писал Гейне своему другу Христиану Зете (21 января 1823 г.).

Стр. 94. *Тадеуш Костюшко* (1746—1817) — польский политический деятель, вождь восстания 1794 г., национальный герой Польши.

«*Нюрнбергский еженедельный альманах*» издавали в 1815 г. Фуке, Горн, Кинд, Уланд и др., а с 1816 по 1821 г. — одна Каролина Фуке.

Стр. 94—95. *Давид Фридендер* (1750—1834) — еврейский публицист и общественный деятель, последователь Моисея Мендельсона.

Стр. 95. «*Уэкфилдский полевой сторожевик*» — пьеса Роберта Грина, которая одно время приписывалась Шекспиру (в частности, Л. Тиком).

Стр. 96. «*В—ский еженедельник*». — Вероятно, Гейне имел в виду издававшийся проф. Вадзеком «Берлинский еженедельник для образованного бюргера и мыслящего поселянина».

Казимир Великий (1309—1370) — польский король с 1333 г.

Стр. 100. *Гердер* Иоганн-Готфрид (1744—1809) — немецкий филолог, публицист и литературный критик, сыгравший выдающуюся роль в развитии немецкой культуры XVIII в.

Стр. 102. *Камалата*, *падма*, *камала*, *тамала*, *шириша* — названия индийских растений.

Стр. 102. *Гольбах* Поль-Анри (1723—1789) — французский философ-материалист.

Стр. 106. *Во всем проявляются следы этого нового направления умов...* — Незадолго до того (в 1822 г.) появились «Баллады и романсы» Мицкевича, положившие начало новому направлению польской литературы.

Стр. 107. *Замойский* Андрей (1800—1868) — один из вождей польской эмиграции.

Каульфус. — Гейне имеет в виду книгу: I.-P. K a u l f u s s. Über den Geist der polnischen Sprache und Literatur, Halle, 1804.

Карно Лазар-Никола (1753—1823) — французский математик, инженер, политический деятель. Якобинец; входил в Комитет общественного спасения; один из организаторов республиканской армии. После реставрации Бурбонов, с 1815 г., жил в изгнании (в Магдебурге), посвятил себя математике и астрономии. Им издана также комическая поэма «Дон-Кихот» (Лейпциг, 1820).

Стр. 110. *...несносное обыкновение обновлять свои храмы.* — Собор в Гнезно, построенный в 905 г., восстановлен епископом Маттиасом Либинским.

Стр. 111. *«Заботы без нужды и нужда без забот»* — комедия в пяти действиях Августа Коцебу (Лейпциг, 1810).

«Объяснение в любви» — комедия в двух действиях Ф.-А. Курлендера (1777—1836).

Вольф Пий-Александр (1784—1828) — немецкий актер и драматург. Его пятиактная комедия «Чезарио» впервые поставлена в Берлине 29 ноября 1810 г.

Стр. 112. *«Розамунда»* — трагедия в пяти действиях Теодора Кернера (1791—1813). Поставлена в Берлине 20 апреля 1815 г.

«Приказ герцога» — «Приказ короля», историческая комедия в четырех действиях Карла Тепфера (1792—1871). Шла на немецкой сцене под первым названием.

«Альпийская розочка» — пьеса в трех действиях Гольбейна по рассказу Клаурена (1822).

«Состязание стрелков» — комедия в пяти действиях Клаурена (Дрезден, 1822).

«Поддельная Каталани», также «Поддельная примадонна из Крвинкеля» (1820) — фарс в двух действиях (с пением) Адольфа Бейерле (1786—1859).

Стр. 112—113. *Винклер* Теодор (1775—1856) — театральный антрепренер, драматург и переводчик. Издатель «Вечерней газеты». «*Бьянка Толедская*» была поставлена в 1806 г.

Стр. 113. ... в ролях принцессы Наваррской, Зетульбы в «Калифе Багдадском» и Алины. — Роль принцессы Наваррской в опере «Жан Парижский» (1812), Алины — в опере «Алина, королева Голконды» (1804). Музыку ко всем этим операм написал Буальдьё (1775—1834).

Стр. 114. *Лорецца* — дочь трактирщика в опере «Жан Парижский»; *Оливье* — паж дофина в той же опере.

Шоттки Юлиус-Максимилиан (1794—1849) — австрийский филолог и журналист. Собиратель фольклора и материалов по истории средних веков. Изданный им сборник «Австрийские народные песни» (Будапешт, 1819) не потерял научного значения до нашего времени. В 1822 г. Шоттки был профессором немецкой литературы в Познани, в 1831 г. переехал в Прагу.

Стр. 115. *Максимилиан I* (1459—1519) — австрийский эрцгерцог, император так называемой Священной Римской империи (1493—1519), из династии Габсбургов.

Стр. 116. «*Минувшее и современность*» — журнал, выходил в 1823 г. у Мунка в Познани (вышло девять номеров).

«СТИХОТВОРЕНИЯ» ЖАНА-БАТИСТА РУССО «СТИХИ ЛЮБВИ И ДРУЖБЫ» ЕГО ЖЕ

Впервые напечатано в «Gesellschafter» 14 июля 1823 года, № 11 (приложение).

Стр. 118. *Руссо* Жан-Батист (1802—1867) — немецкий поэт и издатель. Был студентом Боннского университета. Одно время был близок с Гейне. (См. стихотворение Гейне, посвященное Ж.-Б. Руссо, т. 1 настоящего издания, стр. 188).

Стр. 121. *Брентано* Клеменс (1778—1842) — поэт, один из деятелей немецкого романтизма.

Шлегель Август-Вильгельм (1767—1845) — немецкий писатель и критик. С 1818 г. профессор истории искусств и литературы в Бонне. Известен как переводчик Шекспира (совместно с Л. Тиком). Один из вождей немецкого романтизма.

Крейцер Иоганн-Петер (1795—1870) — незначительный немецкий писатель и драматург.

Рюккерт Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт и филолог. Профессор восточных языков.

Лебен Отто-Генрих (1786—1825) — немецкий лирический поэт. Его стихотворения, наряду со стихами Брентано, оказали некоторое влияние на творчество молодого Гейне.

Стр. 121. *Иммерман* Карл-Леберехт (1796—1840) — немецкий поэт, драматург и романист, поддерживавший дружественные отношения с Г. Гейне.

...*деликатными комочками грязи*... — В январе 1836 г. Ж.-Б. Руссо напечатал в своем журнале «Der Leuchtturm» резкую рецензию на книгу Гейне «Романтическая школа».

АЛЬБЕРТ МЕТФЕССЕЛЬ

Впервые напечатано в «Gesellschafter» 3 ноября 1823 года. Стр. 122. *Метфессель Альберт*-Готлиб (1785—1869) — немецкий композитор. С 1822 г. капельмейстер в Гамбурге.

Шенк Христиан-Фридрих-Готлиб (1767—1822) — немецкий композитор и капельмейстер в Гамбурге, противник знаменитой итальянской певицы Каталани.

Стр. 123. ...*слоновую музыку*... — намек на Спонтини (см. «Письма из Берлина»).

«СТРУЭНЗЕЕ»

Впервые напечатано в «Morgenblatt», 11, 12, 14, 18, 19, 21 и 22 апреля 1828 г., №№ 88—90, 94—97 (см. письмо Гейне к Фарнгагену от 1 апреля 1828 г.).

Стр. 124. «*Клитемнестра*» — трагедия в четырех действиях. Впервые поставлена в Берлине в 1819 г.

Стр. 125. «*Новости Арагонии*» — трагедия в пяти действиях (Лейпциг, 1823).

«*Пария*» — трагедия в одном действии. Первое представление состоялось в Берлине 22 декабря 1823 г.

Николаиты — последователи Фридриха Николаи (1733—1811), влиятельного немецкого критика и публициста, сыгравшего значительную роль в истории немецкого просветительства. Был близок к Лессингу. В конце жизни выступал против Гете, Шиллера и Канта с позиций наивного и устаревшего рационализма. Писал романы, в которых пытался пародировать Гете («Радости юного Вертера», 1775, и др.). Уже Шиллер и Гете высмеивали Николаи в «Ксениях». Конфликт Николаи и особенно его последователей с романтиками был еще более острым. Николаиты — представители измельчавшего просветительства начала XIX в., служившие постоянной мишенью для насмешек романтиков и Гейне.

Стр. 126. *Людвиг Роберт* (1778—1832) — немецкий драматург. «*Сила обстоятельств*» — трагедия в пяти действиях (написана

в 1814 г.). Первое представление состоялось в Берлине 30 июля 1815 г.

Стр. 126. «Урика» (1823) и «Эдуард» (1825) — романы герцогини Дюффор-Дурас, появились в нескольких немецких изданиях.

Раунах Эрнст (1784—1852) — второстепенный немецкий драматург, написал 117 пьес, пользовавшихся большим успехом в мещанско-бюргерской среде. Начало его литературной славы положила драма «Князя Хованские» и другие пьесы из русской жизни, в которых он протестовал против крепостного права в России. «Крепостные, или Исидор и Ольга» (Лейпциг, 1826) — трагедия в пяти действиях.

Делавинь Казимир (1793—1843) — французский драматург.

Стр. 127. *Струэнзее* Иоганн-Фридрих (1737—1772) — датский политический деятель, по происхождению немец. Лейб-медик молодого датского короля Христиана VII, фаворит его жены, королевы Матильды. Был возведен в графское достоинство и скоро достиг верховной власти в государстве, получив полномочия издавать кабинетные указы без подписи короля. Струэнзее проводил государственные реформы в духе просвещенного абсолютизма (смягчил некоторые привилегии дворянства и пр.). После дворцового переворота был обвинен в «преступлении против величества» и казнен 28 апреля 1772 г.

Стр. 135. *Эслер* Фердинанд (1772—1840) — немецкий актер и режиссер.

Гаген Шарлотта (1809—1891) — немецкая актриса. С 1826 по 1832 г. играла в мюнхенском придворном театре.

Вольф — жена известного актера Пия-Александра Вольфа (см. «О Польше», стр. 111, и примечание к ней).

Шредер София (1781—1868) — немецкая трагическая актриса.

Пеке Тереза — немецкая актриса (см. письма Гейне к Фарнгагену от 30 октября 1827 г. и к Меркелю от 14 апреля 1828 г.).

«НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Впервые напечатано в 1828 году в «Politische Annalen», 27 Band, Heft 3, S. 284—298. Гейне обещал Менцелю поместить рецензии на его книгу еще в «Hamburger Korrespondent» и в «Gesellschafter», а также дать отзыв о ней в третьей части «Путевых картин». Первая рецензия, в которой книга Менцеля сравнивалась с океаном («где отражены звезды литературы, где давно прошедшие времена покоятся в глубине и где нет ни капли воды»), была отклонена редактором «Hamburger Korrespondent», не разделявшим направленных

против Гете положений Менцеля. Вторая статья совсем не была написана. В «Путевых картинах» Гейне ограничился лишь беглым замечанием (не вошедшим в окончательный текст книги).

Стр. 138. *Вольфганг Менцель* (1798—1873) — немецкий критик и публицист. В течение долгого времени поддерживал дружественные отношения с Гейне и другими писателями радикального направления. С 1835 г. Менцель стал редактором «Литературного листка», где опубликовал несколько статей-доносов на Гейне и «Молодую Германию», послуживших одним из поводов для постановления Союзного сейма, запретившего все произведения авторов, причастных к «Молодой Германии». Гейне написал в ответ Менцелю статью (предисловие к третьей части «Салона» 1837 г.) «О доносчике». См. также «Людвиг Берне», стихи «Завещание», «Аудиенция» и поэму «Германия» (гл. IV).

...лекции о литературе *Фридриха Шлегеля* — «История древней и новой литературы». Лекции, читанные в Вене в 1812 г. (Вена, 1815, 2 тома).

Стр. 139. *Вилибальд Алексис* (псевдоним) — Вильгельм Геринг (1798—1871), немецкий писатель и журналист. Автор исторических романов.

Фарнхаген фон Энзе Карл-Август (1785—1858) — немецкий дипломат и писатель. Вместе со своей женой Фарнхаген стоял в самом центре берлинской литературной жизни.

Стр. 141. *Панталоне* — комическая маска итальянской *Commedia del arte*.

Стр. 144. *Стефенс* Генрих (1773—1845) — профессор в Галле и Берлине, пропагандист романтической натурфилософии.

Стр. 145. *Янсенизм* — религиозно-философское движение во Франции XVII в., возникшее на основе учения голландского богослова Корнелия Янсена (1585—1638). Последователи янсенизма во многом соприкасались с протестантами, однако не стремились к отпадению от католической церкви.

Галлер Карл-Людвиг (1768—1854) — немецкий юрист и реакционный писатель, боровшийся с революцией и либерализмом. В 1820 г. перешел в католичество.

Мюллер Адам-Генрих (1770—1829) — немецкий юрист, дипломат и реакционный писатель. В 1806 г. принял католичество.

Суфизм — пантеистический мистицизм мусульман. Гейне мог получить о нем представление, знакомясь с персидскими поэтами — Саади и отчасти Гафизом.

Стр. 146. *Иоганн-Генрих Фосс* (1751—1826) — немецкий поэт и филолог. Глава Геттингенского союза поэтов. Друг Клопштока.

Переводчик Гомера и латинских поэтов. Известен резкой полемикой с гейдельбергскими романтиками (Геррес, Брентано и др.), творчество которых он рассматривал как проявление католической и феодальной реакции. Еще решительнее он выступил против своего прежнего друга, графа Фридриха Штольберга (1750—1819), перешедшего в католичество.

ИОГАНИ ВИТТ ФОН ДЕРРИНГ

Впервые напечатано по рукописи Гейне Штротдманом в «Deutsche Revue», сентябрь 1872 года.

Стр. 151. *Витт* Фердипанд-*Иоганн* (1800—1863), прозванный Деррингом из Альтоны, — политический авантюрист, встречавшийся с Гейне еще в Гамбурге и позднее в Мюпхене. Был выслан из Мюнхена в марте 1828 г. Гейне говорил, что, если бы это было в его власти, он велел бы повесить Дерринга, однако поддерживал с ним отношения, ценил его остроумие и ловкость и даже привлек к сотрудничеству в «Politische Annalen».

Стр. 152. *Мортимер* и *Лейстер* — герои драмы Шиллера «Мария Стюарт».

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «КАЛЬДОРФ О ДВОРЯНСТВЕ В ПИСЬМАХ К ГРАФУ М. ФОН МОЛЬТКЕ»

Впервые напечатано в изданной Гейне брошюре: «Кальдорф о дворянстве в письмах к графу М. фон Мольтке». Издал Г. Гейне. Нюрнберг, у Гофмана и Кампе. 1831, стр. 1—30. Предисловие Гейне подписано и датировано 8 марта 1831 г.

Стр. 153. *Галльский петух прокричал теперь во второй раз...* — Гейне имеет в виду Июльскую революцию во Франции.

Стр. 155. *Лукиан* (род. около 125 г. до н. э.) — греческий сатирик.

Стр. 156. *Неккер* Жак (1732—1804) — министр финансов при Людовике XVI.

Сийес Эмманюэль-Жозеф (1748—1836) — французский политический деятель и публицист. Член Конвента и Совета пятисот. Принимал участие в перевороте 18 брюмера. Одновременно с Наполеоном был консулом; позднее — сенатором. Изгнан при Бурбонах.

Мерсье Луи-Себастьян (1740—1814) — французский писатель. Член Конвента и Совета пятисот. Автор книги «Картины Парижа» (1781—1789, 12 книг).

Стр. 157. *Полиньяк* Жюль-Арман (1780—1847) — французский политический деятель, роялист. С 1829 г. министр иностранных дел при Карле X, а затем первый министр. В 1830 г. побудил короля издать ордонансы, распускавшие палату, изменявшие избирательный закон и ограничивавшие свободу печати, что послужило поводом к Июльской революции.

Ордонанс — во Франции до революции 1789 г. и после реставрации Бурбонов наименование королевских указов особой важности.

...юные птенцы усопшего орла... — воспитанники Политехнической школы (Ecole polytechnique), которая была реорганизована Наполеоном.

Стр. 158. *Де Дегютт и де Варикур* были умерщвлены 6 октября 1789 г. во время осады Версаля.

Стр. 159. «*Ultima ratio regis*» — надпись на французских пушках (изречение, приписываемое Людовику XIV).

Мольтке Магнус, граф (1783—1865) — немецкий политический деятель. Автор брошюры «О дворянстве и его отношении к буржуазии», вызвавшей ответную брошюру Кальдорфа.

...за то, что он дал себе великий труд родиться... — ср. Бомарше, «Женитьба Фигаро», д. V, явл. III.

Стр. 160. ...премилый графчик, мой лучший друг... — Гейне, возможно, имеет в виду графа Евгения фон Бреза.

Берк Эдмонд (1729—1797) — английский писатель и политический деятель, противник Питта. Известен своим сочинением, направленным против французской революции: «Reflections on the Revolution in France 1790» (немецкий перевод 1793). См. также «Английские фрагменты», том 4 настоящего издания, где Гейне называет Берка «великим ренегатом свободы».

Стр. 161. *Шеридан* Ричард Бринсли (1751—1816) — английский драматург и политический деятель. Один из лидеров оппозиции вигов в парламенте. Прославился как выдающийся оратор (в особенности знаменита его обвинительная речь в процессе генерал-губернатора Индии Уоррена Гастингса).

Человек не этого склада сказал однажды: «Дворяне не опора престола, а его кариатиды». — То же выражение в рецензии Гейне на «Струэнзее» Михаэля Бсера. По-видимому, Гейне имеет в виду самого себя. *Кариатиды* — мужские или женские фигуры, поставленные вместо столбов или колонн; являясь только украшением, они создают видимость опоры.

Стр. 162. *Меттерних* Клеменс, князь (1773—1859) — австрийский политический деятель и дипломат, с 1809 по 1848 г. руководив-

ший внешней политикой Австрии. Один из инициаторов создания реакционного Священного союза.

Стр. 162. *Гудсон Лоу* — английский генерал, которому была поручена охрана Наполеона на острове св. Елены.

Стр. 163. *Лонгвуд* — место погребения Наполеона (до 1840 г.) на острове св. Елены.

...его дождевые зонтики... — Штаберле (см. примечание к стр. 46) появлялся на сцене с неизменным зонтиком.

Стр. 164. *Гонфалоньер* — знаменосец. В средние века должностное лицо в городах-республиках Северной и Средней Италии.

Стр. 165. ...*кровь Варшавы*... — Варшава пала 7 сентября 1831 г. «*Рейнский Меркурий*» выходил с января 1814 г. по январь 1816 г. (о Герресе см. примечание к «Письмам из Берлина»).

Дон Мигель — португальский король, изгнанный в 1834 г. либералами.

Стр. 166. *Некий королевич* — будущий Фридрих-Вильгельм IV.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «САЛОНА» ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ

«Французские художники» — первая работа, написанная Гейне в 1831 году по приезде в Париж. Гейне написал статью о парижской художественной выставке («Салон») 1831 года для немецкой ежедневной газеты «*Morgenblatt für gebildete Stände*» («Утренний листок для образованных сословий»), которая выходила в Штутгарте под редакцией Германа Гауффа и по своему характеру была газетой литературной. Основатель ее — барон Котта — издавал и аугсбургскую «*Allgemeine Zeitung*» («Всеобщую газету»), где печатались «Французские дела» Гейне.

«Французские художники» публиковались в №№ 257—274 «*Morgenblatt für gebildete Stände*».

В 1834 году Гейне включил статью «Французские художники» в вышедшую в Париже в издательстве Гофмана и Кампе книгу «Салон», составленную из произведений, тематически между собою не связанных. Кроме «Предисловия», книга содержала статью «Французские художники» вместе с написанным в 1833 году «Дополнением», цикл стихотворений и новеллу «Из мемуаров господина фон Шнабелевонского».

В том же 1834 году статья «Французские художники» вышла на французском языке — в книге «*De la France*» («О Франции»).

Стр. 170. ...*Амос сказал царю Амази*... — см. книгу библии «Пророк Амос», гл. 7, 14 и 15.

Стр. 170. ...*бедный монах, которого... судили в Вормсе...* — Мартин Лютер.

Стр. 174. *Батюшка Ян.* — Ян Фридрих-Людвиг (1778—1852) — участник националистического движения в Германии в годы борьбы с Наполеоном. Основатель Спортивного союза в Берлине.

Стр. 175. *В книге, которая... содержит письма моей покойной приятельницы...* — Речь идет о книге «*Rahel. Ein Buch des Andenkens für Freunde*» — Рахель. Книга друзьям в память о ней». Берлин, 1833. Поэт посещал салон Рахель-Антонии-Фридерики Фарихаген фон Энзе в годы своего пребывания в Берлине и посвятил ей цикл стихотворений «Возвращение на родину».

Стр. 176. ...*старая песня Шубарта...* — Шубарт Христиан-Фридрих-Давиэль (1739—1791) — немецкий поэт-демократ. В 1777 г. по распоряжению герцога Карла Вюртембергского без суда был заключен в крепость, где провел много лет.

...*среброногая мать должна была подняться из волн...* — Согласно греческой мифологии, мать Ахилла, героя троянской войны, морская богиня Фетиды в трудную минуту приходила к сыну на помощь.

Стр. 179. *Шеффер* Ари (1795—1858) — французский исторический и жанровый живописец. Первый период своего творчества находился под влиянием Давида, позднее примкнул к романтической школе. Написал ряд картин на литературные сюжеты. Особенно известны его картины на тему «Фауста» Гете.

Верне Эмиль-Жан-Орас (1789—1863) — французский художник-баталист. По заказу Луи-Филиппа выполнил огромные батальные композиции для Версальского дворца. Создал также картины на библейские, исторические и жанровые темы.

Делакруа Фердинанд-Виктор-Эжен (1798—1863) — великий французский художник, возглавивший романтическое направление во французской живописи. Картина «Свобода на баррикадах» принадлежит к числу его лучших произведений.

Декан Александр-Габриэль (1803—1860) — французский живописец; работал в разнообразных жанрах — историческом, бытовом, пейзаже. Рисовал также карикатуры.

Лессор Эмил-Обер (1805—1876) — французский живописец, гравер и литограф, ученик Энгра. В Салоне 1831 г. обратил на себя внимание картиной «Больной мальчик трубочист».

Шнетц Жан-Виктор (1787—1870) — французский художник, ученик Давида. В 1819 г. получил большую медаль за картины «Добрый самаритянин» и «Иеремия на развалинах Иерусалима»; писал жанровые картины из итальянской жизни.

Стр. 179. *Деларош* Поль (1797—1856) — французский живописец; впервые в Салоне выступил в 1822 г. Автор ряда известных картин на исторические темы.

Робер Луи-Леопольд (1794—1835) — французский художник школы Давида. В 1818 г. уехал в Италию. Писал картины на темы из жизни итальянских крестьян.

Стр. 181. *Гельти* Людвиг-Георх-Христоф (1748—1776) — немецкий поэт-лирик, один из участников Геттингенского союза поэтов. Автор идиллий и элегий; на его творчестве сказалось влияние народной поэзии.

...о каменном *Роланде*... — Установленные в немецких городах во времена средневековья каменные статуи Роланда, рыцаря Карла Великого, символизировали самостоятельность городских общин, независимость их от феодала.

Стр. 182. *Когда я стоял перед портретом этого вероломного человека*... — Речь идет о французском дипломате Талейране (1754—1838), находившемся на службе у революционного правительства, затем — у Наполеона, Людовика XVIII и Луи-Филиппа. С 1830 г. он был французским послом в Лондоне.

Стр. 183. «Парижанка» («*Parisienne*») — популярная французская политическая песня эпохи Луи-Филиппа; автор текста — Делавинь, музыка Обера. Начинается словами: «Французский народ, народ храбрецов...»

...император, лишившийся престола... — Педро I, император Бразилии, отрекшийся в 1831 г. от престола и переселившийся во Францию.

...где был обезглавлен его отец... — Отец Луи-Филиппа, герцог Орлеанский, был казнен на Гревской площади 6 ноября 1793 г.

Стр. 184. *Бюргерова Ленора*... — Речь идет о балладе «Ленора» немецкого поэта Готфрида-Августа Бюргера (1747—1794).

...для *Вольтерова* друга — прусского короля Фридриха II.

Стр. 185. ...это *Юдифь*, готовящаяся убить *Олоферна*. — По библейской легенде Юдифь, жительница осажденного иудейского города Ветилуи, явилась в лагерь к ассирийскому полководцу Олоферну и, обольстив его, убила. После гибели Олоферна ассирийские войска сняли осаду Ветилуи. См. книгу библии «Юдифь», гл. 8—16.

Стр. 187. ...арест *принцев Конде, Конти и Лонгвиля*. — Французский полководец принц Конде (1621—1686), его брат Конти (1629—1666) и зять Лонгвиль были арестованы кардиналом Мазарини, возглавлявшим тогда французское правительство и страшившимся влияния Конде.

Стр. 188. *Бурдон де Луаз* Франсуа-Луи (1758—1798) — член Конвента и Совета пятисот.

Стр. 189. *Фрина* — греческая гетера; была натурщицей ваятеля Праксителя.

...устроили бельгийский мятеж, де поттеровский шедевр из жизни животных. — Речь идет о бельгийской революции 1830 г. Луи де Поттер (1786—1859) — руководитель восстания, член Временного правительства Бельгии. Однофамилец бельгийского политического деятеля — голландский художник Пауль Поттер (1625—1654), анималист.

Стр. 194. ...цветы селам... — *Селам* — приветствие; в гаремах селам — особый вид приветствия: посылают цветок, чтобы напомнить известное изречение или стих, который рифмуется с названием этого цветка.

Стр. 196. *Хогарт Уильям* (1697—1764) — английский художник и гравер, сатирик, обличитель нравов того времени (гравюры «Модный брак», «Жизнь куртизанки»).

Стр. 199. ...преlestные картины *Мириса, Петшера, Яна Стена, Ван-Доу, Ван-дер-Верфта* и т. д... — голландских художников XVII века, по преимуществу жанристов и портретистов.

Стр. 204. *Перуджино* Пьетро (1446—1523) — итальянский художник, учитель Рафаэля.

Стр. 204—205 ...слова хартии. — Речь идет о конституционном законе (1814) Людовика XVIII, содержавшем основные положения государственного устройства Франции в эпоху Реставрации.

Стр. 205. ...«потому что бог — это все сущее». — Гейне, вероятно, подразумевает сен-симонистское учение о боге, имевшее пантеистическую окраску. Анфантен, один из теоретиков сен-симонизма, писал: «Бог — это все сущее».

Стр. 206. ...почетного упоминания заслуживают имена *Девериа, Стейбена и Жоанно*. — *Девериа* Эжен (1805—1865) и *Стейбен* Шарль (1788—1856) — исторические живописцы, последователи Делароша; братья *Альфред Жоанно* (1800—1837) и *Тони Жоанно* (1803—1852) — французские художники, граверы; оба выставили свои картины в Салоне 1831 г.

...веет в Лион *Сен-Мара и де Ту*... — Маркиз *Сен-Мар* (1620—1642) и Франсуа *де Ту* (1607—1642) — главари заговора старой феодальной знати против кардинала Ришелье. Были казнены в Лионе в сентябре 1642 г.

Стр. 208. ...оба принца, которых приказал убить *Ричард III*. — Английский король *Ричард III* (1483—1485) убил сыновей своего

брата, короля Эдуарда IV, принцев Эдуарда и Ричарда, чтобы завладеть троном.

Стр. 208. ...мне вспоминался прекрасный замок в милой Польше... — Гейне побывал в Польше в 1822 г. у своего друга Евгения фон Бреза.

Стр. 209. *Прага* — предместье Варшавы; в сентябре 1831 г., во время польского восстания, Прага была взята штурмом русскими войсками.

В одной из сумрачных зал Уайтхолла... — Король Карл I последнюю ночь перед казнью провел в замке Уайтхолл.

Стр. 211. ...*семейные романы Августа Лафонтена...* — Лафонтен Август-Генрих-Юлий (1758—1831) — немецкий писатель, автор чувствительных «семейных романов» из жизни немецкого мещанства.

Шатобриан Франсуа-Рене, виконт де (1768—1848) — французский писатель-романтик и политический деятель, сторонник Бурбонов, отказавшийся присягнуть Луи-Филиппу.

...*событие, совершившееся... 21 января...* — Речь идет о казни французского короля Людовика XVI 21 января 1793 г.

Стр. 212. ...«*Старый Вето*»... — так прозвали парижане Людовика XVI, часто пользовавшегося своим правом налагать запрет на решения парламента (лат. veto — запрещаю).

Стр. 213. *Сансон* — палач, казнивший Людовика XVI.

Эджворт — духовник Людовика XVI, присутствовавший при его казни.

...*казнь герцога Энгиенского...* — Герцог Энгиенский, принадлежавший к династии Бурбонов, был арестован по приказу Наполеона и казнен в 1804 г.

...*в объятиях легитимности, вступившей с ним в законный брак...* — Гейне говорит о браке Наполсона и Марии-Луизы, дочери австрийского императора Франца II.

Стр. 214. *Корвизар* (1755—1821) — придворный врач Наполеона.

«*Чудесный отрок*» — внук Карла X, сын герцогини Беррийской, герцог Беррийский (Генрих V), претендент на французский престол. Роялисты называли его чудо-младенцем, потому что он родился через несколько месяцев после убийства Лувелем его отца, герцога Бордосского.

Стр. 215. *Триппен-хойс* — картинная галерея в Амстердаме. В наши дни в этом помещении находится Королевское общество науки, литературы и изящных искусств.

Стр. 218. *Паста Джудитта* (1798—1865) — итальянская певица,

в 20-х гг. XIX в. пользовались большим успехом в Париже и Лондоне.

Стр. 218. *Малибран* Мария Фелисия (1798—1836) — французская певица, обладавшая сильным голосом; выступала в начале 30-х гг. в Итальянской опере в Париже.

Стр. 219. ...*билль о реформе* прошел в нижней палате... — Речь идет о законе об избирательной реформе, принятом после длительной борьбы английским парламентом 4 июня 1832 г.

Школьные «проказы», «Семь девушек в мундирах», «Праздник ремесленников». — Эти пьесы принадлежат Луи Анжели (1787—1835), берлинскому актеру и автору комедий. Гейне приписывает их Раупаху ошибочно.

Мое давнишнее предсказание... — См. рецензию Гейне на книгу В. Менцеля «Немецкая литература» (стр. 139).

Стр. 222. *Кребильон* Клод-Проспер-Жюлио (1707—1777) — автор весьма скабрёзных романов, изображающих жизнь французской аристократии.

Фавар Шарль-Симон (1710—1792) — французский драматург, автор водевилей и комических опер.

Стр. 223. *Вьен* Жозеф-Мари (1716—1809) — французский живописец, учитель Давида, главы школы революционного классицизма.

Лесюэр Эташ (1617—1655) — французский живописец, автор картин на религиозные темы.

...и вернулся оттуда таким же ванлоистом... — Ван-Лоо Карл-Андреас (1705—1765) — профессор живописи в Академии искусств в Париже, художник-классицист.

Герен Пьер-Нарцисс (1774—1833) — французский живописец классического направления.

Гро Жап-Антуан (1771—1835) — французский художник-баталист.

Жерар Франсуа (1770—1837) — французский художник-портретист.

Жиросе-Триозон Анн-Луи де Русси (1767—1824) — французский художник, автор картин на мифологические темы.

Жерико Теодор (1791—1824) — французский художник, один из предшественников романтической школы в живописи. Картина «Плот фрегата «Медуза» изображала эпизод спасения команды фрегата «Медуза», потерпевшего кораблекрушение в 1816 г.

Стр. 224. *Палимпсест* — древняя пергаментная рукопись, первоначальный текст которой соскоблен и нанесен новый, позднейший,

Стр. 224. ...накрывавал унымый дождь июня... — Гейне намекает на республиканское восстание 5 и 6 июня 1832 г.

Стр. 225. ...*juste milieu*... — этими словами обозначали характер политики и режим Луи-Филиппа. Широко стали применяться после того как Луи-Филипп в одной из своих речей 1832 г. сказал: «Что касается внутренней политики, то мы постараемся придерживаться политики «золотой середины».

Этекс Антуан (1808—1888) — французский скульптор, живописец, писатель.

ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА

Свои первые впечатления и размышления о политической и общественной жизни столицы Франции Гейне изложил в серии статей, написанных для аугсбургской «Allgemeine Zeitung» («Всеобщей газеты») и публиковавшихся на ее страницах с января по сентябрь 1832 года (статья первая, датированная 28 декабря 1831 г., появилась в номере от 11 января 1832 г., последняя статья, «Из Нормандии», — 29 сентября 1832 г.). Статьи печатались под общим заголовком «Французские дела», без подписи или подписанные лишь инициалами автора (начиная с марта 1832 г.).

Издававшаяся бароном Котта «Всеобщая газета» по своему политическому направлению была органом весьма умеренным. Однако «Всеобщая газета» являлась одной из наиболее распространенных немецких газет как в Германии, так и за ее пределами. Ради такой трибуны Гейне примирился с необходимостью «умерять свой пыл», «говорить пресными словами или даже маскируясь», высказывать лишь «намеками» революционные истины (см. «Лютеция»; «Позднейшая запись (1854)'). В письме к Котта (от 21 апреля 1832 г.) Гейне пишет, что «Французские дела» уже в его голове подвергаются цензуре.

Но и в таком виде статьи Гейне вызвали недовольство тогдашних правителей Германии, в частности главы Священного союза австрийского канцлера Меттерниха, поручившего своему сотруднику фон Гентцу принять меры к прекращению печатания крамольных статей. В письме к барону Котта от 21 апреля 1832 года Гентц протестовал против дальнейшей публикации «Французских дел», справедливо усматривая в корреспонденциях Гейне серьезную угрозу спокойствию правящих кругов Германии.

Гентц писал: «Наконец-то исполнилась мера этого, простите мне резкое слово, фальшивого и в высшей степени губительного направления, с тех пор как стали печататься позорные статьи,

подброшенные Гейне под названием «Французских дел», подобно горящей головне, в вашу газету, до того недоступную для всяких плебейских штук. Я отлично понимаю, что такие статьи находят любителей и что этих любителей немало — очень значительная часть публики глубоко восхищается наглостью и злобностью какого-нибудь Берне, или Гейне — и Перье и вместе с ним и Луи-Филипп, только потому, что они ставят себе целью мир и порядок, настолько дискредитированы у этих беспокойных голов в Германии, что эти последние предпочли бы видеть Париж под управлением казаков, нежели в руках обесславленной *juste milieu*. Меня не удивляет все это — я слишком долго присматривался к ходу земных вещей, чтобы быть готовым к самым невероятным и безумным революциям в человеческих мнениях. Но то, что вы, благородный друг мой, можете терпимо относиться к этим ядовитым распутствам, которые вы, конечно, сами не одобряете, — это превосходит мое разумение. Чего хочет такой нечестивый авантюрист, как Гейне, — я признаю его как поэта, даже люблю его, — чего он хочет и добивается, втапывая в грязь нынешнее французское правительство, — этого я не исследую дальше, хотя это чрезвычайно легко отгадать».

Публикация «Французских дел» стала особенно затруднительной после принятия постановлений Союзного сейма от 28 июня 1832 года. И в связи с неофициальным указанием Гентца корреспонденту Гейне перестали печататься в газете (статья девятая уже не была опубликована).

В декабре 1832 года «Французские дела» вышли отдельной книгой в издательстве Кампе в Гамбурге. Гейне включил в книгу некоторые отрывки, не помещенные во «Всеобщей газете». Особые надежды Гейне возлагал на написанное им для этого издания предисловие, где он «с полной ясностью изложил свои убеждения, которые пытались взять под сомнение при чтении статей «Французских дел» (письмо к Котта от 1 января 1833 г.).

Но цензура, изъяв из предисловия более половины текста, совершенно исказила взгляды писателя, и Гейне «предстал перед глазами всех немцев как унылый лстец прусского короля» (письмо к Кампе от 28 декабря 1832 г.).

Гейне потребовал, чтобы Кампе выпустил отдельной брошюрой полный текст предисловия. «Я знаю, — писал Гейне издателю (письмо от 28 декабря 1832 г.), — что появление предисловия на всю жизнь закроет для меня въезд в Германию, но оно должно появиться только таким, каким оно выглядит в оригинале...» (см. также письмо Фарнхагену фон Энзе от 16 июля 1833 г.).

Кроме того, Гейне послал во «Всеобщую газету» письмо, в котором протестовал против действий цензуры и издателя и отказывался признать себя ответственным за опубликованный в книге текст предисловия. Приводим это заявление Гейне, помещенное в № 14 «Всеобщей газеты» от 11 января 1833 года.

«Просьба

Так как мне придется теперь долгое время или даже всю мою жизнь находиться вдали от родины, то с тем более глубокой скорбью я воспринимаю всякое недоразумение, которое может вызвать ошибочное толкование моих воззрений со стороны немецкой публики. Такое именно недоразумение может возникнуть при выходе в свет «Французских дел», книги, которая должна была заключать в себе собрание политических статей, писанных мною ранее для «Всеобщей газеты», и которая должна быть дополнена предисловием.

Я ни за что не выпустил бы эту книгу без указанного предисловия, в котором я старался убедительно изложить воззрения, лишь намеченные в моих статьях, и в то же время другими высказываниями исполнить великий свой гражданский долг. Как же мне теперь выразить то тягостное чувство, которое я испытал, когда получил вместе с письмом оттиск этого моего предисловия и увидел, что выброшена добрая половина его! Еще хуже то обстоятельство, что купюры не только уродуют сказанное мною, но и придают ему смысл угодливый и раболепный.

Настоящим заявлением я хочу оградить себя от всякого лже-толкования, какое может возникнуть на этой почве.

Прошу все честные издания перепечатать эти строки.

Париж 1 января 1833 г.

Генрих Гейне».

В июле 1833 года «Французские дела» вместе с полным текстом предисловия вышли в Париже на французском языке в издательстве E. Renduel под названием «De la France» («О Франции»). Почти одновременно предисловие появилось и на немецком языке отдельной брошюрой под названием: «Предисловие к «Французским делам» Генриха Гейне, изданное с добавлениями согласно французскому изданию П. Г... г... р». Книга вышла в издательстве Гейделоф и Кампе и была отпечатана в Париже.

К отдельному изданию предисловия Гейне вновь написал предисловие («Предисловие к предисловию») и отправил его своему издателю в 1832 году (см. письмо к Кампе от 28 декабря 1832 г.).

Однако оно не появилось ни в брошюре, отпечатанной Кампе, ни в издании 1833 года. Впервые «Предисловие к предисловию» напечатал Штротдман в «Собрании сочинений» Гейне в 1862 году, по корректурному экземпляру, который у него находился.

Гейне объявил себя во «Французских делах» сторонником конституционной монархии, однако эта позиция ничего общего не имела с буржуазным либерализмом. Гейне уже в те годы понял буржуазно-ограниченный характер программы республиканцев, предчувствовал историческую необходимость социальной революции. Он искал разрешения коренных общественных вопросов своего времени не в смене политических форм, не в установлении буржуазной республики, а в удовлетворении материальных потребностей народа. Он писал Генриху Лаубе (письмо от 10 июля 1833 г.): «Вы стоите выше всех тех, кто ощущает только внешнюю сторону революции, а не ее глубинные вопросы. Эти вопросы касаются не формы правления, не лиц, не установления республики или ограничения монархии, они касаются материального благосостояния народа».

Разногласия между Гейне и республиканцами сказались на отношении последних к «Французским делам». Так, газета французских республиканцев «Tribune» («Трибуна») на своих страницах поместила искаженный перевод первой статьи «Французских дел» с предисловием переводчика, в котором говорилось, что статья инспирирована австрийскими властями. За опубликование этой статьи «Трибуна» была привлечена французским правительством к судебной ответственности. Газета утверждала, что было опубликовано лишь то, что пишут иностранные агенты о французской политике (см. «Всеобщая газета» от 3 июня 1832 г.). В письме к Котта Гейне говорил, что его третировали в суде как австрийско-пруско-русского агента.

Реакционеры гораздо тоньше поняли подлинное содержание работы Гейне. «Французские дела» стали предметом ожесточенных нападок со стороны реакционной печати как в Германии, так и во Франции. В июле 1833 года Гейне писал своему другу Генриху Лаубе: «Вы представления не имеете, какой сейчас шум и гром вокруг меня. У меня здесь на шее и *juste milieu* и лицемерно-католическая карлистская партия, и прусские шпионы. Мои «Французские дела» вышли по-французски вместе с несокращенным и неискаженным предисловием. Оно появилось и у Гейделофа на немецком языке и, должно быть, дошло уже до Лейпцига, где вы его и увидите. Я послал бы вам его, если бы не боялся вас скомпрометировать. Будьте осторожны. Даже здесь нет безопасности. В прош-

лую субботу арестовали много немцев, и я тоже каждую минуту жду ареста».

Во всех германских государствах «Французские дела» были запрещены сразу же после их появления. В Пруссии инициатива исходила непосредственно от короля, который приказал (29 января 1833 г.) министру внутренних дел запретить и изъять «в высшей степени неприемлемую» книгу Гейне «Французские дела». Та же участь постигла и предисловие, запрещенное прусской цензурой 20 сентября 1833 года, как «наглейшая стряпня, содержащая грубейшие выпады против здешнего правительства и самую низкую клевету против его величества короля и королевской семьи».

П р е д и с л о в и е

Стр. 237. *Скаррон* Поль (1610—1660) — французский писатель, один из зачинателей бытового реалистического романа. «Комический роман» (1651) — лучшее произведение Скаррона.

Стр. 238. ...*после обнародования плачевных постановлений сейма от 28 июня...* — Имеются в виду реакционные постановления Франкфуртского сейма представителей союзных немецких государств, которым руководила Австрия, принятые 28 июня 1832 г. Непосредственным толчком к принятию постановлений послужило так называемое Гамбахское собрание (27 мая 1832 г.), на которое съехались десятки тысяч посланцев немецкого народа, предъявившие правительству требования либеральных реформ. Постановления содержали следующие основные положения: вся полнота государственной власти принадлежит князьям; отказ от уплаты налогов рассматривается как бунт; Союзный сейм пользуется правом отмены законов, принятых ландтагами входящих в Союз государств; комиссии Союзного сейма контролируют действия ландтагов, союзные правительства обязаны принимать меры против выступлений в ландтагах, подрывающих авторитет бундестага; право толкования союзных законов принадлежит только бундестагу. 5 июля сейм принял дополнительные постановления, вводившие новые ограничения для печати и в других областях культуры.

Стр. 240. *Меттерних... не проводил гимнастических упражнений на Заячьей поляне...* — К числу общественных организаций, пропагандировавших борьбу с Наполеоном, принадлежали и немецкие националистические спортивные общества. Первый Спортивный союз был основан Людвигом Яном в 1811 г., на Заячьей поляне в Берлине.

Стр. 240. *Мария-Луиза* (1791—1847) — дочь австрийского императора Франца II, вышедшая в 1810 г. замуж за Наполеона.

Как раз теперь он носит траур по любимому погибшему во цвете лет внуку... — Речь идет о сыне Наполеона и Марии-Луизы, герцоге Рейхштадтском; он воспитывался у своего деда Франца II и умер 22 июля 1832 г.

Стр. 241. *...на игривую голову государя, украшенного золотыми шпорами...* — Гейне говорит о будущем короле Пруссии Фридрихе-Вильгельме IV (1795—1861), тогда наследном принце. Фридрих Вильгельм претендовал на остроумие.

...преемником Карла X и Карла Брауншвейгского. — Французский король Карл X, свергнутый Июльской революцией, бежал в Англию. Под влиянием событий во Франции жители Брауншвейга изгнали герцога Карла, отличавшегося жестоким нравом.

...что произошло в Фишау... — В деревне Фишау прусские офицеры произвели кровавую расправу над группой польских солдат.

Стр. 242. *Фридрих фон Раумер* (1781—1873) — немецкий историк, чиновник, одно время — член Высшей цензурной коллегии Пруссии. Раумер идеализировал средневековье. Гейне имеет в виду случай, когда Раумер выразил свое несогласие с усилением прусской цензуры, подав прошение об отставке с поста члена Высшей цензурной коллегии. Раумер не раз служил предметом насмешек Гейне (см. «Германия. Зимняя сказка» и «Атта Тролл», том 2 настоящего издания).

...оно, по мнению уккермаркской камарильи, написано все-таки еще недостаточно рабленно. — Речь идет о сочинении Раумера «Отношение Пруссии к Польше в годы 1830—1832» (в печати появилось лишь в 1853 г.). *Уккермаркская камарилья* — политики при дворе прусского короля.

Крелингер Августа — см. примечание к стр. 41. Отто Крелингер был крупным негодяем.

Стр. 243. *...написал мерзкую книжонку, в которой... лает на июльское солнце.* — Речь идет о книге «Нидерландский вопрос» (1831), в которой Арндт выступил против Июльской революции.

Штегеман Фридрих-Август (1763—1840) — немецкий поэт, воспевавший войны против Наполеона. В 1823 г. вышел сборник Штегемана «Исторические воспоминания в лирических стихах».

Ранке Леопольд, фон (1795—1886) — немецкий историк. В конце 20-х гг. прусское правительство командировало Ранке в различные города Европы для работы в исторических архивах. В 1832—1836 гг. издавал реакционный «Историко-политический журнал».

Стр. 244. *Венский союзный акт* — конституция Германского Союза (1815), основанная на реакционных принципах; вдохновителем ее был Меттерних.

Стр. 246. *...он особенно нежен к прекрасной царице...* — Речь идет о старшей дочери Фридриха-Вильгельма III Шарлотте, жене царя Николая I, принявшей в православии имя Александры Федоровны.

...и его нежности мы, быть может, обязаны холерой... — Намек на то, что холера, распространившаяся в европейских странах, перекинулась туда из России.

...дал нам, наконец, обещанную конституцию! — Декретом от 22 мая 1815 г. Фридрих-Вильгельм III обязался ввести в стране народное представительство.

Стр. 248. «*Moniteur*» — официальный орган французского правительства с 1789 до 1869 г. В 1793 г. в нем печатались речи выдающихся деятелей революции — Дантона, Робеспьера, Сен-Жюста и др. На страницах этой газеты был опубликован отчет о процессе Людовика XVI в Конвенте.

Стр. 249. *Даже Ярке не опасен.* — Ярке Карл-Эрнст (1801—1852) — немецкий публицист, юрист. Издавал основанный в 1831 г. «Берлинский политический еженедельник», субсидированный видными аристократами. Направление еженедельника явствует из помещенного в нем эпитафия: «Мы не хотим ни революции, ни контрреволюции, мы стремимся к тому, что противоположно революции». Впоследствии Ярке редактировал реакционно-католическое издание «Историко-политические ведомости для католической Германии».

Стр. 250. *...из тридцати шести заплат.* — Намек на раздробленность тогдашней Германии, состоявшей из тридцати шести государств.

Ст а т ь я п е р в а я

Стр. 251. *Наследственные пэры* — члены Верхней палаты (палаты пэров), назначавшиеся королем из аристократов. После Июльской революции состав Верхней палаты был обновлен; звание пэра из наследственного стало пожизненным.

Перьё Казимир-Пьер (1777—1832) — глава французского правительства с мая 1831 г. Крупный банкир; в период Реставрации примыкал к правому крылу либерально-буржуазной оппозиции. Как премьер-министр проводил политику, соответствовавшую интересам крупной финансовой буржуазии. Жестоко подавлял революционные выступления народа.

Стр. 251. ...*во время лионских беспорядков.* — Речь идет о восстании лионских ткачей в 1831 г., с трудом подавленном правительственными войсками. Это массовое народное выступление, одно из первых восстаний французского пролетариата, показало, как глубоко были социальные противоречия во Франции после Июльской революции.

Стр. 252. *Петион* Вильнев-Жером (1756—1794) — видный жирондист, председатель Конвента, мэр Парижа с ноября 1791 по 10 августа 1792 г.

Гизо Франсуа-Пьер-Гистом (1787—1874) — известный французский историк, один из политических деятелей буржуазии. При Луи-Филиппе занимал посты министра внутренних дел, просвещения, иностранных дел и премьер-министра.

Герцог Орлеанский — Луи-Филипп-Жозеф (1747—1793), отец французского короля Луи-Филиппа, возглавлявший младшую ветвь королевской династии Бурбонов. В первые годы революции отрекся от своего титула и стал называть себя «Эгалите» («Равенство»).

Стр. 254. *Филлипон* (1800—1862) — издатель журнала «Карикатура», в котором сотрудничал (до 1832 г.) знаменитый художник Оноре Домье. Рисунки Домье, беспощадно разоблачавшие короля Луи-Филиппа и его министров, продажность и лицемерие, царившие во Франции, пользовались огромной популярностью.

Саллюстий (82—36 гг. до н. э.) — римский историк; цитата взята из его сочинения «Заговор Катилины».

Стр. 255. *Тюильри* — дворец в Париже, в котором жили французские короли. 10 августа 1792 г. восставший народ занял дворец и объявил Людовика XVI низложенным. В 1792—1795 гг. в Тюильри заседал Конвент.

Стр. 256. *Ленотр* Андре (1613—1700) — архитектор, по его планам разбиты Тюильрийский сад и Версальский парк.

Стр. 257. ...*вид на катастрофу площади Согласия...* — На площади Согласия 21 января 1793 года были гильотинированы Людовик XVI, его жена Мария-Антуанетта и многие аристократы.

...*во Флоренции в «Трибуне»...* — «Трибуна» — зал в знаменитой картинной галерее Уфици.

Ст а т ь я в т о р а я

Стр. 258. «*Temps*» — французская газета умеренно-республиканского направления, основанная в 1829 г. Костом. Приводим текст заметки, о которой говорит Гейне: «Аугсбургская газета начала печатать письма из Парижа, весьма враждебные по отношению

к русскому и австрийскому императорам и к прусскому королю; по-видимому, она не считала себя обязанной проявить хотя бы некоторую осмотрительность в отношении короля-гражданина».

Стр. 259. ...*деревья свободы*... — Обычай сажать «дерево свободы» в ознаменование победы и торжества революции впервые был введен в Америке во время освободительной войны. Он нашел широкое распространение в городах и деревнях Франции в годы революции 1789 г.

«*Journal des Débats*» — газета, основанная в августе 1789 г.; в ней печатались отчеты о заседаниях Генеральных штатов и Законодательного собрания; после Июльской революции — орган правящих кругов Франции.

«*Tribune*» — французская газета, главный орган республиканцев; выходила с июня 1829 по май 1835 г.

Менотти Чиро (1798—1831) — итальянский патриот, борец за независимость Италии, участник заговора в Модене; был предан моденским герцогом и повешен 26 мая 1831 г.

...*сеньору Луизу де Торрихос*... — жену генерала Торрихоса (1791—1831), борца за независимость и свободу Испании, расстрелянного по приказу короля Фердинанда вместе с его пятьюдесятью двумя соратниками.

«*National*» — французская газета, основана в начале 1830 г. известными буржуазными политическими деятелями Тьером, Минье и Каррелем. В ней был напечатан протест журналистов против реакционных ордонансов Карла X, сыгравший значительную роль в развитии июльских событий.

«*Société des amis du peuple*» — крупнейшая организация республиканцев, существовавшая легально до сентября 1831 г.; ее членами были Бланки, Кавеньяк и другие видные общественные деятели.

Стр. 260. «*Фигаро*» — французская газета, посвященная вопросам «политики, театра, критики, науки, искусства, скандалам, модам» и т. д. Вначале выступала против правительства, потом стала придерживаться умеренно-оппозиционного направления. Выходила в 1826—1833 гг.

Тьер Луи-Адольф (1797—1877) — известный французский государственный деятель и историк. Начав свою политическую карьеру с оппозиции Реставрации, Тьер активно поддержал установление Июльской монархии. В 1830—1831 гг. Тьер был назначен на пост товарища министра финансов, в 1832—1836 гг. — министра внутренних дел. Впоследствии зверски расправился с борцами Парижской Коммуны.

Стр. 261. ...*своей брошюрой против Шатобриана*... — Гейне имеет в виду брошюру Тьера «Монархия 1830 г.», написанную в ответ на брошюру Шатобриана, защищавшую Карла X.

Бельмонте Луи (1799—1879) — французский писатель, политический деятель. Бельмонте пропагандировал бонапартизм в основанном им журнале «*Tribune du peuple*». В том же духе написана и его брошюра, направленная против Шатобриана.

Вери, Вефур, Каррем — знаменитые повара.

Ватель — повар принца Конде, покончил с собой, когда ему не удалось какое-то особенно тонкое кушанье, предназначенное для Людовика XIV.

Стр. 262. ...*за исключением, пожалуй, Августа-Вильгельма Шлегеля*... — Гейне, ученик А.-В. Шлегеля по Боннскому университету, в 30-х гг. занял по отношению к нему резко отрицательную позицию.

Марраст Арман (1801—1852) — буржуазный политический деятель, после Июльской революции — республиканец. В 1834—1837 гг. находился в эмиграции. Надо полагать, утверждение Гейне о том, что Шатобриан братается с Маррастом, ошибочно. Шатобриан сблизился с Арманом Каррелем, редактором газеты «*National*». После революции 1848 г. Марраст стал членом временного правительства и в дальнейшем развитии событий играл крайне реакционную роль.

...и *принимает от Беранже посвящение в рыцари*. — Речь, очевидно, идет о стихотворении Беранже, написанном в сентябре 1831 г., в котором поэт обращается к Шатобриану со стихами:

Шатобриан! К чему бежать из края
Тебе родного, полного друзей?
Смотри: грустит вся Франция, вздыхая,
Одной звездой уж меньше в ней!

(Пер. И. Ф. Тхоржевского)

Шатобриан откликнулся на эти стихи в предисловии к брошюре «Относительно изгнания Карла X и его семьи».

«*Gazette de France*» — старейшая газета Франции (первоначально называлась «*Gazette*»), орган роялистов.

Стр. 263. ...*на Вандомскую колонну*... — Колонна, установленная в Париже на Вандомской площади в 1806—1810 гг. в честь побед Наполеона. Колонна отлита из бронзы неприятельских пушек и увенчана статуей Наполеона. Ее высота 43,5 метра.

Стр. 263. ...как поет Барбье. — Барбье Анри-Огюст (1805—1882) — французский поэт, автор сборника «Ямбы» (1831), одного из образцов гражданской поэзии.

Стр. 264. ...верный Экарт — по одной из германских легенд, сторож грота Венеры.

...провозгласят молодого Наполеона... — Имеется в виду сын Наполеона, герцог Рейхштадтский, умерший в 1832 г.

Стр. 265. ...пели «Парижанку»... — В 4-й строфе этой песни воспевается Лафайет.

Стр. 268. Моген Франсуа (1785—1854) — адвокат и политический деятель, сторонник оппозиции. Об ораторском искусстве Могена писали: «Он заставлял содрогаться, бледнеть и плакать...

Ст а т ь я т р е т ь я

Стр. 269. «Ксении» (греч.) — приношение, подарок гостям. Так называли Гете и Шиллер свои сатирические двустишия.

...одной знаменитой дамы... — Речь идет о французской писательнице г-же Сталь.

Госпожа Жанлис Стефани-Фелисите, графиня (1746—1830) — автор десятитомных «Мемуаров»; была воспитательницей детей Филиппа Эгалите, в том числе и Луи-Филиппа.

...с сент-джемским кабинетом... — Имеется в виду английский кабинет министров. Сент-Джемский дворец — бывшая резиденция английских королей.

Стр. 270. «Рамайна» и «Махабхарата» — древнеиндийские эпические поэмы.

Заговор, который был разыгран на башнях Собора богоматери... — Имеются в виду события 4 января 1832 г. В этот день внезапно зазвонил большой колокол Собора Парижской богоматери; на одной из башен Собора вспыхнул пожар, который вскоре потушили. Явившуюся на место происшествия полицию встретила выстрелами маленькая группа молодых людей, спрятавшихся в Соборе. Судебное следствие показало, что «заговор» был делом рук самой полиции.

Остроты Рабле о колоколах... — Гаргантюа, герой произведения Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», снял колокола с колоколен Собора Парижской богоматери и привесил их к своей кобыле.

Последний заговор, в ночь на 2 февраля... — Легитимисты пытались свергнуть Луи-Филиппа и восстановить на престоле стар-

шую линию династии Бурбонов, провозгласив королем герцога Бордосского (графа Шамборского) под именем Генриха V. Протигворечия в их рядах привели к провалу заговора. Мнимый глава заговора Понселе и шесть других участников были присуждены к ссылке, большинство остальных заговорщиков — к тюремному заключению.

Стр. 270. ...оказалось 27 000 франков. — Об этом читаем в «Истории десяти лет» Луи Блана: «Понселе был обыскан. У него нашли в кармане 140 франков деньгами и 7000 франков банковыми билетами под подкладкой одного из его сапог». (Louis Blanc. Histoire de Dix ans, т. III, стр. 162).

Мармонтель Жан-Франсуа (1723—1799) — французский писатель. Речь идет о сочинении «Записки отца в поучение своим детям».

Шамфор Никола́ Себастьян (1741—1794) — французский писатель, славившийся своим острым умом. Во время революции, чтобы избежать казни, покончил с собой.

Стр. 271. ...увядшие срезанные лилии... — В гербе династии Бурбонов треугольником были расположены три лилии.

Жену́д Антуан-Эжен (1792—1849) — публицист, редактор «Gazette de France», сторонник Бурбонов.

Туре Венсан-Феррар-Антони (1807—1871) — редактор республиканской газеты: «Révolution». За свои республиканские убеждения подвергался преследованиям.

...представших перед судом присяжных в качестве сообщников... — Упомянутые в тексте газеты опубликовали на своих страницах протокол допроса участников легитимистского заговора второго февраля; эти номера газет были конфискованы, а редакторы привлечены к суду. В связи с этим правительственная печать подняла большой шум, обвиняя редакторов в сообщничестве, хотя для этого не было серьезных оснований.

...стояли Фитц-Джесем со своими карлистами и Кавеньяк со своими республиканцами. — *Фитц-Джесем*, герцог (1776—1836) — один из главарей роялистов; *Кавеньяк* Годфруа (1801—1845) возглавлял республиканскую партию. По-видимому, утверждение Гейне о «хоре» и т. д. не соответствовало действительности. Во французском издании «Французских дел» это место было снято.

Стр. 272. ...среди заговорщиков 2 февраля газеты называли и четырех бывших поваров Карла X и четырех республиканцев... — Одна из выдумок, распространявшихся официальной печатью с целью дискредитации противников существующего режима.

В тот вечер я был на собрании Amis du peuple... — Фран-

цузский исследователь Маргарет А. Кларк в своей книге «Гейне и Июльская монархия» (Париж, 1927) подвергает сомнению это утверждение Гейне. Собрания общества «Друзей народа» с сентября 1831 г. были закрытыми и проникнуть на них было чрезвычайно трудно. Не существует никаких сведений об этих собраниях после указанной даты за исключением тех, которые приводятся Гейне.

Стр. 275. *Ламартин* Альфонс-Мари-Луи (1790—1859) — французский поэт. При Луи-Филиппе был избран депутатом и примкнул к легитимистам. Поэзия Ламартина проникнута идеями отречения, возвращения к природе, тихой жизни вдали от шума больших городов.

Стр. 276. *Кеснер* — одно время главный кассир казначейства Франции. Кеснер занимался крупными спекуляциями и внезапно скрылся, оставив в государственной кассе многомиллионный дефицит. Луи Блан в своей «Истории десяти лет» говорит об этом инциденте: «Кеснер был вовлечен в пропасть своей страстью к биржевой игре. Палата депутатов должна была бы заняться разрешением этих вопросов. Но уничтожить злоупотребления было свыше сил учреждения, в котором заседали столько людей, обязанных этим злоупотреблениям своими богатствами и своим могуществом» (т. III, стр. 198—199).

Стр. 277. *Ифланд* Август-Вильгельм (1759—1814) — немецкий драматург. Автор нравоучительных мещанских драм.

Барон Луи Жозеф-Доминик (1755—1837) — министр финансов при Луи-Филиппе.

В них с достаточной полнотой рассказано о безобразиях, происходящих в палате... — Речь идет о бурных дебатах, вызванных в палате депутатов одним из выступлений министра внутренних дел Монталиве. Министр заявил: «Если роскошь будет изгнана из дворцов королей, она скоро исчезнет и в домах п о д д а н н ы х». Слово «подданных» вызвало решительный протест со стороны многих депутатов.

...после событий в Италии... — по-видимому, событий, связанных со взятием французской эскадрой Анконы (см. примечание к стр. 292).

...и экспедиции дона Педро... — Педро I — король Португалии и император Бразилии. В 1826 г. Педро I отказался от португальского престола в пользу своей дочери донны Марии. Однако его брат Мигель, не пожелавший довольствоваться ролью регента, захватил в 1828 г. престол и провозгласил с б я неограниченным монархом. Эти события побудили дону Педро в 1831 г. отправиться

в Европу, где он при поддержке Франции и Англии организовал военную экспедицию против дона Мигеля и заставил его отказаться от притязаний на португальский престол.

Статья четвертая

Стр. 279. *...события в Англии более чем когда бы то ни было привлекают наше внимание.* — Речь идет о Лондонской конференции пяти великих держав (Англии, Франции, России, Австрии, Пруссии), созванной для обсуждения международных вопросов, возникших в связи с произошедшей в августе 1830 г. бельгийской революцией и отложением Бельгии от Голландии. На конференции Франция оказалась фактически изолированной, так как ее интересы столкнулись с интересами других государств, в том числе и Англии, стремившихся ослабить новую Бельгию. Луи-Филипп сделал попытку выдвинуть кандидата на новый бельгийский престол — своего сына, герцога Немурского. Французские республиканцы и левая оппозиция требовали присоединения Бельгии к Франции. Но стремление Франции втянуть Бельгию в орбиту своей политики встретило на конференции решительный отпор.

Заигрывая с Англией, желая установить дружбу с ней, Талейран, который был в этот период послом в Лондоне, шел на уступки, вел сложные дипломатические интриги; в отдельных случаях, как сейчас установлено, он действовал в своих личных корыстных интересах. Дипломатическая игра Талейрана вызвала возмущение республиканских и левых кругов во Франции, справедливо обвинявших правительство Луи-Филиппа в поддержке сил реакции и предательстве национальных интересов страны.

...самого бога войны... — Гейне имеет в виду Наполеона.

...экс-епископ Отенский... — Талейран.

...британских реформеров... — сторонников новой избирательной реформы, осуществленной в 1832 г.

Стр. 280. *Добавления к «Путевым картинам»...* — См. «Английские фрагменты», том 4 настоящего издания. «Путевые картины».

«Письма умершего» — сочинение Пюклера-Мускау.

Стр. 281. *...времен королевы Анны.* — Английская королева Анна царствовала с 1702 по 1714 гг.

...пытался беркировать умы... — Во французском издании книги «Французские дела» (1833) дано следующее примечание издателя к этому месту: «Намек на другого Берка, который несколько

лет тому назад убивал людей, чтобы поставлять трупы в анатомические театры, и который по всей Англии сеял страх: люди боялись быть «беркированными».

Стр. 282. ...*младших сыновей nobility*... — По закону, существовавшему в Англии, в аристократических семьях правом наследования имущества, титулов и привилегий пользовался только старший сын.

...я видел карету лорд-мэра. — Выборы лорд-мэра происходят в Лондоне 29 сентября, а вступление в должность — лишь месяц спустя. В этот промежуток времени совершается торжественный переезд в старинной карете старого и нового лорд-мэров в сопровождении городских чиновников из Сити в Вестминстер.

Если английский народ и ссорится сейчас со своей аристократией... — Имеется в виду борьба английского народа за избирательную реформу.

Стр. 283. *Гамильтон* Антони, граф (1646—1720) — приближенный английского короля Якова II; вместе с королем жил в изгнании при дворе Людовика XIV; написал «Мемуары герцога Граммона», в которых изобразил жизнь английского и французского королевских дворов того времени.

Каннинг Джордж (1770—1827) — политический деятель Англии, один из лидеров тори, консерватор, но в 20-х гг. сблизился с вигами, а в 1827 г. сформировал либеральное министерство.

...который чуть было не сразил самого могучего дракона на земле. — Возможно, Гейне имеет в виду смелое поведение Каннинга во время бракоразводного процесса, который начал Георг IV против королевы. Каннинг выступил против короля, чем навлек на себя его немилость.

Лорд Годерих (1781—1859) сменил в 1827 г. Каннинга на посту премьер-министра; в том же году вынужден был подать в отставку, так как оказался не в силах продолжать борьбу с консерваторами.

Стр. 284. ...*полководец Священного союза снова получил жезл главнокомандующего*. — Герцог Веллингтон (1769—1852), которому было поручено сформировать правительство, командовал союзными армиями во время битвы при Ватерлоо.

Веллингтон добился эмансипации, за которую тщетно боролся Каннинг... — Имеется в виду эмансипация католиков-ирландцев, которой добивались либералы, но которую провели в жизнь консерваторы.

Грей Чарльз (1764—1845) — английский политический деятель, вождь вигов, в 1830 г. возглавил либеральное министерство. Грей

отменил рабство в колониях, подготовил эмансипацию католиков, провел избирательную реформу 1832 г.

Стр. 285. «*Беллерофон*» — название корабля, на котором Наполеон был отправлен на остров св. Елены.

Стр. 286. *Лихтенберг* Георг-Христиан (1742—1799) — немецкий писатель-сатирик.

Стр. 287. *Законопроект о пэрах* — закон, согласно которому отменялось наследование пэрского звания.

Себастиани Орас-Франсуа, граф (1775—1851) — французский государственный деятель, при Наполеоне был дипломатом, после Июльской революции — морской министр, с конца 1830 г. занимал пост министра иностранных дел.

Стр. 288. ...*отступление из России и посольство в Турцию*. — Себастиани командовал авангардом французской армии при ее вторжении в Россию в 1812 г.; в 1806 г., будучи послом в Турции, Себастиани сумел склонить султана Селима III на сторону Наполеона.

Стр. 289. *Даунинг-стрит* — улица в Лондоне, где помещалось министерство иностранных дел.

...*сел на корабль и направился в Лондон*... — Поездка Гейне в Англию состоялась в 1827 г.

Стр. 290. *Летбридж* Томас — депутат английской палаты общин, входивший в группу крайне правых консерваторов. Случай, о котором рассказывает Гейне, произошел в 1827 г., когда Каннинг стал премьер-министром. Летбридж внес тогда предложение потребовать от короля образования правительства с участием всех партий.

Рессел Джон (1792—1878) — вожь английских либералов, автор избирательного закона 1832 г. Долгое время занимал пост министра иностранных дел и премьер-министра.

Брум Генри (1778—1868) — английский политический деятель, виг, писатель.

Мекинтош Джемс (1765—1832) — выдающийся английский парламенский оратор.

Кем Хобхоуз (1786—1869) — государственный деятель, левый либерал, один из немногих английских политиков, почитавших Наполеона; впоследствии стал придерживаться правой ориентации.

Стр. 291. *Роберт Вильсон* (1777—1844) — английский политический деятель; в 1812 г. как офицер русской армии сражался против Наполеона; в 1819 г. был избран в палату общин, примыкал к левым либералам.

Стр. 291. *Френсис Бердетт* (1770—1844) — активный участник борьбы за избирательную реформу 1832 г.

Коббет Вильям (1762—1835) — английский политический деятель и публицист мелкобуржуазно-радикального направления, был «инстинктивным защитником народных масс» (К. Маркс).

Фокс Чарльз-Джеймс (1749—1806) — вождь английских либералов; в 1783 г. был избран премьер-министром.

Ст а т ь я п я т я

Стр. 292. *Бельгийский поход...* — В августе 1831 г. Бельгия подверглась нападению голландских войск, овладевших значительной частью ее территории. На помощь дружественной стране пришла Франция, отправившая в Брюссель пятидесятитысячный корпус солдат под командованием генерала Жерара.

...осада Лиссабона... — Речь идет о конфликте между Францией и Португалией, имевшем место в 1831 г. Французский консул в Португалии заявил протест властям в связи с осуждением португальским судом двух французских граждан. Этот протест остался без последствий. В Португалию была направлена крупная французская эскадра под командованием адмирала Руссена. Эскадре удалось прорваться к Лиссабону. В ответ на французский ультиматум португальский король дон Мигель вынужден был 14 июля подписать соглашение, по которому удовлетворялись требования Франции.

...взятие Анконы... — Анкона — город в Папской области Италии. В 1831 г. австрийские войска вторглись в Папскую область; в ответ на это французский флот в 1832 г. взял Анкону, которую удерживал несмотря на протесты со стороны католической церкви.

...под колоннадой Пале-Рояля... — До переезда в Тюильрийский дворец Луи-Филипп жил в Пале-Рояле.

...в Лионе... — Имеется в виду лионское восстание ткачей 1831 г.

...в Гренобле. — В марте 1832 г. население Гренобля устроило карнавальную демонстрацию, выражая протест против ряда мероприятий правительства. У дома префекта департамента Дювала собралась большая толпа. По распоряжению префекта войска учинили жестокую расправу над собравшимися. В связи с начавшимися после этого серьезными волнениями Казимир Перье вынужден был распорядиться вывести из Гренобля пехотный полк, производивший расправу.

Стр. 292. *Помпадур и Дюбарри* — фаворитки Людовика XV (1710—1774).

Стр. 292—293. ...*мысль о завоевании Алжира*. — Алжир был частично завоеван в 1830 г.

Стр. 294. *Дочь Пантьевра* — Мария-Аделаида де Пантьевр, мать короля Луи-Филиппа.

«*Mouvement*» — партия, во главе которой стоял прелественник Перье на посту премьер-министра — банкир Лафитт (1737—1844).

Тальони Мария (1804—1884) — знаменитая французская танцовщица, выступавшая в то время (1827—1832 г.) в Париже.

Стр. 295. ...*разрушением дворца архиепископа*. — В середине февраля 1831 г. толпа разгромила в Париже дворец архиепископа, одного из вдохновителей легитимистского движения. Поводом к этим действиям послужило выступление легитимистов, демонстративно организовавших торжественное богослужение в годовщину убийства герцога Беррийского в старинной церкви Сен-Жермен-Озера (из этой церкви Варфоломеевской ночью был дан сигнал к избиению гугенотов). Узнав об этом, революционно настроенные парижане разгромили церковь, а потом дворец архиепископа.

Стр. 296. ...*масленичный бык*. — Во время масленичного карнавала по улицам водили быка, украшенного венками.

...*gros, gras et bête...* — В пьесе «*Une révolution d'autrefois*» («Революция былых времен»), которая была поставлена в парижском театре Одеон, один из героев предлагал назначить императором Клода, потому что он «толст, жирен и глуп». Это место воспринималось как намек на Луи-Филиппа и вызывало шумное одобрение публики. Цензура потребовала, чтобы эти слова убрали из спектакля. Юмористические журналы откликнулись на инцидент: в связи с масленицей стали писать не о шествии карнавального быка (*boeuf gras* — жирный бык), а просто «толстого, жирного и глупого», подразумевая Луи-Филиппа.

Стр. 297. *Пале-Бурбон* — Бурбонский дворец, в котором заседала палата депутатов.

Люксембург — Люксембургский дворец, в котором заседала палата пэров.

...*даже одного Дрё-Брезе...* — Род Дрё-Брезе был одним из наиболее старинных дворянских родов Франции. Известен ответ, который дал Мирабо церемониймейстеру Людовика XVI Дрё-Брезе, явившемуся в зал заседаний Генеральных штатов: «Ступайте и скажите вашему повелителю, что мы здесь находимся по воле народа и что заставить нас уйти отсюда можно только силою штыков».

Стр. 298. ...*титул Madame*... — Этот титул давался при Бурбонах жене брата короля (Monsieur), а также дочерям короля.

21 января. — Имеется в виду 21 января 1793 г. — день казни Людовика XVI.

Стр. 299. ...*пожизненные господа из Люксембургского дворца*... — то есть пожизненные пэры.

...*законопроект Бриквиля*... — Речь идет о законе об изгнании из Франции на вечные времена представителей Бурбонской династии, внесенном депутатом полковником Бриквилем и принятый в основном палатой.

Его благоволение к наследственности пэров... — Не соответствует действительности. Против отмены наследования звания пэра был Казимир Перье, уступивший в этом вопросе королю.

...*мертвецов великой недели, похороненных под стенами Луэра*... — Речь идет о жертвах июльских дней 1830 г.

Стр. 300. *Крик «Vive la Chartre!»*... — Имеется в виду конституционная хартия, которую вынужден был дать, вступая в 1814 г. на престол, Людовик XVIII; как известно, попытка Карла X отменить хартию дала первый толчок к событиям Июльской революции.

Голируд — дворец в Эдинбурге, где поселился изгнанный из Франции Карл X.

...*при Вальми и при Жемаппе*... — Луи-Филипп участвовал в сражениях при Вальми (деревня во Франции) и Жемаппе (город в Бельгии) в 1792 г., в которых французская революционная армия одержала победу над австрийцами и пруссаками.

Стр. 301. ...*в виде учителя швейцарской школы*... — После установления якобинской диктатуры Луи-Филипп бежал в Швейцарию, где несколько месяцев был учителем географии в Рейхенау.

...*недовольство видит в ней лишь грушу*. — Карикатуристы изображали голову короля Луи-Филиппа в виде груши.

Стр. 302. ...*не имел права этим путем вымалывать мир... не имел права предавать палачам свободу остального мира*. — Гейне говорит здесь о трусливой и непоследовательной внешней политике правительства Луи-Филиппа (например, в вопросе о Бельгии, Италии).

...*безупречнейшим гражданином Старого и Нового Света* — Лафайетом.

Стр. 304. ...*якобитская поэзия*... — Имеется в виду поэзия сторонников претендента на английский престол Якова Стюарта, сына низложенного в 1688 г. Якова I.

...*поэзия карлистская* — поэзия сторонников низложенного в 1830 г. Карла X.

Стр. 305. ...*поружение, которому немцы подвергли статую на этой колонне...* — После поражения Наполеона при Ватерлоо (1815) по распоряжению прусского генерала Блюхера была низвергнута статуя Наполеона, увенчивавшая Вандомскую колонну.

Герцог Орлеанский Фердинанд-Филипп (1810—1842) — старший сын Луи-Филиппа, его наследник.

Стр. 307. *Герцог Немурский* Луи-Шарль-Филипп (1814—1896) — второй сын Луи-Филиппа.

«Это лицо через несколько лет будет производить в Америке сильное впечатление». — Намек на неизбежность перемен во Франции.

С т а т ь я ш е с т а я

Стр. 308. ...*огненное «менé, текéл»...* — По библейскому сказанию (книга пророка Даниила, гл. 5), таинственные слова «менé, текел, фарес» были начертаны огненными буквами на стене зала, в котором пировал вавилонский владыка Валтасар, когда в Вавилон вступил персидский царь Кир. Слова эти предрекали гибель Валтасару.

Стр. 309. *Ролан* Мари-Жанна (1754—1793) — общественная деятельница периода французской революции 1789 г.; жирондистка; казнена в 1793 г. Автор известных «Мемуаров».

Стр. 310. ...*в 1830 году трехцветный флаг развевался несколько дней на башнях Геттингена...* — Июльская революция 1830 г. послужила толчком к росту оппозиционных настроений и действий в Германии. Результатом ее явились волнения в Брауншвейге, где население изгнало герцога, в Саксонии, Геттингене и других местах.

...*филистерству Georgiae Augustae...* — *Georgia Augusta* — название Геттингенского университета, основанного английским королем Георгом II.

Стр. 311. ...*лучший друг мой лежал здесь больной.* — Двоюродный брат Гейне — Карл Гейне, заболевший в Париже холерой. ...*чем тот, прежний террор...* — Имеется в виду революционный террор 1793—1794 гг.

Фукидид, историк, и Боккаччо, новеллист, оставили нам, конечно, лучшие описания в этом роде... — Фукидид — «История пелопоннесской войны», описание чумы в Афинах, гл. 47—54; Боккаччо — «Декамерон» — во вступительной части книги описание чумы во Флоренции.

Стр. 314. ...*вызвал своих мирмидонян из их лавок...* — то есть мобилизовал национальную гвардию, состоявшую главным образом из мелкой буржуазии. *Мирмидоняне* — войско Ахилла.

Стр. 315. ...*весь Париж впал в смертельное, полное ужаса отчаяние.* — В народе распространился слух, будто эпидемия является делом рук отравителей из полиции. Чтобы отвести от себя подозрение, префект полиции Жиске издал особое извещение, в котором писал: «Меня осведомили, что некоторые пегодии задумали обойти трактиры и мясные лавки с ядом в бутылках и порошках, чтобы отравить говядину и воду или же только сделать вид, что отравляют, дать себя арестовать на месте преступления своими же соумышленниками, которые, засвидетельствовав их причастность к полиции, доказали бы достоверность гнусного обвинения, выдвигаемого против властей». Это извещение полиции лишь способствовало утверждению в народе мнения, будто причиной бедствия являются некие «отравители».

«*A la lanterne!*» — слова одной из наиболее распространенных песен времен французской революции 1789 г. («Ça ira»).

...*brevet du lys...* — королевская грамота с лилиями (в гербе Бурбонов красовались три лилии).

Стр. 317. «*Constitutionnel*» — газета, основанная в 1815 г.; либеральная при Реставрации, после Июльской революции выражала точку зрения правительственных кругов.

«*L'ordre régné à Paris*» — намек на заявление Себастиани в палате депутатов, сделанное им в ответ на запрос об отказе Франции помочь польским повстанцам; он сказал: «Порядок царит в Варшаве».

Стр. 318. *Агуадо* Александр (1784—1842) — испанский эмигрант; служил в армии при Наполеоне; нажил торговлей огромное состояние.

Стр. 319. *Келен* Луи (1778—1839) — архиепископ Парижский.

Стр. 321. *Пер-Лашез* — старинное кладбище в Париже.

Ст а т ь я с е д ь м а я

Стр. 323. *Смерть Перье.* — Перье скончался от холеры 16 мая 1832 г.

...*с помощью мудрой богини...* — Богиня Афина Паллада помогала Одиссею.

Стр. 324. ...«*Конституция! И вы еще смеете ссылаться на конституцию...*» — слова генерала Бонапарта, сказанные им на

следующий день после переворота 18 брюмера в Совете пятисот, в ответ на требование присягнуть конституции 1795 г.

Стр. 324. *Восемнадцатого фрюктидора* (4 сентября 1797) были арестованы члены Директории Бартеlemi и Карно (последний сослан в Кайенну) и аннулированы выборы в 48 департаментах.

Двадцать второго флореаля (11 мая 1796) была учинена жестокая расправа над участниками «Заговора равных» (Графх Бабеф и Огюстен Дарте были гильотинированы) и незаконно отменена большая часть выборов.

Тридцатого прериала (18 июня 1799) принудили подать в отставку членов Директории Мерлена и Ла-Ревепера.

Виллель Жозеф (1773—1854) — реакционный политический деятель. В эпоху Реставрации был министром-президентом и провёл закон о компенсации эмигрантам за конфискованные земли. Ввел также ограничения для печати.

Деказ Эли, герцог (1780—1860) — адвокат, государственный деятель. Был министром полиции при Людовике XVIII и имел сильное влияние на короля. Будучи ярким сторонником Бурбонов, в то же время боролся против крайностей правых легитимистов.

Стр. 325. *Дюпен Андре-Жан-Жак* (1783—1865) — при Луи-Филиппе был министром юстиции, председателем палаты депутатов.

Стр. 326. ...*со времени... ученого Сальмазиуса...* — латинское имя французского ученого Клода Сомеза (1588—1650), филолога и юриста. В 1650 г. выступил в печати в защиту прав на престол сына казненного английского короля Карла I.

Стр. 329. ...*от Ксенофонта до Фенелона...* — Речь идет о произведении греческого историка Ксенофонта «Воспитание Кира». Франсуа *Фенелон* (1651—1715) — воспитатель герцога Бургундского, написал для своего воспитанника несколько книг, и среди них — «Телемак», где трактуются вопросы воспитания правителя.

Блекстон Уильям (1723—1780) — английский юрист, автор книги «Commentaries on the Laws of England» («Комментарии к английскому государственному праву»).

Стр. 330. *Ангерран де Мариньи* — министр финансов при французском короле Филиппе Красивом (1285—1314). При Людовике X (1314—1317), после несправедливого процесса, Мариньи был повешен.

Барт Феликс (1795—1868) — в годы Июльской монархии генеральный прокурор при королевском суде, министр просвеще-

ния, министр юстиции; руководил процессом по делу участников восстания 5 и 6 июня 1832 г.

Стр. 331. ...*Луи-Филипп учредил временное председательство и поручил его господину Монталиве*... — Не соответствует действительности: Монталиве был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел; Казимир Перье до самой смерти сохранял за собой руководство министерством.

Жиро де л'Эн Луи-Гаспар-Амедей (1781—1847) — в 1830 г. — префект, в 1831 г. — председатель палаты депутатов, в 1832 г. — министр народного просвещения.

Стр. 332. *Сульт* Никола́, герцог Далматский (1769—1851) — маршал Франции; в кабинете Перье — военный министр. В 1832 г., после смерти Перье, ему было поручено составить министерство.

...*лорд Грей со своими вигами побежден — на время.* — Премьер-министр Англии Грей просил короля назначить новых лордов, без чего невозможно было добиться проведения избирательной реформы. Ввиду отказа короля, Грей 9 мая 1832 г. подал в отставку. Пресмник Грея герцог Веллингтон в сложившейся обстановке не смог сформировать правительства, и Грей был возвращен обратно.

Ст а т ь я в о с ь м а я

Стр. 333. *Сбир* — полицейский агент в Италии.

Мартиньяк Жан-Батист-Сильвер (1776—1832) фактически руководил министерством последние два года правления Карла X. Провел некоторые либеральные реформы, особенно в области печати. В 1830 г. был отстранен королем от занимаемой должности и заменен крайним реакционером Полиньяком.

Стр. 334. *Шамполион Жан-Франсуа* (1790—1832) — французский египтолог; первый расшифровал египетские иероглифы.

Кювье Жорж (1769—1832) — великий ученый-естествоиспытатель, основоположник сравнительной анатомии.

Стр. 337. *Бенжамен Констан* (1769—1830) — французский писатель и политический деятель, теоретик умеренно-либерального направления. Автор романа «Адольф».

Грегуар Аври (1750—1831) — деятель французской буржуазной революции 1789 г. Как представитель духовенства в законодательном собрании, много сделал для привлечения низшего духовенства на сторону революции.

Стр. 337. Там не было высоких сановников, не было пехоты и конницы... — Маргарет А. Кларк утверждает, что Гейне изобразил похороны не Грегуара, а Бенжамена Констана.

Стр. 338. ...системы 13 марта... — Имеется в виду политика Казимира Перье, министерство которого было составлено 13 марта 1831 г.

Пинок, полученный напоследок больным львом от ослицы господней в Риме... — Намек на неудачные последствия взятия Анконы.

Стр. 340. ...зависимость от иностранных интересов прискорбно обнаружилась... во время последних событий в Англии. — Оппозиция — от легитимистов до республиканцев — возмущалась несамостоятельностью политики Франции, ее зависимостью от Англии. Оглядка на Англию особенно проявилась в связи с кратковременной отставкой премьер-министра Грея.

Одилон Барро (1791—1873) — политический деятель, либерал. В дни Июльской революции поддержал Луи-Филиппа. В дальнейшем был в «умеренной оппозиции» к Июльской монархии, выступал против политики всех сменившихся министерств (за исключением правительства Тьера в 1840 г.). Барро постоянно участвовал в «банкетной кампании» в пользу избирательной реформы, но терял боевой дух всякий раз, когда дело доходило до острых столкновений.

...под именем... короля Альгарвы. — Сулыт сражался в Испании в 1808—1813 гг. Альгарва — южный округ Португалии.

Каледонский бард — Вальтер Скотт, как автор шотландских («каледонских») романов.

Стр. 341. «Morning Chronicle» — газета, основана в 1769 г., в 20-х и 30-х гг. — орган партии вигов.

«Times» — крупнейшая английская газета, основана в 1784 г., орган английских консерваторов, официоз министерства иностранных дел.

Лей Гент (1784—1859) — поэт, друг Байрона, член левого крыла партии вигов.

Курульные кресла — кресла из слоновой кости, предназначавшиеся для некоторых высших сановников древнего Рима. Здесь подразумеваются кресла лордов, наследственно заседавших в палате лордов.

Стр. 342. Дни Вилькса... — Депутат Джон Вилькс (1727—1797) напечатал в своем журнале «North Briton» статью, в которой критиковалась тронная речь Георга III. Автор статьи был арестован, но вскоре его освободили как депутата. Вынужден был бежать

из Англии, предвидя возможность нового ареста. Возвратившись в Англию, Вилькс, исключенный из состава палаты общин, должен был за статью отсидеть два года в тюрьме. После этого население избрало его в парламент, но депутаты вновь его исключили. Несколько раз избирался Вилькс в парламент, и всякий раз палата исключала его из своего состава. Только в 1790 г., после четвертого избрания, автор статьи, наконец, мог занять свое место в палате.

Стр. 343. *Ордонансы*. — Имеются в виду ордонансы Карла X от 25 июля 1830 г., отнимавшие у народа даже те сильно урезанные права, которыми он пользовался по конституционной хартии 1814 г.

Россини Джакомо (1792—1868) — итальянский композитор, автор опер «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль», «Итальянка в Алжире».

Стр. 345. *Дэозеф Юм* (1777—1855) — директор Ост-Индской компании, член палаты общин. Юм считал своей первой обязанностью содействовать упрощению государственной отчетности.

С т а т ь я д е в я т а я

Стр. 347. *...корсиканский сброд, занявший во Франции их место...* — Имеются в виду члены семьи и родня Наполеона, по происхождению корсиканца.

Стр. 348. *...святым Юстином...* — шуточное осмысление фамилии известного якобинца Сен-Жюста («Святой Юстиний»).

Стр. 349. *Людovicу Калету* — то есть Людовику XVI.

Стр. 350. *Читаю ли я «Немецкую трибуну»...* — либеральную газету, издававшуюся Иоганном Виртом (1798—1848), одним из организаторов и главных участников Гамбахского собрания (см. примеч. к стр. 238). После выступления на этом собрании Вирт был арестован полицией и приговорен к двум годам тюрьмы.

Стр. 351. *...разбурзенная пушками великой недели Германия проснулась...* — См. примечание к стр. 310.

Зибенпфейфер Филипп-Якоб (1789—1845) — немецкий либеральный деятель и публицист. Один из инициаторов Гамбахского собрания, после окончания которого был арестован по обвинению в оскорблении представителей государственной власти и подстрекательстве народа к ниспровержению существующего государственного строя.

Шарпф Христиан — подвергался преследованиям за борьбу против постановлений Союзного сейма от 28 июня 1832 г. и оскорбление одного из министров Баварии.

Стр. 351. *Георг Фейн* (1803—1869) — публицист, либерал, один из сотрудников «Немецкой трибуны».

Гроссе Эрнст — поэт, редактор либерального издания «*Bayrische Blätter*» («Баварские ведомости»); автор книги «*Прощайте. Отъезд большого поэта из Баварии*» (Аугсбург, 1831). В этой книге он рассказывает о преследованиях, которым подвергся.

Шюлер Фридрих — юрист, либеральный депутат баварского ландтага 1831 г., участник Гамбахского собрания, вынужден был бежать во Францию.

Сауа Жозэф — член суда в Цвейбрюкене (Бавария); был обвинен в попытке ниспровергнуть королевско-баварское правительство и должен был бежать во Францию.

Стр. 352. *Эти два народа подобны гомеровским героям...* — Имеются в виду герои «Илиады» Дномед и Главкос, которые обменялись оружием, согласно старинному обычаю.

Стр. 355. *Видок Эжен-Франсуа* (1775—1857) — известный французский сыщик.

Гаспар Дебюро (1796—1846) — французский комический актер
Керубини Сальвадор (1760—1842) — композитор, директор Парижской консерватории.

Биффи Антонио (умер в 1733 г.) — итальянский композитор.

Стр. 356. *...обнаружилось 5 и 6 июня.* — 5 июня происходили похороны генерала Ламарка. Во время этих похорон вспыхнуло народное восстание.

Стр. 357. *Ламарк Максимилиан* (1770—1832) — генерал, участник революционных войн и походов Наполеона. При Реставрации был изгнан из Франции, возвратился только в 1818 г. В 1828 г. избран в палату депутатов, вскоре стал видным деятелем левой оппозиции. Участвовал в революции 1830 г. Был решительным противником Июльской монархии.

Стр. 359. *Альфурская школа* — ветеринарный институт близ Парижа.

Стр. 360. *...о Клеомене, царе спартанском...* — Клеомен III, начавший царствовать в 235 г. до н. э., в поисках помощи против Антигона Македонского, с которым он вел войну, отправился в Александрию. Здесь он был взят в плен. После неудачной попытки поднять мятеж Клеомен и его сподвижники покончили с собою.

Круглый стол великого Луи-Филиппа... — шуточный образ, по аналогии с круглым столом короля Артура, о котором рассказывалось в кельтских легендах.

Стр. 360. *...вся оппозиция... с ее депутациями, господа Обилон Барро, Лафитт и Араго.* — Делегация оппозиции в составе указанных лиц отправилась к Луи-Филиппу просить «милости» к участникам Июньского восстания. Король обещал рассматривать дела восставших в обычном порядке и не посягать на конституционные гарантии. Все же он объявил Париж на осадном положении; *Араго* Доминик Франсуа (1786—1853) — астроном, физик и политический деятель в описываемое Гейне время сторонник широких демократических реформ. В 1848 г. боролся против восставших рабочих.

Стр. 361. *Консьержери* — старая тюрьма в Париже.

Вставка к статье девятой

Стр. 364. *...короля английского Вильгельма...* — Имеется в виду Вильгельм IV (1830—1837 гг.).

Людвиг Баварский, еще три года тому назад так горячо преданный делу народа... изменяет сам себе! — Намек на либеральные реформы, которые пытался ввести в Баварии король Людвиг I в начале своего царствования.

Стр. 365. *...как у сэра Джона...* — Джон Фальстаф (ок. 1378—1459), английский офицер; у Шекспира он фигурирует как наглый и циничный обжора и кутила.

...за столами царя-фараона... — Имеются в виду столы в игорных домах, где играют в «фараон».

Стр. 366. *Мольтке* Магнус, граф (1783—1864) — немецкий публицист; в 30-х гг. опубликовал ряд работ, проводивших либеральные идеи.

Текущие сообщения

Дополнение к статье шестой

Стр. 371. *Маркграф Казимир Ансбахский* (1481—1527) — жестоко расправлялся с восставшими крестьянами во время Великой крестьянской войны в Германии.

...галликанская, так сказать медиатизированная церковь — то есть церковь, подчиняющаяся французскому королю.

...в версальском «œil de boeuf» («бычий глаз») — так называли прихожую при спальне Людовика XIV в Версале, имевшую овальное окно.

Стр. 372. *...а когда 14 июня лета 1789...* — У Гейне описка — Бастилия была взята штурмом 14 июля.

Стр. 372. *Вот уже семнадцать лет...* — то есть со времен второй реставрации (в 1815 г., после поражения Наполеона при Ватерлоо).

Стр. 373. *Альфьери* Витторио, граф (1749—1803) — итальянский поэт и драматург. Приветствовал французскую революцию 1789 г., но после прихода к власти якобинцев резко изменил свое отношение к ней.

Стр. 374. *Гара* Доминик-Жозеф (1749—1833) — деятель французской революции 1789 г., был министром юстиции и внутренних дел. Написал «Воспоминания о революции».

Был в то время унылый министр... — Имеется в виду министр финансов при Людовике XVI Неккер (1732—1804).

Стр. 375. *...одно место у Плутарха...* — Плутарх сообщает, что у Цезаря к моменту его поступления на государственную службу было 1300 талантов долгу.

Бурьени Луи-Антуан Фовле (1769—1834) — секретарь Наполеона, автор «Мемуаров о Наполеоне, Директории, Консульстве, Империи и Реставрации».

376. *Ариэль* и *Калибан* — персонажи пьесы Шекспира «Буря». *Ариэль* — олицетворение светлого, благородного начала, *Калибан* — злого и безобразного.

Жанен Жюль-Габриель (1804—1874) — известный французский журналист и фельетонист, автор романа «Мертвый осел, или гильотинированная женщина».

Вольте Константен (1758—1820) — французский философ, последователь Дидро.

Стр. 377. *...в мемуарах Бриссо...* — Имеются в виду «*Legs à mes enfants*» («Завещание моим детям»), опубликованные сыном Бриссо в 1830 г.

Дюмон Луи (1759—1829) — женеvский юрист и политик. Написал «Воспоминание о Мирабо и первых двух законодательных собраниях».

П р и м е ч а н и е А

Стр. 379. *Гобель* Жан-Батист-Жозеф (1727—1794) — Парижский епископ; в 1793 г. сложил с себя священнический сан, что расценивалось как публичное отречение от христианской религии. В 1794 г. был казнен по обвинению в атеизме.

Стр. 380. *...в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо...* — Эти предместья, где жила городская беднота, были очагами республиканского движения.

Стр. 380. *Гарнье-Пажес* Этьен-Жозеф-Луи (1801—1841) — один из представителей крайней левой республиканской оппозиции 30-х гг.

6 июня

Стр. 382. *Патрокл* — друг Ахилла; был убит Гектором, сыном троянского царя Приама.

8 июня

Стр. 386. *Да ведь это наши старые студенческие цвета...* — Красно-черно-золотое знамя противопоставлялось студенческими организациями официальным знаменам германских государств. Оно стало в те годы символом единой Германии.

10 июня

Стр. 388. *Венсенн* — тюрьма для политических заключенных в департаменте Сены.

12 июня

Стр. 393. *Саррю* Жермен — публицист республиканского направления; редактор «*Tribune*».

Каррель Арман (1800—1836) — публицист, один из основателей газеты «*National*». После Июльской революции решительно отстаивал республиканскую программу.

Кост Жак (1798—1859) — журналист, редактор умеренно-республиканской газеты «*Temps*».

17 июня

Стр. 395. *...не отмененный еще état de siège...* — Осадное положение в связи с Июньским восстанием было введено 6 июня, а отменено только 30 июня.

Стр. 396. *...тюрьме Сент-Пеллажи...* — В этой тюрьме содержались главным образом осужденные по политическим делам, в том числе много литераторов.

Стр. 396. *...Сент-Пеллажи основана пеллагами...* — шутка Гейне.

Пелазги — легендарное население древней Греции, Малой Азии, островов Греческого архипелага и Италии.

7 июля

Стр. 398. *Гранвиль* Томас (1773—1846) — английский дипломат, был послом во Франции.

15 июля

Стр. 401. *Безумная отвага герцогини Беррийской... повредила им.* — Весной 1832 г. герцогиня Беррийская (1798—1870) тайно приехала во Францию с целью свержения Луи-Филиппа и возведения на престол своего сына графа Шамборского под ее регенством. Восстание в целом не удалось, и герцогиня Беррийская бежала в Нант, где была арестована 8 ноября 1832 г. и заключена в тюрьму.

Беррье Пьер-Антуан (1790—1868) — политический деятель, легитимист. К герцогине Беррийской был направлен парижскими легитимистами с целью уговорить ее отказаться от попыток немедленно поднять восстание.

И з Н о р м а н д и и

1 августа

Стр. 402. *...люди страны Ок...* — В средние века слово *Oui* (да) произносилось в некоторых частях Франции, особенно на юге, как *ок*, а на севере как *ойль*. По мере того как под влиянием севера страна объединилась, повсеместно стали произносить *ойль*, а затем — *уй*.

Стр. 404. *Герцогиня Ангулемская* (1778—1851) — дочь Людовика XVI, жена старшего сына Карла X.

...французско-католическая община аббата Шателя... — Речь идет о созданной аббатом Шателем общине, получившей название «независимой католической церкви». Община одно время пользовалась большим успехом в Париже. В 1842 г. была закрыта.

20 августа

Стр. 406. *...le fils de l'homme qui a fait mitrailler le peuple le 13 Vendémiaire.* — Генерал Бонапарт подавил восстание, поднятое революционными секциями Парижа 10—13 вандемьера 1795 г. против термидорианского Конвента.

Стр. 407. *«Quotidienne»* — газета, основанная в 1792 г. монархистами. Возродилась в 1814 г. как орган крайних правых. После Июльской революции — орган легитимистов.

Стр. 408. ...*брачный союз между сыном революции и дочерью прошлого...* — брак Наполеона и Марии-Луизы.

Стр. 409. *Маренго* — деревня в Италии, где французы под командованием Бонапарта одержали победу над австрийцами 14 июня 1800 г.

Фаблио — старинные французские рассказы-анекдоты, чаще всего в стихах.

Свадьба в Компьене. — В августе 1832 г. дочь Луи-Филиппа была выдана замуж за бельгийского короля Леопольда I с целью улучшить международное положение Франции, потерпевшей поражение по бельгийскому вопросу на конференции в Лондоне.

17 с е н т я б р я

Стр. 410. *Роберт-Дьявол* — герцог нормандский (правил с 1028 по 1036 г.), совершивший поход в Палестину.

Стр. 411. ...*сожжена была la riselle...* — «Девственница» — заглавие комической поэмы Вольтера, посвященной истории Жанны д'Арк.

...*победители при Гастингсе...* — При Гастингсе (город в Англии) нормандский герцог Вильгельм Завоеватель в 1066 г. победил английского короля Гарольда II и затем занял всю Англию.

Танкред — нормандский рыцарь XI в. Его сыновья положили начало нормандскому владычеству на юге Италии.

Стр. 412. *Сальванди* Ашиль, граф (1795—1856) — французский писатель и политический деятель, при Луи-Филиппе — министр народного просвещения. В 1824 г. Гете написал статью о романе Сальванди «Дон Алонзо, или Испания».

Стр. 413. ...*феодальные романы... прославленного немецкого автора...* — Гейне, по-видимому, имеет в виду рыцарские романы де ла Мотт Фуке (1777—1843).

Стр. 416. *Ройе-Коллар* Пьер (1763—1845) — политический деятель, глава так называемых «доктринеров» — умеренных легитимистов.

Стр. 417. *Лакло* Шодерло де, Пьер-Амбруаз-Франсуа (1741—1803) — автор романа «Опасные связи».

Луве Кувре де, Жан-Батист (1760—1797) — политический деятель и писатель. Автор эротического романа «Шокождения кавалера Фоблаза».

ИЗ МЕМУАРОВ ГОСПОДИНА ФОН ШНАБЕЛЕВОПСКОГО

Впервые напечатано в первой книге «Салона» в начале 1834 г.

Стр. 422. *Картуш* Луи-Доминик (1693—1721) — атаман шайки разбойников, орудовавших в окрестностях Парижа. Казнен в 1721 г. Его жизнь послужила темой многочисленных разбойничьих романов.

Стр. 423. *Гнезен* (Гнезно) — один из древнейших городов Польши. Здесь происходило коронавание польских королей. В 1793 г. отошел к Пруссии; ныне принадлежит Польше.

Аллегри Грегорио (1590—1652) — итальянский композитор. «*Miserere*» Аллегри обычно исполнялось в страстную пятницу.

Стр. 425. *Дрекваль*, *Вандрамен* (Поганый вал, Стенная рама) — улицы в Гамбурге, где жило много евреев (см. поэму «Германия», гл. 21, том 2 настоящего издания).

Стр. 426. *Броунианцы* — последователи шотландского врача Джона Броуна (1735—1788), утверждавшего, что все болезни происходят от недостаточного или избыточного раздражения органов.

Иоганн Фауст — компаньон первопечатника Гутенберга.

Гамбург. — Основание города и крепости Гамбург приписывается Карлу Великому (см. поэму «Германия», гл. 26).

Стр. 427. *Ахен* — город Рейнской области. В 1815 г. отошел к Пруссии. В Ахенском соборе гробница Карла Великого (742—814), короля франков.

Гаммония — латинское наименование города Гамбурга.

Прекрасная Марианна — трактирщица в Эймсбюттеле близ Гамбурга.

Альтона — город и порт на Эльбе, недалеко от Гамбурга.

Марр — содержатель одного из гамбургских ресторанов, надоевший посетителям чтением им самим сочиненных бездарных трагедий (см. «Идеи. Книга Ле Гран», гл. XIV, том 4 настоящего издания).

Стр. 428. *Канатный дсор* — улица в Гамбурге, пользовавшаяся дурной славой.

Огинский Михаил-Клеофас (1765—1833) — знаменитый литовский композитор и политический деятель.

Стр. 430. *Юнгферштег* — улица в Гамбурге; буквально — Девичья тропа. На этой улице был дом дяди поэта, Соломона Гейне (см. автобиографические стихи «Аффронтенбург», том 3 настоящего издания).

Стр. 430. *Альстер* — река в Северной Германии, на которой расположен Гамбург.

Стр. 431. ...*пеннорожденной богини*... — то есть Афродиты.

Стр. 435. *Песня о... Вонведе* — была опубликована в изданном Вильгельмом Гриммом сборнике «*Altdanische Heldenlieder, Balladen und Märchen*», Heidelberg, 1811.

Стр. 441. *Клопшток* Фридрих-Готтлиб (1724—1803) — знаменитый немецкий поэт, автор религиозно-назидательной поэмы «*Мессиада*» (1745—1773). Молодой Гейне посещал могилу поэта. Отношение Гейне к Клопштоку как к архаическому поэту, ставшему духовным знаменем немецких реакционеров, возникает позднее.

Стр. 442. *Куксгафен* — местечко и гавань на левом берегу устья Эльбы.

Кафамахерайе — улица в Гамбурге, славившаяся мастерскими, изготовлявшими шелк и бархат.

Стр. 444. *Вильгельм III Оранский* (1650—1702) — английский король с 1689 по 1702 г.

Стр. 455. *Ян Стен* (1626—1679) — голландский художник, преимущественно жанрист.

Стр. 458. *Анабаптисты* (перекрещенцы) — религиозная секта, выступавшая за крещение в сознательном возрасте.

Стр. 461. *Фаста* — библейская царица, упоминаемая в книге Эсфири, гл. 1-я.

Стр. 462. *Миронова корова* — была отлита из бронзы греческим скульптором Мироном (V в. до н. э.). Скульптура эта не сохранилась.

Стр. 466. *Мы дошли до четырнадцатой главы*... — то есть до «*Книги Судей*» в Библии.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

СТАТЬИ

Романтика. <i>Перевод А. Морозова</i>	7
«Смерть Тассо». <i>Перевод А. Морозова</i>	10
«Рейнско-Вестфальский альманах муз на 1821 год». <i>Перевод</i> <i>А. Морозова</i>	29
Письма из Берлина. <i>Перевод А. Горнфельда</i>	33
О Польше. <i>Перевод А. Горнфельда</i>	91
«Стихотворения» Жана-Батиста Руссо. «Стихи любви и дружбы» его же. <i>Перевод А. Морозова</i>	118
Альберт Метфессель. <i>Перевод А. Морозова</i>	122
«Струэнзее». <i>Перевод А. Морозова</i>	124
«Немецкая литература». <i>Перевод А. Морозова</i>	138
Иоганн Витт фон Дерринг. <i>Перевод А. Морозова</i>	151
Предисловие к книге «Кальдорф о дворянстве в письмах к графу М. фон Мольтке». <i>Перевод А. Горнфельда</i>	153

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ «САЛОНА» ФРАНЦУЗСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Перевод А. Федорова

Предисловие к первой части «Салона»	169
Французские художники	
Выставка картин в 1831 году в Париже	178
Дополнение	221

ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕЛА

Перевод А. Федорова

Предисловие	237
Статья первая	251
Статья вторая	258
Статья третья	268
Статья четвертая	279
Статья пятая	292
Статья шестая	307
Статья седьмая	322
Статья восьмая	333
Статья девятая	346
Вставка к статье девятой	362
Текущие сообщения	
Вместо предисловия	368
Дополнение к статье шестой	370
Примечание А	379
Из Нормандии	402

ИЗ МЕМУАРОВ ГОСПОДИНА ФОН ШНАБЕЛЕВОПСКОГО.

Перевод Е. Лундберга 421

Приложение. <i>Перевод А. Федорова</i>	470
Комментарии. ¹	477

¹ Комментарии к «Статьям» и к новелле «Из мемуаров господина фон Шнабелевопского» составлены А. Морозовым, ко всему остальному материалу тома — А. Амстердамом.

Генрих Гейне
Собрание сочинений, 5

Редактор Н. П. Снеткова
Художник Л. С. Хиожинский
Технический редактор
Л. А. Чалова
Корректор М. А. Рубинович

Сдано в набор 17/VI 1957 г.
Подписано к печати 9/XII 57 г.
Тираж 85 000 экз. 1 бумага
84×10¹¹/₃₂ — 16,875 печ., 27,67 усл.-
печ. л. Учетно-изд. л. 27,29.
Заказ 616. Цена 10 руб. 50 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение,
Ленинград, Невский пр., д. 28.
Ленинградский Совет народного
хозяйства. Управление полигра-
фической промышленности. Типо-
графия № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького. Ленинград,
Гатчинская, 26.